

Российская академия наук  
Институт языкознания

**Лингвистика и семиотика  
культурных трансферов:  
методы, принципы,  
технологии**

**коллективная монография**

Отв. ред. В.В. Фещенко

Культурная революция  
Москва 2016

Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии. Коллективная монография / Отв. ред. В.В. Фещенко. Ред. колл.: Н.М. Азарова, С.Ю. Бочавер (отв. секретарь), В.З. Демьянков, М.Л. Ковшова, И.В. Силантьев, М.А. Тарасова (редактор-корректор), Т.Е. Янко. М.: Культурная революция, 2016. – 500 с.

ISBN 978-5-902764-76-2

*Ответственный редактор* В.В. Фещенко

*Редакционная коллегия:* Н.М. Азарова, С.Ю. Бочавер (ответственный секретарь), В.З. Демьянков, М.Л. Ковшова, И.В. Силантьев, М.А. Тарасова (редактор-корректор), Т.Е. Янко.

Коллективная монография посвящена разработке лингвистической теории культурного трансфера на базе мировых практик межъязыкового взаимодействия в современном гуманитарном познании. Под культурным трансфером понимается процесс переноса знаний между разными культурами, профессиональными сообществами и дискурсами. Изложение в книге ведется от уровня гуманитарного знания в целом (межнаучный трансфер) и уровня лингвистического знания (внутринаучный трансфер) к уровню языка и дискурса как эмпирической базы исследований. Рассматриваются межъязыковые и междискурсивные взаимодействия в языке науки и художественной литературы, а также взаимодействие кодов в различных культурно-языковых практиках. Издание предназначается лингвистам, филологам и гуманитариям широкого профиля.

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН.*

© Культурная революция, 2016

## Содержание

	<i>введение</i> Теория культурных трансферов: от переводоведения – через cultural studies – к теоретической лингвистике <i>В.В. Фещенко, С.Ю. Бочавер</i> .....	5
<b>35</b>	<b><i>раздел 1. Гуманитарное знание: межнаучный трансфер по данным языка</i></b>	
	<i>глава 1.1.</i> Пути и принципы трансферизации знания в гуманитарных науках <i>В.И. Постовалова</i> .....	36
	<i>глава 1.2.</i> Языковые техники «трансфера знаний» <i>В.З. Демьянков</i> .....	61
	<i>глава 1.3.</i> Проблема взаимопонимания в гуманитарном познании и общении в условиях «концептуального многоязычия» <i>В.И. Постовалова</i> .....	86
	<i>глава 1.4.</i> Лингвистические и внелингвистические основания «всеобщего», «универсального», «личностного», «национального», «культурно-специфического» и прочего знания <i>А.В. Вдовиченко</i> .....	124
<b>150</b>	<b><i>раздел 2. Понятийный аппарат филологических наук: переводимость и конвертируемость</i></b>	
	<i>глава 2.1.</i> Технологии трансфера междисциплинарных терминов в лингвистику <i>О.К. Ирисханова, М.И. Киосе</i> .....	151
	<i>глава 2.2.</i> Формирование метаязыка лингвокультурологии: принципы междисциплинарного трансфера понятийного аппарата <i>И.В. Зыкова</i> .....	181

*глава 2.3. Неполная переводимость как механизм познания  
и коммуникации И.А. Пильщиков ..... 203*

*глава 2.4. Концептуализация в гуманитарном знании  
и в искусстве: маршруты трансфера В.В. Фещенко ..... 234*

## **254 *раздел 3. Межъязыковое и междискурсивное взаимодействие в перспективе культурных трансферов***

*глава 3.1. Поэтический билингвизм  
как средство межкультурного трансфера Н.М. Азарова..... 255*

*глава 3.2. Гибридизация дискурсов: теоретические основания  
и типы междискурсивного взаимодействия О.В. Соколова ..... 308*

*глава 3.3. Трансферные дискурсивные взаимодействия  
и механизмы взаимного перевода от языка науки  
к языку искусства И.В. Силантьев..... 334*

*глава 3.4. Устное vs. письменное: взаимодействие дискурсов и  
подходы к его изучению Т.Е. Янко, А.Л. Полян ..... 354*

## **405 *раздел 4. Взаимодействие кодов в культурных практиках***

*глава 4.1. Формы изменчивости в языке и культуре:  
типы адаптаций С.Г. Проскурин, А.В. Проскурина ..... 406*

*глава 4.2. Коммуникация и передача  
как формы лингвокультурного трансфера  
С.Г. Проскурин, А.В. Проскурина ..... 428*

*глава 4.3. От знаков культуры к знакам языка:  
теоретические аспекты культурного трансфера  
в процессе формирования фразеологии И.В. Зыкова ..... 451*

*глава 4.4. Фразеологические коды  
и их роль в семиозисе культуры М.Л. Ковшова ..... 468*

## **введение** Теория культурных трансферов: от переводоведения – через cultural studies – к теоретической лингвистике

**В.В. Фещенко, С.Ю. Бочавер**

Предлагаемая коллективная монография посвящена разработке лингвистической теории культурного трансфера на базе мировых практик межъязыкового взаимодействия в современном гуманитарном познании. Под культурным трансфером понимается процесс переноса знаний между разными культурами, профессиональными сообществами и дискурсами. Акцент в теории культурного трансфера делается не просто на одновременном изучении нескольких социокультурных пространств, но на анализе вкраплений, интерференций, гибридизаций, трансформаций, которые при соприкосновении культур проявляются равно в воздействующей и в принимающей культурах. В отличие от межкультурной коммуникации в общем виде, направленной на облегчение общения между представителями разных культур и сравнительное изучение двух отдельных национальных традиций, методология культурного трансфера предполагает исследование механизмов «культурного перемещения» смыслов – тех концептуальных трансформаций, которые возникают при их «импортировании» и «экспортировании» из одной культуры в другую. При таком подходе значимыми являются не столько национально-специфические особенности той или иной культуры или того или иного дискурса, сколько выявляемые траектории «миграции концептов» при взаимодействии двух или более языков. Тем самым демонстрируется, в какой мере какое-либо лингвоспецифическое или идионациональное явление оказывается в действительности сплавом разных культур, взаимовлияний и дискурсных смешений.

Актуальность данной проблемы обусловлена, с одной стороны, постоянно возрастающим числом контактов между языками и появлением в конце XX – начале XXI вв. универсального многоязычного коммуникативного пространства и включением в него все большего числа говорящих. С другой стороны, при динамично нарастающем ин-

формационном потоке данных и знаний ощущается нехватка аналитических инструментов для «переформатирования» знаний из одних дисциплинарных областей и видов дискурса в другие. Так, в межнаучной коммуникации среди гуманитариев обнаруживаются существенные пробелы во взаимопонимании представителей разных областей знания – философии и филологии, лингвистики и литературоведения. Международному общению специалистов-гуманитариев также зачастую препятствуют несоответствия между различными национальными традициями в гуманитарной науке, особенно в части специфических метаязыков, терминов и концептов. Требуется выделение как универсальных, так и идиокультурных стандартов представления и концептуализации знания, а также реконструкция «маршрутов» переноса терминов, концептов и понятий из одних национальных школ в другие. Все эти обстоятельства указывают на необходимость комплексного проблемно-ориентированного изучения техник культурного трансфера в условиях многоязычного обмена экспертными знаниями.

Проблема конвертируемости знаний между разными культурными практиками и научными теориями в гуманитарном знании отвечает сложившейся современной ситуации, при которой представители разных дисциплин зачастую вынуждены признавать отсутствие общих оснований для профессионального диалога и обмена экспертными знаниями на границе сопряженных областей, научных традиций и культурных ареалов. Это обстоятельство проявляется на трех уровнях: межнаучном, внутринаучном и межъязыковом. В первом случае встает проблема интеграции языков различных наук – филологии и философии, лингвистики и литературоведения, философии и богословия, лингвистики и культурологии и т. д. Каждая из этих дисциплин оперирует своим набором терминов, подчас не конвертируемых одни в другие и вызывающих препятствия в межнаучных контактах. Таким образом, в науке сейчас активно обсуждается вопрос о лингвистических способах достижения взаимопонимания («девавилонизации») в разных ситуациях гуманитарного познания и коммуникативных практиках. Во втором случае возникает задача сопряжения терминов в рамках одной и той же дисциплины, разделенной на более мелкие дисциплинарные зоны. Так, в лингвистике, с одной стороны, расширение эмпирической базы исследования порождает конфликт при столкновении теории с новыми эмпирическими фактами, а с другой – разветвленная система терминов и методов в рамках лингвистики нередко приводит к неадекватности в обработке и осмыслении языкового материала. Следовательно, возникает необходимость в оптимизации этой терминологической

системы и в создании толкового метаязыкового словаря-гlossария в условиях диверсификации лингвистических дисциплин и адаптации к включению нового материала в сферу анализа. В третьем же случае проблема трансляции знаний встает особо остро при взаимодействии разных видов дискурсов и при множественных языковых контактах в этих дискурсах. В ситуации многоязычия и глобализованного культурного пространства наших дней такие взаимодействия оказываются особо актуальными и показательными при изучении типологии и родства языков, дискурсивных трансформаций, когнитивных и прагматических методиках оперирования языком и т. д.

В связи с отмеченными обстоятельствами, наиболее перспективным подходом к анализу межнаучных, внутринаучных, межъязыковых и междискурсивных взаимодействий в глобализованном социокультурном пространстве представляется общегуманитарная теория «культурного трансфера» (франц. *transfert culturel*, англ. *cultural transfer*, нем. *Kulturtransfer*)<sup>1</sup>. Данная теория первоначально была разработана в 1980-е гг. в довольно узком контексте истории литературы французскими литературоведами и историками М. Эспанем и М. Вернером. В самое последнее время эта теория находит применение в широкой сфере исследований культуры. Так, в недавних исследованиях М. Эспаня теория культурного трансфера применена к истории искусства [Espagne 2009] и к области межкультурных взаимодействий [Espagne 1999]. Понятие культурного трансфера отсылает, таким образом, и к эмпирическому плану исследований, и к методологической ориентации самого исследователя, затрагивая широкий спектр гуманитарных и общественных наук [Lüsebrink 2014]. Исследование культурных трансферов предполагает изучение взаимодействий между культурами и сообществами – а также между различными фракциями и группами внутри одной или нескольких культур – в их динамическом развитии [Werner 2006: 1190]. Разработка этой теории отвечает более общему стремлению гуманитариев описывать мультикультурные связи в глобальном аспекте, см., напр.: [Theorizing 2005; Jullien 2008; L'espace culturel 2010; The Trans/National Study 2016; Understanding Cultural Traits 2016].

<sup>1</sup> Термин восходит к лат. *transfere* – «переносить». Теоретики культурного трансфера связывают этот термин с родственными ему по смыслу понятиями *translation*, *transmission*, *traduction*, *transport*, а также по внутренней форме с понятием «метафоры». В междисциплинарном термине *трансфер* выделяются два свойства: транзитивность (переходность) и векторная направленность [Moser 2014: 51, 57].

Исследование, послужившее основой настоящей коллективной монографии, направлено на изучение лингвистических механизмов трансляции знаний в межкультурном и междискурсивном пространстве и выработку лингвистических технологий более эффективной конвертации знаний в другие культуры. Именно лингвистика в ее современном, коммуникативном варианте способна предложить новый инструментарий анализа переводимости текстов одной культуры в тексты другой культуры. Как отмечает автор статьи о теории «культурного трансфера», примером успешной технологии межкультурного обмена знаниями служит «работа лингвиста, который в изучении коммуникативной ситуации должен учитывать не только отношения говорящего и воспринимающего, но и все те условия, что создают контекст ситуации говорения-восприятия» [Дмитриева 2011].

### **Трансфер: история термина в междисциплинарной перспективе**

Термин *трансфер* в современном русском языке и в большинстве европейских языков имеет очень широкое хождение в самых разных областях науки и жизнедеятельности. В туристическом бизнесе он означает перевозку пассажира от какого-либо транспортного узла до определенного пункта назначения. Под «банковским трансфером» понимается перевод денег между счетами. В спортивной индустрии «трансфер» представляет собой переход игрока из одной команды в другую. Разнообразно значение этого термина в экономике: «трансфером технологий» считается передача авторского права на ту или иную инновацию иному лицу. Говорят также о «трансфере бизнес-процессов», «трансфере сертификата», «трансфере информации». Широко распространен термин «трансфер знаний» в образовательной среде. Вариация данного термина в форме «трансферт» (произведенной от фр. *transfert*) имеет множество значений в зависимости от области знаний. Особую специализированную трактовку термин трансфер получил в психологии, где под ним понимается бессознательный перенос определенных чувств и отношений, проявлявшихся к одному человеку, на другого человека.

Исторически именно психологии понятие трансфера (переноса) обязано своим первичным возникновением в качестве научного термина. З. Фрейд впервые описал явление, которое он назвал по-немецки *Übertragung*, в одной из своих работ 1905 года. В переводе на англий-

ский этот фрейдовский термин вошел в научный оборот как *transference*, а на французский – как *transfert*. В русской психологической литературе в настоящее время принято два варианта этого понятия – *перенос* и *трансфер*. Собственно термин *transfer* в английском употреблении проник в научную литературу уже в 1950-е годы на волне структурной лингвистики. Польско-американский лингвист У. Вайнрайх выпустил в 1953 году пионерскую влиятельную книгу «Языковые контакты» (*Languages in Contact*), посвященную билингвизму в многоязычных сообществах [Weinreich 1953]. Одним из явлений, впервые описанных в этой работе, стал *трансфер*, или *интерференция*, – взаимоналожение элементов одной языковой системы на элементы другой языковой системы под воздействием двуязычия. Годом позже, в 1954-м, другой классик языкознания З. Харрис выпустил обширную статью под названием «Грамматика трансфера» (*Transfer Grammar*). В ней термин трансфер уже применяется к структуре языков [Harris 1954]. Здесь говорится о «структурном трансфере» на разных языковых уровнях как об инструменте выявления структурных различий между языками. Таким образом, мы видим, что интересующий нас термин трансфер в нынешнем его понимании возникает именно в научной лингвистике, претерпевая сам многонаправленный трансфер между дисциплинами, национальными научными традициями и парадигмами в науке. В дальнейшем термин прodelывает концептуальную эволюцию, выходящую за пределы чистого языкознания в другие гуманитарные дисциплины. В частности, большую применимость понятие трансфера нашло в теории перевода. Для того, чтобы проследить эту эволюцию, мы проведем ниже экскурс в несколько последовательно развивавшихся теорий языка, коммуникации и перевода от 1950-х до 2010-х годов.

Осмысление того, как в различных лингвистических теориях моделируется естественная коммуникация и какие средства могут быть использованы при ее описании, сказывается на понимании перевода. Концепции перевода и представления о том, к чему должен стремиться перевод, как может выглядеть переводной текст и как устроены его отношения с оригиналом, невозможно рассматривать в отрыве от более общих взглядов на общение в целом. Образы языка и коммуникации, сформированные в разных парадигмах, оказывают непосредственное влияние на оценку перевода, билингвизма и взаимодействия языков и культур (культурного трансфера), а впоследствии, будучи транслированными в другие области гуманитарного знания и деятельности человека, участвуют в формировании паттернов поведения и социального взаимодействия.

## Структурализм

Теория перевода формируется в эпоху господства структурализма в лингвистике и в ходе своего развития оказывается неразрывно связана с общими построениями в области моделирования коммуникации. Широкое распространение в лингвистике получили различные модели коммуникации, опирающиеся на понимание коммуникации и ее модель, разработанные в математике и кибернетике. Известная модель, предложенная К. Шенноном и У. Уивером<sup>1</sup>, представляет собой линейно соединенный набор элементов, между которыми однонаправленно передается информация. Модель показала свою эффективность на практике, именно по этой схеме может быть устроено «общение» двух радиоприемников. Поскольку все элементы этой модели можно выстроить в одну цепочку, ее и все модели, основанные на ней, можно называть *линейными*.

Структурализм в погоне за универсальными схемами и объяснениями сложных процессов с энтузиазмом переносит эту модель на общение между людьми, где язык выступает в роли общего кода, а высказывания, построенные на основании общего кода, занимают позицию сообщения. Видимо, одним из первых схему Шеннона-Уивера перенес в сферу вербального общения Г.Д. Лассвел, предложив в 1948 году знаменитую формулу, в которой были сформулированы основные для изучения коммуникации вопросы: Who? Says what? In which channel? To whom? With what effect? (Кто? Что говорит? В каком канале? Кому? С каким эффектом?). Эта схема включает отправителя, сообщение, канал и получателя. Важным ее компонентом является *эффект*, который достигается в результате коммуникации. Эффект, отсутствующий в кибернетической модели, является важной составляющей на пути к пониманию специфики коммуникации между людьми, а также переноса знания и перевода с одного языка на другой.

Кибернетическая модель адаптируется к специфике человеческого общения. Например, У. Шрамм предлагает добавить второе направление передачи информации, то есть его модель, в отличие от модели Шеннона-Уивера, становится циклической и интерактивной, то есть сообщение может передаваться от одного участника к другому и обратно [Schramm 1954]. Опираясь на разработки в области теории ком-

<sup>1</sup> В данном случае мы объединяем обе кибернетические модели (базовую модель и модель, включающую понятие корректировки шума) [Shannon, Weaver 1969; Shannon 1948].

муникации, в 1960 г. Д. Берло предложил формулу SMCR ('отправитель', message 'сообщение', channel 'канал', receiver 'получатель') [Berlo 1960].

Кульминацией развития линейных моделей коммуникации можно считать модель Р.О. Якобсона [Якобсон 1975: 198], позволившую связать функции языка с компонентами коммуникативного процесса и благодаря этому объяснить существенные различия между текстами. Тексты как результаты коммуникации различаются между собой по тому, какая функция языка (и связанный с ней компонент коммуникации) выходит на первый план. Именно на общей теории коммуникации базируется и структуралистская теория перевода. Идея кода, состоящего из дискретных знаков, становится определяющей для осмысления возможностей перевода и позволяет выстроить в один ряд и классифицировать как перевод явления, которые в жизненной практике далеки друг от друга:

«Мы различаем три способа интерпретации вербального знака: он может быть переведен в другие знаки того же языка, на другой язык, или же в другую, невербальную систему символов. Этим трем видам перевода можно дать следующие названия:

1) Внутриязыковой перевод, или переименование, – интерпретация вербальных знаков с помощью других знаков того же языка.

2) Межъязыковой перевод, или собственно перевод, – интерпретация вербальных знаков посредством какого-либо другого языка.

3) Межсемиотический перевод, или трансмутация, – интерпретация вербальных знаков посредством невербальных знаковых систем» [Там же].

В той же статье Якобсон отмечает, что «чаще всего при переводе с одного языка на другой происходит не подстановка одних кодовых единиц вместо других, а замена одного целого сообщения другим. <...> в переводе участвуют два эквивалентных сообщения, в двух различных кодах» [Там же]. Правильность этого утверждения может быть подтверждена многочисленными примерами. Не меньшее количество примеров из области художественного перевода демонстрирует нам, что даже при использовании целого сообщения вместо подстановки одних кодовых единиц вместо других эквивалентность оригинала и перевода достигается лишь частично. Вместе с тем исходное утверждение выходит за пределы структуралистской парадигмы. Якобсон не дает нам ответа, почему кодов оказывается недостаточно, почему эквивалентность между двумя сообщениями не устанавливается ни в случае перевода отдельных элементов, ни в случае использования нового сообщения в качестве перевода.

Эквивалентность при существовании различия – это кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики. Именно этой проблеме посвящена классическая работа З. Харриса «Грамматика трансфера» (1954), в которой излагаются принципы сопоставления языков на разных структурных уровнях. Утверждается, что *трансфер* (transfer) может быть дополнительным термином к *переводу* (translation). Если перевод (в ту эпоху особенно машинный перевод) осуществляет перекодирование информации по единицам, формам и смыслам, то трансфер мыслится как соположение глубинных структур различающихся языков и инструмент выявления меры отличия языков друг от друга<sup>1</sup>.

Ключевые идеи, лежащие в основе структурного подхода к общению и перевода как его разновидности, таковы:

- Системность (всеобщность) коммуникации как процесса.
- Дискретность единиц, включенных в коммуникацию.
- Сопоставимость кодов. Возможность нахождения однозначных соответствий внутри них.
- Утопия тотальной переводимости.

Ожидание тотальной переводимости, совмещенное с представлением о дискретном характере единиц, включенных в коммуникативный акт, парадоксальным образом приводит к осознанию коммуникативного пространства как пространства, наполненного барьерами, границами и препятствиями. Неслучайно в работах о переводе, выполненных в структуралистском ключе, часто фигурируют «трудности перевода», «проблемы перевода», разыскиваются структурные эквиваленты в пределах двух языков.

Рефлексия относительно неполноты перевода, неполного совпадения кодов у отправителя и получателя сообщения позднее получит плодотворное развитие в рамках московско-тартуской семиотической школы, а также Тель-Авивской школы И. Эвен-Зохара.

## **Межкультурная коммуникация**

Приблизительно в то же самое время в рамках направления, которое сейчас называется межкультурной коммуникацией, формируется взгляд на перевод, во многом противоположный структуралистскому.

<sup>1</sup> Термином «трансферные механизмы» (transfer mechanism) применительно к практике и теории перевода пользуется также другой крупный американский лингвист и теоретик перевода Ю. Найда, напр., в работе [Nida 1964].

Межкультурная коммуникация как понятие и метод разрабатывается во второй половине 1950-х гг. Э. Холлом в США. Холл был специалистом в области культурной антропологии, а на его лингвистические интересы оказало большое влияние знакомство с тем, что сейчас принято называть *теорией или гипотезой лингвистической относительности*. Холл на протяжении долгого времени работал в тесном сотрудничестве с Дж.Л. Трагером, учеником Б. Уорфа [Carroll 1940/1956; Hockett 1993]. Важно вспомнить, что вдохновитель Уорфа Э. Сепир отождествляет язык и коммуникацию: «Язык – это преимущественно коммуникативный процесс во всех известных нам обществах» [Сепир 1993: 211]. Иначе говоря, одна из принципиальных установок существенно отличается от структуралистской. Структуралистов индивидуальная коммуникация интересует только как отражение языка, а лингвистам-антропологам язык нужен только для описания коммуникации.

Главное отличие концепции Холла от структуралистского понимания коммуникации заключается в том, что она индивидуальна, для Холла наиболее интересен опыт общения двух индивидов, двух представителей двух культур. Такой подход в значительной мере обусловлен обстоятельствами профессиональной деятельности Холла: его концепция была выработана, когда он был преподавателем и готовил американских дипломатов к службе за рубежом. В этой ситуации акцент делается на том, как общение двух отдельных представителей двух произвольно взятых культур можно сделать более успешным и продуктивным. Перевод в рамках межкультурной коммуникации становится практическим медиатором успешного общения. У Холла не было идеи тотальной переводимости, скорее наоборот – как последователь Уорфа он ориентировался на непереводимость как исходную ситуацию общения. Перевод в рамках этой концепции коммуникации в большей мере преодоление очень существенных различий между двумя представителями несхожих культур, чем возможность отправки эквивалентных сообщений. Культура приравнивается к коммуникации, а коммуникация к культуре: “Culture is communication and communication is culture” [Hall 1959: 186].

Именно ориентация на практику, на бытовые и заурядные ситуации делает для исследователей межкультурной коммуникации явно недостаточным знание кода в его сугубо лингвистическом понимании. Благодаря этому исследователи стали все больше внимания уделять взаимодействию вербального и невербального, изучая более пристально различия культур в невербальном поведении. Проксемика, впервые описанная именно Холлом, сейчас активно изучается в разных странах.

Важным открытием межкультурной коммуникации становится наложение на языковой код еще целого ряда других кодов, того, что сегодня мы могли бы назвать *кодами культуры* [Ковшова 2012]. Как отмечал У. Эко, «далеко не все коммуникативные феномены можно объяснить с помощью лингвистических категорий» [Эко 1998: 121]. Таким образом, совмещение структурного и межкультурного подходов позволяет приблизиться к более современному пониманию коммуникации, где вербальное и невербальное поведение рассматриваются в тесной взаимосвязи (см., например, [Knapp 2006]).

Несмотря на различия между теоретическими установками структурализма и межкультурного подхода, можно выделить несколько важных идей, в которых проявляется сходство этих двух направлений:

- Дискретность единиц, включенных в коммуникацию. (Два индивида).
- Кодовый характер коммуникации.
- Оппозиции как средство описания культур и коммуникации.

### **Московско-тартуская семиотическая школа и Тель-Авивская школа И. Эвен-Зохара**

Очевидные ограничения и изъяны кодовых моделей легко заметить, однако в рамках московско-тартуской семиотической школы многие идеи структурализма получили одновременно и критику, и развитие. Семиотика перенимает у структурализма идею абстрагирования структуры от конкретного материала и переносит структурные принципы на описание внеязыкового материала.

Внимание к коду позволяет описать в рамках семиотического подхода динамику культуры, образование новых смыслов, а значит, и общие механизмы развития знания. Так, Ю.М. Лотман считал, что не может быть двух говорящих, обладающих тождественными кодами. «Нетрудно заметить, что функциональная установка такой схемы коммуникации (схемы Jakobsona – В.Ф., С.Б.), объясняя механизм циркуляции уже имеющихся сообщений в том или ином коллективе, не только не объясняет, но и прямо исключает возможность возникновения новых сообщений внутри цепи “адресант–адресат”» [Лотман 2010б: 560]. По Лотману, общение – это одна из разновидностей перевода, совершаемого при частичном совпадении кодов, которыми владеют коммуниканты. Лотман ставит вопрос о возможности изучения смысла, который является «ядром коммуникации», его возникновения и передачи в ходе ком-

муникации: «Коммуникация между неидентичными отправителем и получателем информации означает, что “личности” участников коммуникативного акта могут быть истолкованы как наборы неадекватных, но обладающих определенными чертами общности кодов. Область пересечения кодов обеспечивает некоторый необходимый уровень низшего понимания. Сфера непересечения вызывает потребность установления эквивалентностей между различными элементами и создает базу для перевода. <...> Сфера непересечения кодов в каждом “личностном” наборе постоянно усложняется и обогащается, что одновременно делает сообщение, идущее от каждого субъекта, и более социально ценным, и труднее понимаемым» [Лотман 1992: 100]. Иными словами, Лотман проблематизирует эквивалентность сообщений, а перевод между языками осмысляется как частный случай коммуникации, где динамика и приращение смысла обеспечиваются неполным совпадением кодов и необходимостью постоянного обновления кода для поддержания коммуникации.

Эта мысль получает развитие в работах Лотмана разных лет. Одна из формулировок выглядит следующим образом: «Если для передачи информации достаточно одного канала (и одного языка), то для выработки новой – минимальная структура требует наличия двух разных языков. Если принципиальная неадекватность при пересечении двух различных языков прежде выглядела как причина помех в канале связи, то теперь она становится механизмом и основой выработки нового. Проблема полиглотизма структур и перевода приобрели доминирующее значение» [Лотман 2010а: 36]. *Полиглотизм структур* оказался средством преодоления дискретности материала. Одним из важных достижений московско-тартуской семиотики стало привлечение к анализу материала, неограниченного формально: «При изучении культуры исходной является предпосылка, что вся деятельность человека по выработке, обмену и хранению информации обладает известным единством. Отдельные знаковые системы, хотя и предполагают имманентно организованные структуры, функционируют лишь в единстве, опираясь друг на друга. Ни одна из знаковых систем не обладает механизмом, который обеспечивал бы ей изолированное функционирование» [Иванов et al. 1973: 932]. Оказалось, что кино можно продуктивно сравнивать с литературой и живописью. От поэзии к архитектуре и языку пчел исследователь, действовавший в рамках этой школы, мог переходить легко и беспрепятственно при помощи единого метаязыка описания. Несмотря на то, что в практическом виде эта возможность применялась не всеми, для всех оказались снятыми бинарные оппозиции

традиционных компаративистики, структурализма или межкультурных исследований. Семиотика вышла из ситуации, где было необходимо изучать объекты попарно, показав более наглядно, чем другие направления, континуальность знакового пространства.

Другой теорией перевода, концептуально близкой и отчасти nasledующей московско-тартуской, стала концепция полисистемы израильского теоретика языка и культуры И. Эвен-Зоара. В 1970-е гг. он начинал свои исследования еще как структуралист, предложив многоуровненную структурную теорию текста [Even-Zohar 1972]. Однако вскоре он стал одним из первых критиков «статического структурализма» и развивал свою концепцию «динамического структурализма», в котором основную роль играло понятие «открытой системы систем», описывающее гетерогенность и вариативность «социокультурных систем». В русле этого нового подхода, опираясь уже на труды русского формализма и московско-тартуской школы, израильский ученый выполнял исследования не «текстов», а того, что он называл «литературными системами» в их динамических взаимоотношениях (в его терминологии, «полисистемами»). В 1980-е гг. эти исследования выполнялись группой последователей Эвен-Зоара, которые составили так называемую Тель-Авивскую школу в переводоведении.

Согласно теории перевода Эвен-Зоара, различия (преодолимые и непреодолимые) между оригинальным и переводным текстом обусловлены действиями, регулируемые внутриязыковыми нормами. В статье 1981 года [Even-Zohar 1981] с характерным названием «Теория перевода сегодня: призыв к теории трансфера» утверждается, что переводческие процедуры между двумя системами (языка и/или литературы) в принципе своем аналогичны *трансферам* различного рода в пределах одной системы. Актуализируется теория коммуникации Якобсона применительно к новым теориям перевода, согласно которым *трансферные механизмы*, т. е. процедуры, по которым текстуальные модели одной системы переносятся на другую систему, составляют главные параметры той или иной системы. Построение на базе теории перевода теории трансфера должно служить, с одной стороны, преодолению сложностей статического понимания отправляющей и принимающей систем, а с другой – внедрению в практику перевода концепции подвижных полисистем. В статье также формулируется ряд гипотез новой теории трансфера:

«Гип. №1. Теория перевода будет более адекватной, если станет частью более общей теории трансфера, в которую она внесет свой вклад.

Гип. № 2. Межсистемные и внутрисистемные трансферы будут считаться гомологичными.

Гип. № 3. Продукт трансфера, т. е. переведенное высказывание/текст, не будет считаться таковым, если и только если не будут выполнены определенные правила соотношения между оригинальным и переводным текстом.

Гип. № 4. Продуктом трансфера будут считаться не только реальные тексты, между которыми можно установить соотношения оригинала-перевода, но и переводные тексты, возводимые к какой-то одной модели или множеству моделей.

Гип. № 5. Для установления соотношения оригинального и переводного текста, традиционно описываемого в терминах соответствие/несоответствие, вопрос «как и почему элементы переводного текста соотносимы с элементами оригинального текста» заменит вопрос «почему в переводном тексте не хватает определенного элемента текста оригинального».

Гип. № 6. При трансфере/переводе принцип трансфера будет взят как процедура, которая в силу декомпозиции/рекомпозиции, неизбежно вовлеченных в нее, обрабатывает высказывания/тексты так, чтобы они вели себя иначе, чем в оригинале.

Гип. № 7. Данная переводческая процедура (Гип. 6) – лишь наиболее базовый принцип обработки переводного текста. Специфика этой обработки определяется комплексной иерархией семиотических ограничений, самыми сильными из которых являются модели, регулируемые позициональными оппозициями в переводной полисистеме.

Гип. № 8. При ограничениях переводной системы соотносимость переводного и оригинального текста или переводной модели и оригинальной модели зависит от статуса переводной полисистемы, которая с репертуаром своих моделей функционирует в качестве самого сильного ограничения.

<...>

Гип. № 9. (Набросок общего правила перевода) В переводной системе  $B$ , либо в рамках той же самой полисистемы, либо в другой полисистеме, в зависимости от того, в стабильном или кризисном, сильном или слабом состоянии она находится по отношению к оригинальной системе  $A$ , переводной текст  $b$  будет производиться согласно трансферным процедурам, а также ограничениям, наложенным на них внутренними отношениями переводной полисистемы, регулирующими репертуар и регулируемые репертуаром существу-

ющих и несуществующих моделей переводной полисистемы» [Even-Zohar 1981: 6–7]<sup>1</sup>.

Важными для семиотического и трансферного подхода к переводу являются, таким образом, следующие черты:

- Кодовый характер коммуникации при заведомом несовпадении кодов между коммуникантами.
- Поликодовый характер коммуникации.
- Континуальность культурного пространства.
- Открытость и гетерогенность систем.
- Подвижность и проницаемость полисистем.

### Культурный трансфер

Понятие культурного трансфера формируется в середине 1980-х годов, когда московско-тартуская семиотическая школа уже прошла период своего расцвета, главным образом во Франции. Подобно тому, как «граница между семиотикой и внешним для нее миром сделалась предметом рассмотрения» [Лотман 2010а: 37] в трудах Лотмана, граница между языками и культурами сделалась предметом рассмотрения для М. Эспаня и его последователей<sup>2</sup>. Более пристальное внимание к границе выявило зависимость этого феномена от оптики, сквозь которую мы на него смотрим. Там, где структуралисты видели разграничение и противопоставление, оптика культурного трансфера позволяет увидеть континуальность перехода, трансформационные процессы, сопутствующие переносу знаний и информации из одной культуры в другую.

Трансфер не приравнивается к простому переносу из культуры в культуру (*банальный культурный обмен*, по выражению М. Эспаня), речь идет скорее о циркуляции и преобразовании культурных ценностей и

<sup>1</sup> В позднейшей своей книге [Even-Zohar 2005] тель-авивский ученый распространяет принцип трансфера на всю сферу изучения культурных контактов (так называемая «культурная интерференция»). Развитием идей Эвен-Зохара в переводе занимается и межкультурной коммуникации занимается с 1990-х гг. также австралийский ученый Э. Пим, см., напр., его работу о «текстуальном трансфере» [Pym 1992]. См. также применение данных теорий в концепции «многомерного перевода» (multidimensional translation) [Gerzymisch-Arbogast 2005], а также в исследованиях перевода поэзии [Kenesei 2010].

<sup>2</sup> Первые труды коллектива М. Эспаня и М. Вернера по культурным трансферам начали появляться в конце 1980-х – начале 1990-х гг.: [Transferts culturels 1988; Transferts 1988; Philologies 1990; Von der Elbe 1993].

их переосмыслении или интерпретациях в новых культурах. Именно эти процессы более всего интересуют исследователей культурного трансфера. Как отмечается в программной статье данного направления, трансфер «предполагает материальное перемещение объекта в пространстве. В нем делается акцент на передвижения людей, путешествия, перевозку книг, объектов искусства и прочих благ <...> Трансфер подразумевает глубинную трансформацию в принимающей культуре. Именно установление отношения между двумя системами, автономными и асимметричными, заложено в понятие трансфера» [Transferts 1988: 5]. Как отмечается представителями этого направления, для регистрации явления трансфера необходимо иметь как минимум две различные системы: пространство; и границу между системами в этом общем пространстве. А сам процесс трансфера должен иметь как минимум три составляющие: изъятие из системы-донора; перемещение (собственно акт трансферизации); включение в систему-реципиента [Moser 2014: 58–59]. Несмотря на отсутствие прямых связей между концепцией трансферов и московско-тартуской семиотикой, идея континуальности культурного пространства и включение в коммуникацию одновременно нескольких кодов (культур), а также идея постоянной реинтерпретации в процессе развития культуры позволяет говорить об определенной типологической близости этих направлений.

М. Эспань, обращая свой взгляд в сторону России, не упоминает русскую семиотику, а пишет об интересе к русской традиции компаративных исследований и исследований культуры. Веселовского, Шпета, Бодуэна де Куртене он рассматривает как проводников культурного трансфера [Espagne 2010]. В недавней своей книге [Espagne 2014] исследователь целиком обращается к тематике культурных трансферов между Россией и Германией. Здесь показывается, как немецкая интеллектуальная мысль проникала в Россию в 19–20 столетии, подчас теряя свою актуальность на родине, а в российском контексте, напротив, популярность набирая. Кроме того, демонстрируется, что часто импорт в Россию немецких идей проходил через французские каналы, а в дальнейшем уже из России осуществлялся реэкспорт идей в Западную Европу. Делается вывод о том, что перемещение знания из контекста в контекст «сопровождается трансформацией смысла, апроприацией новым научным контекстом, которому присущи свои ожидания и свои цели» [Idem: 11]. Указывается также, что культурные трансферы никогда не билатеральны в чистом виде, а всегда многонаправлены<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Один из сборников коллектива М. Эспаня посвящен «треугольным» культурным трансферам: [Philologiques 1996].

Теория трансфера снимает, таким образом, оппозиции вида *культура-донор vs. культура-реципиент*, что позволяет представить процесс взаимодействия культур как более комплексный и многоаспектный: «Культурный трансфер никогда не происходит между только двумя языками, двумя странами или двумя культурными областями, практически всегда в процесс вовлечены три участника» [Espagne 2013]. Если традиционный компаративизм сосредоточен на особенностях каждой культуры, а влияния, как правило, моделируются в терминах одностороннего воздействия (вспомним модель Шеннона-Уивера), то культурный трансфер призывает увидеть разнонаправленное взаимодействие языков и культур и предлагает сосредоточиться на имбрикациях, инкрустациях, изменениях, которые затрагивают всех участников взаимодействия. Как отмечает Е. Дмитриева, «компаративизму в гуманитарных науках, исходящему из идеи “особости” каждой культуры, даже когда речь идет о влиянии одной культуры на другую, теория культурного трансфера противопоставляет не просто изучение одновременно нескольких культурных и национальных пространств, но также и изучение имбрикаций, вкраплений, трансформаций, которые при всяком соприкосновении культур проявляются равно в воздействующей и в принимающей культурах. Тем самым в расчет уже берется не бинарная оппозиция – две культуры, одна из которых обязательно осмысляется как культура-реципиент, то есть культура принимающая, – но конструкция, гораздо более сложная» [Дмитриева 2011], см. также [Сравнительно о сравнительном 2014].

Одним из наиболее существенных отличий теории трансферов от структуралистской и постструктуралистской семиотики становится перенос внимания с уровня абстрактных структур на уровень конкретных событий, в которых устанавливаются механизмы культурного переноса и объекты, становящиеся носителями переноса. Эта методология, восходящая к исторической науке<sup>1</sup>, оказывается заинтересована

<sup>1</sup> Отметим, что первоначально теория культурных трансферов находилась именно в русле исторической науки, и первые работы в этой области появились в связи с исследованиями Просвещения в Европе. Рассмотрение текстов просветителей позволило изучить, как именно распространялись идеи [Cultural Transfer 2010]. Первый коллективный сборник о культурных трансферах [Transferts 1988] посвящен межкультурному взаимодействию между Францией и Германией. Развитие и продолжение исследований, начатых в 1980-е, опубликовано в [Espagne 1999]. См. также об историческом аспекте трансфера [Middell 2000], [Eisenberg 2005] и [Werner, Zimmermann 2006].

в том, что не попадало ни в поле зрения семиотики, сфокусированной на макроуровне культуры, ни межкультурного взаимодействия в версии Холла, сосредоточенного на микроуровне межличностной коммуникации.

Как и в случае с другими рассмотренными выше теориями, перевод с языка на язык для исследователей культурного трансфера оказывается лишь одной из версий трансфера, одним из вариантов того, как может осуществляться перенос. Переводной текст объективирует процесс переноса, заимствования из одной традиции в другую. Важно, что перевод перестает оцениваться в терминах эквивалентности/неэквивалентности, перестает быть удачным или неудачным, расхождения между оригиналом и переводом более всего занимают исследователя, поскольку именно в них и проявляется динамика трансфера. Результат культурного переноса рассматривается как ценный и самодостаточный: «это означает, что транспозиция, сколь бы удалена она не была, настолько же легитимна, как и оригинал. Культурный трансфер лишь иногда выливается в перевод. Достаточно сопоставить издание романа на каком-нибудь языке и его перевод на другой язык, понаблюдать за дискурсом сопутствующего задника обложки, иллюстраций, форматов, эффектов контекста серии и даже типографики, чтобы увидеть, что перевод ни в коем случае не является эквивалентом» [Espagne 2013].

Вместе с тем переводные тексты на современном этапе развития теории трансферов встают в один ряд с другими носителями межкультурных переносов [Transfert 2014]. На современном этапе развития теории культурных трансферов (transfer studies) исследуются самые разные носители культуры как инструменты переноса, изучаются среды, где происходят взаимодействия и снимаются границы. В [Music 2009] рассматривается влияние парижских музыкальных театров на культуру Европы и Америки; джазовая музыка тоже может быть исследована как носитель трансферов [Zenni 2016]. Ряд исследователей представляет семью как пространство культурного трансфера: культурная информация транслируется из поколения в поколение внутри одной семейной структуры [Attias-Donfut 2003]. Естественно, включение представителя другой культуры в семью меняет набор культурной информации, циркулирующей в ней. Династические браки, таким образом, рассматриваются как инструмент культурного трансфера, влияющий не только на одну семью, но и имеющий значительные последствия для культуры в целом [Early Modern 2016]. Миграции между Пиренейским полуостровом и Северной Африкой рассматриваются как проводники культурного трансфера в [Poetry 1996].

Исследователями различаются внутрикультурный и межкультурный трансфер [Moser 2014: 62–64]. Внутрикультурный трансфер предполагает рассмотрение какой-либо культуры в ее внутренней мобильности и гетерогенности. Кроме того, внутрикультурный трансфер связывается с понятием интердискурсивности.

Концепция культурного трансфера может быть представлена следующими ключевыми тезисами:

- продуктивность изменений в рамках континуального культурного пространства.
- равенство взаимодействующих сфер.
- принятие новых форм и не всегда заранее предсказуемых результатов взаимодействия.

Эти идеи оказались настолько соответствующими духу времени и потребностям современного общества, что фрагменты теории трансфера или некоторые ее термины были продуктивно заимствованы самыми разными сферами человеческой деятельности: образованием [Odlin 1989; Kanu 2005; Mayer 2012; Fontaine, Goubet 2016], политикой [Velde 2005], политической философией [Gasimov, Aksakal 2015], торговлей [Kaiser 2005] и менеджментом [Ogbor, Williams 2003], которые все чаще описываются в терминах трансфера. В гуманитарных исследованиях теория культурного трансфера находит в последние годы очень обширное применение, см., издания: [Turgeon et al. 1996; Aneignung 1998; Лагутина 2008; Cultural Transfer 2010; In the Vanguard 2010; Cultural Transfers 2011; Rethinking Cultural Transfer 2012; Lüsebrink 2012; Zwischen Transfer 2013; Du transfert 2015; Культурные трансферы 2015]. Обнаруживаются пересечения трансферных исследований и штудий по истории понятий (Begriffsgeschichte). При этом история понятий обретает мультязыковое и мультинациональное измерение [Lüsebrink, Reichardt 1994; Wendland 2012]. В Нидерландах в настоящее время издается научная книжная серия под названием *Studies on Cultural Transfer & Transmission (CtaT)*.

Отдельно обсуждается соотносимость теории культурного трансфера и теории перевода: [De la traduction 2007; Traductions scientifiques 2008; Found in Translation 2016]. Статус переводного текста радикально изменяется, когда исследователь встает на позиции культурного трансфера. Одной из пионерских работ в этой области является [Snell-Hornby 1990], где предлагается критический обзор теории перевода в Германии и осуществляется разделение теорий перевода на ориентированные на язык и ориентированные на культуру. Позднее [Snell-Hornby 2006] была предложена историческая интерпретация концеп-

ций перевода: до 1980-х преобладала языковая парадигма, в 80-е сменившаяся культурной, а в 90-е им на смену пришла междисциплинарная концепция. В недавних работах отмечается необходимость адаптации традиционного переводоведения и методологии культурного трансфера друг к другу, в частности [D'hulst 2012] обращается к количественным и качественным данным из истории бельгийской литературы и франко-фламандских переводов. [Dick 2014] призывает пересмотреть, как читаются, воспринимаются и критикуются переводы в философии, истории, политологии, и представляет некоторые примеры новых проблем, с которыми сталкивается переводоведение: автоперевод в постколониальной ситуации, культурно-обусловленные сложности перевода китайского кино, зависимость значения от языка и культуры аудитории-адресата (США и Ливан), трудности вербально-визуального перевода в контексте современного маркетинга.

Не менее плодотворно идеи трансфера могут быть применены в различных областях лингвистики. С одной стороны, с этих позиций могут рассматриваться проблемы внутринаучного и межнаучного трансфера идей, терминов и концепций. С другой стороны, современный контекст существования языков и производства значительной части языкового материала в мультикультурной среде требует именно такого подхода. Лингвистика, таким образом, может более подробно рассмотреть материал, относящийся к пограничным явлениям, не получивший еще достаточно подробного описания, или вновь обратиться к описанию известных явлений, но вписать их в более широкий спектр гуманитарных исследований.

## О содержании коллективной монографии

Настоящая коллективная монография состоит из четырех разделов. **Первый раздел** посвящен наиболее общей проблематике культурного трансфера на границах гуманитарного знания в том виде, в каком трансферизация знания предстает перед нами по данным языка. В **главе 1.1** описываются предпосылки конструирования лингво-семиотических механизмов трансферизации, или трансфера знаний. Такое конструирование может быть осуществлено на основе изучения смысловых модификаций при переносе и адаптации знаний в сфере познания в ситуациях взаимодействия разных сфер социокультурной деятельности человека. Выделяются различные типы знания и соответственно различные эпистемологии гуманитарных наук. Описываются

ситуации трансферизации знания в социокультурной сфере, ее направления и способы («переформатирование», «спецификация» и т. п.), а также модификации при такой трансферизации. Анализируются корректирующие (исправляющие) процессы и процедуры при трансфере знания.

**Глава 1.2.** уточняет сам термин «трансфер знаний». Здесь выделяются и классифицируются языковые средства – языковые «техники» трансфера знаний. Рассматриваются некоторые классы языковых техник, используемых для подачи научных положений. Различаются межпоколенный и междисциплинарный трансфер. На примере понятия «интеллектуальная (или научная) революция» выводятся параметры научного дискурса в его междисциплинарности, межпоколенности и межэпохальности. Различные межпарадигмальные переходы – в том числе трансферы знаний – обслуживаются различными же языковыми техниками для демонстрации объяснительной силы, новаторства и превосходства над конкурирующими (предшествующими) теориями, для того чтобы констатировать рождение новой научной эпохи и воспитать новые поколения исследователей в духе этой новой эпохи. Есть языковые техники для демонстрации междисциплинарных и «трансдисциплинарных» научных решений, а также для ниспровержения того, что ранее казалось очевидным.

**В главе 1.3.** ставится проблема «девавилонизации» в гуманитарном знании – поиска техник взаимопонимания в условиях концептуального многоязычия. Особое внимание уделяется коммуникационно-дискурсивному плану функционирования и развития знания в гуманитарном познании, а именно осмыслению роли фактора взаимопонимания в гуманитарном познании и общении, осмыслению значимости субъективно-личностных факторов в процессах трансферизации знания – предпочтений и запретов, принятия и непринятия личностных миров и позиций другого и т. д. В данной главе излагаются теоретико-методологические основания и принципы «языковой девавилонизации» в современной культуре. Даются примеры современных опытов и проектов реализации этого трансферного процесса трансляции знания.

Категория знания интересует лингвистическую науку по мере участия этого понятия в описательной модели, создаваемой (созданной) для концептуализации вербальных данных. **Глава 1.4.** развивает положения о лингвистических и внелингвистических основаниях различного рода знания («всеобщего», «универсального», «личностного», «национального», «культурно-специфического» и прочего). Здесь идет речь о поисках эффективной описательной модели вербального фак-

та (подобно стандартной модели «атома» в физике) и некоем условном полувакантном месте в этой модели, занимаемом чем-то, что может быть названо знанием. Обсуждается проблема субъективности (субъектности) знания, в том числе «знания языка», «знания вербальных знаков». В акциональной (дискурсивной) модели вербального факта, излагаемой здесь, область «подлежащего» («место знания») занимает коммуникативная ситуация в каждый из ее моментов (дискурс). Ее, ситуацию, участники коммуникации действительно не могут подвергнуть какому-либо сомнению, отрицать, «по умолчанию не знать». Несмотря на то, что дискурс неизбежно интерпретируется, стремление к успешности коммуникации заставляет говорящего искать в его рамках подлинные единства и тождества («знания»), общие и актуальные для участников коммуникативного взаимодействия.

Если первый раздел посвящен межкультурным и внутрикультурным трансферам на уровне разных гуманитарных дисциплин, то в **разделе втором** оптика сужается до межнаучных и внутринаучных трансферов в лингвистике как научной дисциплине. Ставятся проблемы переводимости и конвертируемости в понятийном аппарате филологических наук. Предметом **главы 2.1.** становятся технологии трансфера междисциплинарных терминов в лингвистику. Авторами главы отмечается, что интенсивный трансфер знаний между разными науками приводит к еще большей пластичности терминологических единиц, не отменяя относительной жесткости и определенности их понятийного содержания в каждой конкретной дисциплине. Поднимается вопрос о том, какие технологии могут использоваться в современной науке для оптимизации трансфера знаний. Под технологией подразумевается комплекс установок, способов и средств, применяемых для трансфера знаний между дисциплинами, при этом в качестве средства такого трансфера выступают специальные номинативные единицы. Рассматриваются некоторые технологии трансфера знаний в лингвистику на примере терминов, обозначающих *событие, фигуру и фон и инференцию*. Использование разных технологий отражает этапы формирования научной терминосистемы в условиях интеграции разных наук. Трансфер терминов в науке осуществляется в несколько этапов, для каждого из которых характерны свои частные технологии взаимодействия сближающихся областей терминологического и нетерминологического знания.

В **главе 2.2.** ее автор обращается к проблеме построения метаязыковой системы лингвокультурологии как области интегрированного научного знания. Объектом анализа является метаязык лингвокультурологии, формирующийся в одном из ее национальных ответвлений,

которое представляет собой отечественная лингвокультурология, развивающаяся в общем полинациональном пространстве многомерного научного знания о природе и глубинных механизмах взаимодействия культурных и языковых процессов. Здесь описывается междисциплинарный трансфер как одна из ведущих технологий создания метаязыка лингвокультурологии. Одним из основных принципов междисциплинарного трансфера является интегрирование знания разных наук и на его основе импортирование и одновременно генерирование метаязыковых единиц лингвокультурологии, совокупно образующих иерархически организованную систему. Посредством междисциплинарного трансфера осуществляется не только развитие, но и обновление метаязыковой системы лингвокультурологии за счет импортирования в нее не столько новых единиц, сколько релевантных знаний как источников, из которых черпаются внутренние ресурсы лингвокультурологии для всецелостного постижения ее особого объекта – культуры и языка в их взаимодействии.

В **главе 2.3.** проводится анализ неполной переводимости (лингвистической и концептуальной) некоторых научных понятий из истории языкознания и литературоведения. Модели кода и коммуникации Р.О. Якобсона, Ю.М. Лотмана и других ученых изучаются здесь как факт культуры, служа примером интеллектуального и культурного трансфера. Трансформации в истории и эволюции понятий демонстрируются здесь как наглядный пример продуктивного переосмысления понятия в процессе множественных трансферов, включающих в том числе переводы с одного национального языка на другой и переключения из одной концептуальной системы в другую.

Задачей **главы 2.4.** является рассмотрение концептуализации как методологической процедуры в ее исторической эволюции как результата межкультурного и внутрикультурного терминологически-концептуального трансфера. Проводится экскурс в историю идей о «концепте» и их миграции из одних дисциплинарных областей в другие в ходе эволюции гуманитарного и художественного знания в европейской культуре. Показывается, как понятие концепта преодолевало не только национально-лингвистические границы, но и такие, казалось бы, менее проницаемые границы, как научный и художественный дискурс. Рассматриваются маршруты культурного трансфера понятия «концепт» по данным его языковой представленности и дискурсивной выраженности.

В **третьем разделе** от уровня гуманитарного знания в целом (межнаучный трансфер) и уровня лингвистического знания (внутринаучный трансфер) авторы монографии переходят к уровню языка и дис-

курса как эмпирической базы исследований. **Глава 3.1.** посвящена межъязыковому взаимодействию в литературе. Поэтический билингвизм рассматривается здесь как средство межкультурного трансфера и осмысливается с лингвистической и семиотической точки зрения. Анализируются когнитивные основания поэтического билингвизма и способы его реализации как инструмента культурного трансфера. В частности, выделяются особые «слова трансфера» у поэтов-билингвов. Такие слова-шифтеры могут обеспечивать не только двухсторонние, но и многосторонние отношения, что можно считать классическим трансфером. Показывается, что модель культурного трансфера работает не только внутри художественного текста, но и становится применимой к самому конструкту личности билингва. Одним из инструментов культурного трансфера служит для билингва перевод на третий язык. Отмечается связь билингвизма и иных семиотических переносов (переходов на иные знаковые системы).

В **главе 3.2.** излагаются теоретические основания и типы междискурсивного взаимодействия. Междискурсивное взаимодействие представляет собой такой процесс взаимодействия дискурсов, который определяется типологическим сходством, параллельным развитием и апроприацией отдельных дискурсивных элементов, интерференцией как результатом влияния базового (или доминантного) дискурса и обратным воздействием со стороны других дискурсов в новой социокультурной ситуации. Типологические особенности и процесс взаимовлияния дискурсов как в историческом аспекте, так и в синхронии рассматриваются здесь на примере взаимодействия авангардного поэтического, PR- и рекламного дискурсов. В главе раскрывается также проблема гибридизации дискурсов. Выявленные типы междискурсивного взаимодействия (интерференция, контаминация и монтаж) отражают многообразие гибридных дискурсивных практик, получающих различные формы на разных этапах взаимодействия как в историческом аспекте, так и синхронии.

Трансферные дискурсивные взаимодействия и механизмы взаимного перевода от языка науки к языку искусства стали материалом **главы 3.3.** В первой части главы сюжетный смысл литературного произведения анализируется как среда и условие возникновения и функционирования трансферных механизмов в дискурсах культуры. Смысл как таковой – это, по существу, ментальное событие понимания как встречи субъектов в коммуникативном акте, и за ними – встречи, пересечения, переход одного в другой самих дискурсов, представленный в акте коммуникации высказываниями субъектов. Анализу трансферных дискур-

ных взаимодействий научной и художественной традиций посвящены две следующих части главы.

В **главе 3.4.**, состоящей из двух частей, обсуждается взаимодействие устного и письменного дискурса и подходы к их изучению. Первая часть главы посвящена эволюции и современному состоянию исследований в области анализа устной речи. Показывается, как современные компьютерные технологии анализа устной речи и расширение эмпирической базы лингвистики влияют на верификацию и развитие идей и передачу лингвистического знания от поколения к поколению исследователей. Другая задача этой части – рассмотрение проблемы озвучивания (чтения) письменного текста как феномена преобразования смысла из одной формы существования дискурса – вторичной – в другую форму существования – первичную, звучащую. На примере анализа коммуникативных и интонационных структур языка представлены способы передачи знаний от одного поколения лингвистов последующим и типы соответствия звучащей речи и письменной. Во второй части главы рассматривается взаимодействие письменного и устного дискурсов на материале языков, которые вышли из разговорного употребления («спящие языки»).

**Четвертый раздел**, посвященный взаимодействию кодов в различных культурно-языковых практиках, открывается **главой 4.1.** о формах изменчивости в языке и культуре. Анализируются типы адаптации лексических единиц в древних и современных текстах. Так, лингвокультурный трансфер Священного Писания говорит нам о том, что библейские выражения, адаптированные по четырем типам и распространенные благодаря коммуникативному расширению, направлены на актуальность использования библейской формулы в конкретный момент времени. Таким образом, передача библейских выражений представляет собой отношение к динамике коллективной памяти, особенно, если речь идет о прямом цитировании. Что касается адаптированных формул, то они в большей степени обращены на некий заданный момент времени, на актуальность послания, их использование варьируется в зависимости от конкретной ситуации.

Следующая **глава 4.2.** развивает положения предыдущей главы применительно к понятиям «коммуникация» и «передача» как средствам межкультурного трансфера. Анализируется вопрос о наличии культурно-исторической дихотомии «коммуникация–передача» в дополнение к уже ранее открытой, такой как «синхрония–диахрония», предложенной в лекциях Ф. де Соссюра. Лингвокультурный трансфер представляется как перенос информации во времени, который рассматривается

двойко: сиюминутный перенос информации является коммуникацией, тогда как перенос информации в условиях разных поколений представляет собой передачу. Любой язык – средство коммуникации, позволяющее собеседникам прийти к взаимопониманию, вдобавок он наделен функцией передачи информации в поколениях. Функция передачи, будучи функцией языка и когнитивной системы, увековечивает «некую базовую идентичность», общую для всех тех людей, кто использует родной язык, и позволяющую потомкам почувствовать принадлежность к предкам, накапливая при этом коллективную память той или иной исторической группы. К понятию «коммуникация» относится перенос информации в пространстве в пределах одной и той же пространственно-временной сферы, а к термину «передача» – все, что имеет отношение к динамике коллективной памяти (перенос информации в пространстве и времени).

В **главе 4.3.** освещаются теоретические аспекты культурного трансфера в такой лингвистической дисциплине, как фразеология. Анализируется проблематика того, как содержание культуры (культурная информация) «трансферируется» (или транспонируется, переводится) в язык, в результате чего возникают фразеологизмы как знаки особой – культурно-языковой – природы. Данная глава содержит изложение ряда основных аспектов лингвокультурологической теории построения значения фразеологических знаков, а также описание результатов апробации этой теории на материале английских и русских фразеологизмов предметной области вербальной коммуникации. Особое внимание уделяется рассмотрению специфики формирования тех фразеологизмов, источником значений которых послужила одна из семиотических областей культуры – семиотическая область пространства.

Наконец, **глава 4.4.**, также посвященная фразеологии, сосредотачивает внимание на особых фразеологических кодах и их роли в семиозисе культуры. Делается вывод о том, что в культуре как многомерном семиотическом пространстве постоянно синтезируются знаки и смыслы, и знаки самой разной субстанции становятся носителями культурной значимости, или ценностного содержания, выявленного в ходе освоения и осознания человеком мира. Культура есть пространство смыслов, имеющих ценностное содержание, вырабатываемое человеком в процессе миропонимания, и кодов – знаковых систем, в которых используются разные материальные и формальные средства для означивания этих смыслов. *Код культуры* понимается здесь как совокупность знаков – предметов культуры и символизированных сущностей, составляющих план выражения для культурно значимого содержания,

или для культурной информации. Отмечается, что описание фразеологизмов как знаков фразеологического кода культуры отвечает одной из важных задач теории языка – «вжиться» в процесс референции языкового знака к предметной области культуры и попытаться эксплицировать этот процесс.

Каждая глава монографии сопровождается собственным списком литературы. Авторы глав указываются как в содержании, так и на первых страницах соответствующих глав. Все авторы являются участниками проекта «Лингвистические технологии во взаимодействии гуманитарных наук».

*Редакционная коллегия и авторы коллективной монографии выражают глубокую благодарность Российскому научному фонду, финансово поддерживавшему настоящее исследование на базе Научно-образовательного центра теории и практики коммуникации им. акад. Ю.С. Степанова при Институте языкознания РАН.*

## Литература

- Дмитриева Е.* Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы, 2011, № 4. Режим доступа: <http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.html>.
- Иванов В.В., Лотман Ю.М., Пятигорский А.М., Топоров В.Н., Успенский Б.А.* Тезисы к семиотическому изучению культур (в применении к славянским текстам) // *Semiotyka i struktura tekstu*. Wrocław, 1973.
- Ковшова М.Л.* Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М., 2012.
- Культурные трансферы: проблемы кодов: коллект. моногр. / Под ред. С.Г. Проскурина. Новосибирск, 2015.
- Лагутина И.Н.* Культурный трансфер в системе русско-немецких литературных взаимодействий конца XVIII- первой трети XX века. М., 2008.
- Лотман Ю.М.* Избранные статьи в трех томах. Т. I. Таллинн, 1992.
- Лотман Ю.М.* Непредсказуемые механизмы культуры. Таллинн, 2010а.
- Лотман Ю.М.* Семиосфера. М., 2010б.
- Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Сравнительно о сравнительном литературоведении: транснациональная история компаративизма. М., 2014.
- Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.

Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против. М., 1975.

Aneignung und Abwehr. Interkultureller Transfer zwischen Deutschland und Großbritannien im 19. Jahrhundert. Bodenheim, 1998.

*Attias-Donfut C.* Family transfers and cultural transmissions between three generations in France // Global aging and challenges to families. Hawthorne, N.Y., 2003.

*Berlo D.K.* The Process of Communication. New York, 1960.

*Carroll J.B.* Introduction // Whorf B.L. Language, Thought and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf. Cambridge, MA, 1956.

Cultural Transfers in Dispute: Representations in Asia, Europe and the Arab World since the Middle Ages. Chicago, 2011.

Cultural Transfer Through Translation. The Circulation of Enlightened Thought in Europe by Means of Translation. Amsterdam, 2010.

De la traduction et des transferts culturels. Paris, 2007.

*D'hulst L.* (Re) locating translation history: From assumed translation to assumed transfer // Translation Studies. 2012. 5.2.

*Dick J.* Transmissibility and Cultural Transfer: Dimensions of Translation in the Humanities. N.Y., 2014.

Du transfert culturel au métissage. Concepts, acteurs, pratiques. Rennes, 2015.

Early Modern Dynastic Marriages and Cultural Transfer. Farnham, 2016.

*Eisenberg Ch.* Cultural transfer as a historical process: Research questions, steps of analysis, methods // Schlaeger J. (Hg.): REAL: Yearbook of Research in English and American Literature: Metamorphosis–Structures of Cultural Transformation. 2005, 20.

*Espagne M.* Les Transferts culturels franco-allemands. Paris, 1999.

*Espagne M.* L`histoire de l`art comme transfert culturel. L`itineraire d`Anton Springer. Paris, 2009.

*Espagne M.* Introduction // Transferts culturels et comparatisme en Russie. Slavica Occitania. 2010, 30.

*Espagne M.* La notion de transfert culturel // Revue Sciences/Lettres [Online], 2013, 1. URL : <http://rsl.revues.org/219>.

*Espagne M.* L`ambre et le fossil. Transferts germano-russes dans les sciences humaines. XIX<sup>e</sup> – XX<sup>e</sup> siècle. Paris, 2014.

*Even-Zohar I.* An Outline of a Theory of the Literary Text // Ha-Sifrut III (3/4).

*Even-Zohar I.* Translation Theory Today: A Call for Transfer Theory // Poetics Today, Vol. 2, No.4, (Translation Theory and Intercultural Relations).

- Even-Zohar I.* Papers in Culture Research. Tel Aviv, 2005.
- Fontaine A., Goubet J.-F.* Présentation. Transferts culturels et réceptions de la pédagogie allemande dans l'espace francophone (xviii<sup>e</sup>-xx<sup>e</sup> siècles) // *Revue germanique internationale*. 2016, 23.
- Found in Translation: Transformation, Adaptation and Cross-Cultural Transfer = Найдено при преводе: Трансформация, адаптация и межкультурный трансфер. Belgrade = Белград, 2016.
- Gasimov Z., Aksakal H.* Not quite in, but via Europe. Reading Lenin in Turkey // *Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung*, 2015, 25 Heft 2.
- Gerzymisch-Arbogast H.* Introducing Multidimensional Translation (2005) // [http://euroconferences.info/proceedings/2005\\_Proceedings/2005\\_GerzymischArbogast\\_Heidrun.pdf](http://euroconferences.info/proceedings/2005_Proceedings/2005_GerzymischArbogast_Heidrun.pdf).
- Hall E.T.* The Silent Language. New York, 1959.
- Harris Z.* Transfer Grammar // *International Journal of American Linguistics*. Vol. 20, No. 4 (Oct., 1954).
- Hockett Ch.F.* George Leonard Trager // *Language*, 1993, 69.
- In the Vanguard of Cultural Transfer: Cultural Transmitters and Authors in Peripheral Literary Fields. Groningen, 2010.
- Jullien F.* De l'universel, de l'uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures. Paris, 2008.
- Kaiser W.* Cultural transfer of free trade at the world exhibitions, 1851–1862 // *The Journal of Modern History*. 2005, 77.3.
- Kanu Ya.* Tensions and dilemmas of cross-cultural transfer of knowledge: post-structural/postcolonial reflections on an innovative teacher education in Pakistan // *International Journal of Educational Development*. 2005. Vol. 25, Issue 5, September.
- Kenesei A.* Poetry Translation through Reception and Cognition: The Proof of Translation is in the Reading. Cambridge, 2010.
- Knapp M.* An Historical Overview of Nonverbal Research. The SAGE Handbook of Nonverbal Communication. Thousand Oaks, 2006.
- L'espace culturel transnational. Paris, 2010.
- Lüsebrink H.-J.* Interkulturelle Kommunikation: Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer. Stuttgart, 2012.
- Lüsebrink H.-J.* Les transferts culturels: théorie, méthode d'approche, questionnements // *Transfert. Exploration d'un champ conceptuel*. Ottawa, 2014.
- Lüsebrink H.-J., Reichardt R.* Histoire des concepts et transferts culturels, 1770–1815. Note sur une recherche // *Genèses*, 14, 1994. France-Allemagne. Transferts, voyages, transactions.

- Mayer Ch.* Female education and the cultural transfer of pedagogical knowledge in the eighteenth century // *Paedagogica Historica*. 2012. 48(4).
- Middell M.* European history and cultural transfer // *Diogenes*. 2000. 48 (189).
- Moser W.* Pour une grammaire du concept de «transfert» appliqué au culturel // *Transfert. Exploration d'un champ conceptuel*. Ottawa, 2014.
- Music, Theater, and Cultural Transfer: Paris, 1830–1914*. Chicago, 2009.
- Nida E.A.* Toward a Science of Translating with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden, 1964.
- Odlin T.* Language Transfer: Cross-Linguistic Influence in Language Learning. Cambridge, 1989.
- Ogbor J. O., Williams J.* The cross-cultural transfer of management practices: the case for creative synthesis // *Cross Cultural Management: An International Journal*. 2003. 10:2.
- Philologiques I.* Contribution à l'histoire des disciplines littéraires en France et en Allemagne. Ed. par M. Espagne et M. Werner. Paris, 1990.
- Philologiques IV.* Transferts culturels triangulaires France-Allemagne-Russie. Sous la direction de E. Dmitrieva et M. Espagne. Paris, 1996.
- Poetry, Politics and Polemics: Cultural Transfer Between the Iberian Peninsula and North Africa*. Amsterdam, 1996.
- Pym A.* Translation and Text Transfer. An Essay on the Principles of Intercultural Communication. Frankfurt am Main et al., 1992.
- Rethinking Cultural Transfer and Transmission: Reflections and New Perspectives*. Groningen, 2012.
- Shannon C.E.* A Mathematical Theory of Communication // *The Bell System Technical Journal*. 1948. Vol. 27.
- Shannon C., Weaver W.* The Mathematical Theory of Communication. Urbana, 1969.
- Schramm W.* How Communication Works // *The Process and Effects of Communication*. Urbana, 1954.
- Snell-Hornby M.* Linguistic Transcoding or Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in Germany // *Translation, History and Culture*. London, 1990.
- Snell-Hornby M.* The Turns of Translation Studies: New Paradigms Or Shifting Viewpoints? Amsterdam/Philadelphia, 2006.
- Theorizing about Intercultural Communication*. Thousand Oaks, 2005.
- The Trans/National Study of Culture: A Translational Perspective*. Berlin; Boston, 2016.
- Traductions scientifiques & transferts culturels 1.* Actes du colloque de relève organisé à l'Université de Lausanne le 14 mars 2008 par la Formation doctorale interdisciplinaire. Lausanne, 2008.

- Transfert. Exploration d'un champ conceptuel. Ottawa, 2014.
- Transferts culturels franco-allemands // Revue de Synthèse, avril-juin 1988, n° spécial dirigé par M. Espagne et M. Werner.
- Transferts. Les relations interculturelles dans l'espace franco-allemand. Textes réunis et présentés par M. Espagne et M. Werner. Paris, 1988.
- Turgeon L., Delage D., Ouellet R.* Transferts culturels et métissages. Amérique/Europe (XVIe-XXe siècles). Laval, 1996.
- Understanding Cultural Traits. A Multidisciplinary Perspective on Cultural Diversity. Dordrecht, 2016.
- Velde H.* Political Transfer: an introduction // European Review of History: Revue européenne d'histoire. 2005, 12.2.
- Von der Elbe bis an die Seine. Französisch-sächsischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert. Ed. par M. Espagne et M. Middell. Leipzig, 1993.
- Weinreich U.* Languages in Contact. Findings and Problems. New York, 1953.
- Wendland A.V.* Cultural Transfer // Travelling Concepts for the Study of Culture 2 (2012).
- Werner M.* Transfert culturel // Dictionnaire des sciences humaines. Paris, 2006.
- Werner M., Zimmermann B.* Beyond Comparison: Histoire Croisée and the Challenge of Reflexivity // History and theory. 2006, 45(1).
- Zenni S.* Birth and Evolution of Jazz as Effects of Cultural Transfers // Understanding Cultural Traits. A Multidisciplinary Perspective on Cultural Diversity. Dordrecht, 2016.
- Zwischen Transfer und Vergleich. Theorien und Methoden der Literatur- und Kulturbeziehungen aus deutsch-französischer Perspektive. Stuttgart, 2013.

раздел 1. Гуманитарное знание:  
межнаучный трансфер  
по данным языка

## глава 1.1. Пути и принципы трансферизации знания в гуманитарных науках

В.И. Поставалова

### 1. Основные тенденции в современном гуманитарном познании: наука и технология

По наблюдению эпистемологов и историков культуры, характерную черту современного познания составляют два момента. Во-первых, установка на переход от плюрализма и релятивизма в постижении реальности к поиску интегральных метапарадигм знания, направленных на разработку видения мира как единого целого, преодоление разрывов между различными сферами духовной и социокультурной жизни человека и достижение утрачиваемой цельности человеческого духа. И, во-вторых, установка на более тесное сближение науки с практикой социотехнической деятельности человека, что проявляется в обращении к сфере создания новых технологий и, прежде всего, технологий гуманитарного типа. Как лаконично обрисовывает современную социокультурную ситуацию культуролог и методолог О.И. Генисаретский: «...основной объем того, чем раньше занимался философ, уже определено наукой, функционализировано и технологизировано проектной мыслью, институционализировано в тех или иных культурных практиках...» [Генисаретский 2002: 518].

В составе гуманитарных технологий нашего времени особое место принадлежит лингвистическим технологиям в силу того уникального положения, которое занимает язык в мире человека. По единодушному признанию философов и лингвистов разных школ и направлений прошедший XX век стал временем углубленных представлений о языке, раскрытия его основополагающей роли во всех сферах человеческого бытия и действительности в целом.

Историки культуры и философы языка говорят о трех важнейших «поворотах» в развитии европейской культуры последнего времени. «Антропологическом повороте», заключающемся в перемещении внимания философской мысли с познания мира на постижение феномена человека. «Лингвистическом повороте», состоящем в переходе от рассмотрения мышления, «мыслящего самого себя», к постижению фено-

мена языковой активности. И «коммуникативном повороте», заключающемся в формировании коммуникативной парадигмы в гуманитарном познании<sup>1</sup>.

Для отечественной культуры всегда было характерно подчеркивание и раскрытие особой роли языка в научном познании и культурной активности человека в широком концептуальном контексте, в частности, подчеркивание того, что роль языка в науке не сводится только к форме представления научного знания и что между языком и наукой существует глубокая онтологическая связь. Вспоминая слова аббата Кондильяка «Une science n'est qu'une langue bien faite – всякая наука есть лишь хорошо обработанный язык», П.А. Флоренский в своей работе «Наука как символическое описание» утверждает даже, что все науки «суть язык и только язык», поскольку все они «суть описания действительности» [Флоренский 1990: 124]. Ведь, как подчеркивает Флоренский, «во всякой науке нет решительно ничего такого, каким бы сложным и таинственным оно ни казалось, что не было бы сказуемо с равной степенью точности, хотя и не с равным удобством и краткостью, – словесною речью» [Там же: 122]. Это относится и к «целостной науке как связанной деятельности мысли» [Там же: 123].

Начавшийся XXI век с его вниманием к разработке информационных технологий, относящихся к управлению, накоплению, обработке и передаче информации, открывает новые грани языковой активности. К их числу принадлежит и участие языка в многообразных социотехнических практиках, связанных с формальным представлением разного рода знаний и их объективацией. Так, например, если долгое время «практика» языкознания сводилась преимущественно к составлению словарей и грамматик, то современное языкознание значительно расширило сферу своей практики. Она включает «машинный перевод, автоматизацию в информационной службе, обеспечение автоматизации систем управления, речевую сигнализацию в системе передачи информации, программированное обучение с помощью автоматов, механическое моделирование человеческого понимания, речевое управление производственными и иными механизмами» [Карпов 1976: 81].

Термин «технология» (от др.-греч. *τέχνη* – ‘искусство, мастерство, умение’ и *λόγος* – ‘мысль’) был введен в научное употребление в 1772 г. немецким ученым Иоганном Бекманом для наименования «науки о ремеслах». Со временем под технологией в самом общем смысле это-

<sup>1</sup> О «коммуникативном повороте» в лингвофилософской мысли см.: [Медведев 2012: 173].

го слова стали понимать использование знаний (методов, операций и др.) в различных социокультурных практиках.

Одним из первых инициаторов разработки гуманитарных технологий в отечественной науке был философ и методолог Г.П. Щедровицкий, развивавший данное направление на базе теории деятельности и мышления. В его понимании технология, будучи одним из видов регулятивов деятельности и проекций содержания логики, представляет собой «закрепленное в определенных знаково-знаниевых формах <...> выполнение процессов коллективно организованной деятельности» [Щедровицкий 1997: 432]. Или более конкретно, что особенно значимо для понимания сути лингвистических технологий: технология есть «операционально-процедурное содержание текстовых и логических форм, представленное затем в виде самостоятельного предмета и объекта нашей мысли» [Там же: 430]. Из этой последней дефиниции следует, что генерирование лингвистических технологий предполагает коррелятивное рассмотрение лингво-семиотического и логического плана действий в их единстве. Ведь всякое знание, включая и знание, применяемое в социотехнических практиках, есть в своей основе логико-семиотический феномен.

Г.П. Щедровицкий подчеркивает условный и исторически преходящий характер технологий, являющихся, по его выражению, «условными знаково-знаниевыми установлениями, меняющимися исторически в зависимости от многих и разнообразных обстоятельств деятельности и мышления» [Щедровицкий 1997: 437]. Щедровицкий называет два условия для осуществления генезиса технологии как особой сферы деятельности. Это формальная соорганизованность соответствующих систем деятельностей в ее составе. И их так называемое «оестествление». Начиная свою реконструкцию генетического пути формирования технологии как самостоятельной сферы деятельности, Г.П. Щедровицкий утверждает: «... технологии, чтобы стать технологиями в прямом и точном смысле этого слова, должны быть не только формализованными соорганизациями многих систем деятельности, но они еще должны быть также и оестествлены» [Там же: 432].

Таковыми формами «оестествления» могут быть, на метаязыке его теории, как «машины» (механизмы), так и «материал» самих людей. На этом материале «сложные и длинные цепи деятельностных актов превращаются в поведенческие навыки или в бессознательное в нашем поведении» [Там же]. За счет подобных процессов «оестествления» технологии «выпадают» из самой деятельности, но в то же время в этой своей предельной форме они продолжают существовать в ней, трансфор-

мирая ее и выступая в качестве «важнейших факторов, определяющих линии и тенденции развития сложных систем деятельности» [Там же].

В гуманитарной сфере наиболее трудно поддающимися формализации оказываются лингвистические технологии, где участником организованных систем деятельностей выступает не машина, а человек. К числу технологических разработок такого типа относится и конструирование лингво-семиотических механизмов трансферизации, или трансфера (от лат. *transferre* – ‘переносить’, ‘направлять’) знаний. Такое конструирование может быть осуществлено на основе изучения смысловых модификаций при переносе и адаптации знаний в сфере познания в ситуациях взаимодействия разных сфер социокультурной деятельности человека. Исследование лингвистических механизмов процессов трансферизации знания представляет особый интерес в современную эпоху, для которой в высшей степени характерны активные интегративно-коммуникативные процессы в культуре – построение, разрывание и проектирование новых дисциплин и направлений, а также интенсивные контакты различных областей знаний и социокультурной деятельности человека.

## **2. Знание и его эпистемологические лики в современной культуре**

Знание, о котором идет речь в различных гуманитарных технологиях и социокультурных практиках, представляет собой многомерное и многоплановое образование, существующее во множестве конкретных форм своих проявлений и эпистемологических типов. В методологической реконструкции О.И. Генисаретского знание предстает в этой проекции как «отдельная от познания и сознания предметная реальность, в иных, чем на предыдущем этапе, структурных контекстах» [Генисаретский 2002: 23]. Генисаретский определяет современный контекст аналитического рассмотрения знания в этом направлении как триединство «традиция – коммуникация – рефлексия» [Там же].

Концепция знания как самостоятельной предметной реальности в ее автономии от познания и сознания развивается в настоящее время в составе «научной эпистемологии» – дисциплины, отделившейся от гносеологии (философской теории познания) и изучающей формы существования знания в культуре, а также способы его реализации в различных типах деятельности. Г.П. Щедровицкий считает главным условием построения такой научной эпистемологии, в отличие от традицион-

ной философской эпистемологии, «объективацию наших представлений о знании», что, в свою очередь, предполагает отнесение их к определенной «объективированной картине», выступающей в качестве своеобразной «рамки для знаний» [Щедровицкий 1997: 437]. В составе научной эпистемологии можно было бы выделять также особую «прикладную эпистемологию», направленную на осуществление различного рода технологий, включая и гуманитарные лингвистические технологии.

Наряду с пониманием знания в научной эпистемологии, допускающим возможности его формализации, существуют и другие концепции знания, рассматривающие знание в ином понятийном и экзистенциальном контекстах. С античных времен знание характеризовалось в его противоположении мнению. В наши дни религиозный философ-неотомист Ж. Маритен в своей книге «Знание и мудрость» рассматривает знание в контексте сопоставления его с мудростью, отмечая три типа знания, различающиеся разной степенью приближения к мудрости.

*Первый тип* – это высший тип знания, включающий в себя как свою наивысшую сферу мудрость, понимаемую как «знание, получаемое из наивысших источников» и «открывающееся в наиболее глубоком и простом свете» [Маритен 1999: 10]. Это знание «твердое и непоколебимое <...> не исчерпывающее (им обладает лишь Бог), но дающее уверенность и способное постоянно продвигаться по верному пути» [Там же]. Таково знание святых. Этот наиболее всеобъемлющий смысл и имеют в виду, по Маритену, когда говорят: «Наука и знание» [Там же].

*Второй тип* (средний) – это знание «детальное, эмпирическое, или очевидное», противоположное высшей сфере знания. Таково научное знание (например, знание в лингвистике или ботанике). Именно этот смысл имеют в виду, когда говорят: «Частное знание или частные науки». Наконец, *третий тип* – это знание, «рождаемое любознательностью людей и диктуемое их пристрастием к мирским вещам, к познанию вещей как бы в соучастии, или в сговоре, с ними» [Там же]. Таково знание дегустатора вин, знахаря и шамана. Этот тип знания, по Маритену, противостоит мудрости в наибольшей степени.

Согласно одному из наиболее развернутых и обобщающих толкований знания, развиваемому И.Т. Касавиным, знание есть «форма социальной и индивидуальной памяти, свернутая схема деятельности и общения, результат обозначения, структурирования и осмысления объекта в процессе познания» [Касавин 2001: 51]. Оно есть способ «трансформации знаковых систем, сознания, деятельности и общения, придания им новой формы», а также внесения нового смысла в соответствующий вид реальности, в качестве каковых могут выступать «производствен-

ная практика, социальная регуляция, ритуальный культ, языковой текст» [Там же: 52]. Поскольку всякий тип знания, по утверждению Касавина, может быть охарактеризован в содержательном плане лишь как «элемент целостного культурно-исторического комплекса (науки, техники, религии, мифа, магии)», то «исчерпывающая типология знания фактически совпадает с историей культуры» [Там же].

Такое широкое понимание знания как многомерного образования может быть положено в основание изучения и процессов трансферизации знания. Принципиальное значение для осмысления таких процессов при этом имеет традиционное разделение знания на два типа. Знание «практическое», имеющее «неявный, невербальный, ритуализированный характер» [Там же]. И знание «теоретическое», предполагающее «явную текстуально-словесную форму» [Там же]. К этому последнему типу относятся философия, теология, идеология и наука.

При трансферизации знания речь может идти об эпистемологических единицах самого разного типа, к каковым могут относиться идеи, понятия, концепции, принципы, термины, парадигмы, картины мира. В настоящее время наиболее разработана эпистемологическая структура научного знания. По словам Г.П. Щедровицкого, «новейшие исследования по общей методологии и теории науки показывают, что в систему всякого достаточно развитого научного предмета (или специальной научной дисциплины) входят, по крайней мере, восемь основных типов единиц и еще несколько сложных суперединиц, объединяющих и рефлексивно отображающих исходные единицы» [Щедровицкий 1995: 648].

В число единиц первого уровня, по Щедровицкому, входят факты, методические предписания, онтологические схемы, изображающие идеальную действительность изучения, модели, репрезентирующие частные объекты исследования, теоретические знания, проблемы и задачи научного исследования, а также средства выражения, куда входят «языки» разного типа, оперативные системы математики, системы понятий, представления и понятия из общей методологии и др.

### **3. Ситуации трансферизации знания в социокультурной сфере и ее направления**

Ситуации трансферизации знания в культуре и жизнедеятельности человека весьма многообразны и практически неисчислимы. Поскольку знание выступает как необходимый элемент «целостного культур-

но-исторического комплекса и как «осмысление человеком контекстов своего опыта» [Касавин 2001: 52], то очевидно, что исчисление ситуаций трансферизации знания в их полноте будет совпадать с исчислением всех возможных ситуаций взаимных контактов разных сфер знания в рамках этого культурно-исторического комплекса; и шире – с исчислением всех контекстов опытного миропостижения *homo symbolicus* (человека символического) в понимании Э. Кассирера.

Согласно учению Кассирера о человеке как *homo symbolicus*, глубинной сущностной характеристикой человека является наличие у него особых символических структур – языка, мифологии, религии, искусства, науки, запечатлевающих систему его миропредставлений и выступающих в роли регулятора его жизнедеятельности. С помощью таких опосредствующих символических структур человек формирует себе образ («картину», «эскиз», «модель» мира) как основу своей жизнедеятельности и культуры.

По выражению Э. Кассирера, человек, воспринимая реальность через посредство символов, обитает в «символическом универсуме», или «символической Вселенной» [Кассирер 1998: 471]. Как поясняет Кассирер: «В языке, религии, искусстве, науке человек не может сделать ничего другого, кроме как создать свою собственную вселенную – символическую вселенную, которая позволяет ему объяснять и интерпретировать, артикулировать, организовывать и обобщать свой опыт» [Там же]. В этом универсуме, составляющими которого выступают язык, миф, искусство, религия, человек «погружен» в лингвистические формы, художественные образы, мифические символы, религиозные ритуалы и уже ничего не может видеть и знать «без вмешательства этого ответственного посредника» [Там же].

Отметим только некоторые из типичных ситуаций трансферизации знания в социокультурной сфере у человека как *homo symbolicus*'а, опираясь на понятийное противопоставление эксплицитности-имплицитности и внутреннее-внешнее. К таким ситуациям могут быть отнесены события *эксплицитного культурного трансфера* при создании синтетических и комплексных дисциплин в научном познании, а также события *имплицитного культурного трансфера* при неосознанном выборе некоторых идей и представлений в качестве основания для разработки научных теорий и интерпретации опытных данных речевой практики.

К таким ситуациям, далее, могут быть отнесены также события *интра-культурного трансфера* в процессах различного адекватного или же неадекватного понимания общенаучных базисных понятий, таких

как *функция, энергия, информация* и др., при коммуникационных контактах представителей разных школ и направлений в какой-либо конкретной науке в условиях множественности вариантов представления реальности, а также события *интеркультурного трансфера* при диалектических процессах адаптации и переосмысления базисных концептов (идей) культуры и миропонимания из разных сфер культуры.

Можно выделять также ситуации трансфера при смене культурных типов или в составе одного культурного типа. Поскольку знание предстает как единство двух своих планов – содержания и формы его выражения, то возможно и изучение трансферизации знания в двух его планах – содержательно-эпистемологическом (концептуальный словарь и т. д.) и формально-эпистемологическом (концептуальный синтаксис).

#### **4. Способы трансферизации знания: «переформатирование» и спецификация**

Трансферизация знаний в гуманитарном познании и социокультурной деятельности может осуществляться различными путями.

*4.1. Трансферизация знания как «переформатирование».* Трансферизация знаний может происходить в форме чистого «переформатирования», или перевода (конвертации, преобразования), знаний или их фрагментов как некоей целостности из одних культурно-дискурсивных форматов в другие. При этих процессах интерферируемые знания, не теряя своей целостности, обретают новую автономную форму существования.

Классическим случаем этого типа является реконструкция и переформулирование одной научной концепции на языке другой. Такой путь избирает для себя С.К. Шаумян, пытаясь донести воззрения А.Ф. Лосева до лингвистов, непонятные для них по причине специфических особенностей его стилистики мышления. При этом он считал целесообразным не излагать лингвистическую концепцию Лосева на его метаязыке, хотя и стремился в целом не отступать от его терминологии.

Избирая такой путь, С.К. Шаумян пишет: «Мир идей Лосева – это мир тончайших диалектических идей, проникнуть в который не так просто <...> Одна из причин трудности работ Лосева состоит в том, что для философии Лосева характерны две тенденции – иррационализм и диалектика <...> Лингвистические работы Лосева трудны для пони-

мания <...> потому, что Лосев не заботится о терминах для своих интуитивных идей и ограничивается простыми примерами там, где необходимы словесные формулировки принципов. Ввиду этой особенности работ Лосева я не считал полезным излагать лингвистическую концепцию Лосева обязательно в терминах Лосева, хотя и стремился не отступать от его терминологии. Моя задача – сделать глубокие идеи Лосева доступными для лингвистов» [Шаумян 1999: 334, 352–353].

К данному типу трансферизации знания относится также философское «перестраивание» предметного плана научной дисциплины на метаязыке философии, имеющее своей целью не разрушение такого предметного содержания, но его представление в логически более ясной форме. По выражению А.Ф. Лосева, философия конкретных научных дисциплин есть «только более интимное, более связанное логически и более понятнейшее построение тех же самых предметов» [Лосев 1997: 34]. В работе, посвященной диалектическим основаниям математики, он так поясняет специфику подобной модификации знания в науке на примере философии числа: «...философия числа <...> есть не просто познание или сознание, но и самосознание духа. Это значит, что дух видит здесь сущность своей собственной деятельности <...> Математика в этом смысле есть знание как бы одномерное, одноплановое; философия же заново перестраивает этот математический план, превращает его из структуры-в себе в структуру-для себя, понимая числа как понятия и тем самым перекрывая числовую структуру структурой логической» [Там же: 30].

Один из способов трансферизации как переформатирования заключается в изложении содержания соответствующей концепции на особом языке имманентной реконструкции, что наблюдается на очень продвинутом уровне и очень глубоком уровне изучения творчества автора.

4.2. *Трансферизация знания как «спецификация».* Трансферизация знаний может выступать также как «спецификация», в ходе которой интерферируемые знания, экстрагированные из одной какой-либо целостности, становятся частью другой целостности, адаптируясь к новой среде своего существования. В частности, в научную дисциплину могут быть перенесены из окружающих ее дисциплин такие концептуальные образования, как понятия, модели, онтологические представления.

В основе трансферизации знания как спецификации лежит *принцип соответствия*, согласно которому трансферируемое знание должно быть согласовано с целостностью, адаптирующей новое знание, и, пре-

жде всего, с лежащей в его основании парадигмой. Применительно к адаптации общенаучных понятий принцип спецификации был так сформулирован А.Ф. Лосевым: «... общенаучные понятия в каждой отдельной науке должны проводиться так, чтобы от этого не нарушалась специфика данной науки, не нарушалось ее конкретное лицо» [Лосев 1989: 10]. Ведь «только строжайшее соблюдение специфики языкознания и может обеспечить собою плодотворную работу в применении общенаучных понятий» [Там же].

Сам А.Ф. Лосев усматривал специфику языка «в смысловозначительной коммуникации, то есть в таких актах смысловозначения, сущностью которых является разумно-жизненное человеческое общение» [Там же: 11]. И в свете такого понимания он расценивал как введение общенаучных понятий и представлений в науку о языке, так и введение новых методов исследования. Так, по словам Лосева, лингвист, занимающийся своим предметом, «вправе защищаться от тех методов, которые уводят его от лингвистики и заставляют лингвистический предмет понимать как нелингвистический» [Лосев 1983: 66].

На этом основании Лосев выступал против бездумной математизации лингвистики, ставшей весьма популярной в период структурализма. По его мысли, поскольку математический знак лишен всех коммуникативных функций, то, обозначая языковые явления математически, мы лишаем язык всякого содержания, в результате чего он «перестанет быть языком» [Там же: 7]. В лучшем случае язык как орудие разумно жизненного общения может превратиться в «счетно-вычислительную машину» [Там же: 66].

По утверждению Лосева, математические обозначения, имеющие своим предметом «системы бескачественных полаганий», будучи примененными к языку, обозначают «такую степень его общности, в которой уже теряется конкретность и специфика обозначаемого факта» [Там же: 10, 16]. Ни треугольник, ни квадрат, ни какая-либо другая математическая фигура «вовсе не являются теми живыми объектами, на которые можно было бы свести всякую языковую предметность», – полагает Лосев [Там же: 68].

Принципом спецификации руководствуются в опытах трансферизации знания и в других лингвистических дисциплинах. Так, по признанию лингвокогнитологов, хотя у когнитивных исследований процессов когниции и языковых явлений «часто появляются как философские, так и чисто инженерные научные аспекты» [Кубрякова, Демьянков и др. 1996: 7], их рассмотрение не имеет самоценного характера и подчиняется научным задачам данной дисциплины.

## 5. Процедурная база трансферизации знания

Согласно *принципу имманентности знания*, «каждое научно-предметное знание <...> так организовано, что оно в принципе исключает всякую возможность органического и законосообразного объединения его с знаниями из других научных предметов» [Щедровицкий 1995: 635]. Для такого объединения требуются особые процедуры по адекватному переносу знания как научно-предметного, так и других типов методологически организованного знания.

*5.1. «Распредмечивание» и «опредмечивание».* Операциональную основу трансферизации знания образует цикл процедур, базирующихся на идее предметности научной деятельности.

Согласно такому пониманию, содержания (смыслы) эпистемологических единиц в научной дисциплине существуют не сами по себе, в изолированном положении, но в опредмеченном виде. Так, в «модели» как единице организация научного знания ее содержание (идеальный объект, фиксирующий в объектной или квазиобъектной форме предметное видение объекта изучения в данной дисциплине) предстает в единстве со своим выражением – знаковой конструкцией, сопровождаемой описанием норм оперирования ее элементами.

Процедурный цикл перепредмечивания при трансферизации знания включает два типа процедур. Это процедуры «распредмечивания» знания и его единиц, заимствуемого из определенной концептуальной системы, и обратной процедуры «опредмечивания» трансферируемого знания в составе концептуальной системы, заимствующей соответствующий эпистемологический элемент.

При распрепредмечивании (полном или частичном) целостная система научного предмета, метафорически выражаясь, как бы «разламывается» и из нее изымается трансферируемый элемент. Содержания предметных сущностей (понятия, теоретические представления и др.), отделяясь от своей предметной формы, утрачивают свою непосредственную связь с объектом изучения этой дисциплины. Другими словами, предметные содержания деонтологизируются и получают новый статус своего существования. Они становятся условными элементами теоретико-деятельностных или же семиотических конструкций, преобразуясь во всеобщую нейтральную форму смыслов-значений и переходя в план формальных пространств, схем, оппозиций.

В ходе обратной процедуры опредмечивания содержания, отделенные от своей старой предметной формы, после определенных преобра-

зований обретают новую форму – «опредмечиваются», превращаются в эпистемологические единицы заимствующей дисциплины, например новые понятия или онтологические представления. В ходе процедурного цикла перепредмечивания в познании и коммуникации происходит, таким образом, «перетекание» содержания смысла из одной предметной формы в другую.

*5.2. Конфигурирование и гомогенизация концептуального пространства.* Как отмечал Г.П. Щедровицкий, двадцатый век «кардинальным образом изменил фокусы проблематизации и направления методологических и эпистемологических поисков» [Щедровицкий 1995: 635]. В это время все больший интерес начинают вызывать случаи «одновременного использования знаний из разных научных предметов в ситуациях решения различных *социотехнических задач*»: при «обучении и воспитании людей, управлении научными исследованиями и разработками, планировании социального развития отдельных предприятий, отраслей промышленности и регионов и т. п.» [Там же].

Для всех этих случаев характерно, по наблюдению Щедровицкого, то, что «объект социотехнического действия не совпадает с объектами изучения отдельных наук» [Там же]. Поэтому в действиях с социотехническим объектом «не удастся опереться на знания о законах функционирования и развития какого-либо одного научного объекта, а приходится говорить о «многостороннем» и «комплексном» характере социотехнического объекта и на практических путях искать способы связи и объединения различных разнопредметных знаний, описывающих его с разных сторон» [Там же]. В итоге объединения этих знаний в одно многостороннее знание об объекте должно получиться «одно целостное (или целостноорганизованное) представление о сложном “многостороннем” объекте» [Там же].

В научной эпистемологии и теории деятельности, развиваемой Щедровицким, выработана особая процедура, именуемая *конфигурированием*. Конфигурирование, или синтезирование, – в широком смысле есть процедура объединения знаний<sup>1</sup>, например, получение «целостного научно-теоретического изображения объекта путем синтеза различных представлений его, полученных в разных научных дисциплинах» [Там же].

<sup>1</sup> См.: «Мы называем изображение объекта, создаваемое в целях описанного выше объединения и синтеза разных знаний, “конфигуратором”, а процедуру этого объединения и синтеза, основывающуюся на специально созданном для этого изображении объекта, – “конфигурированием”» [Щедровицкий 1995: 654].

Особую сложность трансферизация знания приобретает при конструировании научных дисциплин синтетического плана, где осуществляется объединение в едином мыслительном пространстве концептуальных представлений из разных дисциплин или даже сфер знания. На построение такого единого пространства при трансферировании знаний направлена особая методологическая процедура *гомогенизации*, представляющая собой процедуру объединения онтологически и методологически однопорядковых представлений в едином концептуальном пространстве.

Здесь встречаются две различные ситуации. В одних интегративных дисциплинах, таких как психолингвистика, лингвокультурология и др., в одном мыслительном пространстве объединяются теоретические представления из дисциплин, принадлежащих одной сфере познания и деятельности – науке. В другом случае происходит объединение представлений из дисциплин, принадлежащих к разным (нерядоположенным) сферам познания. Так, при конструировании новой синтетической дисциплины теолингвистики, направленной на изучение взаимосвязи языка и религии, происходит объединение теоретических представлений из сферы науки и сферы богословия (религии) с их различными представлениями об истинности познания, приемами аргументации, принимаемыми ценностями и т. д. И даже более глубоко – с их различными типами ментальностей, стоящими за научной и религиозно-богословской мыслительными традициями.

*5.3. Другие процедуры конструирования различных эпистемологических систем: «мифологизация» («демифологизация») и «метафоризация».* В истории культуры и духовной жизни общества homo symbolicus'a весьма распространены явления мифологизации и демифологизации – наделения мифологическим содержанием определенных семиотических форм и, соответственно, редуцирования подобного содержания. Известно, что в ритуальном действии «оба события – внешнее действие и внутреннее, ритуальный акт и образ-мифологема, воспроизводимая в уме, – формально подобны, а символически тождественны друг другу» [Семенцов 1981: 28].

При глобальной смене миропредставлений мифологема, теряя свой онтологический статус как носителя и выразителя мифологического содержания, превращаются некое формально-семиотическое образование. Как формулирует суть происходящей смысловой модификации И.Г. Франк-Каменецкий, размышляя о библейской поэзии эпохи вавилонского пленения: «... можно сказать, что то, что на мифологической

почве является содержанием, становится формой поэтического творчества, имеющего существенно иное содержание...» [Франк-Каменецкий 2001: 77]. Возникающая на этой почве символика, по его словам, «способствует превращению мифических образов в лишённые самостоятельного идеологического содержания средства художественного воспроизведения реальной действительности в поэтическом творчестве» [Там же: 78]. И далее резюмирует: «Чем более отступают на второй план символизируемые мифическими образами религиозные идеи и представления, тем интенсивнее совершается усвоение самих образов в технике поэтического творчества. Это можно наблюдать в пределах одной и той же национальной культуры при каждом резком переломе мирозерцания» [Там же: 79].

В научном познании нашего времени встречается и обратный процесс *мифологизации* (оживотворения, придания статуса живой жизни) некоторым формально-семиотическим конструктивным построениям. Так, при самом первом опыте введения антропологической парадигмы в науку о языке человек как предмет исследования в лингвистическую теорию не вводится, но антропологизируется («гипостазируется») при этом сам язык, который наделяется чертами человека, одушевляется, мифологизируется. Как в свое время писал Ю.Н. Караулов: «В силу общей бесчеловечности современной лингвистической парадигмы место подлинно антропного фактора в ней, место антропного характера, создаваемого ею образа языка занимает антропоморфический, человекоподобный, порождаемый стремлением уподобить – одушевить, оживить, очеловечить – мертвый образ» [Караулов 1987: 20]. И это «приводит к фетишизации языка-механизма, языка-системы и языка-способности, к мифологическому его переживанию...» [Там же].

Иногда трансферизация знания в истории культуры предстает в своем сокровенном лике – не как прямой перенос каких-либо идей, но как принятие творческого импульса от некоторых идей, существующих в культуре. И пришедшая идея может выступать то ли в новом мифологическом (а всякая научная картина мира несет в себе начала мифологичности), то ли новом метафорическом облике. В этом плане представляет интерес опыт создания Ю.С. Степановым его книги-эссе «Мыслящий тростник. Книга о “Воображаемой словесности”», где развивается идея о существовании в культуре особой ментальной реальности, называемой им «Воображаемой словесностью» [Степанов 2010].

Концептуальный мир «Воображаемой словесности» Степанова являет собой причудливый симбиоз реального и воображаемого мира (воображаемых миров) с его переходами, подчас трудно уловимыми,

из одного мира в другой. При задании ментального пространства «Воображаемой словесности», при котором происходит единение первичной (жизненной) и вторичной (художественной) реальностей, снимаются многие межведомственные культурные «барьеры» и происходит снятие многих запретов, действующих при конструировании художественного и интеллектуального пространств культуры.

Идея разработки концепции «Воображаемой словесности» была навеяна у Ю.С. Степанова, по его собственным словам, опытами создания неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевского и его попытками выяснить возможную роль такого типа геометрии в реальном мире. «Самый сильный импульс пришел от поэзии абстрактного научного мышления, – замечает Степанов, – от “Воображаемой геометрии” Н.И. Лобачевского и его идеи “Воображаемое пространство”» [Степанов 2010: 3]. И далее в разделе «Воображаемая геометрия и “Воображаемая словесность”. Воображаемое пространство вообще» своей книги Ю.С. Степанов поясняет: «Термин “Воображаемая геометрия” придумал Н.И. Лобачевский, когда понял, что через одну точку можно провести не одну, а несколько пересекающихся линий, параллельных одной данной. Вся геометрия в результате получила другой, по сравнению с эвклидовой, вид» [Там же: 117].

В своей разработке концепции «Воображаемой словесности» и истолковании категории «Воображаемого» Ю.С. Степанов опирался также на работу 1912 г. логика Н.А. Васильева «Воображаемая (неаристотелева) логика», в которой, по словам Степанова, «прозорливо “ухватываются” некоторые существенные черты творческого мышления – если не в строгой науке, то в искусстве» [Степанов 2004: 37].

Возникает вопрос, можно ли рассматривать «Воображаемую словесность» Ю.С. Степанова как своего рода «неевклидову словесность»? Предполагает ли конструирование идеального мира «Воображаемой словесности» отказ от каких-либо общепринятых научных постулатов и представлений, как это происходило у авторов «Воображаемой геометрии» и «Воображаемой логики»? Или же «Воображаемая словесность» для автора данной концепции есть только метафора? Известно, что, разрабатывая свою неевклидову геометрию, Лобачевский отказывался от пятого постулата Евклида. Ответы на эти вопросы требуют особого исследования. Здесь же важно подчеркнуть, что трансферизация знания может выступать и в неявной форме принятия некоего творческого импульса (в случае творческого опыта Ю.С. Степанова – импульса от «поэзии абстрактного научного мышления»), когда принимаемая идея начинает новую жизнь в новой форме в новом осмыслении при созвучии творческих миров обитания идеи.

## 6. Модификации при трансферизации знания: редукция и смысловые расширения

Изучение опытов переноса и адаптации знания в гуманитарном познании свидетельствует о невозможности трансферизации знания без смысловых модификаций, которые сопровождают всякий, даже самый элементарный процесс заимствования знания.

Наиболее часто встречаются смысловые модификации двух типов: редуцирование части смыслов при адаптации заимствованных элементов и смысловые наращивания. Эти процессы можно наблюдать при изучении истории адаптации философско-антропологической концепции языка В. фон Гумбольдта, которая многократно подвергалась различному переосмыслению в истории культуры. Это наглядно проявляется в переинтерпретации ее базисных понятий. Известно, что гумбольдтовские понятия «дух» (Geist) и «дух народа» в толковании Г. Штейнтала были превращены в «психику» (Seele) говорящих индивидов, утратив свое пневматологическое и этносоциологическое измерения. Понятие внутренней формы языка часто сводилось к понятию внутренней формы слова. А центральный тезис Гумбольдта о том, что язык есть не эргон, а энергейя, напротив, получает более широкое истолкование в синергической парадигме русской религиозной философии языка (П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков).

Известно, что категория энергейи у Гумбольдта восходит (через Джеймса Харриса) к Аристотелю, обретая некоторые смысловые оттенки, которые данная категория получает в немецкой классической философии.

В терминологической системе Аристотеля «энергия» приближается по своему значению к понятию осуществленности, о чем говорит сам Аристотель в своей «Метафизике» (Кн. 9, гл. 8, 20–25): «Ибо как цель выступает дело, а делом является деятельность, почему и имя “деятельность” (*ἐνέργεια*) производится от <имени> “дело” (*ἔργον*) и по значению приближается к осуществленности (*προς ἐντελέχειαν*)» [Аристотель 1999: 244]<sup>1</sup>.

Этот смысл сохраняется в целом и у Гумбольдта, который понимал под «энергейей», прежде всего, деятельность по осуществлению лингво-

<sup>1</sup> В терминологической системе Аристотеля энергия, наряду с энтелехией, используется для обозначения «актуальной действительности предмета» в отличие от его «потенции, возможности», причем энергия означает «действие, переход от возможности к действительности», а энтелехия – «конечный результат этого перехода» [ФЭС 1983: 800], хотя сам Аристотель эти термины – энергия и энтелехия – часто употребляет как синонимы.

когнитивного синтеза – сплавления мысли со звуком. Скорее всего, Гумбольдт, говоря о языке как деятельности-энергеи, имел в виду онтологический синтетический процесс самоосуществления языка как синтетического процесса. Ведь язык, по Гумбольдту, «самодетелен, самосоздан и божественно свободен» [Гумбольдт 1984: 49]. Он – «вечно порождающий себя организм» [Там же: 78], и его «следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидающий процесс (Erzeugung)» [Там же: 69]. Говоря о том, что язык есть не продукт деятельности (эргон), а деятельность (энергея), Гумбольдт завершал это утверждение словами о том, что истинное определение языка «может быть поэтому только генетическим» [Там же: 70].

Создатели отечественной реалистической философии имени (прот. П. Флоренский, прот. С. Булгаков, А.Ф. Лосев) в числе ее источников упоминали и учение В. фон Гумбольдта. Сопоставляя две энергетические концепции языка – гумбольдтовскую и имяславскую, необходимо учитывать, однако, и очевидный момент смыслового различия в их истолковании базисной категории энергии, восходящей к Аристотелю. В синергичной парадигме отечественной философии языка («имяславие»), развивающей идеи православного энергетизма (паламизма), понятие энергии приобретает смысловой оттенок воздействующей силы<sup>1</sup>. Как подчеркивает прот. С. Булгаков в своей «Философии имени», слово в молитве имеет власть благодаря тому, что оно является «не только смыслом, но и вместилищем энергии, орудием, проводником» [Булгаков 1998: 233]. В православном самосознании Имя Иисусово есть «творящая сила». Но эту мысль, утверждает Булгаков, нужно «понимать не лингвистически, что было бы просто бессмысленно, но мистически» [Там же: 313]. Здесь речь идет «не о фонеме имени, и не о морфеме, но их мистической синеме», или «индивидуальной энергии, присутствующей каждому имени и в нем живущей, ядре его» [Там же].

Следует упомянуть также, что А.Ф. Лосев во втором периоде своего творчества с гумбольдтовской энергеией сближал лингвистическое понятие валентности.

## **7. Мистико-религиозное знание и возможности его трансферизации**

Отдельную тему составляет осмысление процессов переноса знания из религиозно-мифологического концептуального представления (кар-

<sup>1</sup> О понятии силы и энергии в святоотеческом богословии см. [Давыденков 2002].

тины мира) в концептуальное пространство других сфер знания, например, осмысление переноса-интерпретации идеи-мифологема из концептуального пространства какого-либо конфессионального вероучения в мир рефлексивного осмысления в богословии, философии и даже науки.

Здесь встречаются два подхода. В первом случае идея-мифологема осмысливается в религиозно-мистическом ключе, сохраняя свою «мифологическую» форму. Во втором случае осмысление идеи-мифологема переводится в рациональный план – в категориально-понятийную форму, так что идея-мифологема, обретая категориально-понятийную форму своего существования, в известном смысле «демифологизируется».

Но именно только в такой форме ее смысловое содержание может адаптироваться в других сферах знания.

Рассмотрим эти два подхода на примере опытов истолкования мифологема «нового имени» из «Откровения» Иоанна Богослова, где применительно к обетованиям Пергамской Церкви говорится: «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр 2. 17).

Прот. С. Булгаков, посвятивший много усилий обоснованию православного статуса имяславского учения об Имени Божиим, производит интерпретацию данного фрагмента *на языке мистического богословия*. Он пишет: «Запечатление Именем Божиим есть именно личная встреча с Богом, Его ипостасное самооткровение <...> Имя Отца есть Слово Божие, Имя Сына, в котором открывается Отец Духом Святым. Это троичное самооткровение есть не что иное, как троичное раскрытие Имени Божия, а Имя новое есть откровение будущего века» [Булгаков 1991: 248].

В интерпретации прот. А. Геронимуса, производимой *на категориально-понятийном языке богословия имени*, «подлинное имя» из Апокалипсиса – это не имя человека, полученное им при рождении и имеющее «скорее функциональное значение» [Геронимус 2014: 317]. Подлинное сокровенное имя в его понимании – это имя, которое человек получит в будущей жизни и которое будет выражать его «последнюю истинную сущность» [Там же]. Это имя будет тесно связано с тем, как человек «действовал в творении», и оно выразит «самую суть неповторимой личности каждого» [Там же].

Категориально-понятийное истолкование идеи-мифологема «нового имени» позволит вводить ее концептуальное содержание в онтологическую (реалистическую) философию языка, развиваемую в не-

которых направлениях современного гуманитарного познания, а также в синтетическую научную дисциплину «теолингвистику».

## **8. Глобальные смысловые модификации при трансферизации знаний в культуре и духовной жизни**

Трансферизация знания относится к числу глубочайших механизмов формирования культуры и отдельных направлений в ее составе. В генезисе культуры действуют скрытые механизмы трансферизации знания, которые в эпистемологических описаниях часто лишь упоминаются, но не раскрываются. Так, Вал.А. Луков и Вл.А. Луков высказывают предположения о контекстуальной и субъективной переконструированности некоторых фрагментов «знаниевых систем» прошлого в интеллектуальном пространстве настоящего. Как отмечают данные авторы, «в интеллектуальном пространстве все время находятся какие-то фрагменты старых и даже древних знаниевых систем (тезаурусных конструкций), которые долго, иногда многие века могут находиться в запасниках коллективной памяти и никак не проявлять себя» [Луков Вал. А., Луков Вл. А. 2010]<sup>1</sup>.

Однако в переходные периоды такие фрагменты «вдруг становятся актуальными для человеческих общностей, обретают своих адептов – теоретиков и практиков, перемещаются в зону социальной нормы» [Там же]. И авторы резюмируют: «... когда мы говорим об актуализации фрагментов ушедших, забытых знаниевых систем или о предполагаемом гуманитарном знании будущего, нельзя не видеть, что и то, и другое не обладают в Настоящем первозданностью и неизменностью, они *контекстуально и субъектно переконструированы*» [Там же].

Особенно сложные процессы смысловых модификаций наблюдаются при переходе из одного культурного типа в другой, при смене научных парадигм в ходе научных революций. Так, по утверждению С.С. Аверинцева, центральную установку формирования новоевропей-

<sup>1</sup> В цитируемой статье авторы дают аналитическое описание содержания коллективного труда «Высшее образование и гуманитарное знание в XX веке: Монография-доклад Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета VI Международной научной конференции “Высшее образование для XX века” (Москва, МосГУ, 19–21 ноября 2009) / Под общ. ред. Вал.А. Лукова и Вл.А. Лукова. Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009». См. также: [Камалдинова, Кузнецова 2006].

ской научности составляет позиция бессубстанционального мышления, или деонтологизации реальности, что находит свое проявление в переключении исследовательского внимания от сущности к форме. Согласно этой тенденции, «мышление в функциях все последовательнее очищает себя от реликтов мышления в субстанциях» [Аверинцев 1997: 51]. В силу такой тенденции центральной установкой в науке становится поиск каузальных связей вещей и процессов.

Открываются все новые и новые процессы в истории культуры, которые могут быть описаны на метаязыке трансферизации знания. Смысловые модификации в истории культуры возникают при перемифологизации (демифологизации и новой мифологизации) знания-действия при процессах «контенизации», или насыщении содержанием формальных структур.

В философии говорят об отделении философской техники из концепции и ее новой мифологизации. Так, возникновение феномена христианского неоплатонизма с позиций самосознания самого христианского неоплатонизма предстает как сложный процесс перемифологизации и переинтерпретации: исходный духовный опыт (язычество) – выражающая его мифологема – осмысливающая его философема (диалектическая конструкция) – новая мифологема, выражающая новый опыт и миропонимание (христианство). Генезис системного подхода мыслится как рационализация философского представления Всеединства при переводе религиозно-мифологической картины мира и ментальности в научную картину мира. Другими словами, системный подход может быть рассмотрен как редуцированный вариант учения Всеединства.

## **9. Корректирующие процессы и процедуры при трансферизации знания**

Одной из задач изучения процессов смысловых модификаций при трансферизации знания является установление адекватности такой проведенной трансферизации. Критерием адекватности в этом случае может служить соблюдение *эпистемологической гомогенности* объединяемых знаний на основе принципа соответствия.

Известно, что развитие каждой культуры и науки как определенной формы ее выражения<sup>1</sup> может быть охарактеризовано с помощью опреде-

<sup>1</sup> См. об этом у П.П. Гайденко: «... наука не есть нечто внешнее по отношению к культуре, а есть один из способов ее самовыражения» [Гайденко 1982: 74].

ленного круга вопросов, одни из которых запрещены в данной культуре, а другие допустимы и могут быть поставлены. Как пишет Р.М. Фрумкина, «научная культура исследователя проявляется не только в том, какие эксперименты он ставит и какие гипотезы он проверяет; не в меньшей степени она проявляется и в том, какие гипотезы он не проверяет в силу того, что на данном этапе существования науки они вообще не могут рассматриваться как научные гипотезы» [Фрумкина 1980: 207–208].

Это касается и формирования отдельных эпистемологических систем. Так, при конструировании теолингвистики как синтетической дисциплины в концептуальное пространство этой новой дисциплины войдут не все теологические и лингвистические представления, но лишь те из них, которые являются релевантными для установления взаимосвязи языка и религии и представления языка как теоантропокосмической реальности и которые не нарушают принципа эпистемологической гомогенности.

Известно, что одним из проявлений эпистемологической гомогенности является соблюдение определенных принятых в данной сфере познания и деятельности запретов при трансцендировании знаний. Такие системы запретов исторически и ситуативно преходящи. Как отмечает Р.М. Фрумкина, рассуждая о феномене веры в научном знании, «... в научном изложении (если только мы не занимаемся такой специфической наукой, как теология) мы теряем право ссылаться на догматы и сакральные тексты с целью подтверждения истинности нашего знания» [Фрумкина 1995: 95]. В теолингвистических работах такое ограничение, естественно, снимается. В качестве обоснования истинности выдвигаемых здесь утверждений разрешается прибегать к мистико-мифологическим фактам и их богословским интерпретациям. В случае православно-христианской теолингвистики – к событиям Священной истории и истинам Откровения.

При изменении эпистемологических ситуаций могут переосмысливаться существующие запреты.

Необходимость оценки степени адекватности процессов трансферизации знания выдвигает задачу разработки особых корректирующих концептуальных процедур. Так, в гипотетико-дедуктивных системах эмпирических наук производят «концептуальную интерпретацию» теоретических терминов [Баженов 1978: 19]. Такая интерпретация включает установление связей теоретических терминов друг с другом и отношений теоретических терминов данной науки с теоретическими терминами других научных теорий, а также установление связей с ком-

понентами «интертеоретического фона», остающихся за вычетом других научных теорий. К ним относятся такие компоненты, как сетка философских категорий, картина мира, «высшие уровни систематизации знания» и др.

К числу корригирующих процедур относится *изгнание чуждых* для соответствующих эпистемологических систем *понятий*. Так, в естествознании XVII в. с его картиной мира как машины и отрицанием того, что между природой как *machina mundi* и механиком-богом существуют какие-либо «посредствующие звенья» («душа», «жизнь»), как это было характерно для унаследованных от Платона натурфилософских представлений эпохи Возрождения, происходила настоящая борьба против телеологических понятий «цели» и «целевой причины» по отношению к природе, поскольку в античных научных программах «душа» и «жизнь» «осмыслялись с помощью категории “цели” (“телоса”») [Гайденко 1982: 73].

Вторая ситуация в числе корригирующих процедур заключается в очищении заимствуемых понятий от чуждых смысловых привнесений. Такая ситуация возникла в IV в. при создании тринитарной терминологии в христианском догматическом богословии на основе терминов эллинской философии. В святоотеческом Предании такое произведенное очищение именуют «крещением» эллинской философии. Как описывает эту ситуацию В.Н. Лосский, «церковь выразила термином “омоусиос” единосущность трех Лиц, таинственное тождество монады и триады и одновременность тождества единой природы и различия трех Ипостасей» [Лосский 1991: 40]. И продолжает: «Интересно отметить, что выражение “омоусиос” встречается у Плотина. Плотиновская троица состоит из трех единосущных ипостасей: Единое, Ум и Душа мира. Однако их единосущность не поднимается до Троичной антиномии христианского догмата: она представляется нам как бы нисходящей иерархией и проявляется в непрерывной эманации ипостасей, которые, переходя одна в другую, одна в другой отражаются» [Там же]. И резюмирует: «Потребовались нечеловеческие усилия таких отцов Церкви, как святые Афанасий Великий, Василий Великий, Григорий Богослов и еще многих других, чтобы очистить понятия, свойственные эллинскому образу мысли, разрушить их непроницаемые перегородки, вводя в них начало христианского апофатизма, преобразовавшего рационалистическое умствование в созерцание тайн Пресвятой Троицы. Надо было найти терминологическое различие, которое выражало бы в Божестве единство и различие, не давая преобладания ни одному, ни другому, не давая мысли уклониться ни в унитаризм савеллиан, ни в троежие язычников» [Там же: 40–41].

\* \* \*

Мы рассмотрели в данной главе только самые общие вопросы, встающие в связи с разработкой лингвистических технологий трансферизации гуманитарного знания. Многие вопросы не были даже упомянуты. Систематическое изучение данной темы в аспекте генерирования лингвистических технологий только начинается.

Успешная разработка всякого рода технологий опирается на достаточно глубоко отрефлектированную в прагматическом ключе теоретическую основу. В случае гуманитарных технологий в области трансферизации знания ситуация разработки таких технологий затрудняется недостаточно полным теоретическим осмыслением данной темы. Исследование процессов смысловых модификаций при трансферизации знания поднимает вопрос о необходимости создания отдельных дисциплин и направлений по изучению данной темы. И, прежде всего, отдельного направления (дисциплины) – «трансферологии», формируемой на стыке научной эпистемологии и культурологии.

Многие из ее топиков рассматриваются историками культуры и философами при изучении историко-культурных процессов. Так, П.П. Гайденко задается вопросом о том, «через какие каналы происходит взаимодействие науки с другими сферами культурной жизни общества» [Гайденко 1982: 61]. А также поднимает вопрос о «трансформациях определенной научной программы при переходе ее из одной культуры в другую» [Там же: 66].

Изучение темы трансферологии знания вносит свой вклад также в формирование одного из важнейших направлений гуманитарной мысли – «идеографии», или изучения жизни идей. Одним из разделов данной дисциплины могла бы стать «идеографическая компаративистика», направленная на сравнительный анализ различных мировоззрений и типов ментальностей<sup>1</sup>.

## Литература

- Аверинцев С.С.* Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.  
*Аристотель.* Метафизика. Ростов-на-Дону, 1999.  
*Баженов Л.Б.* Строение и функции естественно-научной теории. М., 1978.

<sup>1</sup> О соотношении теории культурного трансфера и компаративистики в гуманитарном познании см. в работе Е. Дмитриевой [Дмитриева 2011].

*Булгаков С., прот.* Апокалипсис Иоанна (Опыт догматического истолкования). М., 1991.

*Булгаков С., прот.* Философия имени. СПб., 1998.

*Гайденко П.П.* Культурно-исторический аспект эволюции науки // Методологические проблемы историко-научных исследований. М., 1982.

*Генисаретский О.И.* Навигатор: методологические расширения и продолжения. М., 2002.

*Геронимус А., прот.* Рождение от Духа. Что значит жить в православном Предании. М., 2014.

*Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.

*Давыденков О., иерей.* Велия благочестия тайна: Бог явился во плоти. М., 2002.

*Дмитриева Е.* Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы, 2011, № 4.

*Камалдинова Э.Ш., Кузнецова Т.Ф.* Гуманитарное знание в XXI веке: Рецензия на книгу: Гуманитарное знание: тенденции развития в XXI веке: В честь 70-летия Игоря Михайловича Ильинского / Под общ. ред. Вал.А. Лукова. М., 2006. // Знание. Понимание. Умение. Вып. 21. 2007.

*Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М., 1987.

*Карпов Л.Н.* Методологические аспекты структурной лингвистики // НДВШ, Философ. науки, 1976, № 6.

*Касавин И.Т.* Знание // Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Степина. В 4 тт. Т. 2. М., 2001.

*Кассирер Э.* Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.

*Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г.* Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1996.

*Лосев А. Ф.* Языковая структура. М., 1983.

*Лосев А. Ф.* В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М., 1989.

*Лосев А. Ф.* Хаос и структура. М., 1997.

*Лосский В.Н.* Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991.

*Луков Вал.А., Луков Вл.А.* Высшее образование и интеграция гуманитарного знания: тезаурусный подход // Тезаурусный анализ мировой культуры: сб. науч. трудов. Вып. 20 / Под ред. Вл.А. Лукова. М., 2010.

- Маритен Ж.* Знание и мудрость. М., 1999.
- Медведев В.И.* Философия языка. Очерки истории. СПб., 2012.
- Семенцов В.С.* Проблемы интерпретации брахманической прозы (ритуальный символизм). М., 1981.
- Степанов Ю.С.* Протей: Очерк хаотической эволюции. М., 2004.
- Степанов Ю.[С.]*. Мыслящий тростник. Книга о «Воображаемой словесности». Калуга, 2010.
- Философский энциклопедический словарь. М., 1983. (ФЭС).
- Флоренский П.А.* Сочинения. Т. 2. У водоразделов мысли. М., 1990.
- Франк-Каменецкий И.Г.* К вопросу о развитии поэтической метафоры // Аверинцев С.С., Франк-Каменецкий И.Г., Фрейденберг О.М. От слова к смыслу: Проблемы тропогенеза. М., 2001.
- Фрумкина Р.М.* Лингвистическая гипотеза и эксперимент // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.
- Фрумкина Р.М.* Есть ли у современной лингвистики своя эпистемология? // Язык и наука конца 20 века. М., 1995.
- Шаумян С.К.* Диалектические идеи А.Ф. Лосева в лингвистике // Лосевские чтения: Образ мира – структура и целое. Философский журнал «Логос». № 3, 1999.
- Щедровицкий Г.П.* Синтез знаний: проблемы и методы // Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М., 1995.
- Щедровицкий Г.П.* Проблемы и проблематизация в контексте программирования процессов решения задач // Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. М., 1997.

## глава 1.2. Языковые техники «трансфера знаний»

**В.З. Демьянков**

Эволюция научной мысли состоит не только в изобретении новых подходов к предмету исследования, но и в «продвижении» и «презентации» взглядов – как новых, так и традиционных. Это сказывается на том, как создаются тексты, отражающие эмерджентные взгляды на предмет исследования. Когнитивно-лингвистический анализ динамики науки позволяет выделять и классифицировать используемые языковые средства – «языковые техники» трансфера знаний. Рассмотрим некоторые классы языковых техник, используемых для подачи научных положений.

### 1. Термин «трансфер знаний»

В переводоведении термин трансфер знака используется в значении «перенос некоторого знака как элемента некоторой знаковой структуры и как потенциала формы и функции в состав другого знака, в качестве элемента другой знаковой структуры». С помощью этого понятия описываются прямые и обходные маневры при переводе «трудных» выражений с одного языка на другой.

По переносу, трансфером знаний в широком смысле называют передачу от человека к человеку не только практических и теоретических сведений, но и навыков, установок, предпочтений в выборе подходов к решению житейских или научных проблем, см. [Демьянков 2015]. Такие знания переносятся из одной позиции в «информационной системе» человека в другую позицию – той же или другой системы.

В узком же смысле трансфер знаний – перенос мнений или теоретических достижений (иногда – и предрассудков) из одной сферы жизни человека в другую. Так, метафора – употребление выражения в «переносном» смысле, когда в терминах одной области знаний говорят о том, что известно меньше и/или хуже. Это переход от знания, данного непосредственно, к знанию, полученному опосредованно.

В последнее столетие очень широко исследуются различные виды трансфера знаний, когда понятия той или иной социальной или гума-

нитарной науки анализируются в опоре на то, как об этих понятиях принято говорить в обыденной речи, которая, как предполагается, является донором. Этот подход к анализу политически нагруженных слов получил название лингвистической политологии. Классифицируя различные контексты употребления слов и/или конструкций, делают выводы о том, каковы обслуживаемые «политические культуры». А классифицируя различные контексты употребления научных терминов и/или конструкций в обыденной речи, делают выводы о том, что же лежит за соответствующими научными понятиями.

Трансфер знаний лежит в основе небуквального употребления языковых выражений, когда о предметах, не данных непосредственно, говорят в терминах других предметов, данных опосредованно. Тогда имеет дело с трансфером «от известного к неизвестному». В частности, техники анализа обыденных значений у слов, используемых в научном и политическом дискурсе, позволяют выявить механизмы такого трансфера знаний.

Такой взгляд на метафору вытекает, например, из концепции В.Н. Телия, представленной еще в 1980-е годы. В этой концепции принимается, что метафора «... способна обеспечить рассмотрение вновь познаваемого через уже познанное, зафиксированное в виде значения языковой единицы. В этом переосмыслении образ, лежащий в основе метафоры, играет роль внутренней формы с характерными именно для данного образа ассоциациями, которые предоставляют субъекту речи широкий диапазон для интерпретации обозначаемого и для отображения сколь угодно тонких “оттенков” смысла» [Телия 1988: 179]. И далее: «метафоризация – это процесс такого взаимодействия указанных сущностей и операций, которое приводит к получению нового знания о мире и к оязыковлению этого знания. Метафоризация сопровождается вкраплением в новое понятие признаков уже познанной действительности, отображенной в значении переосмысляемого имени, что оставляет следы в метафорическом значении, которое в свою очередь “вплетается” в картину мира, выражаемую языком» [Телия 1988: 186].

Одни и те же феномены человеческого бытия можно объяснять с нескольких точек зрения. В частности, с точки зрения культурной и цивилизационной.

Как известно, термины цивилизация и культура соперничают в различных концепциях развития человеческой ментальности. А именно французский термин *civilisation*, вошедший в середине 18 в. в научный оборот и во Франции, и за ее пределами, имел значение “культура как образ жизни”. Недаром, в отличие от термина *культура*, изначально

этот термин не имел формы множественного числа: когда говорили о цивилизации, имели в виду некоторый единственный, уникальный, идеальный образ жизни, взятый в отвлечении от различий, существующих в реальных обществах<sup>1</sup>. Термином же *культура* западноевропейские исследователи обозначали различные экзотичные общества, за пределами «западной цивилизации». Вот почему сегодня стихийно установилось такое разграничение задач: культурология занимается исследованием культуры глазами носителя этой культуры, а этнология – глазами внешнего наблюдателя, то есть с точки зрения цивилизации, а не самой этой исследуемой культуры.

В языкознании 20–21 вв., стартуя с универсалистской площадки, видят аналогию между цивилизацией и универсалиями языка, с одной стороны, и культурами и идиоэтническими особенностями языкового употребления – с другой. Иначе говоря, выражаясь языком пропорций, имеем: цивилизация так относится к культурам, как «универсальный язык» («универсалии языка») относится к исторически засвидетельствованным языкам.

При таком понимании цивилизационные ограничения на исторически засвидетельствованные языки можно представить себе как границы, предопределяющие развитие языков в рамках существующей цивилизации.

Выявление этих границ в гуманитарных науках происходит методом «реконструкции» (внутренней и/или внешней): рассматривая реликты и «слабые места» в наблюдаемых свойствах реальных языков, устанавливают, какие расхождения между языками случайны, а какие обусловлены языковыми универсалиями, лежащими в основе когнитивного механизма всех человеческих языков. Методы такой культурологической реконструкции оказались весьма плодотворными для современной лингвистики. Здесь эти методы используются не столько для восстановления внешней формы языковых знаков – того, как они выглядели или звучали в далекие времена праязыка, сколько для выявления системы закономерностей, связывающих языковые знаки между

<sup>1</sup> «Civilization» was a term coined in France in 1750s and quickly adopted in England, becoming very popular in both countries in explication of their superior accomplishments and justification of their imperialist exploits [...]. The meaning was the same as the sense of «culture» as a way of life that is now proper to anthropology. Among other differences, «civilization» was not pluralizable: it did not refer to the distinctive modes of existence of different societies but to the ideal order of human society in general [...] [Sahlins 1995: 10–11].

собой и с их значениями в речи. В любом случае имеем дело с интерпретацией эмпирических данных и в цивилизационно предначертанных рамках (когда ученый стремится к «надкультурной», этнологической реконструкции), и в рамках конкретной культуры (когда исследователь по той или иной причине вольно или невольно «заземлен» на конкретную национальную культуру и не обладает амбициями выйти за ее пределы).

Интерпретируя факты, а также чужие и свои высказывания, человек обладает свободой, которая также может по-разному рассматриваться: в цивилизационном и/или культурном формате. В этом аналогия с диалогом, когда мы стремимся понять другого человека, понять себя, понять только текст и т. д. – в зависимости от своей техники понимания, от того, к чему мы подготовлены в большей степени своим предшествующим диалогическим опытом. Понимание – одновременно и интерпретативная деятельность (в этом можно видеть культурную обусловленность), и идеал, к которому мы стремимся (и в этом – цивилизационная составляющая понимания). Однако, поскольку понимание – оценочный термин (ср. правильно, хорошо понять vs. неправильно, неадекватно понять), связанный с ценностями, а потому и с выбором из множества альтернатив, понимание обладает и своими культурами, см. [Демьянков 2001: 318], и своей цивилизацией. Соответственно, прогресс искусства понимания можно видеть в расширении свободы каждого отдельного человека при выборе своего «параметра», своей позиции на шкале альтернатив. Это способность выбрать, как воспринимать речь в данном эпизоде своей жизни [Там же: 319].

Интерпретация же текста предстает перед нами как занятие, связанное с решением интеллектуальной задачи – с распознаванием значения, иногда глубоко спрятанного. И этот момент также прекрасно уловила В.Н. Телия: «Узнавание метафоры – это разгадка и смысловая интерпретация текста, бессмысленного с логической точки зрения, но осмысленного при замене рационального его отображения на иногда даже иррациональную интерпретацию, тем не менее, доступную человеческому восприятию мира благодаря языковой компетенции носителей языка» [Телия 1988: 204].

Сегодня, когда освоение большого эмпирического материала происходит в опоре на большие корпуса текстов, с помощью «понимающей» социологии текста (или социологии дискурса) исследуются многие важные когнитивно нагруженные понятия. Этот метод лежит в основе, например, контрастивной лингвистической философии, исследующей обыденную речь о философски нагруженных понятиях в разных языках.

Исходным для этого метода является вопрос: почему об одних и тех же идеях, тождественных в рамках данной цивилизации, в разных культурах говорят по-разному? И говорят ли действительно об одних и тех же идеях (как если бы они принадлежали одной общей для разных народов цивилизации) или имеются в виду совершенно разные идеи?

Такое исследование может не только давать лингвистические результаты, но и служить пропедевтикой для философского исследования, ни в коей мере, впрочем, не подменяя его: ведь этот лингвистический метод имеет отношение к исследованию языка, а чисто философская интерпретация требует и иных приемов для анализа данных, иногда связанных с хирургическим вмешательством в наличный интеллектуальный аппарат философа.

Таким образом, на границе между философией и языковедением лежит выявление тех аспектов языка, которые позволяют взглянуть на цивилизационный мир, лежащий за пределами родных национальных (то есть «культурных») ворот.

Вряд ли есть прямая зависимость между употреблением слов и философскими установками разных народов, говорящих на разных языках. Тем не менее наблюдения приводят нас к вопросу: а действительно ли мы говорим об одних и тех же вещах на разных языках? Сомнения в этом приводят некоторых исследователей к тому, чтобы считать фантомом само понятие цивилизации.

Сегодня на повестку дня вышло эмпирическое исследование ограничений, накладываемых цивилизацией на конкретные языки: можно предположить, что в рамках различных языков не только хранятся различные данные о внеязыковой действительности, но и задаются различные пути трансфера знаний. Иначе говоря, пути познания одних и тех же (универсальных, цивилизационных) сущностей в различных языках и культурах различны.

## **2. Интеллектуальная революция**

Трансфером знаний можно назвать передачу не только эмпирических и теоретических сведений, но и навыков, установок, предпочтений в выборе теоретических подходов и в решении научных проблем. С помощью такого трансфера поддерживается «научный тонус» в общении между представителями различных поколений ученых (межпоколенный трансфер) и различных научных дисциплин (междисциплинарный трансфер).

Эти два вида трансфера взаимозависимы, грань между ними очень условна. Поколение – люди, объединяемые природным или благоприоб-

ретенным сходством облика и/или действий. В науке неполным аналогом поколений являются научные парадигмы. В результате интеллектуальных революций, а также новых тенденций («поворотов» и «волн») в интеллектуальной жизни общества изменяется «концептуализация» трактуемых предметов и возникает новое «поколение», этими предметами занимающееся. При этом изменяется не только отнесение предметов к тем или иным классам, но и то, как в научных текстах говорят об этих предметах. Интеллектуальные революции выражаются и в новой постановке вопросов об этих предметах, и в новых способах на эти вопросы отвечать.

В то же время, в отличие от научной теории, парадигма не представляет собой завершенное решение всех задач. Парадигма – как свидетельствует употребление этого слова [Демьянков 2009] – образец, которому следуют в своих научных построениях ученые. А выбор образца предопределяется не только объектом исследования, но и человеческими отношениями между учеными. Одним из важнейших направлений передачи, или «трансфера», знаний является влияние работ одного ученого – создателя парадигмы – на последователей этого ученого, особенно на его учеников и ближайшее окружение.

Теория может стать основой для парадигмы, если научное сообщество начинает признавать ее образцом для подражания. В таком словоупотреблении о парадигме говорят как о чем-то вроде «заслуженной теории» или «респектабельном научном направлении», при этом упоминают успехи, достигнутые сторонниками этой парадигмы. В речи о теории в фокусе внимания находится объект теоретического объяснения. А употребляя термин парадигма, имеют в виду, прежде всего, человеческий фактор теоретических объяснений и схему, по которой исследование проводится, протоколируется и интерпретируется.

В нашу эпоху междисциплинарности можно выделить два класса трансфера знаний в лингвистике. Один вид связан с экспортом достижения лингвистической мысли за пределы языкознания, когда лингвистический анализ используется, например, в литературоведении или в философии. В противоположном направлении происходит трансфер, когда лингвисты импортируют в языкознание свежие идеи и теоретические конструкции извне, например, из математики, литературоведения и т. п. Об интеллектуальной революции говорят как о том, что еще актуально, развивается, особенно же часто – как о том, что еще только обещает принести плоды [George, George 1972: xxix], благотворные для смежных дисциплин [Lanigan 1988: 157]. Итак, интеллектуальная революция по определению должна быть актуальной. А о «прошедшей», неактуальной революции чаще говорят как о перевороте.

Интеллектуал по природе своей видит революционность во всем новом и необычном, лишь бы это новое не было очевидно абсурдным, ср. [Nagel 1995: 26]. Практика переубеждения состоит не только в прямом предъявлении опровергающих данных, но и в «интертекстуальной» демонстрации [Boudreau 1996: 23–24] того, что сами формулировки рассматриваемой теории более дефектны, чем конкурирующие положения оппонентов, ср. [Boudreau 1996: 23–24].

### 3. Характерные черты и симптомы научной революции

Рассмотрение обширной литературы по данной проблеме позволяет выделить различные черты и разновидности научной революции, из которых упомянем только несколько:

- резкий рост объяснительности,
- превосходство нового над старым,
- межэпохальность и межпоколенность,
- наддисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность,
- персональность vs. надличность,
- развенчание очевидности – бегство от тривиальности, поиски удивительного.

Соответственно этим «параметрам» можно говорить о языковых техниках «презентации» научных «прорывов» в специальных и в научно-популярных публикациях.

#### 3.1. Резкий рост объяснительности

Наука состоит из описывающей и объясняющей частей, соединяемых очень тонкой нитью. Запас наблюдений растёт со временем до тех пор, пока не обнаруживаются противоречия между разными данными в рамках господствующей теории. Поэтому иногда кажется [Тулмин 1984], что в науке меняется только объясняющая, но не описательная часть и что с развитием теории мы просто избавляемся от лишних ограничений, навязываемых господствующим взглядом на вещи там, где наблюдение подсказывает иной ход мыслей<sup>1</sup>. В отличие от «рутинного» углубления

<sup>1</sup> П.К. Фейерабэнд полагал, что научная революция – результат такого разрыва [Feyerabend 1991], однако человек никогда не может быть вне какой-либо теории – поэтому-то и возникает новая теория или версия теории; см. также [Pres-ton 1997: 210].

теории, в научной революции видят или хотят видеть сочетание новых фактов с новыми объясняющими гипотезами [Wright 1971: 169]. Без такой революции, открывающей глаза исследователей на мир, мы не открыли бы новых фактов и продолжали бы видеть мир в прежнем свете.

### 3.2. Превосходство нового над старым

Революционность – термин оценочный. Чтобы констатировать революционность, новый взгляд соотносят со старым и оценивают как более достойного претендента на истину. Процедура соотнесения предполагает наличие точек соответствия и/или дополнения между старой и новой теориями (ср. принцип соответствия Н. Бора). Эти соответствия устанавливаются на текстуальном, терминологическом, идейном или ином уровне, ср. [Pearce, Rantala 1985: 15]. Однако с новыми теориями приходят и новые понимания старых терминов. Так на каком понимании – на старом или на новом – должно базироваться оценочное сравнение теорий? Когда подобные вопросы переходят из разряда праздных в разряд существенных, налицо революционная ситуация: это языковой признак революции, приносящей с собой смешение научных языков – старого и нового. И такое смешение напоминает то, что происходит, когда новое поколение общается со старым и достигает взаимопонимания, однако не абсолютного, а только в степени, (по-разному) существенной для каждой из сторон. Старое поколение говорит тогда о «загрязнении интеллектуальной среды» [Stegmüller 1986a: 1], а представители нового считают себя санитарами для старой<sup>1</sup>. Изменяется и тематическая направленность в рассмотрении одних и тех же вещей [Holton 1973], вследствие чего меняются и сами понятия: компоненты значения терминов, раньше казавшиеся существенными, теперь нивелируются, и, наоборот, нечто малосущественное в объеме понятия становится общепризнанно существенной или даже главной стороной старого понятия.

Такое превосходство не обязательно бывает «объективным»: большую роль играют пиаровские техники, позволяющие даже небольшой

<sup>1</sup> Например, К. Попперу в теории научных революций Т. Куна [Kuhn 1973] наиболее подозрительным казался термин *нормальная наука* [Stegmüller 1986a: 295], а не положения последнего не в последнюю очередь и потому, что английское *science* отлично от *Wissenschaft* в родном для Поппера немецком языке [Houningen-Huene 1989: 16]. Да и сам термин *революция* оценивается обществом, недавно обжегшимся на социальной революции (как в Германии, России, Австрии и т. д.), не так же, как обществом, очень давно пережившим социальные взрывы (как в Великобритании или США).

новации приписать огромный вес в глазах научной и обывательской общественности.

Помимо задач пиара, языковые техники в этой области нацелены на прояснение формулировок, разграничение понятий, устранение нечеткостей и скрытых противоречий в бытующих формулировках.

### *3.3. Межэпохальность и межпоколенность*

Революция межэпохальна, лежит на границе интеллектуальных эпох, более или менее непрерывных во времени и в пространстве. Из таких эпох и состоит история науки [Blumenberg 1976], подчиняющаяся законам изменения общества. Такие эпохи различаются:

- тем, какие проблемы ставятся: существенное в одну эпоху, в другую признается фантазией или догматизмом,
- тем, какие решения проблем ожидаются и насколько терпимо воспринимаются противоречия или даже невнятность в этих решениях.

На границе же между интеллектуальными эпохами господствует тенденция к равновесному состоянию. Революция является проявлением, а не причиной нарушения этого равновесия.

Так, при чтении текстов основоположников новой парадигмы (скажем, Гейзенберга, Бора, Эйнштейна или Хомского) бросается в глаза заостренность, нарочито явная подача расхождений с предшественниками. И только со временем, в результате балансировки, эти острые углы все больше сглаживаются [Neuser 1995: 18]. Как эволюцию или как революцию мы часто характеризуем одни и те же явления, в зависимости от того, из какой временной точки мы их наблюдаем. Т. Кун [Kuhn 1962] говорит о революциях, поскольку его точкой наблюдения является тот период, когда баланс грозит потеряться. А вот интеллектуальные волнения прошлого кажутся скорее эволюционными, на которые смотрят с философским спокойствием подобно тому, как смотрят на биологическую эволюцию [Beach 1997: 11].

Для стороннего наблюдателя во время революции никакая сторона не может претендовать на истину в последней инстанции. Революция – предприятие рискованное, и это революционеры чувствуют. Революционный пыл объясняется тем, что приходится выступать за те гипотезы, истина которых еще не в деталях доказана. Главное первоначальное достоинство революционных гипотез – «креативность», новизна и свежесть взгляда, иногда, впрочем, только кажущиеся, ср. [Heath 1978: 86–87]. Новые гипотезы противопоставляются тому, что ранее вызывало сомнения, а в новую эпоху объявляется пережитком прошлого – как классический психоанализ в психиатрии и марксизм в фи-

лософии в конце 20 в. [Shorter 1997: vii]. Не следует забывать, что Коперник, Маркс, Фрейд и Эйнштейн выросли в старом интеллектуальном мире и остаются в нем хотя бы «одной ногой». А вот для поколения, вырастающего после революционеров, новые установки являются родными, «нормальными» и совсем не революционными.

Языковые техники трансфера, служащие продвижению научной революции, нацелены на подчеркивание «продвинутой» нового поколения, «стоящего на плечах» своих предшественников и уже поэтому занимающего более высокий социальный статус в глазах «прогрессивного человечества».

### *3.4. Наддисциплинарность, междисциплинарность, трансдисциплинарность*

Можно различать глобальную и локальную научные революции, или общеродовое и специфическое употребления термина научная революция в значении 'скачкообразное изменение господствующего образа мыслей в науке' [Cohen 1994: 21]. Для глобальных научных революций характерно изменение самого отношения к научному занятию, к критериям научности, а также к институтам (что связано с возникновением различных академий, лабораторий, научных обществ и т. п.). Так, в европейской науке эпоху 16–17 вв. (особенно первое десятилетие 17 в.) связывают с возникновением новых критериев научности и профессиональности в науке [Rossi 1997: 265]. В частности, парадигма физики Ньютона (1642–1727) была и часто остается идеалом таких наук, как химия, биология и в значительно меньшей степени для общественных наук [Neuser 1995: 1].

Причем изменения научных парадигм заразительны: научные революции приводят к изменению установок и за пределами науки, в иных интеллектуальных сферах – в литературе, искусстве, образе жизни и т. п. [Kouřé 1980]. Именно с представлением о бесконечности мира в пространстве и времени пришло и осознание бесконечности жизни в иных сферах, за пределами науки. Естественно, что локальные научные революции происходят гораздо чаще, чем глобальные, затрагивают интересы отдельно взятых наук и не создают подобных междисциплинарных парадигм.

Наблюдения над развитием лингвистических теорий показывают, что прототипом революционной теории является концепция, претендующая на объяснение явлений даже далеко за пределами науки о языке. Иначе говоря, глобальные теории тем более революционны, чем в большей степени позволяют воспарить над нуждами, над обыденной практикой данной научной дисциплины.

Языковые техники, связанные с этим параметром революционности, нацелены на междисциплинарный трансфер знаний – на перенос теоретических достижений из одной научной дисциплины в другую, когда происходит приращение объяснительности и для облагодетельствованной дисциплины, и для дисциплины-донора.

### *3.5. Персональность vs. надличность*

В эпоху, когда происходит интеллектуальная революция, наблюдается бурный рост количества имен, связанных с развитием новой идеи. Не всегда *post factum* можно выделить одну, центральную фигуру, однако всегда наблюдается большое количество сторонников, не просто следующих революционной идее (такое ограниченное следование можно было бы назвать интеллектуальной модой), а «авторски» (то есть с авторским правом на явные творческие ростки) развивающих общую идею. Таково положение и в социальной революции: вспомним Великую французскую революцию, имя главной фигуры которой до нас не дошло, но в памяти остались Робеспьер и Дантон. Таково же положение в техническом прогрессе: лазерная и компьютерная революции в общественном сознании обывателя не связаны с центральной фигурой, но можно упомянуть большое количество людей и фирм, развивающих центральную тенденцию.

Тем не менее в науке нередко и иное, когда центральная фигура дает имя научной революции, ср.: коперниковская революция, галилеевская революция. Однако начиная с 20 в. революции и в науке получают название чаще не по фамилии ученого, а по названию тенденции или прототипической теории: генеративная революция связана с именем Хомского (название хомскианская революция чаще употребляют противники генеративизма), на знамени структуралистской революции – Ф. де Соссюр (сосюрианство звучит не очень уважительно); о том, кто главный автор когнитивной революции, единодушия нет и вовсе. Таким образом, наука сегодня рядоположена общественному движению.

### *3.6. Развенчание очевидности*

В литературе по философии науки выделяются два устойчивых эпитета научной революции безотносительно к конкретной научной дисциплине: коперниковская и галилеевская. Им соответствуют и два типа интеллектуальной революции.

Коперниковская революция связана с легализацией взглядов, диаметрально противоположных бытующим, но не квалифицированным официальным сообществом как верные и самоочевидные. Вместо са-

моочевидного *Солнце вращается вокруг Земли* коперниканцы защищают противоположное: *Земля вращается вокруг Солнца*<sup>1</sup>.

«Мы наблюдаем восход и заход солнца, что может быть более очевидным свидетельством в пользу геоцентрической модели?» – вопрошали оппоненты Коперника. Для коперниканцев же эта беспроblemность только кажущаяся, поскольку восход и заход солнца могут быть объяснены и при гелиоцентрической точке зрения, которая заодно объясняет и солнечные затмения (наблюдаемые, впрочем, значительно реже, не каждый день).

Итак, коперниканцы стремятся расширить спектр объясняемых явлений, принося в жертву непосредственную очевидность, в то время как доминировавшая ранее теория охватывала статистически самые частые явления. Противники коперниканцев имеют право сказать: «Зачем наводить тень на ясный день, когда и так все ясно?» Коперниканцы же объясняют более широкий спектр явлений, находят именно для них непосредственное объяснение, а то, что было ранее непосредственно ясно, получает теперь опосредованное и, возможно, менее естественное (со старой точки зрения) объяснение [Redding 1996: 5–6].

Исследователь-коперниканец на время «остраняется» от своей обычной точки зрения, чтобы исследовать саму эту обычную точку зрения, сделать ее объектом исследования [Nagel 1986: 4–5]. Остранение как прием (в искусстве или в науке) – один из способов «объективации» [Williams 1978: 241], при том что граница между объективным и субъективным очень зыбка [Nagel 1986: 5].

Коперник отнял у человека привилегированный статус центра Вселенной, казавшийся ранее самоочевидным. Кант совершил коперниковскую революцию в философии [Bowie 1997: 31], предложив отказаться от того положения, что в своем познании мы должны следовать за объектами. По Канту, сами изучаемые объекты должны следовать за нашим познанием, поскольку все равно мы не можем увидеть в этих объектах больше, чем дано нам по нашей природе. Дарвин также был коперниканцем, показавшим, что человек не является центром природы не только во Вселенной, но и на родной Земле. Фрейд же продемонстрировал, что не является человек хозяином и в своем собственном доме – в своем сознании: то, что раньше прямолинейно объясня-

<sup>1</sup> Именно в этом смысле говорят о коперниканском перевороте, совершенном Г. Фреге в логике: до него считалось очевидным, что высказывание ориентируется на реальность; Фреге же рассматривает реальность как ориентированную на высказывание – при определенной интерпретации носителя языка, адаптирующего свои представления о мире на интерпретируемое высказывание [Nef 1991: 26].

ли как результат сознания, оказалось продуктом подсознания. А пост-модернисты и постструктуралисты постарались окончательно развенчать субъективность [Hietala 1990: 1].

Итак, в коперниковскую установку входит настороженно-подозрительное отношение к взглядам, доставшимся нам от древности [Kamm 1995: 28]. Отсюда – только один шаг до того стиля теоретизирования, который получил название «критика языка».

На всех этапах науки есть данные, от которых на время отвлекаются представители доминирующих взглядов, поэтому понятие фальсифицируемости, по К. Попперу, должно быть принято с оговорками не только в физике, но и в языкознании [Lightfoot 1979: 75]. Это обстоятельство подрывает основы доминирующих взглядов. Революционеры-коперниканцы, называемые иначе диссидентами, популяризируют сведения о слабости доминирующей теории и формируют если не конкурирующую целостную концепцию, то, по крайней мере, программу действий. В результате вырисовывается новый взгляд, при котором иные наличные концепции оцениваются как фальсифицируемые или нефальсифицируемые [Lakatos 1970]. Скажем, далеко не все наблюдаемые данные сходились с концепцией Коперника, но от них диссиденты отвлекались, поскольку эти данные занимали маргинальное положение в ядре общей исследовательской программы [Lightfoot 1979: 76]. Социальные революции, поддерживаемые массами, по определению также являются коперниканскими, поскольку им предшествует широкое распространение определенных взглядов на социальную справедливость. Иначе говоря, теория-меньшинство приобретает статус доминирующей теории.

В истории языкознания, говоря о коперниковских революциях типа той, которая связана с грамматикой Пор-Рояля<sup>1</sup>, имеют в виду не полный отход от господствующей теории, а компромисс между распространенными взглядами, в совокупности противопоставленный господствующей точке зрения [Joly, Stéfanini 1977].

Примером коперниковской революции была и структуралистская революция [Ullmann 1958: 4], когда были легализованы идеи, бытовавшие в умах и раньше, но официально не принимаемые в качестве «научных» в сообществах лингвистов, а именно:

- синхронное описание языка не менее научно, чем историческое, поскольку обладает методами [Stozier 1988: 1], в конечном итоге при-

<sup>1</sup> Подход, который, по [Padley 1985: 382], означал синтез концепции рамистов (последователей Аристотеля, предвосхищавших структурализм), ориентировавшихся на форму выражения, с логицизмом, при котором принимается, что внешний облик высказывания не всегда прямо отражает логику высказываемой мысли.

водящими к целостному представлению о предмете; до Соссюра об этом знали все, но не все отваживались прямо это сказать, не рискуя быть обвиненными в ретроградстве, в приверженности к взглядам, господствовавшим до сравнительно-исторического метода;

– язык – не нагромождение разнородных элементов, а система, организованная целостность, «гештальт» [Ullmann 1958: 4], части которого взаимозависимы; главное же – система, устройство которой не обязательно лежит на поверхности и должно быть выявлено, иногда методами Шерлока Холмса.

Итак, структурализм можно квалифицировать как коперниковскую революцию, поскольку на первых порах он выглядел как возврат к давно скомпрометированным взглядам: ведь он подчеркивал отказ от положения, под знаменем которого прошел весь 19 в. – от всеобъяснительности эволюционной концепции развития человека и общества, когда главным, если не единственным, критерием объяснительности был историзм.

Галилеевский стиль (термин Гуссерля) и галилеевская революция связаны с созданием нового образа мышления в научной дисциплине, приводящего к неожиданным или парадоксальным результатам. «Очевидность реальности обманчива» – таков основной девиз галилеевского стиля [Naase 1995: 5], см. также [Reiss 1997: xi]. Предлагаемое теоретиком объяснение в рамках такого стиля метафорично, наглядно соединяет разные стороны наблюдаемых явлений, бывает настолько привлекательным, что сторонники такой теории отвлекаются иногда от неточного соответствия предсказаний фактам: конструкты имеют бóльшую ценность, чем осязаемая реальность<sup>1</sup>.

Галилеевское объяснение противопоставляют аристотелевскому [Lewin 1930/31: 423] или платоновскому [Wright 1971: 2] по линии: каузальность vs. телеологичность (или механичность vs. финалистичность). Теоретик при этом доверяет конструктам, им самим создаваемым, больше, чем своим органам чувств [Chomsky 1980] (впрочем, лингвистика пока еще не может в полной мере довериться своим конструктам, см. [Chomsky 1982: 33]). Особенно уместен такой подход, когда исследуемый объект доступен нам только через посредство инструментов (в естественных науках) или с чужих слов (как в гуманитарных науках). Этот научный стиль предполагает учет степени надежности самих конструктов [Grewendorf 1985: 89], то есть допустимости идеализации объекта исследования. Например, полагаясь на показания информанта о правдивости предложения, о семантических соотношениях между раз-

<sup>1</sup> В постмодернистскую эпоху такое предпочтение созвучно любви к комиксам, заменяющим подлинники литературных произведений [Turia 1997: 11].

ными версиями его и т. п., лингвист (часто – носитель языка) должен задуматься над причинами своих разногласий с информантом. Кроме того, теоретики различаются изобретательностью в придумывании конструкторов для объяснения («экспликации») данных и глубиной интерпретации изобретаемых формальных систем [Geier 1986: 36].

Эти разновидности интеллектуальной революции – коперниковская и галилеевская – соотнесены между собой, поскольку переход на диаметрально противоположные позиции (коперниковский переворот) не исключает парадоксальности. Однако для коперниковской революции важным предварительным условием является наличие официального консенсуса, а для галилеевской такой социологический фактор не существенен.

Глобальная коперниковская революция в гуманитарных науках начала 21 в. не была возможна, поскольку не было консенсуса. Именно поэтому модель научной революции, предложенная Т. Куном, для философии, истории, лингвистики и теоретического литературоведения начала 21 в. не идеальна: в это время, а еще больше – в конце 20 в. консенсуса в названных дисциплинах нет даже по самым центральным вопросам [Percival 1976: 292], каждое теоретическое исследование начиналось каждый раз как бы с нуля [Stegmaier 1988: 59].

Однако мы постоянно наблюдаем локальные перевороты в нашей науке. Поскольку же в результате революции теория-победительница начинает претендовать на роль консолидатора, а консенсус противен общественным наукам нашего времени в принципе (общественные науки по природе своей диссидентны), эта теория приобретает налет академической замшелости там, где раньше стремились просто к респектабельности. По свидетельству Дж. Серля [Searle 1996: 23], такой была судьба аналитической философии в 1950-е гг.<sup>1</sup>

Языковые техники в подаче революционных научных взглядов, связанные с данным параметром, нацелены на поиски и предъявление

<sup>1</sup> Ср.: “Analytic philosophy has become not only dominant but intellectually respectable, and, like all successful revolutionary movements, it has lost some of its vitality in virtue of its very success. Given its constant demand for rationality, intelligence, clarity, rigour and self-criticism, it is unlikely that it can succeed indefinitely, simply because these demands are too great a cost for many people to pay. The urge to treat philosophy as a discipline that satisfies emotional rather than intellectual needs is always a threat to the insistence on rationality and intelligence. However, in the history of philosophy, I do not believe we have seen anything to equal the history of analytic philosophy for its rigour, clarity, intelligence and, above all, its intellectual content. There is a sense in which it seems to me that we have been living through one of the great eras in philosophy” [Searle 1996: 23].

парадоксов в рамках схем: «очевидное–невероятное», «А знаете ли вы, что...» и в подобных заостренных формах.

#### 4. Поворот мысли

Термины *поворот мысли* (так можно условно перевести английское *turn* и немецкое *Wende* в таких словосочетаниях, как *linguistic turn*, *pragmatic turn*, *cognitive turn*, *interpretive turn* и т. п.) и *волна* (например, прагматическая волна) лишены драматизма, привносимого термином *революция*, и относятся скорее к интервалу времени, чем к точке. Ведь поворот замечается только после того, как произошел, и назад вернуться не всегда возможно.

Языковые техники подачи новаций при «поворотах мысли» также привносят меньший драматизм, чем при научной революции.

Лингвистический поворот мысли<sup>1</sup>, а точнее, поворот мысли в сторону языка, означал повышенное внимание к языку<sup>2</sup>, к тому, как глу-

<sup>1</sup> Этим термином Густав Бергманн [Bergmann 1953] назвал поворот мысли, произошедший в философии под влиянием логического атомизма Расселла, Мура и Виттгенштейна, а также логического позитивизма Шлика, Карнапа и Венского кружка [Nacker 1996: 4]. Позже сам Бергманн, Куайн, Гудман и Селларз рассматривали – в разных направлениях – традиционные онтологические проблемы через призму языка как вопросы синтаксиса и семантики формального языка, более прозрачного, чем естественный [Hochberg 1984: 11]. Позже этим термином был назван переход от эпистемологии к исследованию языка в философии 20 в., начатый намного раньше Гумбольдтом в русле кантовской философии [Rorty 1967a], особенно [Rorty 1980] (главы 6 и 7), см. об этом [Ward 1995: 50–51]. Еще одна хронологическая версия – рубеж 19 и 20 в., когда философы стали считать своей задачей не описание действительности, переведенное на язык философской системы, а выяснение в нашем знании того, что уже по своей буквальной формулировке представляется сомнительным. Рассматривая даже такие банальности, как обыденные представления и восприятия (книги Э. Маха «Анализ восприятий» и Р. Авенариуса «Человеческое понятие мира» были бестселлерами в конце 19 в.). Сильный импульс этой перестройке дало развитие квантовой механики (1900 г.) и специальной теории относительности (1905 г.). Тогда-то и начал интенсивно развиваться научный метод не только метафизики, но и теории литературы [Nürrauf 1996: 116–117].

<sup>2</sup> Это повышенное внимание к языку иногда называют рефлексивностью языка [Condit 1995: 209] – интерес к воздействию языка на человека, когда полагают, что язык обладает структурой, воздействующей на человека так, что он воспринимает предметы и говорит о них, стремясь не противоречить этой структуре.

бины языка проявлены в дискурсе гуманитарных наук – в философии, литературе, истории, социологии.

Там, где раньше говорили о предмете исследования, теперь все больше говорят о языке человека как об организующем звене научного дискурса, касающегося существования, реальности, мышления человека [Baker 1995: 1]. Ведь границы языка очерчивают и границы познаваемости предметов, поэтому все, что мы узнаём и/или сообщаем о нашем мире, опосредовано языком: мы ограничены выразительными возможностями языка. В этом аналогия с исполнительским мастерством в искусстве: классическим танцем исполнитель может выразить практически весь универсум своих мыслей и чувств, но лишь в рамках канонов этого танца. Постижение же универсума, лежащего за пределами самого сообщения в рамках канонов, – задача интерпретатора (самого исполнителя и/или его зрителя), вычисляющего по внешней форме сообщения прямые и переносные смыслы в соответствии со своим собственным внутренним миром.

То, что мы считаем действительностью, мы также конструируем в опоре на язык [Kitcher 1992], поэтому нельзя утверждать, что язык устанавливает референцию к реальному миру как к объективно существующей и независимой величине. Иногда, прибегая к олицетворению речи, говорят, что эту действительность конструирует наш дискурс [Wilkin 1997: 24]. Тогда субъект не играет той роли, которую ему приписывал И. Кант: мы от рождения помещаемся в герменевтические круги, или формы жизни, в которых и формируются наши мировоззрения. При таком взгляде унаследованное от Просвещения представление о рациональном субъекте требует переосмысления. Там, где раньше занимались вопросом: «Что такое знание?», теперь начинают с анализа употребления слова *знание*, а размышление и речь о понятиях привязывают в первую очередь к фактам языка [Everitt, Fisher 1995: 2] и только опосредованно – к самим понятиям. О связности (то есть логической непротиворечивости) мира можно говорить тогда только в той степени, в какой это допускает наш язык.

Итак, с одной стороны – язык со своей логикой, с другой – мир человека [Olafson 1995: 3] – «со своими тараканами». Отсюда взгляд на философию как на логику-лингвистическую реконструкцию языка в его употреблении человеком [Olafson 1995: 4], что предполагает интерпретативный подход к тексту [Fornaro 1988], см. [Демьянков 1989].

Парадным примером поворота мысли в языкознании является идеология структурализма (подробнее см. [Giddens 1987: 73–74]), в рамках которой:

– определенные лингвистические теории были объявлены главными для философии и социологии<sup>1</sup>; положение о важности для лингвистики других дисциплин принималось и в предыдущие эпохи, не отказываются от них и в новую эпоху<sup>2</sup>;

– подчеркивается целостность и «глубинная» (не всегда очевидная, но реконструируемая) структурированность исследуемого объекта, произвольности знака и примата означающего над означаемым<sup>3</sup>;

<sup>1</sup> Ср.: «Исчерпывающее описание языкового материала содержания требует участия других наук; с нашей точки зрения, все они, без исключения, имеют дело с языковым содержанием. Итак, мы пришли к тому, как нам кажется, обоснованному взгляду, что все науки группируются вокруг лингвистики» [Ельмслев 1960: 335].

<sup>2</sup> Ср.: «То, что составляло главное содержание традиционной лингвистики – история языка и генетическое сравнение языков, – имело своей целью не столько познание природы языка, сколько познание исторических и доисторических социальных условий и контактов между народами, т. е. знание, добытое с помощью языка как средства. Но все это также философия. Правда, часто кажется, что, оставаясь в пределах внутренних технических приемов сравнительной лингвистики этого рода, мы изучаем язык, но это только иллюзия. В действительности мы изучаем *disiecta membra*, т. е. разрозненные части языка, которые не позволяют нам охватить язык как целое. Мы изучаем физические и филологические, психологические и логические, социологические и исторические проявления языка, но не сам язык» [Ельмслев 1960: 266]; «Если лингвист хочет уяснить себе объект своей науки, он должен обратиться к областям, считавшимся по традиции чуждыми лингвистике» [Ельмслев 1960: 357].

<sup>3</sup> Ср.: «Лингвистика должна попытаться охватить язык не как конгломерат внеязыковых (т. е. физических, физиологических, психологических, логических, социологических) явлений, но как самодовлеющее целое, структуру *sui generis*. Только таким образом как таковой может рассматриваться научно, не разочаровывая своих исследователей и не ускользая из их поля зрения» [Ельмслев 1960: 267]; «Признание этого факта, что целое состоит не из вещей, но из отношений и что не субстанция, но только ее внутренние и внешние отношения имеют научное существование, конечно, не являются новым в науке, но может оказаться новым в лингвистике. Постулирование объектов как чего-то отличного от терминов отношения является излишней аксиомой и, следовательно, метафизической гипотезой, от которой лингвистике предстоит освободиться» [Ельмслев 1960: 283]; «...лингвистика может и должна изучать языковую форму, отвлекаясь от материала, который может быть подчинен этой форме в обоих планах» [Ельмслев 1960: 335]. В психоанализе Ж. Лакана имеем следующую пропорцию [Fornaro 1988: 325]: означающее: означаемое = репрезентация речи : репрезентация предмета = сознание и предсознание : бессознательное.

– субъективность в употреблении языка сама проблематизируется и становится объектом исследования<sup>1</sup>;

– на передний план выдвигаются пространственно-временные координаты развертывания и интерпретации «осязаемого» текста, то есть формы.

Событиями более локального масштаба стали прагматический и коммуникативный повороты мысли, т. е. тематизация в лингвистическом исследовании ситуативности употребления языка на фоне форм, процессов и интерпретаций речевой деятельности, ср. [Liedke, Knapp-Potthoff 1997: 9], [Weigand 1996: 151].

Язык и раньше считали погруженным в общество, в общение. Однако с конца 1960-х – начала 1970-х гг. росло убеждение, что описание формы и значения (семантики) высказывания вне контекста не исчерпывает еще задачи лингвистики, что лингвист должен описывать и употребление высказывания, особенно когда контекстное значение высказывания не совпадает с его семантикой. Прагматическая волна 1970-х гг. возродила интерес к функциональности [Kaindl 1995: 16], вот тогда-то и возобновилось противостояние формализма функционализму (отзвукам парадигмы, предшествовавшей формализму)<sup>2</sup>. Рецептами для реализации этого прагматического поворота стали, по [Hinrichs 1989: 4], лозунги типа:

– «От теории – к эмпирии»;

– «От структурализма и порождающей грамматики – к анализу устного общения, восприятия речи, особенно понимания»;

– «От лингвистики – к психолингвистике и социолингвистике»;

<sup>1</sup> Например, автор произведения объявляется фиктивной величиной [Barthes 1968], [Foucault 1969]. Так, на место автора у М. Фуко приходит институция (что очень сильно напоминает роль личности в марксистской трактовке истории), затем переосмысляемая как понятие рамки, или фрейма, в философии социологии [Weninger 1995: xii].

<sup>2</sup> Это было именно возрождение, а не рождение контрверсы, причем не только в восточноевропейской лингвистике, но и в западноевропейской и американской. Так, известно, что сам термин социолингвистика был предложен впервые в работе начала 20 в. – [Wrede 1903]. В 1930-е гг. диалектологи говорят о социально-лингвистическом принципе (*sozial-linguistisches Prinzip*) [Bach 1969]. Однако социальные аспекты употребления языка находились раньше на периферии интересов лингвистов [Stevenson 1995: 2], а главное, были методически малодоступны. Нужные методы были предложены прагмалингвистикой и социолингвистикой 1960–1970-х гг.

- «От мелких единиц, типа фонемы и слова, – к крупным единицам, типа обмена репликами и текста;
- «От монологичности – к диалогичности»;
- «От языковой системы – к тому, что лежит вне системы, случайно и спонтанно в обычном языке разговора»;
- «От интуиции лингвиста – к конкретному и по возможности аутентичному материалу».

Еще одной реализацией этого поворота мысли стала, по [Stegmüller 1986b: 64], теория речевых актов Дж. Остина: философам и филологам потребовалось две с половиной тысячи лет, чтобы осознать, что высказывание – это действие.

«Лингвистический поворот» привел к размыванию границ между философией вообще и философией языка, прежде считавшейся лишь разделом первой [Simon 1981: 5]. Одни философы квалифицировали лингвистический поворот в философии (в обоих ответвлениях: у Хайдеггера и у Витгенштейна<sup>1</sup>) как конец философии, другие – как возникновение новой системной концепции философии, третьи – как необходимость преобразования философии в философскую герменевтику [Baynes, Bohman, McCarthy 1987: 6–7]. Под влиянием этого поворота в исследовательские программы особым пунктом было включено рассмотрение дискурса, трактующего проблемы философии; при этом время от времени философы по-прежнему пытаются вернуться к проблемам субъективности и метафизики [Kress 1996: 10–11].

Языковые техники «презентации» поворота мысли, соответственно, меньше драматизируют переход от одних господствующих представлений к другим. Это мягкое, академичное, неконфронтирующее предложение адресовано прежде всего к собратьям по исследованию (и в гораздо меньшей степени – к широким слоям за пределами науки): обратить внимание на то, что, вообще говоря, и раньше принималось во внимание, но просто не тематизировалось «в полный рост».

## Заключение

Различные межпарадигмальные переходы – в том числе трансферы знаний – обслуживаются различными же языковыми техниками

<sup>1</sup> Предвозвестником же этого поворота иногда называют Ф. Ницше, поскольку он, как утверждается [Hödl 1997: 13], критиковал метафизику под углом зрения ее языка (особенно метафор).

для демонстрации объяснительной силы, новаторства и превосходства над конкурирующими (предшествующими) теориями, для того чтобы констатировать рождение новой научной эпохи и воспитать новые поколения исследователей в духе этой новой эпохи. Есть языковые техники для демонстрации междисциплинарных и «трансдисциплинарных» научных решений, а также для ниспровержения того, что ранее казалось очевидным. Сторонники и популяризаторы новых научных «поворотов» (напр., лингвистического поворота в философии) и «волн» (напр., прагматической волны в философии языка) используют более мягкие средства, чем «революционеры».

Однако техники презентации, как и когниция, которая ими руководит, социальны; когниция проявлена в том, как дискурс реализуется в виде текста, а текст интерпретируется в социальном контексте [Демьянков 2007]. А языковые знания, на которые такая интерпретация опирается, не всеядны. Противоречия и недосказанность в научных текстах не менее редки, чем в обыденной жизни, и наиболее ожидаемы в тех случаях, когда расхожие знания противоречат «революционным» теоретическим положениям.

## Литература

- Демьянков В.З. Интерпретация, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ. М., 1989.
- Демьянков В.З. Лингвистическая интерпретация текста: Универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии // Язык и культура: Факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова. М., 2001.
- Демьянков В.З. Парадигма в лингвистике и теории языка // Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство: Сборник в честь Е.С. Кубряковой. М., 2009.
- Демьянков В.З. Языковые следы трансфера знаний // Когнитивные исследования языка. 2015. Вып. 23. Лингвистические технологии в гуманитарных исследованиях.
- Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. М., 1960. Вып.1.
- Теля В.Н. Метафоризация и ее роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1988.
- Тулмин С. Человеческое понимание. М., 1984.

- Bach A.* Deutsche Mundartforschung. 3. Aufl. Heidelberg, 1969.
- Baker P.* Deconstruction and the ethical turn. Gainesville etc., 1995.
- Barthes R.* Le degré zéro de l'écriture, suivi d'éléments de sémiologie. Paris, 1968.
- Baynes K., Bohman J., McCarthy T.* General introduction // After philosophy: End or transformation? Cambridge (Massachusetts); London, 1987.
- Beach L.R.* The psychology of decision-making: People in organizations. Thousand Oaks etc., 1997.
- Bergmann G.* Logical positivism, language, and the reconstruction of metaphysics // the linguistic turn: Recent essays in philosophical method. Chicago; London, 1967.
- Blumenberg H.* Aspekte der Epochenschwelle: Cusaner und Nolaner. Frankfurt, 1976.
- Boudreau H.* Rewriting Unamuno rewriting Galdós // Self-conscious art: A tribute to John W.Kronik. Lewisburg (Pennsylvania); London; Toronto, 1996.
- Bowie A.* From Romanticism to critical theory: The philosophy of German literary theory. London; New York, 1997.
- Chomsky N.* Rules and representations. New York, 1980.
- Chomsky N.* On the generative enterprise: A discussion with Riny Hyub Regts and Henk van Riemsdijk. Dordrecht; Cinnaminson, 1982.
- Cohen H.* The scientific revolution: Historiographical inquiry. Chicago; London, 1994.
- Condit C.M.* Kenneth Burke and linguistic reflexivity: Reflections on the scene of the philosophy of communication in the twentieth century // Kenneth Burke and contemporary European thought: Rhetoric in transition. Tuscaloosa; London, 1995.
- Everitt N., Fisher A.* Modern epistemology: A new introduction. New York etc., 1995.
- Feyerabend P.K.* Three dialogues on knowledge. Oxford, 1991.
- Fornaro M.* Scuole di psicoanalisi: Ricerca storico-epistemologica sul pensiero di Hartmann, Klein e Lacan. Milano, 1988.
- Foucault M.* L'archéologie du savoir. Paris, 1969.
- Geier M.* Linguistische Analyse und literarische Praxis: Eine Orientierungsgrundlage für das Studium von Sprache und Literatur. Tübingen, 1986.
- George R.T.D., George F.M.D.* Introduction // The structuralists: From Marx to Lévi-Strauss. Garden City (New York), 1972.
- Giddens A.* Social theory and modern sociology. Stanford, 1987.
- Grewendorf G.* Sprache ALS Organ und Sprache ALS Lebensform: Zu Chomskys Wittgenstein-Kritik // Sprachspiel und Methode: Zum Stand der Wittgenstein-Diskussion. Berlin; New York, 1985.

- Haase M.* Galileische Idealisierung: Ein pragmatisches Konzept. Berlin; New York, 1995.
- Hacker P.M.S.* Wittgenstein's place in twentieth-century analytic philosophy. Oxford, 1996.
- Heath J.* Functional universals // Proceedings of Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society. Berkeley (California), 1978. Vol. 4.
- Hietala V.* Situating the subject in the film theory: Meaning and spectatorship in cinema. Turku, 1990.
- Hinrichs U.* Slawistik – Germanistik – Linguistik // Sprechen und Hören: Akten des 23. Linguistischen Kolloquiums, Berlin 1988. Tübingen, 1989.
- Hochberg H.* Logic, ontology, and language: Essays on truth and reality. München; Wien, 1984.
- Hödl H.G.* Nietzsches frühe Sprachkritik: Lektüren zu "Ueber Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinne" (1873). Wien, 1997.
- Holton G.* Thematic origins of scientific thought. Cambridge (Mass.), 1973.
- Hoyningen-Huene P.* Die Wissenschaftsphilosophie Thomas S.Kuhns / Geleitwort v. T.S.Kuhn. Braunschweig; Wiesbaden, 1989.
- Hüppauf B.* Das Ich und die Gewalt der Sinne: Döblin – Musil – Mach // Wer sind wir?: Europäische Phänotypen im Roman des zwanzigsten Jahrhunderts. München, 1996.
- Joly A.F., Stéfanini J., eds.* La grammaire générale des modistes aux idéologues. Lille, 1977.
- Kaindl K.* Die Oper als Textgestalt: Perspektiven einer interdisziplinären Übersetzungswissenschaft. Tübingen, 1995.
- Kamm J.* Rules and methods: Die Grammatikalisierung von Sprach- und Dichtungstheorien im England des 17. Jahrhunderts // Barock. Stuttgart; Weimar, 1995.
- Kitcher P.* The naturalist return // Philosophical Review, 1992. Vol. 101, № 1.
- Koyré A.* Von der geschlossenen Welt zum unendlichen Universum. Frankfurt, 1980.
- Kress A.* Reflexion und Erfahrung: Hegels Phänomenologie der Subjektivität. Würzburg, 1996.
- Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. Chicago, 1962.
- Kuhn T.S.* The structure of scientific revolutions. – 2nd ed-n. Chicago, 1973.
- Lakatos I.* Falsification and the methodology of scientific research programmes // Criticism and the growth of knowledge. Cambridge, 1970.
- Lanigan R.L.* Phenomenology of communication: Merleau-Ponty's thematics in communicology and semiology. Pittsburgh, 1988.
- Lewin K.* Der Übergang von der aristotelischen zur galileischen Denkweise in Biologie und Psychologie // Erkenntnis, 1930/31, Bd.1.

- Liedke M., Knapp-Potthoff A.* Einleitung // Aspekte interkultureller Kommunikationsfähigkeit. München, 1997.
- Lightfoot D.* Principles of diachronic syntax. Cambridge, etc., 1979.
- Nagel T.* The view from nowhere. New York; Oxford, 1986.
- Nagel T.* Other minds: Critical essays 1969–1994. New York; Oxford, 1995.
- Nef F.* Logique, langage et réalité. Paris, 1991.
- Neuser W.* Natur und Begriff: Zur Theorienkonstitution und Begriffsgeschichte von Newton bis Hegel. Stuttgart; Weimar, 1995.
- Olafson F.A.* What is a human being?: A Heideggerian view. Cambridge, 1995.
- Padley G.* Grammatical theory in Western Europe 1500–1700: Trends in vernacular grammar I. Cambridge etc., 1985.
- Pearce D., Rantala V.* Continuity and scientific discovery // Logic of discovery and logic of discourse. New York; London; Ghent, 1985.
- Percival W.K.* The applicability of Kuhn's paradigms to the history of linguistics // Language, 1976. Vol.52. N 2.
- Preston J.* Feyerabend: Philosophy, science and society. Cambridge, 1997.
- Redding P.* Hegel's hermeneutics. Ithaca; London, 1996.
- Reiss T.J.* Knowledge, discovery and imagination in early modern Europe: The rise of aesthetic rationalism. Cambridge, 1997.
- Rorty R.M.* The linguistic turn: Recent essays in philosophical method. Chicago, 1967.
- Rorty R.M.* Philosophy and the mirror of nature. Oxford, 1980.
- Rossi P.* Der Wissenschaftler // Der Mensch des Barock. Frankfurt; New York; Paris, 1997.
- Sahlins M.D.* How «natives» think: About Captain Cook, for example. Chicago; London, 1995.
- Searle J.* Contemporary philosophy in the United States // The Blackwell companion to philosophy. Oxford, 1996. P. 1–24.
- Shorter E.* A history of psychiatry: From the era of the asylum to the age of Prozac. New York etc., 1997.
- Simon J.* Sprachphilosophie. Freiburg; München, 1981.
- Stegmaier W.* Die Innovation der Gegenwart // Tradition und Innovation: XIII. Deutscher Kongress für Philosophie, Bonn 24–29. September 1984. Hamburg, 1988.
- Stegmüller W.* Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie: Eine kritische Einführung: Bd.2. – 7., erw. Aufl. Stuttgart, 1986a.
- Stegmüller W.* Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie: Eine kritische Einführung: Bd.3. – 7., erw. Aufl. Stuttgart: Kröner, 1986b.
- Stevenson P.* The study of real language: Observing the observers // The German language and the real world: Sociolinguistic, cultural, and pragmatic perspectives on contemporary German. Oxford, 1995.

- Stozier R.M.* Saussure, Derrida, and the metaphysics of subjectivity. Berlin etc., 1988.
- Trupia P.* Die Semantik der Kommunikation: Die Schaffung von Sinninhalten in Kunst, Wissenschaft und bei der Ausübung einer unternehmerischen Tätigkeit / Übers. aus dem Ital. Berlin, 1997.
- Ullmann S.* Language and style: Collected papers. Oxford, 1964.
- Ward G.* Barth, Derrida and the language of theology. Cambridge; New York, 1995.
- Weigand E.* Words and their role in language use // Lexical structures and language use: Proc. of the International Conference on lexicology and lexical semantics, Münster, September 13–15, 1994. Tübingen, 1996.
- Weninger R.* Framing a novelist: Arno Schmidt criticism 1970–1994. Columbia, 1995.
- Wilkin P.* Noam Chomsky: On power, knowledge and human nature. London, 1997.
- Williams B.* Descartes: The project of pure inquiry. Harmondsworth, 1978.
- Wrede F.* Der Sprachatlas des deutschen Reiches und die elsässische Dialektforschung // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen, 1903. Bd.111.
- Wright G.H. von.* Explanation and understanding. Ithaca; New York, 1971.

### глава 1.3. Проблема взаимопонимания в гуманитарном познании и общении в условиях «концептуального многоязычия»

**В.И. Постовалова**

Наука идет вперед не только потому,  
что нам становятся известны и понятны новые  
факты, но и потому, что мы все время заново учимся  
тому, что может означать слово «понимание».

*Карл Фридрих фон Вайцзеккер*

В корнях бытия – единство,  
на вершинах – разъединение.

*Священник Павел Флоренский*

#### **1. Проблема взаимопонимания в гуманитарной мысли XX–XXI вв.**

В представлении современной научной эпистемологии знание выступает как многомерное образование в единстве трех своих измерений. Во-первых, *логико-методологического* измерения, с позиции которого знание рассматривается в имманентной перспективе как знаково-знаниевый организм. Во-вторых, *культурно-исторического* измерения, с позиции которого знание рассматривается в экстенсивной перспективе как элемент целостного культурно-исторического комплекса. В состав такого комплекса входят наука, философия, религия, мифология, богословие, искусство, техника и др.<sup>1</sup> И, наконец, в-третьих, *коммуникационно-дискурсивного* измерения, с позиции которого знание рассматривается в перспективе интерпретативной деятельно-

<sup>1</sup> Так, в герменевтике понимания В. Дильтея «гарантом достоверности гуманитарного знания оказывается культурно-историческое единство» [Огурцов 2001: 282].

сти понимания и общения его носителя и создателя – человека как homo symbolicus'a, живущего в мире своей «символической Вселенной».

Современные гуманитарные технологии базируются на концепции неразрывной связи отмеченных трех планов знания. В соответствии с такой позицией исследование лингвистических механизмов процессов трансферизации знания и, прежде всего, механизмов адекватной трансферизации знания в гуманитарном познании также оказывается невозможным без учета каждого из таких планов. В данной главе основное внимание будет уделено третьему – коммуникационно-дискурсивному – плану функционирования и развития знания в гуманитарном познании, а именно осмыслению роли фактора взаимопонимания в гуманитарном познании и общении, осмыслению значимости субъективно-личностных факторов в процессах трансферизации знания – предпочтений и запретов, принятия и непринятия личностных миров и позиций другого и т. д.

Специфику гуманитарного познания и общения нашего времени составляет «концептуальное многоязычие» и «разномыслие» субъектов разных сфер обитания его «символической Вселенной» – ученых, философов, богословов (теологов), художников и др., живущих фактически в разных мирах. Познавательные, нравственные и эстетические сферы этого символического Универсума самими его обитателями стали восприниматься как автономные области, не связанные между собой отношениями взаимообщения и взаимопонимания. По образному выражению философа и логика Е.П. Никитина, «духовный мир, некогда такой гармоничный и единый, по сути дела превратился в разбегающуюся вселенную» [Никитин 1991: 5]. Эта ситуация выдвигает в число важнейших задач гуманитарного познания и общения, определяющих направление духовно-интеллектуальных исканий нашего времени, преодоление отчужденности духовных сфер друг от друга в современном мире и достижение утрачиваемого взаимопонимания.

Достижение взаимопонимания – многомерная и многоплановая задача, включающая множество аспектов своего рассмотрения от планов сугубо технологических до планов глубоко онтологических. В современной культуре установление взаимопонимания стало рассматриваться как онтологическая проблема. Как утверждает прот. А. Геронимус: «В таком шуме, в такой разногласии, как теперь, бытие может быть определено как взаимодействие гетерогенных данных. Тогда проблема встречи религии, философии и науки становится аспектом онтологии <...> Взаимодействие гетерогенных данных напоминает о Вавилонской башне» [Геронимус 2005: 125].

Такое воззрение находится в русле современного богословия, развивающего идею о коммуникативно-диалогическом основании бытия, восходящую к общехристианскому представлению о единстве бытия и общения и истолкованию общения как первоосновы жизни по первообразу общения Лиц Пресвятой Троицы. Раскрывая суть такого видения, современный греческий богослов митрополит Иоанн (Зизиулас) в своей книге «Бытие как общение» утверждает: «Истинное бытие вне общения невозможно» [Иоанн Зизиулас 2006: 12]. Согласно такому представлению, бытие и общение нераздельны. А в своем пределе – тождественны. Уникальное тождество бытия и общения, по христианскому вероучению, являет в Самой Себе Пресвятая Троица – «Триединый Бог», Который есть общение и откровение подлинной личности.

Универсальная коммуникативная модель бытия, учитывающая всю полноту опыта общения в реальности, содержит два уровня коммуникации. Первый уровень касается эмпирической, или профанной, коммуникации, которая включает общение людей друг с другом. Второй уровень касается сверхэмпирической, или религиозной, сакральной, коммуникации, которая включает общение человека и существ сверхэмпирической природы. Для монотеистических религий это, в первую очередь, общение человека и Бога.

## **2. Мистико-мифологические истоки языковой множественности и языкового воссоединения: «Вавилон» и «Пятидесятница».**

Выражение «концептуальное многоязычие», используемое в настоящей главе для именования ситуации разобщенности и утраты взаимопонимания в мире человека, которую некоторые исследователи метафорически называют «настоящим “Вавилоном”» [Хауген 1960: 263], отсылает к библейскому образу-мифологеме «Вавилонского смешения языка». Образ этот символизирует собой появление многоязычия в мире в самом широком истолковании, включая и метаязыковую множественность, и как следствие – возникновение разномыслия и утрату взаимопонимания между людьми.

Описание «Вавилонского смешения языка» приводится в следующем фрагменте библейского текста: «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказа-

ли друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели расеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт 10. 32 – 11. 1–9)<sup>1</sup>.

С событием Вавилонского «смешения языка» в Священной истории онтологически связано новозаветное событие Пятидесятницы, или сошествия Святого Духа на Апостолов (Деян 2. 1–8, 12), символизирующее собой обратный процесс «языкового воссоединения». Вот как описывается это событие в Деяниях Святых Апостолов: «При наступлении

<sup>1</sup> Как отмечается в комментарии на стих «Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли» (Быт 11. 9) в Толковой Библии А.П. Лопухина, «по смыслу данного места, происшедшее здесь чудо смешения языков сообщило свое имя и самой местности, которая получила имя “Вавилон”; такого же толкования относительно этого имени держится и И. Флавий. Очевидно, как Библия, так и И. Флавий производят слово “Вавилон” от еврейского глагола “balal”, что значит “смешивать”. Но новейшие ориенталисты разлагают это имя на составные его части – Bab-Bel, т. е. “двор, или ворота Бела”, древневавилонского божества. Однако если и можно признать некоторое значение за последним производством, то его, во всяком случае, должно отнести уже к позднейшей эпохе, к тому времени, когда в Вавилоне утвердилось почитание бога Бела, а событие вавилонского смешения успело уже несколько изгладиться из памяти народа» [Толковая Библия 1987: 81–82].

По комментарий данного стиха у Д.В. Щедровицкого: «Имя “Вавилон”... <Бавэль> – на аккадском (ассиро-вавилонском) языке произносилось “Бабилани” и означало “врата богов” <...> В библейском повествовании имя “Вавилон” производится от глагола <...> <балаль>, что означает “смешивать”, “приводить в замешательство”. “Приведен в замешательство”, помрачен был, очевидно, разум строителей башни, ведь изменение языка связано с изменением мышления. Некое нарушение произошло в их умственных процессах, и с этим связано “смешение языков”» [Щедровицкий 1994: 119].

Различные этимологии имени «Вавилон», данные различными экзегетами, послужили основанием и для различных толкований Вавилонского столпотворения. Так, Ж. Деррида исходит из первого толкования [Деррида 2002]. Большинство комментаторов святоотеческого направления исходят из второго толкования.

дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились... И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?» (Деян 2. 1–8, 12).

Эти события Священной истории<sup>1</sup>, по замечанию прот. П. Флоренского, «неоднократно сближаются в святоотеческой письменности» [Флоренский 1990: 213]. Так, св. Григорий Богослов в своем Слове 41 («На святую Пятидесятницу») утверждал: «... достохвально было и древнее разделение гласов, когда строили злонамеренно и безбожно одноязычные (на что и ныне дерзают некоторые): ибо единомыслие, нарушенное различием гласов, разрушило и предприятие. Но гораздо достохвальнее разделение, совершенное чудесно ныне: ибо, от единого Духа излившись на многих, опять возводится к единому согласию» [Григорий Богослов 1994: 585].

О связи событий Вавилонского «смещения языка» и Пятидесятницы упоминается и в богослужебных песнопениях Пятидесятницы. Как отмечается у прот. А. Геронимуса, взаимосвязь этих событий раскрывается в кондаке праздника Святой Троицы, сопоставляющим Сошествие Святого Духа с «противоположным по смыслу событием – вавилонским разделением языков»: «Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний, егда же огненные языки раздаяше, в соединение вся призва [: и согласно славим Всесвятаго Духа]» [Геронимус 2014: 342]. В переводе на русский язык этот кондак св. Пятидесятницы звучит: «Когда сошел Всевышний и смешал языки, то этим Он разделил народы, когда же Он роздал огненные языки, то всех призвал к единству; и мы единогласно славим Всесвятаго Духа» [Молитвы и песнопения 1912: 123].

Однако понимание того, в чем же именно состояло это «соединение языков» и что же именно следует понимать здесь под «языками», со-

<sup>1</sup> Под «Священной историей» (sacred history) в библеистике и богословии понимается «история, содержащаяся в Священном Писании и представленная как деятельность Бога в мировой истории» [Мак-Ким 2004: 358–359].

ставляет, по утверждению прот. П. Флоренского, «трудный, до сих пор не вполне решенный вопрос экзегетики» [Флоренский 1990: 214]<sup>1</sup>.

Опираясь на понятие «внутреннего слова», прот. С. Булгаков предлагает двоякое толкование апостольской проповеди на Пятидесятнице. Первое толкование: «собственная родная галилейская речь стала настолько внятна, прозрачна относительно внутреннего слова-смысла, что и не учившиеся языку чувствовали себя, как учившиеся, и понимали его так, как будто его знали, или, скажем, как бы они понимали какую-нибудь выразительную жестикуляцию без особого перевода и обучения» [Булгаков 1998: 55]. Второе толкование: апостолы получили способность облекать свое внутреннее слово «в разные одежды, применительно к индивидуальным звуковым особенностям», так что они «действительно говорили многими языками» [Там же].

По мысли Булгакова, оба предположения пригодны: апостолы действительно говорили на чужих языках, поскольку «все они были для них прозрачны» [Там же]. И наоборот: «говоря на своем языке, опрозраченном смыслом, они становились понятны для всех народов, ибо язык один, и множественны лишь его модусы – наречия» [Там же]. И если бы не существовало изначального онтологического, а точнее сказать, антропологического единства языка, то Пятидесятница была бы «непонятным абсурдом» [Там же].

Прот. П. Флоренский считает наиболее вероятным решение, по которому «одухотворенность слова апостолов делала его лингвистически прозрачным и различным пришельцам в Иерусалим, снимая с речи ту глубокую кору, которою она покрылась после Вавилонского смешения» [Там же]. Вероятно, по Флоренскому, также и второе решение, согласно которому «в преисполненности Духом апостолы нашли в себе источники творчества перво-языка, утерянного в Вавилоне, и, заговорив на этом праязыке, были поняты иностранцами» [Там же]. Но, так или иначе, резюмирует Флоренский, здесь речь идет о «чрезвычайных», «высших» состояниях. И суть этого события Пятидесятницы заключается «в метафизической проникновенности слова у человека духо-носного» [Там же].

<sup>1</sup> О двух новых метафорах, связанных с Вавилонской катастрофой, – «Вавилоне наоборот» (о ситуации «говорения на языках») и «Вавилонской впадине», или яме (Trou de Babel), см. в работе В.В. Фещенко, где говорится: «Вавилонская башня (Tour de Babel), оборачиваясь с ног на голову, превращается в Вавилонскую впадину (Trou de Babel). Недостроенное здание единого искусственного языка, обрушиваясь, образует воронку, на дне которой – недоступные залежи человеческого праязыка» [Фещенко, Коваль 2014: 284].

Все эти «чрезвычайные», «высшие» состояния, связанные с пятидесятичным «языковым воссоединением», в мистико-мифологических дискурсах описываются на мистериальном языке категории чуда. Так, В.Н. Топоров в своем фундаментальном исследовании «Святость и святые в русской духовной культуре» пишет: «... это от Бога исходящее проклятие языковой множественности и разнообразия, ставшее проклятием разьединенности в общении, глухоты в смысловом пространстве, изолированности не только языков, но и языков-народов, было преображено в некое благое чудо, что, собственно, и случилось в Иерусалиме в день Пятидесятницы, когда, беря в наиболее крупном масштабе, было снято, преодолено-отменено то старое наказание за вавилонскую затею» [Топоров 1995: 137].

### **3. «Языковая девавилонизация» в металингвистическом и метакультурном демифологизированном истолковании**

Опираясь на библейский образ Вавилонского «смешения языка» и отсылая к новозаветному событию Пятидесятницы, или сошествия Святого Духа на Апостолов, символизирующему обратно направленный процесс «языкового воссоединения», некоторые лингвисты, философы и культурологи стали говорить о необходимости осуществления так называемой «языковой (языковедческой) девавилонизации». При этом об этой «языковой девавилонизации» стали говорить уже не на языке чуда, а на секулярном метаязыке внутринаучной рефлексии и гуманитарных технологий с его демифологизацией сути событий Священной истории.

«Языковая (языковедческая) девавилонизация» понимается в таких дискурсах чисто метафорически как образ преодоления непонимания и разделения, вызванного «концептуальным многоязычием», – существованием множества языков, метаязыков и мировидений в символическом Универсуме человека, включая и языковое миропонимание. Сама же тема многоязычия появляется и осмысливается здесь не в богословском и герменевтическом, а в другом, коммуникационном, контексте.

Так, вопрос о «языковедческой девавилонизации» возникает у Т.В. Булыгиной при осмыслении принципа плюрализма в лингвистическом описании, а именно осмысления существования множественности взглядов на лингвистическую реальность, следствием чего является ситуация непонимания среди ученых, работающих в разных парадигмах научного познания и пользующихся различными метаязыками. Как

пишет об этом Т.В. Булыгина в своем исследовании, посвященном Пражской лингвистической школе: «В понимании некоторых терминов между пражцами и копенгагенцами наблюдается такое различие, которое делает в общем бесплодным какое-либо сравнение их употребления (ср., например, омонимичное употребление обеими школами термина “функция”). Впрочем, иногда неоднородное употребление одного и того же термина по отношению к разным понятиям становится гораздо более опасным, чем употребление разных терминов по отношению к одному и тому же понятию» [Булыгина 1964: 126].

Отвечая на вопрос о том, возможно ли преодолеть такое непонимание среди лингвистов разных школ и направлений, то есть, образно говоря, преодолеть существующую «языковедческую девавилонизацию», Т.В. Булыгина усматривает такой путь в проведении концептуального анализа лингвистических понятий, или синонимов и омонимов метаязыка лингвистики, в частности, установления некоторых «более или менее существенных концептуально-терминологических несоответствий» и несоответствий в использовании понятий, относящихся к различным лингвистическим единицам [Булыгина 1977: 13].

По словам самой Т.В. Булыгиной, «исследование терминологии пражцев и связанной с ней системы понятий и сравнение с соответствующей терминологией и системой понятий других школ структурализма должно явиться условием языковедческой “девавилонизации”» [Там же]. В масштабе гуманитарного познания в целом, согласно проекту Т.В. Булыгиной, условием для осуществления такой общелингвистической «языковедческой девавилонизации» станет составление общего словаря метатерминологии соответствующих школ в данной дисциплине или комплексе дисциплин.

В гуманитарном познании последних десятилетий анализ метаязыка лингвистики стал рассматриваться в широком культурологическом аспекте, в аспекте поиска средств оптимизации коммуникативных процессов и практик в различных областях гуманитарной науки и художественного творчества. Сам же метаязык, в интерпретации В.З. Демьянкова, стал истолковываться как «конструкт культуры» [Демьянков 2011: 54–63].

Приведенное рассуждение Т.В. Булыгиной созвучно мысли Э. Хаугена, который, обсуждая проблему металингвистического единства, усматривал заслугу металингвистов в том, что они создали метаязык, с помощью которого можно рассуждать «о различных типах анализа, а также установить расхождение ученых прошлого» [Хауген 1960: 262–263]. И было бы желательным, полагает он, чтобы «все ученые собра-

лись вместе и выработали практически применимый международный язык для целей металингвистики, вместо того, чтобы поддерживать настоящий “Вавилон”» [Там же: 263].

Проблема «языковой (языковедческой) девавилонизации», или проблема необходимости преодоления непонимания и восхождения к единству в универсальной ситуации концептуального многоязычия в культуре, не раз под разными именованиями поднималась в гуманитарном познании и, прежде всего, в рамках широко понимаемой гипотезы лингвистической относительности, а точнее в составе ее так называемого «слабого» варианта, согласно которому люди, воспринимающие и интерпретирующие действительность через посредство различных концептуальных метаязыков, живут фактически в разных культурных мирах, соизмеримых друг с другом<sup>1</sup>.

#### **4. «Вавилон» и «Пятидесятница» сквозь призму мистико-богословских, религиозно-философских и лингвистических интерпретаций**

Одну из тенденций гуманитарного познания нашего времени составляет установка на единение разных сфер знания с целью получения более полного и адекватного знания об изучаемой реальности. Приступая к аналитическому осмыслению различных подходов и опытов, направленных на преодоление непонимания между людьми в познании и общении, вызываемого ситуацией многоязычия и разномыслия в современном мире, остановимся сначала на рассмотрении различных истолкований библейских событий «Вавилона» и «Пятидесятницы», выступающих в качестве символического ключа для понимания сути данной ситуации.

Среди различных интерпретаций событий Вавилонского «смешения языка» и Пятидесятницы наибольший интерес для осмысления проблемы взаимопонимания в гуманитарном познании и общении имеют интерпретации данных событий Священной истории, акцентирующие внимание на лингво-коммуникативных и семиотических аспектах постижения мира человека как *homo symbolicus*'a.

При аналитическом рассмотрении данных интерпретаций будем обращать внимание, прежде всего, на то, в чем, по данным интерпретациям, заключается мистико-мифологический и герменевтический

<sup>1</sup> О данной гипотезе см. в нашей работе: [Постовалова 2014].

смысл события Пятидесятницы как преодоления Вавилонского смешения языка.

4.1. Так, прот. П. Флоренский, обращая внимание на онтологическую взаимосвязь событий Пятидесятницы и Вавилонского смешения, усматривал суть произошедшего события Пятидесятницы в «воссоединении человечества в взаимном понимании чрез нисхождение Духа Святого» [Флоренский 1990: 213]. Событие Пятидесятницы, по его утверждению, есть «аналогическое, но обратно направленное, событию раздробления человечества в смешении языка его» [Там же]. Событию – «чрез попытку взойти до неба без Духа и утвердить свое единство помимо Бога внешним памятником» как символу «человекобожества в области самочинной мистики и самочинной общественности» [Там же].

Флоренский поясняет также, почему сошествие Святого Духа на Апостолов в Пятидесятницу имело своим непосредственным следствием «дар языков», связывая непонимание слова с феноменом духовной разобщенности бытия. Развивая эту мысль, он пишет: «Понимание слова есть деятельность внутреннего соприкосновения с предметом слова, и потому вполне понятно, что разобщенность духовная от бытия ведет и непонимание слова» [Там же: 212–213]. Углубленность же понимания «вырастает на теснейшей духовной сплоченности» [Там же: 213]. Вот почему, резюмирует Флоренский, «сошествие Святого Духа на Апостолов в Пятидесятницу, т. е. одухотворение их и самое внутреннее объединение, как клеточек вновь явившегося на земле Тела Христова (Церкви – *В.П.*), непосредственным следствием имело дар языков» [Там же].

4.2. Прот. С. Булгаков, отмечая в своей экзегезе, что «дар языков» всегда воспринимался в Священной истории как проявление благодати Св. Духа и особенного вдохновения, предпринимает попытку объяснить этот «чудесный дар языков», однако не мистически, а исходя из природы самого языка [Булгаков 1998: 54]. Ведь чудо, по выражению Булгакова, «не есть фокус-покус, не имеющий корней в бытии и даже их отрицающий»; оно есть всегда «оздоровление естества, раскрытие его подлинной природы и постольку возведение на высшую ступень» [Там же: 55]. В чудесном опознается истинная природа естественного, утверждает Булгаков. В данном случае «раскрывается изначальное единство языка, которое столь же изначально, как и единство человеческого рода» [Там же].

«Как следует понимать этот чудесный дар языков из природы самого языка?» – задается вопросом Булгаков [Там же: 54]. И предлагает такую концепцию становления языка на основе своей интерпретации

событий Вавилонского столпотворения и Пятидесятницы. «Если вслушаться во внутренний смысл повествования о вавилонском столпотворении, – замечает он, – становится ясно, что единый, естественный язык был, по нарочитому попущению Божию, как бы завуалирован множественностью и непонятностью наречий, которые, впрочем, отнюдь не таковы, чтобы сделать невозможным обучение чужому языку и понимание его» [Там же: 52]. Принципиальным моментом в библейском повествовании для Булгакова является то, что «изначально и естественно, по существу “язык был один и речь была одна” (Быт 11. 1–9)» [Там же: 53].

Единство языка, по Булгакову, заключено в природе языка. Оно изначально. Множественность же есть только состояние языка, его модальность. И притом «болезненная», поскольку связана с состоянием греховного разобщения людей. В библейском выражении «смешаем язык их, чтобы они не могли понимать речи один другого» (Быт 11. 6–7), как подчеркивает Булгаков, не говорится о создании новых языков, но «о понимании речи языка одного, так и остающегося в сущности единым» [Там же].

В центре внимания экзегезы Булгакова оказывается тема понимания. Для Булгакова загадкой является не тот факт, что люди перестали понимать друг друга вследствие возникшего многоязычия, но то, что до этого события они «совершенно понимали друг друга» [Там же]. Ведь, согласно библейскому повествованию, «язык и наречия были и до вавилонского столпотворения. Однако языковые свойства народов так же мало препятствовали взаимопониманию, как теперь этому «не препятствуют индивидуальные черты произношения и речи, ибо речь всегда индивидуальна» [Там же]. А затем, заключает Булгаков, «внезапно <...> упало покрывало многоязычности», и люди перестали понимать друг друга. Появилась «болезненная впечатлительность к индивидуальным особенностям звуковой речи, к реализации языка» [Там же]. В Вавилоне «родилась лингвистика» – заключает Булгаков [Там же].

Основу единства языка, по Булгакову, составляет «внутреннее слово». Если ранее, до Вавилонского столпотворения, языковые различия и не заслоняли внутреннего слова, то после этого события «вдруг эти стекла стали непрозрачными, и только с помощью специальных усилий может быть достигаемо понимание смысла» [Там же: 54]. Хотя язык и остался не поврежденным в своей основе, но «закрылся его внутренний смысл, ранее открытый» [Там же]. После Пятидесятницы исцелялась болезнь языка, состоящая в «затуманенности смысла», и возвращалась «естественная, первозданная его прозрачность», а также то един-

ство, которое было свойственно ему «от Адама до вавилонского смешения» [Там же: 54–55], вследствие чего и «снялась пелена многоязычия» [Там же: 55].

Особое внимание Булгаков в своей экзегезе уделяет вопросу о многоязычии – «множественности наречий». «Как бы мы ни понимали взаимное отношение языков, возводили ли бы мы их к некоторому первоисточнику – праязыку или оставляли их в несводимой множественности <...> вопрос многоязычия остается в своей остроте, – пишет Булгаков. – Правда, многоязычие это отнюдь не отменяет единства внутреннего языка, иначе невозможно было бы взаимное понимание, и языки раскалывали бы самое человечество, его упраздняя, оно не есть множественность языка, ибо язык один и существует лишь множественность наречий» [Там же: 56].

Как ясно из общего контекста рассуждения Булгакова, он относит множественность наречий «не к внутреннему языку, не к номену его, но к его феноменальному воплощению, к его реализации, индивидуальности» [Там же]. Булгаков называет два аргумента в защиту этого решения. Во-первых, возможно обучение «всякому языку или, точнее, всем языкам», и фактическая невозможность реализации этого не устраняет его принципиальной возможности, при осуществлении которой возможно преодоление множественности языков и реализация единства [Там же: 52–53]. И, во-вторых, возможно обучать языку глухонемых, что было бы невозможным в случае отсутствия у них внутреннего языка. Их «немота эта внешняя, а не внутренняя» [Там же: 57].

Внутреннему же языку, «словам как идеям, воплощающимся в звук, или символам, мы не научаемся, но они в нас возникают, и притом одинаково у всех в меру человечности» [Там же: 56]<sup>1</sup>. Основа языка, по Булгакову, «космическая, или антропологическая». А его реализация («облечение») – дело социально-историческое [Там же]. Язык как наречие есть «явление социально-историческое и принадлежит к числу одежд, надеваемых и снимаемых временем, обстановкой, средой, обществом» [Там же]. Это «дело человеческого творчества, искусства, психологии, истории» [Там же]. Языки как наречия «суть призмы, по-своему преломляющие и окрашивающие лучи» [Там же: 57].

<sup>1</sup> См. сходную позицию В. фон Гумбольдта, согласно которой язык в себе нужно пробудить, вызвать к жизни, воссоздать, возродить, речевое общение есть пробуждение языковой способности слушающего и «языку, по сути дела, нельзя обучить, а можно только пробудить его в душе» [Гумбольдт 1984: 66–67]. В оригинале: «... nicht eigentlich lehren, sondern nur im Gemüthe wecken».

Одним из следствий вавилонской катастрофы, по Булгакову, явился психологизм. Как утверждает Булгаков: «Человечество, которое свое космическое единение в слове употребляло лишь для достижения своих человеческих целей, впало в психологизм (человеческая гордость и есть психологизм) <...> Ибо многоязычие и есть в известном смысле этот психологизм, закрывающий онтологическую сущность языка» [Там же: 54].

Говоря об онтологической взаимосвязи событий «Вавилонского смешения» и «Пятидесятичного воссоединения», Булгаков усматривал смысл произошедшего также в преодолении национализма как следствия «вавилонского отчуждения» и утраченной «всечеловечности». Он пишет: «Ведь в чем, прежде всего, и непосредственнее выразилась Пятидесятница? В преодолении вавилонского отчуждения: “егда снисшед языки слия, разделяше языки Вышний”. Была утрачена всечеловечность, остались одни обособившиеся национальности, языки. И вот это знаменательное чудо: проповедь апостольская, одновременно понятая на всех языках, а затем не менее дивное духовное чудо – преодоление самого себялюбивого, гордого и исключительного национализма, каким был иудейский и эллинский и римский. И вместо этого новое сознание: во Христе – *несть еллин, ни иудей, варвар и скиф* – и эта проповедь апостольская во всю землю и в концы вселенной, разрушившая национальные перегородки, и с каким трудом, какой мукой это совершалось <...> Однако огненные языки сожгли и расплавили, казалось, несокрушимые твердыни человеческой ограниченности» [Булгаков 1993: 78].

4.3. В общелингвистическом и мистико-духовном плане события «Вавилонского смешения» и «Пятидесятичного воссоединения» в контексте разрешения проблемы взаимопонимания осмысливал В.Н. Топоров, усматривавший «в вавилонском разъединении языков-смыслов и в их пятидесятичном соединении» единый Божественный замысел [Топоров 1995: 138]. По выражению Топорова, «чудо распада единого языка на множество разных языков, утративших общие смыслы, и возможность пробиться к пониманию их и пониманию друг друга было не только покрыто в день Пятидесятницы чудом соединения в смысле и обретения утраченных смыслов, но и превзойдено» [Там же]. Это проявилось в том, что «при сохранении всей языковой множественности и всего языкового разнообразия общий смысл стал доступным для каждого языка и каждого народа» [Там же]. Оказалось, полагает Топоров, что «каждый язык, как в зеркале, отражал этот общий смысл, углубляя и дифференцируя его, что каждый язык-народ нес свой образ этого смысла, и все эти образы, равноценные друг другу, на должной глубине восстанавливали новый единый язык» [Там же].

В.Н. Топоров считал даже, что «торжество христианства едва ли было бы возможно без этого чуда прорыва в новое пространство языка и рождающихся в нем смыслов» [Там же]. Это чудо, в его видении, заключалось в том, что «многое, разное и розное, попав в новое силовое поле, не только не увеличивало отчужденности и изоляции» [Там же], но, напротив, «способствовало созданию более сложного и потому более глубокого и более надежного единства в том языковом слое, где рождаются и формируются смыслы, отсылающие к тому единому и высшему Смыслу, который есть Слово Евангелия от Иоанна» [Там же].

Отметим, что факт языкового многообразия в разное время по-разному расценивается в духовной культуре общества – как падение, губительное для человечества, или, напротив, как благотворный для него фактор. Первая точка зрения была высказана в теории божественного происхождения языка (теории «откровения»). Вторая точка зрения является ведущей в современных концепциях языка. Выражая первую точку зрения, К. Аксаков писал: «Тот язык, которым Адам в раю назвал весь мир, был один настоящий для человека; но человек не сохранил блаженного единства первоначальной чистоты для того необходимой. Падшее человечество, утратив первобытное и стремясь к новому высшему единству, пошло блуждать разными путями; сознание, одно и общее, облеклось различными призматическими туманами, различно преломляющими его светлые лучи, и стало различно проявляться» [цит. по Потебня 1989: 22–23].

Приведя это высказывание Аксакова, А.А. Потебня утверждал, что само раздробление языков с точки зрения истории языка не губельно, а полезно, потому что, не устраняя возможности взаимного понимания, дает разносторонность общечеловеческой мысли [Потебня 1989: 23]. Потебня следует здесь традиции В. фон Гумбольдта, по словам которого «путем многообразия языков непосредственно обогащается наше знание о мире и то, что нами познается в этом мире; одновременно расширяется для нас и диапазон человеческого существования» [цит. по Рамишвили 1984: 9]. Ведь изучение языков мира есть вместе с тем «всемирная история мыслей и чувств человечества» [Гумбольдт 1985: 349].

4.4. Как подчеркивают интерпретаторы, потеря взаимопонимания имеет своим следствием разобщение и разделение людей. «Когда в связи со строительством Вавилонской башни Господь смешал язык людей, так что один не понимал речи другого, – пишет Геронимус, – то дело было не только в том, что люди стали говорить на разных языках и перестали понимать друг друга, но произошло разобщение и разделение

людей» [Геронимус 2014: 342]. Разобщение же людей в мире и утрата единства приводит к потере целостности и отдельного человека, разделению его духовных сил и абсолютизации некоторых из таких сил.

В свое время И.Г. Гаман, полагавший, что «все мироздание имеет божественно-словесную природу» и что «нет разума без веры и веры без разума», утверждал, что «смешение языков» происходит там, где «разум забывает свой исток» и «абсолютизирует себя» [Гильманов 2002: 256, 265]. Поэтому, когда строители Вавилонской башни провозгласили: «И сделаем себе имя!», каждый «понимал свой язык и никто – язык другого» [Там же: 265]. Ведь «у Декарта – свой разум, у Лейбница – свой, Ньютон понимал разум по-своему; поэтому каждый из них понимает лучше всего, прежде всего, себя» [Там же].

Осмысливая фрагмент «И сказали они: построим себе город и башню, высоту до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели расеемся по лицу всей земли» (Быт 11. 4)<sup>1</sup>, прот. А. Геронимус останавливается на противоположении «рассеяние / собирание», полагая, что «рассеяние по лицу земли» в данном случае означает выполнение Божией заповеди «... плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю» (Быт 1. 28). Строители же Вавилонской башни поступили противоположным образом – «собрались <...> для того, чтобы построить башню (на иврите – возвеличение), чтобы сделать себе имя» [Геронимус 2005: 126]. По комментарию Геронимуса, «выполнение заповеди прославляет имя Божие; сама заповедь – это имя Божие. Собрание означает сосредоточенность на себе, прославление себя, делание имени себе» [Там же]. Проявлением же такого собирания является «стремление каждой парадигмы стать господствующей – “сделать себе имя”» [Там же: 127].

Утверждая, что «башня до неба – это заведомо неосуществимый проект», прот. А. Геронимус связывает это утверждение с тем, что «Бог не может быть захвачен человеком» ни материально, ни ментально [Там же]. В богословии данное утверждение находит свое выражение в идее непостижимости Божественной сущности. В философии – в невозможности обходиться без «метафизических постулатов». В математике – в необходимости «не только в потенциально бесконечных конструкциях, но и в актуально бесконечных объектах» [Там же]. Прот. А. Геронимус усматривает «бесконечность», или неосуществимость проекта, в «бесконечности рефлексии и переходе на метауровень» [Там же]. И если в библейском повествовании, утверждает Геронимус, «деконструкция

<sup>1</sup> В оригинале, по замечанию Д.В. Щедровицкого, «Чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли» [Щедровицкий 1994: 118].

окончательна», то «в реальности она продолжается новым собиранием» [Там же]<sup>1</sup>. По комментарию св. Григория Богослова, и ныне некоторые «дерзают» продолжать дело «Вавилонского столпотворения» [Григорий Богослов 1994: 585]. А грех, по выражению прот. П. Флоренского, «разрушает и то понимание, которое было ранее» [Флоренский 1990: 213].

В гуманитарных технологиях при изучении процессов трансферизации знания данные интерпретации могут выступать в качестве источника смысловых противоположений, лежащих в основании коммуникативно-дискурсивного пространства общения и познания.

В рассмотренных интерпретациях событий Пятидесятницы и Вавилонского смешения как противоположных по смыслу событий было намечено коммуникативно-дискурсивное пространство противоположений, ядро которого образуют следующие девять противоположений:

- 1) духовная сплоченность / духовная разобщенность (бытия);
- 2) всечеловечность / ограниченный национализм;
- 3) целостность человека / разделение его духовных сил и абсолютизация разума;
- 4) распад единого языка на множество разных языков, утративших общие смыслы / обретение утраченных смыслов и соединение в смысле, понимание их и понимание друг друга;
- 5) разобщение и разделение людей / единение их через обретение понимания языков, обретение утраченных смыслов;
- 6) «разъединенность в общении», «глухота в смысловом пространстве», «изолированность не только языков, но и языков-народов» / снятие и преобразование этих состояний;
- 7) перво-язык, утраченный в Вавилоне / восстанавливаемый новый единый язык на основе равноценных языков-народов, отражающих, углубляющих и дифференцирующих общий смысл;
- 8) онтологизм / психологизм;
- 9) лингвистическая непрозрачность / прозрачность слова и др.

В формулировке каждого из таких противоположений в первой ее части называется событие произошедшей Вавилонской лингво-социокультурной катастрофы, а во второй части формулировки – ее преодоление в символически понимаемых событиях Пятидесятницы, адаптируемых для научно-философской ментальности. Данные противоположе-

<sup>1</sup> Используя термин «деконструкция», прот. А. Геронимус ссылается на работу Ж. Деррида [Деррида 2002]. В истолковании Ж. Деррида, цитируемом Геронимусом, миф о Вавилоне является «как бы мифом об истоке мифа, метафорой метафоры, рассказом рассказа, переводом перевода» [цит. по Геронимус 2005: 127].

ния составляют глубинное основание для осмысления феномена «концептуального многоязычия» в современной культуре и поиска путей достижения взаимопонимания в гуманитарном понимании и общении.

### **5. «Языковая деавилонизация» в современной культуре и ее разрешение: теоретико-методологические основания и принципы**

В основе современных опытов «языковой деавилонизации» лежит идея неразрывной связи познания, понимания, общения и языка в его широком истолковании<sup>1</sup>. В свете такого подхода «языковая деавилонизация» не предполагает устранения «концептуального многоязычия», составляющего неотъемлемую черту бытия *homo symbolicus*'а. Она направлена лишь на поиск путей преодоления непонимания и духовной разобщенности в данной ситуации. По уже упоминаемому толкованию В.Н. Топорова, события Пятидесятницы свидетельствуют о возможности восстановления на должной глубине нового единого языка (понимания) при сохранении всей существующей «языковой множественности и всего языкового разнообразия» [Топоров 1995: 138].

Проблема «языковой (языковедческой) деавилонизации» в различных вариантах своей постановки разрешается по-разному в зависимости от истолкования того, в чем же заключается «непонимание», на преодоление которого направляется сама эта «деавилонизация». И соответственно – истолкования того, в чем заключаются «понимание» и «взаимопонимание», к достижению чего *homo symbolicus* и стремится.

Категория понимания выступает в различных философских и культурологических дискурсах в трех планах. Как познавательная способность человека. Как процедура герменевтического истолкования смысла текстов и постижения смысла «культурных формообразований». А также как способ бытия человека в мире, рассматриваемого в фундаментальной онтологии и философской герменевтике как «понимающее бытие возможностей» [Огурцов 2001: 279].

<sup>1</sup> По Гадамеру, язык есть «универсальная среда, в которой осуществляется само понимание» [Гадамер 1988: 452]. Рассматривая понимание как модифицированный акт самосознания, Гумбольдт, в видении Гадамера, связывает понимание и взаимопонимание с духовной деятельностью языка, поскольку «язык предполагает обращение к отличному от нас и понимающему нас существу» [Гумбольдт 1984: 305, 63–64].

Понимание традиционно характеризуется в его противопоставлении мышлению как деятельность интерпретации. В противоположность мышлению, понимание, по характеристике А.Ф. Лосева, «всегда “субъективно”» [Лосев 1997: 49]. Но «этот субъективизм вовсе не есть тут нечто противоположное объективистической оценке бытия, а только более сложная структура все того же объективного мира, структура как объективный коррелят субъективного понимания, сам по себе не менее объективный, чем все прочее» [Там же]. И если в математике, утверждает Лосев, «не может быть спора, как понимать те или иные аксиомы и теоремы, но только о том, как их мыслить, т. е. как их строить, как их формулировать и доказывать», то «в предметах же филологии – напр<имер> в языке, в истории, искусстве – важно как раз понимание, интерпретация» [Там же: 50].

Поэтому, если «доказательство, скажем, равенства суммы углов в треугольнике двум прямым углам возможно только одно (из параллельности линий)», то «пониманий же того, что такое <...> крестовые походы, может быть очень много» [Там же: 50]. Математика «нуждается только в мышлении, а не в понимании; и в этом ее полная противоположность с филологией, которая, по старинному и прекрасному определению А. Бека, есть всегда “понимание понятого”» [Там же: 48].

В отличие от мышления, понимание, следовательно, принципиально *многовариантно*. Такое представление о понимании применительно к восприятию слова развивал еще В. фон Гумбольдт. По его выражению, «люди понимают друг друга не потому, что передают себе седнику знаки предметов, и даже не потому, что взаимно настраивают друг друга на точное и полное воспроизведение идентичного понятия» [Гумбольдт 1984: 165–166]. Они понимают друг друга потому, что «взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы» [Там же: 165–166]. А это означает, что «люди сходятся между собой в понимании одного и того же слова» лишь «в пределах, допускающих широкие расхождения [Там же]<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В переводе Г. Шпета: «Слово не сообщает, как некая субстанция, чего-то уже готового и не содержит в себе уже законченного понятия, а только побуждает к самостоятельному образованию последнего, хотя и определенным способом. Люди понимают друг друга не потому, что они действительно проникаются знаками вещей, и не потому, что они взаимно predeterminedены к тому, чтобы созда-

При этом, как замечает П. Рикер, «... множественность интерпретаций и даже конфликт интерпретаций – это не недостаток или порок, а достоинство понимания, образующее суть интерпретации. Можно говорить о текстуальной полисемии точно так же, как говорят о лексической полисемии» [Рикер 2001: 284]. А это означает, что при стремлении к достижению взаимопонимания говорить о тождественности в видении воспринимаемого невозможно.

Ситуация множественности описаний вследствие возможности выбора различных точек отсчета при проведении описаний чрезвычайно типична для гуманитарных наук. Как замечает В.Н. Топоров, «множественность исторических описаний принадлежит не к недостаткам истории как науки, а к принципиальным особенностям ее» [Топоров 1973: 109]. Ведь «в исторических описаниях, как и вообще при любом сознательном и целенаправленном анализе явлений гуманитарной сферы, не удастся отвлечься от “возмущающей” роли субъективного (человеческого) начала, в данном случае – отмеченности того, кто описывает ситуацию» [Там же].

Как связанное с интересубъективностью, понимание «всегда *приближительно*, поскольку не ограничивается пониманием себя, но включает и понимание другого», «перенесения-себя-на-место-другого», «со-переживание» и т. д. [Огурцов 2001: 282]. И в этом плане понимание *личностно*.

Проблема «языковой (языковедческой) девавилонизации» в различных вариантах своей постановки по-разному разрешается с учетом того, каких уровней взаимопонимания и степеней общности она касается. Известно, что, для того чтобы люди могли понимать друг друга, они должны иметь нечто общее. Таким объединяющим началом, с позиций герменевтики, является, прежде всего, их общий логический мир (мир смысла). Или же, на языке философии, – общечеловеческий разум, представителями которого выступают в ситуации интерпретации текстов интерпретатор и автор. По выражению П.П. Гайденко, «общий смысл, общий логос и будет тем средним термином, который связует двух субъектов и делает их открытыми друг другу на уровне логических смыслов» [Гайденко 1975: 149]. Этот общий логос у Гегеля имену-

вать одно и то же, в точности и совершенстве, понятие, а потому, что они взаимно прикасаются к одному и тому же звену цепи своих чувственных представлений и внутренних порождений в сфере понятия, ударяют по одной и той же клавише своего духовного инструмента, в ответ на что тогда и выступают в каждом соответствующие, но не тождественные понятия» [Шпет 1999: 9].

ется абсолютным духом, а у Канта и неокантианцев – трансцендентальным субъектом. Прот. С. Булгаков называет язык «логосом вселенной», поскольку «в нем и через него говорит вся вселенная» [Булгаков 1998: 36]. Занимаясь установлением того «медиума», который обеспечивает «самопонимание и взаимопонимание людей», В. Дильтей относит к такому медиуму «объективный дух», включающий в себя религию, право, языки, «нормативные системы культуры» [Огурцов 2001: 282].

Представление о логосной основе слова стало подвергаться сомнению в некоторых течениях философской европейской традиции, провозгласившей вслед за Ницше известный лозунг: «Бог умер». Вражда к Логосу, по выражению С.С. Аверинцева, приводила как следствие к «неверию в слово как такое» и вызывала феномен «тотальной невнятности» и деструкции слова [Аверинцев 2001: 397]. По афористическому выражению К.С. Льюиса, цитируемому Аверинцевым в этюде «Слово Божие и слово человеческое»: «У тех, кто отверг Слово Божие, отнимется и слово человеческое» [Там же].

С культурно-эпистемологической точки зрения первым шагом на пути к преодолению разъединения и разобщенности сфер культуры и обретению целостности человеческого духа является конструирование особой культурно-исторической реальности, в пространстве которой и предполагается возможным преодолевать существующую разобщенность сфер культуры. При рассмотрении путей «языковой девавилонизации» необходимо учитывать также и то, о каком коммуникативном пространстве понимания и его пределах идет речь в каждом конкретном случае. А границы такого личностного пространства общения в опыте и представлениях коммуникативного субъекта (как индивидуального, так и «соборного»), желающего достичь в пределах такого «своего» пространства взаимопонимания, могут значительно различаться от ситуации к ситуации. Пределами могут служить две позиции.

Во-первых, возможна утопическая позиция достижения всеобщего взаимопонимания с ее максимально раздвинутыми границами культурно-исторической реальности, в пределах которых соблюдается принцип гомогенности. Эта позиция базируется на представлении о некоем идеальном состоянии культуры, где единство ее сфер реально существует и принцип гомогенности соблюдается. Такое состояние культуры, или культуры как симфонии, связывают с культурно-историческим типом средневековья, эпохой безусловного приоритета религиозного начала в духовной жизни общества. В наше время образ симфонического понимания культуры являет собой православное богослужение, в котором музыка (пение), слово и живописный образ (икона) не вос-

принимаются изолированно, будучи подчинены единой, высокой, онтологической цели молитвенного Богообщения и обожения человека.

И, во-вторых, существует позиция радикального монашества с ее установкой на сведение к минимуму пространства социокультурного общения. Тема истолкования того, что есть «мир», в котором обитает человек или в котором он не желает обитать и, следовательно, прекращает с таким «миром» всякое общение, особенно значима в аскетической духовной практике. По словам архим. Антонина (Капустина), в привычной жалобе иноков на мир есть, однако, «нечто логически неясное» [цит. по Новиков 2004: 403]. Действительно, замечает он, «для монастырей Святой Горы, например, мир начинается за перешейком; для келлиотов – монастырь уже мир; для отшельника – келья есть мир; для затворника – мир все, что за стеной его каливы или пещеры» [Там же: 403–404]. Что же потому мир? – спрашивает он. И отвечает: «Мир – это общество человеческое» [Там же: 404]. «Но общество человеческое есть сам человек, – говорит он. – Куда же уйти от самого себя?» [Там же].

Программа так называемого «монастыря в миру» начала XX в. призывала иноков в миру уходить в «духовный монастырь своего сердца» и оттуда продолжать свою борьбу с духом мира и своим обмирщением. Символическим выражением такой установки на обращение к углубленной внутренней жизни в условиях мира является идея «Пустыни во Граде». На языке аскетов духовная «Пустыня» означает «сосредоточенность собранного и безмолвного духа», когда «человек научается умолкать, открывается настоящая молитва» и его «таинственным образом посещает Бог» [Евдокимов 2003: 178]. «Град» же, по слову преп. Исаака Сирина, именуется собой мир как «плотское житие и мудрование плоти» [Исаак Сирин 1993: 15–16]. По другому истолкованию преп. Исаака Сирина, миром называются «страсти» [Там же: 411, 14].

Радикальная монашеская установка, направленная на обретение целостности человеческого духа, предполагает отвержение самого феномена культуры, т. е. выход за пределы ее пространства. Этот путь, фактически исключающий проблему поиска взаимопонимания в культуре, характерен для строгого монашества, а также для умонастроения культур-утопического нигилизма, спорадически возникающего в рамках самой культуры. Согласно строго монашеской позиции, занятия философией, наукой и светским искусством суть только препятствие на пути к спасению и достижению святости. Такие занятия, в отличие от духовного познания, абсолютно бесполезны в плане вечности.

По радикальному тезису святителя Игнатия (Брянчанинова): «Кто ищет премудрости вне Христа, тот отрицается от Христа, отвергает пре-

мудрость, обретает и усваивает себе лжеименный разум, достояние духов отверженных» [Игнатий Брянчанинов 1996: 559]. Как замечает св. Игнатий, «Что до того: так или иначе звучит слово, когда все звуки должны престать! Что до того: та или другая мера, когда предстоит безмерное! Что до того: та или другая мелочная мысль, когда ум готовится оставить многомыслие, перейти в превысшее мыслей видение и молчание» [Игнатий Брянчанинов 1995: 356]. Изучение же духа «дает человеку характер постоянный, соответствующий вечности» [Там же].

## **6. Современные проекты и опыты реализации «языковой девавилонизации»**

Рассмотрев некоторые теоретико-методологические проблемы, касающиеся возможности преодоления непонимания между людьми в познании и общении в ситуации концептуального многоязычия, и опираясь на выдвигаемые богословские, лингвофилософские и лингвистические истолкования событий «Вавилона» и «Пятидесятницы», попытаемся показать, как на основе таких истолкований могут быть представлены некоторые пути реализации «языковой демифологизации» в современной культурно-исторической реальности.

В современной философии понимание трактуется как «продуктивная деятельность, в которой задействованы и воображение, и память, и интуиция, т. е. все способности человека» [Огурцов 2001: 279]. Философская мысль, отказавшись от рассмотрения понимания как «чисто познавательной деятельности, отстраненной от жизни и вовлеченности в исторические контексты и ситуации», рассматривает понимание как «взаимоинтенциональные акты постижения смысловых образований, укорененных в конкретно-исторических ситуациях общения» [Там же].

Хотя количество таких ситуаций практически неисчислимо, некоторые общие подходы и установки, значимые для таких ситуаций общения, можно вычленить. Они образуют два класса. К первому относятся более радикальные, глобальные проекты преодоления непонимания. Ко второму – менее радикальные проекты. Рассмотрим в качестве примера несколько из таких типичных коммуникативных ситуаций, где возникает проблема утраты взаимопонимания, и постараемся понять, каким образом в них планируется достигать если и не единомыслия, то хотя бы относительного взаимопонимания.

**6.1. Один из радикальных путей преодоления «языковой вавилонизации» в культуре состоит в рефлексивном возвращении к своим**

первоистокам и основаниям – перво-языку и перво-представлениям о мире в первозданном бытии, к перво-видению «Адама в раю». Преодолеть разномыслие предполагается в этом случае несколькими путями. Во-первых, мистико-аскетическим путем через аскетическое восхождение к состоянию перво-человека до грехопадения. Во-вторых, через выработку некоего универсального «языка» общения, который можно мыслить и как некий новый конструируемый язык общечеловеческого общения, и как язык символов и архетипов сознания, и как метаязык примитивов и др. И, в-третьих, через конструирование некоего общего содержательного поля, через посредство которого и достигается некоторый уровень взаимопонимания. Эта последняя установка может быть проинтерпретирована как призыв к конструированию «абсолютной» метакультуры.

6.2. Идею достижения понимания в условиях многоязычия через мистико-аскетический подвиг восстановления целостного человека развивал прот. С. Булгаков, утверждающий, что «человек интегрированный, восстановленный в своей целомудренности, может через языковую оболочку принять внутреннее слово, т. е. победить многоязычность» [Булгаков 1998: 54]. Известным случаем подобного восстановления человека в его нормальном состоянии по отношению к языку, по Булгакову, и является Пятидесятница, когда, после сошествия Святого Духа на апостолов, они стали говорить «новыми языками» [Там же].

Задача восстановления в себе цельного человека принимается в мистико-аскетическом подвиге *умной молитвы* и *умного делания* в исихастском подвижничестве. Приведем фрагмент описания святоотеческого понимания *умной молитвы*, касающийся восстановления целостности человека, у архим. Софрония (Сахарова), где говорится: «Мы <...> под *умною молитвою* разумеем *стояние ума в сердце* пред Богом <...> Это проникновение умом – вниманием к внутреннему человеку – в сердце, в глубину его <...> совершается с повторением постоянным одной и той же молитвы Иисусовой “Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного” с низведением ума в глубину сердца <...> Когда, по дару милости Божией, Ваш ум соединится с сердцем, тогда Вы узнаете, что это соединение есть пребывание внутрь, во внутреннем человеке, есть *соединение естества нашего, рассеченного грехопадением* <...> тогда Рука Божия введет <...> в созерцание бесконечных неувещественных, сверхчувствительных, над-умных, сверхмысленных благ небесных...» [Софроний Сахаров 2002: 100, 122–123, 184, 188–189].

Суть первовидения реальности, достигаемого исихастом, так передает св. Феофан Затворник: «Около сознания в сердце должно соби-

раться всеми силами – и умом, и волею, и чувством <...> Собранный зрит все в себе. Кто в центре, зрит по всем радиусам, все видит в круге ровно и как бы в один раз, а выступивший из центра видит по направлению одного только радиуса» [Феофан Затворник 1994: 206, 208]. По комментарию прот. А. Геронимуса, радиус этот, в философском видении, есть «сокрытая установка субъекта» [Геронимус 1995: 167]. На языке современной научной ментальности радиус есть «парадигма». Как замечает Геронимус, «парадигма и есть такой ракурс», а «каждая парадигма – целый мир, и таких миров великое множество» [Геронимус 1987: 75].

Вопрос о возможности опытного приближения к внепарадигмальному, а точнее надпарадигмальному, познанию через адаптацию практики исихазма, проникнутую духом мистического миропостижения, обсуждается в работах прот. А. Геронимуса. Размышляя над образами бывания математической деятельности, Геронимус задается вопросом о возможности воссоздания в современном ее состоянии первозданного, или «райского», образа зрения, рассматриваемого мистическим богословием, полагая, что «мера следования Первому Адаму есть мера следования Христу» [Геронимус 1992: 60, 136]. Считая, что в настоящее время научное сообщество имеет в целом «картезианскую позитивистскую ментальность», прот. А. Геронимус выражал надежду, что в обозримом будущем «научный гнозис синтезируется с мистическим» [Там же: 35–36].

Идею обращения к первозданному образу бывания Геронимус рассматривал и применительно к изучению языка. По его словам, для того чтобы изучать реалии, относящиеся к языку и имени, «нужно рассматривать состояние языка в его первозданном состоянии и рассматривать далее наличное состояние как отклонение от первозданного» [Геронимус 1999а: 74]. А такое первозданное состояние в его понимании определяется логосным основанием творения.

6.3. Известным концептуальным аналогом перво-видения, запечатленного в изначальном языке, является утопическая идея о возможности создания абсолютной метакультуры, выступающей в качестве основания для преодоления разномыслия в культуре. Как полагает прот. А. Геронимус, метадеятельность по осмыслению оснований культуры есть путь к истокам культуры, не имеющий своего завершения в этом мире. Поэтому «абсолютная метакультура» неосуществима. Развертывая такое понимание, он дает следующую характеристику этого пути: «“Мета” – это путь культуры к своему началу <...> В настоящей зоне этот путь не имеет завершения. Абсолютная метакультура невоз-

можно. В самом деле, она выражала бы себя в языке, который в свою очередь требовал бы метаязыка. Путь внутрь себя и соответствующий исток культуры не единственен – он зависит от свободного выбора» [Геронимус 2004: 59]. А это означает, что метакультура, если таковая и будет создаваться, принципиально многолика. И, следовательно, она не сможет разрешить всех трудностей достижения взаимопонимания в символической Вселенной *homo symbolicus*'а.

6.4. Радикальная идея о возможности и необходимости создания единого «всеобщего» общечеловеческого языка, вытесняющего все многообразие живых языков, в свете общих представлений лингвистики, базирующейся на антропологических началах, представляется лингвистической утопией, а точнее – дистопией. Она практически не получила своего развития в науке. С вульгарно-социологических позиций идея единого общечеловеческого языка, как известно, развивалась Н.Я. Марром, утверждавшим, что «язык от первичного многообразия гигантскими шагами продвигается к единому мировому языку» [цит. по Свядост 1968: 184]. И это подобно тому, как «человечество от кустарных, разобщенных хозяйств и форм общности идет к одному общему мировому хозяйству и одной общей мировой общности в линии творческих усилий трудовых масс» [Там же].

Данная идея разрабатывалась Марром в рамках концепции «пирамидальности всемирной языковой эволюции». «По яфетическому языкознанию, – утверждал Марр, – зарождение, рост и дальнейшее или конечное достижение человеческой речи можно изобразить в виде пирамиды, стоящей на основании. От широкого основания, именно праязычного состояния в виде многочисленных моллюскообразных зародышей-языков, человеческая речь стремится, проходя через ряд типологических трансформаций, к вершине, т. е. к единству языков всего мира» [Там же: 187]. Концепция возникновения общечеловеческого языка Марра, именуемая им «яфетической пирамидой», противопоставлялась у него теоретическим компаративистским построениям индоевропейцев, у которых такая пирамида располагается вершиной вниз: от единого прапраязыка к нескольким праязыкам и далее к все большему многообразию языков [Там же: 188].

Тема возвращения к первоязыку и создания нового языка получила свое оригинальное и продуктивное развитие в рамках художественных экспериментов в поэзии и поэтике при осмыслении феномена глоссолалии в проектах самого разного типа (см. аналитический очерк В.В. Фещенко [Фещенко, Коваль 2014: 282–300]). Так, утопия В. Хлебникова, по выражению В.В. Фещенко, была направлена на «пересозда-

ние до-вавилонского единого языка», на «воссоздание смысла посредством звуковых характеристик многих языков» [Там же: 288].

6.5. Одним из путей достижения взаимопонимания при общении является поиск объединяющего мировоззрения при концептуальном многоязычии и разномыслии. Прот. С. Булгаков в своей вступительной речи «Под знаком университета», произнесенной им в Московском университете, развивал эту идею, говоря об исключительной значительности идейного девиза, который выставлен на его фронтоне: «Девиз этот – *университет*, *universitas litteratum* – не знания, но знание, не науки, но наука, не частности, но целое, все, *universum*» [Булгаков 1993б: 273]. Но в реальности оказывается, замечает Булгаков, что идеал целокупного, всеобщего, единого, цельного знания, который призван воплощать в себе университет, трудно осуществим на практике, и университет часто оказывается похож на *политехникум*, где в одном здании чисто внешне бывают соединены отчужденные друг от друга науки (и добавим, разные направления внутри одной науки), что приводит не к «содружеству наук», а к их «окончательному разноязычию», которое стало в свое время уделом строителей Вавилонской башни.

Возникает вопрос: возможно ли преодолеть такую научную и общекультурную вавилонизацию, увидеть знание в его единстве и достичь чаемого «содружества наук» в их изучении, преподавании и в применении научного знания в жизни? По мысли С.Н. Булгакова, для достижения «содружества наук» необходимо иметь объединяющее их целостное мировоззрение, которое «связывало бы глубины бытия с повседневной работой, осмысливало бы личную жизнь, ставило бы ее *sub specie aeternitatis*», т. е. оценивало бы её с точки зрения вечности [Булгаков 1903: 196]. Таким мировоззрением для С.Н. Булгакова было православие в его религиозно-философском истолковании в программе положительного всеединства и цельного знания В.С. Соловьева, в русле которого развивалась русская религиозно-философская мысль начала XX в.

6.6. В качестве одного из путей достижения взаимопонимания между разными сферами культуры может служить возведение концептуального содержания к общеизвестным архетипам культуры, образам-мифологемам. По мысли прот. А. Геронимуса, для того чтобы размышлять о взаимопонимании между богословием, философией и фундаментальной наукой, «необходимо находиться глубже каждой области» [Геронимус 2005: 146]. Такую установку, по его мысли, можно понимать по-разному: логически и символически.

Можно встать «на более общую точку зрения» концептуально [Геронимус 2006: 10]. Таковую точку зрения он усматривал в философско-

богословских воззрениях преп. Максима Исповедника, выражающего православное Предание с наибольшей полнотой. По мысли прот. А. Геронимуса, богословие преп. Максима Исповедника в силу своего кафолического характера удовлетворяет и всем условиям, необходимым для адекватного диалога со сферой современного познания. Оно позволяет осмысливать общие пути развития фундаментальной науки в целом, производить их духовную оценку и давать культурно-историческую и мировоззренческую интерпретацию важнейших фундаментальных сдвигов в современном научном познании.

Но в поисках достижения взаимопонимания можно обратиться к осмыслению «мифологических» оснований (прообразов, архетипов и т. д.) самого духовного опыта, лежащего в основании культуры, и, прежде всего, библейских символов-мифологем. Такой путь избирает прот. А. Геронимус при разработке православной коммуникативной компаративистики вслед за преп. Максимом Исповедником.

Одним из глубоких и многомерных символов в богословии преп. Максима Исповедника является библейский образ Колесницы из таинственного видения Иезекииля – пророка-мистика периода вавилонского плена (VI век до н.э.)<sup>1</sup>. Как повествуется в Книге пророка Иезекииля (Иез 1. 1–28), однажды, когда пророк находился среди переселенцев при реке Ховар, ему было Божественное видение. Отверзлись небеса, и в бурном ветре перед его взором предстало большое облако, клубящийся огонь и сияние вокруг него. А из середины облака, как свет пламени из огня – «подобие четырех животных», имеющих лик человека. У каждого из них было четыре лица, похожих на человека, льва, тельца и орла, четыре крыла и ступни ног, как у тельца. Животные продвигались «каждое по направлению лица своего», не оборачиваясь. И вид их был, как вид горящих углей и вид лампад. Огонь был между ними, и движение их было подобно сверканию молнии.

Перед лицами животных находилось по колесу. И по виду колес, и по их устройству казалось, «будто колесо находилось в колесе». Ободья колес были высоки и страшны. И были полны глаз. Когда животные шли, то двигались и колеса подле них. Когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса вместе с ними. Когда же животные стояли, то стояли и колеса. Ибо «дух животных был в колесах».

Над головами животных было подобие свода в виде кристалла, а под сводом простирались крылья животных. Когда животные шли, то

<sup>1</sup> Об истолкованиях откровения пророка Иезекииля см. в работе прот. К. Копейкина [Копейкин 2011: 99–100].

слышался шум крыльев, как шум вод многих, как бы «глас Всемогущего». И голос шел от свода, простиравшегося над головами животных. Над сводом высился престол. А над престолом виделось как бы подобие человека, и «пылающий металл», и огонь внутри него, и сияние вокруг него было подобно радуге на облаках во время дождя.

За прошедшие века библейская экзегетика разных школ и направлений предоставила множество попыток разгадать тайну Ховарского видения пророка Иезекииля. Сам пророк утверждал, что в образе таинственных животных он созерцал херувимов (Иез 10. 20).

Преп. Максим Исповедник использовал образ Иезекиилевой колесницы для выражения единения чувственно постигаемого (видимого) и умопостигаемого (невидимого, ангельского) планов творения. Эти миры, по его мысли, не разделены, но составляют единство. Как утверждает преп. Максим Исповедник в своем «Тайноводстве» («Мистагогии»), «Для обладающих [духовным] зрением весь умопостигаемый мир представляется таинственно отпечатленным во всем чувственном мире посредством символических образов. А весь чувственный мир при духовном умозрении представляется содержащимся во всем умопостигаемом мире, познаваясь [там] благодаря своим логосам. Ибо чувственный мир существует в умопостигаемом посредством своих логосов, а умопостигаемый в чувственном – посредством своих отпечатлений. Дело же их одно и, как говорил Иезекииль, дивный созерцатель великого, они словно *колесо в колесе* (Иез 1. 16), высказываясь, я полагаю, о двух мирах» [Максим Исповедник 1993: 159–160].

Приведенное суждение преп. Максима, которое, по мысли прот. А. Геронимуса, можно применять ко всем состояниям тварного бытия (первозданному, падшему и обоженному во Христе), утверждает «нераздельность чувственного и умопостигаемого тварного бытия, явленную символическими образами и логосами творения» [Геронимус 1992: 19, 136].

Комментируя приведенное высказывание преп. Максима в своих опытах рассмотрения современной науки в свете его богословских воззрений, прот. А. Геронимус отмечает, что видение пророка Иезекииля, к которому обращается преп. Максим, выражает не только взаимное внутри-пребывание чувственного и умопостигаемого миров, но также энергию (огонь и свет), движение, множество глаз, подобие человека наверху и – сияние в виде радуги, символически указывающей на «полноту спектра чистых состояний».

По наблюдению прот. А. Геронимуса, современная наука, в связи со сменой энергичной установки на информационную установку, стала значительно ближе к выдвигаемому преп. Максимом представле-

нию о единстве идеального («ментального») и материального миров и их взаимопроникновении друг другом по сравнению с классической наукой. Таким образом, резюмирует Геронимус, ситуация в физике «изменилась в сторону большего соотношения с Иезекиилевой колесницей» [Геронимус 2006: 26]. Действительно, утверждает он, представления о Вселенной как о квантовом компьютере, сопряженные с некоторыми вариантами «парадигм петлевой квантовой гравитации», снимают разделения между динамическими законами и самой динамикой. «Парадигма многих миров» дополняется «парадигмой многих сознаний» («множество глаз»), а «антропный принцип соответствует присутствию человека» [Там же]. Однако при этом, полагает прот. А. Геронимус, не охватывается вся глубина «динамической сложности, которую видел пророк» [Там же]. Единение же чувственно постигаемого и умопостигаемого мира, символизируемого в видении преп. Максима Иезекиилевой колесницей, имеет динамический характер постоянного продвижения к Богу. Разделенность же этих двух миров есть «результат греховной катастрофы» [Геронимус 2008: 212].

К образу Иезекиилевой колесницы в ее истолковании преп. Максимом Исповедником прот. Александр обращался также в рассуждениях о динамической симметрии при рассмотрении творения как семиосиса [Геронимус 1999а: 83]. В своих опытах рассмотрения фундаментальной науки в свете православного Предания прот. А. Геронимус прибегал к иносказательному изъяснению видения пророка Иезекииля не только у преп. Максима, но и у преп. Макария Египетского (IV в.), усматривавшего в Иезекиилевой колеснице образы души и небесной Церкви Святых [Макарий Египетский 1994: 5]. По словам прот. Александра, если мы будем вслед за преп. Макарием рассматривать сознание («душу») как такую колесницу, то увидим его «как динамическую, энергичную, информационную физическую реальность» [Геронимус 2006: 25]<sup>1</sup>.

6.7. В качестве особого пути достижения взаимопонимания между разными сферами культуры может служить также возведение концептуального содержания какого-либо учения к базисным категориям и концептам культуры определенного времени. Часто возникает вопрос: возможно ли адаптировать в современной культуре философскую систему, выполненную на языке другой эпохи и в другой ментальности, без потери ее содержания? Такая задача стоит, в частности, перед ис-

<sup>1</sup> См. также попытки соотношения современных физико-космологических представлений с библейским повествованием о строительстве Вавилонской башни [Геронимус 2005: 127–128].

следователями творчества А.Ф. Лосева, пытающимися вписать его религиозно-философские воззрения в общий контекст культуры и, прежде всего, в современную парадигму мышления, редуцируя религиозную либо диалектическую составляющие его философии.

Исследуя взгляды А.Ф. Лосева в области соотношения языка и сознания, А.Н. Портнов задается вопросом: «можно ли вынести за скобки неоплатонизм и “православный энергетизм” и выделить в концепции Лосева такие моменты, которые имеют ценность в любом контексте» [Портнов 1994: 338–339]. Считая, что отделение содержания учения и его проблематики от философской техники мышления вполне допустимо, Портнов выделяет в творческом наследии А.Ф. Лосева некоторые семиотические и диалектические идеи, созвучные, в его представлении, нашему времени. К их числу он относит «иерархию актов сознания в составе семиозиса, бесконечную смысловую валентность языкового знака как выражение особой природы языка, диалектику рационального и “меонального” в языке, речи и мышлении» [Там же: 339].

В своих работах А.Л. Доброхотов и Тереза Оболевич предпринимают попытку рассмотреть лингвофилософское учение Лосева в аспекте становления учения о символе в отечественной и европейской культуре, высветив основное содержание этого учения через посредство категории символа [Доброхотов 1996; Оболевич 2014]. В своей книге, посвященной концепции символа в творчестве А.Ф. Лосева, Тереза Оболевич пишет: «Великий ученый по праву считается последним философом Серебряного века. Его творчество многогранно. Читая его различные работы, невольно задумаешься: кем был Лосев? То он предстает как монах-имяславец, то как тонкий ученый-диалектик, то как историк философии, то как знаток античной литературы и мифологии, то как поэт, то как философ математики <...> В книге я пытаюсь воссоздать целостный облик мысли Лосева, сконцентрировав его вокруг понятия символа. По моему мнению, это одно из самых ярко выраженных (если не самое яркое) учений, которое иллюстрирует взгляды Лосева в их совокупности. Реконструкция и анализ лосевской теории символа составляет своеобразное case study – тематическое исследование, которое вместе с тем позволяет дать довольно ясное представление о философии русского мыслителя в целом» [Оболевич 2014: IX].

В работах Л.А. Гоготишвили предпринимается попытка выявить логику-диалектические конструкции в философии А.Ф. Лосева, освободив их от «метафоричности и религиозной телеологии», для сопоставления этих конструкций с другими современными философскими и лингвофилософскими концепциями [Гоготишвили 2005: 730].

## 7. Homo symbolicus в мире концептуального многоязычия: восхождение к пониманию другого

Проблема взаимопонимания включает понимание себя и другого. В символическом Универсуме человека существует множество форм достижения понимания себя и другого. Один из таких путей понимания другого заключается в том, чтобы поставить себя на место этого другого. По мысли С.Л. Франка, при изучении общества необходимо «поставить себя на место изучаемых нами участников общения и через внутренний опыт уловить живое содержание общественной жизни – существо стремлений, мотивов, смысл отношений и т. д.» [Франк 1922: 103]. Это касается и понимания индивидуальных миров другого.

7.1. По мысли одного из проникновенных комментаторов творчества А.Ф. Лосева В.В. Бибихина, при чтении текстов Лосева необходимо, прежде всего, настроиться на духовную волну их автора и попытаться обрести «его зрение, дарящее, т. е. возвращающее всему, что оно видит, бездонную глубину» [Бибихин 1999: 672]. «Надо научиться сначала как-то видеть все вокруг таким зрением, чтобы потом понять, для чего Лосеву нужны его сложнейшие диалектические постройки», – говорит Бибихин и так определяет этот угол зрения мыслителя: «Мощь простых вещей увлекает его» [Там же].

При этом необходимо учитывать смысловые привнесения в базисные категории и концепты в идиостиле автора. Исследователи творчества Лосева отмечают, что философская терминология в трудах Лосева не только переосмысливается им логически, но и чрезвычайно остро переживается им художественно, что не может не привносить новых смысловых оттенков в его философскую терминологию. Говоря об этой специфике лосевского философствования, В.М. Лосева (монахиня Афанасия) отмечает, что каждое понятие и каждый термин, употребляемые Лосевым, «настолько переживаются им своеобразно и глубоко, что с обычным представлением их никак нельзя осилить» [Лосева 1997: 13]. Так, когда Лосев говорит об эйдосе, «ему всегда представляется какая-то умственная фигура, белая или разноцветная, и обязательно на темном фоне; это как бы фонарики с разноцветными крашеными стеклами, висящие на фоне темного сумеречного неба» [Там же]. «Инобытие» для Лосева – «всегда какое-то бесформенное тело или вязкая глина; он едва вытаскивает ноги из этой трясины, и она его ежесекундно засасывает» [Там же]. И, наконец, со «ставшим» ему «ассоциируется что-то твердое и холодное, не то стена, не то камень, при этом обязательно холодное и даже что-то мрачное: не свернешь, не объедешь» [Там же].

Художественное начало пронизывает не только отношение А.Ф. Лосева к философской терминологии работ, но и к их философскому синтаксису, основанному на принципе непрерывности диалектического рассуждения. Характерно, что саму диалектику Лосев воспринимал как «ритм самой действительности» [Лосев 2009: 84], а категориальное движение в диалектике – как «балет категорий». В «Диалектических основах математики» Лосев говорит о балете пяти исходных универсальных внутри-эйдетических категорий (тождество, различие, покой, движение, бытие), лежащих в основе диалектики и «Философии имени»: «Диалектика простейших арифметических действий – очень тонкая вещь. Тут нагромождена масса логических категорий, которые с трудом поддаются анализу <...> Тут сложная игра категорий. Пять обыкновенных внутри-эйдетических категорий пляшут тут далеко не сразу понятный балет» [Лосев 1999: 595].

7.2. Некоторые отечественные религиозные мыслители усматривали выход из сложившегося исторического тупика разрыва во взаимопонимании в коммуникационном пространстве культуры не в синтезе разобщенных духовных сфер культуры – философии, религии (богословия) и науки, а в опытах Встречи. В диалоге Церкви с секулярными парадигмами культуры. В отличие от сугубо философского подхода к реальности школы Всеединства, основанного на диалектическом видении реальности, представители такого религиозно-богословского подхода в своем осмыслении взаимосвязи духовных сфер в культуре исходили из диалогического понимания бытия и познания. Они считали, что «в самом познании вообще есть и должен быть даже не диалектический, но именно диа-логический момент» [Флоровский 1991: 518–519].

Применительно к диалогу Церкви и богословия с секулярной культурой такой подход развивается в работах прот. А. Геронимуса. Согласно рассматриваемой им религиозно-богословской стратегии, путь к единству в культуре осуществим через посредство живой, неповторимо-ипостасной встречи Церкви с парадигмами секулярной культуры. Встречи, которая, по его выражению, есть «не суд, но приглашение к диалогу» [Геронимус 1999 б: 30]. Суть этой стратегии заключается в представлении культуры как момента динамики тварного бытия на пути к его спасению и в восприятии сфер культуры как автономных и индивидуальных образований в составе культуры, живущих по принципу «неслиянности» и «нераздельности».

В компаративной модели прот. А. Геронимуса Церковь представлена православным богословием как церковным умом, православным

Преданием и духовным опытом исихазма. Культура же представлена разными своими сферами (философия, богословие, наука) с их разнообразными парадигмами, связанными между собой многообразными способами – через посредство взаимного включения, объяснения и цитирования, а также диалога (противостояние или согласие).

По утверждению прот. А. Геронимуса, принцип диалога лежит вообще в основании культуры, архетипом которой является «райский сад», или Эдем (Быт 2. 8)<sup>1</sup>. В Эдеме пребывает, таким образом, уже человек культурный и диалогический: «Культура, заданная Эдемом, пронизана логосом. Логос явлен как речь, как диалог» [Геронимус 2004: 68]. Диалог Церкви с секулярной культурой есть, по выражению прот. А. Геронимуса, экзистенциальное со-пребывание с ее парадигмами в Боге. По мысли Геронимуса, работа с такими гетерогенными источниками, каковыми являются различные парадигмы культуры, «не может ставить своей целью ни синтез, ни вхождение в иное более высокое состояние, снимающее множественность, ибо множественность бесконечна не только вширь, но и вглубь» [Геронимус 2005: 125]. Это не есть и простое «поглощение» [Геронимус 2004, 46]. Здесь речь может идти скорее о своеобразной дисциплине терпения по образу откровения старцу Силуану: «держи ум свой во аде и не отчаивайся» [Геронимус 2005: 125].

Прот. А. Геронимус отмечает две черты возможного диалога Церкви с секулярной культурой.

Этот диалог, во-первых, не должен стремиться разрушать существующую в культуре множественность видений (образов) реальности. Поэтому соотношение образов реальности в разных сферах культуры необходимо представлять не в форме завершенной концептуальной системы (а именно к этому стремились сторонники школы Всеединства), а, скорее, в виде мозаики. «По выражению Ньютона, – пишет прот. А. Геронимус, – мы почти случайно выбираем несколько из огромного множества кусочков мозаики, которая может быть полностью составлена лишь Богом в Его день, когда на этом зоне будет поставлена печать [Геронимус 2005: 113].

И, во-вторых, диалог Церкви с секулярной культурой должен протекать во взаимной свободе общения, без какого-либо принуждения, без нарушения принципа свободы [Геронимус 2004: 46]. Встреча Церкви и секулярной культуры должна носить неповторимо-ипостасный

<sup>1</sup> В цитируемом фрагменте Библии говорится: «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал» (Быт 2. 8).

характер. С каждым необходимо говорить по возможности «на его поле, на его языке, изнутри, без осуждения, понимая его ментальность, его дискурс» [Геронимус 2005: 112]. И помнить реченное через пророка Исаию: «трости надломленной не переломит и льна курящегося не угастит, доколе не доставит суду победы» (Мф 12. 20).

Особую задачу составляет вопрос о творческом контакте различных культур в целом, при котором важную роль отводят коммуникационным контактам личностей. Некоторые авторы высказывают предположение, что именно «встреча личностей на границах культурных сред является необходимым условием творческого соразвития культур» [Ячин и др. 2014: 124].

## 8. Ложное понимание и трагедии непонимания

Отдельную тему, выходящую за пределы рассмотрения в данной главе, составляет ложное понимание, приводящее иногда к подлинной трагедии нарушения коммуникационного контакта в различных ситуациях общения. К истинному непониманию здесь может подключаться полное неприятие позиции другого в силу причин самого разного характера.

К таким ситуациям трагического непонимания относится так называемый Афонский спор о природе имени Божия и умной молитвы, развернувшийся на Святой Горе Афон в начале XX в. между сторонниками реализма в понимании имени, называемыми «имяславцами», и сторонниками номиналистического подхода, называемыми «имяборцами». Первые полагали, что имя в своем глубинном смысле и есть сама именуемая реальность. Они веровали, что в Имени Божиим, молитвенно призываемом на вершинах исихастского подвига «умного делания», присутствует Сам Бог Своими энергиями. Вторые же, напротив, считали, что всякое имя есть только условный знак, созданный самим человеком. Они утверждали, что Имя Божие есть лишь инструментальное средство для человеческого устремления к Богу.

Участники спора – имяславцы и имяборцы – исходили в своих толкованиях из разного типа молитвенного опыта, разных лингвофилологических представлений о природе Имени Божия, языка, имени и молитвы. И даже из разного представления о сути церковного догмата, что и привело к трагической развязке спора<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См. в нашей работе: [Постовалова 2000].

## Литература

- Аверинцев С.С. София-Логос: Словарь. Киев, 2001.
- Бибихин В.В. Двери жизни // Лосев А.Ф. Личность и Абсолют. М., 1999.
- Булгаков С.Н. От марксизма к идеализму: Сборник статей (1896–1903). СПб., 1903.
- Булгаков С.Н. У стен Херсониса. СПб., 1993а.
- Булгаков С.Н. Сочинения в 2 тт. Т. 2. Избранные статьи. М., 1993б.
- Булгаков С., *прот.* Философия имени. СПб., 1998.
- Булыгина Т.В. Пражская лингвистическая школа // Основные направления структурализма. М., 1964.
- Булыгина Т.В. Проблемы теории морфологических моделей. М., 1977.
- Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. герменевтики: Пер. с нем. / *Общ. ред. и вступ. ст.* Б.Н. Бессонова. М., 1988.
- Гайденко П.П. Философская герменевтика и ее проблематика // Природа философского знания. Ч. 1. / *Реф. сб.* М., 1975.
- Геронимус А., *прот.* Пути сердечного мышления (Машинопись). 1987.
- Геронимус А., *прот.* Математика в свете веры (Машинопись). М., 1992.
- Геронимус А., *прот.* Богословие священнобезмолвия // Синергия. Проблемы аскетики и мистики православия. М., 1995.
- Геронимус А., *прот.* Заметки по богословию имени и языка // Современная философия языка в России: Предварительные публикации 1998 г. / Составление и общая редакция Ю.С. Степанова. М., 1999а.
- Геронимус А., *прот.* Космология в контексте православного богословия // Исследования по истории физики и механики. М., 1999б.
- Геронимус А., *прот.* Богословие культуры и фундаментальная наука // Международные Рождественские образовательные чтения: Христианство и наука: Сборники докладов конференции. М., 2004.
- Геронимус А., *прот.* Тожество и различие в богословии, философии и науке // Христианство и наука. М., 2005.
- Геронимус А., *прот.* Научные теории и богословские символы // Христианство и наука. М., 2006.
- Геронимус А., *прот.* Математика в контексте православного богословия // Христианство и наука. М., 2008.
- Геронимус А., *прот.* Рождение от Духа. Что значит жить в православном Предании. М., 2014.
- Гильманов В.Х. Теология языка в творчестве И.Г. Гамана // Языкознание: Взгляд в будущее / *Отв. ред.* Г.И. Берестнев. Калининград, 2002.
- Гоготшвили Л.А. «Философия имени» Лосева и феноменология Гуссерля // Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и

- выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24–28 мая 2005 г.): В 5 тт. Т. 2. М., 2005.
- Григорий Богослов, архиеп. Константинопольский, свт.* Собрание творений. В 2-х тт. Т. 1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.
- Гумбольдт В. фон.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Гумбольдт В. фон.* Язык и философия культуры. М., 1985.
- Демьянков В.З.* Метаязык как конструкт культуры // Под знаком «Мета». Материалы конференции «Языки и метаязыки в пространстве культуры» в Институте языкознания РАН 14–16 марта 2011 г. / Под ред. Ю.С. Степанова и др. М.; Калуга, 2011.
- Деррида Ж.* Вокруг вавилонских башен / Пер. с фр. и комментарии В.Е. Лапицкого. СПб., 2002.
- Доброхотов А.Л.* Мир как имя // Логос: Философско-литературный журнал. М., 1996. № 7.
- Евдокимов П.* Этапы духовной жизни: От отцов-пустынников до наших дней. М., 2003.
- Игнатий (Брянчанинов), свт.* Собрание писем / Сост. игумен Марк (Лозинский). М.; СПб., 1995.
- Игнатий (Брянчанинов), свт.* Творения. Т. 1. Аскетические опыты. М., 1996.
- Иоанн (Зизиулас), митр.* Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви. М., 2006.
- Исаак Сирич, преп.* Слова подвижнические. М., 1993.
- Копейкин К.В.* Harmonia mundi: В поисках со-глас-и-я макро- и микрокосмоса // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2011. Сер. 15. Вып. 1.
- Лосев А.Ф.* Хаос и структура. М., 1997.
- Лосев А.Ф.* Философия имени. М., 2009.
- Лосева В.М.* Предисловие // Лосев А.Ф. Хаос и структура. М., 1997.
- Мак-Ким Д.К.* Вестминстерский словарь теологических терминов: Пер. с англ. М., 2004.
- Макарий Египетский, преп.* Духовные беседы. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.
- Максим Исповедник, преп.* Творения. Кн. 1. М., 1993.
- Молитвы и песнопения Православного молитвослова (для мирян) с переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями Николая Нахимова. С.-Петербург, 1912.
- Никитин Е.П.* Духовный мир: органичный космос или разбегающаяся вселенная? // Вопросы философии. 1991. № 8.
- Новиков Н.М.* Молитва Иисусова: Опыт двух тысячелетий: Учение святых отцов и подвижников благочестия от древности до наших дней: обзор аскетической литературы. В 4 тт. Т. 1. М., 2004.

- Оболевич Т.* От имяславия к эстетике. Концепция символа Алексея Лосева. Историко-философское исследование / Пер. с польск. М., 2014.
- Огурцов А.П.* Понимание // Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Степина. В 4 тт. Т. 3. М., 2001.
- Портнов А.Н.* Язык и сознание: Основные парадигмы исследования проблемы в философии XIX–XX вв. Иваново, 1994.
- Постовалова В.И.* Афонский спор о природе и почитании Имени Божия и его мистико-богословские, философские и лингвистические основания // VIII Рождественские образовательные чтения: Христианство и философия: Сборник докладов конференции (27 января 2000 года). М., 2000.
- Постовалова В.И.* Гипотеза лингвистической относительности в современном гуманитарном познании // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей. М., 2014. Вып. 50.
- Потебня А.А.* Слово и миф. М., 1989.
- Рамишвили Г.В.* Вильгельм фон Гумбольдт – основоположник теоретического языкознания // Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Рикер П.* Понимание и объяснение // Новая философская энциклопедия / Под ред. В.С. Степина. В 4 тт. Т. 3. М., 2001.
- Свадост Э.* Как возникает всеобщий язык. М., 1968.
- Софроний (Сахаров), архим.* Подвиг богопознания: Письма с Афона (к Д. Бальфуру). М., 2002.
- Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Т. 1. / Под. ред. А.П. Лопухина / Второе издание. Стокгольм, 1987.
- Топоров В.Н.* О космологических источниках раннеисторических описаний // Труды по знаковым системам: Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1973. Т. 6.
- Топоров В.Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. Первый век христианства на Руси. М., 1995.
- Топоров В.Н.* Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 2. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.). М., 1998.
- Феофан (Затворник) свт.* Творения. Начертания христианского нравоучения. В 2 тт. Т. 2. М., 1994.
- Фещенко В.В., Коваль О.В.* Сотворение знака: Очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства. М., 2014.
- Флоренский П.А.* Сочинения. Т. 2. У водоразделов мысли. М., 1990.
- Флоровский Г., прот.* Пути русского богословия. Вильнюс, 1991.
- Франк С.Д.* Очерк методологии общественных наук. М., 1922.

*Хауген Э.* Направления в современном языкознании // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.

*Шпет Г.Г.* Внутренняя форма слова: Этюды и вариации на темы Гумбольдта. Иваново, 1999.

*Щедровицкий Д.В.* Введение в Ветхий Завет. Т. 1. Книга Бытия. М., 1994.

*Ячин С.Е., Поповкин А.В., Буланенко М.Е.* Метакультурный эффект на границах культурных сред // Метопарадигма: богословие, философия, естествознание: альманах. СПб., 2014. Вып. 1.

глава 1.4. Лингвистические и  
внелингвистические основания «всеобщего»,  
«универсального», «личностного»,  
«национального», «культурно-  
специфического» и прочего знания

**А.В. Вдовиченко**

Категория знания интересует лингвистическую науку по мере участия этого понятия в описательной модели, создаваемой (созданной) для концептуализации вербальных данных. Лингвисты по необходимости, то есть по роду своих занятий в области «языка», предлагают свой специфический ракурс: *знание в отношении к вербальному материалу*. Нельзя сказать, что философы, психологи, историки, социологи и пр. не внедряются на лингвистическую территорию, когда со своих позиций рассуждают о знании, так же, как нельзя отрицать, что они часто используют данные «языка» (как их понимают) в своих описательных моделях. Но это лишь доказывает, что лингвистический ракурс знания нужен всем, и кому как не лингвистам следует произнести здесь свое суждение.

Сразу возникает вопрос: если в результате лингвистических рассуждений окажется, что знание частично невербально или невербально совсем, станет ли знание вследствие этого неинтересным лингвистике? Конечно, нет, поскольку целью языковедческого исследования является не соблюдение искусственных границ, некогда очерченных вербальностью для теоретических упражнений исследователей, а *эффективная и адекватная модель вербального процесса*. Если для ее построения необходимо выйти за пределы прежней схемы и нарушить границы вербального, то в этом и состоит подлинная эволюция любой научной дисциплины (гуманитарной или естественнонаучной, и даже точной), а именно в переназначении смыслов прежних объектов, в расширении номенклатуры вовлекаемых в схему объектов, создании новых объектов, констатации новых актуальных связей и новой этиологии прежних феноменов и пр. Экспансионизм современной парадиг-

мы лингвистики (термин Е.С. Кубряковой) [Кубрякова 1995: 144–238], органично вписанный в постструктуральные тенденции и подтвержденный интуициями реальности, обязывает к деконструкции (термин Ж. Деррида) [Derrida 1972: 44–45] и новой реконструкции, или даже созданию совершенно новой постройки на месте старой. В этой новой модели место, занимаемое знанием, может оказаться неожиданным и чреватым («пост-постструктуральным»).

Нужно признать, что различных спецификаций знания, в том числе тех, что заявлены в названии статьи, может быть многим больше: частичное, профессиональное, духовное, мистическое, априорное, недостижимое, бесполезное, а также, соответственно, полное, дилетантское, не-духовное («плотское») и пр. В то же время лингвистический ракурс позволяет исследователю занять сколько-нибудь определенную исходную позицию и выделить (или хотя бы наметить) специфическую составляющую этих понятий, актуальную для моделирования вербального, а не какого-то иного процесса.

В подтверждение того, что категория знания необходима и неизбежна в номенклатуре способов описания вербальных фактов, я сошлюсь на несколько уже существующих терминов, в разное время и в разных теоретических условиях созданных лингвистами или сочтенных полезными для описания вербального процесса: данные, информация, сознание, память, гештальт [Lakoff 1977], фрейм [Bateson 1972; Minsky 1974; Fillmore 1976], презумпция [Падучева 1977], пресуппозиция [Baker 1956; Lakoff 1971; Арутюнова 1973; Демьянков 1981], топик [Демьянков 1979], тема [Firbas 1966; Матезиус 1967], подлежащее, конкретный «язык», языковая компетенция [Хомский 1962; Хомский 1972]. В каждом из этих понятий, используемых для объяснения вербального факта, знание заявляет о себе вполне определенно или, по крайней мере, брезжит. Многообразие этих понятий заставляет признать, что знание не интересует лингвистов как таковое. Речь идет о поисках *эффективной описательной модели* вербального факта (подобно стандартной модели «атома» в физике) и некоем условном полувакантном месте в этой модели, занимаемом чем-то, что может быть названо знанием.

Нужно заметить, что в отличие от лингвистов, сами участники естественной коммуникации не испытывают никаких проблем с тем, чтобы пользоваться словом «знание» и, соответственно, иметь о нем какое-то понятие. Однако исследователь, создающий или уточняющий теоретическую модель, не может довериться «обыденному языку» и производить исследование включений данного слова по произвольно ограниченному корпусу текстов, поскольку его целью является созда-

ние специальной операциональной схемы, вскрывающей и демонстрирующей скрытые основания естественного вербального процесса. Подобным образом исследования контекстов слова «атом» не могут быть эффективными для создания или уточнения «стандартной модели».

В общем смысле потребность в знании со стороны лингвистов можно сформулировать так: *чтобы говорить (понимать), нужно что-то знать.*

### Проблема субъективности (субъектности) знания

*Субъектность знания* следует считать *отправной точкой* в попытках определить эту категорию в ее отношении к вербальным фактам. Как любой естественный вербальный материал всегда *кем-то* сказано или написан, так и знание в естественном состоянии неизбежно *кому-то* принадлежит, локализовано в *чьей-то* сознании. Среди положений, на основании которых возможно дальнейшее возведение теории, субъектность знания нужно признать аксиомой, а предикат «субъектное» – бесспорным и неотъемлемым свойством того, что может быть названо знанием.

Поступить так необходимо, поскольку мыслящие (и говорящие) индивиды никогда не тождественны в содержании своих сознаний, а попытки навязать им (или целому сообществу, в каких бы границах его ни мыслить) общезначимое тождественное знание бесперспективны. Первый же тест на всеобщность и единообразие даст отрицательные результаты на какой-то из стадий выяснения степени мнимого тождества. Это верно как для общего объема знания, присутствующего в каждом индивидуальном сознании, так и для отдельных индивидуально мыслимых понятий, личностей, явлений, процессов, неизбежно обнаруживающих несовпадения в своих объемах среди «обладателей» знания о них.

С точки зрения исследователя вербальных данных, здесь возникает проблема, требующая разрешения. Если для того, чтобы говорить, нужно что-то знать, а знания нетождественны в сознаниях говорящих, то *как возможно говорение?* Иными словами, если целевой причиной естественного говорения является смыслообразование, в основании которого лежит то, что мыслит (знает) говорящий, то понимающему (адресату), вследствие отсутствия тождества, сказанное становится заведомо недоступным (доступным лишь отчасти или «по-своему»).

Эту проблему можно сформулировать и более приближенным к вербальным данным способом: если слова, за которыми как будто стоят

понятия, нетождественны в сознаниях говорящих, то как возможно вербальное общение (общение посредством слов)?

(Так, например, слова *категория, интересовать, лингвистический, наука, участие, это, понятие, описательный, модель, созданный, концептуализация, вербальный, данное* по своему значению нетождественны, неконкретны и неединообразны в индивидуальных сознаниях «носителей русского языка», например, хотя бы тех, которые представляют далекие друг от друга социальные слои и различаются по специфике образования, интеллектуальных занятий и деятельности, тем более тех, которые участвуют или не участвуют в данном коммуникативном взаимодействии. Впрочем, даже среди представителей одной общности (профессии) и участников одной ситуации тождество совсем не гарантировано).

Субъектность (субъективность) знания, таким образом, как будто является непреодолимым препятствием для интересующей лингвистов вербальной коммуникации, если понимать под коммуникацией процесс, построенный на мнимом тождестве индивидуальных знаний. Это и составляет указанную проблему, требующую разрешения.

### **Знание языка**

На этот вызов субъективности (субъектности) можно дать быстрый пессимистический ответ: понимания (финального тождества знания) в действительности нет и не может быть. Всё и все в последнем основании одиноки и непроницаемы. Субъектность становится непреодолимым препятствием для единства и тождества.

Проблема только усугубляется тем, что краеугольный камень лингвистической теории – антично-сосюрковский язык – в современных теоретических условиях не может исполнять свою прежнюю роль фундамента, твердой почвы, поскольку знание субъективно (субъектно), а в языке личность (субъект знания) принципиально отсутствует. Поэтому, например, в языке неконфликтно могут сосуществовать две взаимоисключающие пропозиции *Земля имеет форму шара* и *Земля не имеет формы шара*. В отличие от языка, личное знание такого себе позволить не может (последнее стало теоретически ясно уже Аристотелю, сформулировавшему закон исключенного третьего [Аристотель 1976: 141], а практически применялось гораздо раньше, с тех пор как человек мыслит).

В самом деле, ссылки на знание языка в попытках объяснить естественную вербальную коммуникацию (а она иногда все же считается участниками успешной) не достигают искомой убедительности и не спо-

собствуют формированию эффективной описательной модели. Дело в том, что любой естественный вербальный процесс преследует *смыслообразование* в качестве главной *целевой причины*, вне которой говорящий (пишущий) не станет брать на себя труд что-то сказать или написать. Если за смыслообразование отвечает язык, и в нем содержатся все смыслы (значения звуков, морфем, слов, синтаксических конструкций), то именно вследствие этого и окажется, что говорящему просто незачем говорить: в языке уже все есть, и зачем в таком случае еще раз повторять общеизвестное языковое «одно и то же»?

Очевидно, что смыслообразование (то, ради чего вербальный факт порождается) локализуется в иных сферах. Для объяснения естественного вербального факта следует оставить язык грамматистам, а теорию вербального процесса обосновать на *личном коммуникативном действии*, которое и есть то, что на самом деле интересует говорящего/пишущего.

Концепт мыслимого действия, постепенно введенный (и до сих пор продвигаемый) в поле рассуждений о вербальных фактах начиная с гадательных прозрений Витгенштейна [Витгенштейн 1994], революционных опытов сомнения Остина [Остин 1999], более определенных констатаций Серля [Серль 1986] и пр., влечет за собой для теории языка значимые последствия (или даже тектонические сдвиги), поскольку в результате возникают *новые теоретические условия* существования науки о вербальном процессе [подробнее см.: Вдовиченко 2008]. Язык как прошлое теории поглощается коммуникацией как ее вечным настоящим, прежде отодвигаемым в теоретическую тень. Соответственно, *знание языка* в деле объяснения процессов смыслообразования приобретает иной статус и радикально переосмысливается.

Как это происходит?

Идея действия, изначально сформулированная на вербальном материале, радикально меняет расстановку теоретических объектов, вовлеченных в описательную схему, таких как знак, значение, мысль, сознание, понимание и др.

Действие не существует вне деятеля, который оказывается единственным бесспорным источником порождения смысла в вербальных данных (как, впрочем, и в иных семиотических актах, использующих иные коммуникативные каналы). Фактом своего существования деятель ставит точку в рассуждениях о смысле сказанного, обозначая собой предел смыслообразования. Интерпретация естественного вербального материала – в своей первозданной сути – представляет собой восхождение к когнитивному состоянию источника действия. Именно

поэтому текст, который сам себя не создавал, не может содержать в себе больше смыслов, чем помышлял автор. Зачастую встречающаяся растерянность интерпретатора перед действием, от которого остался только вербальный след, не ведет к отрицанию автора в пользу мнимо-автономного текста (Р. Барт [Барт 1994] и др.), но обязывает признать недостаточную способность проникнуть в индивидуальные «чертоги смыслопорождения».

При этом мысль и вербальное действие естественным образом не совпадают, как не совпадают процесс открывания двери ключом (действие) и внутреннее рассуждение о необходимости открыть дверь ключом (мысль). Смысл сказанного не имеет прямой («прямоточной») связи с мыслью – гораздо более объемным и комплексным процессом, чем следующее за ним коммуникативное влияние (для иллюстрации этого достаточно представить случай лжи, где воздействие и мысль особо рельефно не совпадают). Мысль не акциональна, в отличие от действия. В момент говорения (письма) размышление говорящего состоит в том, чтобы осуществить нужные говорящему (пишущему) изменения в сознании адресата.

Иными словами, *смыслообразование* в естественном вербальном процессе – *исключительно коммуникативный феномен*, который возникает только в процессе акционального («перформативного», «совершительного», действенного) выхода за пределы сознания в коммуникативное пространство.

Здесь, на ясно очерченной границе между внутренней мыслью и коммуникативным по природе смыслообразованием, становится заметным *различие между естественным и неестественным* (сконструированным, подмененным, искусственным) вербальным материалом. Так, примером искусственного материала может служить высказывание *Куда ты идешь?*, взятое вне конкретной коммуникативной синтагмы (данной коммуникативной ситуации и ее момента). В этой вербальной последовательности нет смыслообразования, которое возникает в момент интеракции говорящего и адресата. В естественных условиях этот материал входит в состав многофакторной системы координат, констатированных говорящим для совершения конкретного действия, и только в этой системе параметров данный вербальный комплекс приобретает актуальность, ради которой и был произнесен. Только в этой системе вербальный комплекс становится тождественно интерпретируемым, имеющим подлинный смысл и значение (замечу даже, что тот же самый комплекс, в зависимости от ситуации, может быть грамматически правильным или неправильным).

Подобным же образом вербальная часть уже существующего («отыгранного») коммуникативного действия, изъятая из актуальных условий его совершения, лишается своих подлинных свойств, главное из которых – способность к смыслообразованию. Естественное высказывание, которое уже было произнесено и понято в актуальных условиях, будучи изъятым из этих актуальных условий, перестает быть смыслообразующим:

*Мне очень дорого, что в выступлениях коллег (вчера и сегодня) были в различной мере затронуты идеи, которые и я считаю важными.*

Здесь ни одно из актуальных для говорящего значений не содержится в вербальной форме. Чтобы «означить» пустые формы, говорящему и слушающему необходимы конкретно мыслимые параметры, не присутствующие в самой вербальной форме: не ясно, «кому дорого», «какие выступления», «кто коллеги», по отношению к чему «вчера» и «сегодня» и пр. [Вдовиченко 2016].

Поэтому интерпретация смысла сказанного по необходимости представляет собой восхождение к когнитивному состоянию того, кто произвел данное действие в данной многофакторной ситуации. И только такие вербальные данные – коммуникативные и акциональные – могут считаться естественными, обладающими полнотой реальности.

На фоне этих естественных условий существования вербального факта следует констатировать три важных следствия для наук, интерпретирующих вербальные данные.

Во-первых, единицы вербального процесса сами по себе *не тождественны*, их невозможно изучать как элементы со своими валентностями. Они не существуют вне действия данного говорящего, который предоставляет им возможность принимать участие в смыслообразовании на его, говорящего, условиях.

Во-вторых, антично-сосюрковский язык (система смыслопорождающего говорения) *теряет свою теоретическую эффективность как метафора*. В новых условиях (когда личное действие становится главным объектом интерпретации и порождение смысла в вербальном факте локализуется в индивидуально приуроченной коммуникативной процедуре) это понятие становится непригодным для моделирования естественного вербального процесса, суть которого – исполнение личной коммуникативной задачи, коммуникативное смыслопорождение. В языке нет деятеля, нет адресата, нет тождественной закреплённой между означающим и означаемым связи (означаемого в принципе не может быть вне индивидуального сознания, поскольку означаемое представляет собой не денотат «вещь в себе», а некий образ, понятие, пред-

ставление, локализованные в сознании). Источником мысли, эмоции, чувства является только индивидуальное сознание. Объекты не формируются независимо от сознания, связи (причинно-следственные, пространственные, временные и пр.) не строятся сами собой. Причинность представляет собой довольно произвольное соположение двух выделенных (интересующих говорящего) объектов (явлений). Всего этого язык не может производить сам, он принципиально на это не способен. В нем с полной очевидностью отсутствует мысль и все прочее, имеющее отношение к смыслопорождению, поскольку в нем принципиально нет мыслящей личности, которая является источником любого словообразования. Возможно, где-то в иных сферах диспозиция иная, но в естественном вербальном процессе безраздельно господствует номинализм, релятивизм, относительность, субъективность, отсутствие истинности и пр.

И, наконец, в-третьих, следует констатировать, что *говорящие (пишущие) порождают и понимают актуальные коммуникативные действия*, а не вербальные формулы (элементы структуры языка). Источником нетождественности и изменчивости вербальных клише как раз и является то обстоятельство, что коммуникант, производящий коммуникативное словообразование, сосредоточен на действии, а не на соблюдении единообразных правил употребления слов. Правила и коммуникативное словообразование в некотором смысле антагонистичны: коммуниканту необходимо добиться изменений в сознании адресата, внести что-то новое в коммуникативное пространство, а язык, существующий по правилам, «всегда говорит нам одно и то же», как всерьез утверждал Витгенштейн [Витгенштейн 1994: 168]. В действительности «одно и то же» в принципе не интересует коммуниканта, который берет на себя труд что-то сказать (написать): зачем в таком случае говорить, если в результате удастся лишь произнести то, что уже сказано много раз кем-то и где-то, в том числе им самим? Чтобы продемонстрировать знание правил? Безусловно, нет. В реальности говорящий говорит не языком («одно и то же»), а добивается изменений в мыслимом коммуникативном пространстве. «Одни и те же слова» в новых условиях входят в состав нового действия, актуального для говорящего и по мере того нужного и интересного для него. Он как бы строит здание из подручных средств, он занят постройкой, а не строительными блоками, каждый из которых может стать частью арки, пола, потолка, стены, в зависимости от замысла строителя. Осуществляемый им процесс семиозиса настолько многофакторный, что «правила употребления слов» («язык») просто растворяются в коммуникативном

синтаксисе. Коммуникант пускает в ход все, что ему доступно: известные ему и адресату вербальные клише, визуальные образы, таблицы и схемы, модуляции голоса, выражение лица, невербальные знаки, неожиданные фреймы, сдвиги смыслов, вновь созданные объекты, измененные формы слов, новые фокусировки, шрифтовые выделения, «разноязычные» вербальные формулы, ритм, рифму, игру слов и прочее, и прочее, лишь бы искомое воздействие было произведено.

В этих условиях теоретический конструкт «язык» уже не может сохранять прежний статус автономного «средства общения», поскольку общение осуществляется не словами «языка», а комплексными коммуникативными действиями. Соответственно, любая исследовательская процедура, которая ранее пыталась опереться на правила работы «словесного механизма», вместе с прежним статусом языка мутирует в новое состояние.

В возникшей ситуации турбулентности (резко возросшей сложности объекта, несамостоятельности элементов, поглощения вербального материала и самого языка коммуникацией) более основательную почву для дисциплин, интерпретирующих вербальный текст, предоставляет *дискурс* – одна из главных методологических констант современных гуманитарных дисциплин. Ввиду ясно обозначенного источника смыслообразования в вербальном (и невербальном) коммуникативном действии дискурс можно определить как осознанную говорящим ситуацию коммуникации в каждый из ее моментов. Понимание сказанного (написанного) возможно только как возвращение в исходную точку смыслопорождения, приобщение к когнитивному состоянию деятеля-говорящего (на основе всех имеющихся у интерпретатора возможностей), что достигается путем анализа параметров мыслимого говорящим коммуникативного пространства и его, говорящего, участия в производимых изменениях.

Если дискурс понимать неакционально, то он как понятийный инструмент становится статичным коррелятом сосюрковского языка. Так, в лингвистических трудах часто встречаются указания на поэтический, философский, литературный и другие дискурсы, как при неакциональном (статическом) понимании языка («системы-механизма») часто возникают заведомо неопределимые в своих очертаниях поэтический, философский, литературный и другие «языки». И в том, и в другом случае теория, соглашаясь на неэффективную дефиницию, сразу понуждается к тому, чтобы приступить к девальвации собственного потенциала, например, сразу вводить исключения из правил, очерченных неэффективным инструментарием. Такой дискурс получает автономное существование, подобно языку, которому придается статус автономного

объекта. Такой дискурс терпит синонимию «литературный дискурс – литературный язык», «поэтический дискурс – поэзия» и пр. И, наоборот, не терпит синонимии «дискурс – коммуникативное событие». Такой дискурс операционально не эффективен, как не эффективен язык для объяснения процессов смыслообразования в естественном вербальном факте. Если естественный вербальный факт представляет собой действие, процесс, то теоретическая рамка для него должна иметь свойства, пригодные для моделирования процесса.

*Динамическое* понимание дискурса, вытекающее из акциональности естественного вербального факта, указывает на мыслимые условия совершения отдельно взятого коммуникативного действия. Ввиду постоянно меняющихся условий коммуникации (в том числе вследствие уже совершенных в последовательности действий, вовлечения новых, известных автору, фреймов, исключения потенциально релевантных фреймов, вовлечения новых мыслимых объектов и пр. и пр.) дискурс представляет собой подвижную систему координат, в которой всякий раз заново интерпретируется новое действие (в том числе произведенное с участием вербального канала). С этой точки зрения дискурс не может быть единым для всей области литературы, или философии, или поэзии, или обыденного общения и др., поскольку «семиотические поступки» могут менять область своей помысленной говорящим прописки на минимальном пространстве. Обрамляющая их ситуация в своих осознаваемых коммуникантом параметрах подвижна и изменчива от действия к действию. Дискурс для операциональной эффективности должен быть лишен качеств, в том числе литературности, филологичности, поэтичности, обыденности и пр.

Таким образом, на фоне нового комплексного объекта (коммуникативное действие), который своим появлением несколько проясняет причину несамостоятельности элементов «языка», а также обнаруживает неэффективность самой метафоры «язык» для объяснения процессов смыслообразования в естественном вербальном факте, формула «знание языка», по-видимому, не может удовлетворить современного исследователя, размышляющего о том, что нужно знать говорящему (пишущему), чтобы говорить (писать).

### **Знание вербальных знаков**

Упомянутая *несамостоятельность* элементов языка все же нуждается в дополнительной аргументации хотя бы потому, что рассуждения о естественном вербальном факте часто опираются на формаль-

но единообразные фонетические (и графические) комплексы, называемые знаками. По умолчанию они *обладают тождеством* в тех вариантах описательной модели, где постулируется язык как система смысло-формальных элементов. Знак, признанный единством формы и содержания, традиционно замыкает на себе и исчерпывает собой проблему знания («то, что известно говорящему (пишущему»)). Так, некогда античным стоикам представлялось достаточным обнаружить подлинные значения слов и букв (звуков) для познания мирового Логоса, который с ними сливается и из них состоит.

Между тем проблема знаковости (наличие/отсутствие воспринимаемого тождества) получает перспективу решения только в связи с упомянутым коммуникативным смыслообразованием, опирается в коммуникативный (а не языковой) процесс.

Попытки вычленения единиц, которые было бы уместно мыслить в качестве обособленных слагаемых какой-то общей суммы (явления, предмета, вещества), часто оправдываются надеждой обнаружить присутствующие этим единицам свойства, которые задают собой составленное из них целое. Так, парк оказывается состоящим из лиственных деревьев, каждое из которых является источником кислорода для города, и чем больше в парке этих продуцирующих кислород единиц, тем лучше дышится горожанам.

Однако сам объект, подвергаемый анатомизации, а также элементарные единицы, обнаруживаемые в его составе, не вызывают сомнений лишь до тех пор, пока рефлексия не коснулась самой процедуры выделения объекта, критериев выделения составляющих его единиц, а также целеполагания самой процедуры деления на элементы. Даже не задаваясь неразрешимым вопросом, что такое парк, само это «подлежащее» можно разбить не только на деревья, но и на совсем другие «атомы»: квадратные метры, гектары, футы, секторы, крылья, зоны, полезные площади, человекометры и пр. В зависимости от того, считает ли аналитик парк геометрической областью или зеленым массивом, а также в зависимости от целей дробления, выделяемые «атомы» принимают форму, которая стремится быть оптимальной для решения задач, поставленных практиком и/или теоретиком. Ясно, что процесс приспособления единиц к объектам и объектов к единицам носит утилитарный характер. Из каких «атомов» состоит парк, невозможно определить до тех пор, пока кем-то и для чего-то не назначена цель деления.

Соответственно, расчет на то, что сами элементы (единицы) сообщат что-то об объекте аналитической процедуры, пожалуй, обнаруживает неправильную методологическую установку. Скорее, следует го-

ворить о том, какие единицы будут более удобными для решения поставленных задач и, собственно, как решать эти задачи с использованием назначенных единиц. Так, парк может вовсе оставаться «монадой», не состоящей из единиц, до тех пор, пока не потребуется, скажем, установить площадь, занимаемую этим объектом. Для исполнения этой задачи будут привлечены квадратные метры в России или квадратные ярды и футы в Великобритании. Онтологический смысл метров явно не следует драматизировать ввиду того, что в сфере онтологии метры непременно вступят в конфликт с ярдами, из которых парк также очевидным образом может состоять.

Похожим образом *лингвистический знак* представляет собой результат процедуры, в ходе которой делению на элементы подвергается вербальная («телесная») часть коммуникативного действия. Единицы, «нарезанные» при разбиении его вербальной составляющей, не могут иметь автономного «онтологического» значения, поскольку значение действия (т. е. помысленный коммуникантом эффект воздействия) существует независимо от слов, жестов, рисунков и пр., как факт личного сознания, интенция к действию, мыслимый результат. Так, в желании сообщить об изменениях погоды нет ничего словесного, жестового, графичного, как и в желании открыть окно, предупредить об опасности, сообщить какие-то «факты» и пр. Внутренний когнитивный процесс приобретает сколько-нибудь осязаемые формы после того, как коммуникант принял решение произвести воздействие на постороннее сознание (или на иное состояние своего собственного сознания, напр. представив его в будущем). Соответственно, в конкретной ситуации коммуникации желание сообщить о погоде выливается в изображение условных рисунков и цифр, или в жестикуляцию, или в произнесение соответствующих вербальных клише, которые к тому же могут приобретать не только фонетическую, но и графическую форму и пр.

Порожденная таким образом телесная часть коммуникативного действия вполне произвольно, в зависимости от целей предпринимаемой «анатомизации», разбивается на элементы: «Здесь почему-то на картинке и облако, и солнце, и дождь – ничего не понятно»; «А что ты на небо показываешь? Есть надежда на просветление?»; «Ничего себе «ясно», в крайнем случае «ничего не ясно»»; «Слово *дождь* пишется не так: на конце не *щь*, а *ждь*»; «Ты здесь палочку у буквы *Д* очень странно нарисовал, получилось *А*» и пр. Ясно, что в приведенных примерах (если, конечно, представить их себе как эпизоды актуальной коммуникации) единицами для говорящего выступают, соответственно, нарисованные предметы, указательный жест, слово, фонетический и графич-

ческий элемент слова, графический элемент буквы. При этом в каждом из этих случаев имеет место процесс приспособления элемента к целому, а целого к элементу, осуществляемый индивидуальным сознанием, которое видит перед собой определенную цель разбиения на знаки и владеет соответствующим инструментарием.

Оставляя в стороне жесты и картинки и рассматривая только вербальные знаки, наблюдатель убеждается в том, что «атом» словесной коммуникации в своем точном и последнем выражении ускользает от измерительной процедуры вследствие все той же произвольности назначения критериев. Задаваясь вопросом, является ли знаком звук, буква, палочка или завиток графемы, морфема, иероглиф, слово, сочетание слов, предложение, устный или написанный текст и пр., наблюдатель, доверившийся спонтанной концепции «знак–значение», приходит к выводу о том, что *любая* из этих предметных единиц может считаться знаком, поскольку как будто бы означает нечто, как, например, в предложении *Куда ты идешь?* Так, во-первых, сказанное как будто понятно, во-вторых, состоит из дискретных единиц (которые можно даже изобразить), в-третьих, любая попытка изменить звуки, слова, их сочетания, целое предложение как будто приводит к изменению общей смысловой суммы.

Однако именно здесь следует констатировать торжество коммуникативной концепции вербального материала, ее полное и безоговорочное преимущество перед «знако-значенческой» концепцией в моделировании естественного вербального процесса, поскольку *Куда ты идешь? в действительности не означает ничего, если не рассматривается в составе коммуникативной синтагмы* (конкретного коммуникативного действия): сказанные сами по себе слова не имеют смысла ни по отдельности, ни в совокупности; представляют собой набор неопределенных в своих границах налагающихся друг на друга единиц; возможные оппозиции элементов не выстраиваются в общей аморфной бессмысленности, являются всецело произвольными (знак может оппозиционировать другому знаку, сочетанию знаков, отсутствию знаков, при этом множества «участников» оппозиций не ограничены ничем).

Иными словами, если неизвестно, кто, зачем, в отношении кого, в каких мыслимых условиях и прочее производил действие с использованием данных вербальных клише, то в самих звуках, буквах, словах и даже целом тексте смыслообразование отсутствует (оно, как уже было замечено, коммуникативно по своей природе, присутствует в индивидуальном сознании взаимодействующих участников коммуникативного пространства). То, ради чего говорящий (пишущий) мог по-

трудиться произнести *Куда ты идешь?*, не может интерпретироваться в тождестве, поскольку коммуникативные параметры смыслообразования всегда конкретно мыслимы индивидуальным сознанием, которое определяет адресанта и адресата, объекты внимания и обсуждения, а также отношения между ними, позицию в возможной интеракции, обстоятельства совершения действия, фрейм отношений между коммуникантами и пр. Мнимая «понятность» слов *Куда ты идешь?* у русскоговорящего наблюдателя возникает только оттого, что данные вербальные клише уже были когда-то восприняты им в актуальных условиях и могут быть использованы им в актуальных условиях.

Пребывание вербальных клише в мыслимом пространстве коммуникативного действия, как уже было замечено, представляет собой *естественную форму существования вербального материала* и поэтому является обязательной составляющей его интерпретации. Подлинное знание «языка» состоит во владении способами вербального действия в сегментах коммуникативного пространства – от обыденных (*мне чашку кофе, пожалуйста*) до сугубо специфических (напр., *не бери этот мусор на хаях, здесь вернем преюдицию*). Знание коммуникативной типологии приобретает носителем «языка» с детства (практически) или путем различных дидактических приемов (теоретико-практически).

Иными словами, в типовой ситуации произносится фонетический комплекс, который обычно вызывает в сознании участников коммуникативного сообщества изменения, мыслимые говорящим, как, например, в случае, когда он принимает решение указать адресату на себя. Эта интенция (привлечь внимание к себе) универсальна для представителей различных культур и внутрикультурных сообществ. Поэтому в различных «языках» непременно присутствует вербальное клише, используемое в таких случаях (*я, I, ich, je* и пр.). Переводить такие «слова» не составляет труда ввиду того, что рамочное для этих слов коммуникативное действие (передачей которого в тождестве озабочен переводчик) повсеместно распространено, фактически представляет собой «коммуникативную универсалию». Вследствие тождества коммуникативных синтагм различные слова имеют одинаковое «значение». Усвоение «языка» как раз и состоит в овладении типологическими дискурсивными единицами коммуникации.

Ту же «историю» наблюдатель застает и в других случаях говорения и распознавания слов, каждое из которых само по себе известно говорящему как элемент мыслимой ситуации действия в типологических условиях и которое вводится в состав заново актуальной, необходимой ему, коммуникативной синтагмы и по мере того приобретает смысл и новизну.

Изъятое из коммуникативной синтагмы слово (тем более звук, буква и пр.) невозможно рассматривать как единицу смыслообразования, ввиду того, что у самой единицы нет основания, на котором зиждется здание смысла: в «автономном» слове нет личного когнитивного начала, источника мысли, отправной и конечной точки смыслообразования. В естественных условиях любое слово, входя в состав коммуникативного действия, всегда стоит на этом основании – отсылает к когнитивному состоянию коммуниканта, которое понимается в ходе коммуникативной интеракции. Как нельзя понять камень или звездное небо (ввиду чуждости и неясности «внутренних мотиваций» собственного поведения этих «объектов»), так нельзя понять слово (тем более звук или морфему), пребывающие в состоянии автономного покоя, не вовлеченные в динамику личного коммуникативного действия. Как звездное небо и камень всего лишь «вписываются» в созданную коммуникантом схему с назначенными им функциями и получают таким образом «понимание» в рамках назначенной схемы, так слово не может быть понято само по себе, вне созданного коммуникантом пространства действия. Во всех случаях пониматься будет не поведение выделенных в сознании объектов (звездное небо, камень, слово), а сама процедура вписывания, практическая, развернутая к субъекту когниции, индивидуально мыслимая *схема моделирования реальности и действия в ней*. Порождение и интерпретация коммуникативного действия (не путать с внезаковым внутренним мыслительным процессом) всегда обращены к установлению тождества когнитивных процедур и оценке их эффективности, а не к «вещам в себе».

Так, «элементарную» часть актуального высказывания (слово «*попытки*», см. выше, начало третьего абзаца настоящего раздела), изъятую из коммуникативной синтагмы (тем более звук или букву этого слова), невозможно рассматривать как «атом» смыслообразования, ввиду неопределенности его свойств. «Атом» не может быть разделенным и неопределенным в себе, указывая одновременно на единственное и множественное число, одновременно на именительный и родительный падеж, к тому же он не может фонетически совпадать с формой *попытке* и *попытке* и пр. В этой мнимой «единице», взятой независимо от сознания автора высказывания, *собственное* значение отсутствует. Для «иностранца, не знающего «русского языка», данное вербальное клише вовсе представляет собой «пустой звук» ввиду отсутствия в его сознании хотя бы какой-то типологии коммуникативных действий с вовлечением данного фонетического комплекса. Заполнить это пустое место (бессмысленное само по себе «*попытки*») способен только гово-

рящий (пишущий), который производит коммуникативное действие, а также тот, кто пытается интерпретировать его, говорящего, когнитивное состояние на основе своих возможностей.

Для внутреннего размышления субъекту когниции не нужны «телесные» знаки. Предметы, явления, связи, а также цели и перспективы своего участия в ситуации он «видит» без участия знаков. Однако для воздействия на внешнего мыслимого адресата говорящему приходится прибегать к их посредству, по мере необходимости и желания совершить коммуникативное действие. При этом слова произносятся им не для того, чтобы продемонстрировать знание связанной с этим фонетическим элементом коммуникативной типологии (напр., «русского языка»), а для нового, актуального для него воздействия на мыслимое коммуникативное пространство с выделенными в нем адресатами, объектами, условиями и возможными способами такого воздействия. В отличие от бессодержательности слова, содержание коммуникативного действия (т. е. помысленная говорящим «иллокутивная сила» высказывания, или личная интенция действия) может вызвать к жизни различные знаковые формы и оцениваться самим говорящим в зависимости от того, насколько эффективной будет данная форма. Так, вместо приведенного слова «*попытки*» в составе данного действия можно представить употребление другого слова, например, «*усилия*», или совсем другой фразы, напр. «*Поиски предельных, далее не расчленимых элементов*» и т. д., или слова другого «языка», в зависимости от определяемых параметров замысленного автором коммуникативного действия. Понятно, что без авторского замысла вся конструкция коммуникативного действия, в которую входит «*попытки*», не может возникнуть и иметь какой-то собственный, не-авторский, замысел и значение.

На фоне коммуникативного смыслообразования вербальный язык, постулированный как система упорядоченных смысло-формальных единиц (слов, букв, звуков, правил, составляющих специфическую морфологию, семантику, синтаксис и пр.), оказывается *мнемотехнической схемой*, имеющей сугубо утилитарное значение для постороннего (не вовлеченного в языковой коллектив) наблюдателя и совершенно не востребованной со стороны носителя-«информанта». «Родной язык» известен говорящему как *коммуникативная типология*, которая постепенно усваивается им с детства и постоянно расширяется в направлении различных сегментов осознаваемой реальности. Непосредственный участник языкового коллектива, даже если он получил специальные филологические знания, позволяющие ему идентифицировать и отличить именительный падеж от родительного, в живой коммуника-

тивной практике никогда не пользуются этим знанием. Он не играет в игру «построй высказывания по грамматическим правилам», а делает гораздо более сложную и важную работу, осуществляя влияние на мыслимого адресата – с привлечением слов – в рамках параметрированных ситуаций. Наоборот, грамматические правила впоследствии создаются для тех, кто усвоил «по умолчанию» иную («инокультурную, иноязычную») типологию вербальных действий и по каким-то причинам желает овладеть чужой типологией. В таком случае специалистами-грамматистами предлагается описательная схема («грамматика языка»), позволяющая спроецировать собственное знание «родных» коммуникативных синтагм на инокультурные синтагмы («иностраный язык»). Без обнаружения невербальных оснований возможного тождества (например, общего «несловесного» желания китайца и русского открыть окно и пр.) установление таких проекций было бы в принципе невозможно. При этом понимание «иностранного языка» в любом случае будет пониманием конкретных коммуникативных действий конкретных говорящих, а не «общего поля» мысли и чувства, выраженных в «языке».

Отметить бессмысленность и бессодержательность «языка» тем более важно, что зачастую в рассуждениях о слове и смысле этот концепт («язык») выступает некоей формой одновременно знания, мышления и говорения, которая содержит в своих внешних границах и внутренних ячейках, тем самым упорядочивая и детерминируя различные элементы, включая «слова-значения». Необходимо иметь в виду меру условности этой мнемотехнической схемы и не рассчитывать на точность и эффективность системно-орудийно-биологической метафоры («язык») для достижения реалистичных результатов исследования вербальных данных. Так, невозможно изучать вспомогательную мнемотехническую схему и ее элементы, принимая их за свидетельства реальности или автономные «знаки реальности». Если реальность естественного вербального материала – это свободные осмысленные действия коммуникантов (а другие вербальные факты просто отсутствуют), то вне личных коммуникативных действий у элементов и всей «системы» нет и не может быть «чтойности» и самождественности.

Нужно отметить, что в конечном счете причиной появления языковой модели естественного вербального процесса является приверженность древнему платоновскому «словомыслию»: вольный или невольный (сознательный или неосознанный) последователь условного Платона уверен, что у любого значения есть предметное выражение, материализованное в звуке, морфеме, корне, слове, сочетании слов и,

наконец, в предложении. И, наоборот, у любого телесного знака («имени») есть свое значение. На этой презумпции воздвигнуты как глобальные лингвистические концепты, такие как «язык», «эволюция языковой системы», «взаимодействие языков», так и более частные опыты построения теории в специализированных сегментах языкознания, таких как этимология, семантика, морфология и пр.

Так, несмотря на то, что оперативный арсенал говорящего состоит из коммуникативных клише и ситуаций их использования, т. е. из известной говорящему коммуникативной типологии, в которой никоим образом не присутствует номенклатура привычных для грамматиста понятий и терминов («падежей», «склонений», «корней», «суффиксов», «гнезд» и пр.), тем не менее глубоко условная мнемотехническая схема «язык» зачастую узурпирует не подобающий ей статус, становится избыточно безусловным и избыточно онтологическим понятием, едва ли не «вещью». Грамматический «язык», некогда возникший как вспомогательный инструмент для обеспечения перехода с одной коммуникативной типологии на другую, более знакомую грамматисту (такой «переходник» необходим по преимуществу иностранцам), может всерьез, несмотря на свою вторичность и вспомогательность, рассматриваться в исследованиях как инструмент общения (механизм, система), воссоздаваться в конкретных грамматических и лексических формах («грамматика плюс словарь»), изучаться как источник сведений о нации, о сознании каждого из ее представителей, о внутреннем устройстве и организации социолингвистических сообществ, об интеллектуальном и эмоциональном профиле носителей и пр.

Эта и подобные aberrации в конечном счете являются следствием неправомерной онтологизации единиц, признания знаков реально существующими смысло-формальными атомами, автономными носителями значений («знаний»). Только из таких стабильных и твердых «блоков» можно составить априорно введенный инструмент-механизм или предъявить его функциональные части.

В то же время очевидная утилитарность выделения знаков, признание их неспособности производить автономное смыслообразование, их несамостоятельность вне конкретного коммуникативного действия служат хорошим поводом вспомнить об условности исследовательских моделей и концептов, создаваемых для удобного ситуативного «схватывания» моделируемой реальности в выделенных сегментах. Так, несмотря на мнемотехническую и лингводидактическую пользу «языка» как систематизированного набора знаков (т. е. несмотря на локальное торжество атомизирующего подхода), «языку» невозможно

отказать в полной бессмысленности и онтологической непригодности, ввиду того, что его принципиальная всеобщность означает столь же принципиальное отсутствие личностного начала, т. е. отсутствие автора коммуникативного действия, который является единственным и незаменимым источником смыслообразования в вербальном материале.

### Национальное и прочее знание. Вместо выводов

Язык как лингвистический объект и как традиционное именование единого инструмента общения нередко мыслится *фактором создания* (возникновения) *идентичности* в широком спектре научной гуманитарной и обыденной аргументации (языкознание, история, культурология, философия, социология, СМИ, художественная литература, обыденное общение и пр.). «Говорить на каком-то языке» часто означает (или понимается по умолчанию как) «мыслить специфически», «иметь особые практики», «принадлежать к уникальной культуре». Если предположить, что в хайдеггеровской метафоре «Язык есть дом Бытия» [Хайдеггер 1993: 192] позицию подлежащего занимает конкретный язык (а сделать это весьма просто и даже необходимо в контексте рассуждений самого автора метафоры), то «образы Бытия» будут идентифицироваться и подсчитываться по числу языков, соответствовать количеству существующих «домов». Говорящие на этих языках (они же «обитатели домов Бытия») помещаются, таким образом, в более или менее замкнутые резервации, очерченные их языковыми навыками.

Между тем современное состояние лингвистического знания, о котором было сказано, дает шанс на менее масштабный языковой сепаратизм. По крайней мере, фактор «языка» уже не выглядит столь безапелляционным и неотвратимым в деле форматирования сознания его носителей, воздвижения границ между лингвокультурными сообществами, создания анклавов «единомышленников», говорящих на одном «языке», по образцу пресловутого «русского мира».

*Де факто* языки никогда не воздвигали непреодолимых преград между искренне желающими вступить в коммуникацию, но теоретически, своего рода *де юре*, им полагалось быть резервуарами «духа народа», «сокровищницами» знания и культуры этноса, выражением идеальной картины мира нации («языковая картина мира») и вообще «особняками бытия» для живущих в них (говорящих на них). На этих высокопатриотичных, однако по сути архаичных и пещерных идеях паразитирует – открыто или подспудно – гомогенная им националистическая

риторика, черпающая нерушимое доказательство единства нации в очевидном факте единого национального «языка» – дома, резервуара, сокровищницы, души, идеальной матрицы национального сознания. Миф о роли языка в формировании идентичности, как и любой пред-рассудок, следует скорее преодолевать и развенчивать, чем полагать в основание методологических схем, в т. ч. академически ориентированных описаний, достигая тем самым пущей авторитетности самого мифа и пущей шаткости конструкции гуманитарного знания.

Как более специализированные (лингвистические и лингвофило-софские) рассуждения, так и менее тяжеловесные жанровые зарисовки (см. выше) позволяют показать, что понятие «язык» не эффективно для моделирования процесса естественного говорения (письма) и не может играть прежней доминирующей роли в формировании идентичности, понимаемой как осознанное и признанное неким сообществом единство.

Как было отмечено, рамочной идеей, способной охватить тенденции переосмысления «языка» в описательных схемах, выступает *коммуникация* и личное *коммуникативное действие*. Для вербальных фактов, составляющих естественное говорение/письмо, эти понятия задают единственно возможную систему, в которой вербальный материал может быть корректно интерпретирован и описан.

Вследствие тотальной вовлеченности в коммуникативные ситуации, естественный вербальный материал всегда и непременно существует в связном, дискурсивном, состоянии. Элементы, выделяемые на различных уровнях анализа вербальной материи, имеют значение только как часть личного действия говорящего, который оказывает возможное, с его точки зрения, влияние на осмысленную ситуацию коммуникации. Иных источников смыслообразования, кроме сознания действующего коммуниканта, в материи слов не присутствует. В пространстве *мыслимой ситуации коммуникативного действия* говорящий (и затем следующий за ним интерпретант) выделяет объекты (дотоле не существовавшие *здесь и сейчас*, не выделенные из гомогенной панорамы, прежде не оформленные в «объект» и не развернутые в направлении данного коммуникативного действия), назначает связи, фиксирует внимание адресатов, подбирает вербальные клише, соизмеряя их с типологическими условиями их использования и возможными особенностями восприятия их адресатом и пр. Конкретная коммуникативная синтагма, параметрированная говорящим, а затем интерпретатором, становится той единственной системой координат, в которой приобретают значение формальные элементы вербального процесса.

В свою очередь, чтобы воссоздать значение изолированного элемента (способность слова «обозначать что-то» без «соединения или разъединения», согласно Аристотелю [Аристотель 1978: 93]), необходимо воссоздать некоторую известную интерпретатору коммуникативную синтагму, в которой возможно употребление данного элемента (фонетического/графического комплекса). Порождаются и понимаются, таким образом, не слова, а многофакторные *коммуникативные действия*.

Коммуникативный подход к вербальным фактам ведет к признанию теоретической неэффективности понятия «язык» для многих (зачастую принципиальных) эпизодов. Поскольку смыслообразование является единственной причиной говорения/письма, то именно его невозможно добиться от лингвистического материала, лишённого субъекта, т. е. безличного, не вовлеченного в конкретную коммуникативную синтагму «слова». Выбирая между формой и содержанием, теоретик, так или иначе, вынужден исходить из критерия коммуникативного смыслопорождения.

Место формального «языка» в дискурсивной модели вербального процесса занимает *коммуникативная типология*, известная участнику коммуникации из опытов реализации коммуникативных действий в аутентичном (родном) сообществе. Она же является источником для создаваемой (если это зачем-то необходимо) грамматической матрицы. В этом смысле говорящему «на родном языке» известен не «язык», а *типология коммуникативных синтагм, или ситуаций* (охватить которую *неаутентичному* участнику лингвокультурного сообщества помогает грамматика, представляющая собой неточный, но в ряде случаев удобный инструмент мнемотехники; напротив, *аутентичному* участнику известны способы коммуникативного действия в сегментах лингвокультурного пространства, в т. ч. соответствующие вербальные модели реализации коммуникативных ситуаций, или клише, на основании которых потом и создается грамматическое – не нужное носителю языка – мнемотехническое описание).

В свою очередь, «письменный язык» (или «письмо») представляет собой один из модусов коммуникации, который опирается, безусловно, на фонетическую составляющую коммуникативного действия, производимого с использованием вербального канала. Письмо (и в целом графический способ представления данных) обладает множеством дополнительных возможностей коммуникативного воздействия и, наоборот, по необходимости лишается некоторых факторов, релевантных для не опосредованной графикой вербальной коммуникации. Орфография любого «языка», понимаемая в широком смысле, служит по пре-

имуществу для моделирования вербальной составляющей коммуникативного действия. Для пушей полноты эффекта могут вводиться схемы, иллюстрации, рисунки, «смайлики», цветовые пятна, выделения, варьирование расположения текстовых блоков на носителе и пр.

Вместе с тем графическая передача вербальной составляющей коммуникативного действия глубоко условна по своей сути. Написание *Барысава* (белорус.), *Борисово* (рус.) или *Borisovo* (интернац.) имеет исключительно инструментальное значение для воссоздания фонетического облика вербального клише, представляет собой как бы сделанный по условным правилам намек на фонетический облик, который «хранится» в сознании участника (ср. использование сокращений или знаков пунктуации).

В вопросах идентичности лингвокультурного коллектива переосмысление (или даже упразднение в прежнем статусе) понятия «язык», признание его мнемотехнической, утилитарной, но не имеющей онтологической ценности, ведет к девальвации языкового фактора. Если язык представляет собой набор пустых несамостоятельных форм (ввиду безличности, бессмысленности и бессодержательности) и если эту пустоту способно заполнить только индивидуальное сознание – источник смыслов, содержания, значения, эмоций, ценностей (сознание параметрирует коммуникативное пространство, определяет адресатов, создает объекты, формирует классы и виды, вводит критерии назначения множеств, строит связи, фокусирует внимание и пр.), приписывание нации (или иному лингвокультурному коллективу) некоей идентичности на основании пустых форм не корректно. «Носители русского языка» настолько различны между собой, насколько отличны, например, значения единообразного по форме я в актуальной коммуникации: ни один словарь, как ни странно, не даст подлинного значения для данного фонетического комплекса, абсолютно пустого и бессмысленного самого по себе вне актуальной коммуникативной синтагмы. В этой связи, тем, кто говорит на одном «языке», нельзя на этом основании приписывать единые идеи, базовые ценности или эмоции. Употребление одних и тех же слов не обязательно означает присутствия одних и тех же «концептов» в сознании, и наоборот, употребление различных слов не означает обязательного присутствия различных «концептов». Форматирование сознания вербальными «отпечатками» (формирование «языковой картины мира») нельзя считать объективной данностью, несмотря на объективность («телесность» и определенность) вербальных форм. Границы сообществ (в т. ч. этнических) независимы от имеющихся языковых навыков. «Сокровищницы народного духа» с тем

же основанием могут быть сочтены собранием народных заблуждений и предрассудков. Процессы понимания коммуникантов осуществляются в тождестве на основании мыслимых практик, далеких от «чистой» вербальности. Ценность самого «языка» (в т. ч. стремление к сохранению мнимо-самоценных вербальных форм) не имеет под собой достаточных (бытийственных) оснований. Истинная ценность, скорее, содержится в стремлении к позитивному взаимодействию, в котором вербальные формы сами по себе глубоко вторичны и утилитарны и в котором понимаются не слова, а целостные семиотические поступки. Интерпретация форм бескачественного «языка» помещается в перспективу межличностного взаимодействия, становится более свободной от детерминирующей систематики, более независимой от обманчивого единообразия вербальных форм. Хайдеггеровская метафора значительно корректируется и приобретает форму: «Осознанное бытие есть дом вербальной (и невербальной) коммуникации». Знать чужой язык означает владеть приближительной мнемотехнической схемой вербальных практик в различных коммуникативных сферах, в то время как знание «родных» коммуникативных клише не нуждается в мнемотехнической матрице (письмо на родном «языке» представляет собой отдельную условную практику, построенную по своим правилам). Владение мнемотехнической схемой не идентично порождению и пониманию *конкретных коммуникативных действий*, интерпретация которых нуждается в целом комплексе несловесно мыслимых параметров.

Таким образом, поставленная в начале проблема субъективности («как возможно говорение, если тождество любого знания – «всеобщего», «универсального», «личностного», «национального» и «культурно-специфического» – в индивидуальных сознаниях отсутствует?») разрешается в поле коммуникации: говорение (письмо) представляет собой не трансфер мыслей при отсутствующем твердом основании (знании), а целенаправленное воздействие в параметризованном коммуникативном пространстве, представленном сознанию в данный момент. Несамотождественность индивидуальных знаний (знания «языков» и отдельных вербальных клише, объектов, связей, момента коммуникации, позиции говорящего и адресата, когнитивных состояний и пр.) преодолевается в ходе коммуникативной процедуры, суть которой состоит в искомом воздействии: в зависимости от поставленных целей коммуникант может быть заинтересован найти «общее и единое», на основании которого в данный момент производится успешное воздействие; он может называть или всего лишь подразумевать это знание в момент совершения очередного семиотического поступка.

Коммуникативное действие представляет собой новую теоретическую оболочку для интерпретации семиотических поступков (в т. ч. имеющих вербальную составляющую). Внутри этой оболочки (дискурса) работают собственные механизмы смыслопорождения, устанавливаемые ситуативно, индивидуально и целенаправленно. Актуальное смыслообразование возникает как помысленный эффект коммуникативного действия (со стороны коммуниканта) и как усвоение когнитивного состояния (со стороны прямого и косвенного адресата). В этих условиях изменяется и статус знания в его отношении к «слову».

Для иллюстрации изменения в представлениях о знании (в его отношении к вербальному процессу), пожалуй, будет уместным сослаться на концепцию Аристотеля, который, создавая логическую грамматику («аналитику»), некогда посчитал «подлежащим» то, что является общеизвестным, не вызывающим сомнения. Для Стагирита логическая пропозиция оказалась возможной как присоединение «сказуемого» к «подлежащему», которое по умолчанию мыслилось тождественным и единым для всех (иначе, вне такой твердой основы, концепция логического высказывания утверждалась бы ни на чем) и даже своими свойствами задавало правильное или неправильное «сказуемое» [Аристотель 1978: 138]. «Подлежащее», таким образом, согласно Аристотелю, занимало в лингвистическом материале «место знания», «место тождества и единства», причем слова, сопрягаясь со вторичными сущностями (видами и классами вещей), как раз и маркировали собой «всеобщее и единое»: знание слова (которое могло исполнять роль подлежащего) теоретически означало некое тождественное знание.

Новое, неаристотелевское, понимание знания в его отношении к вербальному материалу приходит с акциональным (коммуникативным) видением вербального процесса: «подлежащее» высказывания, вопреки концепции Аристотеля, представляет собой объект, выделенный и созданный говорящим, а также знак, наложенный говорящим на мыслимый объект в интересах эффективной коммуникации. Такой комплекс не может быть всеобщим и тождественно мыслимым всеми. Он порождается сознанием в личном коммуникативном процессе, как одно из средств достижения успеха коммуникативного воздействия. Языковое аристотелевское «подлежащее» становится (оборачивается) коммуникативным «сказуемым»: оно тоже «сказывается» («предсказывается») коммуникантом, не существуя вне говорящего и вне данного акта.

В акциональной (дискурсивной) модели вербального факта область «подлежащего» («место знания») занимает, скорее, сама коммуникативная ситуация в каждый из ее моментов (дискурс). Ее, ситуацию,

участники коммуникации действительно не могут подвергнуть какому-либо сомнению, отрицать, «по умолчанию не знать». Несмотря на то, что дискурс неизбежно интерпретируется, стремление к успешности коммуникации заставляет говорящего искать в его рамках подлинное единство и тождество («знания»), общие и актуальные для участников коммуникативного взаимодействия.

### Литература

- Аристотель*. Сочинения в четырех томах. (Философское наследие, 65). М., 1976–1983. Метафизика. Т. 1, 1976.
- Аристотель*. Сочинения в четырех томах. (Философское наследие, 65). М., 1976–1983. Об истолковании. Т. 2, 1978.
- Арутюнова Н.Д.* Понятие пресуппозиции в лингвистике // Известия АН СССР. Серия литературы и языка, 1973, Т. XXXII, Вып. 1.
- Барт Р.* Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.
- Вдовиченко А.В.* Коммуникативное оправдание грамматики. К вопросу о пределах условности грамматического описания // Русский язык за рубежом, 2016, № 3.
- Вдовиченко А.В.* Расставание с «языком». Критическая ретроспектива лингвистического знания. М., 2008.
- Витгенштейн Л.* Философские работы / Пер. с нем. М.С. Козловой и Ю.А. Асеева. М., 1994. Ч. 2.
- Демьянков В.З.* Субъект», «тема», «топик» в американской лингвистике последних лет (Обзор II) // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. 1979. Т. 38. № 4.
- Демьянков В.З.* Логические аспекты семантического исследования предложения // Проблемы лингвистической семантики. М., 1981.
- Кубрякова Е.С.* Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца XX века / Под ред. Ю.С. Степанова. М., 1995.
- Матезиус В.* О так называемом актуальном членении предложения // Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
- Остин Дж.* Избранное / Перевод с англ. В.П. Руднева. М., 1999.
- Падучева Е.В.* Понятие презумпции в лингвистической семантике // Семиотика и информатика. 1977. № 8.
- Серль Дж.* Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986.

*Хайдеггер М.* Письма о гуманизме // Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М., 1993.

*Хомский Н.* Синтаксические структуры // Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1962.

*Хомский Н.* Аспекты теории синтаксиса. М., 1972.

*Baker A.* Presupposition and types of clause // *Mind*, 65, 1956.

*Bateson G.* Steps to an Ecology of Mind. N.Y., 1972.

*Derrida J.* Positions. Paris, 1972.

*Fillmore Ch.* The need for a frame semantics within linguistics // *Statistical Methods in Linguistics*. Stockholm, 1976.

*Firbas J.* On defining the theme in functional sentence analysis // *Travaux linguistiques de Prague*, v. 1, Prague, 1966.

*Lakoff G.* Presuppositions and Relative Grammaticality // *Studies in Philological Linguistics*, v. 1, № 1, 1971.

*Lakoff G.* Linguistic gestalts // Beach W.A., Fox S.E., Philosoph S. (eds.), *Papers from the Thirteenth Regional Meeting, Chicago Linguistic Society*, April 14–16, 1977. Chicago, Illinois, 1977.

*Minsky M.* A Framework for Representing Knowledge. Cambridge, Mass., 1974.

раздел 2. Понятийный аппарат  
филологических наук:  
переводимость  
и конвертируемость

## глава 2.1. Технологии трансфера междисциплинарных терминов в лингвистику

О.К. Ирисханова, М.И. Киосе

В связи с увеличением темпов интеграции, наблюдаемым в гуманитарном научном знании в настоящее время, в лингвистику все чаще внедряются термины из других дисциплин. Пересекая границы разных наук (не только гуманитарных), подобные термины, с одной стороны, расширяют свое значение и приобретают статус междисциплинарных. С другой стороны, в контексте определенной лингвистической дисциплины, а нередко и отдельной теории или концепции такие терминологические единицы могут получать специфическую трактовку.

Междисциплинарные переходы, таким образом, приводят к появлению множества вариантов понимания термина, при этом кросс-дисциплинарный инвариант либо существует на уровне общеязыкового неспециализированного значения, либо может рассматриваться как условная совокупность специальных значений термина во всех его вариантных проявлениях в разных дисциплинах. Именно благодаря подобной, пусть весьма абстрактной и размытой, инвариантной схеме становится возможным диалог разных научных дисциплин, а также использование специальной лексики в научно-популярной и массмедийной коммуникации. Иными словами, интенсивный трансфер знаний между разными науками приводит к еще большей пластичности терминологических единиц, не отменяя относительной жесткости и определенности их понятийного содержания в каждой конкретной дисциплине.

Масштаб и вектор междисциплинарных трансферов обусловлен рядом факторов. Прежде всего, это характер взаимодействия наук в определенную историческую эпоху – например, уровень развития и престижность той или иной сферы знания, признание определенной концепции широким научным сообществом, экономические, социальные и иные условия, в которых происходят научные контакты. Важны также внутридисциплинарные установки и традиции: особенности доминирующей парадигмы, приверженность образцам, личностные факторы и т. д. [Демьянков 2009]. На характер междисциплинарных переходов влияние оказывают и особенности существования терминоси-

стемы как таковой. Заимствование «иностранной» терминологической единицы в отрасль знания с более или менее устоявшимся метаязыком может привести к существенной перестройке если не всей дисциплины в целом, то, по крайней мере, соответствующего фрагмента системы специальных наименований. В этом смысле трансфер между научными дисциплинами существенно отличается от заимствований лексем неспециальных сфер деятельности: в первом случае последствия, как правило, более ощутимы в силу большей структурированности терминосистем – как доноров, так и реципиентов.

Перестроение терминологических систем и подсистем на настоящем этапе развития гуманитарных наук усиливается тем, что новые термины переходят не только из иной области деятельности, но из иного языка (чаще всего английского) и несут на себе печать чужой терминокультуры. Кроме того, современные средства обмена знаниями облегчают и ускоряют перенос идей, понятий и обозначающих их слов по принципу «единых блоков», поощряя тем самым более тесные проекции между дисциплинами и концепциями и способствуя быстрому распространению терминологической «моды».

В условиях терминологического «многоголосия» необходимо не только решать традиционную для терминоведения задачу описания метаязыка разных научных дисциплин [Новодранова 2005; Лейчик 2007], но и поставить вопрос о том, какие технологии могут использоваться в современной науке для оптимизации трансфера знаний. Под технологией в данном случае мы подразумеваем комплекс установок, способов и средств, применяемых для трансфера знаний между дисциплинами, при этом в качестве средства такого трансфера выступают специальные номинативные единицы. Мы полагаем, что подобные технологии могут быть подсказаны логикой развития наиболее динамичных направлений, теорий и концепций внутри определенной дисциплины, для которых свойственно активное заимствование терминов из смежных наук. В последние годы в лингвистике к таким направлениям относятся когнитивная семантика и дискурсология, которые принадлежат к так называемой неофункциональной лингвистике.

В данной главе мы рассмотрим некоторые технологии трансфера знаний на примере терминов, обозначающих *событие*, *фигуру* и *фон* и *инференцию*. Наш выбор связан, во-первых, с тем, что данные понятия активно используются в когнитивных и дискурсивных исследованиях – т. е. в тех областях лингвистического знания, которые находятся на стадии становления и характеризуются внутренней динамикой и открытостью терминосистем. Во-вторых, несмотря на свою относитель-

ную молодость и изначальную зависимость от других наук (в частности, от логики и перцептивной психологии), лингвистические теории события и организации информации завоевали прочные позиции в семантике и теории дискурса. В-третьих, хотя перечисленные термины являются базовыми понятиями для отдельных лингвистических направлений и концепций, они сохранили статус междисциплинарных единиц и выступают в роли посредников между дисциплинами как внутри лингвистики, так и за ее пределами, а в отдельных случаях – между научным и обыденным знанием. В-четвертых, выбранные нами группы терминов, как мы покажем далее, демонстрируют в современных лингвистических работах определенное пересечение.

Анализ употребления перечисленных выше терминов в лингвистической литературе показывает, что одной из важнейших **общих технологий трансфера знаний** в современных гуманитарных науках выступает **технология терминологической кластеризации**.

Под кластеризацией терминов мы понимаем такой трансфер научного знания, при котором на разных его этапах происходит перегруппировка специальных единиц в новые кластеры – группы взаимосвязанных терминов, находящихся в ядерно-периферийных и иерархических отношениях.

Кластеризация терминов характеризуется асимметричностью сил, направленных на реорганизацию терминосистемы, что обусловлено как управляемым и контролируемым внедрением новых терминов, так и самодвижением терминосистемы, расширяющейся за счет интеграции разных наук. При этом предпосылки для возникновения нового кластера терминов создаются уже самой терминосистемой интегрирующихся областей знания, что облегчает трансфер нового термина. Вспомним в этой связи замечание Д.С. Лихачева о том, что при «трансплантации» лексических единиц из одной сферы знания или деятельности в другую, они получают «новый цикл развития» [Лихачев 1987: 43], но их появление уже запланировано в новой терминосистеме, так как «абсолютно новое “не узнается”» [Там же: 173].

Кластеризация терминов реализуется в **трех частных технологиях – моноцентрической, полицентрической и смешанной**. Моноцентрическая кластеризация означает переход какого-либо термина из одной области знаний (дисциплины) в другую область знания, в которой он, используя в разных концепциях, сохраняет ядерную позицию и начинает обрастать новым кластером (кластерами). Полицентрическая кластеризация предполагает кросс-дисциплинарный переход кластера ядерных терминов, при этом в новом контексте кластер сохра-

няет целостность и прежнюю структуру, хотя и подвергается определенным трансформациям. Смешанная технология, в зависимости от этапов и направления трансфера, задействует как моно-, так и полицентрическую технологии, при этом и центр, и периферия кластера могут подвергаться переосмыслению и перегруппировке.

Рассмотрим **моноцентрическую кластеризацию** на примере термина событие, которое было заимствовано в лингвистику, точнее в логический анализ языка, из философии и в самом общем плане рассматривается широко как любое изменение, обладающее пространственно-временными характеристиками. Данное понятие использовалось с античных времен, однако находилось на периферии философского метаязыка до начала XX века, когда Б. Рассел и А.Н. Уайтхед фактически поставили событие на одну ступень с такими важнейшими метафизическими категориями, как время, пространство, причинность, движение. В целом в философии, предложившей разные трактовки события, данное явление рассматривается онтологически – как целостный фрагмент мира, и эпистемологически – как акт познания [Mayo 1954; Allen 1966; Davidson 1969; Kim 1976; Dik 1978; Делез 1995, Мамардашвили 1993]. Задача философов состоит в том, чтобы не только определить статус события, но и отграничить его от других понятий – объекта, факта, свойства/признака, отрезка времени и др. (см. обзор по данной проблематике, например, в [Casati, Varzi 1997]). Особое внимание уделяется общей логической структуре события и таким его компонентам, как участники, изменение, познающий субъект, каузация, темпоральные и пространственные признаки, начальные и конечные точки. Различия в характере протекания изменения позволяют выделить разные классы событий, причем наиболее известной событийной типологией становится классификация З. Вендлера, который делит события на мгновенные локализованные – *achievements* (*reach the summit*), протяженные локализованные – *accomplishments* (*drawing a circle*), мгновенные нелокализованные – *states* (*love somebody*), протяженные нелокализованные – *activities* (*running*) [Vendler 1967].

Заметим, что уже в рамках философской теории события исследователи обращают внимание на некоторые лингвистические аспекты событийности. З. Вендлер, в частности, определяет событие как семантическую сущность и выстраивает свою классификацию событий на основе типов глаголов и глагольных конструкций (см. также в [Bach 1986]). Таким образом, в философских исследованиях вокруг термина *событие* группируется целый ряд разнородных терминов, связанных с ним отношениями равноправия (соположенности) (*факт, объект, время, про-*

странство) или подчинения (изменение, актанты, пространственно-временная локализация как компоненты события). Лингвистические характеристики, такие как семантика глаголов, перфектность глагольных форм и пр. располагаются на периферии философского кластера.

Данный кластер с определенными модификациями переходит в логико-философский анализ языка: в отечественной лингвистике образцом такого трансфера становится известная работа Н.Д. Арутюновой «Типы языковых значений: оценка, событие, факт» [Арутюнова 1988], в которой разграничение соответствующих терминов проводится с позиций логического анализа языка.

Что происходит с термином *событие*, когда он начинает все активнее использоваться в других лингвистических направлениях? За пределами логико-философской концепции языка трактовка событийности в лингвистике существенно меняется. При неизменности инвариантных определений данного феномена (как любого изменения или как изменения, обретающего в социуме статус значимого) в термине *событие* начинает преобладать либо коммуникативно-прагматическая, либо семантическая составляющая. В первом случае *событие* соотносится с цепочкой коммуникативных актов, объединенных контекстом общения, или с общим строением текста и дискурса. Во втором случае событие рассматривается с точки зрения семантической структуры событийных имен и синтаксических конструкций. В каждом из этих подходов *событие* остается ядерным понятием, вокруг которого формируется новый кластер (кластеры).

Коммуникативный ракурс связывает с событийностью компоненты и условия успешности совершения тех или иных речевых действий, а также наличие у говорящих общих знаний о том, как совершаются те или иные коммуникативные события (*контекстуальных моделей*, по Т. ван Дейку). Вслед за Р. Якобсоном, Д. Хаймсом, Дж. Серлем и др. современные исследователи выделяют такие характеристики события, как *локализация (пространственно-временной контекст)*, *коммуниканты (адресант и адресат)*, *роли, норма, жанр, намерения, желание и способность участвовать в коммуникативном событии, социальные знания* и пр. Различные варианты подобной кластеризации можно встретить в когнитивно-прагматических работах Т. ван Дейка, М. Гейса, С. Левинсона, А. Ланглотца и др. Заметим, что, несмотря на то, что *коммуникативное (речевое) событие* не всегда становится центральным понятием в прагматических исследованиях, этот термин играет роль связующего звена при анализе различных форматов и свойств коммуникативного поведения человека [Geis 1995; van Dijk 2008; Langlotz 2015].

В отличие от прагматических работ, в которых событие нередко приравнивается к понятию коммуникативного (речевого) акта, уступая ему центральное место, событийность в теориях интерпретации текста и дискурса занимает ведущую позицию. Событие понимается здесь не столько в коммуникативном, сколько в онтологическом ключе. События – это те происшествия, которые репрезентированы в тексте (дискурсе) и которые определяют его структуру и характер интерпретации (ср. с пониманием сюжета как цепочки событий в нарратологии художественного текста). Как отмечает В.З. Демьянков, «событие создается предложением или текстом, а точнее – их интерпретацией», однако это не означает, что события вне речи и вне мышления не могут существовать [Демьянков 1983: 321]. Подчеркивая значимость события для интерпретации текста, исследователь указывает на его комплексный характер. В событии сопряжены три его стороны – *событие как идея, референтное событие и текстовое событие*. Вокруг события в тексте выстраивается кластер терминов, обозначающих координаты интерпретации: *подтвержденность/неподтвержденность ожиданий* относительно изложения события, *место события* в дискурсе, *точка зрения* [Там же: 321–322]. Другой ряд терминов, выстраиваемый в работе, отчасти соотносится с характеристиками события, предложенными в логико-философском подходе. Этот кластер содержит параметры (признаки), по которым осуществляется интерпретация события: *статичность – динамичность, контролируемость – неконтролируемость, целостность – пофазовость, моментальность – длительность – повторительность, достигнутость – недостигнутость цели* и др. [Там же: 323–328].

Событийные свойства также могут рассматриваться как структурные характеристики текста в целом, причем в этом случае исследователи обращают внимание на комплексный характер события. Так, В.Я. Шабес [Шабес 1989], понимая под событием некую последовательность изменений, произведенных деятелем в пространстве и во времени, рассматривает его текстуальную репрезентацию как единство *Пресобытия, Эндособытия и Постсобытия*. Эндособытие (собственно событие) включает упорядоченные во времени компоненты – *Потенциал, Реализацию и Результат*, которые представляют собой стадии развертывания текста.

Таким образом, в текстоцентрических концепциях *событие* образует ядро терминологического кластера, вокруг которого группируются термины, указывающие на стороны/аспекты самого события или на координаты его интерпретации в тексте (отношения соположенности), а также на признаки или этапы реализации события (отношения иерархии, подчинения).

В лексикалистских и синтаксических концепциях кластеризация события происходит иным образом. Внимание здесь уделяется семантике событийных лексем и конструкций, которая моделируется в виде аргументной сетки или в виде набора тематических ролей [Comrie 1976; Bresnan 1982; Bresnan, Kaplan 1982; Hoekstra 1986; Bierwisch 1989; Grimshaw 1990; Koptjevskaja-Tamm 1993; Givon 2001]. Соответственно, подчиненной термину событие оказывается группа специальных лексем, обозначающих такие синтактико-семантические функции, как *агенса*, *пациенса*, *экспериментер*, *бенефициант*, *инструмент*, *причина*, *цель*, *траектория* и пр. Как видим, аргументно-функциональные теории оказываются тесно связанными с логико-философскими представлениями о внутренней организации события как пространственно-временного изменения, однако в данном случае событийный кластер образуется из лингвистических терминов. В некоторых исследованиях в событийную терминологическую группу включаются традиционно грамматические категории *времени*, *вида* (*аспекта*) и *модальности* [Tenny, Pustejovsky 1991; Rothstein 2004; Croft 2012].

В когнитивной лингвистике ролевые характеристики события описываются на основе динамико-силовых структур (*force-dynamic structures*) – моделей взаимодействия объектов на физическом и абстрактном уровнях [Talmy 2000; Croft 1991]. У Л. Тэлми, в частности, ведущими тематическими ролями становятся *антагонист* и *агонист*, указывающие на исполнителя силового воздействия и его объект. Интересно, что в исследованиях Л. Тэлми событийный кластер начинает встраиваться в более широкий типологический кластер. На основе динамико-силовых контуров события движения исследователь проводит не только типологию глагольных корней, но и языков, разделив последнее на *глагольные* и *сателлитные языки*. Для первого типа характерна способность выражать траекторию перемещения в глагольном корне, в то время как в языках второго типа направление движения выражается сателлитами (наречиями, предлогами, приставками и пр.) (*El perro destruyó el zapato mordiéndolo en 30 minutos* (исп.) vs. *The dog chewed up the shoe in 30 minutes* (англ.)) [Talmy 2000: 243–247].

Таким образом, частная технология моноцентрической кластеризации реализуется тогда, когда термин, следуя в целом инвариантной междисциплинарной трактовке, начинает адаптироваться к контексту иной области знаний (направления, концепции) и выстраивать новый кластер, подчиняя себе ряд терминов, а также вступая в отношения соположения с другими терминами области-реципиента.

Технология **полицентрической кластеризации** наблюдается в терминологической паре *фигура-фон*. Данным понятиям, зародившим-

ся в гештальтпсихологии и заимствованным в когнитивную семантику и когнитивную нарратологию, в последние годы было посвящено немало обзоров (см., в частности, [Bechtel et al. 1998; Рахилина 2000; Ирисханова 2014]), поэтому остановимся лишь на тех моментах, которые имеют отношение к интересующей нас технологии трансфера знаний. Понятия фигуры и фона в психологии связаны прежде всего с перцептивным распределением внимания, с выделенностью (*salience*) одних объектов на фоне других [Вертгеймер 1987; Дункер 1965; Koffka 1935; Kohler 1947]. Фигура – объект, выделяемый сознанием из окружения, в отличие от диффузного фона, обладает большей значимостью, замкнутостью, отчетливостью границ, относительной простотой формы. В лингвистике *фигура* и *фон* начинают употребляться благодаря работам Дж. Лакоффа и Л. Тэлми, которые расширили перцептивную трактовку этих понятий за счет концептуальной и языковой составляющих [Лакофф 1981; Talmy 1978]. Как отмечает Дж. Лакофф, «гештальты – это структуры, используемые в процессах – языковых, мыслительных, перцептуальных, моторных или других» [Лакофф 1981: 360]. Анализируя языковые выражения разного формата (от лексем и синтаксических конструкций до текстов), когнитологи показывают, что роль языковых структур состоит в обозначении и наделении описываемых объектов статусом фигуры или фона [Givon 1980; Dirven 1989; Talmy 2001; Langacker 2000].

Переход перцептивно-психологических терминов в область лингвистики привел к определенным трансформациям рассматриваемой нами дихотомической пары. С одной стороны, оппозитивные отношения сохраняются, о чем свидетельствуют не только активно используемые лингвистами ядерные термины *фигура* и *фон*, но и подчиненные им антонимические понятия, характеризующие свойства выделенных и невыделенных объектов (*четкость – диффузность, симметрия – асимметрия, замкнутость – открытость, динамичность – статичность* и пр.). С другой стороны, *фигура* и *фон* начинают применяться к широкому диапазону языковых явлений: именам деятеля, сложным словам, аспектуально-временным формам глагола, конструкциям в активном и пассивном залоге, дискурсивным выражениям, сложноподчиненным предложениям, а также к компонентам сложного события (*событие-фигура* и *событие-фон*).

Благодаря лингвистическим методологическим установкам и многообразию языкового материала, терминологическая оппозиция «фигура – фон» определенным образом трансформируется. Во-первых, она конкретизируется в новых противопоставлениях, образуя кластер из равно-

ценных, хотя и не идентичных друг другу пар, в которых воспроизводится корреляция «фокусность-нефокусность»: *профиль – база, траектор – ориентир, непосредственный диапазон – максимальный диапазон, база и домен, фокус – presupпозиция* (о различиях между ними см. в [Ирисханова 2014]). Заметим, что последняя пара терминов из перечисленного нами ряда сближает кластер *фигура-фон* с группой прагматических терминов, связанных с инференциальным знанием и с противопоставлением имплицитной и эксплицитной информации. Кластеру *инференция* будет посвящена последняя часть нашей главы.

Во-вторых, жесткая бинарность оппозиции фигуры и фона смягчается *континуумом выделенности*, т. е. постепенностью перехода от фокусных элементов к нефокусным. В результате происходит развитие кластера за счет включения в него понятий, указывающих на градуальный характер выделенности объектов в языке, а именно понятий *первичного и вторичного ориентира, ближайшего и дальнейшего концептуального фона, базы и домена, заднего плана*. Наиболее разработанными в когнитологии являются синтаксические и текстовые критерии выделенности, которые представлены в виде так называемых *шкал саллиентности*, суммирующих параметры одушевленности, каузации, контролируемости, одномоментности, уникальности действия/события, зависимости одного события от другого и пр. [Hopper, Thompson 1980; Chvany 1985; Warwik 2004; Talmy 2007].

В каждом языке имеется набор средств для увеличения или уменьшения степени выдвижения объектов. Особое внимание уделяется факторам, обуславливающим выделенность самих языковых единиц и выражений. К таким факторам Л. Тэлми относит, в частности, *факторы синтаксической позиции, последовательности презентации событий, многозначности языковой формы, прототипичности референта, идиоматичности* и некоторые другие факторы [Talmy 2007].

Итак, на примере терминов *фигура* и *фон*, обозначающих выделенность или невыделенность объектов при восприятии или концептуализации некоторого положения дел, мы рассмотрели частную технологию полицентрической кластеризации. При реализации данной технологии трансфер знаний осуществляется в результате перехода кластера с несколькими ядерными терминами из одной области знаний в другую. В случае с дихотомией *фигура-фон* в лингвистических исследованиях не только сохраняется центральный статус этих терминов, но происходит воспроизводство данных отношений в нескольких терминологических парах, указывающих на процессы распределения внимания в языке. Полицентрическая конфигурация кластера в целом остается

неизменной, однако оппозиция фигуры и фона становится менее жесткой, что приводит к расширению кластера за счет включения новых иерархий терминов (например, факторов выделенности языковых единиц), многие из которых остаются на периферии терминологической группы *фигура-фон*.

В тех случаях, когда термин характеризуется диффузностью еще до перехода в иную научную область или когда на этапе перехода происходит его «столкновение» с другими терминами, возможен более сложный характер технологии кластеризации, проявляющийся в сочетании полицентрического и моноцентрического способов. В качестве иллюстрации такой технологии, которую мы обозначили выше как технологию **смешанной кластеризации**, обратимся к терминологическому кластеру *инференция*.

В современной науке данный кластер является базовым для направлений, связанных с интерпретационной когнитологией, но его структура складывается задолго до обособления когнитивной лингвистики. На первый взгляд, кластер, формирующийся в результате трансфера в когнитивную лингвистику из сферы логической семантики таких терминов, как *пресуппозиция*, *импликация* и *инференция*, представляется полицентрическим. Однако в современной когнитивной лингвистике он выстраивается вокруг центрального термина *инференция*, который одновременно обозначает и процесс, и результат данного процесса, т. е. путь конструирования выводного знания и само выводное знание. В то же время термины *пресуппозиция* и *импликация* служат более узким целям. Можно предположить, что на разных этапах вхождения и закрепления термина *инференция* в когнитивной лингвистике происходила трансформация структуры кластера, в результате которой он из полицентрического превратился в моноцентрический. Последовательно рассмотрим этапы смешанной кластеризации, а именно этап полицентрического образования кластера *инференция*, этап смены технологий кластеризации и этап усиления моноцентрической кластеризации.

Заимствование термина *инференция* из математической логики в лингвистику было обусловлено повышенным интересом во второй половине XX века к структуре и функционированию семиотических систем, из которых языковая система наглядно демонстрировала единство формы и содержания с учетом динамики дуалистической природы языкового знака. Термин заимствуется в лингвистику в составе ряда таких терминов, как *импликация*, *силлогизм* и др., находящихся в отношениях соположенности в терминологическом ряду *выводное знание*. Полицентрический кластер формируется в эпоху становления в начале XX века

исторически первого направления неклассической логики, получившей название модальной. В классической логике центральным термином ряда являлся термин *силлогизм* (у Аристотеля – это заключение из импликаций, у стоиков – это вывод или дедуктивное умозаключение, в котором из двух посылок получается выводное знание). В логике Ч.С. Пирса такую роль взял на себя термин *импликация/экспликация*.

В модальной логике в ядро кластера выводится новый термин *инференция*. Для модальной логики характерен отказ от ряда терминов, занимающих подчиненное положение по отношению к ядру кластера, к которым относятся *истинность/ложность* и *правильность/неправильность*, что связано с поворотом к опытному, выводному знанию как результату взаимодействия человека со средой [Maturana, Varela 1980]. Здесь вопрос об истинности/ложности и правильности/неправильности выводимого знания уступает место вопросу о соответствии этого выводного знания «параметрам культуры», как называет такие проявления В.З. Демьянков [Демьянков 2013: 34] вслед за Ю.С. Степановым [Степанов 1979]. Однако первоначально термин *инференция* либо используется нетерминологически, либо заменяется синонимами, что свидетельствует о подвижности ядра кластера. Так, в формальной грамматике Р. Монтэгу термин *инференция* не используется, но, говоря о выводном знании, исследователь оперирует понятиями *referential/non-referential reading* и *entailment* [Montague 1973], которые сближаются по значению с рассматриваемым термином. Однако уже в объемной вступительной статье к собранию сочинений Р. Монтэгу в издании 1974 года Р. Томасон использует данный термин при трактовании примеров Р. Монтэгу. При этом автор рассматривает два вида инференции как выводного знания: «логическую и освобожденную от реальных категорий истинности» [Thomason 1974: 52]. Например, высказывание *Kim is pregnant* в качестве инференции может иметь высказывание *Therefore, Kim is not a man*, что исследователь объясняет не «логической, а биологической валидностью (validity)» [Там же: 53]. Высказывания, не обладающие логической валидностью, могут в то же время являться инференциальными. В примере Р. Монтэгу *Every rodent is an animal and some rodents hibernate; therefore some animals hibernate* вывод не представляется логичным, но рассматривается как инференциальный [Там же: 53].

С появлением в лингвистике теорий интерпретации полицентричный кластер *инференция – импликация – силлогизм* начинает формировать новую периферию из числа терминов, характеризующих операции над выводным знанием. К их числу можно отнести термины *модель* и *схема*. Хотя, на первый взгляд, эти термины связаны с инферен-

цией опосредованно, кратко рассмотрим их, так как с развитием неофункциональных когнитивных концепций они начинают играть в интересующем нас кластере все бóльшую роль.

Термин *модель* [Montague 1973; Partee 1975] появился в структуре кластера *возможные миры* (possible worlds) для описания конструкторов, которые позволяют полностью формализовать теоретические положения. Термин *схема* возникает не в модальной логике, а в бихевиористической психологии [Bartlett 1932]. В отличие от модели, для которой главной характеристикой является динамика и динамические отношения ее компонентов, для схемы на первый план выступают сами компоненты. В психологии термин активно использовался Ж. Пиаже, для которого, как известно, была характерна переоценка логической составляющей процесса мышления при выявлении «различных решений, предлагаемых для определения отношений между сознанием и сопровождающими его нервными механизмами» [Пиаже 1966: 186], что, однако, и способствовало впоследствии зарождению теорий схематизации.

Именно в связи с расширением периферии кластера *инференция – импликация – силлогизм* происходит его реорганизация, связанная с усилением одного из компонентов ядра – термина *инференция*. Как результат, от полицентрического образования «отпочковывается» новый моноцентрический кластер *инференция*. Основы инференциального подхода в когнитологии, как отличающегося от формальных и логических подходов к инференции, заложены У. Селларсом [Sellars 1953]. Хотя в его работе речь идет о синтаксических и семантических правилах инференции, однако, как отмечается, «концептуальное значение не ограничивается использованием этих правил. <...> Правило всегда является правилом только в определенных обстоятельствах. <...> Следование правилу предполагает знание обстоятельств применения данного правила. Например, для того чтобы среагировать наименованием красного на красный объект, необходимо иметь концепт “красное”, выступающий в качестве символа для обозначения красного»<sup>1</sup> [Там же: 23]. Лексема *инференция* употребляется в работе как термин

<sup>1</sup> Точная цитата: A rule is always a rule for doing something in some circumstances. Obeying a rule entails recognizing that a circumstance is one to which the rule applies. If there were such a thing as “semantic rule” by the adoption of which a descriptive term acquires meaning, it would presumably be of the form “red objects are to be responded to by the noise “red”. But to recognize the circumstances to which this rule applies, one would already have to have the concept of red, that is a symbol of which it can correctly be said that it “means red”.

нологически, например, *genuine inference*, *logical inference*, *causal inference*, *material principle of inference*, так и нетерминологически, например, *to simulate inference*.

Ч. Филлмор, однако, вновь усиливает компонент логического вывода в содержании лексемы *инференция*, которая используется им исключительно терминологически. В работе «Некоторые идеи о границах и содержании лингвистики» [Fillmore 1984] под *инференциями* понимаются логические пресуппозиции (термин *инференция* используется в работе в противопоставлении термину *entailment*). В качестве примеров Ч. Филлмор приводит следующие высказывания: *Lucille made John read the letter. In fact, he didn't read the letter* и *John regretted reading the letter. In fact, he didn't read the letter*, где отношения противоречия (*contradiction*) первого и второго предложений в парах предложений в первом случае строятся на основе отрицания выводного знания (для которого Ч. Филлмор использует термин *entailment*), во второй же паре предложений – это отрицание пресуппозиции, выраженной первым предложением в паре [Там же: 95]. Таким образом, выводное знание и пресуппозициональное знание разграничиваются, при этом *инференциальным* называется именно пресуппозициональное знание. Но то, что выглядит как шаг назад к формальной логике, в действительности провоцирует скачок в развитии когнитивного знания, так как кластер интегрирует и термин *пресуппозиция* в качестве периферийного под воздействием трансформирующихся теорий выводного знания также начинает приобретать новые смыслы. На смену логическим пресуппозициям приходят текстовые и прагматические (но это уже выходит за рамки предмета анализа данной работы).

С развитием компьютерной лингвистики терминологический статус лексемы *инференция* повышается. Так, У. Кинтч использует производную лексему-термин *inferencer* для обозначения компонента компьютерной программы распознавания текста, в которой он «выполняет функцию связывания пропозиций в тех случаях, когда эти связки отсутствуют в заданной базе пропозиций» [Kintch 1984: 118].

При этом в логической семантике кластер продолжает оставаться полицентричным, хотя в определенной степени распад его ядра наблюдается и в данной области лингвистического знания. Так, Дж. Байби употребляет термин *инференция* как для обозначения возможного выводного знания (например, в высказывании “*the inferences that can be made from the meaning of a particular modal*” [Bybee 1994: 196]), так и для знания, которое может формировать семантику высказывания (например, в выражении “*the inference becomes part of the meaning*” [Там же:

198]). Под инференцией в работе также понимается семантический механизм, результатом которого становится конвенционализация имплицатуры (“*mechanism that propels semantic change <...> is inference or the conventionalization of implicature*”) [Там же: 25]. Источником для такого понимания термина, очевидно, становится работа Л. Фальтца «Роль инференции в изменении значения» [Faltz 1989], в которой исследователь рассматривает инференцию как способную формировать устойчивые импликации. В то же время в работе Дж. Байби используется глагол *to infer* в своем основном нетерминологическом значении (например, “*The hearer is entitled to infer a sense of epistemic possibility*” [Bybee 1994: 198]); также используется и глагол *to imply* в значении «подразумевается» как в тех случаях, когда речь идет о «собственной» семантике высказываний (например, “*in a context in which epistemic possibility is also implied*” [Там же: 198]), так и в случаях интерпретации (например, “*The epistemic reading implies that he does not play tennis every day*” [Там же: 201]).

Поворотными в решении вопроса о самостоятельности моноцентричного кластера *импликация* становятся положения когнитивной прагматики. В грайсовской прагматике термин используется достаточно широко в сочетании *прагматическая инференция*, под которой понимается только осознанное, требующее когнитивных усилий извлечение содержания, в то время как в неопрагматических концепциях (например, в теории релевантности) инференция может быть и спонтанной или «интуитивной» [Recanati 2004: 15].

Становление неопрагматики вначале стимулирует умножение терминов, входящих в ядро рассматриваемого кластера. Это связано с тем, что термин *прагматическая инференция* сужает сферу своего применения до исключительно прагматических проявлений выводного знания. Для заполнения образовавшейся лакуны появляются термины, называющие иные модели и типы выводного знания: *интрузивные имплицатуры* (*intrusive implicatures*) [Levinson 2000], *эксплицитуры* (*explicitures*) [Bach 1994], *экспликации* (*explicatures*) [Carston 1988], *вложенные имплицатуры* (*embedded implicatures*) [Recanati 2003] (см. обзор в [Irmer 2011]). Анализ работ в области прагматики [Brown, Levinson 1978; Clark 1977; Levinson 1998; Wilson 1975; Steen 2007; Wilson, Sperber 2012] показывает, что термин *инференция* связывается в большей степени с самим типом выводного знания, но не с моделями его выведения (об этом свидетельствует, например, разграничение трех типов инференций, Q-, I- и M-inferences как результата проявления разных типов имплицатур, Q-, I- и M-implicatures в работах С. Левинсона).

Впоследствии с усилением когнитивных концепций, в которых данный термин используется и для моделей выводного знания, его роль в неопрагматических теориях возрастает (см. [Panther, Thornburg 2003]), что приводит к появлению самостоятельного моноцентричного кластера *инференция*. Этот переход находит отражение, например, в отношении к метафоре. Так, когнитивная метафора не связывается классическими прагматиками с инференциальным знанием, так как метафора спонтанна; в большей степени они склонны рассматривать ее в рамках т.н. Default semantics (см., например, [Jaszczolt 2002]). В то же время неопрагматики и когнитологи, рассматривая когнитивную метафору как базовый когнитивный механизм, трактуют ее через конструирование инференций.

Таким образом, на этом этапе в лингвистике наблюдается распад существующего кластера, что обусловливается поступательным обособлением логической семантики/прагматики и когнитивной семантики/прагматики. Структура нового кластера имеет тенденцию к моноцентричности, но еще не является таковой в силу отсутствия четкой периферии. Можно предположить, что обособление кластеров *импликация* и *инференция* в логической и когнитивной семантике является результатом расхождения постулатов классической прагматики и неопрагматики, но в то же время отражает и сложную ситуацию разграничения семантики и прагматики, где причисление себя к семантикам влечет за собой использование термина *инференция*, а к прагматикам – *импликация* (подробнее см. [Bach 2002]). Однако отметим, что термин *прагматическая инференция* в современных прагматических концепциях часто используется в качестве «зонтичного» термина, объединяющего различные прагматические проявления выводного знания. Это объясняется как его более общим надпрагматическим характером, так и возможностью нетерминологического использования, например, в работах М. Ирмер [Irmer 2011]: “one would pragmatically infer the implicature” [Там же: 23] или “the discussion of pragmatic inferences is drawn onto the discourse level” [Там же: 43].

Далее происходит усиление моноцентричности кластера *инференция*. Этому способствует ряд факторов. Во-первых, формируется устойчивая иерархия членов кластера, находящихся в отношении подчинения, а именно терминов, называющих модели его организации и методы анализа, а также его периферии. Во-вторых, возрастает частотность его нетерминологического употребления. Подробнее рассмотрим перечисленные особенности.

В кластере *инференция* появляется большое количество терминов, называющих способы выведения знания, среди которых *зонирование*,

*репрезентация, схематизация, кластеризация, аппроксимация*, а также сами модели знания, такие как *схема (образ-схема), когнитивная модель, образ* и др. Многие из названных терминов существовали в рамках других научных направлений, но на этом этапе происходит их кластеризация уже в структуре когнитивной лингвистики, где их роль ограничивается (или, наоборот, расширяется) потребностями когнитивного анализа. Так, термин *схема*, который, как мы показали выше, использовался на этапе, предшествующем зарождению когнитивной лингвистики, на данном этапе включается в уже обособившийся в когнитивной лингвистике кластер *инференция*. При этом и само значение термина сильно меняется: от жесткой последовательности производимых операций мышления (см., например, *схемы действий* в лингвопсихологии [Lashley 1951; Norman 1981]) к ментальным конструктам (см. *нарративные схемы* в когнитивной нарратологии [Chafe 1977; 1987] или *образ-схемы* в когнитивной семантике [Talmy 1975; Lakoff 1990; Johnson 1987; Lakoff, Turner 1989]). Здесь термин *схема* функционирует уже с учетом центрального члена кластера, термина *инференция*, подчиняясь общим принципам организации выводного знания в когнитивной лингвистике: принципам отказа от исключительно логического характера выводного знания, возможности рециркуляции (т.н. «поворот схемы обратно»), активного характера ее применения, индивидуализации (см. обзорную статью [Brewer, Nakamura 1984]), отказа от идеи объективно правильной референции (вслед за [Putnam 1975]). Под *схематизацией* как способом выведения нового знания Л. Тэлми понимает «процесс, включающий системный выбор некоторых аспектов референта и его окружения для его последующего представления как целого, опуская менее значимые аспекты»<sup>1</sup> [Talmy 2001: 177].

Отметим, что одновременно с появлением теорий *схем* в когнитивной лингвистике начинают развиваться и теории *моделей*. Заметим, что на этапе, предшествующем зарождению когнитивной лингвистики, эти два термина использовались как синонимы, однако позднее они приобрели самостоятельные значения в рамках оппозиции «акцентное положение блоков – акцентное положение связей блоков». Вхождению в кластер *инференция* терминов *модель* и *моделирование* способствовали работы в области когнитивной грамматики (синтаксиса) и когнитивной семантики [Johnson-Laird 1980; Langacker 2000], а также труды Н. Хомского [Хомский 2010; Chomsky 2002].

<sup>1</sup> Точная цитата: Schematization <...> a process that involves the systematic selection of certain aspects of a referent scene to represent the whole, while disregarding the remaining aspects.

Итак, анализ когнитивных работ показывает, что за счет формирования жесткой иерархической структуры кластера *инференция* усиливается положение его центрального члена.

Как мы отмечали выше, на характер кластеризации на основе термина *инференция* повлияло также его нетерминологическое использование на всех этапах становления когнитивной лингвистики. Это позволило расширить кластер терминов не только за счет уже существующих научных терминосистем, но и за счет более широких ассоциаций (см., в частности, термин *репрезентация* ([Кубрякова, Демьянков 2007])). Описываемый феномен стал предметом исследования когнитивного терминоведения [Новодранова 2005; Лейчик 2007], нацеленного на выявление «объективно существующих взаимосвязей между обыденным и абстрактно-логическим знанием, между наивной и научной картинами мира» [Голованова 2013: 14]. Подобные взаимосвязи обуславливают интеграцию кластеров терминологической и нетерминологической областей знания. Именно ассоциативный характер нетерминологического использования лексемы *инференция* способствует ее «усилению» в качестве центрального члена рассматриваемого кластера.

Слово является дериватом глагола *to infer* (to form an opinion that something is probably true because of other information that you already know), который в словаре рассматривается в оппозиции глаголу *to imply* по дифференцирующему признаку «слушающий / читающий – говорящий / пишущий». Таким образом, сама семантика глагола включает в себе его интерпретационную роль. *Inference* определяется в словаре как «то, что вы считаете верным (something that you think is true) на основе знания некоторой информации» (здесь и выше см. [Longman 1999: 730]). Интересно, что в словаре лингвистических терминов (The Concise Oxford Dictionary of Linguistics), выпущенном в 1997 году, *inference* как лингвистический термин отсутствует. В то же время в словаре Practical English Dictionary слово *inference* отображено как производное глагола *to infer* без указания отличительных компонентов его семантики, а глагол *to infer* определяется как «выводить путем логического анализа, умозаключать» (to deduce by reasoning (*to reason* в свою очередь определяется как to think logically in forming conclusions), to conclude) [Practical English Dictionary 1991: 267]. Таким образом, вполне очевидна именно понятийная, логическая составляющая семантики слова, которая в последующие десять лет в кластере *инференция* практически исчезает в связи с усилением доказательной базы ассоциативных и эвристических концепций выводного знания в когнитивной лингвистике.

Интересная ситуация наблюдается в связи с конкуренцией термин-систем при проникновении термина в иную культуру (в нашем случае – в российскую). Подчеркнем, что конкуренция «национальных» терминологических кластеров в этой ситуации оказывается действительно острой, так как для отечественного языкознания вопрос организации выводного знания, конечно, не являлся новым. Но показательно, что отечественная модальная логика, которая получила развитие в теориях «языка семантических множителей» А.К. Жолковского и И.А. Мельчука и «семантического языка» А. Вежбицкой, Ю.Д. Апресяна, Е.В. Падучевой, этот термин не использует, возможно, из-за того, что в фокусе внимания – не интерпретация языковых явлений, а их порождение путем кодирования значений в языке. В этой же связи отметим, что и термины *моделирование* и *языковые модели* активно используются в отечественной логической семантике, но моделирование связывается с моделями кодирования значений (см., например, *модель управления* у А.К. Жолковского, И.А. Мельчука [Жолковский, Мельчук 1967], *модель управления слова* Ю.Д. Апресяна [Апресян 1970]). Основной путь анализа при этом – «выявление контекстных условий, влияющих на значение [языковой единицы]» [Падучева 1997: 37].

Таким образом, термин *инференция* проникает в отечественное языкознание не в рамках интерпретационной парадигмы, а в рамках порождающей семантики и уже через порождающую семантику входит в теорию интерпретации текста. В советском языкознании это проявляется в том, что одни и те же ученые (в первую очередь, Н.Д. Арутюнова и представители школы логического анализа) в своих работах от идей ономаσιологии продвигаются в направлении семасиологии. Кроме того, в отечественной лингвистике начинает активно развиваться когнитивная парадигма. На этом фоне происходят многократные трансформации рассматриваемого нами кластера.

Так, в отечественной логико-функциональной парадигме термин *инференция* вначале появляется как компонент ядра полицентрического кластера *выводное знание*, где он функционирует в отношениях равноправия с термином *имплицитность*. *Ситуативная имплицитность*, по А.В. Бондарко, предполагает, что «передается смысл, вытекающий из речевой ситуации и соответствующей ситуативной информации в ее связях со значениями, выраженными языковыми средствами» [Бондарко 2008: 129].

Термин *инференция* используется в отечественной лексической семантике Е.В. Падучевой в значении «необязательного следствия» [Падучева 2004: 12] параллельно с термином *импликатура*, но с характерным

отличием. Импликатуру, как пишет Е.В. Падучева, «дает контраст», ее можно «выявить», она «описывает значение прошедшего времени» [Там же: 295–298], то есть импликатура определяется текстом (контекстом), связана с языковыми смыслами. В то же время семантика языковых единиц «дает основание» для инференции; «высказывание, скорее всего, [ее] подразумевает» [Там же: 297–300], то есть инференция подразумевает бóльшую вариативность интерпретации высказывания, чем заданную исключительно языковыми средствами.

Термин *инференция* используется и в работах А.А. Зализняк: инференции – это то, что «извлекает» слушающий, а импликатуры – то, что «закладывает» говорящий [Зализняк 2006: 24]; инференции при этом могут быть «устойчивыми» и «неустойчивыми» [Там же: 214].

Подход, предполагающий явное разграничение порождения высказывания (теории референции и ономазиологии) и его интерпретацию (теория интерпретации и семасиологии), развивается Н.Д. Арутюновой. Его появление маркирует начало формирования кластера *инференция* как моноцентричного в новой отечественной парадигме. При этом в работах исследователя термин *инференция* в некоторой степени конкурирует с *когнитивными смыслами* модусов высказывания (см. [Арутюнова 1988: 109–132]).

Здесь отметим, что в англо-русском словаре В.К. Мюллера 1969 года издания присутствуют слова *to infer* и *inferences* и определяются соответственно как «1) заключать, делать заключение, вывод; выводить и 2) означать, подразумевать» и «1) вывод, заключение и 2) подразумеваемое» [Англо-русский словарь 1969: 393], а в словарях лингвистических терминов О.С. Ахмановой 1969 года издания и БЭС Языкознание 2000 года издания как репринтного издания «Лингвистического энциклопедического словаря» 1990 года издания данные единицы отсутствуют. Заимствованный характер данной лексемы исключает ее нетерминологическое использование в научных работах.

В отечественной когнитологии термин *инференция* начинает активно употребляться после публикаций Е.С. Кубряковой (см., например, [Кубрякова 1996]), посвященных становлению новой когнитивно-функциональной парадигмы. Можно предположить, что трансфер данного термина в отечественную когнитологию связан с принятием целой парадигмы и ее терминосистемы, но усложнился за счет существования в отечественной науке дублирующих терминов. Так, в работе «Язык и знание» Е.С. Кубрякова отмечает, что при том, что «в специальной литературе иногда проводят знак равенства между логическими умозаключениями и инференцией, мы же пытаемся развести эти понятия, вводя

иностранный термин именно для того, чтобы подчеркнуть иное содержание его в отличие от логического понятия <...>. Инференцией можно считать операцию обыденного сознания, в своей основе рационального, но в то же время не столь связанного с формальными способами доказательства истины. Инференция сопряжена с догадками на базе имеющегося опыта, с интуицией» [Кубрякова 1996: 410]. Термин *инференциальный* (инферентный) используется в оппозиции «инферентный – перцептивный» при разграничении слов с абстрактной и неабстрактной семантикой [Кубрякова, Ирисханова 2007; 2010]. Инференция определяется в работах Н.Н. Болдырева как «формирование смысла за счет имплицитного обращения к другому концепту, т. е. на основе выводного, дополнительного знания (*Окончил Гарвард = получил хорошее, престижное образование*)» [Болдырев 2014: 102]. Такое определение инференции значительно расширяет сферу употребления термина (а в русском языке, как мы отметили выше, возможно только терминологическое употребление данного слова), позволяя относить его проявления как к сфере лексической и грамматической семантики, так и прагматики, когнитивной психологии, культурологии и социологии. В последнее время именно в отечественной лингвистике данный термин приобретает все большее распространение в тех когнитивных работах, где в фокусе исследования оказывается позиция адресата (см., например, [Бабина 2001; Болдырев 2006; Заботкина 2015]).

Как известно, терминосистема отечественной когнитивной лингвистики находится в настоящий момент в стадии своего активного формирования, но уже сейчас можно заметить, что термин *инференция* в ней за счет своего не слишком ассимилированного облика и за счет присутствия собственных конкурирующих терминов (в составе парадигмы логической семантики) является центральным в кластере в большей степени номинально, находясь в состоянии «затушеванного» ядра. В то же время термины *схематизация*, *моделирование*, *репрезентация* как операции инференции и термины *концепт*, *домен*, *категория* как типы инференциального знания получили большее распространение.

Проведенный анализ показывает, что трансформация кластера *инференция* происходила с участием смешанной технологии кластеризации, которая способствовала переходу его структуры от полицентричной к моноцентричной.

Какой же предстает перед исследователем моноцентричная структура кластера в современной когнитивной лингвистике с центральным термином *инференция* в результате множественных трансферов данного термина и взаимовлияния разных дисциплин, теорий и концепций?

В качестве инвариантного определения инференции приведем ее философское определение Р. Брэндома. Так, под инференцией понимается «схватывание или понимание концептуального содержания»<sup>1</sup> [Brandom 2000: 52]. При этом подчеркивается определяющая роль секундных когнитивных процессов при извлечении инференций, которые определяют данное концептуальное содержание «относительно системы инференциальных отношений»<sup>2</sup> [Brandom 2001: 82].

В современном когнитивном понимании данный термин вобрал в себя смыслы интерпретационной семантики, эпистемологии, модальной логики выводного знания, логики пресуппозиций; освободился от критерия истинности и ложности выводимого знания, от ограниченности системой языковых значений, от рамок семантического языка. Однако в зарубежной лингвистике он до сих пор часто используется нетерминологически, что обуславливается его языковой семантикой. В работах термин демонстрирует большую вариативность в употреблении, которая определяется сферой его использования: когнитивной прагматикой, психологией, дискурсологией и семантикой. В каждой из перечисленных сфер имеются специфически особенности его употребления.

В когнитивной прагматике термин объединяет прагматические импликатуры и экспликатуры; инференция структурно может быть представлена в виде «инференциальных схем» (термин К.-Ю. Пэнтер и Л. Торнберг [Panther, Thornburg 2003]). К ним причисляются метафорические и метонимические модели, которые в реальной коммуникации способны продуцировать новые смыслы. Так, рассмотренное в работе [Panther, Thornburg 2007: 248] англ. *potbelly*, имеющее два конвенциональных употребления «большой живот» и «человек с большим животом» (последнее из которых реализовано по метонимической модели ВЫДАЮЩАЯСЯ ЧАСТЬ ТЕЛА – ЧЕЛОВЕК), продолжает демонстрировать прагматическую продуктивность в *balloonnose*, *fatface*, *skinnylegs*. Таким образом, метонимическая модель ВЫДАЮЩАЯСЯ ЧАСТЬ ТЕЛА – ЧЕЛОВЕК выступает не только как когнитивная модель, но и как инференциальная схема, способная порождать новые прагматические смыслы и ситуации.

<sup>1</sup> Точная цитата: Endorsing inferences is part of grasping or mastering those concepts.

<sup>2</sup> Точная цитата: (полная) Grasping or understanding a concept is simply being able practically to place it in a network of inferential relations: to know what is evidence for or against its being properly applied to a particular case, and what its proper applicability to a particular case counts as evidence for or against.

В когнитивной психологии термин *инференциальный* представлен в оппозиции «перцептивный (сенсорный) – инференциальный (не-сенсорный)». Здесь он имеет значение «ассоциативный». Когнитивными психологами описываются различные модели инференциального знания: автоматические [McKoon and Ratcliff 1992], инструментальные [Doshier and Corbett 1982], ситуативно-обусловленные [Graesser et al. 1997] (см. обзор в [Eysenck 2001]).

Термин *инференция* также является частью терминосистемы когнитивной дискурсологии. Среди известных концепций, в которых развивается инференциальный подход, назовем концепцию Т. ван Дейка и У. Кинча, в которой разрабатываются ситуационные модели инференции [Dijk, Kintsch 1983]. Интересно, что исследователи объединяют различные виды инференции (логические и дискурсивные) в рамках единой дискурсивной модели ситуации. Отмечается, что дискурсивные инференции предполагают разные модели выводного знания. Так, фраза *It is cold in here* может значить просьбу включить отопление или удовлетворительное замечание-утверждение любителей режима энергосбережения. Теория инференциальных ситуационных моделей развивается в современных концепциях пространственно-событийной репрезентации текстовой ситуации (Distributed Situation Space Model [Frank, Koppen, Noordman, Vonk 2003]) и инференциальной модели дискурса [Schmalhofer, McDaniel, Keefe 2002; Schmalhofer, Perfetti 2007].

Из фокуса когнитивной семантики уходит разграничение типов выводного знания – осознанное и неосознанное, индивидуальное и коллективное, спонтанное и неспонтанное. Все эти типы знания рассматриваются в качестве объектов когнитивного анализа на единых терминологических основаниях. В частности, рассматривая знания, выводимые по аналогии, Ж. Фоконье отмечает, что «они расширяют нашу концептуальную сферу, порождают новые инференции, выполняют прогностическую функцию»<sup>1</sup> [Fauconnier 2003: 254]. Из данного контекста становится понятно, что речь идет о любом знании, выводимом с помощью аналогии.

Подводя итог анализу кластера *инференция*, подчеркнем, что структура кластера может демонстрировать не только динамику в направлении переходов его центральных и периферийных компонентов, но и **дивергенцию его поликомпонентного центра**, как это произошло в нашем случае. Трансформация полицентричного кластера в моно-

<sup>1</sup> Точная цитата: Analogical mappings <...> is a way to enrich its [the target's] conceptualization, to generate novel inferences, and to make predictions about the world.

центричный проходила в условиях зарождения и развития когнитивной лингвистики как нового междисциплинарного направления в зарубежной и отечественной науке, каждый этап которой стимулировал появление новых противопоставлений и включение новых иерархий терминов. В отношении роли анализируемого терминологического кластера в интегративной сфере научного знания можно заключить, что, хотя терминология современной когнитивной лингвистики инкорпорирует упомянутые выше термины теории математической логики, их использование служит в большей степени не целям алгоритмизации механизмов познания, а целям познания самого познания через языковые проявления человека. Как отмечает В.З. Демьянков, «технократизм этот – всего лишь видимость: в центре внимания когнитивизма находится освоение мира человеком, именно это освоение и особенности его языкового преломления и интересуют когнитивистов в первую очередь» [Демьянков 2006: 6].

В целом, исследование кластеризации некоторых терминов лингвистики позволяет заключить, что использование разных технологий отражает этапы формирования научной терминосистемы в условиях интеграции разных наук. Следовательно, **анализ лингвистических терминов, обладающих свойством трансдисциплинарности, позволяет определить пути и направления трансфера мирового научного знания.**

Трансфер терминов в науке осуществляется в несколько этапов, для каждого из которых характерны свои частные технологии взаимодействия сближающихся областей терминологического и нетерминологического знания. На этом фоне нельзя не отметить ту роль, которую играет и межъязыковой (а значит, и межкультурный) терминологический трансфер в формировании единого научного пространства.

## Литература

- Англо-русский словарь [под ред. В.К. Мюллера]. М., 1969.  
*Апресян Ю.Д.* Описание семантики через синтаксис // *Sign, Language, Culture. The Hague*, 1970.  
*Арутюнова Н.Д.* Типы языковых значений: Оценка, событие, факт. М., 1988.  
*Ахманова О.С.* Словарь лингвистических терминов. 2-е изд. М, 1969.  
*Бабина Л.В.* Инференция в процессе распознавания производных слов // *Филология и культура: мат-лы III Международной конференции. В 3-х ч. Ч. 3. Тамбов*, 2001.

- Болдырев Н.Н.* Языковые категории как формат знания // Вопросы когнитивной лингвистики, 2006. №2.
- Болдырев Н.Н.* Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: курс лекций. Изд. 4. Тамбов, 2014.
- Большой энциклопедический словарь: Языкознание [под ред. В.Н. Ярцевой]. 2-е изд. М., 2000.
- Бондарко А.В.* К вопросу об имплицитном представлении семантического содержания // Динамические модели: Слово. Предложение. Текст: Сб. ст. в честь Е.В. Падучевой. М., 2008.
- Вертгеймер М.* Продуктивное мышление. М., 1987.
- Голованова Е.И.* Когнитивное терминоведение: проблематика, инструментарий, направления и перспективы развития // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. Филология. Искусствоведение. Вып. 82. № 24 (315), 2013.
- Делез Ж.* Логика смысла. М., 1995.
- Демьянков В.З.* «Событие» в семантике, прагматике и в координатах интерпретации текста // Изв. АН СССР. Серия литературы и языка. 1983. Т. 42. № 4.
- Демьянков В.З.* *Studia Linguistica Cognitiva* – призыв к сотрудничеству // *Studia Linguistica Cognitiva*. Вып. 1. Язык и познание: Методологические проблемы и перспективы. М., 2006.
- Демьянков В.З.* Парадигма в лингвистике и теории языка // Горизонты современной лингвистики: Традиции и новаторство: Сб. в честь Е.С. Кубряковой. [под ред. Н.К. Рябцевой]. М., 2009.
- Демьянков В.З.* Цивилизационные параметры когниции: лингвистика – эстетика – этика – психология – логика // Вопросы когнитивной лингвистики, 2013. №1.
- Дункер К.* Психология продуктивного (творческого) мышления // Психология мышления. М., 1965.
- Жолковский А.К., Мельчук И.А.* О семантическом синтезе // Проблемы кибернетики. М., 1967. Вып. 19.
- Заботкина В.И.* От интеграционного вызова в когнитивной науке к интегрированной методологии // Методики когнитивного анализа семантики слова: компьютерно-корпусный подход [под ред. В.И. Заботкиной]. М., 2015.
- Зализняк А.А.* Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.
- Ирисханова О.К.* Игры фокуса в языке: Семантика, синтаксис и прагматика дефокусирования. М., 2014.
- Кубрякова Е.С.* Инференции // Краткий словарь когнитивных терминов [под ред. Е.С. Кубряковой]. М., 1996.

- Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М., 2004.
- Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. О ментальных репрезентациях // Проблемы представления (репрезентации) в языке. Типы и форматы знаний: Сб. науч. трудов. М., 2007.
- Кубрякова Е.С., Ирисханова О.К. Языковое абстрагирование в именах категорий // ИАН СЛЯ, 2007. Т. 66. №2.
- Кубрякова Е.С., Ирисханова О.К. К вопросу о природе объяснений в лингвистике // В пространстве языка и культуры: Звук, знак, смысл: Сб. статей в честь 70-летия В.А. Виноградова [под ред. В.З. Демьянкова, В.А. Порхошовского]. М., 2010.
- Лакофф Дж. Лингвистические гештальты // Новое в зарубежной лингвистике. № 10. М., 1981.
- Лейчик В.М. Когнитивное терминоведение – пятый этап развития терминоведения как ведущей научной дисциплины рубежа XX-XXI веков // Когнитивная лингвистика: новые проблемы познания. М., 2007.
- Лихачев Д.С. Развитие русской литературы X-XVII веков. Эпохи и стили. Л., 1973.
- Мамардашвили М.К. Картезианские размышления. М, 1993.
- Новодранова В.Ф. Когнитивное терминоведение // Татаринов В.А. Общее терминоведение: энциклопедический словарь. М., 2005.
- Падучева Е.В. Эгоцентрическая семантика союзов А и НО // Славянские сочинительные союзы. М., 1997.
- Падучева Е.В. О семантике просодических сдвигов и вкладе просодии в семантику предложения // Известия РАН. Серия литературы и языка, 2004. №5.
- Пиаже Ж. Характер объяснения в психологии и психофизический параллелизм // Экспериментальная психология [под ред. П. Фресса и Ж. Пиаже]. М., 1966. Вып. I, II.
- Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. М., 2000.
- Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
- Хомский Н. О природе и языке. С очерком «Секулярное священство и опасности, которые таит демократия». Пер. с англ. 2-е изд. М., 2010.
- Шабес В.Я. Событие и текст. М., 1989.
- Allen R.L. The verb system of present day American English. The Hague – Paris, 1966.

- Bach E.* The Algebra of Events // *Linguistics and Philosophy* 9, 1986.
- Bach K.* Conversational Implicature // *Mind & Language*, 1994. Issue 9.
- Bach K.* Semantic, Pragmatic // *Meaning and Truth* [eds. J. Keim Campbell, M. O'Rourke, and D. Shier]. New York, 2002.
- Bartlett F.C.* Remembering. Cambridge, 1932.
- Bechtel W., Abrahamsen A., Graham G.* The Life of Cognitive Science // *A Companion to Cognitive Science* [eds. W. Bechtel, G. Graham]. Oxford, 1998.
- Bierwisch M.* Event Nominalizations: Proposals and Problems // *Linguistische Studien* [ed. W. Motsch]. Berlin, 1989.
- Brandom R.B.* Articulating reasons: An Introduction to referentialism. Cambridge, 2000.
- Brandom R.B.* Reason, expression, and the philosophic enterprise // *What is philosophy* [eds. C.P. Ragland, S. Heidt]. New Haven, 2001.
- Bresnan J.W.* Control and Complementation // *The Mental Representation of Grammatical Relations* / [ed. J.W. Bresnan]. Cambridge, 1982.
- Bresnan J.W., Kaplan R. M.* Introduction // *The Mental Representation of Grammatical Relations* [ed. J.W. Bresnan]. Cambridge, 1982.
- Brewer W.F., Nakamura G.V.* The nature and functions of schemas // *Handbook of social cognition* [eds. R.S. Wyer Jr., T.K. Srull]. Hillsdale, 1984. Vol. 1.
- Brown P., Levinson S.C.* Universals in language usage: Politeness phenomena // *Questions and politeness: Strategies in Social Interaction* [ed. E. Goody]. Cambridge, 1978.
- Bybee J., Perkins R., Pagliuca W.* The evolution of grammar: Tense, aspect and modality in the languages of the world. Chicago, 1994.
- Carston R.* Thoughts and utterances: The pragmatics of explicit communication. Oxford, 2003.
- Casati R., Varzi A.C.* (eds.) Fifty Years of Events. An Annotated Bibliography 1947 to 1997. Bowling Green OH), 1997.
- Chafe W.* The recall and verbalization of past experience // *Current Issues in Linguistic Theory* [eds. P. Cole et al]. Amsterdam, 1977.
- Chafe W.* Cognitive constraints on information flow // *Coherence and grounding in discourse* [ed. R.S. Tomlin]. Amsterdam, 1987.
- Chomsky N.* On nature and language. With an essay on «The secular priesthood and the perils of democracy» [eds. A. Belletti, L. Rizzi]. Cambridge, 2002.
- Chvany C.* Background perfectives and plot line imperfectives: Towards a theory of grounding in text // *The Scope of Slavic Aspect* [eds. M. Flier, A. Timberlake]. 9ed. Columbus, Ohio, 1985.

- Clark H.H.* Bridging // Thinking: Readings in cognitive science [eds. P.N. Johnson-Laird, P.C. Wason]. London, New York, 1977.
- Comrie B.* The Syntax of Action Nominals: A Cross-linguistic Study // *Lingua* 40, 1976.
- Croft W.* Syntactic Categories and Grammatical relations: the Cognitive Organization of Information. Chicago, 1991.
- Croft W.* Verbs: Aspect and Causal Structure. Oxford, 2012.
- Davidson D.* The Individuation of Events // Essays in Honour of Carl G. Hempel. Dordrecht, 1970.
- Dik S.C.* Functional Grammar. Amsterdam, 1978.
- van Dijk T., Kintsch W.* Strategies of discourse comprehension. New York, 1983.
- van Dijk T.* Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. Cambridge, 2008.
- Dirven R.* Cognitive Perspective on Complementation // Sentential Complementation and the Lexicon [eds. D. Jaspers, W. Klooster, Y. Putseys, P. Seuren]. Dordrecht – Providence, 1989.
- Dosher B., Corbett A.T.* Instrument inferences and verb schemata // Memory and cognition, 1982. Vol. 10.
- Eysenck M.W.* Principles of cognitive psychology. Cornwall, 2001.
- Faltz L.M.* A role for inference in meaning change // Studies in language, 1989. Vol. 13.
- Fauconnier G.* Conceptual blending and analogy // Language in mind: Advances in the study of language and thought [eds. D. Gentner, S. Goldin-Meadow]. Cambridge, 2003.
- Fillmore Ch.* Some thoughts on the boundaries and components of linguistics // Talking minds: The study of language in cognitive science [eds. T.G. Bever, J.M. Carroll, and L.A. Miller]. Cambridge, 1984.
- Frank S.L., Koppen M., Noordman L.G.M., Vonk W.* Modeling knowledge-based inferences in story comprehension // Cognitive Science, 2003. Issue 27.
- Geis M.L.* Speech Acts and Conversational Interaction. Cambridge, 1995.
- Givon T.* On Understanding Grammar. Orlando, 1980
- Givon T.* Syntax: An Introduction. Amsterdam, 2001.
- Graesser A.C. et al.* Discourse comprehension // Annual review of psychology, 1997. Vol. 48.
- Grimshaw J.* Argument Structure. Cambridge, 1990.
- Hoekstra T.* Deverbalization and Inheritance // Linguistics 24(3), 1986.
- Hopper P.J., Thompson S.A.* Transitivity in Grammar and Discourse // Language 56, 1980.

- Irmer M.* Bridging inferences: constraining and resolving under-specification in discourse interpretation. Berlin, 2011.
- Jaszczolt K.M.* Semantics and pragmatics: Meaning in language and discourse. London, 2002.
- Johnson M.* Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason. Chicago, 1987.
- Johnson-Laird P.N.* Mental models in cognitive science. *Cognitive Science*, 1980. №4.
- Kim J.* Events as Property Exemplifications // *Action Theory*. Dordrecht, 1976.
- Kintch W.* Approaches to the study of the psychology of language // *Talking minds: The study of language in cognitive science* [eds. T.G. Bever, J.M. Carroll, and L.A. Miller]. Cambridge, 1984.
- Koffka K.* Principles of Gestalt psychology. New York, 1935.
- Köhler W.* Gestalt psychology. New York, 1947.
- Koptjevskaja-Tamm M.* Nominalizations. London – New York, 1993.
- Lakoff G.* Linguistic gestalts // *Papers from the Thirteenth Regional Meeting* [eds. W.A. Beach, S.E. Fox, S. Philosoph]. Chicago Linguistic Society, April 14–16, 1977. Chicago, Illinois, 1977.
- Lakoff G.* Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago, 1990.
- Lakoff G., Turner M.* More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago, 1989.
- Langacker R.* Grammar and Conceptualization. Berlin – New York, 2000.
- Langlotz A.* Creating Social Orientation Through Language. Amsterdam, 2015.
- Lashley K.S.* The problem of serial order in behavior // *Cerebral mechanisms in behavior: The Hixon symposium*. [ed. L.A. Jeffress]. New York, 1951.
- Levinson S.C.* Minimization and conversational inference // *The Pragmatic Perspective* [eds. J. Verschueren, M. Bertuccelli-Papi]. Amsterdam; Philadelphia, 1998.
- Levinson S.C.* Presumptive meanings: The theory of generalized conversational implicature. Cambridge, 2000.
- Longman dictionary of contemporary English. Harlow, 1999.
- Maturana H.R., Varela F.J.* The tree of knowledge [transl. R. Paolucci]. Boston, Massachusetts, 1992.
- Mayo B.* Events and Language // *Philosophy and Analysis*. Oxford, 1954.
- McKoon G., Ratcliff R.* Inference during reading // *Psychological Review*, 1992. Issue 99.
- Montague R.* The proper treatment in quantification in ordinary English // *Approaches to natural language: Proceedings of the 1970 Stanford Work-*

- shop on Grammar and Semantics [eds. J. Hintikka, J. Moravcsik, P. Suppes]. Dordrecht, 1973.
- Norman D.A.* Categorization of action slips // *Psychological Review*, 1981. Vol. 88.
- Panther K-U., Thornburg L.* Metonymy and pragmatic inferencing. Amsterdam, 2003.
- Panther K-U., Thornburg L.* Metonymy // *The Oxford Handbook of Cognitive linguistics* [eds. D. Geeraerts, H. Cuyckens]. Oxford, 2007.
- Partee B.* Montague grammar and transformational grammar // *Linguistic Inquiry*, 1975. Vol. 6.
- Practical English Dictionary.* London, 1991.
- Putnam H.* The meaning of «Meaning» // *Language, mind, and knowledge. Minnesota Studies in the Philosophy of Science* [ed. K. Gunderson]. Minneapolis, 1975.
- Recanati F.* Embedded implicatures // *Philosophical perspectives*, 2003. Vol. 17. Issue 1.
- Recanati F.* *Literal Meaning.* Cambridge, 2004.
- Rothstein S.* *Structuring Events: A Study in the Semantics of Lexical Aspect.* Oxford, 2004.
- Sellars W.* Inference and meaning // *Mind*, 1953. № 62 (3).
- Schmalhofer F., McDaniel M.A., Keefe D.* A unified model for predictive and bridging inferences // *Discourse processes*, 2002. Vol. 33.
- Schmalhofer F., Perfetti C.A. (eds.)* Higher level language processes in the brain: inference and comprehension processes. New York, 2007.
- Steen G.* *Finding metaphor in grammar and usage: A Methodological analysis of theory and research.* Amsterdam, 2007.
- Talmy L.* Semantics and syntax of motion // *Syntax and Semantics* [ed. J. Kimball]. Vol. IV. New York, 1975.
- Talmy L.* Figure and Ground in complex sentences // *Universals of Human Language* [ed. J. Greenberg]. Stanford, 1978.
- Talmy L.* Force Dynamics in Language and Cognition // *Cognitive Science*, 12, 1988.
- Talmy L.* *Towards a Cognitive Semantics. Volume I: Concept Structuring System.* Cambridge, 2001.
- Talmy L.* Attention phenomena // *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics* [eds. D. Geeraerts, H. Cuyckens]. Oxford, 2007.
- Tenny C., Pusteyovsky J. (eds.)* Events as Grammatical Objects: The Converging Perspectives of Lexical Semantics and Syntax. Stanford, 1991.
- The Concise Oxford Dictionary of Linguistics* [ed. P.H. Matthews]. Oxford, 1997.

- Thomason R.H.* Formal philosophy: Selected papers of Richard Montague. Conn, 1974.
- Vendler Z.* Facts and Events // Linguistics in Philosophy. Ithaca, 1967.
- Wårvik B.* What is foregrounded in narratives? Hypotheses for the cognitive basis of foregrounding // Approaches to Cognition through Text and Discourse [ed. T. Virtanen]. Berlin, 2004.
- Wilson D.* Presuppositional and non-truth-conditional semantics. New York, 1975.
- Wilson D., Sperber D.* Meaning and relevance. New York, 2012.

## глава 2.2. Формирование метаязыка лингвокультурологии: принципы междисциплинарного трансфера понятийного аппарата

И.В. Зыкова

### 1. Вводные замечания

В настоящей главе монографии мы обращаемся к проблеме построения метаязыковой системы лингвокультурологии как области интегрированного научного знания. Соответственно, объектом нашего исследования является метаязык лингвокультурологии, формирующийся в одном из ее национальных ответвлений, которое представляет собой отечественная лингвокультурология, развивающаяся в общем полинациональном пространстве многомерного научного знания о природе и глубинных механизмах взаимодействия культурных и языковых процессов.

Обращение к этой проблеме обусловлено несколькими взаимосвязанными причинами. Остановимся на ключевых причинах.

С одной стороны, можно констатировать в настоящее время **стре- мительное развитие понятийно-терминологического аппарата лингвокультурологии**. Данный факт обусловлен существенным усилением интереса к лингвокультурологической проблематике и значительным ростом числа лингвокультурологических исследований, в рамках которых создаются новые научные концепции и теории, разрабатываются авторские методы и методики лингвокультурологического анализа, базирующиеся на использовании и/или разработке разнообразных (новых) терминов и понятий, отвечающих целям и задачам частнонаучных подходов к изучению лингвокультурологического объекта. Соответственно, начинает остро ощущаться потребность в инвентаризации состоящих на службе лингвокультурологии понятийно-терминологических единиц, в систематизации и конвенционализации (или стандартизации) ее наличного понятийно-терминологического инструментария. Однако, с другой стороны, при всей очевид-

ности этой потребности следует признать фактическое **отсутствие** на сегодняшний день **полноформатных системных исследований в области разработки принципов научной методологии построения метаязыка лингвокультурологии.**

Одной из первых на необходимость выделения единиц понятийно-терминологического аппарата лингвокультурологии, их анализа и описания указывает В.Н. Телия в своей программной статье [Телия 1999]. Важный лексикографический ракурс в этой области намечен в исследовании М.Л. Ковшовой [Ковшова 2013]. Научный путь в лингвокультурологию и в лингвокультурологии ряда конкретных понятий и/или терминов, их лингвокультурологическое предназначение и лингвокультурологическая спецификация раскрываются в работах [Опарина 1999], [Брагина 1999], [Красных 2003], [Беляевская 2010], [Иванова, Чанышева 2010], [Зыкова 2011; 2014] и др.

Несмотря на целый ряд исследований, масштаб проблемы метаязыка лингвокультурологии указывает на едва ли обозримые на данном этапе горизонты ее научной оформленности или определенности. Данная проблема на сегодняшний день представляет собой широкое исследовательское поле, открытое для обстоятельных научных изысканий в области анализа лингвокультурологической теории и методологии, базирующихся на вполне самостоятельной системе понятийно-терминологических средств. С учетом этого настоящее исследование представляет собой попытку осмысления механизма создания метаязыка лингвокультурологии, принципов и факторов (внешних и внутренних) его особой организации. В своей исходной и одновременно конечной интенции оно нацелено на разработку того, что можно было бы определить как **мета-метаязык описания понятийно-терминологического аппарата лингвокультурологии.** С учетом задач текущего этапа проводимого исследования и общей логики его композиционного развертывания отправной точкой являются вопросы наиболее общего и вместе с тем основополагающего характера, касающиеся главным образом того, что представляет собой лингвокультурология на современном этапе ее развития и что понимается под метаязыком в случае его отнесенности к области междисциплинарного знания, которой и является лингвокультурология. В контексте обсуждения данных вопросов разрабатывается авторская трактовка метаязыка лингвокультурологии с точки зрения изучения характера процесса его формирования, определяемого как междисциплинарный трансфер. Особо важным нам представляется понять, как определенный термин или определенное понятие становится активной функциональной единицей метаязыковой

системы лингвокультурологии и каковы ее место и значимость в этой системе, а также какова ее роль в разработке теоретических и методологических оснований лингвокультурологии и в определении перспектив ее будущего развития.

## **2. Лингвокультурология: метанаучное направление, отдельная наука или подраздел лингвистики?**

Для того чтобы определить границы и объем метаязыка некой науки (или направления, отрасли и т. д.), необходимо сначала определить, хотя бы в общих чертах, границы и объем самой этой науки. В связи с этим важно обратиться прежде всего к вопросу о том, что представляет собой лингвокультурология на новейшем этапе ее исторического развития.

Несмотря на то, что сам факт существования лингвокультурологии не вызывает на сегодняшний день никаких принципиальных возражений, тем не менее следует признать, что ее статус продолжает оставаться предметом научных дискуссий. Активное обсуждение разворачивается вокруг вопроса о том, обладает ли лингвокультурология статусом автономной области научного знания. При построении аргументации или контраргументации для достижения того или иного полюса определенности в этом вопросе и его выражения в форме «за» или «против» в фокусе внимания оказываются по меньшей мере следующие значимые факторы: 1) специфика исторического развития лингвокультурологии с учетом ее так называемой предыстории, фактически восходящей к началам (истокам) научного познания (см., напр., в [Комарова 2012: 535]); 2) общенаучный характер вопросов взаимоотношения культуры, сознания (или личности) и языка, изучением которых занимаются не только многие междисциплинарные направления, созданные на базе лингвистики (психолингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, межкультурная коммуникация и проч.), но и многие другие гуманитарные науки; 3) (не)признание наличия у лингвокультурологии своего собственного объекта, разработанной теории и методологии (или собственной теоретической и методологической платформы).

С учетом указанных факторов вопрос о границах и, соответственно, статусе лингвокультурологии становится весьма нетривиальной задачей, при общем решении которой, пожалуй, нет места строгой категоричности. Если сделать такое допущение о возможности сохране-

ния плюрализма мнений в отношении существования разных границ лингвокультурологии, то целесообразно, по всей вероятности, говорить о трех принципиально разных подходах к ее статусу. Во-первых, лингвокультурологию можно, по всей видимости, рассматривать как особое «метанаучное» (или «метагуманитарное») **направление**, объединяющее своей проблематикой многие (под)отрасли не только языкознания, но и другие, сопряженные с ним, науки главным образом гуманитарного цикла. Во-вторых, лингвокультурологию можно считать **самостоятельной междисциплинарной наукой**, обладающей своим собственным объектом, своими собственными теоретическими и методологическими основаниями и установками. В-третьих, лингвокультурологию можно определить как **подраздел лингвистики**, центральным объектом которого является язык, изучаемый в так называемой культурологической перспективе со всей вытекающей из этой перспективы спецификой его анализа.

Из трех возможных подходов в своем исследовании мы придерживаемся второго. Соответственно, мы исходим из понимания статуса лингвокультурологии как **автономной междисциплины**<sup>1</sup>. Данный статус позволяет четче очертить или, скорее, конкретизировать столь

<sup>1</sup> Приведем отдельно несколько наиболее общих аргументов, обосновывающих наш выбор второго подхода. В случае с первым подходом (лингвокультурология как метанаучное направление), предполагающим выход в область философии науки, вопрос о выделении понятийного аппарата лингвокультурологии, по нашему мнению, фактически снимается. Понятийный аппарат в этом случае будет представлять собой, по сути, совокупность понятийного инструментария всего того немалого количества наук, которые обращены к изучению взаимоотношения (взаимодействия, взаимосвязи) языка и культуры. Аргументом против принятия нами третьего подхода (лингвокультурология как подраздел лингвистики) является методологический арсенал лингвистики. Собственно лингвистические методы анализа (дистрибутивный анализ, компонентный анализ, контент-анализ и др.), как представляется, не позволяют изучить в надлежащем объеме различные культурологические аспекты процесса формирования языка: например, как культура влияет на образование языковых знаков, как она сохраняется, репрезентируется в языке и проч. Необходимость создания и собственно создание методов, направленных на изучение указанных аспектов (например, метод лингвокультурологической реконструкции глубинных оснований значения языковых (фразеологических) знаков, представленный в [Зыкова 2014]) и, соответственно, специализированных понятийно-терминологических средств, свидетельствует, на наш взгляд, об оформлении лингвокультурологии в самостоятельную область научного знания.

трудно определимые и достаточно подвижные границы данной области научного знания. Именно в рамках таким образом «поставленных» границ в настоящей работе осуществляется попытка осмыслить особую природу метаязыка лингвокультурологии, специфику формирования и функционирования основного состава его единиц.

### **3. Метаязык «междисциплинарной науки» как особый объект изучения: постановка проблемы с позиции лингвокультурологии**

Для того чтобы понять, что представляет собой метаязык лингвокультурологии и как он формируется, необходимо в первую очередь обратиться к рассмотрению самого терминологического понятия «метаязык» в его наиболее важных для нашего исследования аспектах.

Понятие «метаязык» представляет определенную сложность по целому ряду оснований, главными среди которых можно, по-видимому, считать следующие: 1) его использование в разных науках (философии, математике, физике, языкознании, семиотике и т. д.); 2) существование различных подходов к его пониманию и, как следствие, его многозначность и смысловая диффузность; 3) (специфическая) корреляция или (в определенных случаях) парадигматическая связь с такими терминами как «язык науки», «язык научного общения», «язык для специальных целей» (англ. LSP), «язык научных произведений», «язык профессиональной коммуникации» и др. (см., напр., [Гвишиани 1986], [Никитина 2014], [Суперанская et al. 1989]), которая может приводить к их в определенном смысле «конкурированию» и взаимозаменяемости в научном дискурсе и в итоге к функциональной неустойчивости рассматриваемого терминологического понятия.

На сегодняшний день вопросы, связанные с историей возникновения, спецификой разработки и смыслового развития термина «метаязык», широко и всесторонне освещены в научной литературе, а потому нет необходимости останавливаться на этом подробно (см., напр., [Степанов 1962], [Денисов 1974], [Гвишиани 2013], [Никитина 2014], [НФЭ 2001], [Демьянков 2011], [Попова 2011], [Постовалова 2012], [Комарова 2012] и мн. др.). Отметим лишь наиболее существенные для нашего исследования моменты.

При определении объема содержания понятия «метаязык» важным представляется учитывать **возможность его широкой и узкой интерпретаций**, возникающих в рамках разных наук. Особого вни-

мания при этом заслуживает философия, которой отводится, по всей видимости, ведущая роль в развитии научных представлений о метаязыке и под значительным влиянием которой произошло его распространение в область других научных дисциплин, в языкознание в частности. Например, пользуясь термином «язык науки», С.Е. Никитина отмечает, что *язык науки* в более широком (философском) понимании приравнивается либо к системе специальных научных знаний (т. е. к самой науке), либо к ее теории и ее логике (к ее понятийному аппарату и способам рассуждений и доказательств). В более узком (логическом) понимании *язык науки* – это набор некоторых формальных знаковых систем с правилами интерпретации; его анализ состоит в описании типов терминов и предложений, посредством которых объективируется научное знание. В первом случае язык науки включает: 1) категориально-понятийный аппарат, 2) терминосистему и 3) средства и правила формирования понятийного аппарата и терминов; во втором случае – 1) объектные языки и 2) вспомогательные языки<sup>1</sup>, выполняющие, в частности, функцию аргументации (философской, методологической и др.) (см. подробнее в [Никитина 2014]).

В свете обсуждения широких и узких интерпретаций метаязыка особую значимость приобретает вопрос о взаимосоотношении **метаязыка** и **терминологии** (или [понятийно-]терминологического аппарата, терминосистемы).

Многие ученые и исследователи признают необходимым разграничивать метаязык и терминологию, которая, согласно О.С. Ахмановой, представляет собой «не просто список терминов, а семиотическое выражение определенной системы понятий, которая, в свою очередь, отражает определенное научное мировоззрение» [Ахманова 1966: 9]. На сегодняшний день довольно распространенным является подход, согласно которому метаязык – это более широкая формация, чем терминология. Однако при этом терминология рассматривается как неотъемлемая составная часть метаязыка, его ядро. Как показал аналитический обзор работ в этой области, терминологию и общенаучную лексику (т. е. лексику, «свойственную научной литературе вообще в любой отрасли знания» [Арнольд 2016: 84]) рассматривают в качестве основных

<sup>1</sup> Отдельно следует пояснить, что в работе С.Е. Никитиной вспомогательные языки иначе обозначаются как метаязыки, тем самым неся указание на узкую интерпретацию метаязыка. Поскольку мы метаязык отождествляем с языком науки, то все изложение в целом приводится нами как демонстрация одновременно двух интерпретаций термина «метаязык» (широкой и узкой).

составляющих метаязыка. В отношении других его составляющих мнения исследователей расходятся. К таким составляющим могут относиться клише, логические операторы связи, общеупотребительную лексику, буквенную символику, графику (таблицы, схемы, матрицы и др.), а также правила специальной номинации, правила предикации и проч. [Денисов 1974], [Арнольд 2016], [Комарова 2012].

Особое место при определении понятия «метаязык» занимают вопросы о разграничении **метаязыка** и **метаречи** и о специфике их взаимосвязи (см., напр., [Гвишиани 2013: 37]). По отношению к метаязыку метаречь играет важную роль не только в плане его (метаязыка) реализации, но и в плане его построения, развития и обновления. Выступая средством непосредственного научного общения, метаречь представляет собой фактически реальную среду, в которой осуществляется как создание, так и функционирование и научная «апробация» различных единиц метаязыка, в ходе которых выявляются и проявляются системные связи и отношения между ними. Соответственно, изучение метаречи позволяет проследить путь, по которому идет эволюция метаязыка той или иной науки и ее динамику; оценить функциональность и операциональность входящих в него (т. е. в метаязык) терминологических понятий, степень их качественной «сформированности» и научно-исследовательской эффективности. Кроме того, в метаречи отражается собственно процесс формирования определенного научного мировоззрения, совокупно представляющего научные взгляды, складывающиеся в рамках определенных научных школ, а также эксплицируются и совершенствуются их теоретические и методологические установки, приемы и принципы анализа. Попутно заметим, что в рамках одной научной школы, как указывается во многих работах, складывается свой **метадиалект**, т. е. принятый и/или разрабатываемый язык научного общения, основу которого составляет единая методология исследования. Важным представляется и то, что в метаречи осуществляется процесс «индивидуализации» («персонализации») метаязыка, представляющий его как систему взаимодействующих (**мета**) **идиолектов**, по О.С. Ахмановой, индивидуальных метаязыков (например, (мета)идиолект Л. Ельмслева) (см. в [Ахманова 1961]). К тому же в метаречи проявляется национальное своеобразие метаязыка, передается сложившаяся в нем национальная научная традиция. Таким образом, в силу этих и ряда других факторов можно говорить о том, что метаязык и метаречь – это явления, взаимообусловленность которых обладает глобальной (фундаментальной) значимостью в процессах формирования, выражения и передачи целостного научного знания, а также

в обеспечении сохранения преемственности научных взглядов как на национальном уровне, так и на уровне интернационального научного взаимодействия.

И, наконец, отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о **специфике научной дифференциации метаязыка** (в широком смысле). В связи с существующей стратификацией целостного научного знания, отражающей наличие определенного числа наук, метаязык как таковой обладает в определенном смысле иерархическим устройством, учет которого является теоретически и методологически значимым. Метаязык науки дифференцируется, к примеру, на метаязык естественных наук и метаязык гуманитарных наук, последний распадается, в свою очередь, на метаязык психологии, метаязык культурологии, метаязык лингвистики и т. д. Метаязык лингвистики также состоит из совокупности метаязыков более частных ее отраслей, например, метаязыка фонологии, метаязыка грамматики, метаязыка фразеологии и проч.

Однако отличительной чертой постнеклассического этапа развития науки, подготовленного, надо заметить, всем ходом ее исторического формирования, является стремление разных научных дисциплин к объединению в ходе изучения определенного объекта (определенной проблемы) с целью преодоления собственных границ его (ее) познания. Данный факт представляет собой по сути внедрение нового принципа научного исследования, нового способа производства и новой формы организации научного знания. Весьма знаменательным результатом этой широкомасштабной тенденции является создание значительного числа направлений междисциплинарного цикла. В связи с этим представляется возможным говорить о появлении **метаязыка «нового поколения» – метаязыка «междисциплинарного (по)знания»**, происходящем на фоне оформления такого специфического диалектического единства, как «метаязык дисциплинарного (по)знания – метаязык междисциплинарного (по)знания», которое можно было бы иначе сформулировать как «**метаязык науки** (или научной дисциплины) – **метаязык междисциплинарной науки** (или научной междисциплины)». История разработки и одновременно изучения первого ведется довольно давно; второе же относится к новейшей истории развития научного знания.

Вопрос о том, что представляет собой метаязык междисциплинарной науки, на сегодняшний день мало изучен и открыт для широкой научной дискуссии. Вполне очевидно, что сложность формирования метаязыка такой особой – междисциплинарной – природы обусловлена прежде всего самим явлением междисциплинарности, на котором стоит остановиться несколько подробнее.

Феномен междисциплинарности получает определенные ракурсы осмысления в целом ряде исследований<sup>1</sup> (см., напр., [Мирский 1980], [Klein 1990], [Mittelstrass 1993], [Ласло 2000], [Киященко, Моисеев 2009], [Frodeman et al. 2010], [Буданов 2010], [Касавин 2010], [Измайлов, Пойзнер 2011], [Ковальчук et al. 2013], [Кравченко 2015] и др.). К примеру, Л.П. Киященко считает, что о междисциплинарности можно говорить в случаях, когда различные дисциплины вступают во взаимодействие друг с другом, образуя новую дисциплину (как, например, биохимия), или «когда теоретические представления или исследовательские практики одной дисциплинарной области проникают в другие, используя там уже для решения дисциплинарных вопросов в новой области исследования» [Киященко 2006: 17]. По мнению Ю. Миттельштрасса, междисциплинарность направлена на преодоление дисциплинарных тупиков, блокирующих развитие научных проблем и поиск их соответствующих решений [Mittelstrass 1993]. С позиции В.Г. Буданова междисциплинарность определяется, в частности, как согласование языков смежных дисциплин, а также и как транссогласование языков дисциплин не обязательно близких [Буданов 2010: 978]. В своей работе И.В. Измайлов и Б.Н. Пойзнер обращают особое внимание на то, что при создании междисциплинарной системы знаний различают «целеполагающую дисциплину» (выступающую инициатором междисциплинарного взаимодействия) и «ресурсную дисциплину» (предоставляющую материал) [Измайлов, Пойзнер 2011]. В целом же можно говорить о том, что предпосылкой междисциплинарности является практически и теоретически обусловленная потребность в кооперации усилий разных наук, их консолидации в процессах изучения определенного объекта (предметной области, проблемы), выявления его новых системозначимых качеств и свойств, формирования его так называемого панорамного видения. Явление междисциплинарности помещает или погружает исследуемый объект (исследуемую проблему) в **новую реальность многомерного и разновекторного изучения**, расширяет методологические границы его (ее) познания и обогащает существующую теоретическую базу.

При разработке **метаязыка междисциплинарной науки**, несомненно, важно учитывать то, на базе или посредством каких конкретно наук он формируется. Следует признать, что метаязыки междис-

<sup>1</sup> Следует отдельно отметить, что рядом ученых подчеркивается нетождественность междисциплинарности таким явлениям, как полидисциплинарность (или мультидисциплинарность) и трансдисциплинарность (напр., в [Измайлов, Пойзнер 2011]).

циплинарных направлений, создаваемых на базе или под патронажем лингвистики, характеризуются своей особой спецификой.

Особенность ситуации, в которой протекает построение метаязыка междисциплинарной науки номинативного типа «**лингвистика + [наука Z]**» или «**[наука Z] + лингвистика**» (например, *социолингвистика, психолингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, теолингвистика, лингвистическая философия* и проч.), обусловлена следующими значимыми факторами.

Прежде всего, необходимо принять во внимание саму специфику метаязыка лингвистики. Она заключается в том, что метаязык лингвистики «консубстанционален» с объектом изучения, т. е. имеет тождественную с ним субстанцию, в то время как метаязык прочих наук «не консубстанционален» с объектом изучения (ср., напр., культура как объект изучения в культурологии и метаязык культурологии; общество как объект изучения в социологии и метаязык социологии; психические процессы как объект изучения в психологии и метаязык психологии) [Гвишиани 1986], [Комарова 2012]. При интеграции лингвистики с другими научными дисциплинами данный факт имеет принципиальное значение и требует учета.

Кроме того, определенную проблему представляет собой и другой факт. За рассматриваемой номинативной формулой («лингвистика + [наука Z]» или «[наука Z] + лингвистика») может реально присутствовать гораздо более широкий контекст дисциплинарных взаимодействий и междисциплинарных отношений, чем то, что эксплицитно репрезентируется в конкретных компонентах, составляющих ее (т. е. эту формулу). Процесс интеграции лингвистики с другими научными дисциплинами (социологией, психологией, культурологией, политологией и проч.) неизбежно влечет за собой объединение или, скорее, взаимодействие их метаязыковых систем, в котором актуальными продолжают оставаться и их собственное историческое развитие, и их собственные связи с другими научными дисциплинами, и их наличный арсенал сложившихся методологий.

Поэтому с учетом указанных и ряда других факторов формирование метаязыка междисциплинарной науки по типу «лингвистика + [наука Z]» или «[наука Z] + лингвистика» представляется не просто синтезом метаязыков интегрируемых научных дисциплин. Судя по всему, это сложный многоэтапный процесс выработки на новых общих теоретических и методологических основаниях оптимально эффективных понятийно-терминологических средств изучения и описания «усложненного» исследовательского объекта, выявления и раскрытия его сущ-

ностных свойств и качеств, его места и роли в целостном пространстве бытия человека. Характерно при этом то, что его «усложнение» происходит посредством «нового» объекта или метода, т. е. по принципу «**язык + [объект науки Z]**» или «**язык + [метод науки Z]**». Именно с таких позиций нам представляется наиболее целесообразным подходить к изучению формирования метаязыка лингвокультурологии.

В качестве рабочей мы принимаем следующую развернутую дефиницию метаязыка лингвокультурологии. Под **метаязыком лингвокультурологии** в настоящей главе понимается **сложно организованная формация, ядром которой является система концептуально связанных и методологически обусловленных понятийно-терминологических единиц** (иначе, **метаединиц**). Данная система призвана обеспечить, с одной стороны, изучение, описание и построение или конструирование (моделирование) такого сложного объекта лингвокультурологии, как культура и язык в их взаимодействии (интеракции), с целью постижения глубинной сущности этого объекта во всем объеме его внутренних и внешних связей с человеком и миром, а с другой стороны, выход на более высокий уровень научной саморефлексии в отношении глубины и всесторонности его (т. е. этого объекта) познания. Благодаря этой системе реализуется передача (межпоколенная и кросскультурная) лингвокультурологической информации и ее накопление. Основными характеристиками метаязыка лингвокультурологии следует, с нашей точки зрения, признать открытость, постоянное развитие и ориентированность на процесс конвенционализации, что придает ему больше определенности и в известной мере «однозначности».

Вполне очевидно, что построение метаязыковой системы лингвокультурологии осуществляется на базе **метадиалектов существующих (действующих) лингвокультурологических школ и метадидиалектов их представителей**. В метадиалектах можно наблюдать использование как одних и тех же (или весьма близких, аналогичных) терминологических понятий, так и терминологических понятий с ограниченным узусом функционирования (т. е. только или преимущественно в каком-то конкретном метадиалекте). Принимая во внимание первый факт, представляется возможным говорить о наличии в целостной метаязыковой системе лингвокультурологии единиц особого порядка, которые можно было бы определить как **базисные единицы ее метаязыка**.

Выявление и описание базисных единиц представляют собой первостепенную задачу. При этом под базисными единицами следует понимать не только терминологические понятия с высокой степенью распространенности и функциональной нагрузки в метадиалектах существ-

вующих лингвокультурологических школ, в число которых входят, например, такие термины, как «(лингво)культурный концепт», «концептосфера», «культурная информация», «(лингво)культурная компетенция», «личность», «символ», «культурная коннотация», «культурно-языковая идентичность», «культурно-национальная специфика» и проч. К числу базисных следует, на наш взгляд, отнести, прежде всего, те терминологические понятия, которые имеют следующие основные характеристики: ориентированность на общую междисциплинарную проблематику и продуктивность в ее изучении и стоящих центральных задач, непосредственная связь с ключевыми теоретическими положениями (постулатами) лингвокультурологии, связь с конкретной лингвокультурологической методологией (методом, методикой, приемом) или методологическая обоснованность, обладание особой объяснительной силой или особой описательной способностью в раскрытии наиболее релевантных аспектов лингвокультурологического объекта, его природы и сущностных свойств. **Базисные единицы метаязыка лингвокультурологии** можно считать, по всей видимости, **константами**, посредством которых обеспечивается его концептуальная связанность как целостной системы, основанной на сложном комплексе взаимных отношений составляющих ее единиц. Важно отметить и то, что помимо констант (базисных единиц) выделяется и **вариативная зона терминологических понятий**, употребляющихся в отдельных метадиалектах и являющихся при этом общепризнанными. Следовательно, полное рассмотрение процесса формирования метаязыка лингвокультурологии предполагает, по нашему мнению, изучение как константных, так и вариантных метаязыковых единиц. Их соотношение и взаимосвязь представляют собой предмет отдельного изучения, которое выходит за рамки настоящего обсуждения.

Как представляется, особую роль в создании метаязыка лингвокультурологии (прежде всего, его базисных единиц) играет междисциплинарный трансфер. Перейдем к обсуждению его специфики и принципов протекания.

#### **4. Междисциплинарный трансфер в формировании метаязыка лингвокультурологии: принципы vs. этос метаязыкового творчества**

При изучении междисциплинарного трансфера необходимо прежде всего прояснить вопрос о его отношении к близкому, но не иден-

тичному, с нашей точки зрения, процессу *транстерминологизации*, в исследовании которого на сегодняшний день уже накоплен значительный научный опыт.

По сложившейся на сегодняшний день традиции под транстерминологизацией принято понимать процесс переноса термина одной науки в терминосистему другой науки [Суперанская et al. 2012: 203]. Термины, подвергаемые такого рода переносу, получают обозначение «транстермины». В результате транстерминологизации образуются междотраслевые (или междисциплинарные, межнаучные) омонимы, ср.: *изоморфизм* в математике и *изоморфизм* в лингвистике. При этом, по замечанию А.В. Суперанской, Н.В. Подольской и Н.В. Васильевой, «переноситься может как отдельный термин, так и некоторый терминологический блок, включающий сопряженные с центральным термином понятия» [Там же]. К примеру, в языкознании отмечается наличие терминов, перенесенных в него из биологии: *эволюция*, *морфология*, *организм*, *смерть* (языковая), *мертвые языки* и др.; из логики: *пропозиция*, *пресуппозиция*, *референция* и проч. (см. тж. [Баранов 2003]). К одной из разновидностей транстерминологизации может относиться «ретерминологизация – “возвращение” термина из другой области знания, куда он был перенесен, в “свою” область с новым значением, сформировавшимся у него в другой области» [Суперанская et al. 2012: 203]. При изучении процесса транстерминологизации особое внимание уделяется выявлению научных дисциплин, послуживших теми источниками, из которых осуществляется перевод (перенос) терминов в создающуюся терминосистему, анализу изменения внутреннего содержания и внешнего облика перенесенных терминов, их переинтерпретации в ходе адаптации к новой научной среде их функционирования, специфики их «встраивания» в работу формирующегося понятийно-терминологического аппарата.

Следует особо подчеркнуть, что о транстерминологизации говорят преимущественно тогда, когда речь идет о формировании *отраслевой* (или *дисциплинарной*) *терминосистемы*, иначе говоря, когда речь идет об одном из наиболее продуктивных способов создания терминосистемы какой-либо развивающейся научной дисциплины (например, социологии, политологии, математики, физиологии и т. д.). Формирование же *метаязыка междисциплины* (ее понятийного аппарата), какой является лингвокультурология, имеет свою особую специфику, с учетом которой данный процесс представляется целесообразным описывать как междисциплинарный трансфер (см. тж. [Демьянков 2015], [Постовалова 2015]).

Проведенное нами изучение специфики формирования и функционирования ряда базисных единиц метаязыка лингвокультурологии, среди которых «(лингвокультурный) концепт», «культурная память», «личность», «культурная информация», «концептосфера», «лингвокреативность», «(лингво)когнитивный стиль» и некоторые другие, позволяет выработать определенное понимание междисциплинарного трансфера (см. подробнее в [Зыкова 2011; 2013; 2014; 2016]). На основании проведенного анализа можно полагать, что **междисциплинарный трансфер** является особой **технологией метаязыкового творчества**, многоэтапным (многоступенчатым), достаточно сложным и протяженным во времени процессом построения метаязыковой системы междисциплины, в частности лингвокультурологии. Данный процесс базируется на (многократной) интеграции знания из разных смежных с ней дисциплин и других междисциплин и, соответственно, на взаимодействии их терминосистем, в ходе которого происходит сопряжение и корреляция их отдельных понятийно-терминологических единиц и в результате отбор, перенос, адаптация и дальнейшее развитие последних в новой научной (лингвокультурологической) среде. В плане осмысления возможных внешних стимулирующих этот процесс факторов и его внутренних механизмов, которое позволяет выявить наиболее общие принципы и общий характер его протекания, можно обратиться к рассмотрению основных результатов исследования понятия «**концептосфера**», являющегося одной из ключевых единиц метаязыка лингвокультурологии (см. тж. [Зыкова 2014, 2015]).

Как известно, так называемым непосредственным источником, из которого понятие «концептосфера» трансферируется (или переносится) в область лингвокультурологии, являются прежде всего филологические и культурологические труды академика Д.С. Лихачева. Другими словами, в лингвокультурологию данное понятие попадает, условно говоря, из двух смежных научных дисциплин – филологии и культурологии. При этом, однако, источниками формирования самого понятия «концептосфера» являются, в свою очередь, другие науки – философия и естествознание. По замечанию Д.С. Лихачева, мысль о существовании концептосферы пришла к нему под влиянием философа С.А. Аскольдова-Алексеева. Однако само терминологическое обозначение «концептосфера» было создано по аналогии с терминами естествоиспытателя В.И. Вернадского «ноосфера» и «биосфера» [Лихачев 1993]. Дальнейшее изучение данного понятия позволяет выявить более сложный характер междисциплинарного трансфера. Он предполагает не просто некую последовательность «дисциплинарных переходов» понятия кон-

цептосферы, а «подключение» к процессу его формирования некоего комплекса знаний, источником которых выступают разные научные области. Иначе говоря, совершается «импортирование» научного знания в определенную целевую научную область, благодаря которому становится возможным его создание и его функционирование в лингвокультурологии.

Несмотря на появление терминологического понятия «концептосфера» в метаидиолекте конкретного ученого, проведенное исследование позволяет говорить о том, что его возникновение было подготовлено определенным ходом эволюции научных представлений о глобальных процессах, связанных с познанием человеком мира и с закреплением и сохранением полученного знания в культуре и языке – двух различных по своей природе, но взаимодействующих семиотических системах. Значимые этапы этой эволюции знаменуются последовательным появлением (за счет интеграции усилий в изучении этих глобальных процессов различных наук) целого ряда родственных понятий, по сути, создавших необходимые условия для появления понятия «концептосфера» (см. подробнее в [Зыкова 2015]). С одной стороны, это такие понятия, как «ноосфера», «смыслосфера», «логосфера» и «семиосфера», с другой стороны, понятия «модель мира», «картина мира» и «образ мира».

Согласно полученным данным, благодаря становлению и развитию первой группы понятий выкристаллизовывается и укрепляется важная научная идея о наличии особого пространства бытия человека, особой формы его существования, иначе говоря, идея о наличии отличной от природы *сферы* жизни и деятельности человека, в пределах которой он живет и с которой он взаимодействует, выступая по отношению к ней одновременно и ее субъектом (актором, творцом), и объектом ее воздействия. Однако ни одно из четырех «сферных» понятий («ноосфера», «смыслосфера», «логосфера» и «семиосфера») не было ориентировано на изучение непосредственно самой языковой системы, процессов ее формирования и развития как результатов познавательной и культурной деятельности человека. Вторая же группа понятий («модель мира», «картина мира» и «образ мира»), напротив, нацелена на исследование естественного языка как особой знаковой системы с позиции процесса концептуализации (как познавательного процесса). Посредством этих трех «мировых» понятий изучается то, как человек, воспринимая внешний по отношению к нему мир, интерпретирует его, создавая его модель, картину, образ; как в ходе познавательной деятельности человека создается его (т. е. мира) языковая модель, языковая картина

или языковой образ; как последние феномены, обладая определенной объективностью, коррелируют с субъективно существующими (или индивидуальными) «формами» мира, представляющими собой модель мира личности, картину мира личности или образ мира личности, соответственно. Однако разработка понятий «модель мира», «картина мира» и «образ мира» была направлена главным образом на выявление, регистрацию и описание результатов концептуализации в естественном языке, а не на объяснение самого процесса (его природы, специфики и характера протекания, обуславливающих его факторов), связанного не только с языком, а приводящего прежде всего к формированию культуры.

Таким образом, на базе научных представлений, разработанных посредством взаимодействия данных понятийно-терминологических единиц метаязыковых систем разных дисциплин и междисциплин в изучении конкретных вопросов, происходит детерминация новых проблемных областей и обнаруживается потребность в новом понятии, которым и становится «концептосфера».

При переносе в область лингвокультурологии начинается адаптация понятия «концептосферы» к теоретическим установкам данной междисциплинарной области и его методологически обусловленное развитие, одним из значимых результатов которых является выделение трех ее взаимосвязанных разновидностей – «концептосферы культуры», «концептосферы языка» и «концептосферы личности» (см., напр., работы [Чулкина 2005], [Купчик 2006]). Характерно, что как само понятие «концептосфера», так и все его разновидности получают различные векторы смыслового развития в идиолектах представителей разных лингвокультурологических школ или исследователей, занимающихся лингвокультурологической проблематикой, которые обусловлены главным образом поиском решений конкретных задач частных научных исследований. Сравним несколько определений.

По мнению В.А. Виноградова, концептосфера представляет собой систему (изоморфную по сложности культуре) концептов, основными видами отношений между которыми служат отношение включения (по «вертикали») и отношение комотивации (по «горизонтали») [Виноградов 2010]. В.И. Карасик определяет концептосферу как совокупность концептов – многомерных образований, которые включают ценностную, образную и понятийную составляющую [Карасик 2002]. Согласно трактовке В.Н. Телия, «концептосфера культуры – это особый, отличный от естественного языка семиотический симбиоз, который складывается из нескольких ее предметных областей – культуры мате-

риальной – всей совокупности артефактов, несущих наряду с функционально-“вещным” их бытием надличностный культурный смысл, из плодов социального и духовного самосознания человека как личности в микро- и макрокосмосе, которые сформировались на основе “коллективных представлений” (по К. Леви-Брюлю)» [Телия, Дорошенко 2008: 210]. Следуя научно-исследовательской линии В.Н. Телия, в работе [Зыкова 2014] мы продолжили разработку методов и принципов лингвокультурологического анализа, в ходе которой потребовалось уточнить понимание данного терминологического понятия. Согласно проведенному исследованию, концептосфера культуры – это «сложнейшее системное образование, создаваемое из ценностной информации, которая вырабатывается в результате познания неким сообществом (как коллективом личностей) действительности, т. е. в результате определенных форм переживания и осмысления этим сообществом в целом и каждым отдельным его представителем мира во всем его многообразии, и которая получает при этом определенную концептуальную оформленность (упорядоченность) и воплощение в невербальных знаках самой разной природы, составляющих различные и взаимосвязанные семиотические области культуры» [Зыкова 2015: 21].

Следует отметить, что достаточно широкий диапазон варьирования существующих в настоящее время трактовок понятия «концептосфера» может объясняться не столько расхождениями, порождаемыми возможным различием основополагающих идей или концепций, сколько фокусированием исследователей на разных аспектах стоящего за ним явления, исследуемого в рамках общей лингвокультурологической проблематики. Это способствует, как нам видится, его более тщательной и всесторонней проработке, приводящей в итоге к вычленинию общего набора его наиболее релевантных свойств и характеристик. К тому же немаловажной представляется и та роль, которую играют в развитии понятия «концептосфера» и исследования в смежных с лингвокультурологией междисциплинах, таких как психолингвистика, лингвосемиотика, когнитивная лингвистика, этнолингвистика, теолингвистика, межкультурная коммуникация и проч. (см., например, [Караулов, Филиппович 2009], [Постовалова 2010], [Янушкевич 2009]). Результаты, знание и опыт, получаемые в данных областях при изучении концептосферы, могут быть также «вовлечены» в процесс междисциплинарного трансфера при формировании рассматриваемого понятия в метаязыковой системе лингвокультурологии.

Обобщая результаты исследования понятия «концептосфера» и ряда других лингвокультурологических понятий, представляется возмож-

ным сделать несколько выводов. Междисциплинарный трансфер можно считать одной из ведущих технологий создания метаязыка лингвокультурологии. Одним из основных принципов междисциплинарного трансфера является интегрирование знания разных наук и на его основе импортирование и одновременно генерирование метаязыковых единиц лингвокультурологии, совокупно образующих иерархически организованную систему. Ядром этой системы являются базисные понятия, иначе определяемые нами как лингвокультурологические константы. Они «отвечают» за концептуальную целостность устройства метаязыка, его эффективность в изучении лингвокультурологического объекта, за определенную методологическую ориентированность, а также за «встроенность» метаязыковых единиц лингвокультурологии в общий контекст научного знания, обеспечиваемую их когерентностью и взаимодействием с сопредельными терминологическими понятиями других дисциплин и междисциплинарных областей.

## 5. Заключение

Проблема формирования метаязыка лингвокультурологии масштабна, сложна, актуальна и малоизучена. Особой значимостью в ее исследовании обладает в первую очередь принятие или выработка определенной позиции в отношении ее так называемых «исходных величин», которыми являются *лингвокультурология* и *метаязык*. В связи с этим в настоящей главе уточнялся прежде всего вопрос о статусе лингвокультурологии, которую мы считаем самостоятельной междисциплинарной областью знания (или междисциплиной). В качестве отдельной нами ставилась задача прояснения понятия «метаязыка» в силу существования различных мнений в отношении его понимания. Наиболее важными в этой связи оказались вопросы о различных (широкой и узкой) интерпретациях метаязыка, о его соотношении с понятием «терминология» и связи с понятием «метаречь», о дифференциации метаязыка на метадиалекты, складывающиеся в свою очередь из метаидиолектов отдельных ученых и исследователей, представителей конкретных научных школ. Итогом обсуждения указанных вопросов стала разработка авторской рабочей дефиниции метаязыка лингвокультурологии. Как показало исследование, в силу постнеклассической широкомасштабной тенденции к интеграции наук можно говорить о появлении метаязыков «нового поколения» – метаязыков междисциплин, к числу которых относится и метаязык лингвокультурологии. На базе ре-

зультатов изучения ряда базисных лингвокультурологических понятий («личность», «концепт», «культура», «лингвокреативность», «культурная память» и др.), специфика которого была продемонстрирована в настоящей главе посредством рассмотрения понятия «концептосфера», были выявлены в достаточно общем ключе принципы междисциплинарного трансфера – процесса, лежащего в основе их создания.

Подводя итог, отметим, что результаты, полученные на данном этапе исследования, позволяют сделать общее заключение о том, что **формирование метаязыка лингвокультурологии, составляющих его единиц – особый акт метаязыкового творчества.** Метаязык лингвокультурологии формируется в результате разного рода междисциплинарных переносов понятийно-терминологических средств (и главным образом стоящих за ними знаний), которые проходят со временем необходимую адаптацию к теоретическим, методологическим и прикладным задачам рассматриваемой научной области. Рожденная в или благодаря определенной понятийной системе и перенесенная в лингвокультурологию та или иная метаединица проходит многоэтапное развитие. Начиная свой путь в идиолекте отдельных исследователей-лингвокультурологов, определенное понятие или термин, получая распространение, укореняется в метадиалекте конкретной лингвокультурологической школы. Выходя постепенно и за пределы последней, она становится значимой частью целостной метаязыковой системы лингвокультурологии, глубинно (концептуально) связанной с остальными ее составляющими. В целом, как представляется, посредством междисциплинарного трансфера осуществляется не только развитие, но и обновление метаязыковой системы лингвокультурологии за счет импортирования в нее не столько новых единиц, сколько релевантных знаний как источников, из которых черпаются внутренние ресурсы лингвокультурологии для всецелостного постижения ее особого объекта – культуры и языка в их взаимодействии.

### Литература

- Арнольд И.В.* Основы научных исследований в лингвистике. М., 2016.
- Ахманова О.С.* К вопросу об основных понятиях метаязыка лингвистики // Вопросы языкознания, № 5, 1961.
- Ахманова О.С.* и др. О принципах и методах лингвистического исследования. М., 1966.
- Баранов А.Н.* Введение в прикладную лингвистику. М., 2003.

- Беляевская Е.Г.* Язык в контексте культуры или культурологическая информация в языке? // Живодействующая связь языка и культуры. М.-Тула, 2010. Т. 1.
- Брагина Н.Г.* Фрагмент лингвокультурологического лексикона (базовые понятия) // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
- Буданов В.Г.* Синергетическая методология сборки субъекта междисциплинарного моделирования и постнеклассических практик // Философия в диалоге культур. М., 2010.
- Виноградов В.А.* Языковая семантика в пространстве культуры // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, № 4 (2), 2010.
- Гвишиани Н.Б.* Язык научного общения (вопросы методологии). М., 2013.
- Демьянков В.З.* Метаязык как конструкт культуры // Под знаком «Мета»: Материалы конференции «Языки и метаязыки в пространстве культуры». М.-Калуга, 2011.
- Демьянков В.З.* Языковые следы трансфера знаний // Когнитивные исследования языка, 23, 2015.
- Денисов П.Н.* Очерки по учебной лексикологии и учебной лексикографии. М., 1974.
- Зыкова И.В.* Культура как информационная система: Духовное, ментальное, материально-знаковое. М., 2011.
- Зыкова И.В.* О личности: Лингвокультурологические заметки // Язык, сознание, коммуникация, № 46, 2013.
- Зыкова И.В.* Роль концептосферы культуры в формировании фразеологизмов как культурно-языковых знаков: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. М., 2014.
- Зыкова И.В.* Концептосфера культуры и фразеология: теория и методы лингвокультурологического изучения. М., 2015.
- Зыкова И.В.* Лингвокреативность с позиции лингвокультурологии: Теория, метод, анализ // Язык, сознание, коммуникация, № 53, 2016. (в печати)
- Иванова С.В., Чанышева З.З.* Лингвокультурология: Проблемы, поиски, решения (монография). Уфа, 2010.
- Измайлов И.В., Пойзнер Б.Н.* Аксиоматическая схема исследования динамических систем: От критериев их разобщения к самоизменению. Томск, 2011.
- Карасик В.И.* Языковой круг: Личность, концепты, дискурс. Волгоград, 2002.
- Караулов Ю.Н., Филиппович Ю.Н.* Лингвокультурное сознание русской языковой личности. М., 2009.

- Касавин И.Т.* Междисциплинарность в науках и философии. М., 2010.
- Киященко Л.П.* Феномен трансдисциплинарности – опыт философского анализа // *Santalka. Filosofija. Vilnius*, 14 (№ 1), 2006.
- Киященко Л.П., Моисеев В.И.* Философия трансдисциплинарности. М., 2009.
- Ковальчук М.В., Нарайкин О.С., Яцишина Е.Б.* Конвергенция наук и технологий – новый этап научно-технического развития // *Вопросы философии*, № 3, 2013.
- Ковшова М.Л.* Словарь лингвокультурологических терминов: Идея, принципы, схема, опытный образец // *Язык, сознание, коммуникация*, 46, 2013.
- Комарова З.И.* Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике (учебное пособие). Екатеринбург, 2012.
- Кравченко А.В.* О предметной области языкознания // *Язык и мысль: Современная когнитивная лингвистика*. М., 2015.
- Красных В.В.* «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003.
- Купчик Е.В.* Поэтический мир А. Городницкого: Образная репрезентация концептосферы: Дисс. ... д-ра филол. наук. Тюмень, 2006.
- Ласло Э.* Основания трансдисциплинарной единой теории // *Синергетическая парадигма: Многообразие поисков и подходов*. М., 2000.
- Лихачев Д.С.* Концептосфера русского языка // *Известия РАН (СЛЯ)*, 52 (№ 1), 1993.
- Мирский Э.М.* Междисциплинарные исследования и дисциплинарная организация науки. М., 1980.
- Никитина С.Е.* Семантический анализ языка науки: На материале лингвистики. М., 2014.
- НФЭ – Новая философская энциклопедия. М., 2001.
- Опарина Е.О.* Лингвокультурология: Методологические основания и базовые понятия // *Язык и культура (сб. обзоров)*. М., 1999.
- Попова Л.В.* Лингвистический термин: Проблема качества (опыт сопоставления «Комплексного словаря терминов функциональной грамматики»). М., 2011.
- Постовалова В.И.* Язык и духовный мир человека. Религиозные концепты в «антропологическом» представлении // *Живодействующая связь языка и культуры*. М.-Тула, 2010. Т. 1.
- Постовалова В.И.* Идея «МЕТА» в самосознании культуры XX–XXI веков // *Метафизика*, № 4(6), 2012.
- Постовалова В.И.* О путях и принципах трансферизации знания в гуманитарном познании (к постановке вопроса) // *Когнитивные исследования языка*, 23, 2015.

- Степанов Ю.С. Метаописание в исторической грамматике // Вестник МГУ. Серия 7. Филология, журналистика, № 2, 1962.
- Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. М., 2012.
- Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
- Телия В.Н., Дорошенко А.В. Лингвокультурология – ключ к новой реальности феномена воспроизводимости несколькихсловных образований // Язык. Культура. Общение. М., 2008.
- Чулкина Н.Л. Концептосфера русской повседневности как объект лингвокультурологии и лексикографии: Дисс. ... д-ра филол. наук. М., 2005.
- Янушкевич И.Ф. Лингвосемиотика англосаксонской культуры: Дисс. ... д-ра филол. наук. Волгоград, 2009.
- Frodeman R., Mitcham C., Klein J.T. (eds) The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford, 2010.
- Klein J.T. Interdisciplinarity: History, Theory and Practice. Detroit, 1990.
- Mittelstrass J. Interdisziplinarität oder Transdisziplinarität? // Utopie Wissenschaft. Munich–Vienna, 1993.

## глава 2.3. Неполная переводимость как механизм познания и коммуникации

И.А. Пильщиков

15 апреля 1960 г., выступая в Нью-Йорке на Симпозиуме по математическим аспектам структуры языка с докладом «Лингвистика и теория коммуникации», Роман Якобсон познакомил лингвистов с «предложением Шеннона определять информацию как “то, что является инвариантом при всех обратимых операциях кодировки или перевода”, или, короче, как “эквивалентный класс всех таких переводов» [Jakobson 1960/1971: 578]<sup>1</sup>. Слава Герович в «Истории советской кибернетики», процитировав определение *смысла* у И.А. Мельчука («<...> смысл есть <...> инвариант всех синонимических преобразований, т. е. то общее, что имеется в равнозначных текстах» [Мельчук 1974: 10])<sup>2</sup>, замечает, что «Мельчук превратил шенноновское определение информации (information) в определение значения (meaning)» [Gerovich 2002: 239]. В действительности операциональное отождествление информации и семантики произошло гораздо раньше: уже в упомянутом докладе Якобсон говорит, что лингвистическое представление о «семантической информации» совпадает / перекликается (concurr with) с шенноновским определением информации стохастических процессов<sup>3</sup>.

В 1960-е годы шенноновскую дефиницию неоднократно цитировал Б.А. Успенский, причем в одних случаях относил ее к информации [Успенский 1962б: 37; 1965: 126], а в других – к значению [Успенский 1962а: 125]. В 1969 году, сославшись на Шеннона как на первоисточник, он повторил «известное – как в математике, так и в лингвистике и семи-

<sup>1</sup> Перевод здесь и далее мой. Доклад Клода Шеннона, на который ссылается Якобсон, см.: [Cybernetics 1951: 157], ср. [Shannon 1950/1952: 262; Шеннон 1950а/1963: 461].

<sup>2</sup> Здесь и далее выделения в цитатах, за исключением особо оговоренных случаев, принадлежат цитируемым авторам.

<sup>3</sup> Речь является стохастическим (вероятностным) процессом с точки зрения слушающего, но, по-видимому, не с точки зрения говорящего [Jakobson 1960/1971: 575–576; Хоккетт 1961/1965: 139].

отике – определение смысла (информации) как инварианта при обратимых операциях перевода» [Успенский 1969: 489, примеч. 4]. Исходя из этого определения, Успенский приходит к выводу, что «понятия значения и перевода характеризуются <...> принципиальной дополнителностью по отношению друг к другу: мы можем говорить о тождественности содержания, выражаемого на разных языках, лишь в той степени, в какой эти языки переводимы друг на друга, но степень переводимости, в свою очередь, определяется близостью содержания» [Успенский 1969: 489]<sup>1</sup>. В следующем году определение Шеннона-Успенского одобрительно процитировал Ю.М. Лотман, добавив: «Это определение выражает, видимо, наиболее точно понятие значения» [Лотман 1970: 47].

Здесь, однако, перед нами встает вопрос не столько о степени переводимости, сколько о самом «признании возможности перевода с языка на язык» [Успенский 1969: 489], или, вернее, принципиальной возможности (или невозможности) адекватного / точного / полного перевода. Такая возможность может быть поставлена под сомнение по нескольким причинам.

Первая причина – это недостаточная обоснованность представления о том, что может существовать содержание, предшествующее общению и, таким образом, независимое от сообщения. Именно по этой линии развивается критика послевоенной семиотики в записях М.М. Бахтина 1960-х – начала 1970-х годов: «Семиотика занята преимущественно передачей готового сообщения с помощью готового кода» [Бахтин 1979: 352; 2002: 380]<sup>2</sup>.

Вторая причина, как видно уже из бахтинской цитаты, – это недостаточная обоснованность представления о том, что может существовать содержание сообщения, независимое от кода. Такому взгляду на вещи может быть противопоставлено представление о лингвозависимости и лингвоспецифичности любого содержания (начиная с гипотезы лингвистической относительности Сепира-Уорфа и кончая новейшими исследованиями в области изучения языковой картины мира).

Третья причина – это недостаточная обоснованность представления о том, что отправитель и получатель сообщения владеют одним и тем же кодом. Хотя Jakobson подчеркивал, что естественный язык является «основной, первичной, важнейшей семиотической системой»

<sup>1</sup> Ср. те же фрагменты во франкоязычном варианте этой статьи, где также присутствует отождествление информации (information) и смысла (sens), но отсутствует упоминание Шеннона [Uspenskij 1968: 126].

<sup>2</sup> См. также комментарий Л.А. Гогтишвили к этой записи [Бахтин 2002: 565–566].

[Jakobson 1952/1971: 556], в классической яacobсоновской модели коммуникации код не обладает всеми свойствами языка – прежде всего потому, что код гомогенен, а язык гетерогенен (и Яacobсон понимал это как никто другой). Гетерогенность языка вызывается как минимум двумя факторами:

1. В отличие от кода, язык имеет историю – отсюда внутренняя ди-ахроничность любой синхронии.

2. Помимо общей «макроистории», язык имеет индивидуальную историю – точнее, множество индивидуальных историй: у каждого из нас свой, сложившийся в ходе индивидуального развития, уникальный вариант общенационального языка (идиолект). Уже поэтому, в отличие от кода, языки говорящего и слушающего никогда полностью не совпадают. Не совпадают они и в силу различия между грамматиками говорящего и слушающего. Отсюда принципиальный полиглотизм любого акта коммуникации и в конечном счете полиглотизм культуры.

Первый из этих факторов обсуждается в книге, открывшей серию тартуских «Трудов по знаковым системам» – «Лекциях по структуральной поэтике», где Лотман замечает: «...язык заключает в себе не только код, но и историю кода» [Лотман 1964: 48]. К этой же мысли он возвращается в одной из своих последних книг:

«...абстрактная модель коммуникации подразумевает не только пользование одним и тем же кодом, но и одинаковый объем памяти у передающего и принимающего. Фактически подмена термина “язык” термином “код” совсем не так безопасна, как кажется. <...> Язык – это код плюс его история. Такое понимание коммуникации таит в себе фундаментальные выводы» [Лотман 1992/2000: 15]<sup>1</sup>.

О том, каковы эти выводы, нам предстоит сказать дальше. Пока же отметим, что тезис о том, что «язык содержит в себе собственную историю» был (впервые?) четко сформулирован в 1928 г. в знаменитых пражских тезисах Ю.Н. Тынянова и Р.О. Яacobсона. Соавторы объявляют ревизию «синхронической концепции» Ф. де Соссюра и Женевской школы:

«Чистый синхронизм теперь оказывается иллюзией: каждая синхроническая система имеет свое прошедшее и будущее как неотделимые структурные элементы системы (а. архаизм как стилевой факт; языковой и литературный фон, который осознается как изживаемый,

<sup>1</sup> Подробнее см.: [Andrews 2003: 17; Франк 2012: 24–25].

старомодный стиль; *b.* новаторские тенденции в языке и литературе, осознаваемые как инновация системы)» [Тынянов, Якобсон 1928: 36].

В следующем, 1929 году пункт о соотношении синхронического и диахронического методов был в развернутой форме включен в Тезисы Пражского лингвистического кружка (в подготовленный Якобсоном раздел 1b) и в брошюру Якобсона “*Remarques sur l'évolution phonologique du russe*” (см. [Depretto 2009: 142–143; Matejka 1997: 181]) – там он характеризует подобные явления как примеры «проекции диахронии в синхронии (*projection de la diachronie dans la synchronie*)» [Jakobson 1929: 15].

«О необходимости различать активную и пассивную грамматику» первым заговорил, по всей видимости, Л.В. Щерба [Щерба 1945: 179 и др.]. Якобсон упоминает о нем в докладе «Лингвистика и теория коммуникации» в связи с реактуализацией этой проблемы в работах нового поколения русских лингвистов. Вскоре Б.А. Успенский опубликовал в эпохальном 4-томном фestsрифте Якобсону фундаментальную статью, обосновывающую необходимость выделения в коммуникативной модели двух противопоставленных систем – «говорящего» и «слушающего»:

«...наряду с общим для обоих участников кодом языка можно говорить о специальной *системе говорящего*, т. е. своего рода кодирующем устройстве, позволяющем синтезировать текст (переходить от сообщения к тексту), и о *системе слушающего*, т. е. о декодирующем устройстве, позволяющем, напротив, анализировать текст (переходить от текста к сообщению)» [Успенский 1967: 2089].

Акт коммуникации становится, таким образом, актом *перевода* с языка (идиолекта, грамматики) говорящего на язык (идиолект, грамматику) слушающего. В результате утрачивается модельное единство факторов коммуникации. Именно такую «ревизию» якобсоновской схемы провел Ю.М. Лотман:

«Согласно Р. Якобсону, **адресант**, учитывая **контекст**, формулирует при помощи **языка сообщение**, которое при наличии **контакта** он передает **адресату**. По Ю.М. Лотману же акт коммуникации вообще не есть передача готового сообщения: не только язык не возможен до и вне текста – то же самое справедливо и для всех прочих якобсоновских компонентов. Контекст – это со-текст (кон-текст), он не может существовать до текста; в той же мере, в какой текст зависит от контекста,

и контекст зависит от текста. Акт коммуникации есть акт перевода, акт трансформации: текст трансформирует язык, адресата, устанавливает контакт между адресантом и адресатом, трансформирует самого адресанта. Более того, текст трансформируется сам и перестает быть тождественным самому себе» [М. Лотман 1995: 218–219].

Но если любой акт коммуникации есть акт перевода, возникает парадокс: с одной стороны, значение обнаруживается или даже формируется только в процессе перевода; с другой стороны, любой перевод трансформирует исходное (с точки зрения адресанта) значение, порождая новое. Так или иначе, значение оказывается себе-не-равным, а беспрестанно трансформируемым в процессе означивания и переозначивания (семиозиса). По классификации Якобсона, перевод, в зависимости от типа кода, может быть внутриязыковым, межъязыковым и межсемиотическим [Jakobson 1959: 233], но во всех случаях он оказывается возможным благодаря «эквивалентности при различии» (“equivalence in difference”) [Ibid.], а «догма неперевоидмости» [Ibid.] опровергается самой возможностью коммуникации. По Якобсону, семиотические системы характеризуются полной «взаимной переводимостью» [Ibid.], по Лотману – неполной.

«Таким образом, если Якобсон трактует “неперевоидмость” как помеху коммуникации, устраняемую определенными процедурами, то Лотман усматривает в феномене неперевоидмости (или, точнее, осложненной переводимости) продуктивный механизм культуры, который, затрудняя человеческое общение, делает его, в конечном счете, более насыщенным и более интенсивным, приводит к порождению новых культурных смыслов» [Автономова 2011: 29; ср. 2009: 259].

Вследствие несовпадения языков «ни один перевод никогда не переводит все, что содержится в оригинале, и каждый перевод добавляет нечто от себя» [Автономова 2008: 10, примеч. 7]. Значит, «новое» неизбежно есть не только приращение, но и частичная утрата. Что-то из утраченного восстановится на следующем витке смыслопорождения, что-то останется ждать «своего часа» в той семиотической вселенной, которую Карл Поппер называл «Третьим миром» (World Three), а Лотман – «семиосферой».

Итак, лотмановская трансформация якобсоновской схемы коммуникации обладает объяснительной силой в отношении феномена культурного полиглотизма и продуктивной неперевоидмости, которые, в

свою очередь, могут служить теоретическим обоснованием продуктивности культурных трансферов:

«Парадоксальным образом перевод <...> дает нам новые шансы приближения к универсальному, только не заранее заданному, но искомому и отчасти достигаемому в процессе постоянного расширения интеллигибельного пространства. <...> Общность между радикально различными языками и культурами может быть найдена в самой способности перемещаться от одной формы умопостигаемости к другой: в итоге таких перемещений происходит многократное реконфигурирование, рекатегоризация мысли и в итоге намечается общая сфера интеллигибельности» [Автономова 2008: 488, 494].

При этом яacobсоновская схема – не только полезное теоретическое обобщение. Она и сама как факт культуры является примером интеллектуального и культурного трансфера, аккумулирующим базовые концепты русского формализма и чешского структурализма, бюлеровской теории языковых функций и шенноновской теории коммуникации. Рассмотрение этой схемы с точки зрения истории философского и научного перевода, выясняющей «его роль в создании понятий, концептуальных систем, философских языков», оказывается полезным для самой философии и теории языка: «Перевод дает то, что можно назвать продуктивной релятивизацией познавательного предмета в гуманитарном познании: он предполагает отрыв от наивной сращенности предмета и слова и показывает, что эта связь гораздо сложнее, чем мы думаем...» [Автономова 2008: 7, 13]. При таком подходе «перевод предстает не только как посредник в межкультурном и межъязыковом обмене, но и как условие возможности любого познания в социальной и гуманитарной области» [Там же: 7].

Вспомним, как выглядит яacobсоновская модель коммуникации в ее классической формулировке (русский текст – перевод И.А. Мельчука), чтобы затем проследить историю формирования схемы и генезис ее отдельных элементов. В статье «Лингвистика и поэтика», завершающей сборник материалов конференции «Стиль в языке» (Университет Индианы, апрель 1958), Яacobсон выделил шесть «конститутивных факторов [constitutive factors]» коммуникативного акта:

«(1) *Адресант* [ADDRESSER] посылает (2) *сообщение* [MESSAGE] (3) *адресату* [ADDRESSEE]». «Чтобы сообщение могло выполнять свои функции [to be operative], необходимы»:

(4) «контекст [CONTEXT], о котором идет речь [referred to]» и который «должен восприниматься адресатом», быть ему известен (в другой терминологии – «референт [referent]»)<sup>1</sup>;

(5) «код [CODE], полностью или хотя бы частично общий для адресанта и адресата»;

(6) «и, наконец, контакт [CONTACT] – физический канал [channel] и психологическая связь между адресантом и адресатом, обуславливающие возможность установить и поддерживать коммуникацию» [Jakobson 1958/1960: 353; Якобсон 1958/1975: 198].

В соответствии с доминирующей установкой на один из этих компонентов определяются шесть функций языка:

(1) *эмотивная* [EMOTIVE], она же экспрессивная [expressive], – установка на адресанта;

(2) *поэтическая* [POETIC], она же эстетическая [aesthetic], – установка на само сообщение<sup>2</sup>;

(3) *конативная* [CONATIVE] – установка на адресата;

(4) *референтивная* [референциальная, REFERENTIAL], она же денотативная [denotative] или когнитивная [cognitive], – установка на контекст / референт;

(5) *метаязыковая* [METALINGUAL], она же глоссирующая [glossing], или (в русском глоссирующем переводе) «функция толкования», – установка на код;

(6) *фатическая* [RHATIC] (термин Б. Малиновского<sup>3</sup>, на которого прямо ссылается Якобсон) – установка на контакт, проверка канала связи (см.: [Jakobson 1958/1960: 353–356; Якобсон 1958/1975: 198–203]).

Для осуществления полноценного коммуникативного акта необходима одновременная реализация большинства или даже всех функций, но структура сообщения зависит от того, какая функция доминирует, а какие находятся в подчиненном положении и какова их иерар-

<sup>1</sup> В русском переводе отсутствует этимологическая/словообразовательная связь между referer и referent.

<sup>2</sup> Ср.: “this poetic (or aesthetic) function” [Jakobson 1952/1971: 558].

<sup>3</sup> См. [Malinowski 1923: 314 et passim] – статья, опубликованная в приложении к знаменитой книге Ч.К. Огдена и Айвора А. Ричардса “The Meaning of Meaning”, в которой изложена концепция «семиотического треугольника» (symbol – reference – referent).

хия [Jakobson 1958/1960: 353]. Таким образом, помимо конститутивных факторов коммуникативного акта, для определения функций и их влияния на структуру сообщения добавляются два новых концепта: «*установка*» и «*доминанта*».

Термин «установка» был введен Якобсоном в определение поэтической / эстетической функции еще на первом этапе формирования многофункциональной модели языка. В «Новейшей русской поэзии» (1921) Якобсон переосмысливает раннеопоязовскую дихотомию «поэтического» и «практического» языков как дихотомию языковых функций и функциональных разновидностей языка. Он противопоставляет поэтический язык не только «практическому», но и «эмоциональному», описывая их в терминах преобладающей либо, наоборот, редуцированной к минимуму «эстетической функции» и фактически определяет последнюю как «установку на выражение»:

«...поэзия <...> есть ничто иное, как *высказывание с установкой на выражение* <...>; функция коммуникативная <sic!>, присущая как языку практическому, так и языку эмоциональному, здѣсь <sic!> сводится к минимуму. <...>

Поэзия есть язык в его эстетической функции» [Якобсон 1921: 10–11].

В позднейшей англоязычной работе Якобсон так и не смог подобрать для термина «установка» общепринятого английского эквивалента, остановившись на термине *set*. Но, во-первых, восприятию английского термина мешает паразитическая омонимия с *set* ‘набор, комплект’ и связанным с последним значением математическим термином *set* ‘множество’. Во-вторых, использованное Якобсоном существительное *set* в сочетании “*a set toward(s)*” обозначает лишь перцептивный аспект «установки» – ‘склонность к чему-либо; готовность к принятию чего-либо’. Именно в этом значении термин *set* употреблялся в американской психологии восприятия, где он к тому же напрямую связывался с соответствующим пассивным причастием, как в классической формулировке Г. и Л.Б. Мерфи: “The “attitude” is primarily a way of being “set” toward or against things” [Murphy, Murphy 1931: 615]. Между тем в формалистической теории термин «установка» имеет тройное значение: 1) «интенциональная ориентация сознания» – с точки зрения рецептивной эстетики; 2) авторское намерение – с точки зрения продуктивной эстетики; 3) определенное устройство текста как результат продуктивной организации материала – с точки зрения эстетики артефакта [Hansen-Löve 1988: 161]. В ранней якобсоновской дефиниции «все три аспекта “установки” сходятся в одном общеэстетическом принципе,

т. е. в принципе автофункциональности, авторефлексивности, интранзитивности всех эстетических актов или текстов» [Ibid.: 161–162].

Чтобы избежать не(до)понимания, Якобсон предлагает для термина *set* сразу три перевода – два внутриязыковых (*orientation* и *focus*) и один межъязыковой (*Einstellung*). В «Лингвистике и поэтике» референциальная функция определяется как “a *set* (*Einstellung*) toward the referent, an orientation toward the context”, а поэтическая – как “the *set* (*Einstellung*) toward the message as such, focus on the message for its own sake” [Jakobson 1958/1960: 353, 356]. В русском переводе, соответственно, использованы слова «установка (*set*) на референт», «направленность (*set*) на сообщение как таковое», «ориентация (*orientation*) на контекст» и «сосредоточение внимания (*focus*) на сообщении ради него самого» [Якобсон 1958/1975: 198, 202] (курсив мой. – И.П.).

Добавленная переводчиком синонимия «установка ~ направленность» одновременно правомерна и проблематична. Об этом свидетельствует спектр возможных интерпретаций немецкого *Einstellung*. С одной стороны, это непосредственный источник русской «установки» и английского «*set*», термин немецкой физиологической психологии, введенный, как известно, учеником Вильгельма Вундта Людвигом Ланге [Lange 1888] и впоследствии неоднократно переосмыслявшийся [Асмолов 1979]. Немаловажно, что в ранней статье «Футуризм» Якобсон называет «установку» «термином психологии» [Якобсон 1919/1987: 415]. С другой стороны, эмпирико-психологической (феноменалистической) интерпретации «установки» противостоит феноменологическая. Введенное Гуссерлем понятие “*phänomenologische Einstellung*” главный русский гуссерлианец Густав Шпет тоже переводит как «установка», а синонимом «установки» у Шпета, как и у Гуссерля, становится «интенциональность» (*Intentionalität*) – направленность сознания (*Gerichtesein des Bewußtseins*), устанавливающая соответствие между содержанием сознания и «эйдетическими структурами» сущности переживаемых предметов» [Hansen-Löve 1988: 164–165, ср. 175 примеч. 4]. Вот что писал Шпет:

«Гусерль <sic!> <...> характеризуетъ его <бытіе> вообще, какъ “интенціональность”. Такимъ образомъ, открывається широкое поле для изслѣдованія какъ самого этого бытія, такъ и всѣхъ другихъ его формъ и видовъ какъ въ ихъ взаимномъ коррелятивномъ отношеніи, такъ и въ ихъ коррелятивномъ отношеніи къ интенціональному бытію. Но особое преимущество Гусерля <...> что предметъ феноменологіи онъ получаетъ <...> путемъ только перемѣщенія устремленія “зрѣнія”, путемъ иной, какъ онъ самъ говоритъ, “установки»» [Шпет 1914: 21–22].

Хотя полемика между сторонниками Jakobson и Шпета вскоре расколола Московский лингвистический кружок на «эмпириков» и «феноменологов» [Тоддес, Чудакова 1981: 240–241], о чем Jakobson сокрушался и сорок лет спустя [Jakobson 1965/1971: 532], трактовка «установки / интенциональности» в Jakobsonовском определении языковых функций вполне совместима с гуссерлианской [Holenstein 1975: 58–59, 168]. Более того, как показал М.И. Шапир (см. [Шапир 1990: 278; 1999: 144–145, 150–152]), отказ Jakobsona от определяемого термина «эстетическая функция» и предпочтение ему термина «поэтическая функция», известного нам по «Лингвистике и поэтике», произошел под влиянием гуссерлианца Шпета (см. [Шпет 1923: 66]) и поддержавшего его Г.О. Винокура<sup>1</sup>, который писал:

«...отграничить область поэтического в кругу стилистических явлений должен помочь нам <...> признак функции. Взятое в смысле вещи слово выполняет функцию, слову, как знаку, не присущую. Иные называют эту функцию эстетической. Я предпочитаю быть более осторожным: пусть это будет функция просто **поэтическая**: слово может быть поэтическим, не вызывая в то же время никаких эмоций, в том числе и эстетических. <...> Поэтическая функция через слово рассказывает нам, что такое само слово, тогда как <...> остальные функции нам рассказывают через слово о чем-то другом» [Винокур 1923: 110].

С другой стороны, Jakobsonовское определение поэтической функции 1921 года оперирует с теми же базовыми понятиями, что и Тыняновский терминологический аппарат 1920-х годов – «доминанта», «установка», «функция» [Чудаков, Чудакова, Тоддес 1977: 493]. Близость эта поразительна, поскольку Jakobson и Тынянов не сотрудничали и лично ни разу не встречались до 1928 года, то есть до того момента, как написали в Праге совместные тезисы, о которых уже говорилось выше (ср. [Jakobson 1974/1979]). Собственно, в Jakobsonовской и Тыняновской трактовке перечисленных терминов различно лишь понимание «функции»: телеологическое у Jakobsona и антитеологическое (корреляционное) у Тынянова [Depretto 2012].

В позднейшем Jakobsonовском описании функциональной модели языка функция, определяющая тип текста, называется “predominant function” [Jakobson 1958/1960: 353]. В переводе И.А. Мельчука исполь-

<sup>1</sup> Из бывших сторонников Jakobsona и Опяза наибольшее влияние Шпета испытал именно Винокур [Шапир 1990: 315].

зовано словосочетание «преобладающая функция» [Якобсон 1958/1975: 198]. Такое словоупотребление в переводе вполне правомерно – ср. “preponderant function” в том же контексте у Якобсона в докладе 1952 года [Jakobson 1952/1971: 558]. При этом, однако, теряется эксплицитно выраженная связь с теорией «доминанты».

Проблеме доминанты посвящена восьмая, заключительная лекция спецкурса о русском формализме, прочитанного Якобсоном по-чешски в Брненском университете в 1935 г.<sup>1</sup> Полный текст спецкурса был впервые опубликован на чешском языке в 2005 г., а в русском переводе – в 2011 г. (см. [Jakobson 1935/2005; Якобсон 1935/2011]), однако лекция о доминанте стала известна гораздо раньше, еще при жизни исследователя. Она была опубликована в виде отдельной статьи в 1971 г. по-английски, в 1973 г. по-французски (в переводе с английского) и в 1976 г. по-русски (также в переводе с английского) [Jakobson 1935/1971; 1935/1973; Якобсон 1935/1976]. В начале статьи Якобсон называет «доминанту» «одним из важнейших, наиболее разработанных и продуктивных понятий теории русского формализма» и дает дефиницию:

«Доминанту можно определить как фокусирующий компонент (the focusing component) художественного произведения: она подчиняет, определяет и трансформирует остальные компоненты» [Jakobson 1935/1971: 82].

Выражение «фокусирующий компонент» звучит туманно. Расшифровать его поможет сопоставление с чешским оригиналом, которое выявляет связь этого терминологического сочетания с «направленностью». Словосочетанием “*focusing component*” в английском тексте переведено чешское словосочетание “*směrodatná složka*” (‘решающий, определяющий, ведущий компонент’) [Jakobson 1935/2005: 87]. По своей внутренней форме *směrodatný* – это “*dávající, určující směr*”, то есть ‘дающий, указывающий определяющий направление’ [SSJČ 1966: s. v. “směrodatný”]. В свете этого сопоставления становится яснее использование Якобсоном английского *focus* в качестве глоссирующего синонима «установки»: это не столько «сосредоточение» внимания (см. выше), сколько фиксация его на определенном аспекте, в определенном направлении, «ориентация».

Далее в лекции (и, соответственно, в статье) Якобсон объясняет, что, поскольку «поэтическое произведение не сводится к эстетической функции», а «эстетическая функция не ограничивается поэтическим

<sup>1</sup> О доминанте Якобсон рассказывал 6 июня 1935 г.

произведением», необходимо «определение эстетической функции как доминанты поэтического произведения». «Поэтическое произведение <...> это такое словесное произведение, такое языковое высказывание, в котором эстетическая функция является доминантой» [Jakobson 1935/2005: 88–89; Якобсон 1935/2011: 78–79]. Ср. в «Лингвистике и поэтике»:

«Любая попытка ограничить сферу поэтической функции поэзией или свести поэзию к поэтической функции представляет собой ложное чрезмерное упрощение. Поэтическая функция является не единственной функцией словесного искусства, а лишь его доминантной, определяющей функцией, тогда как во всех прочих видах речевой деятельности она выступает как второстепенный, вспомогательный компонент» [Jakobson 1958/1960: 356].

В переводе И.А. Мельчука «доминантная, определяющая функция» (“dominant, determining function”) становится «центральной определяющей функцией» [Якобсон 1958/1975: 202]. Связь с теорией «доминанты» и здесь оказывается затушеванной<sup>1</sup>.

Непосредственным источником понятия «доминанта» в теории формалистов стала книга Бродера Христиансена «Философия искусства», вышедшая по-немецки в 1909 г. и по-русски (в переводе Г.П. Федотова) в 1911 г. По Христиансену, эстетический объект создается благодаря перцепционному синтезу всех впечатлений, получаемых от артефакта. В синтезе участвуют четыре фактора (Faktoren): предмет / содержание (Gegenstand), форма (Form), материал (Stoff) и технические средства (Methode / Hantierung)<sup>2</sup>. Один из факторов, занимающий в синтезе господствующее положение, называется «доминантой» (die Dominante) [Christiansen 1909: 242 и далее; Христиансен 1909/1911: 204 и далее; Ханзен-Лёве 1978/2001: 305–307; Heller 2010: 38]. На Христиансена прямо ссылается Б.М. Эйхенбаум, который первым из русских формалистов (в 1922 г.) использовал обсуждаемый концепт (см. [Ханзен-Лёве 1978/2001: 301–302; Hansen-Löve 1986: 16; 2012: 236]):

«Художественное произведение всегда – результат сложной борьбы различных формирующих элементов, всегда – своего рода компро-

<sup>1</sup> Ср. при этом: “...along with the dominant poetic function” [Jakobson 1958/1960: 357]; «Наряду с поэтической функцией, которая является доминирующей ...» [Якобсон 1958/1975: 203].

<sup>2</sup> Л. Геллер отмечает, что Г.П. Федотов всегда переводит их на русский язык словом прием(ы) [Heller 2010: 38].

мисс. Элементы эти не просто сосуществуют и не просто “соответствуют” друг другу. В зависимости от общего характера стиля тот или другой элемент имеет значение организующей *доминанты*, господствуя над остальными и подчиняя их себе» [Эйхенбаум 1922: 9].

К выделенному слову сделано примечание: «Термин Б. Христиансена – см. его книгу “Философия искусства”». Тынянов в статье «Ода как ораторский жанр», датированной тем же 1922-м годом, но опубликованной лишь в 1927 году, ссылается на обоих предшественников:

«Совершенно ясно, что каждая литературная система образуется не мирным взаимодействием всех факторов, но главенством, выдвигнутостью одного (или группы), функционально подчиняющего и окрашивающего остальные. Такой фактор носит уже привившееся в русской научной литературе название доминанты (*Христиансен, Б. Эйхенбаум*). Это не значит, однако, что подчиненные факторы неважны и их можно оставить без внимания. Напротив, этой подчиненностью, этим преобразованием всех факторов со стороны главного – и сказывается действие главного фактора, доминанты» [Тынянов 1922/1927: 102].

В этом определении обращает на себя внимание пространственная метафора: *выдвигнутость* одного фактора по отношению к другим. Аналогичное описание фактуры художественного текста как рельефной Тынянов дает в статье «О литературной эволюции» (первоначальное название – «Вопрос о литературной эволюции», 1927):

«В виду того, что система не есть равноправное взаимодействие всех элементов, а предполагает выдвигнутость группы элементов (“доминанта”) и деформацию остальных, произведение входит в литературу, приобретает свою литературную функцию именно этой доминантой» [Тынянов 1927/1971: 277].

Концепция деформации или трансформации, сформулированная Тыняновым в связи с вопросом о доминанте, подробно изложена в его книге «Проблема стихотворного языка» (1924)<sup>1</sup>. Эйхенбаум в апологе-

<sup>1</sup> В письме к Г.О. Винокуру от 7 ноября 1924 г. (в ответ на замечания по поводу «Проблемы стихотворного языка») Тынянов признавался: «Термин „деформация“ у меня неудачен, надо бы „трансформация“, – тогда все было бы на месте» (цит. по: [Чудаков, Чудакова, Тоддес 1977: 517]).

тической «Теории “формального метода”» описывает эту концепцию как личный вклад Тынянова в разработку теории доминанты:

«Тынянов указывает на то, что материал словесного искусства неоднороден и неоднозначен, что “один момент может быть выдвинут за счет остальных, отчего эти остальные деформируются, а иногда низводятся до степени нейтрального реквизита”» [Эйхенбаум 1925/1927: 140; Тынянов 1924: 8].

Такое конструктивное господство одного элемента над другими Ян Мукаржовский, развивая идеи Тынянова, называл «актуализацией» (*aktualisace*). Термин *актуализация*, ставший известным благодаря работам Мукаржовского (прежде всего, статье «Литературный язык и поэтический язык»<sup>1</sup>) и Тезисам Пражского лингвистического кружка (1929), обычно переводят на английский как *foregrounding* (‘выдвижение на первый план’). Этот глоссирующий перевод предложил в 1964 г. Пол Гарвин [Garvin 1964: 43–44], и с тех пор он стал общепринятым. Случайно или намеренно перевод сумел вернуть к жизни исходную пространственную метафору.

В статье «Ода как ораторский жанр» Тынянов непосредственно связывает термины «установка» и «доминанта»:

«Установка есть <...> доминанта произведения (или жанра), функционально окрашивающая подчиненные факторы <...>» [Тынянов 1922/1927: 103].

Здесь важен еще один термин – «фактор», входящий в терминологическое сочетание «подчиненные факторы». Тынянов противопоставляет их «конструктивному фактору», а «отношение конструктивного фактора к подчиненным» называет «конструктивным принципом» [Тынянов 1924/1971: 261–262]. Определение «конструктивного фактора», которое Тынянов дает в статье «Литературный факт» (1924), идентично его же определениям доминанты:

«Своеобразие литературного произведения – в приложении конструктивного фактора к материалу, в “оформлении” (т. е. по существу – деформации) материала. Каждое произведение – это эксцентрик, где конструктивный фактор не растворяется в материале, не “соответству-

<sup>1</sup> “Jazyk spisovný a jazyk básnický” (1932).

ет” ему, а эксцентрически с ним связан, на нем выступает» [Тынянов 1924/1971: 261]<sup>1</sup>.

Таким образом, Тынянов модифицирует терминологическую пару «факторы – доминанта», которая присутствует уже у Христиансена (см. выше).

В «Лингвистике и поэтике» Якобсон называет базовые элементы акта коммуникации «конститутивными факторами» (“constitutive factors”). В русском переводе они названы «основными компонентами», но при повторном их упоминании (“these six factors”) – «факторами» [Якобсон 1958/1975: 197, 198]. Эта терминологическая непоследовательность маскирует генеалогию якобсоновских формулировок. Как видно из вышеизложенного, «конструктивный фактор» у Тынянова – это понятие, непосредственно соотносимое с теорией «доминанты». Связь с ней, эксплицитно выраженная в английском тексте Якобсона, в русском переводе утрачена.

Новый этап в развитии функциональной модели языка, последовавший за русскоязычными работами Тынянова и Якобсона 1920-х годов, ознаменовали неоднократно уже упоминавшиеся Тезисы Пражского лингвистического кружка, подготовленные к Первому Международному съезду славистов в Праге (1929). Существенная для исследователя языковых и культурных трансферов черта Тезисов ПЛК – их коллективное и многонациональное авторство. Лингвистическое, культурное и концептуальное многоязычие, ориентированное на выработку позитивного научного консенсуса, принципиально для характеристики ПЛК (ситуация резко и трагически изменилась лишь в 1938–1939 гг. с началом германского протектората – нацистской оккупации Чехии) [Pilščík 2015]. В 1920-е годы рабочими языками ПЛК были чешский, немецкий и французский, в 1928 г. – также русский<sup>2</sup> (см. [PLK 2012: 68–104]). Среди авторов Тезисов – филологи с родным чешским языком (Я. Мукаржовский, В. Матезиус, Б. Гавранек и др.) и родным русским

<sup>1</sup> Это каламбур: слово *выступать* употреблено здесь сразу в двух значениях (‘1. выдвигаться, выдаваться’ и ‘2. представлять перед публикой’). Отметим à propos и каламбурное соотношение метафоры «эксцентрика» с тыняновской концепцией взаимоотношений «центра» и «периферии», изложенной в той же статье.

<sup>2</sup> По-русски были прочитаны доклады К.П. Богатырева (11.5.1928) и Ю.Н. Тынянова (16.12.1928). Доклад Б.В. Томашевского прозвучал в ПЛК по-французски (7.2.1928), Н.С. Трубецкой выступал по-немецки (18.12.1928), Г.О. Винокур – тоже, по-видимому, по-немецки (9.11.1928).

(Р. Якобсон). Тезисы были при этом опубликованы по-французски и по-чешски [Thèses 1929; These 1929/2012]. Вот как рассказывает о работе над Тезисами участник и первый историк Пражской школы Йозеф Вахек:

«...Тезисы представляют собой не индивидуальное, а коллективное произведение. Они стали результатом многочисленных заседаний специально назначенной для этой цели комиссии, в которую обычно входили Матезиус, Якобсон, Гавранек, Трнка и Мукаржовский, а иногда и некоторые другие члены Кружка, чаще всего М. Вейнгарт <...>. Встречи продолжались в течение нескольких месяцев и проходили так: каждый раздел Тезисов подготавливался одним из членов комиссии и затем совместно обсуждался всеми ее членами. Таким образом, окончательную редакцию <Тезисов> можно назвать подлинно коллективным произведением<sup>1</sup>. Авторы же первоначальных вариантов каждого раздела определить нетрудно: разделы 1 и 2а были сформулированы Якобсоном, 2б – Матезиусом, 3аб – Гавранком, 3с – Мукаржовским и т. д.» [Vachek 1983: 287].

Ученик Якобсона Стивен Руди (Рудый) указывает, что раздел о поэтическом языке (3с) был написан не одним Мукаржовским, а совместно Мукаржовским и Якобсоном [Rudy 1976: 478]. Действительно, если в пункте 3с(2) однозначно опознаётся рука Мукаржовского («Средства выражения <...> в языке коммуникации имеющие тенденцию к автоматизации, в поэтическом языке имеют тенденцию к актуализации»), то в пункте 3с(5) заметно «присутствие» Якобсона. Вот как звучит этот пункт по-французски:

*“...l’indice organisateur de l’art, par lequel celui-ci se distingue des autres structures sémiologiques, c’est la direction de l’intention non pas sur le signifié, mais sur le signe lui-même. L’indice organisateur de la poésie est l’intention dirigée sur l’expression verbale. Le signe est une dominante dans un système artistique <...>”* [Thèses 1929: 21].

То есть:

*«...организующий признак искусства, которым оно отличается от других семиологических структур, – это направленность интенции не*

<sup>1</sup> Именно так авторство Тезисов было определено в редакторском предисловии к первому тому Трудов ПЛК: “œuvre collective du Cercle Linguistique de Prague”.

на означаемое, а на сам знак. Организующий признак поэзии – интенция, направленная на словесное выражение. В художественной системе доминантой является знак <...>».

Помимо совмещения двух терминологических систем – соссюрианской (*семиология, означаемое, знак*) и формалистической (*художественная система, доминанта*), здесь интересен выбор терминологического сочетания, передающего исходный яacobсоновский термин «установка». Во французском тексте использованы два варианта описательной конструкции с базовым термином “intention” (‘интенция’) и дополнительным “direction” (‘направление’) / “dirigée” (‘направленная’): “direction de l’intention (sur...)” и “l’intention dirigée sur...”. В чешской версии в обоих случаях употреблено существительное “zaměření” (‘направление, направленность’) в предикативной конструкции “je zaměření (na...)” [These 1929/2012: 727]. Zaměření – это “orientace, tendence” (‘ориентация, тенденция’) [SSJČ 1971: s. v. “zaměření”], существительное от глагола zaměřit – “urč<it> směr, tendenci n<eb> cíl, orientovat”, то есть ‘задавать направление, тенденцию либо цель, ориентировать’ [SSJČ 1971: s. v. “zaměřiti”]<sup>1</sup>. Глагол zaměřit обычно переводится на английский как *to focus*, существительное zaměření – как *focus* либо *orientation*. Эти соответствия были впоследствии воспроизведены при переводе яacobсоновской лекции о доминанте с чешского на английский.

Принятый русский перевод Тезисов ПЛК в соответствующих предложениях оба раза использует существительное *направленность* (на...) [Звегинцев 1965: 136; ПЛК 1967: 32]. О связях этого термина с русско-немецкой «установкой» и немецко-русско-французской «интенцией» можно только догадываться. Впрочем, сам выбор синонима вполне характерен для советской редакторской политики 1960-х годов. С.Г. Бочаров, редактировавший переиздание книги Бахтина о Достоевском (1963), в комментариях к 6-му тому Собрания сочинений Бахтина вспоминает, что «единственным неременным условием, поставленным автору издательством “Советский писатель”», было исправление «устаревшей» философской терминологии: согласно внутренней рецензии члена редсовета издательства Е.Ф. Книпович, первый вариант книги (1929) был написан «языком философских журналов первого десятилетия нашего <т. е. XX> века», что совершенно недопустимо [Бахтин 2002: 486, ср. 482]. Фактически же единственной группой терминов, которую автору пришлось заменить последовательно по всему тексту,

<sup>1</sup> Ср. также чеш. zaměřit pozornost ‘обратить внимание’.

оказались термины *интенция*, *интенциональный* и *интенциональность* [Там же: 483, 486]. В записях того же времени, связанных с переработкой книги и подготовкой ее итальянского издания, Бахтин определяет «интенцию» как «направленность» (*на что-либо или к чему-либо*) [Там же: 313, 316]. Однако многочисленные авторские замены дают более богатую синонимию («предметно направленный», «смысловая направленность», «отношение», «замысел» и т. д.) [Там же: 487–492]. По этому поводу С.Г. Бочаров справедливо замечает:

«Потеря терминов “интенция” и “интенциональный”, несомненно, была со стороны автора жертвой и означала известную утрату в единстве философского языка книги, поскольку термины эти были одними из центральных и стержневых, поддерживавших и скреплявших такое единство. В то же время разнообразие и богатство эквивалентов, найденных автором для такой замены, выявляли и обнаруживали смысловой диапазон заменяемого понятия и давали, таким образом, его раскрытие по существу, маскируемое монотонней единого термина» [Там же: 486].

Полный список замен позволил комментатору «представить таким образом раскрытие смыслового спектра этого понятия в теоретическом сознании автора» [Там же: 492]. Сходная методика использована и в некоторых разделах настоящей статьи.

В Тезисах ПЛК «поэтическая функция» языка противопоставлена только одной функции – коммуникативной («функции общения»). Согласно пункту 3а(3), речевая деятельность (*le langage*) «имеет либо функцию общения <франц. *une fonction de communication*; чеш. *funkce sdělovací*>, то есть направлена к <франц. *...est dirigé vers...*; чеш. *...je namířena na...*> означаемому, либо поэтическую функцию <франц. *une fonction poétique*; чеш. *funkce poetická*>, то есть направлена к самому знаку» [Thèses 1929: 14; These 1929/2012: 721; ПЛК 1967: 25]. Полифункциональная модель коммуникации, дифференцирующая различные коммуникативные функции, была предложена через несколько лет австрийским психолингвистом Карлом Бюлером и затем принята Пражской школой. Бюлер разрабатывал свою «модель языка как органа» («Organon-Modell») с 1918 по 1934 г., опираясь, по его собственным словам, на «три выдающиеся языковые теории прошлого» – труды Г. Пауля, Гуссерля и Соссюра [Бюлер 1934/1993: 10], а свое окончательное воплощение она обрела в книге Бюлера “Sprachtheorie” («Теория языка», 1934) [Ammann 1988; Булыгина 1993]. Первым бюлеровскую модель взял на воорууже-

ние Н.С. Трубецкой, коллега Бюлера по Венскому университету, – он изложил ее во введении к своим «Основам фонологии» (“Grundzüge der Phonologie”, 1939), составившим 7-й том «Трудов ПЛК» [Трубецкой 1939/1960: 22–23]<sup>1</sup>.

«Органон-модель» строится на «тезисе о трех языковых функциях» [Бюлер 1934/1993: 38]. Исходный пункт рассуждения – «высказанная Платоном в диалоге “Кратил” мысль о том, что язык есть *organum*, служащий для того, чтобы один человек мог сообщить другому нечто о вещи (*Ding*)» [Там же: 30]. Платон, таким образом, перечисляет «три реляционных основания (*Relationsfundamente*)» [Bühler 1934: 25]<sup>2</sup>, которые отчасти отражены в самих естественных языках как грамматическая система 1/2/3-го лица [Jakobson 1958/1960: 355; Якобсон 1958/1975: 200]. Эти три элемента Бюлер называет «отправитель» (*Sender*), «получатель» (*Empfänger*) и «предметы и ситуации» (“*Gegenstände und Sachverhalte*”) [Bühler 1934: 28; Бюлер 1934/1993: 34]. В соответствии с установленной триадой выделяются три аспекта языковой деятельности (*Leistung*)<sup>3</sup>, которые Бюлер первоначально<sup>4</sup> называл «изъявлением (*Kundgabe*)<sup>5</sup>, побуждением (*Auslösung*) и репрезентацией (*Darstellung*)», но затем переименовал два первых аспекта в «экспрессию» (*Ausdruck*) и «апелляцию» (*Appell*) [Bühler 1934: 2, 28; Бюлер 1934/1993: 10, 34]. Соответственно выделяются три функции языка: *экспрессивная* (*Ausdrucksfunktion*), *апеллятивная* (*Appellfunktion*) и *репрезентативная* (*Darstellungsfunktion*). Обосновывая замену второго термина триады, автор дает неожиданное и полностью редко цитируемое разъяснение:

<sup>1</sup> В середине 1920-х годов ранней версией бюлеровской модели (1918–1922) интересовался А.А. Буслаев [Freiberger-Sheikholeslami 1982: 158]. Алексей Александрович Буслаев (1897–1965; правнук академика Ф.И. Буслаева), был (наряду с Якобсоном и Богатыревым) соучредителем Московского лингвистического кружка и (наряду с Якобсоном, М.Н. Петерсоном, Винокуром и Н.Ф. Яковлевым) одним из его председателей, а затем членом шпетовской Комиссии по изучению проблемы формы при Философском отделении РАХН / ГАХН. В полемике между якобсоновцами и шпетовцами занимал сторону Шпета.

<sup>2</sup> В русском переводе – «три реляционных элемента» [Бюлер 1934/1993: 30].

<sup>3</sup> В русском переводе *Leistung* неудачно переведено как «функция» [Бюлер 1934/1993: 34], в результате чего появляется паразитическая омонимия с «функцией» в смысле ‘*Funktion*’. В английском переводе Д. Гудвина выбран термин *performance* [Bühler 1934/1990: 2, примеч. 1, et passim].

<sup>4</sup> В статье «Критический очерк современных теорий предложения» (“*Kritische Musterung der neuen Theorien des Satzes*”, 1918).

<sup>5</sup> Этот термин ранее использовали Вундт и Гуссерль [Bühler 1934/1990: 2, примеч. 1].

«Сегодня я предпочитаю <этот термин> <...>, поскольку латинское слово *appellare* <‘обращаться’> (по-английски *appeal* <‘обращаться’>, по-немецки что-то вроде *ansprechen* <‘обращаться к кому-либо’>) точнее соответствует второму понятию; как теперь знает всякий, имеется *sex appeal*, рядом с которым *speech appeal* кажется мне столь же осязаемым фактом» [Bühler 1934: 29; Бюлер 1934/1993: 34].

Вводя термин «апеллятивная функция» (*Appellfunktion*), Бюлер апеллирует (*pun intended*) к английскому языку. Между тем именно этот термин в английском не прижился и был заменен термином «конативный», который мы находим в коммуникативной схеме Якобсона. Полузабытый, воскрешенный Якобсоном и в других контекстах крайне редко употребляемый психологический термин *conative* взят из старой триады «аффективный – конативный – когнитивный» (“*affective – conative – cognitive*”; соответствующие существительные: “*cognition – affection – conation*”) [Hilgard 1980]. По данным Google Books Ngram Viewer, пик частотности *conative / conation* приходится на 1910–1920-е годы, а после 1930 г. употребление этой группы терминов идет на спад. Употребительность сочетания “*conative function*”, напротив, начинает расти в 1960 г. (год выхода “*Linguistics and Poetics*”) и начинает снижаться только в 1990-е.

Для описания взаимоотношений между языковыми функциями Бюлер использует понятие, близкое к понятию «доминанты», а именно “*die Dominanz*” (‘доминантность, преобладание’). Он не ставит под сомнение «неоспоримую доминантность<sup>1</sup> репрезентативной функции языка» (“*unbestrittene Dominanz der Darstellungsfunktion der Sprache*”) [Bühler 1934: 30]. Поскольку это – «доминирующая функция» (“*die dominierende Funktion*”) [Bühler 1934: VIII; Бюлер 1934/1993: 5], автор снабжает свою книгу подзаголовком: “*Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache*” («Теория языка: Репрезентативная функция языка»). Однако та же концепция приводит его к утверждению, что в отдельных ситуациях доминировать могут и другие функции: «мы имеем дело с явлениями доминантности (*Dominanzphänomene*), в которых на первый план выступает то одна, то другая из трех основных функций звукового языка»; поэтому «каждое из трех отношений, каждая из трех <...> функций языкового знака открывает и тематизирует свою область лингвистических феноменов и фактов» [Bühler 1934: 32; Бюлер 1934/1993: 37]. Действительно, бюлеровская модель может служить для вы-

<sup>1</sup> В русском переводе – «доминантную роль» [Бюлер 1934/1993: 36].

деления разных форм речи и соответствующих областей филологического знания, например: «поэзия, проза, красноречие» (или «художественная литература, деловая проза, красноречие») – «поэтический язык, литературный язык, язык пропаганды» – «поэтика, стилистика, риторика». Сам Бюлер связывал поэзию с экспрессивной функцией языка, но уже в 1938 г. Мукаржовский в докладе «Поэтические наименования и эстетическая функция языка»<sup>1</sup>, представленном на Съезде лингвистов в Копенгагене, предложил считать бюлеровские функции «практическими» и противопоставить им четвертую функцию, эстетическую, понимаемую в соответствии с тезисами ПЛК [Holenstein 1981: 10–11].

Наконец, последним концептуальным компонентом схемы коммуникации, представленной Якобсоном в «Лингвистике и поэтике», стала концепция, изложенная Клодом Шенноном в статье «Математическая теория связи» (1948) и ряде последующих работ. В них представлена схема «системы связи» (“communication system”), состоящая из пяти основных элементов: 1) источник информации (information source); 2) передатчик (transmitter); 3) канал (channel); 4) приемник (receiver); 5) адресат (destination). Передатчик и приемник выполняют операции кодирования и декодирования информации. Кроме того, имеется еще одна сущность, не вынесенная в описание пятиэлементной схемы в качестве отдельного элемента, но зафиксированная и в самом описании, и на диаграмме, наглядно изображающей схему (“Schematic diagram of a general communication system”), – это «сообщение» (message) [Shannon 1948: 380–381; Шеннон 1948/1963: 245–246] (см. также [Шеннон 1949/1963: 433–434; 1950/1963: 403–404]).

Если из всего количества информации, содержащейся в сообщении, вычтешь избыточную (уже известную получателю) информацию, то остаточная величина может служить мерой непредсказуемости сообщения. Эту величину Шеннон назвал энтропией [Шеннон 1948/1963: 262]. Однако избыточность (redundancy) – это не помеха коммуникации, а одно из ее необходимых условий [Там же: 267]. На шенноновской диаграмме имеется еще один элемент, принципиальный для описания коммуникационной системы, – это «источник шума», порождающий шум в канале связи. Для преодоления шума требуется, чтобы сообщение было не только непредсказуемо-информативным (т. е. сообщаемым нечто «новое»), но также предсказуемо-избыточным (т. е. сообщаемым несколько раз «одно и то же»).

<sup>1</sup> Die poetische Benennung und die ästhetische Funktion der Sprache”.

Это положение имеет важные следствия не только для теории информации, но и для семиотики культуры. Для текстов культуры «граница» между энтропией и избыточностью не предзадана, а зависит от культурного фона, на котором воспринимается сообщение, от культурной системы ценностей, в которой оно интерпретируется, и, наконец, от личного культурного опыта интерпретирующего. В результате содержание сообщения оказывается себе-не-равным – различным для адресанта и адресата, а также для разных адресатов.

Нужно оговориться, что сам Шеннон предостерегал от неосмотрительного перенесения терминов и понятий теории информации в другие дисциплины. В короткой заметке “The Bandwagon” (слово, обозначающее внезапное повальное увлечение чем-либо) он писал:

«За последние несколько лет теория информации превратилась в своего рода бандвагон от науки. <...> Ученые различных специальностей <...> используют идеи теории информации при решении своих частных задач. <...> Однако поиск путей применения теории информации в других областях не сводится к тривиальному переносу терминов из одной области науки в другую. Этот поиск осуществляется в длительном процессе выдвижения новых гипотез и их экспериментальной проверки. Если, например, человек в определенной ситуации ведет себя подобно идеальному декодирующему устройству, то это является экспериментальным фактом, а не математическим выводом и, следовательно, требуется экспериментальная проверка такого поведения на широком фоне различных ситуаций» [Шеннон 1956/1963: 667–668].

Уподобление человека кодирующему и декодирующему устройству возможно лишь в результате некоторой абстракции, и эмпирическая фальсифицируемость одного из элементов этой абстракции и стала центральным пунктом лотмановской критики Якобсона:

«Лотман очень четко говорит о том, что абстракция одного-единственного языка общения (здесь имеется в виду прежде всего якобсоновская схема) является лишь ограниченно полезной, а если на нее безоговорочно полагаться, и вовсе становится вредной, дурной абстракцией. Причина этого в том, что идентичность языка передающего и языка принимающего, которую предполагает эта абстракция, встречается на эмпирическом уровне не как правило, но, напротив, как редкое исключение из обычной, “нормальной” модели коммуникации принципиально многоязычной» [Автономова 2008: 551].

Коммуникативная модель Якобсона вряд ли может быть адекватно описана как простая трансформация коммуникативной модели Шеннона [Gerovich 2002: 91–94] или функциональной модели Бюлера [Hollenstein 1981: 9–10]. Скорее, она представляет собой такое совмещение схем Шеннона и Бюлера, которое позволяет «вписать» в систему языковой коммуникации эстетическую (= поэтическую) функцию языка. Пятиэлементную схему Шеннона Якобсон упрощает до четырех элементов, объединив понятия кодирования (передатчик) и декодирования (приемник) в общее понятие «кода» (именно этот момент и сделал в конечном счете якобсоновское построение уязвимым). Начальный и конечный элементы этой схемы («адресат – канал связи – код – адресант») совпадают с трехэлементной схемой Бюлера («адресат – референт – адресант»). В объединенной схеме элементов вновь становится пять. Кроме того, и схема Шеннона и схема Бюлера включает дополнительный элемент – а точнее, не дополнительный, а основной – тот, вокруг которого и выстраивается коммуникативная ситуация. Шеннон называет его «сообщением» (“message”), а Бюлер – «конкретным звуковым (т. е. языковым) явлением» (“das konkrete Schallphänomen”) [Bühler 1934: 28]. Таким образом, элементов становится шесть.

На диаграмме, которую помещает в своей книге Бюлер, главный элемент изображен как «круг в центре треугольника» [Bühler 1934: 28]. У Якобсона сообщение тоже оказывается в центре коммуникативной схемы – и в буквальном и в переносном смысле. Для Бюлера базовая функция языка – центробежная, референциальная, предполагающая установку на означаемое. Для Якобсона базовая функция языка – центростремительная, поэтическая, предполагающая установку на означающее. Недаром в брненских лекциях он с одобрением пересказывает взгляды А.А. Потебни на поэзию как высшую форму существования языка:

«Идеалом слова является его собственная автономия, полноправие, то есть наибольший расцвет, наибольшее осуществление, максимальная актуализация <aktualisace> его внутренней формы и звуковой формы: здесь интенсивно усиливается значение слова как части пучка родственных слов, многообразие его значений, слово вступает в разнообразные действенные отношения со словами, близкими ему звуковым составом или значением. Слово становится здесь <...> не однозначной эмблемой, а символом в прямом смысле этого термина, то есть знаком многозначным, знаком о нескольких планах. Потебня ставит вопрос: где этот идеал наиболее действенно и последовательно воплощается? Ответ очевиден: в художественном творчестве, в поэзии. Значит, поэзия есть высшее проявление языка» [Jakobson 2005: 41].

Характерно, что Якобсон почти дословно повторяет формулировки из статьи Андрея Белого о Потебне (на Белого при этом не ссылаясь) [Пильщиков 2014: 61–62]:

«...идеаль мысли – автономия, т. е., умерщвление внутренней формы слова, превращение слова в эмблематический звук; идеаль слова – автономия, т. е. максимальный расцвет внутренней формы; онъ выражается въ многообразии переносныхъ смысловъ, открывающихся въ звукъ слова: слово здѣсь становится символомъ; автономия слова осуществляется въ художественномъ творчествѣ; оно же есть фокусъ словообразований» [Белый 1910: 250].

На этом фоне яснее становится фундаментальный тезис “Linguistics and Poetics” о том, что «поэтика может рассматриваться как неотъемлемая часть лингвистики»<sup>1</sup>: полноценное «изучение языка требует тщательного рассмотрения его поэтической функции» [Jakobson 1958/1960: 350], без изучения поэзии оно попросту невозможно.

На хронологическом отрезке между работами Якобсона 1920–1930-х годов и его же «Лингвистикой и поэтикой» располагается еще один важный текст, вспоминаемый сегодня реже, чем прочие перечисленные. Это доклад, прочитанный Якобсоном на конференции по антропологии и лингвистике (Университет Индианы, июль 1952 г.) и печатающийся под заглавием “Results of a Joint Conference of Anthropologists and Linguists” («Результаты объединенной конференции антропологов и лингвистов»). В докладе 1952 года впервые перечислены все компоненты схемы коммуникации, за исключением «канала связи» [Holenstein 1981: 11]:

«...любое речевое событие включает в себя сообщение и четыре элемента, с ним связанных, – отправителя, получателя, тему сообщения, а также используемый код» [Jakobson 1952/1971: 556]<sup>2</sup>.

Здесь же Якобсон повторяет и развивает определение поэтической функции как функции авторефлексивной. В качестве синонима «установки» в этом определении используется слово *emphasis* (‘выделение,

<sup>1</sup> “...poetics may be regarded as an integral part of linguistics” [Jakobson 1958/1960: 350]. В русском переводе: «...как составную часть...» [Якобсон 1958/1975: 194].

<sup>2</sup> “...any speech event involves a message and four items connected with it – the sender, the receiver, the topic of the message, and the code used”.

эмфаза'), а объектом эмфазы впервые становится не «выражение» (как в «Новейшей русской поэзии») и не «знак» (как в Тезисах ПЛК и в лекции о доминанте), а «сообщение» – *message*:

«Надлежащим предметом исследования в поэзии является именно язык, рассматриваемый с точки зрения его преобладающей функции: эмфазы на сообщении. Эта поэтическая функция, однако, не ограничивается поэзией. Имеется только разница в иерархии: эта функция может либо подчиняться другим функциям, либо становиться организующей функцией» [Jakobson 1952/1971: 558]<sup>1</sup>

Совмещая и дополняя в своей схеме схемы Бюлера и Шеннона, Якобсон, с одной стороны, прямо называет свои источники, а с другой – отчасти «скрывает» их: в докладе 1952 года упомянут Шеннон, но не Бюлер [Jakobson 1952/1971: 558], а в докладе 1958 года – Бюлер, но не Шеннон [Jakobson 1958/1960: 355; Якобсон 1958/1975: 200]. Для исследователя «культурной мобильности» [Greenblatt 2009] небезынтересно также, что ко времени написания упомянутых докладов не только Шеннон, но Якобсон с Бюлером стали американскими учеными, для которых основным средством научного самовыражения стал английский язык: Якобсон с 1949 г. занимал должность профессора Гарвардского университета, а Бюлер, эмигрировавший после аншлюса Австрии нацистской Германией, в 1945–1955 гг. был профессором психиатрии в Университете Южной Калифорнии (USC, Лос-Анджелес) и ушел в отставку в звании почетного профессора означенного университета.

Вспомним теперь, как выстроена тематическая композиция якобсоновской “Linguistics and Poetics” (вернее, той ее части, которая посвящена языковым функциям). Логика изложения такова: прежде чем говорить о поэтической функции, скажем сначала об остальных. Соображения о специфике поэтической функции – как бы вывод из предшествовавшего анализа: недаром «сообщение» как фактор коммуникации идет под номером вторым, а соответствующая этому фактору «поэтическая функция» разбирается последней. Если же мы посмотрим на историю формирования схемы, мы увидим, что обоснования для

<sup>1</sup> “The proper subject of inquiry into poetry is precisely language, seen from the point of view of its preponderant function: the emphasis on the message. This poetic function, however, is not confined to poetry. There is only a difference in hierarchy: this function can either be subordinated to other functions or appear as the organizing function”.

выделения в языке особой, поэтической функции подведены задним числом [Holenstein 1981: 6–7]. При этом связь яacobсоновских формулировок с теоретическим концептуарием 1920-х годов прослеживается в статье буквально на уровне отдельных морфем, входящих в слова-термины. Важно, однако, что по ходу дела само определение поэтической функции существенно трансформировалось. Такая трансформация – наглядный пример продуктивного переосмысления понятия в процессе множественных трансферов, включающих, в том числе, переводы с одного национального языка на другой и переключения из одной концептуальной системы в другую.

### Литература

- Автономова Н.* Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008.
- Автономова Н.* Открытая структура: Яacobсон – Бахтин – Лотман – Гаспаров. М., 2009.
- Автономова Н.* Проблема перевода в свете идеи продуктивной непереодимости (по страницам работ Ю.М. Лотмана) // Пограничные феномены культуры: Перевод. Диалог. Семиосфера. Таллинн, 2011.
- Асмолов А.Г.* Деятельность и установка. М., 1979.
- Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Бахтин М.М.* Собр. соч. М., 2002. Т. 6.
- Белый А.* Мысль и язык: (философия языка А.А. Потебни) // Логос. 1910. Кн. 2.
- Булыгина Т.В.* Карл Бюлер: Жизнь и творчество // Бюлер К. Теория языка: Репрезентативная функция языка / Пер. с нем. М., 1993.
- Бюлер К.* Теория языка: Репрезентативная функция языка [1934] / Пер. с нем. М., 1993.
- Винокур Г.* Поэтика. Лингвистика. Социология: (Методологическая справка) // Леф. 1923. № 3.
- Звегинцев В.А.* История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. М., 1965. Ч. 2.
- Лотман Ю.М.* Лекции по структуральной поэтике. Вып. 1: (Введение, теория стиха). Тарту, 1964.
- Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. М., 1970.
- Лотман Ю.М.* Культура и взрыв [1992] // Семиосфера: Культура и взрыв; Внутри мыслящих миров; Статьи. Исследования. Заметки. СПб., 2000.

- Лотман М.Ю. За текстом: Заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая) // Лотмановский сборник 1. М., 1995.
- Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «Смысл ↔ ТЕКСТ». М., 1974.
- Пильщиков И.А. «Внутренняя форма слова» в теориях поэтического языка // Критика и семиотика. 2014. № 2.
- Пражский лингвистический кружок: Сборник статей. М., 1967. (ПЛК 1967)
- Тоддес Е.А., Чудакова М.О. Первый русский перевод «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра и деятельность Московского лингвистического кружка (Материалы к изучению бытования научной книги в 1920-е годы) // Федоровские чтения 1978. М., 1981.
- Трубецкой Н.С. Основы фонологии [1939] / Пер. с нем. А.А. Холодовича. М., 1960.
- Тынянов Ю. Ода как ораторский жанр [1922] // Поэтика: Временник Отдела словесных искусств ГИИИ. Л., 1927.
- Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. Л., 1924.
- Тынянов Ю. О литературной эволюции [1927] // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Тынянов Ю., Якобсон Р. Проблемы изучения литературы и языка // Новый Леф. 1928. № 12.
- Успенский Б.А. О семиотике искусства // Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: Тезисы докладов. М., 1962а.
- Успенский Б.А. Принципы структурной типологии. М., 1962б.
- Успенский Б.А. Структурная типология языков. М., 1965.
- Успенский Б.А. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различения «говорящего» (адресанта) и «слушающего» (адресата) // To Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday. The Hague; Paris, 1967. Vol. 3.
- Успенский Б.А. Семиотические проблемы стиля в лингвистическом освещении // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. 1969. Вып. 236.
- Франк С.К. Взрыв как метафора культурного семиозиса / Пер. с нем. К. Бандуровского под ред. Н. Поселягина // Новое литературное обозрение. 2012. № 115.
- Ханзен-Лёве О.А. Русский формализм: Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения [1978] / Пер. с нем. С.А. Ромашко. М., 2001.
- Хоккетт Ч. Грамматика для слушающего / Пер. с англ. В.В. Лазарева [1961] // Новое в лингвистике. М., 1965. Вып. IV.

- Христиансен Б.* Философия искусства [1909] / Пер. с нем. Г. П. Федотова. СПб., 1911.
- Чудаков А.П., Чудакова М.О., Тоддес Е.А.* Комментарии // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Шапир М.И.* Комментарии // Винокур Г.О. Филологические исследования: лингвистика и поэтика. М., 1990.
- «Поэзия не слово, а криптограмма»: Полемические заметки Г.О. Винокура на полях книги Р.О. Якобсона / Вступ. ст., публ. и примеч. М.И. Шапира // Роман Якобсон: Тексты, документы, исследования. М., 1999.
- Шеннон К.Э.* Математическая теория связи [1948] // Шеннон К. Э. Работы по теории информации и кибернетики / Пер. с англ. М., 1963.
- Шеннон К.Э.* Связь при наличии шума [1949] // Там же.
- Шеннон К.Э.* Некоторые задачи теории информации [1950а] // Там же.
- Шеннон К.Э.* Современные достижения теории связи [1950б] // Там же.
- Шеннон К.Э.* Бандвагон [1956] // Там же.
- Шпет Г.* Явление и смысл: феноменология как основная наука и ее проблемы. М., 1914.
- Шпет Г.* Эстетические фрагменты, II–III. Пб., 1923.
- Щерба Л.В.* Очередные проблемы языковедения // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1945. Т. IV. Вып. 5.
- Эйхенбаум Б.* Мелодика русского лирического стиха. Пб., 1922.
- Эйхенбаум Б.* Теория «формального метода» [1925] // Эйхенбаум Б. Литература: Теория; Критика; Полемика. Л., 1927.
- Якобсон Р.* Футуризм [1919] // Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987.
- Якобсон Р.* Новейшая русская поэзия. набросок первый. Прага, 1921.
- Якобсон Р.О.* Доминанта [1935] / [Пер. с англ. И. А. Чернова] // Хрестоматия по теоретическому литературоведению. I. Тарту, 1976.
- Якобсон Р.* Формальная школа и современное русское литературоведение [1935] / Пер. с чеш. Е. Бобраковой-Гимошкиной. М., 2011.
- Якобсон Р.* Лингвистика и поэтика [1958] / Пер. с англ. И.А. Мельчука // Структурализм: «за» и «против»: Сб. ст. М., 1975.
- Якобсон Р.* Юрий Тынянов в Праге [1974] // Jakobson R. Selected Writings. The Hague; Paris; New York, 1979. [Vol.] V: On Verse, Its Masters and Explorers.
- Ammann H.* Die drei Sinndimensionen der Sprache: Ein kritisches Referat über die Sprachtheorie Karl Bühlers // Karl Bühler's Theory of Language: Proceedings of the Conference held at Kirchberg, August 26, 1984 and Essen, November 21–24, 1984. Amsterdam; Philadelphia, 1988.

- Andrews E.* Conversations with Lotman: Cultural Semiotics in Language, Literature, and Cognition. Toronto; Buffalo; London, 2003.
- Bühler K.* Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache. Jena, 1934.
- Bühler K.* Theory of Language: The Representational Function of Language [1934] / Tr. [from the German] by D.F. Goodwin. Amsterdam; Philadelphia, 1990.
- Christiansen B.* Philosophie der Kunst. Hanau, 1909.
- Cybernetics: Transactions of the Seventh Conference. New York, 1951.
- Depretto C.* Le Formalisme en Russie. Paris, 2009.
- Depretto C.* La «Dominante» de Roman Jakobson, ou comment parler du formalisme russe dans la Tchécoslovaquie de 1935 // Fabula-LhT. 2012. № 10. URL: <http://www.fabula.org/lht/10/depretto.html>
- Freiberger-Sheikholeslami E.* Forgotten Pioneers of Soviet Semiotics // Semiotics 1980: [Proceedings of the Fifth Annual Meeting of the Semiotic Society of America, held October 16–19, 1980, in Lubbock, Texas]. New York, 1982.
- A Prague School Reader on Aesthetics, Literary Structure and Style / Selected and translated by P.L. Garvin. Washington, D. C., 1964.
- Gerovich S.* From Newspeak to Cyberspeak: A History of Soviet Cybernetics. Cambridge, Mass.; London, 2002.
- Greenblatt S.* A mobility studies manifesto // Cultural Mobility: A Manifesto. Cambridge, 2009.
- Hansen-Löve A.* Доминанта // Russian Literature. 1986. Vol. XIX. № 1.
- Hansen-Löve A.A.* «Установка» («Intention», «Einstellung») // Russian Literature. 1988. Vol. XXIV. № 2.
- Hansen-Löve A.* Die «formal-philosophische Schule» in der russischen Kunsttheorie der zwanziger Jahre: Ein Überblick // Zwischen den Lebenswelten: Interkulturelle Profile der Phänomenologie. Berlin, 2012.
- Heller L.* Виктор Шкловский, Бродер Христиансен и «формалистская семиотика» // Миргород. 2010. № 2.
- Hilgard E.R.* The Trilogy of Mind: Cognition, Affection, and Conation // Journal of the History of the Behavioral Sciences. 1980. Vol. 16. № 2.
- Holenstein E.* Roman Jakobsons phänomenologischer Strukturalismus. Frankfurt a/M, 1975.
- Holenstein E.* On the Poetry and the Plurifunctionality of Language // Structure and Gestalt: Philosophy and Literature in Austria-Hungary and her Successor States. Amsterdam; Philadelphia, 1981.
- Jakobson R.* Remarques sur l'évolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves. Prague, 1929. (Travaux du Cercle linguistique de Prague; 2).

- Jakobson R.* The Dominant [1935] // Readings in Russian Poetics: Formalist and Structuralist Views. Cambridge, Mass.; London, 1971.
- Jakobson R.* Dominante [1935] // Jakobson R. Questions de poetique. Paris, 1973.
- Jakobson R.* Formalistická škola a dnešní literární věda ruská [1935]. Praha, 2005.
- Jakobson R.* Results of a Joint Conference of Anthropologists and Linguists [1952] // Jakobson R. Selected Writings. The Hague; Paris, 1971. [Vol.] II: Word and Language.
- Jakobson R.* Closing Statement: Linguistics and Poetics [1958] // Style in Language. Cambridge, Mass., 1960.
- Jakobson R.* On Linguistic Aspects of Translation // On Translation. Cambridge, Mass., 1959.
- Jakobson R.* Linguistics and Communication Theory [1960] // Jakobson R. Selected Writings. The Hague; Paris, 1971. [Vol.] II: Word and Language.
- Jakobson R.* An Example of Migratory Terms and Institutional Models (On the Fiftieth Anniversary of the Moscow Linguistic Circle) [1965] // Jakobson R. Selected Writings. The Hague; Paris, 1971. [Vol.] II: Word and Language.
- Lange L.* Neue Experimente über den Vorgang der einfachen Reaktion auf Sinneseindrücke // Philosophische Studien. 1888. Bd. 4.
- Malinowski B.* The Problem of Meaning in Primitive Languages // Ogden C. G., Richards I. A. The Meaning of Meaning. London, 1923.
- Matejka L.* Jakobson's Response to Saussure's Cours // Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915–1939: Un épisode de l'histoire de la culture européenne. Lausanne, 1997.
- Murphy G., Murphy L.B.* Experimental Social Psychology. New York, 1931.
- Pilščíkov I.* V šesti jazycích: Nad knihou Pražská škola v korespondenci // Česká literatura. 2015. Roč. 63. Čís. 4.
- Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Prague, 2012. (PLK 2012)
- Rudy S.* Jakobson's Inquiry into Verse and the Emergence of Structural Poetics // Sound, Sign and Meaning: Quinquagenary of the Prague Linguistic Circle. Ann Arbor, 1976.
- A Mathematical Theory of Communication // The Bell System Technical Journal. 1948. Vol. XXVII. № 3; № 4.
- Shannon C.E.* Some Topics in Information Theory [1950] // Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Cambridge, Massachusetts, August 30 – September 6, 1950). Providence, 1952. Vol. II.
- Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1966. Sv. 3: R–U. (SSJČ 1966)
- Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1971. Sv. 4: V–Ž. (SSJČ 1971)

These k diskusi [1929] // Pražský lingvistický kroužek v dokumentech. Prague, 2012.

Thèses [1929] // Travaux du Cercle Linguistique de Prague. Prague, 1929. [T.] 1: Mélanges linguistiques dédiés au Premier Congrès des philologues slaves.

*Uspenskij B.A.* Les problèmes sémiotiques du style à la lumière de la linguistique // Information sur les sciences sociales. 1968. T. 7. N° 1.

*Vachek J.* The Czech Editor's Postscript // Praguiana: Some Basic and Less Known Aspects of the Prague Linguistic School. Amsterdam; Philadelphia, 1983.

## глава 2.4. Концептуализация в гуманитарном знании и в искусстве: маршруты трансфера

**В.В. Фещенко**

Одной из лингвистических технологий конвертации знания может служить *концептуализация*. В общенаучном виде под концептуализацией понимается методологическая процедура «введения определённых онтологических представлений в некоторый массив эмпирических данных, обеспечивающая теоретическую организацию знания и схематизацию связи понятий, отображающих возможные тенденции изменения референтного поля объектов, что позволяет продуцировать гипотезы об их природе и характере взаимосвязей» [Грицанов URL]. Концептуализация, таким образом, может считаться не только методом, но и технологией исследований того, как концепт переносит смыслы из одних дискурсов в другие. В некоторых дисциплинах – например, в социологии, психологии или информатике – это действительно технология оперирования данными. В когнитивных науках концептуализация определяется как «процесс образования и формирования концептов в сознании» [Болдырев 2004: 18]. Расширенный вариант такого определения даёт «Краткий словарь когнитивных терминов», согласно которому, концептуализация – «один из важнейших процессов познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении поступающей к нему информации и приводящей к образованию концептов, концептуальных структур и всей концептуальной системы в мозгу (психике) человека» [Кубрякова et al. 1996: 93]. Концептуализация признаётся задачей самых разных научных дисциплин, обеспечивающей трансфер знаний из одних концептуальных систем в другие. Новая концептуализация в языке науки служит «своеобразным пиджином, с помощью которого специалисты объясняются между собой в момент становления нового концептуального аппарата» [Демьянков 2010: 155]. И именно лингвистика в её современной культурно-когнитивной парадигме обосновала такое междисциплинарное понятие, как «*концепт*», показав, в какой мере он является носителем знания в культуре и сознании человека, пользующегося языком и другими знаковыми системами.

Задачей данной главы будет рассмотрение концептуализации как методологической процедуры в ее исторической эволюции, как результата межкультурного и внутрикультурного терминологически-концептуального трансфера. Мы обратимся к истории идей о «концепте» и их миграции из одних дисциплинарных областей в другие в ходе эволюции гуманитарного и художественного знания в европейской культуре (опираясь отчасти на существующие статьи об истории понятия «концепт» [Демьянков 2001; Демьянков 2007]). Кроме того, будет показано, как понятие концепта преодолевало не только национально-лингвистические границы, но и такие, казалось бы, менее проницаемые границы, как научный и художественный дискурс.

Итак, каковы же маршруты культурного трансфера понятия «концепт» по данным его языковой представленности и дискурсивной выразительности? Рассмотрим эти маршруты, указывая пункт отправления и пункт прибытия – соответствующие концептуальные системы в исторически-дисциплинарных координатах.

### **Маршрут 1. Средневековая схоластическая философия → Ренессансная поэзия (conceptus → concetto)**

Как отмечает В.З. Демьянков, первым вхождением словоформы «концепт» в терминологический аппарат европейской мысли был метафорический перенос «зародыш → понятие» (*conceptus*) в средневековой латыни. Если у ранних авторов II – VI вв. это слово еще не употреблялось как понятие, то Дунс Скотт в XIII в. уже использует его применительно к философской системе «концептуализма» [Демьянков 2001]. *Conceptus* употреблялся здесь для обозначения того, что соединяет вещь и речь. Концепт понимался средневековыми схоластами как ментальная сущность: «*Medium inter rem et sermonem vel vocem est conceptus*» («Концепт есть то, что лежит между вещью и речью, сказанным») (Там же). Схоласт и богослов П. Абеляр, размышлявший в XII в. о слове, отмечал, что «поскольку слово обозначает собой нечто общее в предметах (*consimilitudo*), постигаемое мышлением, постольку оно может служить предикатом предметов, как обозначение понятия, концепта» [Цит. по Демьянков 2001: 43]. По существу, Абеляр рассматривал концепт в контексте коммуникации людей друг с другом и с Богом. Концепт, по Абеляру, отличается от понятия следующим. Понятие непосредственно связано с языковыми структурами, которые выполняют объективные функции становления мысли независимо от общения. Оно прежде всего

связано с сигнификацией, значением, ибо «главное значение имени называется понятием». Концепт же неразрывно связан с общением, или со смыслом (см. [Неретина 1994; Зусман 2003]).

До некоторой степени понятие *conceptus* средневековой латыни соответствовало платоновскому понятию «идея» и аристотелевскому понятию «термин». Именно таким маршрутом эволюции оно вошло несколькими столетиями спустя в немецкий философский лексикон в форме *Begriff* (начиная с И. Канта и Г. Гегеля и заканчивая Г. Фреге и Э. Гуссерлем). Однако перед тем как это случилось, понятие «концепта» оказалось перенесенным еще в одну концептуальную систему. Речь идет о возникшем в поэтике ренессансной Италии понятии *concetto* – «экстравагантного поэтического образа». Кончетто представляли собой изысканные метафоры, нарочито употребляемые в поэтическом тексте для создания эффекта причудливости. Среди авторов, пользовавшихся кончетто, были, например, Петрарка и Ариосто. Сама форма слова *concetto* была результатом переноса значения латинского *conceptus* («замысленный») в раннеитальянский язык в значении «изобретенный» («изобретенная метафора»). Впоследствии *concetto* было переведено на английский, но не как *concept*, а как *conceit*. Этим приемом поэтической техники пользовались в Англии такие авторы XVI–XVII вв., как Дж. Донн и Ф. Сидни. Оба этих термина – латинский *conceptus* и раннеитальянский *concetto* – были, впрочем, выведены за пределы терминологических систем, и их реанимация в статусе научных понятий произошла только к началу XX в. и уже в иной культурно-дискурсивной формации.

## **Маршрут 2. Средневековая схоластическая философия → Русская философия языка (*conceptus* → *концепт*)**

На протяжении XVIII–XIX вв. немецкая классическая философия, как уже было отмечено, пользовалась «автохтонным» аналогом античного понятия «идея» и средневекового *conceptus* – понятием *Begriff*, вкладывая в него свое философское содержание. Если же говорить о дальнейшей судьбе латинского *conceptus*, то его смысл был снова актуализован лишь в конце XIX в. По данным В.З. Демьянкова, итальянский философ Б. Кроче изредка оперировал понятием *concetto* (однако без референций к «поэтическому» смыслу ренессансных кончетто) со значением «нечто само собой выявляющееся из совокупности очень разных частных представлений» [Демьянков 2001: 37], т. е. скорее в смысле немецкого *Begriff*.

Особое семантическое развитие понятие «концепт» получило в русском терминологическом узусе. Г.Г. Шпет был, кажется, первым из русских ученых, употребивших в философском дискурсе и лингвоэстетическом контексте столь популярный ныне термин «концепт». Впервые он встречается у него в трактате «Эстетические фрагменты» (1922–1923), где «концепт» противопоставлен «образу» как статическое понятие – динамическому символу: «Если бы мы *только* конципировали, мы получили бы *только* “понятия”, концепты, т. е. схемы смысла, русло, но не само течение смысла по этому руслу. <...> Акт понимания или разумения, акт восприятия и утверждения смысла в концепте выступает как бы заключенным в оболочку концепции, формально-логического установления (Setzung). <...> В отличие от статического концепта, оживляемого только разумением, образ динамичен сам по себе, независимо от разумного понимания (даже если он “неразумен” и “непонятен”)» [Шпет 2005: 223, 247, 265]. Хотя такое понимание концепта уже очень скоро было модифицировано и иначе осмыслено, у Шпета оно выступает как философская категория.

Наибольшую терминологичность понятие «концепта» приобрело у русского философа С.А. Аскольдова. В его лице романский и германский маршруты трансфера интересующего нас понятия (соответственно, *conceptus* и *Begriff*) результировали в русском философском дискурсе о языке. При этом Аскольдов актуализировал обе линии – романскую и германскую – с целью осуществить перенос термина концепта на новую область – изучение поэтической речи. Аскольдов заимствовал термин «концепт» из трудов по «концептуализму» П. Абеляра и Дунса Скотта. Он апеллировал к старым средневековым спорам о природе универсалий. Каким образом, задался он вопросом, общее понятие как содержание акта сознания остается тем не менее весьма загадочной, мерцающей величиной? В споре об универсалиях концептуалисты, как и номиналисты, отвергая учение реализма, отрицали реальное существование общего независимо от отдельных вещей, но в отличие от номиналистов признавали существование в уме общих понятий, концептов как особой формы познания действительности. Вводя термин «концепт» в область современной философии языка, русский философ перенес его из этого средневекового контекста в собственную концептуальную систему.

С другой стороны, формулируя свою теорию концепта, С.А. Аскольдов отталкивался от критики *Begriffsstudien* Э. Гуссерля. В гуссерлевской концепции *Begriff* он видел лишь вариации на тему средневекового реализма. Концепт для русского философа – больше чем *Begriff*. Хотя в

статье [Аскольдов 1928] не упоминается имя немецкого логика Г. Фреге (по всей видимости, его идеи еще не были известны в то время в России), при сопоставлении его понятия *Begriff* и понятия «концепт» видна существенная разница. Для Фреге, как известно, *Begriff* – не более чем понятие о предмете, десигнат вещи, т. е. часть структуры языкового знака. Именно такую узкую трактовку понятия и критиковал Аскольдов, вводя вместо него свой расширительный термин «концепт».

Слабым местом этих западных теорий концептов-понятий С.А. Аскольдов считал невозможность объяснить существование множества концептов, выражающих именно субъективную точку зрения человека на предметы. С другой стороны, его не устраивала и позиция номиналистов, понимающих под концептами лишь индивидуальные представления, не существующие в человеческом уме в качестве общностей. Вопреки номинализму Аскольдов видел в концепте общность индивидуальных представлений. Критикуя гуссерлевское представление о «сознании вообще» и «гносеологическом субъекте», Аскольдов стремился исследовать процесс *познания*. Его больше интересовала проблема познания, чем проблема «знания»; «чистый опыт» и «индивидуальное сознание», чем «опыт» и «сознание» вообще. Именно поэтому он обратился к вопросу о том, как сознание проявляет себя в таком «индивидуальном» по существу опыте, как поэтически-художественный.

Уже в статье 1925 г. «Форма и содержание в искусстве слова», полемизируя с формальной школой, С.А. Аскольдов сделал примечание, в котором заявил о необходимости выделения концепта как особой категории, отличной как от понятия, так и от образа: «Что скрывается за поэтическим словом – образ, понятие или символ, и что такое символ – вопрос самостоятельный и слишком сложный, чтобы его здесь разбирать. Мы склонны утверждать существование особого вида концептов – поэтических концептов, отличных и от образов, и от абстрактных понятий» [Аскольдов 1925: 325]. Уже здесь видно, что вопрос о концепте ставится в тесной связи с поэтическим словом, а именно – с поэтической практикой символизма, разбору которой он посвящает некоторые свои страницы.

С.А. Аскольдов посвятил своей теории поэтического концепта отдельную статью «Концепт и слово» (1928), которую можно считать основополагающей и для всей дальнейшей русской концептологии. Проблема формулировалась им так: поэтическое слово и переживание, вызываемое им, слишком мало назвать эстетическими. С одной стороны, полагал Аскольдов, в поэзии у нас есть поэтические образы, с другой, в научном знании – абстрактные понятия. Но нет ли в поэзии и своего

рода познания? А следовательно, не есть ли образы – элементы некоторого познания? Ответ Аскольдова: в художественном слове образ не только эмоция, но и концепт. «Концепты познавательного характера только на первый взгляд совершенно чужды поэзии. На самом же деле они словно подземными корнями питают своими смысловыми значениями иррациональную и неопределенную стихию поэтических слов и приемов» [Аскольдов 1928: 268]. Любопытно, что даже в современной Аскольдову авангардной «заумной» поэзии, при всей ее кажущейся иррациональности, ему виделось сознательное зерно. «Что это за туманное "нечто", в котором в области знания всегда, а в искусстве слова в значительной степени заключается основная ценность?» [Там же: 268]. В области знания – это «нечто» ассоциируется с концептом как общим понятием, в области же искусства – это «нечто» связывалось им с «художественным концептом». Концепты познавательного характера не чужды поэзии. Более того, они лежат в глубинах стихии поэтических слов и приемов, казалось бы, совершенно иррациональной, но, тем не менее, несущей в себе рациональное зерно познавательных смыслов. Ведь как бы ни были индивидуальны значения слов и образов в поэзии, в них заключена та или иная общность. Общность индивидуальных художественных образов и виделась Аскольдову в концепте (подробнее о его концепции «поэтического концепта» см. в [Фещенко 2010]).

Постулирование С.А. Аскольдовым связи концептов познавательных (т. е. научных) и концептов художественных отвечало стремлению преодолеть границы художественного и научного, свойственному вообще интеллектуальному движению в России 1920-х гг; в частности, попыткам рассматривать искусство как разновидность познания (см. статью Г.Г. Шпета «Искусство как вид знания»), поэзию как род философии (см. статьи А. Белого об А. Блоке), а поэтический язык как особую семиотическую систему. Посредством категории художественного концепта Аскольдов, таким образом, пытался связать общность научного понятия и индивидуальность поэтического образа. Как мы увидим далее, концептуализация слова станет связующим мостом между философским и художественным дискурсом и в другом историко-культурном контексте.

### **Маршрут 3. Аналитическая философия языка → Концептуальное искусство (*Begriff* → *concept*)**

В отличие от русского философского узуса, в европейско-американском ареале термин «концепт» (в его форме *concept*) уступает в упо-

требимости своим родственным терминам *notion* и *Begriff* вплоть до середины XX в. До тех пор он встречался лишь в некоторых трудах по математической логике с очень специальным значением. Вероятно, первым терминологически нагруженным вхождением в научно-философский язык термин *concept* обязан Л. Витгенштейну, а точнее его переводчикам на английский язык. Именно в форме *concept* был переведен термин *Begriff* из «Философских исследований», напечатанных по-английски в 1953 г., уже после смерти философа. Однако популярность и широкий обиход этому термину принес не столько сам факт его появления в этом философском сочинении, сколько его рецепция в совсем ином дискурсивном пространстве – искусствоведения и арт-критики. Ранее *Begriff* Г. Фреге на английский переводили как *concept*. В последнее время, в конце XX-начале XXI вв., развивается направление в немецкой историографии под именем «история понятий» (*Begriffsgeschichte*) [Зарецкий et al. 2014]. Характерно, что на русский язык, очевидно, в целях дифференциации терминов «концепт» и «понятие», *Begriff* в данном случае принято снова переводить как «понятие». Таким образом, после выхода по-английски труда Витгенштейна направление исследований раздвоилось на изучение *Begriffe* и изучение *concepts*.

Спустя несколько лет после выхода «Философских исследований» американский художественный критик М. Вайтц, считавший себя неовитгенштейнианцем, предложил метод разграничения искусства и не-искусства на основе витгенштейновского понятия «семейных сходств» (*family resemblances*). «Чем может быть искусство?» – этот вопрос был поставлен им по аналогии с языковыми играми австрийского философа языка. По словам Вайтца, искусство может быть открытым понятием, или концептом (*an open concept*): «New conditions have constantly arisen and will undoubtedly constantly arise; new art forms, new movements will emerge, which will demand decisions on the part of those interested... as to whether the concept should be extended or not» [Weitz 1956: 32]. Под вопросом оказывался сам концепт «искусства», который вскоре после этого преобразовался в «искусство концептов».

Американский философ и арт-активист Х. Флинт первым ввел термин «концепт» (*concept*) в художественный дискурс. В первое время слово «концепт» в манифестациях нового искусства употреблялось в кавычках как нечто еще не обычное для этой области. Цель художника, утверждал Флинт, именно в том, чтобы познакомить искусство с концептами, привести концепты в действие: «“Concept art” is first of all an art of which the material is “concepts,” as the material of for ex. music is sound. Since “concepts” are closely bound up with language, concept

art is a kind of art of which the material is language» [Flynt 1963]. В данном случае был осуществлен внутрикультурный междискурсивный трансфер понятия: термин заимствован из философии языка и внедрен в дискурс об искусстве; то же самое было произведено чуть ранее с термином «структура», перекочевавшим из математики в абстрактное искусство. В обоих случаях область искусства как реципиент трансфера апроприирует термин из другой области с целью учредить новую систему в искусстве. Кроме того, Флинт специально подчеркивал *когнитивную* ценность «концептуального искусства», подобно тому, как концепт осуществляет для логика или философа языка познавательную процедуру: «Contemporary structure artists, on the other hand, tend to claim the kind of cognitive value for their art that conventional contemporary mathematicians claim for mathematics» [Ibidem]. Вспомним, что на другом маршруте трансфера несколькими десятилетиями до того С.А. Аскольдов также особо останавливался на «когнитивной» способности концептов в поэтическом творчестве. У двух маршрутов трансфера есть общие черты. Только в случае концептуального искусства 1960-х гг. областью-«получателем» оказывается сам художественный процесс и новый дискурс об искусстве, построенный на языковых играх Л. Витгенштейна.

Целью художников «концептуального направления» была перформативизация художественных высказываний по аналогии с «перформативами» в речи, по Л. Витгенштейну и Дж. Остину. Метод конструирования концепта как произведения искусства был заявлен в первых манифестах *conceptual art* (в определении С. ЛеВитта): «In conceptual art the idea or concept is the most important aspect of the work. When an artist uses a conceptual form of art, it means that all of the planning and decisions are made beforehand and the execution is a perfunctory affair. The idea becomes a machine that makes the art» [LeWitt 1967: 80]. Искусство признавалось практической философией, а в некоторых течениях концептуализма – философией языка, как, например, в деятельности английской художественной группы *Art & Language*.

Логичным выводом из подобного трансфера понятия «концепт» из теории языка в практику искусства было то, что язык и его структуры сами становились материалом экспонирования в художественном пространстве. Классический пример тому – творчество американского художника-концептуалиста Дж. Кошута, выставлявшего слова и целые высказывания из слов в качестве арт-объектов в пространстве галерей и музеев. Самый известный образец его работы – картина «Один и три стула» (1965). На полотне изображены сразу три репрезентации

одного стула: сам предмет мебели, его фотографическое изображение и определение слова «стул» в толковом словаре. Значение имеет здесь не каждый элемент по отдельности – сам стул, его фотография, его словарное определение – но все три элемента в комплексе, которые и составляют концепт стула. Другой пример уже из русского концептуального искусства 1980-х гг. – «Муха» (1987) И. Кабакова. На картине изображена муха, и в углах написаны реплики двух персонажей, один из которых спрашивает: «Чья это муха?», а другой отвечает: «Это муха Николая». Опять же ни муха как таковая как материальный объект, ни разговор о мухе между персонажами, ни сами реплики на полотне не имеют отдельной значимости. Ее имеет концепт, концепт мухи в сознании обычного советского человека. Позднее Кабаков создал из этой идеи целую инсталляцию под названием «Жизнь мух». Среди прочего художник включил в нее текст своего псевдофилософского трактата «Муха как предмет и основание философского дискурса», в котором в духе «языковых игр» Витгенштейна иронически обосновал необходимость вербального дискурса как «философизации» художественного объекта, которым выступает обычная муха.

Идеолог концептуального искусства в его русской разновидности Б. Гройс подчеркивал логоцентризм русской «концептуальной школы», ее вписанность в русскую традицию словесности [Гройс 1979], а другой теоретик концептуализма – Д.А. Пригов – даже утверждал «квазиконцептуальный» характер всей русской культуры [Пригов 1998]. На примере формирования русской школы концептуализма мы можем наблюдать уже межкультурный трансфер – когда понятие «концепта» переносится в русскоязычный узус (хотя на тот момент и полуподпольный) из зарубежного (англо-американского), принимая в культуре-«получателе» свои особые черты, которые наслаиваются на предыдущие стадии трансфера. Опять же, как и в случае с «поэтическими концептами» С.А. Аскольдова, актуализируется средневековый спор между номиналистами, реалистами и концептуалистами (что нерелевантно, например, для англо-американской традиции *concept studies* и *concept art*). Концептуальным новое искусство здесь именуется не только потому, что термин заимствован из западного искусства, но и потому, что переосмысливается в терминах русской литературы, философии и даже мистического опыта. Любопытно, что для Гройса концептуализм – радикальная реализация тезиса Г. Гегеля «Искусство приходит здесь к своему понятию (*Begriff*)», а русский концептуализм называется им «романтическим», в отличие от западного, по его мнению, рационалистического. Таким образом схоластические дискуссии средневековых философов служат

здесь подспорьем для обоснования термина «концептуализм» как противостоящего в новой дискурсивно-исторической формации, с одной стороны, официозному соцреализму как условно репрезентирующему реализм вообще и, с другой – западному концептуальному искусству как условному номинализму.

Заметим, что в дискурсе Б. Гройса как теоретика московской концептуальной школы встречается такая формулировка задачи этого искусства, как «концептуализация изображаемого» (на момент написания той статьи термин «концептуализация», как кажется, еще не был в ходу в дискурсе научном). Некоторые художники «московской концептуальной школы» всерьез рассматривали *концептуализацию* как художественный метод, а не просто как направление в искусстве (см. свидетельства самих участников движения о возникновении терминов «концепт» и «концептуализм» в русском дискурсе об искусстве в [Альберт 2014]). Показателен интерес концептуализма к словарям, представленный, например, в словаре терминов московской концептуальной школы, составленном участником движения московского концептуализма А. Монастырским [Монастырский 1999]. В предисловии к словарю он указывает, что «концептуализм имеет дело с *идеями* (и чаще всего – с *идеями отношений*), а не с предметным миром с его привычными и давно построенными парадигмами именованый» [Там же]. Идеи отношений у Монастырского это и есть концепты. Схожий стиль размышлений мы увидим далее, при обращении к концептуальному анализу языка в лингвистике и семиотике 1990–2000-х гг.

#### **Маршрут 4. Аналитическая философия языка → Французский постструктурализм (англ. *concept* → фр. *concept*)**

Еще одним из кратковременных, но самостоятельных эпизодов трансфера понятия «концепт» было включение его в философский дискурс постструктурализма 1970–1990-х гг. В.З. Демьянков в цитированной выше статье убедительно на обширном материале показывает, что в европейских языковых узусах соответствующие термины (англ. *concept*, франц. *concept*, нем. *Konzept* и т. д.) расходятся в употреблении с русским «концепт» и больше соответствуют русскому «понятие». Действительно, западным научным традициям чуждо то синтетическое понимание концепта, которое разрабатывается в России. Так, во французском *concept* – всегда четко определяемая и дисциплинарно обо-

собленная единица научного знания. Во французском узусе вплоть до конца XIX в. термин *concept* употреблялся исключительно редко: «В философских сочинениях он начинает встречаться более или менее часто со времени Э. Дюркгейма и А. Пуанкаре... В словаре Лаланда начала XX в. термину *concept*, трактуемому как одно из значений немецкого (как у Канта) *Begriff*, посвящено значительно меньше места, чем термину *notion*. Только во второй половине XX в. термин *concept* начинает широко употребляться в том значении, к которому мы привыкли в русскоязычной литературе конца XX в. Сегодня здесь говорят о концептах как о том, что получает организацию в результате дискурсивной деятельности; ср.: “Des discours <...> donnent lieu à certaines organisations de concepts, à certains regroupements d'objets, à certains types d'énonciation, qui forment selon leur degré de cohérence, de vigueur et de stabilité, des thèmes ou des théories” [Демьянков 2007: 36–37] (цитата из «Археологии знания» Мишеля Фуко). В современном французском языке *concept* в целом понимается как абстрактная, обобщенная репрезентация объекта (согласно словарю *Le Petit Robert*).

В книге Ж. Делеза и Ф. Гваттари «Что такое философия?» (глава «Что такое концепты?») философия определяется как дисциплина, занимающаяся творением концептов [Делез, Гваттари 1998: 10]). Здесь говорится о том, что каждый концепт всегда отсылает к другим концептам. В качестве других свойств концепта ими называются: множественность, пересечение, совпадение, а также сгущение в концепте различных составляющих: «Концепт – это множественность, хотя не всякая множественность концептуальна. Не бывает концепта с одной лишь составляющей. <...> Всякий концепт является как минимум двойственным, тройственным и т. д. <...> У каждого концепта – неправильные очертания, определяемые шифром его составляющих. <...> Каждый концепт отсылает к некоторой проблеме, к проблемам, без которых он не имел бы смысла и которые могут быть выделены или поняты лишь по мере их разрешения» [Там же: 25–26]. Концепт, таким образом, согласно Делезу и Гваттари, не есть отдельная сущность, обладающая устойчивой субстанциональностью. Напротив, концепт – явление становящееся: «...это событие, а не сущность и не вещь. Он есть некое чистое Событие, некая этось, некая целостность» [Там же: 32–33]. Концепт есть «мыслительный акт» как некая «неразделимость конечного числа разнородных составляющих, пробегаемых некоторой точкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной скоростью» [Там же: 32–33].

Даже в таких, казалось бы, нестрогих концепциях, как философия Ж. Делеза и Ф. Гваттари или поэтика А. Мешонника, *concept* фигури-

рует как указание на специфическую область знания (у Мешонника это доходит до идеи «порочного круга», см. статью [Дейнека 2011]). В свою очередь, французам сложно понять синтетическое наполнение концепта в русской традиции (см. об этом [Costantini 2012]). Термин «концепт», понимаемый как агломерат культуры, специфичен только для русского узуса. И именно с ним связан заключительный для данной главы маршрут трансфера понятия «концепт».

### **Маршрут 5. Аналитическая философия языка / Русская философия языка → Концептуальный анализ в лингвистике**

Развитие концептуального подхода к языку и культуре в России связано с последними двумя десятилетиями – 1990-ми и 2000-ми годами. Этот подход возникает на волнах трех направлений: с одной стороны, на волне когнитивизма и изучения концептуализации мира средствами языка (линия Дж. Лакоффа, Е.С. Кубряковой, Т.В. Булыгиной, А.Д. Шмелева), с другой – на волне лингвокультурологии как изучения языка в неразрывной связи с культурой (линия Д.С. Лихачева, Ю.С. Степанова) и, с третьей – в логическом анализе языка (линия Н.Д. Арутюновой). Слово «концепт» в терминологической функции стало активно употребляться в российской лингвистической литературе с начала 1990-х гг. В 1991 г. выходит сборник [Арутюнова 1991]. По-видимому, термин «концепт» здесь заимствуется одновременно из двух традиций – из статьи С.А. Аскольдова «Концепт и слово» и из трудов литовского лингвиста Р. Павилениса о философии смысла и языка, в которых английский термин *concept*, восходящий, как отмечалось нами выше, к англоязычному Витгенштейну, стал переводиться на русский как «концепт». Эти две традиции совершенно различны, и нами были продемонстрированы разные маршруты их трансферов. Но в новой научной ситуации российской лингвистики начала 1990-х эти маршруты продолжают уже в одном дальнейшем направлении.

Во вступительной статье к указанному сборнику Ю.С. Степанов проводит различие между двумя подходами в концептуальном анализе языка – логическим и «сублогическим». Тем самым пересматривается традиционное логическое содержание концепта и в него вводится культурно-когнитивный смысл. В 1997 г. выходит программная статья Степанова «Концепт» [Степанов 1997], в которой обосновывается культурологический компонент концепта. Разграничивая «концепт» и «понятие» как термины разных наук, он отмечает, что первая категория,

являясь термином математической логики, в последнее время закрепились также в науке о культуре, в культурологии. Вот как определяется сам термин «концепт»: «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не “творец культурных ценностей” – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее. ...*Концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека*» [Степанов 1997: 40].

Ключевая метафора в этом определении – сгусток, «сгусток культуры», который занимает некую ячейку в сознании человека, что уже указывает на многосоставную и экспериенциальную природу концепта. Концепты, в отличие от понятий, не только мыслятся, но и переживаются, согласно Ю.С. Степанову. Подобным же образом концепт трактуется архангельским исследователем С.Х. Ляпиным, предложившим свой особый операционально-деятельностный подход к философской концептологии. Концепты здесь понимаются как «смысловые кванты человеческого бытия-в-мире, в зависимости от конкретных условий превращающиеся в различные специализированные формообразования, *Gestalten des Seins*», а в области культуры «концепты суть своеобразные культурные гены, входящие в генотип культуры и вероятно определяющие феноменологическую поверхность культуры, ее фенотип» [Ляпин 1997: 17] (см. также более раннюю работу этого ученого [Ляпин 1993]).

В совокупности все концепты образуют сферу культуры, связанную с языком, – «концептуализированную область» [Степанов 1997: 44]. Для анализа этой области вводится новый инструмент исследования – семиотика концептов [Степанов 2001] (см. также более новую работу, развивающую это направление: [Проскурин, Харламова 2007]). Параллельно со статьей Ю.С. Степанова идея концептуальной сферы возникает также у Д.С. Лихачева в его статье 1993 г. «Концептосфера русского языка» [Лихачев 1993]. Д.С. Лихачев связывает проблемы концепта и концептосферы с национальной культурой: «Концептуальная сфера, в которой живет любой национальный язык, – отмечает филолог, – постоянно обогащается, если есть достойная его литература и культурный опыт» [Лихачев 1993: 9]. Слово и его значения и концепты этих значений, согласно Лихачеву, существуют не сами по себе в отдельности, а в определенной человеческой «идеосфере». У каждого человека есть свой круг ассоциаций, оттенков значения и в связи с этим свои особенности в потенциальных возможностях концепта: «В совокупности потенции, открываемые в словарном запасе отдельного человека, как и всего язы-

ка в целом, мы можем называть концептосферами» [Там же: 6]. Наполнение концепта, таким образом, зависит от контекста и культурного опыта концептоносителя. Понятие концептосферы особенно важно тем, что оно помогает понять, почему язык является не просто способом общения, но «неким концентратом культуры» (в терминологии Ю.С. Степанова концепты – «культурные константы» [Степанов 1997: 40]).

### **Схождение маршрутов.**

#### **Концептология ↔ концептуальное искусство**

Наконец, остается сказать несколько слов о неожиданных переплетениях маршрутов переноса понятия «концепт» в современной гуманитарной науке и в области искусства. Ю.С. Степанов выступил здесь как агент такого неявного трансфера идей. В последних работах он демонстрирует, что концепт может быть отдельным жанром, объединяющим словесность, изобразительные искусства и философию. Более того, исследование, описание и «изготовление» концепта превращается в творческий акт ученого (см. [Степанов 2009] и [Степанов 2010]). Концепты в рамках этой области могут выражаться как в слове, так и в образе или материальном предмете.

Стиль поздних работ Ю.С. Степанова во многом напоминает практики концептуализации, принятые в современном концептуальном искусстве. Во-первых, Степанов порой эксплицитно приводит цитаты из текстов поэтов-концептуалистов и вкрапляет эти цитаты отнюдь не традиционным для научного стиля способом, а скорее – концептуалистским способом, как бы перформативно предъявляя их читателю. В книге «Концепты» [Степанов 2007] приводится следующее определение концепта, неординарное для научного дискурса, но оказывающееся вполне уместным в контексте дискурса об искусстве: концепт – «понятие, расширенное в результате всей современной научной ситуации», подлежащее не определению, а переживанию. Он «включает в себя не только логические понятия, но и компоненты научных, психологических, авангардно-художественных, эмоциональных явлений и ситуаций» [Степанов 2007: 20]. Здесь же Степанов приводит пример концепта ОЧЕРЕДЬ советских времен. Стояние в очереди являлось моделью поведения, свидетельством чему автор приводит список распространенных фраз, которые можно было услышать в советской очереди. Затем показывается, как данный концепт был перенесен в литературу на примере мемуаров А. Ахматовой, описывающей, как она стояла в

очереди 17 месяцев в сталинские времена. Каждый раз, добавляет Степанов, концепт приобретает новые экспериенциальные свойства, как в описываемом случае Ахматовой свойство *страдания*. Поэтому, заключает Степанов, концепт может не только определяться, но и переживаться по-новому. Вместо того, чтобы продолжать концептуальный анализ традиционным лингвистическим способом, он предлагает читателю книги испытать концепты самим, не прибегая к аналитическому инструментарию. Тем самым написанное в книге воспринимается уже не как научный, а как квазихудожественный дискурс, то есть дискурс, направленный на переживание, а не на анализ. Степанов называет этот способ изложения «Галереей концептов», превращая научную монографию в каталог вербально-визуальных образов. Так, картине с яблоком Р. Магритта сопутствует короткий текстовый комментарий автора книги. А рядом с картиной Ван Гога помещается стихотворение Ж. Превера и фрагмент письма Ван Гога его брату, без дополнительных комментариев. Концепт в данном смысле составляется из трех манифестаций – текстуальной, визуальной и метатекстуальной, подобно произведениям художников-концептуалистов. Концептуализация, согласно Степанову, в данном случае осуществляется из внутренней амальгамации изображения и подписи в сознании реципиента – читателя и зрителя книги.

Еще большее сближение с практикой концептуализма – уже и на содержательном уровне – происходит во фрагменте книги «Концепты», посвященном поэту Т. Кибирову. На странице воспроизводится репринтным способом стихотворение Кибирова. Далее следует автобиографический комментарий Ю.С. Степанова к этому тексту, рассказывающий о его участии в судьбе Кибирова во время его преследования властями в 1990 году. Его попросили сделать лингвистическую экспертизу кибировского стихотворения. Будучи поклонником поэта, Степанов написал весьма положительный отзыв для суда, в свидетельство чего здесь же печатается копия письма следователя, адресованная Степанову, в котором сообщается об отсутствии у Кибирова состава преступления, без каких-либо иных деталей. Таким образом, перед нами – экспоненциальная реализация принципа концептуализации, заимствующей сам метод у концептуалистского искусства, но осуществляемая в заведомо не художественном контексте научной монографии.

Сближение маршрутов трансфера подтверждается и обратными примерами конвертации научного дискурса в художественный в оперировании термином «концепт». Многие художники-концептуалисты эксплуатируют квазинаучный дискурс в своих перформансах и инстал-

ляциях. А. Монастырский, например, называет свои акции «исследованиями», «соединением дискурсивной практики и визуальной пластики, текста и изображения». В своих рассуждениях он пользуется такими понятиями, как «метафоризация», «текстовые структуры», «текстообразование», «словесное событие», «контекст», «знаковая система», «пост-семиозис», «смыслоразличение», «дискурс» и т. п. [Альберт 2014: 122–130]. С его точки зрения, концептуализм в искусстве сегодня может быть продуктивным в использовании маргинальных по отношению к искусству территорий таких, как научные дискурсы. Эта позиция осуществляется на практике такими художниками, как Р. и В. Герловины. Их недавняя книга, характерным образом совпадающая по заглавию с книгой Ю.С. Степанова – «Концепты» – содержит примеры таких научно-художественных концептуализаций. В теоретической статье, включенной в эту книгу, сообщается, что концептуализация – это технический прием, участвующий в глубинном процессе трансформации мышления: «В своей основе концептуализм представляет собой хотя и художественное явление, но в какой-то степени онтологического порядка. В этом жанре перекрещиваются многие пласты искусства, философии, психологии, мифологии, социологии, при этом мышление, направленное на многие принципы бытия, выражено творческими концептами. Мы видим не изображение того или иного события, а его концепт» [Герловина и Герловин 2012: 410]. Таким образом, возможности концептуализации не ограничиваются в современной гуманитарной культуре лишь отдельными дискурсивными практиками, а допускают междискурсивные переходы в рамках разных концептуальных систем.

## Заключение

На примере пяти маршрутов трансфера одного метанаучного понятия мы продемонстрировали, как понятие «концепта» мигрировало на протяжении истории гуманитарного знания из одних областей в другие и из одних национальных терминологических систем в другие. Различные механизмы и траектории межкультурного и внутрикультурного трансфера знаний выявляют культурную динамику отдельных национальных контекстов в гуманитарных науках и в искусстве. Понятие «концепта» прошло свою концептуальную эволюцию через такие традиции, как средневековый «концептуализм» в схоластической философии, поэтика «кончетто» в европейской словесности эпохи Возрождения, теория концепта в русской и англо-американской школах

философии языка, концептуальное искусство в Европе и России 1950–1990-х гг., французский постструктурализм 1970–1990-х гг. и, наконец, русская концептология в лингвистических исследованиях последних двух десятилетий. Исследование показывает, что национальные терминокультуры не являются гомогенными статическими системами. Помимо межкультурного обмена знаниями, сдвигающего национальные системы в различных направлениях, имеют место и внутрикультурные процессы переноса знаний, в результате которых локальные контексты предстают как гетерогенные динамические процессы циркуляции идей и терминов. Некоторые из внутрикультурных трансферов могут быть отдалены во времени, как в случае с теорией концепта С.А. Аскольдова, реактуализованной лишь спустя семьдесят лет в совершенно иной научной парадигме. Иные из таких трансферов могут быть локализованы в одном времени и в одном месте, но при этом развиваться независимо друг от друга, как показывает опыт московской концептуальной школы в искусстве и русского концептуального анализа языка в лингвистике в последние несколько десятилетий. Случается также, как было показано на примере Ю.С. Степанова и Т. Кибирова, что маршруты внутрикультурного трансфера могут пересекаться, производя новые типы дискурсов и культурных практик.

В настоящее время в русской гуманитарной культуре независимо сосуществуют три основных подхода к оперированию термином «концепт»: во-первых, художественный (в практике московской концептуальной школы), во-вторых, лингвистический (включая несколько различающиеся лингвокультурный подход и когнитивный анализ языка) и, в-третьих, философский (идущий еще от немецкой классической и феноменологической философии и вбирающий в себя опыт постструктуралистской философии Ж. Делеза). То, что лингвист и философ мыслят концепты по-разному, отмечалось в недавней статье на эту тему [Подорога 2013]. Но эти различия в «концептуализации» своего предмета как раз и показывают, что взаимодействия в гуманитарных исследованиях носят характер продуктивной дифференциации предметов знания между специалистами в разных областях. Одним из методов изучения этой дифференциации и служит теория культурных трансферов.

## Литература

Альберт Ю. (ред.) Московский концептуализм. Начало. Нижний Новгород, 2014.

- Арутюнова Н.Д. (ред.) Логический анализ языка: Культурные концепты. М., 1991.
- Аскольдов С.А. Форма и содержание в искусстве слова // Литературная мысль. Альманах 3. Л., 1925.
- Аскольдов С.А. Концепт и слово (1928) // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. М., 1997.
- Болдырев Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1.
- Герловина Р., Герловин В. Концепты. Вологда, 2012.
- Грицанов А.А. (ред.) Новейший философский словарь. Минск, 1999. URL: <http://gtmarket.ru/concepts/6891>
- Гройс Б. Московский романтический концептуализм // „А-Я“. 1979. № 1.
- Дейнека Э.А. Концепты лингвоантропологической системы Анри Мешонника // Под знаком «Мета». Материалы конференции «Языки и метаязыки в пространстве культуры» в Институте языкознания РАН 14–16 марта 2011 г. М.-Калуга, 2011.
- Демьянков В.З. Понятие и концепт в художественной литературе и в научном языке // Вопросы филологии. 2001. № 1.
- Демьянков В.З. Термин «концепт» как элемент терминологической культуры // Язык как материя смысла: Сборник статей в честь академика Н.Ю. Шведовой. М., 2007.
- Демьянков В.З. Концептуализация как междисциплинарная проблема // Когнитивные науки: Проблемы и перспективы: Материалы российско-французского семинара. Москва, 21–22 сентября 2010 г. М., 2010.
- Дмитриева Е. Теория культурного трансфера и компаративный метод в гуманитарных исследованиях: оппозиция или преемственность? // Вопросы литературы. 2011. № 4. URL: <http://magazines.russ.ru/voplit/2011/4/dm16.html>
- Зарецкий Ю., Левинсон К., Ширле И. (ред.) Словарь основных исторических понятий: Избранные статьи в 2-х т. / Пер. с нем. М., 2014.
- Зусман В. Концепт в системе гуманитарного знания // Вопросы литературы. 2003. № 2.
- Кубрякова Е.С. (ред.) Краткий словарь когнитивных терминов. М., 1997.
- Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка // Известия Академии наук СССР. Серия литературы и языка. 1993. Т. 52. № 1.
- Ляпин С.Х. О концептах и концептологии (в поисках нового подхода к моделированию деятельности) // XIX World Congress of Philosophy. Moscow 22–28 August 1993. Book of abstracts. Сб. резюме. Vol. I. Секция 13 (Философия деятельности).

- Ляпин С.Х.* Концептология: к становлению подхода // Концепты. Вып. I. Архангельск, 1997.
- Монастырский А.* Словарь терминов московской концептуальной школы. М., 1999.
- Неретина С.С.* Слово и текст в средневековой культуре. Концептуализм Петра Абеляра. М., 1994.
- Подорога В.А.* Как мыслит лингвист? Теория концепта и философия языка Ю.С. Степанова (Наброски к теме) // Языковые параметры современной цивилизации. Сборник трудов первой научной конференции памяти академика РАН Ю.С. Степанова. М.: Институт языкознания РАН; Калуга, 2013.
- Пригов Д.А.* Что надо знать о концептуализме // Арт-Азбука. Словарь современного искусства под ред. Макса Фрая. М., 1998. URL: <http://azbuka.gif.ru/important/prigov-kontseptualizm/>
- Проскурин С.Г., Харламова Л.А.* Семиотика концептов. Новосибирск, 2007.
- Степанов Ю.С.* Концепт // Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., 1997.
- Степанов Ю.С.* Семиотика концептов // Семиотика: Антология. Изд. 2-е. М.; Екатеринбург, 2001.
- Степанов Ю.С.* Концепты. Тонкая пленка цивилизации. М., 2007.
- Степанов Ю.С.* Публичное изготовление концепта... (новый жанр) // Язык как медиатор между знанием и искусством: Сб. докл. Международ. науч. семинара. М., 2009.
- Степанов Ю.С.* Мыслящий тростник. Книга о «Воображаемой словесности». Калуга, 2010.
- Фещенко В.В.* К истокам русской концептологии: от Ю.С. Степанова к С.А. Аскольдову // Вопросы филологии. 2010. Вып. 3 (36).
- Шпет Г.Г.* Мысль и слово. Избранные труды. М., 2005.
- Costantini M.* Trait d'union. Circulation des concepts avec médiation // GLISSEMENTS, DÉCENTREMENTS, DÉPLACEMENT, Pour un dialogue sémiotique franco-russe. Paris, 2013.  
URL: <http://www.bibliotheque-numerique-paris8.fr/fre/notices/164239-Glissemements-d&eacute;centrements-d&eacute;placement-pour-un-dialogue-s&eacute;miotique-franco-russe.html>.
- Espagne M.* Les transferts culturels franco-allemands. P., 1999.
- Espagne M.* L'histoire de l'art comme transfert culturel. L'itinéraire d'Anton Springer. P., 2009.

*Espagne M.* L'ambre et le fossile. Transferts germano-russes dans les sciences humaines XIXe-XX-e siècle. P., 2014.

*Flynt H.* Essay: Concept Art // An Anthology of Chance Operations. N.Y., 1963.

*Gin P., Goyer N., Moser W. (eds.)* Transfert: exploration d'un champ conceptuel. Ottawa, 2014.

*LeWitt S.* Paragraphs on Conceptual Art // Artforum 5. 1967. No. 10.

*Meizoz J., Sériot P. (eds.)* Traductions scientifiques et transferts culturels 1 : Acte du colloque de relève organisé à l'Université de Lausanne le 14 mars 2008. Lausanne, 2008.

*Weitz M.* The Role of Theory in Aesthetics // The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1956. Vol. 15. No. 1.

раздел 3. Межъязыковое  
и междискурсивное  
взаимодействие  
в перспективе  
культурных трансферов

## глава 3.1. Поэтический билингвизм как средство межкультурного трансфера

Н.М. Азарова

### 1. Эпохи и подходы. Поэты-билингвы, производящие поэтические тексты на одном из языков.

#### Проблема выбора языка при естественном билингвизме

Панорама исследований поэтического билингвизма на сегодняшний день ограничивается, как правило, перечислением многих случаев из разных мировых поэтических практик или точечными замечаниями, встроенными в исследования поэтики отдельных авторов и не приводящими к каким-либо теоретическим обобщениям проблемы поэтического двуязычия как таковой. Мы должны признать, что в настоящее время не существует не только теории поэтического билингвизма<sup>1</sup>, но и подробных и системных исторических обзоров, по которым можно было бы проследить основные тенденции в развитии билингвизма в поэзии. Отдельные экскурсы в историю поэтического билингвизма преимущественно представляют собой кейсовые исследования развития европейской поэзии, в которых часто освещаются частные вопросы формирования национальных литературных языков. Например, поэзия на романских языках формируется в условиях многоязычия близкородственных языков/диалектов [Чельшева 2015], [Алисова, Чельшева 2009], [Brugnolo 1983], [Cazal 1998], [Grutman 1994], [Pasquini, Quaglio 1981], [Tavani 2002], [Zumthor 1960]. В последние десятилетия актуальной становится тема поэзии как средства сохранения миноритарных языков. Показателен случай Анджелы Дюваль (1905–1981), которая благодаря своим стихам на бретонском получила мировую известность [Timm 1986]. Интересно отметить, что в некоторых исследованиях, не направленных непосредственно на изучение поэтического билингвизма, описывается языковая ситуация, позволяющая более пол-

<sup>1</sup> Термин «поэтический билингвизм» встречается ещё в работе Г.А. Левинтона 1979 г. «Поэтический билингвизм и межязыковые влияния» [Левинтон 1979]. См. также [Фещенко 2015: 201].

но представить себе контекст развития этого явления в мировой поэзии. [Gray 1979] рассматривает языковое поведение древнегреческой и древнеримской аристократии как поведение билингов, что помещает многие образцы эллинистической поэзии в контекст постоянного переключения между койне и аттическим греческим, а римскую поэзию в условия сосуществования литературной латыни, греческого и позднее народной латыни, а также позволяет задуматься о роли переключения между различными диалектами греческого в формировании идиостиля греческих поэтов классического периода. В недавних исследованиях все чаще актуализируется тема взаимодействия культур в поэзии билингов, а двуязычие нередко приравнивается к бикультурности. Так, [Argelli 2014] описывает творчество испано-итальянского билинга Франциско де Фигероа (ок. 1530–ок. 1588) и отмечает, что подобная *биглоссия* (авторский термин) в поэзии является знаком принадлежности одновременно двум культурам и двум литературным традициям, а формы, используемые поэтом-билингом, маркируют тенденции развития культуры. По сравнению со многими другими случаями билингвизма и многоязычия несколько лучше описан англо-испанский билингвизм на территории современных США<sup>1</sup>. В США есть попытки представить американскую литературу не как моноязычную, а как многоязычную традицию, где наряду с английским звучат арабский, идиш и иврит, норвежский, датский и шведский, итальянский и испанский [Multilingual 2000].

Существенной для изучения поэтического многоязычия представляется проблема неразличения или недостаточной дифференцированности языков или форм существования языка. Это явление особенно заметно в контексте синофонной литературы, то есть литературы и поэзии, написанной на вариантах/диалектах китайского языка или китайских языках. Из-за стандартизации письменности изучение того, обращается ли тот или иной автор к диалекту или другим языкам или пользуется исключительно *putonghua*, становится крайне трудно. В поле внимания исследователей из-за этого попадают только случаи билингвизма и многоязычия, в которые включены не близкородственные языки [Ehrenwirth 2014, URL; Дрейзис 2015]. [Щербицкий 2013] отмечает, что сингапурская поэзия развивается сейчас в условиях многоязычия (английский, мандарин, хоккиен, чаошань, малайский, тамильский, синглиш), однако никаких дальнейших выводов не делает.

<sup>1</sup> Англо-испанское двуязычие влияет и на образовательную среду, [Cahnmann 2006] предлагает использовать поэзию как инструмент для работы с билингвами.

Тема поэтического билингвизма должна стать отдельным направлением исследования. Необходимо **поставить вопрос о поэтическом билингвизме** и осмыслить его не только **в связи с проблемой идентичности**, как это делается в литературоведении, но и, прежде всего, **с лингвистической и семиотической точки зрения**, а также **рассмотреть когнитивные основания поэтического билингвизма и способы его реализации как инструмента культурного трансфера**.

Продуктивным представляется подход, при котором многоязычие осознается как один из вариантов нормы. Эта идея была озвучена в [Simard 2014] применительно к творчеству канадского поэта Patrice Desbiens, где предложено понятие многоязычной нормы.

Необходимо различать две разные постановки вопроса, которые имеются в виду под билингвизмом применительно к поэтическому дискурсу. Первая – это **билингвизм поэта, подразумевающий, что поэт владеет двумя или более языками, но производит тексты на одном из них**. И вторая – это собственно **поэтический билингвизм<sup>1</sup>, то есть производство поэтических текстов одним автором на двух или более языках**. И то и другое представляет безусловный интерес для изучения, но постановка вопроса должна быть разной. Под поэтом-билингвом в строгом смысле слова подразумевается тот поэт, который не просто в более или менее равной степени владеет двумя или более языками, то есть является билингом, но и пишет поэзию на двух языках.

Кроме того, к проблематике поэтического билингвизма примыкает тема межъязыкового взаимодействия у поэтов-монолингвов (или **культурный билингвизм**). В настоящее время мы наблюдаем **взлёт межъязыкового взаимодействия в поэзии разных стран**, и, хотя межъязыковое взаимодействие не является поэтическим билингвизмом в строгом смысле слова, эта проблематика тоже представляется актуальной. Межъязыковое взаимодействие, встречающееся у поэтов-монолингвов, как и использование более, чем двух языков, у поэтов-билингвов, мы будем называть **билингвизмом поэтического текста**, в отличие от поэтического билингвизма. Мы последовательно рассмотрим все эти темы.

Действительно, если рассматривать проблему билингвизма в исторической перспективе, то можно выделить эпохи расцвета поэтического билингвизма, как это происходило, например, в средневековой мусульманской Испании или в России советского времени.

<sup>1</sup> В англоязычной терминологии это можно соотнести с терминологической парой *bilinguality* и *bilingualism*.

В истории мировой литературы нередко **использование в поэзии двух разных языков, один из которых был мёртвым (спящим)**. Это было связано с интерпретацией античных авторов («новолатинская поэзия», поэзия на мертвом латинском языке в новое время – опыты Эразма Роттердамского, Джона Мильтона, даже Джона Донна, поэзия на иврите в II – XIX вв.). Более того, **сам термин «спящий язык» во многом становится оправдан именно благодаря поэтическому билингвизму** [Полян 2014; Азарова, Полян 2015].

Если рассматривать поэтический билингвизм исторически в социолингвистическом аспекте, то в некоторые эпохи он был связан с задачей **разграничения сакральной и светской, мужской и женской поэзии**. Так, например, в Японии в определенные эпохи мужская поэзия долгое время писалась по-китайски, а женская – по-японски.

В рамках одной и той же культуры **сосуществование поэтических текстов на двух языках может демонстрировать сложные динамические отношения диглоссии** (или несбалансированного двуязычия), **изменяющиеся во времени**. Ярким примером здесь может служить иврито-идишский поэтический билингвизм: иврит концептуализировался как богоданный язык, дарованный людям, чтобы отличать их от животных и уподоблять ангелам, идиш – как язык, который возникает сам собой по естественным причинам, язык, обладающий исключительно коммуникативной функцией. Однако, хотя иврит воспринимался как язык, созданный для поэтического творчества (существует огромная традиция сочинения высокой поэзии на иврите), а идиш, напротив, – язык, на котором писать стихи крайне трудно, поэзия на идише начала XX века выходит далеко за рамки разговорных форматов. Кроме того, в некоторых культурах имело место очевидное **чёткое дискурсивное разграничение**: так, в средневековой Испании еврейские поэты и философы писали свои философские тексты по-арабски, а поэтические – на иврите.

Действительно, **переходы в прозе на чужой язык случаются гораздо чаще, чем в поэзии**, например, билингв В. Набоков в поздние годы писал прозу по-английски («Лолита»), но стихи, кроме отдельных опытов, все-таки по-русски.

Известно несколько ранних стихотворений А. Пушкина на французском, 18 французских стихотворений Ф. Тютчева, французские стихотворения Е. Баратынского, несколько английских стихотворений И. Бродского и т. п. Однако, как правило, по-французски писали шуточные стихотворения, стихотворения в альбом (условно говоря – переформулированные «домашние», как бы продолжающие устную речь) или

это были чисто формальные опыты. Действительно, когда поэт-монолингв или начинающий билингв пишет стихи на чужом языке, он часто более старательно воспроизводит принятые в классической поэзии способы выражения и формальные особенности стиха. В таких стихах инерция общепринятого способа выражения почти никогда не преодолевается, и поэтому они едва ли могут рассматриваться как живая часть поэзии своего времени.

В русской поэзии классический поэтический билингвизм, то есть способность сочинять одинаково значительные тексты на двух языках, – относительная редкость. Например, поэт Серебряного века Ю. Балтрушайтис писал и по-литовски, и по-русски, а эстонский поэт конца XX – начала XXI века Я. Каплинский написал книгу стихов по-русски<sup>1</sup>. Условно говоря, **билингв, будучи поэтом и оставаясь билингвом, может и не быть поэтом-билингвом в строгом смысле слова, то есть он может выбрать для поэзии только один язык, что чаще всего и происходит.** В этом случае его рефлексия о языке чаще всего носит социокультурный, а не метаязыковой или метатекстовый характер.

Для поэта-билингва характерен **особый вид рефлексии – объяснение выбора лишь одного или преимущественно одного языка для поэзии**, что мы видим, например, в классическом случае билингва (или даже трилингва) П. Целана, который после уговоров перейти на румынский, чтобы не писать поэзию на немецком – на языке убийц родителей, сказал, что для него это невозможно, так как только на родном языке [первом – *Н.А.*] поэт говорит правду. На чужом языке поэт лжет [Целан 2008: 718].

Однако **переход билингвов на другой язык** не так редок, и он чаще всего **маркирован более престижным статусом языка и литературной традиции на нем.** В советское время поэты-билингвы из национальных республик, пишущие на национальных языках, тем не менее в качестве преимущественного поэтического языка выбирали русский, т. е. переходили на язык титульной нации. Среди них Олжас Сулейменов (казахско-русский билингв), Дондок Улзытуев (бурятско-русский билингв), Равиль Бухараев (татарско-русский билингв) и др. Самой характерной здесь является фигура Г. Айги, родным языком которого был чувашский, а основным поэтическим – русский, причем перейти на русский язык как основной поэтический посоветовал молодому поэту Б. Пастернак. Напротив, в XXI веке в бывших советских республиках остро встает проблема идентичности, растет престиж на-

<sup>1</sup> См. Каплинский Я. Белые бабочки ночи: стихи. Таллинн, 2014.

циональных языков, и, несмотря на то, что родным (первым) языком многих поэтов-билинггов был русский, для поэтической практики они выбирают национальные языки. Характерным примером является выбор украинского в качестве языка своей поэзии известным поэтом С. Жаданом. Аналогичный процесс можно наблюдать среди испано-каталанских билинггов: так, П. Джимферрер, начинавший как испанский поэт, в 70-е годы переходит на национальный язык – каталанский: «Выбор каталанского как основного языка поэтического творчества может рассматриваться как средство целевой адресации, использование которого оставляет носителей испанского языка и других возможных адресатов, не владеющих каталанским, за рамками коммуникации. В то же время Джимферрер продолжает использовать испанский язык, но только в прозаических произведениях» [Бочавер 2015: 323].

**Непереход на титульный язык как поэтический** в условиях эмиграции, задача сохранения родного языка в иноязычном окружении и восприятие поэтической практики как инструмента этого сохранения **характерны для поэзии русскоязычной диаспоры** (И. Бродский, П. Барскова, О. Юрьев, О. Мартынова). Хотя встречаются отдельные случаи поэтов русского происхождения, которые выбирают в качестве поэтического языка английский (Е. Осташевский, М. Янкелевич, Е. Туровски), случаи полного поэтического билингвизма – Гали-Дана Зингер (иврит-русский), а также поэты, перешедшие на английский (Филипп Николаев). Напротив, мексиканцы-эмигранты в США чаще переходят на английский, так как у них более остро стоит проблема угнетения по национально-языковому принципу. Кроме того, многие мексиканские поэты-билингвы уже родились в Америке, и испанский для них это *heritage language*, который обладает более низким социальным статусом, чем английский.

## 2. Поэтика надъязыка у поэтов-билинггов. Слова-шифтеры, «слова трансфера»

Даже если билингв выбирает один язык в качестве поэтического, всё равно представляется возможность реконструировать некоторые когнитивные особенности поэтического мышления, характерные именно для поэтов-билинггов. Прежде всего, это **появление некоторых слов (слов-шифтеров, слов трансфера) в контекстах, указывающих на возможность поэтического мышления в пространстве трансфера, перехода от языка к языку без использования непосредственных техник code-switching.**

Именно стремлением поместить русское языковое сознание в межъязыковое пространство, характерным для поэзии О. Мандельштама, объясняется появление целого ряда образов в его стихах. Например, когда поэт пишет *Фета жирный карандаш*, то эпитет *жирный* как будто повторяет фамилию *Фет* (*fett* по-немецки *жирный*). В другой строке О. Мандельштама неожиданное взаимодействие русских слов *блуд* и *кровь* объясняются через немецкий язык (*Blut* по-немецки *кровь*): *Есть блуд труда, и он у нас в крови* [Успенский 2014: 26]. Билингв Мандельштам использует слова, парящие между языками, обеспечивающие их наложение.

Билингвы часто обыгрывают характерные «**многоязычные**» слова, например, *роза* (*Rose*), которые возвещают **преодоление границы языков и возможность одновременного присутствия в разных языках и между ними**. Такие слова служат шифтерами культурного трансфера. Характерно появление «слова трансфера» *роза* в названии книги Г. Айги «Child-and-Rose» (2003), написанного в латинице, при том, что русской книги с подобным названием не существует.

*Роза* – одно из тех слов, сходно звучащих во многих языках, которое, будучи словом универсального языка, не принадлежит ни одному национальному, взятому в отдельности. Именно поэтому это идеальное слово для билингва, оно нейтрализовано, оторвано от любой национальной почвы и парит в межъязыковом пространстве, в то же время давая возможность наделять его в каждом новом тексте своим значением. **Подобное слово способно быть маркером обращения к поэту, пишущему на другом языке** (Ср. целановское стихотворение «Роза Никому» (“Die Niemand-Rose”, 1963 г.) и **одновременно шифтером, переключающим в режим иноязычной вставки**, поэтому в стихотворении «Иная роза для Анри Мишо» абсолютно закономерно появление эпиграфа из французского поэта, которому адресовано стихотворение, по-французски: *Ensuite elle fut prise dans l’Oraque*.

Подобные **слова-шифтеры могут обеспечивать не только двухсторонние, но и многосторонние отношения**, что можно считать классическим **трансфером**. Стихотворению Айги «Поэту розы поэта» (К 40-летию К. Богатырёва) предпослан эпиграф из Рильке, процитированный по-немецки: *Rose, oh reiner Widerspruch, Lust...* Образуется треугольник: русскоязычный поэт-чуваш Г. Айги, немецкоязычный Р.М. Рильке и переводчик К. Богатырёв. Роза открывает это пространство и поэтому может представлять в образе окна, ведущего в том числе к тем языкам, где «роза» звучит по-другому, например, греческому: *где окна-розы – монологи Сафо / распахнуты тобою*.

В тексте поэта-билингва не просто предполагается **возможность восприятия иностранного текста (иностранного слова) без перевода**, но и **формальный отрыв иностранного слова, служащего элементом трансфера, от принадлежности одному конкретному языку:**

*поклон мой – праху-пению (сквозит зарей прощанья  
Religio-Народ и Слово-Сирость)*

Religio-Народ, написанное латиницей, безусловно, понятно читателю без отсылки к конкретному языку. Religio, ōnis – по-латыни женского рода, но латинский здесь не актуализируется, и для русского сознания окончание на «о» ассоциируется со средним родом, поэтому поэт добивается нейтрализации изначального рода, чему способствует и параллельная конструкция со словом «слово» (*Religio-Народ* и *Слово-Сирость*); возникает приоритет зрительного восприятия, и слово в результате отрывается от конкретной языковой принадлежности. Это характерный для Г. Айги приём, когда слово иконизируется, превращаясь в иероглиф, существует в междуязыковом пространстве, как бы не относясь ни к одному национальному языку. Поэтика Г. Айги подразумевает приведение к общеязыковому, но не через конструирование искусственно-универсального языка, а через угадывание некоего праязыка, языкового гула, подобного надъязыку до вавилонского столпотворения.

Создаваемый образ идеального языка (надъязыка) предполагает не только возможный выход к любым языкам через их визуальную и аудиосоставляющую, но и абсолютную коммуницируемость любого невыразимого<sup>1</sup>.

**Поэту-билингву, использующему слова-шифтеры, удаётся обеспечить органичное и одновременно остранённое бытование иностранных слов в стихотворении, их иконичность и коммуницируемость.**

### **3. Концептуализация грамматических категорий в поэзии билингва**

Традиционный способ рассмотрения проявления билингвизма на грамматическом уровне заключался в обнаружении влияния конструкций родного языка на усвоенный и обратно, в сознательной и бессоз-

<sup>1</sup> См. [Хузангай 2006: 116–124].

нательной интерференции, то есть в модальности языковой несвобо- ды. Очевидным в процессе обучения детей-билингвов стало и их более развитое аналитическое мышление на уровне грамматики по сравнению с детьми-монолингвами [Ritchie, Bhatia 2006: 581]. **Определенные преимущества межъязыкового мышления билингва, пишущего по-русски, прослеживаются, прежде всего, в концептуализации категорий рода и падежа.**

На примере поэзии Г. Айги можно проследить **отличия в падежной дистрибуции** абстрактных существительных в русских текстах поэта-билингва. Как видно из таблицы, поэзия Айги демонстрирует резкое несоответствие по частотности винительного (9%) и творительного (22 %) как по сравнению с поэтами Серебряного века, так и с поэтами-современниками.

	Им.	Род.	Дат.	Вин.	Тв.	Пр.
Блок	46%	17%	2%	23%	7%	5%
Каменский	31%	23%	3%	23%	15%	5%
Гумилев	38%	22%	7%	19%	13%	6%
Найман	42%	17%	3%	28%	4%	7%
Холин	32%	21%	7%	18%	7%	7%
Пригов	27%	31%	8%	21%	7%	4%
Парщиков	35%	19%	5%	22%	9%	9%
Драгомощенко	38%	21%	4%	23%	7%	7%
Айги	39%	19%	2%	9%	22%	9%

Если минимизация В.п. имён на «-ость» объясняется отказом от типичных речевых (разговорных) клише, деидиоматизацией и предпочтением свободной сочетаемости абстрактных существительных, то творительные падежи существительных, напротив, крайне частотные для Г. Айги, выполняют функцию нейтрализации субъекта. В пантеистической поэтике то «я», которое раньше называлось лирическим субъектом, не отрицается, а растворяется. Апологию творительного падежа можно рассматривать как нейтрализацию категории падежа как таковой, так как конструкция с творительным тяготеет к занятию некоего независимого места в высказывании, например, *в комнате рядом – тот / топотом / легоньким / по полу*, где *топотом* вообще перестаёт мыслиться как существительное. **Падежная дистрибуция позволяет увидеть в поэтическом билингвизме возможность освобождения от когнитивного диктата конструкции как таковой или диктата парадигмы.**

**Билингвизм предполагает** не столько намеренную борьбу с «решеткой языка» (преодоление конструкций, заданных оппозиций), а изначально **иной уровень свободы от языка, от его идиоматичности и клишированности**, хотя сознательная борьба, безусловно, тоже может входить в поэтическую стратегию билингва<sup>1</sup>. Здесь **совпадают когнитивные особенности билингва, аналитизм его грамматической рефлексии и задачи авангардной поэтики**.

**Отличия в дистрибуции рода** не менее очевидны. В целом концентрация существительных среднего рода в текстах билингва Айги больше не только узуальной, но и внутривоэтической. Например, в стихотворении «Заря: шиповник в цвету» из 35 слов (не считая союзов и предлогов) 17 представляют собой формы существительных, прилагательных и субстантиватов среднего рода.

В языках с выраженной родовой оппозицией явно ограничение на степень концептуализации рода. Концептуализация рода с неизбежностью ведет к антропоморфному видению в мифологическом или ироническом вариантах. Более того, родовая оппозиция мыслится как оппозиция именно мужского и женского рода, а не мужского и среднего или среднего и женского, а средний род вообще теряет возможность формировать какие-либо оппозиции. Эту проблему можно сравнить с трудностями переводческой практики, где, по Р.О. Якобсону, больше всего переводчику мешает не отсутствие каких-либо категорий, а наличие «лишних» категорий [Якобсон 1978].

**В поэтике билингва становится возможным оторвать категорию рода от семантики пола** и тем самым избежать антропоморфной образности по заданной фольклорной модели (в которой средний род Солнце переосмыслен как мужской, например, у Ф. Сологуба: «... пришли лучи к Солнцу, разбирают себе подорожные... Поймал Солнце одного лучишку за волосенки, говорит...»). В результате, если мужской род и употребляется вместе со средним, то это может быть абстрактное существительное *Смысл-Солнце*, нейтральное к семантике пола и никаким образом не ведущее к персонификации. **Русский средний род концептуализируется в поэтике билингва как нечто вне пола, но и, что не менее важно, вне одушевленности**. Уточним, что речь идет не о превращении одушевленного в неодушевленное, а об абсолютной нейтрализации оппозиции «одушевленное / неодушевленное». **В резуль-**

<sup>1</sup> Билингв Г. Айги соединяет слова в дефисные комплексы, похожие на хайдеггеровские, но при этом Айги не расчленяет слова и для него не так важна их внутренняя форма, он не замечает идиомы, не работает на уровне идиом.

**тате антропоморфное мифологическое видение мира заменяется пантеистическим.**

Еще более интересна модель итеративной нейтрализации антропоморфной семантики без родового перехода, то есть модель «такое умное Солнце – ТАКОЕ». Эта модель демонстрирует обратное фольклору движение, не от среднего к мужскому или женскому, а от среднего зависимого к среднему абсолютному. Можно даже сказать, что таким образом реализуется некая апология среднего рода: *отцвела земляника // отзвучала безлюдно вечерня лесная // и осталось такое смотрящее умное Солнце // ТАКОЕ ОСТАЛОСЬ.*

В традиционной поэтике основная линия семантизации рода в паре «средний род / мужской род» предполагает преодоление этой оппозиции, элиминирование среднего рода и возврат привычной оппозиции «мужской род / женский род». В русском языке это особенно легко достижимо в таких омонимичных формах, как *к нему, от него, с ним*, то есть во всех формах косвенных падежей местоимения *оно*: «Исключительно значимым становится факт омонимии косвенных падежей форм у местоимений “он” и “оно”»: такие формы в контексте антропоморфизации становятся средством суггестивной маскулинизации Солнца» [Гин 1992: 105]. В минимальном контексте «Солнце – я о нем все время думала» косвенный падеж *о нем* в сочетании с женским родом глагола предполагает безусловную персонификацию. **Минимальные контексты (особенно выразительные в позиции заглавия) способны выражать идею совпадения мужского и среднего рода при нейтрализации мужского рода.** В заглавии стихотворения «И: ОБ УХОДЯЩЕМ» предложный падеж позволяет воспринимать субъект как «уходящий» и «уходящее» одновременно. Интересно, что философы также рефлексируют над необязательностью семантизации языковой оппозиции мужского и среднего рода для формирования философского текста. Так, С. Франк говорит о том, что в русском языке не хватает грамматической формы, которая бы одновременно выражала идею «Непостижимый» и «Непостижимое»: «*Непостижимое* есть вместе с тем и *Непостижимый*. И только по бедности языка, не знающего особой флексии для *всеобъемлющего* и *всеопределяющего* характера той реальности, которая здесь преподносится нашей мысли, мы вынуждены делать выбор между одной из двух флексий, применяемых для обозначения двух привычных нам родов бытия...» [Франк 1990: 485]. Проведем мини-эксперимент, рассмотрим следующий контекст:

*и свет не открывается  
смотрящего всегда!*

Если рассматривать этот контекст отдельно, то по умолчанию можно сказать, что *смотрящего* относится к агенсу, и, соответственно, это мужской род (тот, кто смотрит), однако поместим это высказывание в контекст целого стихотворения, и оказывается, что первоначально *смотрящее* задается средним родом, а далее, благодаря формам косвенного падежа, Г. Айги **удается реализовать** то самое **единство мужского и среднего рода**, Бога и божества (по модели *Непостижимый = Непостижимое*): *смотрящее // всегда перестает: // и день! и мир! // единственное есть // непрекращающее – // по его ли облику // душа скользит: // как прах! – // и свет не открывается // смотрящего всегда!*

В поэзии билингва Айги обращают на себя внимание **неконвенциональные конструкции, демонстрирующие предельное рассогласование по роду**, которое тем не менее невозможно приравнять к языковой ошибке<sup>1</sup>: *пусть – так поются! это наше счастье // что так их можем представлять! – // но есть – не только представляемое: // есть светлое один – в любой поляне: // как важно это для меня! – // то рода свет (одно и то же гласное: // поет – во всех местах в лесу // его один и тот же Бог)*. Намеренное рассогласование *есть светлое один* не преследует цель подчеркнуть «неправильность» (этничность) высказывания. Это некая надъязыковая конструкция, которую по отношению к русскому языку можно считать семантико-грамматическим окказионализмом. Если в фольклорных текстах нейтрализация оппозиции «средний род / мужской род» вела к превращению среднего рода в мужской (персонификации), то у Айги видим обратное движение – осуществляется переход не от среднего рода к мужскому, а от мужского к среднему.

<sup>1</sup> Часто ошибка билингва именно в согласовании по роду обыгрывается, в том числе поэтами. Так, С. Завьялов подчёркивает этничность высказывания. Завьялов по национальности мордвин, родным языком которого является русский, а не мордовский. Двухязычие Завьялова – это, скорее, принимаемая намеренно форма идентичности. В своем письме Завьялов объясняет несогласование по роду имитацией типичной языковой ошибки: «в этом цикле имитируется речь мордвина, едва владеющего русским языком». Метаязыковая рефлексия поэта направлена, скорее, на социальный аспект колониальной ситуации двухязычия, в котором русский язык предстает в образе языка принуждающего. Поэт превращает «ошибки» в художественный прием: *январский солнце, как-то что ли черный, солнце садиться: пустынно // голубой рассвет // и январский солнце // как-то что ли черный // Опустать // ... // (язык: он – забыть!) // Солнце садиться*. А. Скидан справедливо замечает, что «... в отличие от Завьялова, Айги не превращает двухязычие и миноритарность в творческий принцип, в стратегию, не стремится к созданию этнопоэтики...» [Скидан 2013: 39].

Мужской род оказывается подчиненным среднему, *один* одновременно воспринимается как единое (как Оно и как Он). В результате конструкция *есть светлое один* делает возможным поэтически решить давнюю теологическую проблему: раскрыть тему сакрального неоплатонистически, вне обязательной привязки к маскулинному божеству, но и не сводя сакральное к чистому пантеизму.

В какой-то степени, конечно, можно рационалистически трактовать *светлое один* и как подобие цитируемой чужой речи в своей, то есть как конструкцию с репрезентируемой речью [Светашова 2009]. В пользу подобной интерпретации могла бы свидетельствовать графика текста: *один* дано при помощи разрядки, а для конструкции с репрезентируемой речью тоже характерно выделение курсивом или кавычками. Эти конструкции вводят чужую речь при помощи адъективов среднего рода, характеризующих принадлежность чужой речи – *твое прости* или характер произнесения или звучания – *громкое, хриплое, едва слышимое и т. д.* У Г. Айги это могла бы быть речь, реально слышимая в своей как голос (светлый голос), тем более что голос и гласное являются ключевыми словами текста (*светлое* в этом случае выступает как синоним *гласного*, то и другое – как предикаты высшего голоса). Это некий «псевдоподхват» чужой речи – того (того голоса), что слышится в мире. Подобная интерпретация уменьшала бы степень ненормативности видимого родового рассогласования. Однако и в этом случае семантика конструкции все равно отражала бы то же пантеистическое мышление, при котором «Я» определяется опосредованно через мир (у Айги «Я» конструируется через «Другого» – но «Другой» и «мир» идентичны). Необходимо заметить, что одна трактовка не исключает другую: хотя первая (переход от мужского рода к среднему) нам кажется предпочтительнее, в нелинейном тексте Айги возможно и наложение двух и более конструкций.

**Снятие привычных родовых оппозиций у Г. Айги дает возможность снятия запрета на уровни абстрагирования.** Выстраивается иерархия – средний род стоит выше мужского и женского – благодаря абстрагирующей потенции среднего рода.

**Билингвизм позволяет по-новому концептуализировать категорию, отсутствующую в родном языке.** Билингвизм позволяет оторвать саму категорию и превратить ее в некое умозрение, абстракцию. Интересно, что еще Л.В. Щерба говорил о том, что для билингва при контрастивном двуязычии возможно «освобождение мысли из плена слова» [Щерба 1974: 317].

Если развивать идею о принуждении языка под влиянием взаимодействия с языком неродственной структуры, то «принуждение» одновременно является и поиском потенциальности.

**Высокая способность к абстрагированию у билингва может найти отражение и в количестве и роли абстрактных существительных в тексте.** Так, количество абстрактных существительных (на -ость) в русской поэзии Г. Айги самое высокое за всю историю русской поэзии: 110 на 10000 (Ср. А. Блок 46, А. Ахматова 28, М. Цветаева 49, В. Маяковский 39, А. Парщиков 42, Д.А. Пригов 37) [Баймуратова 2012: 207], что примерно в три раза превышает средний показатель в русской поэзии XX в. В какой-то степени поэзия билингва на усвоенном языке сродни абстрактному искусству, а искусство формализации на чужом языке даже более выигранно.

**Язык большого поэта-билингва обладает более высокой не только по отношению к общеупотребительному языку, но и по отношению к языку поэзии своего времени потенциалом абстрагирования.**

Мышление билингва способно обеспечить **операцию нейтрализации первого или второго языка как некую стадию перехода к надъязыку.** Принцип нейтрализации проявляется в сглаживании грамматических категорий, лёгких частеречных трансформациях, редукции личных форм глагола, приоритете среднего рода, деепричастий и т. д. Так, в характерном нейтральном микротексте Г. Айги *что-то всегда: // называясь «такое»* отсутствуют личные формы глаголов, падежные формы существительных мужского или женского рода; он состоит из местоимений, в том числе превращённых в существительные среднего рода, наречия и деепричастия.

Поэт-билингв способен достичь частеречной нейтрализации (нейтрализации различий между частями речи) и добивается приобретения словом пластичности иероглифа, благодаря чему слова (наречия, слова категории состояния), оканчивающиеся на «о», становятся похожими на существительные среднего (нейтрального) рода. Например, как показатель среднего рода может восприниматься «о» в *далеко*:

*и лишь сознание где-то сплавом ангельским  
над тенью здесь затерянной –*

*иное  
далеко*

**Частеречная принадлежность подобных слов нейтрализуется, и на первый план выступает визуальная информация, благодаря чему текст частично иконизируется.** Это уже шаг к надъязыку, сни-

мающему запреты на абстрагирование и допускающему реализацию максимального количества валентностей у каждого слова, не сдерживаемого привычными категориями. Билингвизм поэта в какой-то степени может рассматриваться как процедура создания языка заново.

#### **4. Поэтический билингвизм и гипотеза о языковой организации билингва. Субъект текста поэта-билингва**

Существуют разные гипотезы языковой организации билингва: языковую организацию билингва можно рассматривать как единый склад (stock) с разными, порой разнородными элементами или, напротив, видеть сосуществование двух языков как двух независимых систем, порой вступающих друг с другом в некоторые отношения. Если спроецировать этот вопрос на поэтический билингвизм, то необходимо обратиться как к разности/консистентности поэтик на двух языках, так и к конструированию субъекта поэтического текста (субъективации). Под термином *субъективация* я имею в виду в том числе возможность конструирования внутритекстового субъекта читателем и те средства, которые способствуют реализации этой возможности. Субъект возникает во время чтения конкретного стихотворения, с одной стороны, и не существует за его пределами, а с другой стороны, в его конструировании поэт принимает активное участие, что позволяет исследователю реконструировать следы этого участия.

Особый интерес представляет билингвизм великого португальского поэта Ф. Пессоа (1888–1935), оставившего огромный корпус поэтических текстов как на португальском, так и на английском языках. Несмотря на то, что в Португалии на протяжении всей истории были тесные контакты с Англией, именно Ф. Пессоа представляет единственный чистый случай португало-английского поэтического билингвизма. Ф. Пессоа можно по праву считать одним из самых известных билингвов в истории мировой поэзии.

Поэтический билингвизм всегда обусловлен биографией, **разностью биографического опыта, на основе которой формируется разность поэтического существования в пространстве того или иного языка.** Ф. Пессоа родился в Португалии, вырос в Южной Африке, и с момента возвращения в 1905 г. в Лиссабон он не принадлежит полностью ни к одной культуре – ни к португальской, ни к английской, он везде себя чувствует экспатом. Тот английский мир, который усваивает Пессоа, – с одной стороны, чисто книжный, а с другой – колони-

альный; и то и другое не даёт возможности обрести собственно английскую идентичность, почувствовать английское как своё. Когда в 1918 г. он пишет и публикует свои английские стихи, британская критика отмечает, что в этой поэзии избыточны «ультрашекспировские шекспиризмы». Очень часто цитируемая фраза Пессоа, причём часто цитируемая вне контекста: «Моя Родина – это португальский язык», поэт как будто однозначно отдаёт предпочтение родному (материнскому) языку по сравнению с любимыми усвоенными. Но если посмотреть на контекст, то Пессоа уточняет свое высказывание: его не очень обеспокоило бы, если бы захватили Португалию как страну, но, с другой стороны, он на самом деле ненавидит, когда плохо говорят по-португальски, игнорируя синтаксис или орфографию [Pessoa 2010: 326].

Ф. Пессоа выступал под большим количеством гетеронимов, основные это – Альберто Каэйро, Алваро де Кампуш, «лично Пессоа» и Рикардо Рейс, каждому из которых соответствует самостоятельный поэтический стиль (от рафинированного эстетизма Рикардо Рейса до радикального авангарда билингва Алваро де Кампуша) и отдельная сконструированная личность с собственной биографией и социально-культурной идентичностью. Необходимо уточнить принципиальное отличие гетеронима от псевдонима: псевдоним ориентирован на смерть или бессмертие, то есть здесь реализуется сразу антитеза собственной временности и вечности псевдонима, то есть реальная и литературная жизнь разводятся по принципу смертность/бессмертие: псевдоним остаётся жить, когда умирает живой поэт. Гетероним, наделённый собственной биографией, может быть смертен, он может умереть гораздо раньше, чем автор. Таким образом, автора как такового нет, он превращается в одного из своих гетеронимов, которые призваны разобрать личность, уничтожить само понятие личности. Как невозможно собрать множественный субъект отдельного произведения, например, «Морской оды», в единый конструкт, так и сумма всех гетеронимов поэта не способна смоделировать целого «Пессоа» («лично Пессоа» – такой же гетероним, как и остальные), поэтому, строго говоря, использование фамилии Пессоа как автора текста(-тов) нельзя считать полностью корректным.

**При постановке вопроса о билингвизме возникает кажущаяся неизбежной проблема идентичности, и гетеронимию Ф. Пессоа можно рассматривать под этим углом: гетеронимы – это остроумный способ избежать приоритетной идентификации в связи с тем или иным языком, то есть постановки вопроса о том, говоря на каком языке, субъект оказывается тождественен сам себе. Таким образом, билингвизм тесно связан с субъективацией.**

Случай Ф. Пессоа убедительно показывает **связь билингвизма и множественной субъективации** (гетеронимии). Множественность субъекта воплощается в неопределенности и транзитивности *я* и *мы*, *мы* и *вы*<sup>1</sup>. Противоречивая субъективация не разворачивается в тексте как бинарная оппозиция, что не позволяет смоделировать субъект как непротиворечивое целое. Субъект не только отказывается от самоидентификации – социальной, возрастной, национальной, половой, но и настаивает на невозможности идентификации единого субъекта по его поэтике и языку. Каждая часть души (термин Пессоа) в конструкции множественного субъекта может быть временно связана с каким-то определённым языком, и в этом смысле билингвизм (или трилингвизм) даёт дополнительные возможности этих случайных комбинаций. В то же время какой-либо язык неоднозначно привязан к какому-либо персонажу. Это особенно легко проследить на примере французского. Французский не занимает такого места в творчестве Ф. Пессоа, как английский. Пессоа писал по-французски в течение ограниченного времени, и французский был почти всецело зарезервирован за его гетеронимом Жаном Сеулем де Мелюретом. Поздний Пессоа замечает, что как-то встретил фрагменты, написанные по-французски, но вот уже прошло пятнадцать лет, и с тех пор он читает по-французски так же, как и читал, но он видит, что фрагменты написаны человеком, свободно владеющим французским, так, как он теперь уже этим не владеет, то есть поздний Пессоа заменил кем-то другим в себе себя владеющего французским.

**Разные языки поэзии билингва часто соотносимы с разной поэтикой.** Таким образом, лингвопоэтический подход к билингвизму уподобляет переход от языка к языку переходу от идиостиля к идиостилю. Аналогично чувашский Г. Айги – традиционный поэт, пишущий в рифму, а русский Г. Айги – поэт-авангардист.

Несмотря на разность конструирования субъекта поэтом-билингвом и разность реализации принципа множественной субъективации, прежде всего в случае написания текстов билингвом на разных языках, речь идёт не просто о разности поэтик, так как это могло бы частично объясняться встроенностью в определённый литературный контекст (как в случае иврит-идиш), **но и о различии дискурсивных практик и коммуникативных ситуаций, в которые попадает субъект, говорящий не на одном языке.** То есть разность поэтик непосредственным образом связана с конструированием субъекта, а не только с литературной традицией.

<sup>1</sup> Подробнее см. [Азарова 2014].

Модель культурного трансфера работает не только внутри художественного текста, но и становится применимой к самому конструирующему личностному билингу, например, к «Пессоа». Фамилия Pessoa писалась с сиркунфлексом, который поэт намеренно снимет (фамилия будет писаться Pessoa), когда он превратится из просто португальца в великого писателя, и это снятие диакритического знака с фамилии можно рассматривать так же, как знак превращения фамилии во что-то иное, то, чем фамилия одновременно является и не является, превращением родового имени в некую персону, маску, имя кого-то другого, или любого другого, вне языковой идентификации.

Ф. Пессоа придавал особую важность трансформации собственной личности. В когнитивном смысле гетеронимию и билингвизм Пессоа в рамках его теории можно воспринимать как некую медиумность, способность человека мыслить «средним арифметическим» ряда языков.

В отличие от «чистых поэтов» множественная субъективация легендарного мексиканского субкоманданте Маркоса, левого радикального писателя и философа, главного идеолога и пропагандиста Сапатистской армии национального освобождения, поднявшей индейское восстание в 1994 году в мексиканском штате Чьяпас, не создается чисто текстуально, а вызывает интерес и вне литературной ситуации. Поэзия «органического интеллектуала» Маркоса отличается насыщенной интертекстуальностью, а любимым автором, безусловно, выступает Ф. Пессоа (причем в равной степени его испанские и английские стихотворения)<sup>1</sup>. Маркос наследует как гетеронимию, так и поэтический билингвизм, ведущий к более широкому культурному трансферу – процессу множественного «двойного перевода» с языка индейской культуры на западный язык и обратно – со своего понятнейшего политического языка левых на концептуальный язык коренного населения, тоже свой.

В некоторых случаях множественная субъективация, множественный субъект в современной ситуации может проецироваться на понятие мультикультурной и, соответственно, мультиязыковой идентичности. Этот смысл может приобретать позиционирование субъекта между языками как невозможность принадлежать к какой-либо одной культуре, одному языку, невозможность укорениться в языке.

<sup>1</sup> В качестве примера приведем эпиграф из английского стихотворения Пессоа к одной из глав книги Маркоса: *I am a fugitive, / Once I was born / They locked me up inside of me / But I left, / My soul searches for me / Through heels and valleys, / I hope my soul / Never finds me.*

Примером подобной субъективации может быть поэзия австрало-китайского поэта-билингва Оуян Юя. Китайская поэтическая традиция представляет собой настолько замкнутую, изолированную от внешней среды систему, что существование поэта «в пограничной зоне» двух культурных полей, в качестве одного из которых выступает китайская традиция, оказывается проблематичным. Билингвизм в современной китайской поэзии, несмотря на несравненно большую открытость поэта другим культурам, оказывается возможен прежде всего в формате взаимодействия с «периферийной» литературой – на языке «малых народов» (тибетцев, и, мяо). При этом проблема переключения кодов в ситуации многоязычия в ряде случаев оказывается снята.

При выстраивании своей мультикультурной идентичности поэт использует такие приёмы, как смешение двух языков в рамках одного поэтического текста, вплоть до их смешения внутри одной языковой единицы, а также введение в ткань произведения на одном языке единиц другого языка, которые будут осознаваться как чуждые, часто непонятные знаки, нуждающиеся в пояснении их поэтом [Дрейзис 2015]. В стихотворении «Две дороги» (*“Two Roads”*) обе страницы разворота книги включают китайский и английский языки, которые чередуются не только построчно, но и в рамках одной строки. Два парных стихотворения представляют собой размышление на тему произведения Роберта Фроста «Другая дорога» (*“The Road Not Taken”*), которое поощряет моноязычного читателя принять обе дороги (стихотворения), считывая китайские или английские слова, перескакивая с левой на правую страницу и обратно [Farrell 2013]. Таким образом поэт подчёркивает, что английский язык не является для субъекта родным, и предполагается, что субъект, как следствие, существует в полемически определяемых отношениях со своим адресатом не-мигрантом, но подчёркнутый билингвизм в качестве стилистической константы согласуется с опытом, который он описывает как неприкаянность, оторванность от «корней» (*rootlessness*) [Nicholl 2013: 1].

**Поэтический билингвизм в какой-то мере может прояснить ответ на вопрос, который долгое время задаётся при изучении билингвизма, а именно: какая из двух гипотез языковой организации билингва правильная – та, что рассматривает языковую организацию как единый склад (stock) с разными элементами, или та, что видит организацию двух языков как две независимые системы. Поэтический билингвизм, очевидно, говорит в пользу второй гипотезы, так как чаще всего два языка реализуются в двух поэтиках, более или менее независимых или по крайней мере стара-**

ющихся отличаться друг от друга. В этом смысле можно было бы рассматривать два языка в поэзии и как конструирование двух говорящих субъектов, то есть своеобразный вариант лингвистической гетеронимии. Однако ставя вопрос о разной субъективации в случае поэтического билингвизма, нельзя сводить всё к упрощению, что разные субъекты – это разные роли, маски и т. д., хотя очевидно, что способ конструирования субъективности будет отличаться у одного автора на разных языках.

**В пользу того, что языковая организация билингва – это две системы, свидетельствует и то, что поэты-билингвы не любят быть переводчиками между своими двумя языками, а если это случается, то, как показывают исследования, поэтика перевода в корне отличается от поэтики оригинального творчества.** Переводческая практика поэтов-билингвов часто подразумевает перевод с третьего языка, как, например, Г. Айги переводил с французского на чувашский. Или если в переводе всё же задействованы два основных языка билингва, то речь всё равно не идёт о переводе собственных стихов: например, Ф. Пессоа переводит английских поэтов на португальский, но не переводит ни собственные английские стихи на португальский, ни португальские на английский, а Н. Скандиака, будучи переводчиком с русского на английский и с английского на русский, тем не менее не переводит свои стихи. Поэты-галисийцы или поэты-каталонцы, несмотря на билингвизм в узусе, предпочитают сами не создавать испанских вариантов текста. Поэты-билингвы, пишущие один и тот же текст на неродственных языках, как правило, признают оба своих текста оригинальными и стремятся писать на «чистом» языке, и в том и в другом случае избегая инкрустаций своего второго языка (например, Наталия Толедо (1968), мексиканская поэтесса, которая параллельно пишет на сапотек и на испанском). И именно поэтому немногочисленные известные случаи автопереводов представляют особый интерес для лингвиста и семиотика [Фещенко 2015].

## 5. Рутинные практики билингвов в поэтическом дискурсе. Хеджирование

Билингвизм не есть что-то экстраординарное для билингвов (не-поэтов). Это по большей части само собой разумеющийся факт, вернее, обстоятельство их жизни, как еда, сон и т. д., то есть то, что может не рефлексироваться билингвом, если не затрагивает его социальный статус. Однако то же самое в поэтическом билингвизме невозможно **из-за**

**автореференциальности и автокоммуникативности поэтического текста** как его основополагающих свойств. Поэтому **естественный билингвизм неизбежно становится объектом рефлексии поэта-билингва** независимо от того, получает ли эта рефлексия непосредственное вербальное выражение.

С одной стороны, поэтический билингвизм позволяет пролить свет на спорные вопросы языковой организации билингвов, а с другой – **поэтический билингвизм демонстрирует превращение в художественный приём** не только особенности мышления билингвов (таких как абстрагирование), но и **их рутинные жизненные и речевые практики**.

По отношению к рутинным речевым практикам билингвов, находящим отражение в их поэтике на родном и усвоенном языке, можно использовать оппозиции **«чувственность, эмоциональность vs. ментальность»** и **«телесность vs. избегание телесности»**. Возможно, в случае Ф. Пессоа можно применить простую оппозицию «думать на языке» и «чувствовать на языке», поэтому английский язык в метаязыковой рефлексии поэта мыслится как язык универсальный, всеобщий<sup>1</sup>. В молодости его ментальная жизнь проходит под знаком английского языка, но его мир чувств соотносится, скорее, с эмоционально-телесным пространством волшебных португальских сказок и народных песенок. Сам Ф. Пессоа говорил, что он использует английский как научный и общий язык, а португальский как литературный и частный [Pizarro 2013: 111]. Но, несмотря на то, что английский предстает как универсальный, он, будучи ментально «своим», парадоксальным образом не перестает быть телесно чужим. Билингвизм Пессоа позволяет ему установить различие между понятиями «думать на языке» и «ощущать на языке»; таким образом, оказывается, что **ментализация, формализация на втором языке для билингва предпочтительней**, в то время как «сенсационизм» (*sensacionismo* от порт. *sensacion* – ощущение) Пессоа более достижим на первом, португальском, материнском языке.

Так как **для поэзии на первом языке важна не только связь с эмоциональной стороной, но и с телесностью**, в этом смысле **когнитивно поэзия на первом языке менее свободна, чем поэзия на усвоенном языке билингва, которая, как правило, избегает телесности**. Поэзия на усвоенном языке, будучи более свободной от телес-

<sup>1</sup> Например, в «Морской оде»:

*Dos naufrágios, das viagens longínquas, das travessias perigosas.*

*Esse teu grito inglês, tornado universal no meu sangue* [Campos 2008: 38]

*Этот твой крик английский, в моей крови ставший всеобщим* [Кампуш 2014: 212].

ности, может быть менее свободна в формальном отношении, но более свободна в когнитивном. Это легко иллюстрируется, с одной стороны, сенсационизмом Ф. Пессоа (поэзией на первом языке), а с другой – русскоязычной поэзией Айги, избегающей проявлений непосредственной телесности и, напротив, оперирующей свободно в ментальном поле.

Одной из самых характерных рутинных практик билингва является **code-switching**, часто подразумевающее хеджирование. Смешение языков (code-switching) часто используется билингвами в практике хеджирования, то есть де-интенсификации табуированной (в том числе сакральной) информации или подачи её в размытом, неопределённом виде, в виде “sort of” («вроде»)<sup>1</sup>.

**Хеджирование – обнаружение себя в той области, о которой хочется молчать, в том числе сакральной.** Например, существует мнение, что английский был языком эзотерического выхода для Пессоа [Pasi 2001: 695].

**В поэтической практике не имеет большого значения, какой язык используется в практике хеджирования.** Если билингв пишет на титульном языке (на втором, усвоенном), то он может прибегать как к родному, так и к третьему языку для хеджирования, а если он пишет на родном языке, то хеджироваться информация может при помощи перехода на второй (усвоенный) язык.

**Иностранный язык**, который всегда говорит и не говорит, понятен и не понятен одновременно, **может быть эффективным способом вербализации молчания.** В стихотворении Г. Айги «Заря: в перерывах сна» это *небытие*, точнее *не-есть*, *ничто голоса* дано по-французски *néant de voix: где есмь как золотую пыль – // как обрамленье красное приснившееся книги: «néant de voix» – // от сердца высоко во сне над ним висящее – // о так сжигают есмь.*

Название стихотворения «Запись: аrophatic» Г. Айги можно воспринимать как своеобразную формулу перехода на другой язык: апофатика как отрицательное богословие в поэтике билингва предопределяет переход к иноязычной инкрустации. Стихотворение Айги «Запись: аrophatic» написано в 1976 году, и посвящение К.Б. указывает на убийство известного переводчика, друга поэта Константина Богаты-

<sup>1</sup> “LM/S serves an important function in hedging (e.g. taboo suppression, de-intensification, or a vague “sort of” expression). Although the formal and functional range of hedging is quite wide and both languages of a bilingual can contribute, the language which is allocated as the “they” code is often used for this purpose, particularly when hedging performs the function of taboo suppression” [Ritchie, Bhatia 2006: 346].

рева. **Стратегия кодирования социально значимой (опасной) информации** также обуславливает маркирование посвящения только инициалами без расшифровки. Любопытно, что слово *apophatic*, записанное латиницей, в сознании читателя прямо не ассоциируется ни с одним иностранным языком: хотя формально *apophatic* в такой орфографии, как у Айги, это английское слово, но совершенно неочевидно, что поэт здесь имел в виду английский язык. Скорее всего, это некое слово, которое будучи понятным, относится ко всем языкам и ни к одному конкретно, а с другой стороны, написание латиницей позволяет достичь необходимой степени остранения. Надъязыковая латиница слова «*apophatic*» здесь выступает как способ кодирования запретной в разных смыслах – как социальной, так и сакральной тематики. В данном случае Г. Айги **превращает в значимый художественный приём обычную практику билингвов.**

## 6. Поэзия билингва как прецедентный текст.

### **Билингвизм как важная составляющая современного литературного процесса**

В современной литературе билингвизм становится важной составляющей литературного процесса, причём это становится возможным не только благодаря распространению прецедентных текстов, но и благодаря **значимости самой фигуры поэта-билингва.** Поэтический билингвизм и теория космополитического национализма Ф. Пессоа могут служить моделью для создания поэтических текстов в новейшей литературе и моделью для новых культурных трансферов.

Билингвизм можно рассмотреть в свете оппозиции – «маргиналия vs. метрополия». В этом смысле можно противопоставить отношение Пессоа к английскому и испанскому языку, то, что принято называть космополитическим национализмом Ф. Пессоа [Brito 2013; Pérez López 2013].

До Америки в роли культурной метрополии по отношению к Португалии выступала Испания. Еще при жизни Ф. Пессоа сталкивался с характерным отношением метрополии и её литераторов к тексту из маргинальной страны. Великие современники-испанцы, например, М. де Унамуно, к которому не раз обращался Ф. Пессоа, не уделяли ему никакого внимания, оставляя его письма без ответа, а первым португальским поэтом считали отнюдь не Ф. Пессоа, а символиста Э. де Кастро. Любопытно, что в Испании для интродукции текста из соседней романской страны в качестве прецедентного требуется авторитетное

подтверждение из-за океана. Поэзию Кастро представил всемирно известный латиноамериканский поэт Рубен Дарио, пользовавшийся в Испании безусловным авторитетом, а Пессоа обретает прогрессивно растущую славу только начиная с 1962 г. после его перевода на испанский и представления нобелевским лауреатом Октавио Пасом<sup>1</sup>. Действительно, **перевод на третий язык нередко служит инструментом культурного трансфера**. В этой связи небезынтересна полемика Ф. Пессоа с М. Унамуну по поводу испанского языка. Пессоа оспаривает тезис культурной продуктивности португало-испанского или каталано-испанского билингвизма: если основываться на расширении аудитории, то тогда более эффективным, чем язык соседнего большого государства, оказывается английский язык и португало-английский билингвизм. Сам Ф. Пессоа, поэт из маргинальной страны, мыслит маргиналию не только как прошлую, но и как будущую империю, в данном случае культурную. Поэт создает доктрину Пятой культурной империи (иберизм), базирующуюся на греко-романско-арабском культурном синтезе и европейско-атлантическом синтезе, а первым шагом в её основании должно стать создание новой философии и новой литературы. Космополитический национализм Ф. Пессоа подразумевает, что маргинал-националист (националист маргинальной страны), чтобы осуществить национальную идею, должен быть космополитом. Культура маргиналии формируется путем оригинальной переработки и синтеза импортируемых (заимствуемых) принципов, без чего она рискует превратиться в интеллектуальное ничто. С другой стороны, именно космополитизм дает поэту возможность заявить всемирно о существовании своей маргинальной страны и транслировать наработанный синтез в метрополию. Само билингвальное творчество Ф. Пессоа может служить доказательством этого тезиса. Поэтому **билингвизм можно рассматривать как важную составляющую литературного процесса**. И творчество Пессоа является убедительным доказательством **роли билингвизма в обретении поэтическим текстом статуса прецедентного**.

Существует огромное количество текстов Ф. Пессоа, которое хранится в его чемоданах, архивах, большей частью до сих пор не разобранных. И огромное количество английских книг в его библиотеке, свидетельствующее о том, что Ф. Пессоа, как и Х.Л. Борхес, был настоящим англоманом. До сих пор не существует полной уверенности в количестве текстов, написанных Пессоа по-английски, однако маргиналь-

<sup>1</sup> См. также подготовленное Пасом издание переводов Пессоа на испанский [Pessoa 1985].

ность Пессоа в англоязычной культуре подтверждается тем фактом, что на английском гораздо больше неизданных текстов, чем на португальском. По разным оценкам количество неизданных английских стихотворений колеблется от 1300 до 1500 [Pizarro 2013: 105]. Часть английских текстов была опубликована при жизни под общим названием *English poems*, но трудно было бы представить их публикацию в Англии.

Хотя **англоязычные стихи** Ф. Пессоа менее известны, само наличие их **в сознании англоязычных читателей позволяет им воспринимать текст перевода с португальского на английский как вариант оригинального текста**. Поэзия Пессоа становится прецедентным текстом не только для романской, но и для англоязычной литературы. В этом смысле очень показательным стихотворением А. Гинзберга “*Salutations to Fernando Pessoa*” (1988) – утверждение о том, что у него (Гинзберга) 25 книг, написанных по-английски (*English books*), а у Пессоа – только три. Это говорит о значимости при обретении статуса прецедентного текста самого факта наличия на то время хотя бы трех изданных поэтических книг, написанных билингвом на английском языке.

**Билингвизм Ф. Пессоа, его выход за пределы одного языка функционирует как модель прецедентного текста и прецедентного автора**, что предполагает более высокую метаязыковую рефлексию и наличие межъязыкового и метаязыкового сознания как такового. **Текст билингва Ф. Пессоа имеет больше шансов стать эталонным в условиях глобальной культуры**.

По следам Ф. Пессоа написан целый ряд современных испанских текстов, так или иначе использующих в своей структуре иноязычные инкрустации. Характерно, что взаимодействие с поэтом, пишущим на близкородственном языке (португальском), идет через английский. **Многоязычие** и даже цитата из Стивенсона **выступает как критерий опознаваемости прецедентного текста** Пессоа. Шифтерами опознаваемости текста Ф. Пессоа становятся стивенсоновские образы пиратов и интерпретируемая Пессоа песенка о бутылке рома, например, у Фелипе Бенитес Рейеса (рожд. 1960), воображающего ситуацию спора Овидия с Кафкой о настоящей идентичности Алваро де Кампуша и одновременно макаронически рифмующего фамилию *Stevenson* с *sueños* и *siniestra*. У Леопольдо Мария Панеро (1948–2014) модель билингвизма приобретает антинационалистическую направленность против франкистского имперского диктата самодостаточности одного национального языка. В этом случае тенденция создания некоего надъязыка при помощи межъязыкового взаимодействия преследует цель преодоления диктата родной языковой картины мира, а Пессоа традиционно опо-

знается по англоязычным вставкам из Стивенсона: (*Me digo que soy Pessoa, como Pessoa era Álvaro de Campos*); // *Escribir en España no es llorar, es beber, // es beber la rabia del que no se resigna // a morir en las esquinas, es beber y mal // decir, blasfemar contra España // contra este país sin dioses pero con // estatuas de dioses...* // «Fifteen men on the Dead Man's Chest // Fifteen men on the Dead Man's Chest // Yahoo! // And a bottle of rum!»

## 7. Билингвизм и адресация.

### Адресация естественного и культурного билингвизма

Проблема билингвизма и адресации ярче всего раскрывается на примере поэтического испано-английского билингвизма мексиканцев в двух его вариантах: **англо-испанского билингвизма мексиканских эмигрантов в США (естественный билингвизм)** и **испано-английского билингвизма современных поэтов Мексики (культурный билингвизм)**. Англо-испанский билингвизм в литературе и в поэзии развивался в 60-е годы в особом социальном контексте, связанном с борьбой за права иммигрантов, так называемым движением Чикано [Simon Rodriguez 2015; Rosales 1997]. [Lipski 2008] отмечает, что рост количества случаев переключения между испанским и английским в драматургии, прозе и поэзии возрастает именно в 1970-е гг. (Aluristo, Tato Laviera, Roberto Fernández, Rolando Hinojoso, Rodolfo Gonzalez), именно к началу 70-х билингвизм стал осознаваться как «репрезентация индивидуального и коллективного опыта мексиканцев, переехавших в США» [Toribio 2015: 540]. Поэзия Чикано постоянно обращается к смене кодов, что позволяет более детально рассмотреть роль переключения между языками [Torres 2007]. В [Villanueva 2000] кратко освещена история многоязычия в Мексике и США. Автор бегло переходит от текстов XVI в., где в испанский текст вкраплены слова языка науатль или кечуа, к более современным текстам, где сосуществуют в разных формах испанский и английский, противопоставляя эти случаи естественного билингвизма культурному многоязычию, встречающемуся у Э. Паунда или Т.С. Элиота. Противопоставление это, с одной стороны, хорошо сочетается с оппозицией, используемой в общих исследованиях по билингвизму (bilingual by nature vs. bilingual by choice [Raguenaud

<sup>1</sup> Панеро модифицирует *Yo-ho-ho* Пессоа как *Yahoo*, но и компания *Yahoo* тоже названа в след за Свифтом (так у него называлась раса грубых, тупых, человекообразных существ).

2009; Cohen 1999; Schecter, Sharken-Taboada, Bayley 1996]); с другой стороны, строгое разделение явлений, которые можно наблюдать в поэзии Чикано, и языковых гибридов у Э. Паунда и Т.С. Элиота не вполне уместно, так как современные поэты могут сочетать естественное и «эстетизированное» многоязычие, а их поэтическая практика может пониматься сейчас как легитимная благодаря тому, что воспринимается на фоне существующей поэтической традиции. К сходным выводам приходят [Mendieta-Lombardo, Cintron 1995], при анализе поэзии Чикано они предлагают различать маркированное и немаркированное переключение между языками; как маркированное они рассматривают внедрение в английский текст испанских слов, обладающих особой «культурной нагруженностью» (culturally loaded) [Ibid: 565].

Таким образом, Чикано **разрабатывают свой поэтический язык, активно используя средства английского и испанского языков и превращая переключение между ними (code-switching) в художественный приём.** Важно отметить, что английский язык при этом нередко существенно отклоняется от литературной нормы, а деформация английского языка в авторской стратегии служит одной из форм социального сопротивления. Создание собственной модели языка и билингвальной поэтики становится средством самоутверждения Чикано как особой социальной группы, см. также [Ch'ien 2004; Vaca 2009; Ashcroft 2009; Martinez 2009].

Аналогичную стратегию можно проследить у уже упоминавшегося австрало-китайского поэта Оуян Юя, который в билингвальных англо-китайских текстах использует нарочито деформированный английский синтаксис (например, неконвенциональное сочетание субъекта и предиката) как средство социального протеста иммигранта и предъявления особой когнитивной рамки осмысления мира билингвом.

Необходимо отметить, что отдельные случаи использования особого формата многоязычного текста не как стилистического приёма, а как способа предъявления идентичности билингва (трилингва) встречаются уже в Средневековье, ср., например, трехязычное стихотворение Иеѓуды Альхаризи (1170–1235), первая треть каждой строки которого – на иврите, вторая – на арабском, третья – на арамейском языках [см. Парижский 2015: 222].

Поэт, творящий в ситуации естественного билингвизма, **осознает билингвизм как личную (жизненную, экзистенциальную) проблему (опыт).** Поэт **выстраивает некие новые когнитивные рамки, которые предполагают установление отношений между языками заново,** т. е. каждый раз это личностный акт, **каждый раз это новый**

**когнитивный акт, а его письмо – это способ предъявления социуму новых когнитивных рамок, с которыми социум обязан считаться.** Таким образом осознаётся возможность поэта влиять не только на литературный процесс, но и на социальную ситуацию. В этом смысле поэзия становится инструментом для предъявления личного социального опыта. Но с другой стороны, именно благодаря ориентации на адресата и осознанию задачи заранее (до начала творческого процесса) **двуязычная поэзия билингвов** в некоторой степени **сближается** с прикладной поэзией, то есть **поэзией, рассчитанной на определенную целевую аудиторию** [Поэзия. Учебник 2016]. Основная задача прикладной поэзии – быть понятной своему адресату и воздействовать на него. Наличие строго определенного адресата отличает прикладную поэзию от собственно поэзии, которая обращена к любому человеку, способному ее воспринимать.

Несмотря на явное отличие культурного билингвизма от естественного, **преимущественное использование техники code-switching** может свидетельствовать о том, что **и в поэзии культурных билингвов проблема адресации играет определяющую роль** в коммуникативном аспекте. Частично переходя на чужой язык или используя технику “code-switching”, поэт следует стратегии приближения к целевой аудитории, в случае мексиканской поэзии внутри Мексики – это расчёт на иноязычную (англоязычную) аудиторию в США, что, как правило, подразумевает **упрощение семантической составляющей текста и акцентирование его перформативной составляющей.**

Для малых национальных поэзий (например, в скандинавских странах), стремящихся быть известными не только своей, но и англоязычной аудитории за пределами своих стран, характерно **создание асемантических межъязыковых текстов по типу зауми или глоссолалии** и их мастерское исполнение поэтами. В испаноязычном ареале подобные тексты активно развиваются в Мексике как в культуре, которая находится в сильном взаимодействии с американской как своеобразный вариант перехода на английский в рамках испанского. Этот прием может стать текстообразующим, то есть служить своеобразной визитной карточкой поэтики и определять **движение в сторону саунд-поэзии**, например, в поэзии Кристины Ривера Гарса (1964), многие композиции которой состоят почти исключительно из фонически структурированных географических названий: *Tijuana – San Ysidro / Tecate – / La Rumorosa – / Mexicali – Calexico / – Winterheaven / – Somerton / – Gadsen / Ciudad Morelos – / Merida – / Cuervos – Crane / Tabasco*. Испанский язык в этом случае создает образ звучания подобный английскому;

поэзия этого типа предназначена именно для чтения вслух, для перформансов в большой аудитории. Квалификации подобных текстов как варианта саунд-поэзии отвечает и авторский комментарий о характере чтения, предполагающий шепот, вторжение нескольких голосов и различного рода шумов, что призвано снизить значимость собственно вербальной составляющей текста. Таким образом, прослеживается явная **связь феномена многоязычия и экспериментальной поэзии, что объясняется попыткой выйти за рамки одного языка.** Отсюда получают развитие разные формы голосовой, визуальной, перформативной поэзии, хэппенингов и других форм, минимизирующих значимость собственно вербального письменного текста в конвенциональной презентации.

То, что обычно трактуется как *spanglish* и внешне похоже на него, оказывается семантически и коммуникативно мотивированным, например, эффективным для создания виртуального пространства. В композициях Минервы Рейноса (1979) фигурируют одновременно и англоязычный змий (*is a serpens*), и традиционный для большого испаноязычного ареала ужастик *chupacabras*, убивающий животных, который в мексиканском варианте предстает как рептилиеобразное существо с зеленой кожей: *is communication binaria / el acto de reciprocidad signica / lo lingüístico única detracción en el contracto / paratacto paratático... // una mirada llevar hondo / hoyo / pasto: / is a serpens / y ver que el mítico / místico chupacabras / una zorra / la hiena hambrienta / el mapache adusto / el león rey / the lobo lobito* (Minerva Reynosa). Несмотря на то, что подобная поэзия оперирует готовыми герметическими значениями, она достигает цели создания некоторого воображаемого пространства, в котором оказывается возможным то, что в стихотворении называется бинарной коммуникацией (*is communication binaria*) – обратим внимание на явно английское написание *communication* в сочетании с испанским вариантом *binaria*, притом что и то и другое представляют собой интернациональные лексемы.

## 8. Многоязычие (третьи языки) в поэзии билингвов. Связь билингвизма и иных семиотических переходов

Лёгкость перехода к другим языкам в поэзии билингвов может обеспечиваться посредником. Билингву нужен третий язык, и этот **третий язык выступает как посредник между первыми двумя языками и всеми остальными** ( $1+1 = 2$ ,  $2+1 = 3$ ,  $3+1 = \text{множество}$ ). В данном случае

вместо оппозиции языков присутствует либо **трёхстороннее, либо многостороннее отношение, в основе которого лежит культурный трансфер между вторым, третьим и четвёртым языками.** Эпиграф к стихотворению Г. Айги «Отклик – Яношу Пилинскому» представляет собой пример любопытного межъязыкового трансфера: эпиграф даётся по-французски, но в скобках парадоксально указывается, что это перевод с венгерского. Ничто не мешало перевести строки эпиграфа на русский и написать, что это перевод с венгерского, но это не путь билингва. Французский здесь – это и мост, и знак иного: что-то, что коммуницируется, передаётся, но необычными средствами. Это и способ остранения, но остранения не окончательного, скорее, это способ погружения в некое пространство надъязыка.

Роль третьего языка в мышлении билингва не ограничивается обеспечением межъязыковых переходов, что можно подробнее рассмотреть на примере стихотворения «Заря: шиповник в цвету»: *в страдании – чаще // и шевельюсь:// и долгое слышу // “le dieu a été”: // кьеркегорово: // подобное эху! – // о занимается!.. и: // даже не алое: // дух его – алого: // словно во всем – составляющем боль // как вместилище мира // возможного в мыслях: // красит бесцветно но ярко как режущее: // в преображение – неведомо-кратно! – // не алого даже // а духа его: // очищение! – // и не-людское: // “le dieu a été”: // (†):// тихо... – как будто // в страдании-чаще: // снова и снова: // –/ –/ : // (ах! два слога последних: // сыграла бы флейта: // друг для тебя!)*

Четвёртая строчка стиха представляет собой французскую инкрустацию: “le dieu a été” – разумеется, С. Кьеркегор по-французски не писал, но Г. Айги намеренно не переводит это “le dieu a été”: французский здесь – третий язык, который участвует в культурном трансфере, но не ведёт к другим языкам, как это было в случае с венгерским, а напрямую ведёт к надъязыку. Эта французская фраза, вряд ли понятная читателю, не знающему языка, подобно эху, отражается, отскакивает от других языков (благодаря чему читатель может о чём-то догадываться) и звучит уже в пространстве. Субъект поэта-билингва живёт в мире, с одной стороны, сконструированном как современный ему хайдеггеровский конечный исторический горизонт размыкания бытия, а с другой стороны, в мире, который антропоцентричен, но ещё не субъективен, то есть досовременен, и универсальный язык (надъязык) тоже может мыслиться в дизъюнктивном синтезе этих двух представлений о мире.

**Переход к третьему языку и к надъязыку не окончателен. Он предваряет следующий семиотический переход – в иные знаковые системы.** Таким образом, введение французского обуславливает пере-

ход в иные знаковые системы, легитимизирует его. Эти системы могут быть визуальными, музыкальными и синестетическими. Но и определение «не-людское», предшествующее французской фразе, можно воспринимать и как характеристику универсально-языкового пространства, облегчающего следующий семиотический переход к визуальному. Так, в тексте стихотворения непосредственно за французской инкрустацией следует визуальный знак (†), где крест, не укладываемый в стандартный типографский кегль, выделен к тому же красным цветом. Г. Айги не ограничивается этим семиотическим переходом, но строит композицию из двух косых слэшей и двух длинных тире:

—/ —/

которую можно прочесть и как запись слогов, сродни записи языковой или метрической разметки, и как музыкальную партитуру. Тогда уже визуальное обуславливает ещё один последовательный семиотический переход: визуальное – это мост между словесным надъязыковым и музыкальным, что незамедлительно вербализуется, возвращаясь в слова: *ах! два слога последних: / сыграла бы флейта*. Однако переход от надъязыкового к визуальному и от надъязыкового к музыкальному не тождественны друг другу: если в случае визуального имеется в виду чистый (буквальный) переход на визуальный язык, то музыкальное – это как бы приглашение к переходу, некий метатекст, провоцирующий создание музыкальных произведений на данное стихотворение.

Последовательность семиотических переходов в стихотворении «Заря: шиповник в цвету» можно представить в виде схемы (1) русский – французский – любой другой язык; (2) французский как «надъязыковой» → не-людское (ангельский, довавилонский гул); (3) семиотический переход в визуальное и/или музыкальное.

Визуальное и музыкальное способны конвертироваться друг в друга, оставляя вербальное как будто на периферии. Можно утверждать, что **в мышлении поэта-билингва облегчается переход к другим языкам, которых всегда больше, чем два, и совершается этот переход по-другому, чем у поэта-монолингва.**

**Мышление поэта билингва облегчает и обуславливает семиотические переходы, потому что для него культурный трансфер, как и семиотический переход как таковой, – это привычная операция.** Поэтому такой **сильный элемент визуальности**, абсолютно новаторский в 60-е гг. не только в русской поэзии, но и в мировой, **появляется у поэта-билингва.**



## 9. Билингвизм поэтического текста (межъязыковое взаимодействие в поэтическом тексте). Культурный билингвизм

### 9.1. Билингвизм как формат и как приём

Как известно, еще в эпоху поздней античности возникли шуточные стихи, целиком основанные на смешении различных языков, которые позднее были названы *макароническими*<sup>1</sup>. Смешение языков пародировало так называемую «кухонную латынь», то есть латынь, смешанную с новыми языками. Макаронические шуточные стихи, основанные на смешении латыни и русского или французского и русского языков, были популярны в русской гимназической поэзии. Они могли преследовать мнемоническую цель – запомнить правило или исключения. **Распространенный формат макаронического стиха, в котором русские слова рифмуются с иностранными, а эффект усиливается написанием кириллицей и латиницей, постоянно воспроизводится в поэзии в разных культурах**, в частности в современной русской, например, в стихотворении Д. Веденяпина: *Зачем нам, товарищ начальник, // Вся эта унылая чушь? // Ведь даже у бабы-на-чайник // В глазах: после нас хоть déluge*. Иногда поэт воспроизводит формат, близкий к макароническому, избегая иного алфавита и других способов выделения и подчеркивания, что придает поэтическому жесту неформальность: *В Америке, насколько мне известно, / Свобода, и овцу рифмуют с кораблем* – неслучайно эту шутку (созвучие английских слов *sheep* ‘овца’ и *ship* ‘корабль’) С. Гандлевский использует в дружеском послании к поэту Б. Кенжееву, живущему в Америке.

Полилингвальные форматы не обязательно сводились к макароническому стиху; форматы с заданной структурой, комбинирующие в рамках одного текста разные языки, были популярны в средневековой Европе прежде всего в ареалах с билингвальной или полилингвальной аудиторией, например, в арабской Испании. «В средневековой форме мувашшах <...> основная часть писалась на классическом арабском, а харджа (концовка) писалась либо на диалекте арабского с использованием намеренно простонародной лексики, либо чаще всего на романских языках, причем романский стих записывался с помощью арабской или еврейской графики. Тем самым в одном произведении создавалась ситуация би- или трилингвизма. Именно многоязычие рассматривается как отличительная черта поэтики мувашшаха. Художественный эффект

<sup>1</sup> О макароническом стихе см. подробно [Forster 1970].

обеспечивался столкновением разных поэтических традиций, а также столкновением языков. Создается гетерогенная система, отвечающая запросам многоязычной аудитории» [Куделин 2015: 171–172]. Мувашшахи с XI в. появляются и в еврейской поэзии, однако там основная часть писалась на иврите, а харджа на разговорном арабском или на романском. Известным автором мувашшахов был Габироль [Saenz-Badillos 1992: 80]. Говоря о подобных билингвальных форматах, необходимо иметь в виду, что, в отличие от макаронических стихов новейшего времени, которые писались в основном культурными билингвами, эти тексты писались естественными билингвами.

В современном стихе **сильный остраняющий эффект может создаваться иноязычными вставками, которые вводятся непосредственно в текст и даются без перевода**, причем поэт-монолингв в этом случае может обращаться как к такому языку, что потенциально известен читателю (например, английскому), так и к тому, что вряд ли будет ему понятен. Так, традиционно в поэзии иноязычные инкрустации использовались в эпитафиях, которые чаще не переводились на русский язык или переводились уже редакторами. В современной ситуации многоязычия русские и иноязычные слова вступают в фоническое взаимодействие, как и в макароническом стихе, однако **подобные иноязычные инкрустации ориентированы не на читательский перевод и знание иностранного языка, а на слуховой образ, который затем осмысляется поэтом уже в системе родного языка**, поэтому эпитаф переводится или снабжается пояснениями в тексте – как в стихотворении И. Булатовского, построенного на созвучии французского *quoi* ‘что’ и русского звукоподражания: *ква: КВА? // Elle est retrouvée. // Quoi? L'eternité. // Rimbaud // Вот и «вечность», вот и «ква». // И чего там? Ничего там, // и чему ни скажешь «хва!», // знай, болтайся по болотам.*

В стихотворении А. Драгомощенко *Или уподобясь червю, приползти // По извилистому описанию розы, оставляя в итоге: // **из rose is** – // лишь только **is**...* – если подойти чисто формально к межъязыковым совпадениям, особенно мельчайших сегментов текста, то возникает некое подобие макаронической рифмы *приползти* и *из rose is* и того, что называется межъязыковой омонимией – русского предлога *из* и английского глагола-связки *is*, но далее замечаешь, что *из* и *is* соотносятся еще и с *извилистым*, в результате предлог *из* и приставка *из* объединяют свои значения, и уже полученный концепт *изымания* и *оставления* одновременно включается в глагол существования *is*, причем **что написано на каком языке, перестаёт играть существенную роль.**

**При внешнем сохранении приёмов макаронического стиха в корне изменяется поэтическая стратегия:** так, в стихотворении Г. Айги «Небо-проигрыватель», посвящённом «Неоконченной симфонии» Шуберта (*Die Unvollendete Sinfonie*), в функции представления информации как сакральной (хеджирование) выступает немецкий язык, при этом, вводя иноязычную инкрустацию, поэт исподволь использует традиционное построение – *будет* можно воспринять как рифму к *Unvollendete* – но **привычный иронический эффект макаронического стиха не возникает:** *с полей // продолжаясь из боли // скоро дитя мое // будет // и шуберт-тебе // Всегда-Unvollendete // где-то над болью // чтоб не завершаться // с полей.*

**Межъязыковое (надъязыковое) мышление позволяет заново осмыслить стертые значения слов и сочетаний не только на родном языке, но и на иностранном:** *смутная догадка о том // что в слове «rechargeable» // корень «речь»* (А. Черкасов). С другой стороны, иноязычная инкрустация может выступать в форме перевода с языка на язык, что можно назвать *множественной многоязычной этимологизацией* [См. Азарова 2010]. Русское слово наделяется той омонимией, которая существует в другом языке, и благодаря совмещению омонимических значений языка оригинала происходит сближение не связанных иными отношениями (метафорическими, метонимическими) русских слов: «*No flash*», – *повторяет голос... // Что значит «флеш»? –... «вспышка» или «плоть»?* (В. Аристов).

**Усиление межъязыкового взаимодействия связано и с развитием компьютерных технологий.** Прямое следствие – дополнительная семантизация в поэзии креолизованных текстов, например: *Yo peino la terminal de Llegadas con la Mirada, / leo vuelos delayed como si me interesarán, / estorbo y envidia a viajeros de ley / que saben a qué estribo subirse* (Х. Кано). Современному молодому человеку все равно, на каком языке читать текст на мониторе: на табло аэропорта текст чередуется, появляясь то на английском, то на испанском, поэтому первая строчка говорит “Llegadas”, а вторая “vuelos delayed”. Таким образом, **прием смены языков позволяет имплицировать дополнительный смысл протекания времени,** то есть семантику процессуальности: герой не просто взглянул на табло, а смотрит на него в течение некоторого времени, пока меняются языки; прямое указание на время становится излишним.

**Иноязычные инкрустации и межъязыковые переходы у большинства поэтов начала XXI в. – это не эксперимент,** они не кажутся каламбуром, т. е. игрой на столкновении значений. В этой антика-

**ламбурности и отсутствии противопоставления языков – принципиальное отличие от традиции «макаронического стиха».**

Оговорим одну важную общую закономерность поэзии XXI века: **если в тексте появляется одна инкрустация на каком-либо языке, то она, как правило, не бывает единичной, причем последующие инкрустации с большой долей вероятности будут на других языках.** Приведём пример максимальной формализации этой закономерности на коротком отрезке: *Пробуждение со словами // «Völkommen till Microsoft», – единственным, // что не нуждается в переводе* (А. Скидан). Обратим внимание, что эти иноязычные вкрапления могут быть и комбинацией интертекстов, например, в стихотворении К. Корчагина знаменитая цитата из Поля Верлена *Il pleure dans mon cœur* (*Плач в сердце моем*) соединяется с немецким выражением *im stillen raum* (*в тихом месте*), взятом из поэзии И.В. Гете: *il pleure im stillen raum как в сердце поет // обрубок дня*. У А. Драгомощенко механизм, запущенный одной иноязычной инкрустацией, приводит к выстраиванию особого пространства, в котором опорными точками служат «куски» других языков, и отнюдь не обязательно европейских.

Полилингвизм современного поэтического текста может проявляться не только в иноязычных и многоязычных инкрустациях, но и в различных семиотических переходах на искусственные языки, графические символы и т. д.

*9.2. Коммуникативные стратегии многоязычия в поэзии монолингвов. Многоязычие как способ конструирования субъекта в поэзии монолингва*

**Присутствие иноязычных элементов явно усиливается в современной поэзии. Это усиление идет не только за счет английского языка, как можно было бы предположить, но и за счет других европейских и в ряде случаев неевропейских языков.**

Стремление к многоязычию и межъязыковому взаимодействию может иметь разные основания и реализовывать разные коммуникативные стратегии.

Современная глобализация зачастую подразумевает упрощение, что у ряда авторов отражается в обилии туристических цитаций (разнообразных названий мест, предметов, одежды, еды и т. д.), то есть иноязычные инкрустации, создавая намеренный налет экзотики, начинают выполнять декоративную функцию, призванную развлечь аудиторию характерными речевыми штампами), либо литературной эрудированностью: *Пить чай еще светло, а пить caffè // уже темно. Что ль пожевать focaccia // с vitello freddo?.. На такой строфе // завязывать бы впору. Но*

пока что // меня несет мой Pegaso... (В. Строчков). В глобальной культуре английский язык в поэзии используется и в коммуникативных целях – при адресации некоторой целевой и возрастной аудитории, знающей определенные цитаты или термины именно в английском варианте. Это в основном названия кинофильмов, музыкальных групп, песен, альбомов и т. д. Интересным примером может быть ряд стихотворений, идущих друг за другом, испанского поэта из Сан-Себастьяна Харкайца Кано (1975): *LECCIÓN SOBRE POESÍA (Kill Bill)*; *WHEN WE WERE YOUNG*; *LA GUERRA DE LAS GALAXIAS*. “Kill Bill” – название фильма Тарантино; “When we were young” – название известной песни альтернативной рок-группы “The Killers” (2006); таким образом, англоязычные названия образуют внутренний гипертекст, семантика которого позволяет связать их в миницикл. С другой стороны, “Star wars” приводится на испанском языке как “La guerra de las galaxias”, что оказывается семантически мотивированным временем создания фильма (1977) и его вхождением в испанскую культуру именно в переводном варианте (в 70-е, 80-е и даже 90-е названия американских фильмов фигурировали в переводном варианте). Таким образом, “La guerra de las galaxias”, написанное по-испански, благодаря переводному варианту, становится символом старого времени, противопоставленного современности. Современность маркируется в дальнейшем тексте стихотворения названием компьютерной игры и фильма с тем же названием – “Blade Runner” («Бегущий по лезвию»): *Ahora nos gusta más Blade Runner, claro. / Pero esa, haz el favor de abrir el paraguas, es otra película*. Антитеза испанизированного и англоязычного вариантов подчеркивается наречием “ahora”, что делает возможным актуализацию следующей семантики: *теперь мы вышли из национальной ограниченности в глобальную культуру. Для поэта, живущего в объективной глобалистской реальности, любая иноязычная вставка мыслится как апроприированная, что отчетливее всего формализовано в пост-концептуализме*, например, у В. Нугатова: *возможна ли поэзия после adobe®photoshop® / u adobe®illustrator® / поэзия после adobe®flash® / поэзия после autodesk®3ds max® / поэзия после ipod® / поэзия после bluetooth™ / поэзия после google™youtube™ / поэзия после blu-ray disc™ / поэзия после playstation® / поэзия после dolby®digital surround®*

**Противоположная стратегия многоязычия монолингвов – преодоление ограниченности одного языка при помощи его взаимодействия с другими**, что некоторым образом соотносится с утопической идеей надъязыка, возможностью его создания поэтическими средствами, но **в гораздо большей степени объясняется сопротив-**

лением глобализации. Иностранные языки, безусловно, затрудняют буквальное, автоматическое понимание, что, скорее всего, входит в задачу автора, в его поэтическую стратегию. **Усложнение текста стиха за счет иноязычных вставок может подразумевать присутствие идеального адресата, которому потенциально известен любой язык** [См. Азарова 2012].

**Сопrotивление глобализации осознается как когнитивный конфликт, что провоцирует появление стратегии неупрощающей поэзии.** Например, в молодой испанской поэзии наряду с английским активно используются другие романские языки (прежде всего французский, португальский, итальянский), а инкрустации на неанглийских языках в новейшей поэзии, как правило, преследуют цель установить разрыв между означаемым и означающим. Сложное межъязыковое взаимодействие путём создания новых когнитивных рамок восприятия надъязыка, в котором задействовано, как правило, более двух языков, получает политическое звучание сопротивления глобализации как упрощению: *Sal de este tímpano que provoca cantos justo / detrás de tus ojos: Le courbe de tes yeux / señaló Eluard. / ... / Petit poem of my bad grammar book / The blue of that dress is too dark, the blue / never lies. / ... / Los pájaros abandonaron los nidos / ¿te das cuenta? Los pájaros / rebeldes de árboles. Vinieron a / instalarse. A okupar todos y / cada uno de tus sentidos* (А. Caballero Prado). Будучи использован в многоязычном тексте, узуальный слэнг также получает политическое, левое звучание (*okupar* – самовольно захватывать здания; птицы выступают как символы сквоттеров, они *okupan*).

**Межъязыковое взаимодействие всегда соотносится с категорией субъекта, не только в текстах поэтов-билингвов** [См. раздел 4], **но и в текстах поэтов-монолингвов.** Если для билингва другие языки могут быть мостом в надъязык, то **монолингв чаще всего мыслит другого себя в другом языке.** Субъект может реконструироваться даже на основании признания стратегии «неперевода» в мультиязыковых текстах.

Существуют разные способы соотношения многоязычия и субъективации:

– межъязыковое взаимодействие часто бывает манифестацией идентичности, таким образом субъективация мыслится через идентичность, и многоязычные инкрустации подразумеваются как «свои», а не чужие, предлагают определённый круг адресатов и приписывают себя этому кругу, как это делает Д. Веденяпин, вводящий в стихи о детстве классические клише-маркеры интеллигентской образованности – француз-

ское *Noblesse oblige* и латинское *ab ovo*. В стихотворении поэта иноязычные вставки, входящие в тезаурус «обязательной образованности» интеллигента ещё советского времени, работают на ностальгическую идентификацию субъекта в постсоветском пространстве. Такая модель работает в основном как субкультурная идентификация. Модель мультикультурализма, спроецированная на субъект, подразумевает обязательную принадлежность, приписывание себя к некоему кружку, меньшинству;

– иноязычные инкрустации не столько функционируют как способ выявления идентичности субъекта, сколько служат для подчёркивания самим субъектом своей идентичности, прежде всего поколенческой. Английский язык, как правило, характеризует субъекта через коммуникативную модель – при адресации некоторой целевой и возрастной аудитории;

– одним из важных способов реконструкции субъекта является субъективация в связи с разными типами и средствами передвижения (перемещения), нахождения в пространстве, что, в свою очередь, может быть описано не только традиционно используемыми дейктическими словами, а также изучением пространственной лексики, но и присутствием межъязыкового взаимодействия;

– субъективация в «чужих голосах», что так или иначе соответствует либо критике субъекта с позиции постмодернистского конструктивизма, тогда межъязыковое взаимодействие выступает как текстовый механизм этой деконструкции, примером чего может служить поэзия А. Скидана;

– использование подчеркнуто неиндоевропейского звучания, деклараций к пристрастию к звукам несуществующих языков свидетельствует о том, что многоязычие ставит знак равенства между изменениями в том, что окружает поэта, и изменениями в самом субъекте. Приведём характерную для своего времени цитату из письма А. Драгомощенко: «Даже разрушенные <...> даже несуществующие языки обещают изменения не только в том, что окружает, но и в тебе самом, в этот же миг, как бы он краток ни был. Разве этого мало, чтобы обращаться к другим языкам или, на худой конец, их выдумывать?». По этому принципу построено стихотворение поэта «Изучая язык *Nuku-tu-taha*», в иноязычных инкрустациях которого находит отражение нью-эйджевская парадигма;

– иноязычные вставки выступают как модель множественной субъективации, которая утверждает реальное или воображаемое родство языков, позволяющее субъекту балансировать между языками, или не укореняясь прочно ни в одном из них, или создавая пространство возмож-

ного неустойчивого выхода при обязательном возвращении в первый язык. В молодой испанской поэзии многоязычие создает дополнительные препятствия в тексте для «сборки» неустойчивого единого пространства в некий понятный конструкт, что позволяет субъекту неоднозначно идентифицировать себя: например, у молодой испанской поэтессы Лауры Каселлес (1987): *aprender / cómo decir gracias en el idioma / de los que también rasgan / y también / se desgarran, / cómo decir / café, cariño, patria, / shalom, salam aalaikum / ... / Encontrar las palabras elementales. / Y luego hablar.*

**Межъязыковое взаимодействие в поэзии монолингвов продуктивно соотносится с такими параметрами анализа субъекта, как реконструкция субъекта через разнообразные локусы, выявление идентичности и чужой речи, интерречи и различных соотношений и градаций своего/чужого/присвоенного в речи, которые, так или иначе, могут свидетельствовать о расщеплённости/скрытости/неявленности и т. д. субъекта.**

Межъязыковое взаимодействие позволяет реконструировать субъект через пространство, даёт возможность проблематизировать идентичность или выявить скользкую идентичность современного субъекта, соотносится со всем **спектром проблем, связанных с чужой речью.**

Межъязыковое взаимодействие, а наряду с ним междискурсивное взаимодействие и семиотические переходы становятся эффективным способом противостояния картезианскому субъекту. В этом случае на первый план выдвигается дискурсивно-коммуникативная парадигма, а также когнитивная критика, представляющая межъязыковое взаимодействие как некие заданные ситуативные клише.

Множественная субъективация и мечта о надъязыке могут сочетаться, что является особенно актуальным и продуктивным для поэзии 2010-х годов.

## 10. Звучание иноязычных слов.

### Концептуализация звукового образа чужого языка

Звучание – это мощное средство остранения, оно противопоставляет стих обыденной речи. Так, поэты XIX века часто пользовались вариативностью ударения в некоторых русских словах, чтобы делать звучание текста более непривычным, далеким от повседневной речи. Введение чужой звучащей речи, которая к тому же часто произносится неправильно или с акцентом, служит мощным средством остранения.

В стихах поэтов не просто используется звучание отдельных слов, но формируется концепт «чужой язык» как репрезентация опыта межкультурного взаимодействия. При конструировании звукового образа чужого языка приоритет отдаётся не самым частотным звукам или самым часто встречающимся в этом языке сочетаниям звуков, а называются отличные от русского языка составляющие (блоки) звучания. Звуковой образ чужого языка в поэзии, как правило, создается либо гипертрофией ряда гласных, либо ряда согласных (ср. известный пример моделирования остранинного языка в стихотворении Р. Якобсона: *мзглыбжвуо ийхъяньдрью чтлэщк хн сьп ськыполза / а Ватб-длкни тьяпра какайзчди евреец чернильница* [Якобсон, цит. по Бирюков 1994: 257]), где создается звуковой образ максимально не характерный для родного (первого) языка. Классическим примером подобного моделирования в поэзии является стихотворение Е. Гуро «Финляндия», воспроизводящее ряды гласных, но не прямо транслируемые из финского языка, а как некий образный конструкт<sup>1</sup>.

Необходимо отметить когнитивные различия звукового облика вводимого иноязычного слова у билингва и монолингва. Монолингв основывается на звуковом восприятии знакомого – незнакомого, поэтому вводимое слово либо вписывается в макаронический принцип, устанавливая парадоксальные звуковые соответствия и подчеркивая это как прием, либо по принципу остранения, т. е. подчеркивая максимальную непохожесть звучания иноязычного слова на слово родного языка. В то же время билингв, переходя с языка на язык, как правило, не сосредотачивает свое внимание на разности звучания, и то и другое мыслится привычно, и это может распространяться и на введение третьего языка.

Известно, что восприятие звучания чужого языка на слух неодинаково у разных людей и зависит прежде всего от того языкового окружения, в котором находится слушатель [Escudero 2005: 14; Miyawaki et al. 1975]. Для того чтобы выяснить особенности концептуализации образа чужого языка (в данном случае – испанского) в поэтической прак-

<sup>1</sup> *Это-ли? Нет-ли? / Хвои шуют, – шуют / Анна-Мария, Лиза, – нет? / Это-ли? – Озеро-ли? / Лулла, лолла, лала-лу, / Лиза, лолла, лулла-ли. / Хвои шуют, шуют, / ти-и-и, ти-и-у-у. / Лес-ли, – озеро-ли? / Это-ли? / Эх, Анна, Мария, Лиза, / Хей-тара! / Тере-дере-дере... Ху! / Хале-кулэ-нээ. / Озеро-ли? – Лес-ли / Тио-и / ви-и...у. По аналогичной схеме создаётся образ английского языка в португалоязычной поэме Ф. Пессоа «Морская ода». Подробнее см. [Азарова 2014].*

тике, мы провели исследование, которое опиралось как на метаязыковые высказывания современных русских поэтов, так и на их тексты в соотношении с конструктом испанского языка в русской классической поэзии и поэзии XX в. В опросе приняли участие 55 современных поэтов, которым было предложено привести набор звуков, которые создали бы «образ» испанского языка.

Концептуализированный образ звучания в целом ряде ответов поэтов воплощается в специально написанных ими псевдотекстах, которые могут быть распространёнными или минимальными, состоять из одного псевдослова (*дэстло* Е. Фанайловой, *ХэЛэС* И. Жукова и др.). Некоторые псевдотексты целиком состоят из звукосочетаний, которые по отдельности так или иначе называют все поэты (*лада, триста, канчо, ферра* – А. Прокопьев, *гра- тэ- эль- ха- да- му* – В. Аристов, *ола, уэба, ля, ида* – А. Сен-Сеньков), но и ряд выделяемых поэтами слогов или существующих слов тоже образует некое подобие псевдотекста, имеющее литературную или смешанную природу. Современные тексты на псевдоиспанском соотносятся с реальными текстами на испанскую тему в русской поэтической традиции (формулу которых представляет Козьма Прутков), но в то же время отличаются от них. Это в основном тексты, составленные из реальных испанских слов, перемешанных с псевдоиспанскими словами: *лора ла карера торо бланка соло мучачос...* (Д. Григорьев), *Лафатура фуэрте параты коррес аньос* (С. Литвак).

**Поэты более, чем рядовые носители языка, склонны репрезентировать и формировать образ чужого языка либо в виде псевдотекста, либо в виде слов, так или иначе связанных** и транслирующих в ответы анкеты принцип «тесноты стихового ряда» [Тынянов 2002: 64]. Благодаря этому на поэтов оказывают значительное влияние уже существующие в культуре псевдотексты или тексты, на основании которых можно легко сконструировать (ментально) псевдотексты, в том числе моделирование рифм известных русских «испанских» стихов, моделирование ряда собственных имён, географических названий, тоже заимствуемых из предшествующих текстов, или транслирование существующих пародий.

Это приводит к тому, что **при формировании образа чужого языка поэты не склонны или мало склонны вспоминать или моделировать непосредственно звучащую речь**. Важно обратить внимание на характерные орфографические ошибки в ответах, например, в таком ответе: *Каррамба, коррида и черт побери*, воспроизводящем прецедентный текст В. Высоцкого «Песенка попугая». *Карамба* по-русски, как и по-испански, пишется с одним *p*, однако русское сознание,

уже сформировав образ чужого, рычащего, рыкающего языка, приписывает его любимым появлениям *r*, в то время как в испанском в большей части плавное *r* не произносится раскатисто, а близко по звучанию *l*. *Каррамба*, находясь в соседстве с *корридой*, приобретает «литературное» звучание. Но и в поэзии Серебряного века можно найти сходные примеры «испанских ошибок», вызванных стремлением придать тексту интенсивное испанское звучание, например, написание *торреадора* с двумя *pp*: *Восторженный торреадор; / И ты, гитанная Севилья...* (И. Северянин «Кармен»).

В случае если речь всё-таки воспринимается на слух, как правило, не ставится задача декодирования, а восприятие идёт как чисто звуковой образ. Если декларируется восприятие через сравнение с другими языками, то в этой роли тоже выступает литературный романский язык – прежде всего, итальянский<sup>1</sup>, который тоже, скорее всего, неизвестен респонденту, а сформирован как некий образ звучащего литературного текста (псевдоитальянский текст). В этом случае псевдотекст одного незнакомого языка создаётся при помощи образа (возможно, тоже в виде псевдотекста) другого литературного языка (или по контрасту с ним), который кажется более освоенным в культуре. Метавысказывания современных поэтов о чужом языке – общие характеристики чужого языка и моделирование его звукового образа – представляют собой концептуализацию сложившегося опыта межкультурного трансфера.

**Эта особенность – поместить звучащую речь в предзаданные когнитивные рамки более знакомой литературной традиции – несколько отличает поэтов от обычных носителей языка**, особенно молодого поколения, которые моделируют незнакомый европейский язык через сравнение с теми языками, которыми они владеют (прежде всего, английским и французским).

Исследование формирования и репрезентации образа чужого языка у поэтов показывает, что **концептуализация образа языка обусловлена не только языковым окружением, но и той дискурсивной практикой, которая является наиболее привычной для ре-**

<sup>1</sup> Характерно, что в «несерьёзных», «забавных» текстах филологов, посвящённых теме, как «придумали» языки, отражается сходное моделирование образа испанского языка для русского сознания как вторичного по отношению к итальянскому: «Как придумали итальянский язык: – А давай все слова будут заканчиваться на гласные! – И руками махать. А то жарко». «Испанский язык: – А давай поприкалываемся над итальянским языком!» Материалы предоставлены Л.В. Зубовой.

**спондента. В этом смысле поэтическая практика задаёт довольно жёсткие когнитивные рамки формирования образа чужого языка, заставляя поэтов жертвовать непосредственным восприятием звучащей речи в пользу образа языка, сложившегося в текстах в исторических условиях культурного трансфера.**

### **11. Графика многоязычного текста.**

#### **Книга-билингва и её когнитивное восприятие**

Проблема графики многоязычного текста может рассматриваться как по отношению к поэзии билингов, так и к поэзии монолингов, кроме того, она непосредственно связана с развитием теории перевода и находит конкретное выражение в прагматике книг-билингв.

Зрительный образ иноязычного слова исключительно значим. Такое слово всегда заметно в тексте благодаря иному алфавиту (иногда оно дополнительно выделяется курсивом) и образует некий центр притяжения в композиции стихотворения независимо от того, понятно оно читателю или нет. **Взгляд читателя всегда останавливается на иноязычной вставке, при этом замедляется темп чтения,** и уже русский текст начинает читаться по-новому. Поэтому зачастую поэты могут даже специально стремиться к тому, чтобы иноязычный текст был непонятным или малопонятным, ведь в такой ситуации возникает зримый образ, подразумевающий присутствие или вторжение чего-то очевидно иного.

**Иноязычные вставки могут восприниматься как намеренно созданные препятствия при восприятии текста,** и они отбрасывают читателя к началу строки или к началу текста, **заставляя перечитывать его ещё раз.** В этом смысле непонятность (малопонятность) поэтического текста превращается в преимущество: **зримый образ иностранного слова может затруднять буквальное понимание даже слов своего языка,** сообщая о том, что на самом деле они могут быть не менее непонятными в поэтическом тексте и читателю вряд ли заранее известно их «значение».

В поэзии билингва визуальный образ надъязыка формируется в том числе при помощи концепта «*смотреть на язык*». Видение текста глазами, видение ошибок – особенность билингов. В этом смысле интересна история знакомства Г. Айги с поэзией П. Целана: Айги не читал (не понимал) по-немецки, но, по его словам, он смотрел на стихи Целана в немецком варианте, ничего не понимая, просто подолгу рас-

смотря, но такое *смотрение на язык* – тоже немаловажный способ чтения поэзии. И хотя Г. Айги все-таки читал П. Целана по-французски, возможно, именно визуальное восприятие и стало основой близости поэтик. Любопытно, что сходная (визуальная) стратегия по отношению к иноязычным инкрустациям была и у самого П. Целана. Как замечает Х. Иванович, цветаевское «утверждение “Все поэты – жидаы”, напечатанное по-русски и русскими кириллическими буквами, кажется русским предложением, но на самом деле в Германии его никогда не проносили по-русски таким образом. Оно предпослано стихотворению Целана “И с книгой из Тарусы”, но немецкому читателю было совсем непросто его понять, поскольку русский язык в Германии начала 60-х гг. мало кто знал. Кажется, что этот не поддающийся расшифровке эпиграф был поставлен здесь для того, чтобы породить некий особый, собственный смысл» [Иванович 2004: 207]. Визуальность в иноязычных поэтических инкрустациях предполагает и опосредованный вариант адресации текста – при помощи чужого шрифта может подчеркиваться письменность поэтического текста в целом, его неразговорность. И у Г. Айги, и у П. Целана иноязычные инкрустации не подчёркивают свою экзотичность, а встроены визуально – как нейтральные иероглифы – и не нуждаются в пословном декодировании.

Г. Айги и П. Целана объединяет и то, что они оба – билингвы, что позволяет противопоставить их языковое поведение, в том числе с точки зрения отношения **к графике и орфографии чужих языков, поведению монолингвов.**

Билингвам больше, чем носителям титульного языка, свойственна не просто грамотность, в том числе и на иностранных (третьих) языках, но особый пиетет к орфографии и правильному написанию на любом языке. Если у Г. Айги не удалось найти ни одной ошибки, даже в черновиках, то многие поэты-монолингвы обнаруживают интеллигентскую лёгкость в признании возможности ошибок и описок и, вводя иноязычные инкрустации, допускают ошибки. Можно привести характерный метатекст в одном из стихотворений А. Драгомощенко (*прав ли в написании?*). Видимо, поэт не раз задается этим вопросом, вводя инкрустации из самых разных языков, и если в случае французского поэт, как правило, оказывается прав, то в более экзотических языках встречаются и ошибки, но эти ошибки можно рассматривать как проявление надъязыкового мышления. Например, эпиграфом ко второму фессалийскому фрагменту берется строчка из Октавио Паса, написанная как: *La transparentia es lo que quedo* // (*Прозрачность – последнее, что остается*), в которой допущены сразу две ошибки: орфографическая – *trans-*

*parencia*, прозрачность пишется по-испански через *s*, а не через *t*, и грамматическая – должно быть *lo que queda*, то есть *остается*, в то время как у А. Драгомощенко *quedo* – *я остаюсь*. И далее, уже в цитате из Сесара Вальехо, *небеса* написаны как *ceilos*, вместо *cielos*. Возникает впечатление, что для поэта важнее общий звуковой образ испанского текста и его экзотическое написание, чем его правильное орфографическое воспроизведение, и эти ошибки можно рассматривать как проявление надъязыкового мышления.

В теории перевода до сих пор не уделялось внимание передаче графики стиха, хотя переводчики-практики постоянно сталкиваются с этой проблемой, особенно при переводе с неродственных языков или языков с разными системами письменности (например, русский и китайский). Современное поэтическое мышление, актуальные медиа-носители и визуальная культура создают новые возможности для перевода классических и современных текстов. **Передача визуальной информации (графического дизайна) стиха при переводе может обеспечить сходимость языков неродственных систем.**

М. Фаликман отмечает, что у европейца и у восточного человека (прежде всего, китайца) разные когнитивные рамки восприятия информации в тексте, в том числе и визуальные [Фаликман, Коул 2014] (см. также [Kitayama, Duffy, Kawamura, Larsen 2003], [Nisbett, Peng, Choi, Norenzayan 2001]). В когнитивной науке информацию делят на фигуру и фон. Европейец видит гораздо чётче фигуру (главное), и для него смазывается фон, который играет второстепенное значение. Восточный человек видит фон (периферию) и воспринимает эту информацию почти так же отчётливо, как и фигуру.

**Трансформация графического облика русского текста при взаимодействии с китайским оригиналом может оказать влияние на изменение когнитивных рамок восприятия русского текста. Это становится особенно очевидно в книге-билингве.** Язык китайского оригинала ставит неизбежные вопросы: зачем прописные буквы, знаки препинания и т. д.? Характерно, что сходные вопросы некоторое время назад были поставлены и перед современной поэзией. В данном случае стратегия переводчика может опираться не на традицию перевода, а на внутрипоэтическую конвенцию своего времени, развивая ее при помощи интерференции генетически неродственного языка. Традиционные знаки препинания усиливают линейность прочтения [см. Perloff 1998] и становятся препятствием в установке на гибкость и многопараметровость синтаксических и внутритекстовых связей (в том числе вертикальных) и представляются лишними, кроме знаков

вопроса и восклицания. Текст без знаков или с минимумом знаков препинания воплощает установку на целостность глазного восприятия (картинка) и позволяет глазу свободно скользить по тексту в разных направлениях.

Значимой оказывается и проблема больших букв. Хорошо известно, что традиция прописных букв не является универсалией. С другой стороны, сам концепт «прописного» (большого) знака (большого иероглифа) представляется абсурдным для китайского языка. В переводе большие буквы становятся некоторым препятствием в свободном продвижении взгляда и тем самым усиливают линейность (последовательность) и однозначность прочтения. Современная поэзия, принявшая в начале XXI века запись без больших букв как относительную внутрипоэтическую норму (что тоже объясняется, независимо от китайской поэзии, установкой на целостность текста), позволяет в какой-то степени соотнести запись кириллицей с иероглифической и способствует выявлению иконизма языка, **а графические инновации могут вести к иконизации текста**. Таким образом, графический дизайн китайского стихотворения в переводе в книге-билингве предполагает следующее: текст перевода формального стихотворения (8 строк) должен быть расположен на одной странице, не содержит больших букв или содержит минимально пунктуационные знаки, количество слов должно быть соотносимо с иероглифическим текстом, переводчик должен учитывать возможность вертикального прочтения текста и повторяемость отдельных графических элементов (ключей или частей иероглифа).

Сам перевод – это некий семиотический переход, перевод в другую семиотическую систему. Это важно и для переводчика, и для читателя, особенно читателя книги-билингвы. **Читатель книги-билингвы, даже не понимая параллельный оригинальный текст, всё равно находится в пространстве семиотического перехода, и само созерцание текста на другом языке облегчает сопутствующие семиотические переходы, увеличивает готовность читателя к считыванию визуальной информации, не только модифицирующей eye-movement, усиливая нелинейность, но и активизирует механизмы восприятия пространственности стиха. В то же время подобное чтение книги-билингвы ведёт к иконизации как текста на знакомом, так и на незнакомом языке.**

Примером использования межъязыковой или надъязыковой графики как элемента культурного трансфера между европейскими языками могут быть перевёрнутые вопросительные знаки в русском тек-

сте, переведённом с испанского (поэтессы С. Сантаны), то есть те знаки, которые в системе русского языка отсутствуют: *Ну вот, ¿не тот ли это был взгляд, которым // и годы спустя решительно цепляют торт, а // пальцы запускают во влажное?... // Короче, ¿сейчас поднося руку // ко рту, можно ли легко обозначить желание // ещё чего-нибудь сладкого? (У, de nuevo, ¿caso no era aquella Mirada idéntica // a esta con la que a ños después atrapa el pastel // con firmeza mientras se humedece los dedos?... // En resumidas cuentas, ¿no satisfacía ahora, al acercarse la mano // ala boca, el hambre de otro postre?)* Вопрос о правомерности использования подобных средств в переводе спорный: если в испанском языке это вполне конвенциональный знак, а в русском – знак, нарушающий конвенцию, то можно ли употреблять подобные знаки в переводе? Если всё-таки этот вопрос решается положительно, то необходимо ограничить круг текстов, где это возможно. Безусловно, это тексты, которые несут важную графическую информацию, где она не может быть выражена другими средствами, а в переводе целиком конвенциональных текстов постановка подобного знака будет не оправдана. Эти тексты не только в графике, но и на других уровнях (например, грамматическом) должны нарушать привычную конвенцию своего языка. Существуют разные варианты того, как может считывать русский читатель перевёрнутый знак вопроса: как информацию о том, что это испанский автор, как «этнизацию» текста перевода, как неконвенциональный графический знак, дающий дополнительные возможности создания глазного ритма или как движение к надъязыку. В последнем случае читатель ощущает некую лауну, и у него возникает желание в некоторых случаях использовать подобный знак в его родном письме. Происходит иконизация пунктуационного знака, и для читателя в данном случае степень конвенциональности этого знака в языке оригинала не играет определяющей роли. Семантика вопросительного знака будет в большей степени определяться визуальной составляющей как неким предварением, остановкой, привлечением внимания, чем непосредственной семантикой вопроса. Можно предположить, что для современного читателя поэзии второе и третье основание будет более релевантно.

В настоящее время выявляется необходимость пересмотра визуальной составляющей переводческой практики. Современный поэтический текст не несёт исключительно вербальную информацию, а построен на взаимодействии разных составляющих, семиотических переходах и семиотической проницаемости, что обуславливает готовность читателя к восприятию визуальной информации, и эта готовность, безусловно, должна учитываться современными переводчиками поэтического текста.

\*\*\*

В современном пространстве поэтического текста можно выделить следующие типы поэтов-билингвов: поэт-билингв, пишущий на одном языке, поэт-билингв, пишущий на двух языках, но не мешающий их. И в том и в другом случае существует два подтипа: это переход на титульный язык в первом случае или сохранение титульного языка как основного поэтического во втором случае; второй подтип – это сохранение своего родного языка в первом или во втором случае как основного (как правило, это поэзия эмигрантов). Третий тип – это поэт, использующий code-switching как основу поэтики и предъявления нового типа говорения и задающего новые когнитивные рамки.

Билингвизм сегодня – это в том числе предъявление билингвами двуязычных текстов как нового способа говорения и нового способа мышления. Эта новая дискурсивная практика распространяется и на поэзию монолингвов или частичных билингвов, в результате чего билингвальный текст далеко отходит от традиционного формата макаронического или подобного ему стиха.

### Литература

- Азарова Н.М.* Критерий «адресат» в установлении границ поэтического дискурса // Логический анализ языка. Адресация дискурса. / Отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М., 2012.
- Азарова Н.М.* «Морская ода» Ф. Пессоа: о критериях опознания прецедентного текста // НЛО, № 128, 2014.
- Азарова Н.М.* Язык философии. Типологический очерк языка русских философских текстов XX в.: Монография. М., 2010.
- Азарова Н.М., Полян А.Л.* Устное vs. письменное в поэзии: переосмысление традиционной бинарной оппозиции // Критика и семиотика, №2, 2015.
- Алисова Т.Б., Чельшева И.И.* История итальянского языка от первых памятников до XVI в. М., 2009.
- Баймуратова А.С.* Абстрактные существительные на -ость в русской поэзии XX века. Диссертация ... кандидата филологических наук. М., 2012.
- Бирюков С.Е.* Зевгма: Русская поэзия от маньеризма до постмодернизма. М., 1994.
- Бочавер С.Ю.* Билингвизм и межъязыковое взаимодействие в поэзии П. Джимферрера // Критика и семиотика, №1, 2015.

- Гин Я.И.* Поэтика грамматического рода. Петрозаводск, 1992.
- Дрейзис Ю.А.* Билингвизм vs. мультикультурализм: феномен творчества австрало-китайского поэта Оуян Юя // Критика и семиотика, №1, 2015.
- Иванович Х.* «Поэту, человеку!». Личная и поэтическая встреча Целана с Мандельштамом // Пауль Целан. Материалы, исследования, воспоминания. Т. 1. Диалоги и переклички. М., 2004.
- Кампуш А.* Морская ода // НЛО, № 128, 2014.
- Куделин А.Б.* Андалусская строфическая поэзия: особый случай межъязыкового взаимодействия в средневековой Европе? // Критика и семиотика, №1, 2015.
- Левинтон Г.А.* Поэтический билингвизм и межъязыковые влияния // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979.
- Парижский С.Г.* Трехъязычное стихотворение Йехуды ал-Харизи (XIII в.) // Критика и семиотика, №1, 2015.
- Полян А.Л.* Иврит III–XIX вв. н. э. как «спящий язык» // Вопросы языкознания. № 5, 2014.
- Поэзия. Учебник / Н.М. Азарова, К.М. Корчагин, Д.В. Кузьмин, В.А. Плунгян и др. М., 2016.
- Светашова Ю.А.* Конструкция с репрезентируемой речью: структура, семантика, функционирование: автореф. дис. канд. филол. наук. М., 2009.
- Скидан А.* Сумма поэтики. М., 2013.
- Тынянов Ю.Н.* Литературная эволюция. Избранные труды. М., 2002.
- Успенский Ф.Б.* Работы о языке и поэтике Осипа Мандельштама. «Соподчинённость порыва и текста». М., 2014.
- Фаликман М.В., Коул М.* «Культурная революция» в когнитивной науке: от нейронной пластичности до генетических механизмов приобретения культурного опыта // Культурно-историческая психология. 2014. Т.10. №3.
- Фещенко В.В.* Автоперевод поэтического текста как разновидность автокоммуникации // Критика и семиотика, №1, 2015.
- Франк С.Л.* Сочинения. М., 1990.
- Хузангай А.* «На пути к ангельскому сплаву». Айги: Материалы, исследования, эссе. В двух томах (том второй). М., 2006.
- Целан П.* Стихотворения. Проза. Письма. Под общей ред. М. Белорусца. М., 2008.
- Чельшева И.И.* О некоторых аспектах многоязычия в романской средневековой поэзии // Критика и семиотика №1, 2015.
- Щерба Л.В.* Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

*Щербицкий К. (ред.)* «Поехать в С-пур». Современная сингапурская литература. Антология / сост., пер. с англ. и предисл. К. Щербицкого. Нью-Йорк, 2013.

*Якобсон Р.О.* О лингвистических аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978.

*Argelli A.* Modalidades de la heteroglosia hispanoitaliana en la lírica de inspiración petrarquista: Francisco de Figueroa, poeta de las dos culturas // Revista de Filología Hispánica. jul-dic 2014, Vol. 30 Issue 2.

*Ashcroft B.* Caliban's Voice: The Transformation of English in Post-Colonial Literatures. London, 2009.

*Baca D.* The Chicano/a Codex: Writing against Historical and Pedagogical Colonization // College English 71 (2009).

*Brito H.* El problema ibérico // Pessoa F. Iberia. Introducción a un imperalismo futuro. Valencia, 2013.

*Brugnolo F.* Plurilinguismo e lirica medievale. Da Raimbaut Vaqueiras a Dante. Roma, 1983.

*Cahnmann, M.* Reading, Living, and Writing Bilingual Poetry as ScholARTistry in the Language Arts Classroom // Language Arts. March 2006, Vol. 83 Issue 4.

*Campos Á.* Opiário, Ode Triunfal, Ode Marítima. Lisboa, 2008.

*Cazal Y.* Les voix du peuple/Verbum Dei : le bilinguisme latin/langue vulgaire au Moyen Age. Genève, 1998.

*Ch'ien E.N.* Weird English. Cambridge, MA, 2004.

*Cohen M.* Bilingual by chance or by choice: language maintenance and loss in simultaneous and successive bilinguals // Psycholinguistics on the threshold of the year 2000. Proceedings of the 5th international congress of the international society of applied psycholinguistics. Porto, 1999.

*Ehrenwirth R.* - [https://www.researchgate.net/profile/Rebecca\\_Ehrenwirth/publications](https://www.researchgate.net/profile/Rebecca_Ehrenwirth/publications).

*Ehrenwirth R.* Floating Borders within a Text - Hong Kong Literature in English // JOMEC journal, Nov, 2014.

*Escudero P.* Linguistic Perception and Second Language Acquisition. Explaining the attainment of optimal phonological categorization. Utrecht, 2005.

*Farrell M.* «Poet Ouyang Yu takes both roads» // The Australian, 23 февраля (2013), получено 7 февраля 2015, <http://www.theaustralian.com.au/arts/review/poet-ouyang-yu-takes-both-roads/story-fn9n8gph-1226583520277>

- Forster L.* The Poet's Tongues: Multilingualism in Literature (The de Carle Lectures at the University of Otago, 1968). Cambridge, 1970.
- Gray B.* Class and classics: The social basis of ancient bilingualism // Language Sciences, Volume 1, Issue 1, March 1979.
- Grutman R.* Le système triplement bilingue de la lyrique occitane (1150–1250) // Revue des langues romanes, 1994. V. 98. N 2.
- Kitayama S., Duffy S., Kawamura T., Larsen J.T.* Perceiving an object and its context in different cultures: a cultural look at new look // Psychological Science. 2003. Vol. 14(3).
- Lipski J.M.* Varieties of Spanish in the United States. Georgetown, 2008.
- Martinez A.Y.* «The American Way»: Resisting the Empire of Force and Color-Blind Racism // College English 71 (2009).
- Mendieta-Lombardo E., Cintron Z.A.* Marked and Unmarked Choices of Code-Switching in Bilingual Poetry // Hispania. Vol. 78, No. 3 (Sep., 1995).
- Miyawaki K., Strange W., Verbrugge R.R., Liberman A.M., Jenkins J.J. & Fujimura O.* An effect of linguistic experience: the discrimination of [r] and [l] by native speakers of Japanese and English // Perception & Psychophysics. 1975, no 18.
- Multilingual anthology of American Literature: A reader of original texts with English translations. New York, 2000.
- Nicholl J.* «Jal Nicholl Reviews Ouyang Yu» // Cordite Poetry Review, 23 февраля (2013), получено 7 февраля 2015, <http://cordite.org.au/reviews/jal-nicholl-reviews-ouyang-yu/>, с. 1–2.
- Nisbett R.E., Peng K., Choi I., Norenzayan A.* Culture and systems of thought: holistic versus analytic cognition // Psychological Review. 2001. Vol. 108(2).
- Pasi M.* The Influence of Aleister Crowley on Fernando Pessoa's esoteric writings // Ésotérisme, gnosés & imaginaire symbolique: mélanges offerts à Antoine Faivre. Leuven, 2001.
- Pasquini E., Quaglio A.E.* Le origini e la scuola lirica siciliana / Letteratura italiana Laterza 1. Bari, 1981.
- Pérez López P.J.* Imperealismo future de los poetas // Pessoa F. Iberia. Introducción a un imperialismo futuro. Valencia, 2013.
- Perloff M.* Poetry on & off the page: essays for emergent occasions. Evanston, Ill, 1998.
- Pessoa F.* Antologia. Ed. Octavio Paz. Barcelona, 1985.
- Pessoa F.* Livro do Desasocego. Ed. de J. Pizarro. Lisboa, 2010.
- Pizarro J.* Alias Pessoa. Valencia, 2013.
- Raguenaud V.* Bilingual By Choice: Raising Kids in Two (or More!) Languages. Boston, 2009.

- Ritchie William C., Bhatia Tej K.* Social and Psychological Factors in Language Mixing // *The Handbook of Bilingualism*. Edited by Tej K. Bhatia and William C. Ritchie. Cornwall, 2006.
- Rosales F.A.* Chicano! The history of the Mexican American civil rights movement. Houston, 1997.
- Saenz-Badillos A.* El alma lastimada: Ibn Gabirol. Cordova, 1992.
- Schechter S.R., Sharken-Taboada D., Bayley R.* Bilingual by Choice: Latino Parents' Rationales and Strategies for Raising Children with Two Languages // *The Bilingual Research Journal* Spring 1996, Vol. 20. No. 2.
- Simard M.* Norme unilingue/Norme multilingue : revisiter le bilinguisme littéraire de l'écrivain franco-ontarien Patrice Desbiens // *Continents manuscrits* [En ligne], 2 | 2014, mis en ligne le 22 avril 2014, consulté le 04 juin 2016. URL : <http://coma.revues.org/313>.
- Simon Rodriguez M.* Rethinking Chicano Movement. New York, 2015.
- Tavani G.* Tra Galizia e Provenza: saggi sula poesia medievale galego-portoghese. Roma, 2002.
- Timm L.A.* Anjela Duval: Breton poet, peasant and militant // *Women's Studies International Forum*, Volume 9, Issues 5–6, 1986.
- Toribio J.A.* Code-switching among US Latinos // *Handbook of Hispanic sociolinguistics*. Ed. M. Diaz-Campos. Malden, MA, 2015.
- Torres L.* In the Contact Zone: Code-Switching Strategies by Latino/a Writers // *MELUS* 32.1 (2007).
- Villanueva T.* Brief history of bilingualism // *Multilingual anthology of American Literature: A reader of original texts with English translations*. New York, 2000.
- Zumthor P.* Un problème d'esthétique médiévale: l'utilisation poétique du bilinguisme // *Le Moyen Âge*, 1960. N 66.

## глава 3.2. Гибридизация дискурсов: теоретические основания и типы междискурсивного взаимодействия

О.В. Соколова

К типологическим чертам дискурсов относятся: модус реализации (устный и письменный), порождающий различия во временном режиме (синхронизированное / не синхронизированное создание и интерпретация сообщения) [Chafe 1982] и наличие / отсутствие контакта (вовлеченность / отстраненность участников коммуникации) [Кибрик 2009]; интенциональность (глобальные и локальные цели и задачи); пространственно-временная локализация; статусно-ролевые отношения участников (институциональный и личностноориентированный дискурсы), форма реализации (гомо- и гетерогенность) и др. Центральной категорией дискурс-анализа оказывается языковая личность, находящаяся в ситуации интеракции, включающей процессы порождения и интерпретации дискурса, и влияющая на формирование окружающей действительности. Динамичность и контекстуальная вариативность дискурса, модифицируемого в процессе коммуникативного взаимодействия, выделяется в качестве базовой черты Ю.С. Степановым. Центральной является категория «альтернативного мира», т. е. индивидуальная проекция текста как единства конститутивных единиц в реальности: «В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимических замен, свои правила истинности, свой этикет. Это – “возможный (альтернативный) мир” в полном смысле этого логико-философского термина. Каждый дискурс – это один из “возможных миров”. Само явление дискурса, его возможность и есть доказательство тезиса “Язык – дом духа” и, в известной мере, тезиса “Язык – дом бытия”» [Степанов 1995: 38].

Характеристика гетерогенности может относиться как к отдельным дискурсам (массовой культуры, нетрадиционной медицины, инновационного обучения и т. д.), так и к самому процессу отношений между дискурсами, обозначаемому как *гибридизация дискурсов*. Соответственно, для определения гетерогенных форм дискурсов используется термин *гибридные дискурсивные практики* [Kamberelis, Wehunt 2012: 507]

или *гибридные дискурсы*. Эти термины восходят к *гибридным конструкциям* М.М. Бахтина, которые характеризуются наличием «двух речевых манер, двух стилей, двух «языков», двух смысловых и ценностных кругозоров» при отсутствии между ними формальной – композиционной или синтаксической – границы [Бахтин 1975: 118].

Анализируя особенности трансляции термина *гибридизация* из естественнонаучного в небиелогический и, прежде всего, лингвистический контекст О.К. Ирисханова [Ирисханова 2010] отмечает, что продуктивность (более высокая степень адаптации), характеризующая биологические объекты при гибридном скрещивании, отмечается и в языковом аспекте. В случае с языковыми единицами это означает «продуктивность процессов языковой гибридизации на структурном уровне, обогащение семантики гибридных единиц, их способность образовывать открытые классы с размытыми границами и расширение диапазона выполняемых ими коммуникативных функций» [Там же: 29].

Создание гибридных образований является результатом творческого мышления, направленности на преодоление языковых и коммуникативных конвенций и дискурсивных границ. Гибридизация напрямую связана с когнитивными способностями человека к созданию и восприятию гибридных объектов (ср. с концепцией интеграции ментальных пространств и формирования блендов Ж. Фоконые и М. Тернера [Fauconnier et al. 1996]) и, соответственно, с лингвокреативной деятельностью, которая представляет сознательный выбор отправителем сообщения неконвенциональных способов его описания, иницирующих творческую активность со стороны получателя.

В области современного дискурс-анализа существуют различные подходы к анализу гибридизации дискурсов. Среди причин гибридизации дискурсов можно назвать такие их свойства, как неизолированность, размытость и подвижность границ во времени и в синхроническом плане, что обозначается как *дискурсивная* (или *дискурсная*) *гетерогенность* [Белоглазова 2010]. Дискурсивная гетерогенность представляет собой «столкновение, взаимодействие и взаимопроникновение дискурсов», которое проявляется в тексте с помощью определенных разноуровневых языковых средств – маркеров сигнализируемого дискурса [Белоглазова 2010: 107]. В результате гибридизации возникают разные формы гибридных дискурсов, среди которых необходимо назвать *интердискурс* [Pêcheux 1982; Wodak 2006; Link et al. 1990; Maingueneau 2002; Чернявская 2007], *полидискурс* [Saunders 2002; Сооран 2005; Belnap 1998], *междискурсивная конвергенция* [Азарова 2010] и *внутридискурсивная мобильность* [Азарова 2012].

Одним из первых типов междискурсивных отношений, возникающих в русле тенденции к дискурсивной гетерогенности, является *интердискурс*, который вводит в научный оборот М. Пеше [Rêcheux 1982: 113], представляя его как «сложное целое с доминантой дискурсивных формаций», подчиняющееся закону «неравенства – противоречия – зависимости», характеризующему идеологические формации [Там же]. Уточняя теорию интердискурса М. Пеше, Р. Водак отмечает, что интердискурс определяет сознание людей, но люди часто не осознают этого влияния. Такое осознание может произойти только путем радикального изменения дискурсов, например, вследствие политической революции [Wodak 2006].

Одно из первых употреблений термина *полидискурсивность* отмечается в работе Д. Сондерса, посвященной ранним юридическим текстам. Для этих текстов было характерно многоязычие (смешение латинского, французского и английского), повлекшее за собой гетеростилевую специфику и возникновение проблемы полидискурсивности [Saunders 2002: 75]. Полидискурсивность как черта языковой картины мира отдельных авторов исследуется в работах [Coorpan 2005; Belnap 1998]. Развитие теории полифоничности М.М. Бахтина в контексте концепции полидискурсивности связано с исследованиями [Flamend 2000; Тубалова 2009].

*Междискурсивная конвергенция*, предложенная в работе Н.М. Азаровой и исследованная на материале философского и поэтического дискурсов, обусловлена непротиворечивостью их типологических особенностей и «тенденциями развития в русской словесности определенных периодов, которые подразумевают сознательную стратегию на сближение философского и поэтического языка» [Азарова 2010: 11–12]. Такая форма гибридного дискурса представляет процесс параллельного развития, взаимодействия и конвергенции ряда лингвистических и экстралингвистических факторов [Там же: 185].

Обращаясь к проблемам отношения между дискурсами и обозначая границы поэтического дискурса, Н.М. Азарова вводит термин *внутридискурсивная мобильность* [Азарова 2012]. Основными критериями выделения внутридискурсивной мобильности в границах поэтического дискурса (или чистой поэзии) и таких видов поэзии, как детская поэзия или поэтический перевод, становится особенности интеракции. В частности, наличие, отсутствие или привнесение целевой адресации [Там же: 226].

Несмотря на наличие работ, анализирующих такую форму междискурсивных отношений как *междискурсивное взаимодействие* [Фил-

липс и др. 2004; Силантьев 2006], она остается недостаточно изученной в современной лингвистике. *Междискурсивное взаимодействие* представляет собой такой процесс взаимодействия дискурсов, который определяется типологическим сходством, параллельным развитием и апроприацией отдельных дискурсивных элементов, интерференцией как результатом влияния базового (или доминантного) дискурса и обратным воздействием со стороны других дискурсов в новой социокультурной ситуации.

Термин *междискурсивное взаимодействие* образован по аналогии с *межуровневым взаимодействием*, которое обозначает взаимодействие единиц в языковой системе в целом, а также в разных сегментах языка. Данная терминологическая модель видится продуктивной для обозначения определенного рода взаимодействия, происходящего в языковых и дискурсивных системах, в которых выделяются различные уровни и подсистемы.

Типологические особенности и процесс взаимовлияния дискурсов как в историческом аспекте, так и в синхронии наиболее полно реализуется во взаимодействии авангардного поэтического, PR- и рекламного дискурсов.

Авангардный дискурс ориентирован на формирование нового художественного языка посредством нарушения устойчивых конвенциональных языковых связей. Специфика авангардного дискурса (в отличие от других разновидностей эстетического дискурса) проявляется в двойной адресации: характерный для поэзии в целом автокоммуникативный принцип взаимоотношения реципиентов сосуществует с активной направленностью текста на адресата. Но в отличие от PR- и рекламного дискурсов здесь отмечается ориентация не на положительную, а на отрицательную реакцию получателя. Учитывая эпатажный, бунтарский характер авангардной коммуникации, можно обозначить реципиента авангардного текста как *минус-адресата*, т. е. адресата, необходимого для совершения интеракции и одновременно вытесняемого за пределы коммуникативного события.

Рекламный дискурс ориентирован на продвижение товаров и услуг на рынке, что связано с эксплицитной или имплицитной формой пропаганды ценностей и установок общества потребления. Сообщения, относящиеся к рекламному дискурсу, могут быть представлены в виде отдельных устных и письменных текстов (слоган, рекламная статья, баннерная реклама, аудиоролики и т. д.) или многоэтапной рекламной кампании – коммуникативного события макроуровня. Рекламный дискурс информирует адресата и воздействует на его сознание, используя

манипулятивные языковые средства и формируя специфические коммуникативные стратегии.

Целью PR-дискурса является формирование и поддержание репутационного капитала организации, а также налаживание двустороннего коммуникативного канала, в соответствии с чем для него характерны коммуникативные действия, иницирующие «продуктивный диалог». Формы выражения PR-дискурса ориентированы на интерактивную коммуникацию (вербальные сообщения: пресс-релизы, лифлеты; кампании в социальных сетях: «быстрая ответная реакция», «социальный сторителлинг»; благотворительные акции и т. д.).

Выявление теоретических оснований междискурсивного взаимодействия и объединение авангардного поэтического, PR- и рекламного дискурсов в одну функциональную группу дискурсов активного воздействия позволяет разработать их типологию, определив признаки, релевантные для их сопоставления.

### **Критерии типологического сходства авангардного поэтического, PR- и рекламного дискурсов**

Опираясь на ключевые принципы анализа институционального дискурса, сформулированные Т. ван Дейком [Dijk van 2004: 368] и В.З. Демьянковым [Демьянков 2007: 93], можно выделить наиболее значимые элементы дискурса: сфера реализации, цели, расположение, участники коммуникации, дискурсивные контексты, когнитивные механизмы, коммуникативные стратегии и языковые способы реализации.

В представленной ниже модели конститутивных признаков авангардного, PR- и рекламного дискурсов осуществлена попытка соотнести когнитивные механизмы и коммуникативные составляющие (расположение во времени и пространстве, коммуниканты и др.) с языковыми средствами и маркетинговыми элементами (маркетинговые, экономические и политические дискурсивные контексты). Учет разных параметров, предлагаемых в данной сводной модели, позволяет провести типологическое сопоставление и анализ разных типов дискурса, выявляя как общие черты, так и различия.

На схеме (рис. 1) отражена взаимосвязь ключевых элементов, релевантных для определения контекстуальной модели PR- и рекламной коммуникации. Контекст определяется взаимодействием как социальных, политических или культурных ситуаций, так и их субъективной интерпретацией участниками дискурса. Общие универсальные кате-

гории (*пространство и время, участники коммуникации*) сочетаются со специфическим пониманием дискурса отдельными коммуникантами.



**Рис. 1.** Сводная модель конститутивных признаков авангардного, PR- и рекламного дискурсов

Сфера реализации рекламного и PR-дискурсов связана с самыми разными областями деятельности человека, поэтому их предметом становятся товары промышленного производства, услуги, научно-технические инновации, гражданские инициативы, культурные, экономические, социальные, политические проекты и т. д. Авангардный поэтический дискурс связан, прежде всего, с культурной и эстетической сферами. Как способ целевого воздействия и привлечения внимания авангардный дискурс может использоваться также в политических, социальных и коммерческих сферах (например, концепция «жизнестворчества» раннего авангарда, «искусства-жизнестроения», выдвигнутая на страницах «Лефа» в 1920-е гг.).

Хотя исследуемые дискурсы имеют специфические дискурсивные цели, связанные с достижением конкретного прагматического эффекта (поиск нового художественного языка в авангарде; формирование и поддержание публичного капитала в PR; моделирование потребительской мотивации и продажа товара в рекламе), необходимо выделить общие цели и задачи, характерные для дискурсов активного воздействия. Цели передачи информации могут быть глобальными

(стимуляция интерпретативных процессов и изменение стереотипных когнитивных моделей конструирования значений вплоть до манипулятивной активизации потребности в совершении тех или иных действий) и локальными (вовлечение адресата в интеракцию с помощью инициации ответной, чаще негативной, реакции и удержание его с помощью информационной избыточности).

Необходимость изменения стандартной коммуникативной рамки, характеризующейся наличием активного отправителя и пассивного получателя в этих дискурсах, обуславливает использование специальных когнитивных механизмов и коммуникативных стратегий, способствующих вовлечению адресата в интеракцию, к которым относятся механизм перефокусирования и стратегии деавтоматизации и автоматизации.

В основе коммуникативной стратегии деавтоматизации лежит концепция В.Б. Шкловского об *автоматизации и деавтоматизации восприятия*, разработанная им применительно к анализу художественных текстов [Шкловский 1983]. Коммуникативная стратегия деавтоматизации реализуется в актуальной коммуникативной ситуации с целью преодоления коммуникативной неудачи (например, «конкурентного» информационного фона или неприятия к текстам определённого типа), привлечения внимания адресата, инициации ответной реакции и вовлечения его в интеракцию.

Коммуникативная цель здесь связана с вовлечением адресата в интеракцию, что реализуется с помощью намеренно создаваемых «помех», достигаемых посредством выбора неконвенциональных грамматических форм и не прямых (вплоть до асемантизированных) языковых значений. Именно «помехи» выступают в роли триггера, определяющего негативную реакцию адресата или минус-адресата на затрудненность декодирования сообщения, что приводит к коммуникативному конфликту. Ограниченность сообщения во времени и пространстве формирует принцип передачи минимального информационного объема с помощью максимально эффективных средств воздействия, к которым относятся неконвенциональные языковые элементы, при выборе которых отправитель руководствуется установкой на языковой эксперимент.

В основе отмеченных коммуникативных стратегий лежат когнитивные механизмы, характерные для авангардного дискурса, к которым относятся механизм перефокусирования и механизм размывания точки зрения. Базовые принципы процесса когнитивного конструирования, связанные с выбором отправителем конвенциональных или не-

конвенциональных способов описания положения вещей, влияют на формирование механизма перефокусирования, или сдвига фокуса.

Понимание механизма перефокусирования в дискурсах активного воздействия основывается на концепции дефокусирования, разработанной в исследованиях О.К. Ирисхановой. Дефокусирование включает такие лингвокогнитивные процессы, которые направлены на изменение фокуса внимания говорящего и приводят к «понижению степени выделенности», т. е. переводу определенных элементов конструируемой ситуации во вторичный фокус или фон [Ирисханова 2014: 65].

Выбор между альтернативными возможностями описания объекта в языке и дискурсе – более или менее автоматизированным использованием готовых форм (*cognitive routine*) или разработкой новых языковых «ресурсов» – в большинстве случаев решается отправителем информации в пользу применения конвенциональных способов. По мнению Р. Лэнккера [Langacker 2007: 424], такой выбор опосредован коммуникативными целями (кооперация, понятность) и когнитивными ресурсами (объем памяти, способность обрабатывать информацию). Выбор отправителем альтернативных, неконвенциональных способов описания объекта, сознательное нарушение принципов кооперации и взаимопонимания выделяются в качестве одного из критериев, характеризующих специфику авангардного дискурса.

Учитывая универсальность механизма сдвига фокуса, можно отметить специфику его реализации в дискурсах активного воздействия. В процессе конструирования объекта в сообщениях этих дискурсов выдвигаются окказиональные языковые элементы, нарушающие внутритекстовую когезию и релевантность сообщения в целом (например, разные формы авангардной «зауми»). При этом фокус внимания получателя перемещается с одного элемента на другой не только вследствие изменения характеристик дистанции между ними и трансформации фигуры / фона, перераспределение внимания осуществляется чаще по причине нарушения смысловой связности между элементами и необходимости дополнительных усилий адресата по интерпретации сообщения<sup>1</sup>.

Ограниченность расположения во времени и пространстве обуславливает ключевую задачу обозначенных типов дискурсов: максимальная концентрация языковых ресурсов на минимальном вербальном пространстве. Общая тенденция к минимализации наблюдается как в

<sup>1</sup> Подробнее о когнитивном механизме перефокусирования и коммуникативных стратегиях деавтоматизации/автоматизации см. [Соколова 2015].

авангардном поэтическом, так и PR- и рекламном дискурсах, что обусловлено различными причинами: эстетическими в первом случае (композиционное расположение на странице, «лингвистический дизайн текста») и прагматическими – во втором.

Участники коммуникации – это отправители сообщения, которые чаще представлены в авангардных (поэты) и PR-сообщениях (политические деятели, управляющие компаний); реципиенты (минус-адресат в авангарде; целевая аудитория в рекламе; общественное мнение в PR). К особенностям реализации относятся креолизация, или полимодальность, многоязычие, элементы аграмматизма, лексические явления окказиональности и потенциальности и т. д. Дискурсивные контексты, или контекстуальные модели, представляют взаимодействие текста и контекста в сознании участников коммуникации, которые являются частью контекста и вместе с тем осуществляют процесс его моделирования и интерпретации дискурса.

На основании выделенных критериев формируется список типологических свойств, позволяющих рассматривать авангардную поэзию, рекламу и PR как дискурсы активного воздействия. Среди таких свойств выделяются акцентированная диалогичность, перформативность, активизация фатической функции, специальные типы адресации (двойная адресация, коллективная адресация), преодоление языковых конвенций и др.

### **Понятие дискурсы активного воздействия и особенности языковой манипуляции**

В связи со значимостью манипуляции для выделенных типов дискурсов необходимо установить содержание этого междисциплинарного понятия, изучаемого разными гуманитарными науками (лингвистической семантикой, лингвистической прагматикой, теорией коммуникации, когнитивной и дискурсивной лингвистикой, психологией). Основная трудность определения этого понятия связана с наличием негативного оценочного компонента в термине *манипуляция*.

Обращаясь к базовым исследованиям по манипуляции в когнитивном аспекте, необходимо отметить работы, сделанные в русле теории релевантности [Sperber et al. 1986; Allott 2002], которые уделяют особое внимание проблемам подмены понятий с помощью несоответствующего употребления терминов и ложных семантических связей между словами.

В основе манипуляции, согласно когнитивному подходу, лежат механизмы фокусирования и дефокусирования [Ирисханова 2014]. Частный случай дефокусирования – *неопределенность (fuzziness)* как значимая для манипулятивных дискурсов лингвистическая стратегия – рассматривается в работе Л. де Соссюра [de Saussure 2005: 133]. Используя завуалированные, неясные и метафорические выражения, отправитель сообщения сталкивает адресата с «головоломкой», нарушая его природную способность к пониманию, после чего предлагает ему готовое решение.

Исходя из рассмотренных определений манипуляции, можно выделить наиболее характерные для данного понятия черты: имплицитность, смысловая неоднозначность и неопределенность, односторонняя направленность и негативный эффект воздействия. Важным критерием является также рациональность действий отправителя манипулятивного сообщения, что характеризует манипуляцию в PR- и рекламном дискурсах. Однако в случае с авангардным дискурсом необходимо отметить особую форму манипулятивного воздействия, направленного на деавтоматизацию восприятия адресата и не связанного с трансформацией его убеждений относительно экономического или политического контекстов. В связи с этим необходимо отметить наличие различных видов манипуляции, обусловленных спецификой дискурсивных целей.

Обращение к языковой манипуляции с точки зрения когнитивно-прагматического подхода позволяет выделить базовые когнитивные процессы конструирования и перспективизации, лежащие в ее основе.

**Манипуляция**, характерная для дискурсов активного воздействия, представляет двухэтапный процесс конструирования объекта и воздействия на сознание реципиента. **На первом этапе** с помощью выбора неконвенциональных языковых средств осуществляется разрушение алгоритмов конструирования объекта с целью достижения когнитивного диссонанса, что приводит к вовлечению реципиента в интеракцию и формированию креативного мышления. При этом, чем выше уровень «помех», создаваемых комплексом окказиональных языковых средств, которые выступают в роли триггеров познавательной активности, чем больше усилий необходимо приложить адресату для интерпретации сообщения, тем более эффективным оказывается первый этап манипуляции. Именно активизация творческой активности (деавтоматизация восприятия) посредством выбора окказиональных языковых средств и возникновение когнитивного диссонанса являются критерием успешности коммуникации на первом этапе.

Если на первом этапе базовой интенцией является деавтоматизация, или активизация восприятия адресата, то **на втором этапе** происходит обратное воздействие на сознание, характеризующееся его автоматизацией, или пассивизацией. Основной целью манипуляции на втором этапе является достижение компромисса и удержание восприятия реципиента (достигаемое с помощью информационной избыточности), а также моделирование определенной точки зрения получателя на объект. Вслед за разрушением имеющихся когнитивных моделей происходит формирование новых моделей, сопровождаемое имплицитным выражением базовой информации об объекте.

Необходимо отметить, что манипуляция сознанием реципиента в авангарде останавливается на первом этапе разрушения существующих моделей, в то время как реклама и PR развивают установку на формирование новых стереотипов. При этом в авангардном дискурсе в роли стереотипа оказывается сам язык, а нарушение стандартного, стереотипизированного словоупотребления приводит к преодолению референциального разрыва между реальностью и словом.

Из-за отмеченных коммуникативных барьеров активизация восприятия реципиента достигается с помощью специальных коммуникативных «помех», приводящих к нарушению принципа релевантности и повышающих усилия адресата по интерпретации сообщения. Таким образом, можно выделить два типа коммуникативных барьеров: негативные, ведущие к коммуникативному провалу (информационная избыточность, информационный фон, неприятие адресата к текстам определенного типа) и позитивные (коммуникативные «помехи»), выступающие в роли триггеров, инициирующих активную деятельность адресата по интерпретации текста.

**Дискурсы активного воздействия** ориентированы на преодоление коммуникативного неприятия и повышение прагматического эффекта, определяемого манипулятивным воздействием на реципиента. Для дискурсов активного воздействия характерен регулярный выбор отправителем альтернативных способов описания объекта, не только выходящих за границы языковой конвенции, но и намеренно нарушающих принципы релевантности, кооперации и взаимопонимания. В основе отказа от конвенциональных элементов в пользу окказиональных, авторских способов конструирования объекта лежат тенденции к преодолению коммуникативного провала (отказ реципиента от интерпретации сообщения) отправителем и восстановлению релевантности сообщения получателем. Соответственно, ключевой особенностью языка сообщений дискурсов активного воздействия является установка на эксперимент.

При этом важно подчеркнуть, что поскольку сообщения, в которых реализуются дискурсы активного воздействия, отличаются нарушением прямых способов выражения информации, они подвергаются изменениям как на языковом, так и когнитивном уровне. Способы кодирования информации в таких сообщениях изначально ориентированы на сознание воспринимающего, т. е. они передают образ мысли и когнитивные процессы не отправителя, а получателя сообщения.

Двухэтапный процесс манипуляции может быть проиллюстрирован на примере рекламной кампании центра изучения языков «Talisman» под названием «Ложные друзья переводчика»: *Baton – инструмент дирижера (англ.) дирижерская палочка; Bucket – лучше не дарить (англ.) ведро*. Эти тексты ориентированы на целевую аудиторию, не владеющую другими языками. Поэтому здесь два этапа манипуляции предваряются провокативной активизацией устойчивых, привычных языковых ассоциаций. Так, в первом примере эта провокативная активизация стимулирует ложноэтимологическое сближение слов на основе не реальной этимологии заимствований из французского в английский (*bâton* ‘палка’), а их фонетического и графического сходства. Благодаря тому, что русское и английское слова отсылают к разным референтам, на первом этапе манипуляции происходит сдвиг фокуса внимания. Этот сдвиг возникает из-за несоответствия между вербализуемым и ожидаемым. Получатель сталкивается с сообщением «Батон – инструмент дирижера» вместо ожидаемого, например, «Батон – вкусно и полезно». Такое перефокусирование поощряет самостоятельное достраивание образа объекта, т. е. активизирует творческое мышление реципиента. Однако коммуникативной целью отправителя рекламного сообщения является не только вовлечение получателя в интеракцию, но и его удержание. Поэтому в рекламном дискурсе, в отличие от авангардного, языковая манипуляция производится не только на первом этапе, но и на втором, когда осуществляется обратная процедура повышения релевантности сообщения с помощью средств информационной избыточности. Получив «ключ» (в данном случае – это перевод), получатель декодирует сообщение, что приводит к достраиванию объекта и стабилизации восприятия. В результате реципиент производит инференцию (‘Если выгучу язык, то не буду попадать в такие ситуации’). Поскольку реципиента «заставляют» посмотреть на сообщение с другой точки зрения – не русского, а английского языка – здесь вместе со сдвигом фокуса происходит и смена перспективы. Аналогичный механизм работает и для второго примера, где английское *bucket* сближается с русским словом *букет*.

На основании понимания манипуляции как деавтоматизации и последующей стабилизации сознания реципиента можно разграничить манипулятивные и волюнтативные дискурсы (например, военный и дидактический). В директивно-императивных речевых практиках, присущих волюнтативным дискурсам («педагогические» перформативы: *Откройте тетради!*; *Вон из класса!*, приемы деперсонификации: *учащиеся* и «пассивизации»: *рисовать на партах запрещается*), слово употребляется в прямом значении. Здесь воздействие на адресата осуществляется с помощью эксплицитно выраженных директивных интенций.

### **Теоретические основания анализа междискурсивного взаимодействия**

В качестве оснований, выделяемых для сопоставительного анализа дискурсов и выявления аспектов междискурсивного взаимодействия, предлагаются когнитивные и коммуникативные основания, которые реализуются с помощью специальных языковых средств.

Концепция *проектируемого мира* (*projected world*), т. е. «мира», не объективно данного, а субъективно сконструированного человеческим сознанием, разрабатывается Р. Джекендоффом [Jackendoff 1983: 29]. Согласно Р. Лэнекеру, проектирование является не пассивным процессом, главную роль в процессе *конструирования* (*constructing*) мира играет говорящий [Langacker 1987: 487–488]. Это положение было развито в исследованиях [Taylor 1995; Verhagen 2005; Кубрякова 2007; Беляевская 2013; Ирисханова 2014] и др.

Выдвижение прагматического аспекта, позволяющего выявить субъективные, симультанные факторы функционирования языковых единиц в актуальной коммуникативной ситуации, определяет значимость анализа процессов конструирования при обращении к дискурсам активного воздействия. Другим важным фактором является то, что в процессе конструирования говорящий может выбирать между устоявшимися в языковой норме образами объекта либо намеренно преодолевать языковую конвенцию, формируя новые способы языковой презентации объекта.

Обращаясь к проблеме категоризации цвета (которая формируется на пересечении устойчивых координат, таких как яркость, насыщенность, оттенок, и подвижных, основанных на индивидуальном восприятии), Р. Маклори осуществляет один из первых подходов к праг-

матическому конструированию в языке, формулируя теорию точки наблюдения или точки обзора (*vantage theory*) [MacLaury 1995].

Конструирование как способность выбора отправителем определенных способов выражения информации опирается на механизмы акцентирования, или фокусирования, и сдвига, или дефокусирования / перефокусирования. При этом регулярный выбор отправителем альтернативных способов описания объекта, не только выходящих за границы языковой конвенции, но и намеренно нарушающих принципы кооперации и взаимопонимания, обозначается как критерий, служащий для выделения дискурсов активного воздействия. Именно в этих дискурсах при выборе говорящим средства описания объекта или ситуации приоритет регулярно отдается в пользу отказа от конвенциональных и формирования оригинальных, авторских способов конструирования объекта.

Понятие перспективы или перспективизации (*perspective, perspectivation, perspectivization*) впервые встречается в когнитивных исследованиях [Langacker 1987, 2007; Talmy 2001; MacLaury 1995]. О.К. Ирисханова подчеркивает значимость понятия перспективизации для когнитивной лингвистики в связи с ее обращением к социальным факторам дискурсивной деятельности, а также к полимодальности коммуникации [Ирисханова 2013: 45].

Процессы конструирования объекта или ситуации в языке и дискурсе неразрывно связаны с конкретными коммуникативными ситуациями, в которых происходит это конструирование. При этом описание объекта под определенным углом зрения ориентировано не только на манифестацию концептуализатором субъективного образа этого объекта, но и на формирование эффективной интеракции.

В последнее время отмечается возрастание интереса к исследованию коммуникативных неудач как в прагматическом, так и когнитивном аспекте. Среди терминов, обозначающих различные проявления коммуникативной неэффективности, можно отметить следующие: *коммуникативная ошибка, коммуникативный сбой, коммуникативная помеха, коммуникативный конфликт, коммуникативный провал* [Городецкий и др. 1985; Ермакова 1993; Cobley 2004]. Отдельное внимание уделяется анализу коммуникативных неудач на материале художественного текста [Радбиль 2012], драматургии и поэзии авангарда и абсурда [Ревзина и др. 1971; Бочавер 2014; Фещенко 2014]. Под *когнитивным диссонансом*, переосмысленным в работах В.З. Демьянкова<sup>1</sup>, понимает-

<sup>1</sup> Понятие когнитивного диссонанса, разработанное в рамках социальной психологии, впервые было введено Л. Фестингером [Фестингер 1999].

ся затруднение понимания сообщения, возникающее вследствие противоречия между когнитивными элементами в сознании адресата, которое связывается с нарушением «баланса между модельным миром и непосредственным восприятием внешнего мира в знаниях интерпретатора» [Демьянков 2011: 38].

Вовлечение целого спектра конститuentов коммуникации в процесс воздействия на адресата позволяет подчеркнуть высокую степень разработки и использования коммуникативных средств в дискурсах активного воздействия. При этом можно отметить общую тенденцию к нарушению конвенциональных способов использования коммуникативных средств: шум употребляется как средство моделирования контраста (например, черно-белое рекламное сообщение на фоне цветных), сообщение включает окказиональные элементы, а для его передачи используется несколько каналов (поликодовость), обратная связь предполагает не положительную, а отрицательную реакцию.

### **Типы междискурсивного взаимодействия в авангарде, рекламе и PR**

Выявленные когнитивно-прагматические основания могут быть использованы для сопоставления дискурсов разных типов и изучения форм взаимоотношений между дискурсами. Ключевой задачей при этом стало не столько формирование исчерпывающего перечня типов взаимодействия дискурсов, сколько выявление релевантных признаков, которые могут быть использованы при выявлении отличительных свойств дискурсов и их сопоставления.

В соответствии с динамикой развития авангарда, рекламы и PR выделены три основных периода их взаимодействия: I период (к. XIX – к. 1910-х гг.), когда среди разных факторов, повлиявших на формирование футуризма, выделяется рекламный дискурс. II период (к. 1910-х – 1930-е гг.) – смена футуризма авангардом «второй волны». Участие В. Маяковского, Н. Асеева, Б. Кушнера, С. Третьякова и др. в «Окнах РОСТА», журналах «Леф» и «Новый Леф», работа обэриутов в журналах «Ёж» и «Чиж». III период (II половина XX в. – 2010-е гг.) – возрождение неофициальной литературы в период «Оттепели», а также возникновение коммерческой рекламы и PR.

Обозначенные периоды могут быть представлены в виде графика (рис. 2), включающего ключевые исторические даты XX в., повлиявшие на развитие всех дискурсов (полужирный шрифт); основные вехи фор-

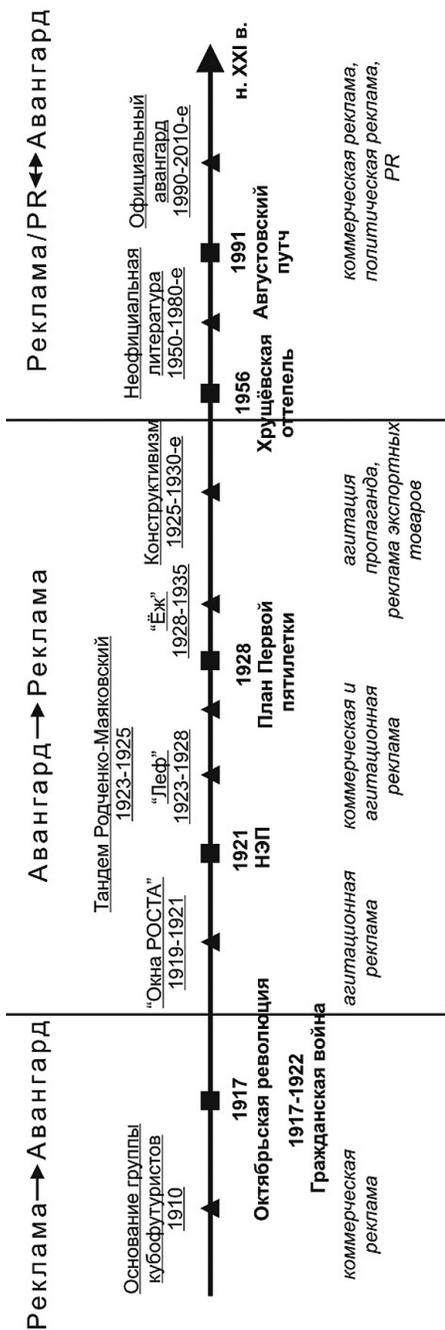


Рис. 2. Три периода междискурсивного взаимодействия авангарда, рекламы и PR

мирования и развития русского авангарда в его взаимовлиянии с рекламой, агитацией, пропагандой и PR (подчеркнутый шрифт); смена дискурсивных целей в рекламе в зависимости от исторических перемен (курсив); три базовых периода междискурсивного взаимодействия (разреженный шрифт):

**На I этапе** отмечается влияние рекламного дискурса на авангардный. В к. XIX – н. XX в. реклама становится неотъемлемой частью не только архитектурного облика города, но и апроприируется художественными направлениями, оказав значимое влияние на искусство начала XX в. Этот этап можно назвать **интерференцией дискурсов**, поскольку формирование авангардного дискурса осуществляется в процессе влияния, метаязыковой рефлексии и трансформации элементов рекламного дискурса, а также частичного использования рекламных ключевых слов (*реклама, вывески*). Интерференция дискурсов характеризуется, прежде всего, апроприацией стандартных языковых приемов рекламы к. XIX – н. XX в., среди которых выделяются синтаксическая (эллиптичность) и лексическая (усечение и сегментация) компрессия, многоязычие (*Katalog. Catalogue. Императорское общество поощрения художеств. Société Impériale d'Encouragement des Arts*), активное словообразование. Однако эти приемы носили нерегулярный характер, и воздействие на адресата выражалось не имплицитно, а эксплицитно.

Специфическая эллиптичность, «обрывочность» рекламных текстов, связанная с тенденцией к экономии и оптимизации языкового кода, становится одним из базовых языковых приемов в авангарде – как способ «экономии художественных средств» (К. Малевич), а также маркер разговорной речи (ср. призыв к «телеграфичности» у Ф.Т. Маринетти), что реализуется посредством сегментации слова: *Выговорили на тротуаре / «поч- / перекинулось на шины / та»* [Маяковский 1955–1961: 1, 58], употребления парцелированных конструкций: *Самое лучшее! Самое приспособленное, портативное <...> Граммофоны, пиано* [Гуро 1914]. «Обрывки» реклам заключены в скобки и вписаны в экспрессивные конструкции с нарушенными синтагматическими связями в поэтических текстах дадаистов: *besterSchuputz* ‘лучшая чистка обуви’, *ärztlichempfohlen* ‘рекомендовано врачами’ [Schwitters 1973–1981: 1, 81], что формирует прием «ready-made», когда нехудожественный объект или текст выступает в функции произведения искусства.

Последовательная грамматическая деформация конвенциональных форм (изменение конвенциональных грамматических форм) и языковых клише рекламы приводит к активизации языковых процес-

сов. Среди других языковых явлений, сопровождающих включение маркеров рекламного дискурса, отмечается акцентная и ритмообразующая функция инверсии: *В шатрах, истертых ликов цвель где, / из ран лотков сочилась клюква* [Маяковский 1955–1961: 1, 37]; выделительный характер нарушения согласования слов: *Хорошо, / когда брошенный в зубы эшафоту, / крикнуть / «Пейте какао Ван Гутена!»* [Там же: 1, 186]; манипулятивная функция императивных форм: *Читайте железные книги!* [Там же: 1, 41]; употребление имени собственного в значении нарицательного: *освободятся сЕльтерские ноги мои ими* [Крученых 2001: 91]; фоносемантическая организация поэтического текста: *Я запретил бы «Продажу овса и сена» ... / Ведь это пахнет убийством Отца и Сына?* [Асеев 2011: 46]. Изменение грамматических форм при употреблении рекламных языковых единиц свидетельствует о стремлении поэтов актуализировать поэтическое высказывание с помощью отсылки к объектам действительности, а также маркировать включение фрагментов других дискурсов и передать взаимодействие самых разных сфер современной действительности в тексте.

Семиотическая организация креолизованных текстов рекламы отражается в авангардных поэтических текстах с помощью воспроизведения поликодовости вербальными средствами. Так, визуальный код организует текст «Вывескам» (1913) В. Маяковского, где активно используются цветообозначения: *золоченой, золотокудрые*, а изображение логотипа «Магги» влияет на его выражение в тексте: *закружат со звездия «Магги»* [Маяковский 1955–1961: 1, 41].

Двойная референциальная соотнесенность<sup>1</sup>, т. е. формирование двойных связей именной группы с объектами эмпирической и художественной реальности, позволяет нарушить стандартную форму презентации и интерпретации сообщения. Двойная референциальная соотнесенность формируется за счет одновременной отсылки к объекту

<sup>1</sup> Термин *двойная референция*, введенный Е.С. Кубряковой для описания свойства производных слов [Кубрякова 1981: 10], получает новую интерпретацию в нашей работе. Понимание *двойной референции* применительно к авангардному поэтическому дискурсу и к дискурсам активного воздействия в целом осуществляется в русле соотношения с миром действительности через слово (знак), которое оказывается точкой отсчета в процессе референции. В авангарде референция к миру действительности позволяет актуализировать связь художественного текста с реальностью, отражая общую интенцию на преодоление границ между произведением искусства и реальностью, а также маркировать принцип взаимодействия разных дискурсов, соответствующий принципу синтеза разных художественных языков и семиотических кодов.

в эмпирической реальности (фигура на вывеске магазина художественных изделий «AvanzoDaziago») и в поэтическом тексте, где объект выражен в сакральном образе Матери, воплощающем страдание и всепрощение: *Мама. / Если станет жалко мне / вазы вашей муки, / сбитой каблуками облачного танца, – / кто же изласкает золотые руки, / вывеской заломленные у витрин Аванцо?* [Маяковский 1955–1961: 1, 47]. Аллюзия к христианским иконографическим сюжетам (Оплакивание Христа и Пьета) формирует контрастное сопоставление профанного (рекламного) и сакрального кодов, усиливая трагизм и повышая воздействие на адресата.

На этом этапе доминирует «агрессивная» модель отрицательной коммуникации, направленная на деавтоматизацию восприятия получателя с целью формирования роли *минус-адресата*: *Какая вы публика – злая да каменная <...> Какая вы публика – странная да шершавая* (В. Каменский) [Поэзия русского футуризма 1999: 254]; *Я это все писал / о вас, / бедных крысах* [Маяковский 1955–1961: 1, 172]; *ощетинит ножки столглавая вошь* [Там же: 56].

Для **II этапа** характерно воздействие авангардного дискурса на рекламу, что связано с созданием новых форм рекламы и агитации авангардистами (В. Маяковским, А. Родченко, Н. Асеевым, К. Швиттерсом, Х. Хёх, Ф. Т. Маринетти, Дж. Балла, Х. Крэйном и др.). На этом этапе, с одной стороны, продолжается интерференция дискурсов, а с другой, развивается контаминация дискурсов. Под **контаминацией дискурсов** (лат. *contaminatio* – смешение) понимается конструктивный принцип совмещения дискурсов, который манифестируется в виде новых синтетических жанровых форм (*реклам-стихи, агитпоэмы*), адаптации авангардных языковых приемов («остранение», словотворчество) и коммуникативных стратегий к созданию рекламных текстов. Целью новых «жанров-гибридов» 1920–30-х гг. становится «очищение» искусства от культурной традиции и повышение прагматического эффекта текстов: «Из чего готовят конфеты?» Н. Асеева (1920), «О завхозе, который чуть не погиб со всей конторой» В. Маяковского и Н. Асеева (1923) и др.

Авангардные языковые приемы, используемые в текстах новых жанровых форм (эллипсис, усечение и сегментация слов, словотворчество, дисфемизация), «адаптируются», т. е. подвергаются изменению с целью создания эффективных рекламных и агитационных сообщений. Так, экспериментальные формы словотворчества заменяются более стандартными способами: *Рабочеправствие / Наш / Меж-пар-май!.. // Звучи / Звучар / Во всю / меднолитейную / глотку!..* [Крученых 1923: 16]; *громыхайник, баронщина; прогульщик-богомалец, радиомитинг; восьмикрылка.*

Схожая тенденция наблюдается в словотворчестве итальянских футуристов: *conprofumo* 'созапах'; *distattile* 'дисосязание'; *traidue* 'между двух' вместо англ. *sandwich*; *guidapalato* 'управляющий нёбом' вместо фр. *maitred'hôtel* [Marinetti, et al. 1932].

Комбинированная структура текстов новых жанров формируется с помощью регулярного сочетания разных семиотических кодов (вербального, визуального, перформативного и др.). В отличие от раннего авангарда полисемиотическая структура здесь ориентирована одновременно на «остранение» содержания и дублирование информации, приводящее к повышению связности текста. Активно используются новые технологические средства презентации сообщения (агитбригады, агитпоезда и агитпароходы).

Двойная адресация (автоадресация и минус-адресация), характерная для авангарда, дополняется коллективной адресацией. Формируется стратегия коммуникативной интеграции, которая реализуется в тексте с помощью языковых средств объединения адресанта и адресата.

**III тип** взаимодействия представляет двунаправленное влияние авангардного и рекламного (а также выделившегося на современном этапе PR) дискурсов. **Монтаж дискурсов** выражается в контактировании дискурсов, характеризующихся открытостью границ и повышением «междискурсивной мобильности», осознанном включении и модификации языковых элементов и ключевых слов.

На третьем этапе заимствование и преобразование отдельных языковых приемов при «встраивании» их в другой дискурс отличаются от языковых изменений на предыдущих этапах. Если на первом этапе включение инодискурсивных элементов было связано с преодолением междискурсивных барьеров и необходимостью «остранения» (грамматическим изменением, сегментацией и расчленением), на втором этапе произошла контаминация дискурсов, выраженная в наложении жанровых форм и адаптации языковых приемов, то на третьем этапе заметно повышение открытости границ дискурсов, что характеризуется регулярным включением более крупных, недискретных фрагментов иного дискурса, сохраняющих связь с исходным текстом: *всё равно – рекламный клип колготок «омса» / опереточный ли мусор* [Кривулин 1998].

Среди характерных языковых приемов, отмечающихся как в авангарде, так и в PR и рекламе, можно выделить развитие заданной на предыдущих этапах тенденции к компрессии (эмансипация пунктуационных элементов, обладающих смысловой наполненностью; неконвенциональное употребление аббревиаций), межуровневому и межязыковому взаимодействию.

Включение элементов различных семиотических кодов (математических знаков, единиц языков программирования и др.) приводит к стиранию границ между дискурсами, что позволяет нарушить линейность текста, а также расширить возможности его интерпретации. В современной авангардной поэзии в поэтический текст регулярно включаются элементы, отсылающие к программному коду: *синестетический / \*эпизод\*[.] не выходящий за пределы (чувственных) привязок отвлечённого опыта* [Скандиака 2007].

Рекламное сообщение строится как алгоритм, записанный на языке программирования, но является не программным кодом, а сообщением, ориентированным на определенную целевую аудиторию:

LAN – SAT – POLAR

ORBIT Ø LAT

(E)NOS<sub>NEUROTRANSMISSION</sub> («Sony PlayStation»)

Основными слоганами кампании были «криптограммы» *(E)nosLives* и *URnote*, в первом из которых красная *e* была сокращением от *ready* (ср. англ. *rede* ‘красная e’), а второй представлял фонетическую транскрипцию ключевой «провокационной» фразы *You are not ready*.

Отмечается расширение спектра референтных ситуаций, к которым отсылают языковые единицы, включенные в другой дискурс. Проблема соотношения рекламных элементов и фактов о реальном положении дела, различные подходы к которой были сформулированы в работах философов (М. Фуко, Ж. Бодрийяра, Р. Барта, Б. Гройса и др.), становится объектом метаязыковой рефлексии в современной авангардной поэзии.

В текстах современного поэтического авангарда, включающих элементы рекламного дискурса, используются приемы дисфемизации, энантиосемии, а также регулярное употребление метаязыковых компонентов. Обращаясь к анализу текста А. Альчук, Н.А. Фатеева делает вывод о сходстве принципов организации современного авангардного поэтического и рекламного текстов, неологическая форма записи которых «заставляет» заново прочесть знакомые языковые формы и вычленив в них внутреннюю форму, основанную на «словообразовательной энантиосемичности, когда целое слово и выражение имеет смысл, обратный своим частям» [Фатеева 2008: 173].

Для монтажа дискурсов характерна коммуникативная стратегия, связанная с отказом от коммуникативной интеграции и возвращением к модели двойной адресации (при этом доминирует автоадресация).

Наряду с обращением авангардной поэзии к языковым приемам рекламы и PR отмечается развитие тенденции к использованию коммуникативных стратегий и тактик раннего авангарда в рекламе и PR начала XX в. В современных PR- и рекламном дискурсах получает дальнейшее развитие тенденция к использованию визуальных и языковых технологий и коммуникативных стратегий раннего авангарда. В рекламе «Ikea» и «Lipton» представлены индексальные знаки, указывающие на знак-символ («Черный квадрат» К. Малевича). Фраза *Малевич отдыхает* в рекламе «Ikea», комментирующая квадратную форму подушки и соотносимая с самым знаменитым произведением художника, перекликается с некоторыми приемами супрематизма благодаря лаконичности синтаксической структуры и полисемии: *отдыхает* может обозначать физическое действие ‘восстанавливает силы, спит’ и одновременно может носить разговорно-просторечный характер ‘даже Малевич не додумался до такого шедевра, как наша подушка’. Воздействие на сознание и поведение адресата осуществляется с помощью нарушения логической связи высказывания, требующей ее восстановления самим интерпретатором.

Важно отметить, что ряд произведений и текстов раннего авангарда («Черный квадрат» К. Малевича, «Бобэоби» В. Хлебникова, «дыр булщыл» А. Крученых) стали неотъемлемой составляющей семиотического пространства современной рекламы, а также других дискурсов. Устойчивость этих знаков в современной культуре позволяет обозначить их как маркеры прецедентности. В рекламных сообщениях используются принципы семиозиса авангардных прецедентных текстов, символизирующих лаконичность и обладающих повышенным прагматическим эффектом.

Таким образом, анализ гибридизации дискурсов, реализуемой посредством междискурсивного взаимодействия поэтического авангарда, PR и рекламы, позволяет не только объединить выделенные курсы в одну функциональную группу дискурсов активного воздействия, но также сформировать типологию этих дискурсов, традиционно считавшихся противоположными. Выявленные типы междискурсивного взаимодействия (интерференция, контаминация и монтаж) отражают многообразие гибридных дискурсивных практик, получающих различные формы на разных этапах взаимодействия как в историческом аспекте, так и синхронии. При этом одним из факторов обнаруженного многообразия типов междискурсивного взаимодействия является традиционно отмечаемое противопоставление поэтического авангарда, с одной стороны, и рекламы и PR – с другой. Важно подчер-

кнуть, что, несмотря на заложенную в каждом из анализируемых дискурсов манипулятивную интенцию, именно гибридные дискурсивные практики, реализуемые на стыке авангарда, рекламы и PR, обретают дополнительный коммуникативно-прагматический потенциал, основанный на заложенном в них базовом когнитивном механизме перефокусирования.

## Литература

- Азарова Н.М.* Критерий «адресат» в установлении границ поэтического дискурса // *Логический анализ языка. Адресация дискурса.* М., 2012.
- Азарова Н.М.* Язык философии и язык поэзии – движение навстречу (грамматика, лексика, текст). М., 2010.
- Асеев Н.* Я не могу без тебя жить (стихотворения, поэмы). М., 2011.
- Бахтин М.М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
- Белоглазова Е.В.* Полидискурсивность в контексте идей о дискурсивной гетерогенности // *Актуальные проблемы современной лингвистики. Сборник научных статей.* СПб., 2010, Вып. 2.
- Беляевская Е.Г.* Когнитивная деятельность человека в зеркале семантики // *Когнитивные исследования языка. Вып. 15. Механизмы языковой когниции.* М.; Тамбов, 2013.
- Бочавер С.Ю.* Когнитивный диссонанс и кооперация в восприятии авангардной драматургии // *Когнитивные исследования языка. Вып. XIX. Когнитивное варьирование в языковой интерпретации мира.* М.; Тамбов, 2014.
- Городецкий Б.Ю., Кобозева И.М., Сабурова И.Г.* К типологии коммуникативных неудач // *Диалоговое взаимодействие и представление знаний.* Новосибирск, 1985.
- Гуро Е.* Небесные верблюжата. СПб., 1914. Режим доступа: URL: <http://elenaguro.narod.ru/nv.html>. Дата обращения: 21.05.16.
- Демьянков В.З.* Когнитивный диссонанс: когниция языковая и внеязыковая // *Когнитивные исследования языка: сб. научн. тр. М., Тамбов, 2011. Вып. IX. Взаимодействие когнитивных и языковых структур.*
- Демьянков В.З.* *Текст и дискурс как термины и как слова обывденного языка* // *Вопросы филологии.* 2007. № 5.
- Ермакова О.П.* К построению типологии неудач (на материале естественного русского диалога) // *Русский язык в его функционировании: прагматический аспект.* М., 1993.

- Ириксанова О.К.* О языковой гибридации, лексических гибридах и фокусе внимания // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Вып. № 603. 2010.
- Ириксанова О.К.* О понятии перспективизации в когнитивной лингвистике // Когнитивные исследования языка: сб. науч. тр. М.; Тамбов, 2013. Вып. 15. Механизмы языковой когниции.
- Ириксанова О.К.* Игры фокуса в языке: семантика, синтаксис и прагматика дефокусирования. М., 2014.
- Кибрик А.А.* Модус, жанры и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкознания. 2009. № 2.
- Кривулин В.* Requiem. М., 1998. Режим доступа: URL: <http://www.vavilon.ru/texts/krivulin3.html>. Дата обращения: 16.05.16
- Крученых А.* 1-ое мая // Леф. 1923. №2.
- Крученых А.* Стихотворения, поэмы, романы, опера. СПб., 2001.
- Кубрякова Е.С.* О реализации значений слова в дискурсе // Язык и действительность. Сб. н. тр. памяти В.Г. Гака. М., 2007.
- Маяковский В.В.* Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 1955–1961. Поэзия русского футуризма. СПб., 1999.
- Радбиль Т.Б.* Языковые аномалии в художественном тексте: Андрей Платонов и другие. М., 2012.
- Ревзина О.Г., Ревзин И.И.* Семиотический эксперимент на сцене (Нарушение постулата нормального общения как драматургический прием) // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. Вып. V.
- Силантьев И.В.* Газета и роман: риторика дискурсных смешений. М., 2006.
- Скандиака Н.* Не голуби, а облюбовали. Воздух, 2007. № 1. Режим доступа: URL: [http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2007-1/skandiaka/view\\_print/](http://www.litkarta.ru/projects/vozdukh/issues/2007-1/skandiaka/view_print/). Дата обращения: 19.05.16
- Соколова О.В.* Дискурсы активного воздействия: теория и типология. Дис. ... докт. филол. наук. Москва, 2015.
- Степанов Ю.С.* Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца XX века. М., 1995.
- Тубалова И.В.* Фольклор как прототекстовая среда полифонического текста бытовой культуры: к проблеме полидискурсивности // Вопросы когнитивной лингвистики. 2009. № 1.
- Фатеева Н.А.* Грамматические неологизмы в современной русской поэзии // Критика и семиотика. 2008. Вып. 12.
- Фестингер Л.* Теория когнитивного диссонанса. СПб., 1999.
- Фещенко В.В.* Два случая «нулевой коммуникации»: глоссолалия и поэзия абсурда // Вопросы филологии. 2014. № 1.

- Филлипс Л. Дж., Йоргенсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков, 2004.
- Чернявская В. Е. Открытый текст и открытый дискурс: Интертекстуальность – дискурсивность – интердискурсивность // Лингвистика текста и дискурсивный анализ: традиции и перспективы. СПб., 2007.
- Шкловский В. В. О теории прозы. М., 1983.
- Allott N. Relevance and rationality // UCL Working Papers in Linguistics. 14. 2002.
- Belnap J. Headbands, Hemp Sandals, and Headdresses: The Dialects of Dress and Self-Conception in Martí's «Our America» // José Martí's «Our America»: from national to hemispheric cultural studies. Durham, N. C., 1998.
- Chafe W. Integration and involvement in speaking, writing, and oral literature // Spoken and written language: Exploring orality and literacy. Norwood, 1982.
- Cobley P. Communication Breakdown // Language & Communication. 2004. Vol. 24.
- Cooppan V. The Double Politics of Double Consciousness: Nationalism and Globalism in The Souls of Black Folk // Public Culture. 2005. 17 (2).
- de Saussure L. Manipulation and Cognitive Pragmatics: Preliminary Hypotheses // Manipulation and Ideologies in the Twentieth Century: Discourse, Language, Mind. Amsterdam-Philadelphia, 2005.
- Dijk van T. A. Text and context of parliamentary debates // Cross-cultural Perspective on Parliamentary Discourse. Amsterdam, 2004.
- Fauconnier G., Turner M. Blending as a Central Process in Grammar // Conceptual Structure, Discourse and Language. Stanford, 1996.
- Flamend J. Het genre concept in het werk van Mikhail Bakhtin [The Concept of Genre in the Work of Mikhail Bakhtin] // The annotated Bakhtin bibliography. London, 2000.
- Jackendoff R. Semantics and cognition. Cambridge, 1983.
- Kamberelis G., Wehunt M. D. Hybrid discourse practice and science learning // Cultural Studies of Science Education. 7(3). September 2012.
- Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. 1. Stanford, 1987.
- Langacker R. Cognitive Grammar // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Ed. D. Geeraerts, H. Cuyckens. Oxford, 2007.
- Link J., Link-Heer U. Diskurs / Interdiskurs und Literaturanalyse // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, 20.
- MacLaury R. E. Vantage theory // Language and the Cognitive Construal of the World. Berlin, New York, 1995.

- Mainueneau D.* Interdiscours // Dictionnaire d'analyse du discours. Paris, 2002.
- Marinetti F.T. e Fillia.* La cucina futurista. Milano, 1932.
- Pêcheux M.* Language, Semantics, and Ideology. New York, 1982.
- Saunders D.* Literacy and the Common Law. A Polytechnical Approach to the History of Writings of the Law, 2002. Режим доступа: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/GriffLawRw/2002/5.pdf> Дата обращения: 05.08.16
- Schwitters K.* Das literarische Werk. Köln, 2004. Bd. 1–5.
- Sperber D., Wilson D.* Relevance: Communication and cognition. Oxford, 1986.
- Talmy L.* Towards a Cognitive Semantics. Vol. I: Concept Structuring System. Cambridge, 2001.
- Taylor J.R.* Introduction: on constructing the world // Language and the Cognitive Construal of the World. Ed. by J.R. Taylor and R.E. MacLaury. Berlin, New York, 1995.
- Verhagen A.* Constructions of intersubjectivity. Discourse, syntax, and cognition. Oxford, 2005.
- Wodak R.* Critical linguistics and critical discourse analysis // Handbook of Pragmatics. Benjamins, 2006. Режим доступа: <http://www.ling.lancs.ac.uk/staff/wodak/papers/06hbprag.pdf>

### глава 3.3. Трансферные дискурсные взаимодействия и механизмы взаимного перевода от языка науки к языку искусства

И.В. Силантьев

#### **I. Сюжетный смысл как среда и условие возникновения и функционирования трансферных механизмов в дискурсах культуры**

Наши вводные теоретические рассуждения охватят понятийно-терминологическое поле, представленное в трех *парадигмах*: *факт – событие – нарратив*; *фабула – сюжет*; *нарратология – сюжетология*.

Под *фактами* можно понимать целостные динамические моменты, которые человек вычленяет из определенного процесса или ситуации, руководствуясь определенной *точкой зрения*. В такой трактовке факт не всегда соотносим с обыденными коннотациями этого термина как чего-то безусловно реального, *на самом деле существующего*. Поскольку процессы, к которым имеет отношение человек, могут носить ментальный характер, постольку и выделяемые из них факты могут быть ментальными фактами – например картины сна или фантазии.

Если для квалификации факта достаточно, если так можно выразиться, критерия *замеченности* (с определенной точки зрения, позиции), то событие предполагает *вовлеченность* человека в отмеченный им факт или совокупность фактов. При этом вовлеченность может быть не только социально-ситуативная, но и личностная, и поэтому событие не просто *ментально*, но и отчетливо *аксиологично*.

Так, ментально существенные и ценностно значимые для человека факты его личного и социального жизненного целого воспринимаются им как *события его судьбы*. Незапланированные и неожиданные, но в той же мере значимые для человека повороты и нарушения его повседневной жизни воспринимаются как *события авантюрного характера, приключения*, вторгающиеся в жизнь человека. Возможна (и вполне характерна) ситуация личностного вовлечения в сверхличные события общественной и мировой истории, и в таком случае судьба человека в большей или меньшей мере приобретает эпохальный смысл.

Подчеркнем – речь идет о вовлечении *личностном*, а не просто личном, т. е. вовлечении ценностно-смысловом, а не только внешне-биографическом.

Таким образом, событие можно трактовать как результат личностного вовлечения в определенный факт и как результат сопричастного осмысления и аксиологизации определенного факта. При этом событие неизбежно обретает свойства автокоммуникативного явления<sup>1</sup>, потому что индивидуальный или коллективный субъект сознания, присваивая определенный факт и образуя тем самым новые смыслы своей сопричастности происходящему, адресует эти смыслы в первую очередь самому себе. Именно поэтому событие в момент своего автокоммуникативного генезиса уже несет в себе зачаток своей рассказанности, *поведанности*. Если автокоммуникативная установка развивается в собственно коммуникативную, во внешне коммуникативную, то внутренняя потенциальная нарративность развертывается уже во внешнем нарративе – в устном рассказе, в сообщении, в письме и т. д.

В случае с эстетически значимыми коммуникациями в нарративные стратегии внешней коммуникации вновь отчетливо вплетается автокоммуникативность, поскольку адресат художественного произведения в определенной степени включает в свою сферу и автора этого произведения.

В последующей трактовке самого *нарратива* мы можем оттолкнуться от самого простого его определения: это последовательность событий, изложенных в определенном коммуникативном акте. Подчеркнем еще раз, что вне нарратива не может быть и события как такового: *нерассказанного* события не существует, оно формируется и живет только в зоне своей *адресованной рассказанности*, только как сообщение, посланное другому или себе как другому. Событие – это знак изменения самого себя, который индивид в первую очередь и адресует самому себе.

Вместе с тем в данном определении нарратива находит отражение и его внешняя сторона: нарратив есть, собственно говоря, *линейное изложение* в речи определенных событий. Наша речь линейна (если, конечно, в первую очередь принимать во внимание ее вербальный компонент), и нарратив, развертываемый посредством речи, также не может не быть линейным. Другое дело, что внутри этой линейности события могут быть выстроены не в соответствии с их характерными взаимо-

<sup>1</sup> В понимании феномена автокоммуникации мы опираемся на наблюдения и определения, развернутые Ю.М. Лотманом в работе: [Лотман 2000: 163–176].

связями, перепутаны и переставлены, но здесь мы уже имеем дело со спонтанными или специальными стратегиями повествования, являющимися предметом психологии и поэтики.

Основываясь на таком понимании нарратива, перейдем к вопросу о разграничении *фабулы* и *сюжета*, не теряющему своей актуальности.

События нарратива можно увидеть с точки зрения причинно-следственных и пространственно-временных отношений – т. е. отношений *смежности*, по Р.О. Якобсону [Якобсон 1990: 114]. Это аспект *фабулы* нарратива.

Вместе с тем, события нарратива можно осмыслить в плане их со- и противопоставлений, т. е. в отношениях *сходства*, и в необходимом отвлечении от фабульных связей<sup>1</sup>. Это аспект *сюжета* нарратива.

В отправной точке понимания фабулы и сюжета мы солидарны с концепциями Л.Е. Пинского, различавшего «сюжет-фабулу» и «сюжет-ситуацию» [Пинский 1989: 322–338] (при том, что сам выбор терминов, на наш взгляд, не вполне точен, так как не проясняет собственных отношений фабулы и сюжета) и Н.Д. Тamarченко, писавшего о «сюжетном событии» и «сюжетной ситуации» [Тамарченко 1999: 113–120] и вкладывавшего в данные термины, по существу, различие между фабульным и сюжетным аспектами нарратива.

В целом фабульная *синтагма* событий, увиденная в плане их разно-сторонних смысловых отношений, предстает в виде *парадигмы* сюжетных ситуаций. Фабула *синтагматична*, сюжет *парадигматичен*. Поэтому на уровне критического суждения или литературоведческого метаописания фабулу можно *пересказать*, а сюжет – только *раскрыть*.

Важно понимать, что ни фабула, ни сюжет не являются первичной реальностью нарратива как исходного, явленного нам в коммуникативном акте *изложения событий*. Фабула и сюжет – это только два соотнесенные ментальные *измерения* нарратива, создаваемые в процессе его целостной интерпретации.

Фабула характеризуется *центростремительным* вектором. Это значит, что все читатели как субъекты определенной культурно-исторической эпохи практически одинаково реконструируют фабулу, поскольку опираются на общий объем практического и культурного опыта.

Напротив, сюжет характеризуется *центробежным* вектором. По существу, сюжетов порождается столько, сколько происходит прочтений и интерпретаций текста произведения различными читателями. Каждый читатель в рамках своей творческой индивидуальности конструи-

<sup>1</sup> Ср.: [Шмид 2003: 240, 243–244].

ирует свой сюжет произведения как сумму и систему смысловых соположений событий нарратива и как исходный смысл прочитанного.

Вместе с тем не следует думать, что в этом вопросе мы занимаем позицию некоего рецептивного релятивизма. Фактором, задающим направление сюжетной интерпретации, конечно же, выступает смыслообразующая интенция самого автора – большинство читательских сюжетов так или иначе локализуют свои смыслы в общих рамках генерального проективного сюжета, заданного автором произведения. Не менее важно и другое: при всем многообразии читательских интерпретаций всегда действует мощный фильтр, который эпоха накладывает на многообразие порожденных сюжетов произведения, и только определенная часть их признается культурно значимыми, актуальными для воспроизведения. Как правило, такие сюжеты далее транслируются активными речевыми субъектами словесной культуры, такими как критики, литературоведы, учителя, журналисты, философы и др.

Таким образом, мы можем заключить, что фабула произведения *одна* – сюжетов произведения *много*. Фабула *реконструируется*, сюжеты – *конструируются*.

Художественная литература знает случаи, когда фабула становится собственно элементом нарратива, но уже на его метауровне, в качестве предмета внимания и обсуждения персонажей. Так, знаменитые новеллы Конан Дойла о Шерлоке Холмсе, как правило, завершаются заключительной беседой сыщика и его друга доктора Ватсона. В этой беседе Холмс раскрывает Ватсону (а также «непроницательному» читателю) истинную последовательность и связь криминальных событий. Таким образом, фабула первичного нарратива новеллы оказывается эксплицированной в самом дискурсе произведения и становится явным элементом его нарративной структуры.

В итоге мы приходим к разграничению предмета нарратологии и сюжетологии.

Предметом нарратологии выступает собственно *нарратив*, или *повествование*, увиденное в аспекте его событийной природы и событийного состава. Основной категориальной производной этого предмета выступает категория *повествователя*, или нарратора, как это исчерпывающе показано в «Нарратологии» В. Шмида.

Предметом сюжетологии выступает собственно *сюжет* как система смысловых со- и противопоставлений событий нарратива.

Более того – это окончательно разграничивает предметы нарратологии и сюжетологии – предмет последней может быть *внесобытийный* сюжет как со- и противопоставление *несобытийных факторов*

художественного смыслообразования, таких как описание, деталь, реплика, ремарка, собственно слово, и, наконец, *невербальные* смыслообразующие факторы – визуальный и аудиальный образ, предмет, ситуация как таковая. Таким образом, сюжетология, в отличие от нарратологии, выходит за пределы поля, определенного феноменом события как такового, и ее материалом становится, например, искусство абстрактной живописи или инсталляции.

В свете сказанного обратим особое внимание на феномен лирического сюжета как предмета сюжетологического анализа – он не сопровождается сопутствующим фабульным началом, как в эпическом повествовании. Сюжет в лирике – это динамическая парадигма лирических анарративных событий, увиденных в их смысловых соположениях, взятых по отдельности и всех в совокупности, в итоге.

В классическом родовом формате лирики событийность освобождена от необходимости ее фабульной интерпретации как реконструкции естественных связей между явленными в лирическом произведении событиями. Закон фабульной связности, необходимый для эпического произведения, не распространяется на поэтику лирического текста. Поэтому читатель, освобожденный от задачи и необходимости совершать реконструкцию фабулы, весь свой творческий потенциал прочтения и понимания произведения направляет на поиск смысловой конструкции лирического сюжета как такового.

Основной категориальной производной предмета сюжетологии выступает категория *мотива*, в случае существования событийного субстрата сюжета, и категория *темы* или, точнее, художественного *концента* – в случае формирования внесобытийного сюжета.

Нарратология и сюжетология различаются не только в предметном плане, но и в плане общей методологии.

Методология нарратологии определяется теорией и прагматикой коммуникации: нарратолог изучает повествование о событиях в плане того, кем, кому и как это сообщено, кем, кому и как это рассказано – отсюда такое устойчивое и последовательное внимание нарратологии к инстанциям повествователя и самим субъектным формам повествования.

Методология сюжетологии определяется поэтикой: сюжетолог изучает повествование о событиях в плане того, как это *сложено*, как это *сделано* и почему сложенное и сделанное так приводит к тем или иным конфигурациям художественного смысла, и это, очевидно, дает широкий простор для формальных штудий, с одной стороны, и для литературоведческих исследований интерпретативного характера – с другой.

Для проблематики данной главы важно отметить, что именно сфера сюжетных смыслов выступает благоприятной средой и необходимым условием возникновения и функционирования трансферных механизмов в дискурсах культуры. Смысл как таковой – это, по существу, ментальное событие понимания как встречи субъектов в коммуникативном акте, и за ними – встречи, пересечения, переход одного в другой самих дискурсов, представленный в акте коммуникации высказываниями субъектов. Анализу трансферных дискурсных взаимодействий научной и художественной традиций будут посвящены два следующих раздела главы.

## II. Журнал «Prosōdia» как сюжетное высказывание

Первым предметом нашего внимания выступают дискурсные трансферы и смысловая конструкция литературно-исследовательского журнала «Просодия», который с 2014 г. выходит в Ростове-на-Дону по инициативе главного редактора В.И. Козлова, специалиста в области теории и истории русской лирики, и под эгидой Южного федерального университета. Мы рассмотрим тексты и композицию первого номера журнала [Prosōdia 2014].

В редакторском введении отчетливо звучат три смыслообразующих соположения сюжетогенного характера.

Первое: «*поэзия – университет*». Текст констатирует одинаковые судьбы первого и второго начал и их неизбежное схождение на пространстве воспринимающего сознания молодых интеллектуалов, в связи с чем ставится проблема языка современной поэзии, который университетской молодежи нужно помочь освоить.

Второе соположение: «*поэзия – филология*». Актуальная поэзия нуждается в адекватном и методологически глубоком и точном филологическом прочтении. «Наша базовая ценность – установка на добросовестное прочтение произведения, что особенно важно во времена, когда писателей – временно – больше, чем читателей. Условие ответственного прочтения – понимание историко-литературных сюжетов и жанровых традиций. Это и есть умение читать текст, это то, в чем, как никогда, нуждаются сегодня стихи, это – культура чтения» (с. 3)<sup>1</sup>.

Данное соположение орнаментально подкреплено автоинтерпретацией названия издания: «Само название нашего журнала воплоща-

<sup>1</sup> Здесь и ниже цитируется текст журнала [Prosōdia 2014] с указанием страниц в круглых скобках.

ет изначальную связь поэзии и науки о ней. *Prosōdia* – латинская калька др.-греч. *προσῳδία* – “акцент, ударение”. У русского слова “просодия” два значения: звуковая организация речи, находящая наивысшее воплощение в стихе, а также стихосложение, наука о стихе» (с. 4).

Третье соположение: «опора на отечественную традицию – тенденция заимствования» поэтического опыта из других традиций. Устремленность нового журнала связывается редакцией с надеждой на освоение «собственного – великого – поэтического наследия» (с. 4).

Ключевым текстом раздела «Поэзия», на наш взгляд, выступает стихотворение Олеси Николаевой «Сага», являющееся лирическим осмыслением экзистенциального феномена пошлости человеческой судьбы в аспектах ее ограниченной и предсказуемой изменчивости. «...Пять лет проходит», «...Десять лет проходит», «...Двадцать лет проходит» – ничего не изменяется в смысле жизни героя, меняются только житейские варианты и версии его судьбы, с тем чтобы снова не осуществиться.

Многовариантность, сценарность, стандартность – вот те смыслы, которые входят в сюжет журнала как точки одновременно притяжения и последующего принципиального отталкивания. Журнал – вариант *нестандартного* сценария дискурсивного события в сфере современной поэзии и ее актуального осмысления и изучения.

Сюжетно продуктивен раздел «Интермедия».

Интермедия-1 – фотографическая. Первые значения самого термина подчеркивают скрытый комизм презентации петербургского фотографа Михаила Малышева, представленного во вводной заметке в шутовской шапке с ушами и усами. Сами фотопортреты также содержат комическую нотку. Это и отражение тяжеловатого утра на лице одного из портретных персонажей с прикрытым правым глазом, и следующий за ним портрет девушки – снова с закрытым волосами глазом, но уже левым. Это и портрет старика одновременно анфас и в профиль – и снова в центре внимания глаз, в профиле левый, одновременно анфас – правый, и портрет курящего как бы вообще без глаз, без взгляда, потому что задуманное нечеткое изображение еще и подернуто табачным дымом. Это, наконец, и финальный портрет девушки с лицом в пол-оборота, и вновь один глаз скрыт в тени, а второй полуприкрыт и не явлен, по сравнению с линиями волос, носа, губ и в целом овала лица. Но это не смешное комическое, а серьезное, даже горькое комическое, такое же горькое, каким неожиданно горьким может быть темный шоколад.

Интермедия-2 – живописная. Журнал, как сказано в резюме, публикует несколько иллюстраций «к посмертному сборнику стихов Ю[рия] А[ндреевича] Жданова (1919–2006), крупного российского ученого-хи-

мика, ректора Ростовского госуниверситета в 1957–1988 годы» (с. 75). В фокусе работ художника один и тот же диалогический образ – человек и звездное небо (в четвертой – зверь, волк и звездное небо, но это сцепление не нарушает, а лишь подчеркивает общую логику образности автора, сопологающего земное живое и неземное звездное, вечное и недостижимое).

Интермедия-3 посвящена графическим работам Леты Югай. В смысловом центре цикла находится характерный образ Гиппокампуса – крылатого коня с рыбьим хвостом. Возникает нехитрое искушение интерпретатора соотнести этот образ с поэзией и стихией полета морской волны как всепроникающей сущности. В то же время синтетичная фактура мифического животного, соединяющего воздух, воду и землю, как нельзя лучше отвечает идее синтеза поэтического творчества, живого отклика на него и рассудительного итога, заложенного в основу дискурсной конструкции самого журнала.

Замечательные стихи белорусского поэта Андрея Хадановича в переводах Игоря Белова, как хороший джин с тоником, подготавливают читателя в разделе «Переводы» к восприятию подборки стихотворений современных грузинских поэтов – «выборки из только что вышедшей в издательстве ОГИ двуязычной Антологии новой грузинской поэзии (М.: ОГИ, 2014)», как указано в аннотации.

В рамках нашей интерпретации журнала как сюжета, исподволь сопровождаемого комическими смыслами, мы бы выделили – на фоне тяжело-серьезной тональности грузинской подборки в целом – стихотворение Шоты Иаташвили «Грузинский кофе» (перевод Владимира Саришвили), заканчивающееся тезисами, против которых не поспоришь: «...Грузинского кофе не сыщешь – как ни был бы прыток, грузинский фасованный чай – ароматный напиток».

Чрезвычайно важен для понимания смысловой палитры журнала концепт, развернутый в разделе «Отклики» в рецензии на книгу Виталия Пуханова и написанный, что характерно, главным редактором журнала В.И. Козловым, – это концепт верлибра как проникающего внутрь человеческой экзистенции текста: «...у нас прижился, скорее, тот извод верлибра, который тяготеет к сюрреалистической миниатюре. <...> Но есть и другая традиция, основанная не столько на парадоксальной емкости картинки, сколько на предельной психологической точности наблюдений за человеком. Верлибр первого типа тяготеет к внешнему миру – даже человека он превращает в элемент пейзажа. Верлибр второго типа, напротив, собирает образ человека из всего, до чего может дотянуться. Первый ближе к афористичной антологической

надписи, за строками которой мы видим глядящего издалека автора, второй – ближе к рассуждению...» (с. 51–52).

Представляется, что одна из ключевых стратегий построения сюжетного высказывания самого журнала «Просодия» метафорически сопряжена с данным концептом. Журнал собирает образ поэзии «из всего, до чего может дотянуться» и не через «афористичное» название, как то делает поверхностная критика, а через «рассуждение».

В силлабо-тонических текстах В. Пуханова автор рецензии видит иронию и даже ерничество и констатирует несочетаемость этого версификационного модуса с сокровенными интенциями пухановского верлибра – и это тоже смысловой ключ к пониманию самого журнала. Журнал серьезен и проникновенен к уму читателя, хотя и позволяет себе в интермедиях затрагивать комическое, но, как мы отмечали выше, комическое в его серьезном модусе.

Еще одна рецензия, на наш взгляд, имеет значение для понимания смысловой полифонии журнала – это развернутый отклик на издание произведений С.Е. Нельдихена «Органное многоголосие». Органное многоголосие – это неотъемлемая черта и самого журнала, в котором на равных правах звучат голоса поэтов, и их критиков, и подытоживающих их диалоги исследователей.

Этот текст важен еще и как открывающий серию размышлений о художественном творчестве ушедших авторов и эпох, самых разных, близких и далеких. Таковы рецензии на книгу «Поэтический мир прерафаэлитов. Новые переводы» и на сборник очерков и эссе Евгения Головина «Где сталкиваются миражи».

Любопытно, что редактор присваивает рецензиям разных авторов свои собственные названия, выводя тем самым данные тексты из стандартного жанрового ряда в смысловую метаструктуру, имеющую непосредственное отношение к нашей проблеме. Это целенаправленное движение в сторону построения диалогического коммуникативного пространства журнала. Каждый редакторский метатекст включает в себе потенциальное сюжетное движение смысла: «Раздвоение Пуханова», «Седьмая часть света» (о книге стихов Ирины Ермаковой «Седьмая»), «Десятая муза Сергея Нельдихена», «Бунт архаистов» (об антологии поэтов-прерафаэлитов), «Диалог переводчика с идеологией» (о Евгении Головине), «Идеальный поэт» (о книге Б.М. Гаспарова «Борис Пастернак: по ту сторону поэтики (Философия. Музыка. Быт)»), «Окуджава в борьбе со своей репутацией».

Раздел «Штудии» открывается краеугольной для журнала статьей В.И. Козлова о творчестве Евгения Рейна. В этом проникновенном и

по-живому интересном тексте есть два опорных концепта, отвечающих, на наш взгляд, сюжетной архитектонике самого журнала: «Творчество Рейна не столько путь, сколько единый сгусток, который сам автор в названиях пытается схватить с разных сторон» (с. 83); «Сюжетика же, ее реконструкция, позволяет увидеть, насколько всё взаимосвязано – или бессвязно – в тексте или в творчестве поэта. И если бессвязно, то этого не скрыть, а если взаимосвязано, то появляется возможность увидеть происхождение уникальных черт авторского языка» (с. 84–85).

Журнал, если воспользоваться словами автора статьи, – это также «единый сгусток», в котором все «взаимосвязано», и это позволяет реконструировать его «сюжетiku».

Аргументом, окончательно выделяющим журнал в разряд неординарных дискурсных событий современной литературно-критической периодики, становится публикуемая в завершение текстового ряда поэма Чьело Д'Алькамо «Прения» в переводе современного российского поэта и переводчика Александра Триандафилиди, что окончательно свидетельствует о фундаментальном поэтологическом характере нового периодического издания.

Журнал «Prosōdia», таким образом, заявляет себя как журнал о поэзии вообще и в целом, что предполагает его дальнейшее антологическое и одновременно аналитическое развитие. И онтологическое также.

### **III. «Воображаемая словесность» Ю.С. Степанова как стратегия конвергенции научного и художественного дискурсов**

Последняя книга Ю.С. Степанова «Мыслящий тростник. Книга о “Воображаемой словесности”» (Калуга, 2010) представляет собой отчаянную и одновременно удавшуюся и поэтому уникальную попытку выхода авторского голоса за рамки строго размеренного научного дискурса. Сделаем предположение, что в рамках такого дискурса автору, подводившему итоги всей жизни, было уже не то чтобы тесно, но мало-смысленно.

Дискурс любой гуманитарной научной дисциплины, сколько бы ни была последняя внешне свободной в силу своей «неточности» (в противоположность «точным» наукам) – будь то история, литературоведение, искусствоведение, отчасти лингвистика, – так или иначе все равно ограничивает, замыкает волю автора, как ограничивает движения тела одежда. Научный дискурс может быть не строг, но он обязательно плотен и

тяжел, как плотна и тяжела шинель, и в этом все дело. В научном тексте нельзя быть откровенно легкомысленным, нельзя смеяться или плакать, нельзя занозить себя воспоминаниями и обращаться к умершему или несуществующему. Много чего нельзя. Научный дискурс – это дисциплинарное пространство, как сказали бы последователи М. Фуко.

Последовательная реализация двух принципов, несвойственных конструкции научного дискурса, помогает Ю.С. Степанову преодолеть его рамки. Первый принцип можно назвать расподоблением, разведением инстанций автора и героя.

Преодоление дисциплинарного формата дискурса невозможно вне инициативного начала личности. Поэтому книга Ю.С. Степанова глубоко личностна. Она предельно откровенна, вычерпывает и предъявляет читателю глубины авторского «я». Но тут есть одна значимая и закономерная непростота, хотя и вполне очевидная с позиции теоретической поэтики. Всякий лично ориентированный текст, будь то мемуары, или письма, или, тем более, некое лирическое целое, *отчуждает* реальную и собственную личность биографического лица до статуса *автора*. «Воображаемая словесность, – утверждает Ю.С. Степанов, – ... это некоторый собственный опыт автора» (С. 3). Об этом многие писали (и в первую очередь М.М. Бахтин), и это теперь, в принципе, является общим местом теории литературного творчества. Книга Ю.С. Степанова не исключает, а только подтверждает общее правило. Механизм отчуждения авторского «я» от биографической личности неизбежен, закономерен. Иначе просто не получится законченного, завершенного произведения. А перед нами именно *произведение*.

Но одновременно происходит противоположное: биографическое лицо отчуждается до статуса *героя*. Поэтому в книге Ю.С. Степанова инстанция «я» находится в процессе сложного и динамического взаимодействия трех указанных выше начал – собственно биографического «я», авторского «я» и «я» героя, неизбежного, своего собственного героя, которого каждый из нас в какой-то мере, полной или неполной, вынашивает в себе.

Вот один очень показательный пример. В главе «Под знаком "Экзистенциала"» есть небольшой раздел 11, озаглавленный так: «Под влиянием Л. Толстого "Записки человека, знающего, что умирает"». Ю. Степанов (личный опыт)». Ввиду краткости этого текста приведем его полностью:

«Примером для текста в "Воображаемой словесности" для меня служит Лев Толстой, – то, что опубликовано в нашем разделе выше (из «Записок сумасшедшего» Л.Н. Толстого – *И.С.*).

В моем случае реально это было так: у меня закружилась голова, и я стал плохо ориентироваться, говорят даже, что я упал со страшным грохотом, будто бы даже это было похоже на падение металлических музейных доспехов. К счастью или к несчастью, наше место находится в Москве, около Исторического музея, и врачи воспользовались для описания моего состояния известным им термином – падение доспехов. Короче, меня доставили в одну знаменитую (и очень хорошую) больницу, и вот я здесь как ”доставленный по скорой помощи” с ”грохотом упавший”. Я понял, что ”это я умираю”.

Но для существа книги ”О воображаемой Словесности” важно не это, а то, что я понял, что значит умирать. А теперь посмотрите, как в ”Словесности” понял это Марсель Пруст» (С. 57)<sup>1</sup>.

Данный текст удивительно точно демонстрирует отслоение феномена «я» от его прямой биографической субстанции и превращение его, с одной стороны, в героя, пусть и автобиографического, а с другой стороны, облечение его высшим и отстраняющим статусом автора.

Вот позиция *героя* характерно ставится в кавычки, которые отчетливо оттеняют ее, выделяют в общем дискурсе книги: «Короче, меня доставили в одну знаменитую (и очень хорошую) больницу, и вот я здесь как ”доставленный по скорой помощи” с ”грохотом упавший”. Я понял, что ”это я умираю”». А вот проявленная в тексте позиция *автора*: «Примером для текста в ”Воображаемой словесности” для меня служит Лев Толстой, – то, что опубликовано в нашем разделе выше»; «А теперь посмотрите, как в ”Словесности” понял это Марсель Пруст».

Стремление выскользнуть, выбраться из кожи, из чешуи биографического (автобиографического) бытия свойственно авторскому дискурсу на протяжении всей книги. Она и начинается своего рода «декларацией независимости» авторского «я» от несвободы биографизма:

«...мне сказали:

– Вы написали, что не родились от родителей. Но это документ, “Автобиография”!

– Не написал, а сказал в докладе, это была цитата. Из великого автора.

– Но Вы не великий автор.

– Нет.

– Значит, все-таки озвучили!

– Да, виноват, озвучил. И не говорите, пожалуйста, так громко, я не глухой.

<sup>1</sup> Здесь и далее текст книги цитируется по изданию: [Степанов 2010], с указанием страниц в круглых скобках.

– Но все-таки напишите объяснение. Можно своими словами. Кто Ваши родители? От кого Вы родились?

– От кого-то в ментальном мире» (С. 5).

Герой Ю.С. Степанова родился «от кого-то в ментальном мире» – и это мир значил для него, а равно и для самого автора несравненно больше мира реально-биографического.

Обратим внимание на то, что инстанция автора также эксплицируется в тексте и тем самым оказывается неизбежно соотносительной с инстанцией героя. Сопутствует этому своего рода эффект самоотражения, что-то вроде двух зеркал, поставленных друг против друга: «В этой книге кроме "Категорий", может быть, существует что-то, что принадлежит тексту (и сознанию Автора), внутри чего и действует сам Автор со своим текстом» (С. 9). И следом – пересечение и смыкание автора с героем:

«...умножения сущностей удалось избежать. Три наших категории – это не так много. У Аристотеля было десять! (это еще говорит автор – И.С.).

Отличие моего подхода только в том, чем я окружен и пропитан. А пропитан я Москвой и ее окрестностями (В меньшей степени Парижем) <...> Мне и моим друзьям приходится иной раз (не часто) ночевать под мостом (кажется, в поэзии это уже традиция, Блок бродил под мостами, особенно в дождь и слякоть» (С. 10) – это уже слова не автора, а его героя.

Второй принцип, выводящий произведение Ю.С. Степанова за пределы научного дискурса, – это принцип *сюжетной* организации текста. Конечно же, этот принцип сопряжен с первым, и более того, является необходимым условием его осуществления.

В первом разделе главы мы определяли основной принцип сюжетного построения как принцип смыслового со- и противоположения различных аспектов произведения. В системе эпического произведения это, в первую очередь, будут нарративные презентации событий, составляющих повествование. В системе лирического произведения это, как правило, стихотворные синтагмы и вложенные в них парадигмальные метафоры. В книге Ю.С. Степанова это, как правило, отдельные тексты малой формы, вполне самостоятельные, самодостаточные, связанные чаще не логическим движением мысли, а непрямым ассоциативным ходом воспоминаний и переживаний. Как замечает сам автор: «...наша книга не поддается нормальному разделению на главы» (С. 38). Это зарисовки, словно бы записи из несуществующего дневника, напоминания самому себе и только потом уже – всем иным. Это

сюжетный, а не логико-тематический текст. Это текст, по определению автора, «воображаемой словесности», главная черта которой «не игра воображения, а полная свобода: “Что хочу и как хочу, – так и пишу. “Общепринято” – “не общепринято”, – не важно» (С. 3). Важно другое – свобода сочленения смыслов, свобода сюжетопостроения.

Так, в разделе «Под знаком “Экзистенциала”» сюжетная парадигма начинает строиться с текста о летчике Викторе Талалихине. Текст носит название «“Экзистенциал с человеческим лицом”. Виктор Талалихин. 1941 год. Геройство и знак беды». Последнее словосочетание особенно важно. Нам открывается сюжет существования, и открывают его именно эти смыслы – геройства и беды. Герой Ю.С. Степанова сталкивается с этими смыслами в своем московском военном детстве: «Мы, москвичи, даже все московские мальчишки тех лет знали его (Талалихина – *И.С.*) как “своего героя” – он жил в коренной Москве, прямо недалеко от наших дворов» (С. 19). Эстетика «беды», «бедового» военного летчика-героя захватывала московского мальчишку, а умудренный жизнью автор связывал этот смысл с топиной русских «бедовых» мест: «Город... (откуда приехал Талалихин – *И.С.*) был “бедовый” по своему прошлому: прежде на месте Вольска была слобода Малыковка, основанная “пришлыми людьми” (попцовой вольницей). Во время пугачевщины вся встала на сторону самозванца» (С. 19). Смысловый вектор «бедовости» сопровождал героя Ю.С. Степанова с юных лет, поэтому и Талалихин с его «бедовым» подвигом запал в душу мальчишке. Сама «Воображаемая словесность», если хотите, книга также совершенно бедовая.

В конструировании сюжета очень важны синтагматические связи и отношения, несмотря на то, что сюжет как парадигма смыслов в конечном счете преодолевает синтагматику. Но оттолкнуться ведь нужно от чего-то! От сопоставления – к противопоставлению. От соседства – к родству или неравенству. Сам Ю.С. Степанов смыслопорождающую роль синтагматики текста определяет в формуле «сплошности текста»: «Сплошность не означает тождественности всех частей текста. Что после чего, – последовательность разделяет и играет роль» (С. 83).

В книге Ю.С. Степанова смыслы «беда» и «бедовое» граничат со смыслами «смерти» («Скончалась Софья Владимировна Герье...») и застарелости («Это был деревянный старинный дом... Все было пропитано запахом сухого дерева и лета. Возможно, они где-то тут держали еще с прошлого года бессмертник или пижму», а в пустой комнате «бесшумно передвигались какие-то старухи в черных платьях до пят»). И венчает эту конструкцию «огромный купеческого образца деревянный

сундук», такой, на которых «из-за нехватки ”жилплощади” в Москве ... поселяли женщин (”прислугу”) на кухне».

Сундук был вдвойне непростой. Во-первых, на дне его «лежал слой явно старинных книг». Снова юного героя – с его «румяной физиономией» и розовыми щечками» – совершенно необоснованно и абсурдно тащит, влечет к себе старость! Во-вторых, на дне сундука прячется смерть и невозвратность: «...Но если у вас тут будут девушки, – будьте осторожны, не давайте им перегибаться внутрь сундука. Две уже так перекинулись и вниз головой!» (С. 22–23). Однако это смешной итог, в своем сюжете похожий на смерть хармсовских старух, вываливавшихся из окон, поэтому итог ненастоящий.

Удивительно, но смыслы несопрягаемых «юности» и «старости» автор соединяет в образе своего учителя Д.Е. Михальчи: «...Так он и остался в моей памяти как символ ”вечной молодости-старости”, стоящим возле калитки филологического факультета» (С. 24).

Следующий фрагмент, наполненный воспоминаниями о Н.Н. Мельниковой и ее библиотечном мире, вновь актуализирует предельно значимое для автора, как мы уже начинаем понимать, со- и противоположение смыслов «старого», «прежнего» и «нового», «юного», которое представляет герой. Теперь все, в том числе и многие филологи говорят «пергамент» – а раньше говорили «пергамен». И герою книги, уже пожилому профессору и академику, в лицо «хрипло хохочет» редакторша, упрекая его в плохом зрении – ведь он «без конца пропускает в слове ”пергамент” и производном букву “т”» (С. 28). Мир «пергаменов» и других рукописей и редких книг (тоже, разумеется, «древних и старинных») сопровождает Наталья Николаевна Мельникова, «более чем пожилая, уже старая женщина» (С. 27), которая угощает юных студентов «смоквой», «особым угощением для разных приятных домашних дел». И снова – для пожилых, старых: «Когда взрослые или пожилые люди (бабушки особенно) приходили в гости к детям, то ни конфет, ни жидкого варенья (на блюдечках) давать им не полагалось. Смокву – пожалуйста» (С. 29).

Мы начинаем понимать, что автор пытается выразить свой собственный глубокий, экзистенциальный (не зря же под знаком «экзистенциала») конфликт. Это конфликт воспоминаний и живущего в них юного героя, только вступающего в мир взрослой жизни, науки, знания, людей, и сопряженного с окончательной авторской позицией героя, пришедшего к итогу своей жизни. Этим конфликтом, как лучом, отраженным кристаллом, пронизаны страницы книги и ее смыслы. Это ее первый сюжет.

Второй сюжет зарождается там же, и автор декларирует его смысл прямо, со ссылкой на книгу Пророка Исайи: это жизнь как «столкновение... материальных и духовных явлений» (С. 31). В следующей краткой главке о Ю.Б. Виппере этот смысл, эта идея получает свое развитие как столкновение духа и материи – на грани опасности для героя потерять свободу, быть арестованным со студенческой скамьи за критические выкрики в адрес поездки на «овощную базу» вместо лекции профессора Виппера.

Девятый очерк в разделе «Под знаком “Экзистенциала”», пожалуй, является центральным для этого раздела, потому что идея экзистенции снимает противоположение духовного и материального, и это глубоко явлено в буддизме, который Ю.С. Степанов тоже вспоминает в связи с именами Толстого и Бунина.

Ключевым смыслом третьего сюжета книги Ю.С. Степанова, как нам представляется, выступает именно экзистенциальная идея «подлинного существования», или «истории внутреннего развития личности как постоянного “выбора самого себя”» (С. 44). В этой идее сходятся вместе все уже проявившиеся в книге смыслы двух первых сюжетов: «бедового существования на грани смерти», воспринятого незамутненным сознанием юного героя, и «противоположения, конфликта духовного и материального», пережитого все тем же юным существованием, пережитого экзистенциально. Но теперь получается, что ради «подлинного существования» нужно принять и претерпеть материальное, даже и в его отвратительных «скорлупчатых» формах, и в виде какого-то «человека в гимнастерке», который тащил, схватив за ремень, героя Ю.С. Степанова для разбирательства, чтобы показать ему и «Хвэдру, и лахудру» (С. 33).

То, что роднит этот третий сюжет с двумя предыдущими, идея существования на грани смерти. Экзистенцию как пограничное существование, как существование в окончательном смысле нельзя ощутить вне предела смерти как потери этого смысла и окончания существования вообще. И автор нашей книги предельно точно и полно сталкивает в этой пограничной позиции художественные взгляды «двух Великих» – Толстого и Достоевского, декларируя, что в их пересечении и есть «общее европейского экзистенциализма той поры» (С. 36).

Обратимся от сюжета к его герою. Каким-то тонким, неосязаемым для ума образом герой степановской книги неожиданно, одновременно приходит к заключительной стадии своего земного существования. Это уже он, а не юный студент филологического факультета приводит переведенные им же слова М. Пруста: «Но вот теперь, когда ... смерть стала

мне безразлична, – я снова стал бояться ее, правда в другой форме, – не из-за себя, а <из-за> своей книги, для которой – по крайней мере некоторое время – необходимо было пожить» (С. 58). И он, уже умудренный жизнью, а не юный студент, вдруг оказывается в центре исторического существования, в центре экзистенции, и это ему, окончательному герою, сумасшедшая старуха-нищенка говорит на Бородинском поле:

«– Ты что это, парень, бродишь ни свет ни заря! Сам что ли раненый? Или ищешь, что не терял?

– Ищу.

– Да не там ищешь. Это тебе в Военкомате скажут, где. А тут у нас *одна тысяча восемьсот двенадцатый год!*» (С. 59).

Во втором разделе, озаглавленном «Под знаком “Логоса”» автор, как сначала кажется, на время оставляет стратегию сюжетопостроения, сосредоточившись на чистых рассуждениях о категории Логоса и традициях ее осмысления в русской философии. Вместе с тем в его рассуждениях мелькает очень важное замечание об иктусе (икте) как стиховедческом термине, под которым понимается сопряжение ритмического (ударного) и одновременно смыслового акцента. Это «направление акцента, острие размышления; как говорят, желая отобразить ритмику стиха – его иктус» (С. 69).

Три основных «иктуса» книги Ю.С. Степанова – это существование, мысль и образ. Экзистенция, логос, изос. Если хотите, это и архитекtonика метасюжета книги, метасюжета, включающего пронзительную, отчаянную, «бедовую» сюжеттику первой части книги.

Впрочем, завершающая раздел история Симы Маркиша возвращает сюжетное начало в дискурс книги – и даже не столько своим грустнейшим нарративом, сколько застывшим описательным образом домашних теплых деревянных полов в противопоставлении тюремным ледяным железным полам, которые даже не моют, а только «обливают напором холодной воды из брандспойта» (С. 89). «У меня пол теплый, – говорил Сима Маркиш, – Могу лежать на полу и читать или думать. На железном полу не полежишь!» (С. 90). Дискурс Симы Маркиша обращается в логос, и этому свидетельствуют боги, позволившие Симе *так* читать Гомера. А домашнее дерево дает силы логосу Маркиша (Ю.С. Степанов уточняет: «Логос и свобода воли – это две стороны одного и того же»). Железо отрицает свободу. На железном – удел только быть казненным, а после твою кровь смоят водой из брандспойта.

Раздел «Под знаком “Изоса”» открывается знаменательным авторским определением этой категории: Изос – «значит просто “равный”, “подобный”, “такой же как”». “Изос” – та сфера духа, которая говорит о

необходимости общения, о невозможности общения вне уподобления общающихся друг другу» (С. 100).

Ю.С. Степанов открывает раздел фундаментальным теоретическим утверждением о том, что искусство формирует вторую, или другую, реальность и устанавливает отношения подобия между первой реальностью и второй, поэтому искусство и является «изосом». Но это диалогическое уподобление, а значит, одновременно в необходимой мере и расподобление. Однако *уподобление*, которое в то же время *расподобление*, это те же наши *со-* и *противопоставление* как конструктивная основа сюжетосложения. Получается, что в ключевом степановском концепте искусства – изосе – имманентно заложена и категория сюжетности как поэтики смыслообразования, как художественного, так и нехудожественного, но обнаруживающего смысловой потенциал художественного.

Вот еще одно рассуждение автора, совсем иное, но равно подводящее читателя к идее сюжетности: «Словесность это некоторый процесс, хотя бы и на сравнительно небольшом отрезке, поскольку этот процесс ветвится, пересекается внутри себя» (С. 100). Точки ветвления и пересечения текста – это и есть точки сюжетного смыслопорождения.

Автор видит в этом дискурсивную трудность, сложность. «Мы, – пишет Ю.С. Степанов, – изымаем, “вырезаем” какой-либо кусок соответствующего текста, превращаем его на данный момент в новую небольшую статью, меньшего объема, чем объем основного раздела и рассматриваем его насколько потребуется вплоть до деталей, после чего возвращаемся к “стволовой” линии» (С. 100). На самом деле автор только усиливает, развивает плотность и мощь сюжета, поскольку уже своей, авторской, волей распределяет пропорции текста и саму меру распределения смысла в дискурсе произведения. Следующая цитата, на наш взгляд, также отвечает осознанию автором принципа сюжетопостроения как принципа интуитивно-смыслового («естественного» для автора) *со-* и *противоположения изотем*: «Мы подчеркиваем: в логической мотивировке нет необходимости. Необходима естественная последовательность текста. Одна тема – все-таки в каком-то смысле доминирующая, притягивает, вбирает другие, меньшие темы» (С. 106).

В десятом параграфе третьего раздела автор окончательно и полно раскрывает принцип сюжетной поэтики (не побоимся этого слова) своей книги. Вот он цитирует Н.М. Махова, который в работе «Скульптура Ф.С. Голубковой. Онтология и мистика художественного метода. Новые аспекты изучения времени и творчества» (Новое время. М., 2000) пишет о Филонове, который «первым ввел в русскую традицию модернизма

монтажно-симультанную схему построения», – и добавляет самую существенную деталь: «Так строится и наш этот текст о “Воображаемой словесности”» (С. 111). Ниже Ю.С. Степанов проясняет свой подход, снова обращаясь к творчеству Филонова: «Филонов дробит зрительное поле на части, каждая часть отграничена (и даже обведена) кусочком, эллипсом, контуром неправильной формы как-попало – лишь бы *отдельно* от других соседних. Но они именно *соседние*, контактирующие, соприкасающиеся, не растворенные, но зато хорошо видны выделенные – отдельные! – части...» (С. 111).

В идее «монтажно-симультанного принципа» построения текста заключено конструктивное противоречие, т. е. такое, которое движет, развивает текст. Монтаж всегда *осознан* автором, и вместе с тем он симультанен, интуитивно осязаем авторским – уже не сознанием, а его творческим гением, творческим сердцебиением и *порывом* – в мандельштамовском смысле этого слова (заметим, что концепту «порывообразование» О. Мандельштама Ю.С. Степанов посвящает отдельный параграф на с. 108 книги). И далее: «Прошли те времена, когда пишущий автор “знал все” о своем герое и о своем “тексте”. Здесь он “не знает об этом ничего”» (С. 112). В этом высказывании вновь заключена мысль о сюжете книги – сюжете, который строится, в известной мере, спонтанно, по принципу «монтажно-симультанного построения».

Начав в практике текста своей книги с *дифференциации* начал научно-го и художественного, в конечном итоге Ю.С. Степанов приходит к идее нового *синтеза* дискурсов: воображаемая словесность, или «новая текстуальность», по мысли автора, это не только «”сделанное словами”, языком, речью, но вообще *сделанное как текст*, – не только словесный, но и изобразительный, скульптурный, музыкальный, доложенный в виде научного доклада, даже публичное столкновение на какой-нибудь конференции, на митинге, пусть как порыв к этому (вспомним О. Мандельштама: ”нужно не формообразование, а порывообразование”)» (С. 117). Очень важна здесь вновь повторенная отсылка к мысли Мандельштама – только в «порыве», т. е. в творческой энергии сюжета возможна дивергенция различных и несводимых друг к другу дискурсивных начал и смыслов.

## Литература

Лотман Ю.М. Автокоммуникация: «Я» и «Другой» (О двух моделях коммуникации в системе культуры) // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000.

*Пинский Л.* Магистральный сюжет. М., 1989.

*Степанов Ю.С.* Мыслящий тростник. Книга о «Воображаемой словесности». Калуга, 2010.

*Тамарченко Н.Д.* Теоретическая поэтика: понятия и определения. М., 1999.

*Шмид В.* Нарратология. М., 2003.

*Якобсон Р.О.* Два аспекта языка и два типа афатических нарушений // Теория метафоры. М., 1990.

*Prosōdia.* 2014. № 1.

## глава 3.4. Устное vs. письменное: взаимодействие дискурсов и подходы к его изучению

Т.Е. Янко, А.Л. Полян

### 1. Анализ звучащей речи: пути эволюции, теория и эмпирия

Настоящий раздел главы посвящен эволюции и современному состоянию исследований в области анализа устной речи. Наша задача – показать, как современные компьютерные технологии анализа устной речи и расширение эмпирической базы лингвистики влияют на верификацию и развитие идей и передачу лингвистического знания от поколения к поколению исследователей. Другая наша задача – рассмотреть проблему озвучивания (чтения) письменного текста как феномен преобразования смысла из одной формы существования дискурса – вторичной – в другую форму существования – первичную, звучащую.

В фокусе анализа устной речи в данном разделе находится, прежде всего, интонация предложения и связного текста и стоящая за интонацией коммуникативная структура предложения. Мы исходим из того, что в устной речи интонация служит основным средством выражения коммуникативных значений.

Исследования в области интонации приводят к пониманию того, насколько абстрактные значения такие, как иллюкативная сила, выбор одного элемента из множества возможных, указание на то, что текущий речевой акт не последний в структуре дискурса, и другие, выражает интонация. Абстрактный характер значений, имплицитные средства их выражения, а также то, что интонация – это языковой уровень, интроспекция по поводу которого у носителя языка, даже у лингвиста, развита крайне слабо, ставят перед исследователем особые методологические и теоретические задачи. Одна из задач – это верификация перцептивных гипотез исследователя относительно интонационных параметров звучащей речи, другая важная задача – создание метаязыка описания коммуникативных значений, которые выражаются интонацией.

Решение первой задачи, прежде всего, видится в использовании современных компьютерных систем анализа устной речи – Speech Analyzer ([www.sil.org/computing/sa/index.htm](http://www.sil.org/computing/sa/index.htm)) и Praat (<http://www.fon.hum.uva>).

*nl/pmaat/download\_win.html*), которые позволяют инструментально проверять слуховые впечатления исследователя. Кроме того, важным средством верификации гипотез, которая традиционно производилась методом интроспекции и слухового анализа, а также источником материала для анализа интонации и других параметров звучащей речи служат разрабатываемые в настоящее время машинные корпуса устной речи. Создание машинных корпусов расширяет эмпирическую базу исследования, что позволяет достигнуть не только большей точности исследования, но и полноты. Для верификации гипотез об инвентаре релевантных акцентов в языках и способах выбора словоформ-носителей акцентных пиков и других параметрах служат и создающиеся в настоящее время системы интонационного синтеза, см., например, [Лобанов, Цирульник: 2008] и цитируемую там литературу, а также [Лобанов 2015].

Что касается второй задачи, то можно констатировать, что в теории коммуникативного и интонационного анализа получены следующие основные результаты.

В работах И.И. Ковтуновой [Ковтунова 1976] предложено и в работах Е.В. Падучевой [Падучева 1984, 2010, 2015] развито понятие *коммуникативной парадигмы предложения*, которое позволяет системно описывать большие классы предложений с одинаковой лексико-синтаксической, но различной линейно-интонационной структурой, включая тот вклад, который вносят в семантическую структуру предложения и текста линейно-интонационные преобразования (трансформации) коммуникативных структур, см. также [Циммерлинг 2008]; [Янко 2001: 137–230]. Предложения с одинаковой лексико-синтаксической, но различной линейно-интонационной и коммуникативной структурой – это члены одной коммуникативной парадигмы предложения. Линейно-интонационные трансформации осуществляют перевод базового, или нейтрального, члена коммуникативной парадигмы, у которого вклад коммуникативной структуры в семантическую минимальный, к членам парадигмы с более богатой семантикой. Понятие коммуникативной парадигмы лежит в основе трансформационной модели описания коммуникативных структур.

Другая модель анализа коммуникативной структуры, *композиционная*, которая исторически сложилась позже трансформационной, основана на анализе системных комбинаций коммуникативных значений. Композиционный подход предполагает, что базовые значения темы и ремы комбинируются со значениями контраста и эмпазы с образованиями контрастных и эмпатических тем и рем [Янко 2001: 19–136].

Еще одной интересной проблемой анализа интонации, решенной в последние годы и имевшей долгую историю обсуждения в литературе,

стал анализ принципов выбора словоформы-носителя акцентного пика в коммуникативной составляющей: теме или реме. Решение этой задачи эксплицирует одну из основных языковых техник наложения интонационного контура на звучащий сегментный материал. Выбор слова-носителя акцентного пика не случаен. Выбором акцентоносителя управляют дискурсивные, лексические и синтаксические факторы. Действие этих факторов алгоритмизуемо ([Янко 2008: 38–59]), что может иметь прикладное применение при создании систем интонационного синтеза.

В подразделах ниже обсуждаются проблемы, рассмотренные во введении. Раздел 1.1 иллюстрирует основные понятия теории коммуникативной структуры в терминах композиционного и трансформационного подходов и интонационные средства выражения коммуникативных значений, включая комбинации значений и трансформации исходных структур. В разделе 1.2 обсуждаются основные теоретические проблемы плана содержания коммуникативной структуры предложения: тем и рем. Выдвигается положение о том, что основной функцией ремы является формирование иллокутивной силы сообщения. Другие функции тем и рем такие, как выражение данного и нового, известного слушающему и неизвестного, важного и менее важного, логической посылки и логического заключения, представляют собой вторичные способы использования тем и рем в процессе порождения предложения и текста. В разделе 1.3 показано, что с теоретической и методологической точек зрения следует различать композиционный и трансформационный методы анализа коммуникативных структур. Композиционный и трансформационный подходы отражают разные языковые механизмы формирования коммуникативных значений. Эти средства взаимно дополняют друг друга и не сводимы одно к другому. Раздел 1.4 посвящен проблеме, которая долгое время оставалась спорной в теории коммуникативной структуры и интонации: выбору носителя акцентного пика в коммуникативной составляющей – теме или реме. В разделе 1.5 рассматривается конкретная задача уточнения гипотез, высказанных в конце XX в., при помощи современных компьютерных методов анализа интонации и использования корпусных данных звучащей речи. В разделе 1.6. дается краткий обзор национальных корпусов звучащей речи, разработанных в недавнее время.

### *1.1. Коммуникативные структуры и средства их выражения*

Для введения в рассмотрение основных коммуникативных значений, интонационных средств их выражения, комбинаций значений и линейно-интонационных трансформаций некоторые проблемы ана-

лиза коммуникативной структуры и интонации иллюстрируются ниже примерами. Материалом для иллюстрации в данном разделе послужил звучащий текст «Кавказского пленника» Л. Толстого в исполнении актера К. Радцига. Обратимся к примеру (1).

(1) *Хозяйская дочь Динка увидала куклу.*

В предложении (1) выделяется тема *хозяйская дочь Динка* и рема *увидала куклу*. Акцентоноситель темы – словоформа *Динка*, акцентоноситель ремы – словоформа *куклу*. Соответственно, словоформа *Динка* несет восходящий акцент типа ИК-3, по Е.А. Брызгуновой [Русская грамматика 1982: 97–122]: в данном случае это подъем на ударном слоге словоформы *Динка* плюс спад частоты тона на заударном слоге. На акцентоносителе ремы – словоформе *куклу* фиксируется пологое падение частоты в пределах ударного слога, которое продолжается на заударном слоге. Это ИК-1, по Е.А. Брызгуновой [Русская грамматика 1982: 97–122].

Подъем типа ИК-3 на словорме *Динка* существенно отличается от другого типа подъема, представленного начальным глаголом *выскочил* в примере (2):

(2) *Выскочил из этого дома черноватый татарин.*

Подъем на ударном слоге словоформы *выскочил* более пологий, чем на ударном слоге акцентоносителя темы в примере (1). Кроме того, подъем на ударном слоге *вы-* сменяется относительно ровным тоном на заударных слогах. Таким образом, на словоформе *выскочил* перед нами другой тип восходящего акцента, который характеризуется меньшей крутизной подъема на ударном слоге и относительно ровными заударными слогами. Это ИК-6, по Е.А. Брызгуновой ([Русская грамматика 1982: 97–122]).

Различие между двумя типами подъемов в данном случае характеризует различие двух типов коммуникативных структур в предложениях (1) и (2). В предложении (1) перед нами стандартная структура типа Тема-Рема, которой соответствует стандартная интонационная структура с акцентами ИК-3-ИК-1, фиксирующимися на акцентоносителях темы и ремы соответственно. (Проблему выбора акцентоносителей коммуникативно релевантных составляющих таких, как темы и ремы, мы в данном случае оставляем в стороне, см. об этом раздел 1.4 ниже, а также [Янко 2008: 38–59]). В предложении же (2) перед нами не базовая структура Тема-Рема, а результат т.н. дислокации ремы, по И.И. Ковтуновой [Ковтунова 1976: 120], см. также [Янко 2001: 201].

Дислокация ремы – это одна из линейно-интонационных трансформаций, которые приносят в предложение дополнительные смыслы. В чем

заключается дислокация ремы с линейно-интонационной точки зрения? В данном случае из реконструируемой исходной – базовой – структуры типа Тема-Рема предложения (2.1) с темой *из этого дома* и ремой глагольной группой *выскочил черноватый татарин* из ремы извлекается глагол, который помещается на начальное место в предложении.

(2.1) *Из этого дома выскочил черноватый татарин* (ср. *Выскочил из этого дома черноватый татарин*).

Именная группа *черноватый татарин*, включая акцентоноситель ремы – словоформу *татарин*, сохраняет конечное место в предложении, а тема *из этого дома* помещается на второе место после глагола. Таким образом, рема исходного предложения (2.1) *выскочил черноватый татарин* расчленяется, а тема попадает в образовавшуюся при разрыве ремы нишу – коммуникативно наименее «выигрышную» позицию. Тем самым тема теряет свою функцию зачина речевого акта. С интонационной точки зрения это маркируется акцентом ИК-6 на начальном глаголе, который обозначает здесь не тему, а начальный сегмент разрывной ремы. В [Янко 2001: 201] эта структура интерпретируется как один из случаев рецессии, или подавления, темы: тема в предложении есть, но она отведена с начальной заглавной позиции и коммуникативно подавлена. Коммуникативная структура с дислокацией уподобляется структуре без начальной темы типа *Пришла весна*, где есть рема *пришла весна* с акцентоносителем *весна*, а темы нет. В предложении с дислокацией ремы возникает и соответствующий семантический эффект отражения в предложении события, взятого в целом, когда ни время, ни место события, ни известный герой повествования не служат исходной точкой для совершения речевого акта. Одной из функций предложений с дислокацией ремы в тексте служит рассмотрение одного события, взятого в целом, в цепи событий, которые составляют сюжетную линию нарративного текста:

(3) *Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногойцем. Видит – деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, всё говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом.*

Во фрагменте (3) предложения с дислокацией ремы выделены разрядкой. Эти предложения отражают передвижения Жилина по деревне после его пленения. В каждом из выделенных предложений фиксируется появление Жилина, а также и другого героя – черноволосого

татарина, хозяина Жилина, – в новой области бытия. Текст приобретает характер размеренного повествования. Предложения фона имеют другую коммуникативную структуру, прежде всего, стандартную структуру Тема-Рема, как, например, предложение *У одного дома стоят три лошади в седлах* с темой *У одного дома* и ремой *стоят три лошади в седлах*. Ср. тот же фрагмент текста с искусственной заменой дислокации ремы на базовые структуры типа Тема-Рема:

(3.1) *Жилин пошел с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Жилин вышел за ногойцем. Видит – деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Из этого дома выскочил черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, всё говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Жилин пришел в дом.*

Семантические и стилистические различия между предложениями с дислокацией и предложениями с базовой структурой весьма тонкие, но они есть. Сравнительный анализ пар примеров (2)-(2.1) и (3)-(3.1) иллюстрирует понятие трансформации коммуникативной и линейно-интонационной структуры предложения и говорит о сопровождающих трансформации новых смыслах.

Перейдем к явлению композиции коммуникативных значений. Так, в примере (4) иллюстрируется комбинация ремы и контраста:

(4) *Сделал Жилин другую куклу.*

Акцентоносителем контрастной ремы *сделал другую куклу* (которая в данном случае, как и в примере (2), тоже подвержена дислокации) служит словоформа *другую*. Перед нами акцентоноситель не простой ремы, а контрастной. Значение контраста здесь следует трактовать как указание на куклу, которая была не-первой в ряду как минимум из двух кукол. Перед той куклой, о которой говорится в предложении (4), была сделана еще одна кукла, которую разбила сердитая старуха. И новая кукла рассматривается на фоне первой. Основное средство выражения контраста – существенное увеличение диапазона частот, в которых происходит образующее рему нисходящее (а тему – восходящее) движение тона. Здесь перед нами не ИК-1 простой ремы, как в примерах (1) и (2), а ИК-2 контрастной ремы (об ИК-2 см. [Русская грамматика 1982: 97–122]). При контрасте увеличивается не только диапазон частот и изменение частоты в единицу времени, но и интенсивность звучания. Эти средства выражения контраста используются не только в применении к реме: контраст системно комбинируется как с ремой, так и с темой, а также с компонентами других типов речевых актов.

В примере (5) представлена композиция ремы со значением эмфазы. Эмфаза соотносит текущее положение дел с некоторым жизненным стандартом, и значения параметров текущего положения дел оцениваются говорящим как превышающие норму. Говорящий выражает в связи с этим свои чувства: одобрение, удивление, восхищение.

(5) <...на коврах ружья, пистолеты, шашки> – все в серебре<sup>1</sup>.

Акцентоносителем эмфатической ремы в примере (5) служит словоформа *серебре*: оружие украшено не простым металлом, а чистым серебром! С фонетической точки зрения ударный слог произносится на низком уровне, что соответствует средствам выражения ремы. Кроме того, ударный слог существенно растянут и его отличает характерное для эмфазы вибрирующее «искривление» тональной кривой. При эмфазе ударный слог звучит в полтора-два раза дольше, чем в отсутствие эмфазы. Эмфатическое «искривление» тональной кривой характерно не только для композиций эмфазы с ремой, но также и для композиций эмфазы с темой и компонентами вопроса (*В серебре-е?!*). Детально о семантике и средствах выражения эмфазы см. [Янко 2008б]. Значение эмфазы системно сочетается со значениями, формирующими сообщение (повествовательное предложение) и вопрос.

Пример (6) иллюстрирует композицию ремы с т.н. верификативным, или *да-нет*-значением (о верификации одна из самых ранних работ [Адамец 1978: 101–103]).

(6) <Перекрестился Жилин, подхватил рукой замок на колодке, чтобы не бренчал, пошел по дороге...> Дорогу он узнал.

В примере (6) речь идет о том, что после побега из плена Жилин боялся заблудиться. Вопрос был в том, найдет он дорогу до своей крепости или нет. Таким образом, в чем состояло пропозициональное содержание высказывания, или положение дел, было известно заранее, неизвестно только было, увенчается ли попытка узнать дорогу успехом. Сообщение состоит в положительном ответе на этот вопрос: дорогу Жилин узнал. Верификативное значение имеет те же интонационные средства выражения, что и контраст, а его акцентоносителем служит финитная форма глагола: ударность глагола отвечает за истинность высказывания в целом. В примере (6) – это значение ‘да, узнал’. На ударном (и конечном) слоге глагола *узнал* фиксируется рельефное падение.

В данном разделе были проиллюстрированы понятия темы, ремы, контраста, эмфазы и верификации, композиции значений (ремы и контраста, ремы и эмфазы, ремы и верификации), а также понятие линейно-

<sup>1</sup> Угловыми скобками в примерах обозначается контекст.

интонационной трансформации коммуникативной структуры. Рассмотрены интонационные средства маркирования коммуникативных значений и их комбинаций. В качестве примера линейно-интонационного преобразования здесь использована дислокация ремы. Это одна из наиболее эффективных трансформаций, но не единственная. О других трансформациях коммуникативных структур см. [Янко 2001: 137–231; Циммерлинг 2008; Падучева 2015].

### 1.2. План содержания коммуникативных структур

В современной лингвистике немного работ, в которых пересматривались бы основные понятия теории коммуникативной структуры (актуального членения): со времен В. Матезиуса рема – это ‘то, что сообщается’, а тема – ‘то, о чем’ (см. труды В. Матезиуса в английском переводе [Mathesius 1975]). Обогащение теории актуального членения после В. Матезиуса шло за счет соотнесения элементов коммуникативной структуры с элементами семантического уровня предложения, прагматической структурой ситуации общения и структурой дискурса, в который встроены речевой акт. В выдвигаемых в связи с этим подходах элементы коммуникативной структуры соотносятся с элементами синтаксической структуры (об этом существует большая литература, см. на русском материале [Ковтунова 1976: 60–79]), с информационными категориями данного и нового ([Chafe 1976]), с более дробными, чем значения категории данное vs. новое, значениями параметра активации информации в сознании собеседников ([Dryer 1996]), с референциальным статусом именных групп как претендентов на роль темы ([Givón 1983; Падучева 2010]), с ранжированием квантов информации от более важного к менее важному или наоборот и от известного к неизвестному ([Chafe 1976]), от своего к чужому ([Kuno, Kaburaki 1977]), с «маршрутом обхода ситуации» ([Мартемьянов 1964: 128; 2004: 117]), а также с функционированием тем и рем в логической структуре нарративного текста, или с явлением т.н. тематической прогрессии ([Севбо: 1969; Daneš: 1974]<sup>1</sup>). Если на время исключить из рассмотрения теории, анализирующие коммуникативную структуру предложения не как би-

<sup>1</sup> В работе [Севбо 1969] тематическая прогрессия представлена не в терминах темы и ремы, а в близких терминах логического субъекта и логического предиката. Ср. пример прогрессии, при которой рема *n*-ного предложения становится темой *n+1*-ого: *...нелегко с Кошечем сладить. Смерть его на конце иглы, та игла в яйце, та яйцо в утке, та утка в зайце, тот заяц в сундуке, а сундук стоит на высоком дубу, и то дерево Кошечей как свой глаз берёжёт.*

нарное членение на тему и рему, а как более дробное членение на тему, рему и переход между ними ([Firbas 1974]) или как на шкалу коммуникативного динамизма ([Firbas 2001]), то окажется, что развитие теории коммуникативной структуры после В. Матезиуса было связано не столько с уточнением понятий темы и ремы, сколько с анализом семантического, синтаксического и прагматического материала, согласующегося с семантикой и прагматикой тем и рем, а также с функциями тем и рем как элементов структуры связного текста.

В одной из новейших обобщающих работ по коммуникативной структуре и коммуникативным преобразованиям (трансформациям) Е.В. Падучевой ([Падучева 2015]) говорится, что «коммуникативная структура <...> выявляет в предложении компоненты, существенные с прагматической точки зрения (а именно, с точки зрения важности, новизны информации и порядка ее восприятия адресатом), и устанавливает отношения между ними. Важнейшими из этих компонентов являются **тема** (= о чем идет речь) и **рема** (= что сообщается) ...».

Между тем, если подходить к коммуникативной структуре с точки зрения функций темы и ремы в выражении логической структуры ситуации или логической структуры текста, в выстраивании «маршрута обхода ситуации», по Ю.С. Мартемьянову ([Мартемьянов 1964: 128; 2004: 117]), в отражении развертывания сюжета (скажем, от известного к неизвестному, а затем, когда неизвестное стало известным, от него к другому неизвестному) при отражении отношения говорящего к участникам ситуации как к своим или чужим, или для выражения эмпатии, по С. Куно и Е. Кабураки ([Kuno, Kaburaki 1977]), могут использоваться не только темы и ремы предложений. В перечисленные выше логические и прагматические отношения могут вступать сегменты предложения, меньшие, чем темы и ремы, а также компоненты предложения и текста, большие, чем темы, ремы или даже более крупные единицы, чем предложения в целом. Или, иначе, темы и ремы могут служить материалом для выражения логических связей, отражения прагматических отношений и референциальной структуры коммуникации, но могут и не служить, и у них есть своя собственная функция, которую понятия важности, известности и логической структуры дискурса в полной мере не отражают, а только сопутствуют ей.

Функция ремы состоит в создании сообщения как речевого акта с определенным коммуникативным заданием, т. е. основная функция ремы – иллюкутивная. Если в предложении есть рема, значит, перед нами речевой акт сообщения. Кроме ремы, в сообщении может быть тема. Тема – необязательный компонент сообщения как речевого акта.

Существуют сообщения без темы, потому что не тема делает сообщение сообщением. Тем не менее язык имеет средства для выделения в сообщении компонента, который не создает речевой акт сообщения, а только служит стартом для его совершения. Тема – это несобственно иллокутивный компонент предложения. Из этих определений темы и ремы вытекают другие функции тем и рем в предложении и дискурсе, которые тем не менее не являются их основными функциями. Поскольку тема предваряет совершение речевого акта, значит, соответствующему компоненту пропозиционального содержания предложения естественно (но не обязательно) быть известным слушающему, близким («своим») для говорящего, служить исходной точкой при репрезентации ситуации с более чем одним участником, быть посылкой импликации<sup>1</sup>. Однако тема не всегда является известной слушающему, близкой говорящему, посылкой импликации, а известное, близкое, посылка импликации – это не всегда тема. Аналогично, реме естественно быть новым для слушающего, следствием для импликации, завершением сообщения, но рема не равна новому, заключению импликации, завершению сообщения, кульминации сюжетной линии.

Аналогично теме и реме, в вопросе и в императиве также можно выделить собственно иллокутивный и несобственно иллокутивный компоненты. Так, в примере (7) выделяется собственно вопросительный (собственно иллокутивный) компонент *заряжено* и несобственно вопросительный компонент *ружье*: ружье у коммуникантов перед глазами и про него задается вопрос: заряжено оно или нет.

(7) *А ружье заряжено?*

Понятие о реме как о выразителе иллокутивной силы предложения имеет следующие преимущества. Прежде всего, рема противопоставлена по параметру сущности иллокутивной силы аналогичным компонентам других типов речевых актов, в которых ничего не сообщается, а, например, спрашивается (как в вопросе) или приказывается (как в императиве). Далее. Понятие о реме как о носителе иллокутивной силы дает возможность не искать тему и рему в предложениях, которые не служат сообщениями. Так, в речевых актах с особыми – индивидуальными – иллокутивными силами, которые не являются сообщениями (ср. *Гулять так гулять*; *Раз, два, взяли*; *Народу-у!*; *Какая прекрасная сегодня погода!*; *Вот еще!*; *Смирно!*), тем и рем нет. И наконец, у тем и рем (но не у данного и нового, известного и неизвестного, своего и чужого) есть специальные интонационные корреляты. Тип

<sup>1</sup> Ср. положение Дж. Хеймана «Conditionals are topics» [Haiman 1978].

акцента маркирует коммуникативную функцию компонента коммуникативной структуры, а выбор слова-носителя акцента – область действия коммуникативного значения или объем коммуникативной составляющей (темы или ремы).

Что касается типов акцентов, которые маркируют темы и ремы, то примеры таких акцентов приведены в разделе 1.1; более полное описание акцентов (включая их фонетические варианты, см. [Янко 2008: 27–37]). О принципах выбора слов-носителей акцента см. раздел 1.4 ниже.

Если при исследовании коммуникативной структуры исходить из того, что анализу подвергается звучащее предложение, тему и рему можно понимать как единицы, которые имеют соответствующие средства выражения. Типы акцентов и их последовательность отображают членение предложения на тему и рему, которое применил говорящий, или, выражаясь в терминах У. Чейфа ([Chafe 1976]), как с коммуникативной точки зрения «упаковано» исходное пропозициональное содержание. Итак, тема и рема – это компоненты предложения, которые соответствующим образом выражаются. Данное положение требует учета как минимум двух ограничений.

Первое ограничение состоит в том, что омонимичные средства выражения могут иметь тема и дискурсивная незавершенность, или значение ‘текущий речевой акт не последний, продолжение следует’, в деталях об этом см. [Yanko 2013]. Выражение темы и дискурсивной незавершенности – это пример омонимии, которая, вообще говоря, служит имманентным свойством языка. В некоторых случаях эта омонимия может разрешаться, исходя из контекста. Кроме омонимичных средств выражения темы и незавершенности, имеются и интонационные стратегии, при которых тема и дискурсивная незавершенность имеют автономные – отдельные – средства выражения. В таких случаях у темы и незавершенности имеются различные словоформы-акцентоносители и/или специфические акценты, которые маркируют тему автономно от незавершенности [Yanko 2013]. Так, в предложении из корпуса «Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи» (spokencorpora.ru), см. [Подлеская 2014: 526–527] *А кошка спряталась <...> от нашей собачки с подъемами на словоформах кошка и собачки и падением на спряталась словоформа кошка служит акцентоносителем темы, словоформа спряталась – акцентоносителем ремы, а словоформа собачки – акцентоносителем незавершенности. Таким образом, здесь у темы, ремы и незавершенности имеются отдельные показатели. Значит, омонимия средств выражения темы и дискурсивной неза-*

вершенности велика, но не абсолютна. Это опять же убеждает нас в том, что дискурсивная незавершенность и тема – это различные языковые категории.

Другая оговорка состоит в том, что типы речевых актов, кроме сообщения, например, вопрос с вопросительным словом или восклицание, могут иметь ту же последовательность акцентов, что и сообщение. Однако для выражения иллокутивной силы эти типы речевых актов используют не интонационные, а сегментные средства. И сегментные средства «перевешивают» интонационные. У сообщения же в русском языке и во многих других языках сегментных средств выражения иллокутивной силы нет. Значит, сегментные средства «сильнее» суперсегментных: если в предложении иллокутивная сила выражается лексически (с помощью вопросительного слова) или морфологически (через показатель склонения), интонационные средства могут не служить выражению никаких иллокутивных значений. Неразличение некоторых, например, вопросительных и повествовательных просодий не представляет трудностей для анализа, от которого просто требуется упорядочение этапов распознавания средств выражения иллокутивной силы: на первом этапе выясняется, имеются ли в предложении сегментные средства выражения иллокутивных значений, и только если их нет, как средство выражения иллокуции анализируется интонация.

Далее. Отдельного обсуждения в связи с рассматриваемыми проблемами заслуживает такое развитие теории актуального членения, как теория коммуникативного динамизма (см., например, [Firbas 2001]). Этот подход, в отличие от многих других, связанных с анализом вторичных функций тем и рем, развивает аппарат описания первичных функций коммуникативного членения. Теория коммуникативного динамизма предполагает, что, если в предложении тема предшествует реме, от темы к реме происходит нарастание коммуникативного динамизма. Степень коммуникативного динамизма наименьшая у начальной темы и максимальная у т.н. собственно ремы, или у акцентоносителя ремы, который в идеале располагается в абсолютном конце предложения. У подхода к коммуникативной структуре, который предполагает не бинарное, а шкалярное членение предложения на коммуникативно релевантные компоненты, интонационный коррелят отсутствует: в качестве средств выражения шкалы коммуникативного динамизма здесь используется линейное упорядочение сегментов предложения. Между тем этот подход имеет свои ограничения. При таком подходе удастся адекватно описать только ограниченный класс повествовательных предложений, а именно таких, у которых тема предше-

ствуется рема, в которых отсутствуют сентенциальные клитики, располагающиеся в ваккернагелевских языках на втором месте в предложении (см. об этом, например, [Зализняк 2008]), в которых акцентоноситель ремы находится в абсолютном конце предложения и где финитный глагол расположен на своего рода границе между темой и ремой. В результате можно заключить, что понятия темы и ремы служат более универсальным аппаратом для анализа коммуникативной структуры предложения, чем коммуникативный динамизм.

Итак, основная функция ремы состоит в формировании иллокутивной силы предложения как речевого акта. Тема в рамках предложения предваряет реализацию собственно иллокутивной функции. Темы может не быть, но, как правило, она есть. У темы и ремы в языке имеются определенные интонационные показатели, которые – несмотря на расширенную омонимию – позволяют выделить тему и рему предложения в потоке звучащей речи. У темы и ремы как у сегментов предложения и дискурса имеется набор функций – логических, референциальных и дискурсивных, которые не являются для темы и ремы первичными. У других типов речевых актов, кроме сообщений, – у вопросов и императивов – имеются компоненты (собственно иллокутивный и несобственно иллокутивный), подобные теме и реме сообщения.

### *1.3. Композиции коммуникативных значений и линейно-акцентные преобразования коммуникативных структур*

Как уже говорилось выше, при разработке метаязыка описания коммуникативных значений используются две модели: композиционная и трансформационная. В основе трансформационной модели, предложенной И.И. Ковтуновой ([Ковтунова 1976]), лежит выделение базовых коммуникативных структур, которые имеют определенные линейно-интонационные средства выражения. Трансформации же базовых линейно-интонационных структур вносят в семантическую структуру предложения новые смыслы. Трансформации привносят в базовые структуры такие значения, как интродуктивное значение введения в рассмотрение нового объекта или события, значение мечтательного воспоминания, значение идентификации, интерпретацию события как нерасчлененного факта и другие смыслы. В разделе 1.1 пример (2) иллюстрировал одно из таких преобразований – дислокацию ремы.

Однако трансформационная модель не описывает всех значений, которые выражаются коммуникативной структурой. В начале текущего века была предложена другая модель – композиционного анализа коммуникативных значений, в основе которой лежит описание одних

коммуникативных значений через комбинации других, которые признаются элементарными, например, комбинаций значений темы и ремы со значениями контраста, эмфазы, верификации или *да-нет*-значения. В результате комбинаций значений образуются контрастные, эмфатические и верификативные темы и ремы. Понятия контраста и эмфазы, безусловно, фигурировало в описаниях коммуникативных структур и ранее, но либо независимо от сочетаемости со значениями, формирующими речевые акты, либо в рамках трансформационной модели, ср., например, понятие преобразования «контрастная тема», раздел 5.6 в работе [Падучева 2015]. Представляется, что контрастную тему следует трактовать не как линейно-акцентное преобразование, а как композицию значений темы и контраста.

Для описания коммуникативной структуры мы предлагаем использовать два подхода: трансформационный и композиционный. Трансформационная модель описывает более идиоматичные и менее предсказуемые «не-системные» смыслы. Композиционная же модель описывает системные смыслы, которые задают своего рода коммуникативную грамматику языка и имеют системные композиционные же средства выражения: контраст увеличивает диапазон изменений частоты основного тона и интенсивность, эмфаза увеличивает время звучания и «искривляет» основное направление изменений частоты – восходящее при теме и *да-нет*-вопросе и нисходящее при теме.

Итак, при анализе коммуникативной структуры используются две различные модели описания – композиционная и трансформационная, которые дополняют друг друга и позволяют реконструировать коммуникативную и интонационную грамматику языка.

#### *1.4. Словоформа-носитель акцентного пика*

В разделе 1.2 выше было показано, что коммуникативные значения и их комбинации в звучащей речи обозначаются релевантными изменениями частоты основного тона, которые фиксируются на соответствующих словоформах. Так, подъем частоты на ударном слоге словоформы-акцентоносителя с последующим резким падением на заударных слогах (если они есть) – это один из показателей темы сообщения. Между тем сегментный материал тем, рем и коммуникативных компонентов других типов речевых актов не ограничен акцентоносителем. Это могут быть компоненты предложения, большие, чем одна словоформа. Таким образом, коммуникативный компонент может быть сколь угодно синтаксически сложным, а акцентоноситель между тем у него только один. Соответственно, возникает вопрос, как выбирается слово-

носитель тонального пика в коммуникативном компоненте предложения. Тональные пики – фразовые акценты – накладываются на сегментный материал не случайным образом [Bolinger 1958, 1961; Steedman 2007]. Акценты выбираются в соответствии с определенными принципами. Выбор слов-носителей коммуникативно релевантных акцентов – это базовая проблема анализа наложения значимых изменений частоты на сегментный материал. Долгое время этот вопрос оставался нерешенным. Ответу на этот вопрос посвящен настоящий раздел.

Наиболее распространенная точка зрения долгое время состояла в том, что акцентоноситель ремы – это конечное слово в предложении, ср. [Isachenko 1967]. Это положение устарело, но до самого недавнего времени можно было встретить в литературе сочувственные ссылки на эту точку зрения ([Lieberman 2006]).

Представление о том, что ударное слово ремы расположено в конце предложения, легко опровергается примерами не только из разговорной речи, но и из классической художественной литературы. Ср. пример (8) из А.П. Чехова, где «ударность» начальной словоформы *мало* объясняется особыми семантическими свойствами слова *мало* [Булыгина, Шмелев 1997: 200–207]. (Акцентоноситель здесь и в примерах ниже выделен полужирным шрифтом.)

(8) ***Мало*** я смыслю в мужской красоте.

Типы изменения частоты тона выражают такие значения, как иллюкативная сила, контраст, незавершенность текста. Выбор же слов-акцентоносителей служит для обозначения того, какой объем пропозиционального содержания предложения соответствует коммуникативным компонентам предложения – темам, ремам, компонентам вопросов и императивов. Иначе говоря, выбор словоформ-носителей акцентов определяет границы коммуникативных компонентов подобно тому, как словесное ударение отделяет одно фонетическое слово от других слов в предложении. Акцентоноситель темы или ремы, как и ударный слог в словоформе, формирует коммуникативную составляющую и делает ее отдельной от других коммуникативных составляющих предложения.

В принципе, у коммуникативных составляющих с различной сферой действия коммуникативного значения могут быть разные акцентоносители. Так, в нерасчлененном предложении (9) акцентоноситель ремы – словоформа *юбки*.

(9) *Снова входят в моду короткие юбки.*

В предложении же (10) с той же лексико-синтаксической структурой, но расчлененном на тему *короткие юбки* и рему *снова входят в моду*, акцентоноситель ремы – словоформа *моду*.

(10) *Короткие юбки снова входят в моду.*

Нельзя, однако, не признать, что омонимия при выборе акцентоносителя распространена шире, чем омонимия, которая обнаруживается на других уровнях языка: акцентоносители компонентов разного объема при совпадении лексико-синтаксических структур часто совпадают. Так, в реме *Вася пишет стихи* (например, в ответе на вопрос *Чему ты так рад?*), в реме *пишет стихи* (например, в ответе на вопрос *Что делает Вася?*) и в реме *стихи* (например, в ответе на вопрос *Что пишет Вася?*) акцентоносители совпадают: это словоформа *стихи*.

Как выбирается слово-акцентоноситель? Обратимся к примерам.

В примере (11) с нерасчлененной ремой *papa пришел* акцентоноситель ремы – словоформа *papa*:

(11) <Открой,> **papa** пришел.

Пара примеров (12) с акцентоносителем – словоформой *дети* и (13) с акцентоносителем – словоформой *кашу* демонстрируют чисто формальный – не обусловленный семантически – переход от акцентоносителя-подлежащего к акцентоносителю-дополнению, если оно в предложении есть.

(12) <- В чем дело?> – **Дети** плохо едят.

(13) <- В чем дело?> – Дети **кашу** плохо едят.

Кроме неточного представления, сформулированного в терминах линейной структуры предложения, о том, что акцентоноситель ремы – это слово, которое расположено в конце предложения, в работах по коммуникативной структуре и интонации можно также встретить мнения, сформулированные в терминах семантической или информационной структуры предложения, о том, что акцентоносителем служит то, что представляет собой ‘новое’, ‘самое важное’, ‘то, что несет на себе логическое ударение’, ‘истинное’.

Первое заблуждение, которое характеризует приведенные выше точки зрения, состоит в том, что ‘новое’, ‘важное’, ‘логически выделенное’ и ‘истинное’ может быть сведено к одному фонетическому слову. Новое или логически выделенное может быть сегментом самой разнообразной структуры, в частности, – предложением. При таком подходе проблема выбора акцентоносителя все равно остается нерешенной.

Кроме того, несмотря на то, что формирование ремы действительно связано с новизной информации, логическим или эмфатическим выделением (но не равно новому, логически или эмфатически выделенному), проблема выбора акцентоносителя стоит не только для ремы, но и для темы, где, скажем, с фактором новизны информации выбор акцентоносителя уже никак не связан.

Ниже будет показано, что выбор акцентоносителя в коммуникативном компоненте определяется целым набором параметров, важнейший из которых – это синтаксическая структура компонента.

В традиции анализа роли синтаксиса при формировании просодии предложения можно выделить две линии. Первая линия связана с анализом сочинительных, посессивных, релятивных и других конструкций, см., например, диссертацию [Wagner 2004] и цитированную там литературу. Эта традиция исследует просодические различия в минимальных парах типа (*X u Y*) или (*Z u W*) и *X u (Y или (Z u W))*. Семантическая «расстановка скобок» влияет на интонационную артикуляцию сочинительных и других конструкций. Соответственно, интонация позволяет снять омонимию, которая заключена в орфографических способах записи таких конструкций. Эта традиция связана с анализом синтаксических конструкций и их интонации, однако к выбору акцентоносителя эти исследования отношения не имеют: при таком подходе исследуется интонация не в терминах выбора акцентоносителя, а в терминах изменения частоты тона и паузации, потому что различная расстановка скобок дает различные комбинации подъемов частоты и ровного тона, что позволяет различить соответствующие смыслы. Эту линию исследований мы сейчас оставляем в стороне.

Другая линия, действительно связывающая синтаксис с проблемой выбора акцентоносителя, состоит в следующем. В работах устанавливаются синтаксические приоритеты в терминах членов предложения, которые определяют выбор акцентоносителя. Так, в работах К. Бонно и И. Фужерон [Bonnot, Fougeron 1982, 1983] утверждается, что в предложении, которое все целиком служит новым, ударно подлежащее (ср. <Открой,> **nana** пришел). Ограниченность такой точки зрения заключается в том, что авторы в своих работах не рассматривали предложений, в которых у сказуемого имеются и другие актаны помимо подлежащего.

В работах [Halliday 1967: 208; Enkvist 1979; Schwarzschild 1999] говорится, что подлежащее имеет приоритет перед глаголом. Это совершенно точное наблюдение, оно полностью подтверждается и нашими данными, но оно, тем не менее, не исчерпывает списка всех приоритетов, действующих при выборе акцентоносителя ремы. В работе [Schwarzschild 1999] был установлен еще один приоритет: приоритет дополнения перед глаголом. Этот приоритет также не исчерпал всех возможностей, которые содержатся в синтаксической структуре предложения.

В результате проблема выбора акцентоносителя в коммуникативном компоненте сохраняется. Ниже коротко перечисляются основные

факторы, которые определяют выбор акцентоносителя, и формулируются базовые синтаксические приоритеты. Рассматривается также ряд периферийных принципов, которые нарушают базовый принцип. Они действуют в языке в определенных прагматических контекстах. Ниже дается описание этих контекстов.

Принцип выбора носителя акцентного пика в коммуникативной составляющей, который проявляет себя в примерах (8)-(13), рассмотренных выше, мы называем базовым. Кроме базового, в языке действует ряд периферийных принципов, которые нарушают базовые приоритеты. Выделяются линейный, иллокутивный, текстовый и культурно обусловленный (несобственно языковые) принципы выбора акцентоносителя. Поясним, в чем состоят периферийные принципы, а затем вернемся к базовому принципу.

Линейный принцип действует в обращениях и в некоторых других типах речевых актов. Он отражает пространственную и психологическую дистанцию между коммуникантами: в ситуации удаленности коммуникантов акцентный пик иконически сдвигается к линейному концу речевого акта, в условиях близости – к началу по сравнению с базовым принципом. Так, в зове *Марья Ивановна-а! Ауу!* акцентный пик смещается со слога *-ва-* на конечный слог *-на*. Если же адресат находится в пространственной и психологической близости от говорящего, акцент, наоборот, сдвигается в начало: с конечной словоформы на начальную словоформу более чем однословного имени: *Марья Ивановна, дорогая!* Между тем в соответствии с базовым принципом акцентоноситель имени *Марья Ивановна* – словоформа *Ивановна*, ср.: *Пришла Марья Ивановна*.

Иллокутивный принцип действует в контексте определенных иллокутивных сил, при которых акцент также может покидать акцентоноситель, соответствующий базовому принципу. Так, в иллокутивном акте простого сообщения *Не знаю, куда девались мои очки* базовый акцентоноситель – словоформа *очки*. Это базовый акцентоноситель. Между тем в иллокутивном акте недоумения с той же лексико-синтаксической структурой *Не знаю, куда-а девались мои очки?!* акцент смещается на относительное слово *куда*, которое в данном случае служит показателем иллокутивной силы речевого акта. Об акцентных сдвигах в различных типах иллокуций см. [Янко 2008: 177–183].

Текстовый принцип привносит в предложение дополнительные акцентные пики, которые маркируют незавершенность текста и акцентоносители которых не укладываются в рамки базового выбора. Так, в незаконченном предложении текста *Я тогда пиджак снял...* с падением частоты на дополнении *пиджак* и подъемом на сказуемом *снял*

падение на *пиджак* маркирует рему, и выбор этой словоформы находится в полном соответствии с базовым принципом. Выбор же словоформы *снял* базовым принципом не объясняется. Это автономный акцентоноситель незавершенности. Детали автономного выбора акцентоносителей незавершенности текста см. в работе [Yanko 2013].

В произнесении текстов, которое следует определенным литературным или культурным традициям, – чтении стихов или молитв – базовые языковые приоритеты выбора акцентоносителя могут быть принесены в жертву требованиям ритма принятых способов чтения. Так, в православном литургическом чтении акцентосителем, как правило, становится первая словоформа строки, безотносительно к базовому принципу. Ср., например, в строке из Молитвы Господней *И остави нам долги наши...* при традиционном православном литургическом чтении в качестве акцентоносителя выступает словоформа *остави*, а не словоформа *долги*, выбор которой предполагается базовым принципом. О традициях чтения, отклоняющихся от базовых языковых принципов, см. [Янко 2010].

К основным факторам, которые определяют **базовый выбор** акцентоносителя относятся 1) активация информации в сознании собеседников (т. е. то, служит информация, предназначенная для формирования речевого акта, данной или новой) и 2) синтаксическая структура предложения (актантная структура предиката, структурная схема предложения и внутренняя синтаксическая структура именных, глагольных и других групп). Фактор активации информации действует таким образом, что сегменты предложения, соответствующие данному (известному), исключаются из числа претендентов на роль акцентоносителя ремы, ср. пример (14) с акцентоносителем словоформой *дети* и пример (15) с той же лексико-синтаксической структурой, что и (14), но в контексте известности слушающему референта словоформы *дети*:

(14) – *Чем ты расстроен?* – **Дети** плохо едят;

(15) – *Чем тебя дети расстроили?* – **Дети** плохо едят.

В результате сопоставительного анализа предложений с различной синтаксической структурой, представляющих собой нерасчлененную рему, выстраивается синтаксическая Иерархия, которая демонстрирует приоритет группы косвенного дополнения перед группой прямого дополнения и подлежащего, группы подлежащего – перед сказуемым, группы дополнения – перед группами обстоятельств: **Предикат (P) – сирконстанты (C) – актанты (A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 в порядке, заданном актантной структурой предиката в словаре)**. Элементы Иерархии расположены в порядке возрастания их права на роль носи-

теля акцента в коммуникативном компоненте с синтаксической структурой целого предложения S.

Действие приоритетов, устанавливаемых Иерархией, на примере рем, представляющих собой нерасчлененное предложение, иллюстрирует серия предложений (16)-(21) ниже. Так, пример (16) иллюстрирует приоритет дополнения A2 *руку* перед субъектом A1 *у бабушки* и финитным глаголом P *защемило*. Пример (17) иллюстрирует приоритет дополнения A2 перед подлежащим A1, глаголом P и сирконстантом C.

(16) <-Что случилось?> – У бабушки (A1) **руку** (A2) *защемило* (P).

(17) <-Чем ты расстроен?> – Бабушка (A1) в дороге (C) **очки** (A2) *потеряла* (P).

(18) <-Что случилось?> – **Бабушке** (A1) *плохо* (P).

(19) <-В чем дело?> – **Денег** (A) *нет* (P).

(20) <Худо, брат, жить в Париже.> **Есть** (A) *ничего* (P) (А. Пушкин).

(21) <Мальчики платья не носят.> **На горшок** (A2) *неудобно* (P) (из детской речи).

Далее. Поскольку элементы Иерархии могут иметь внутреннюю синтаксическую структуру, включающую зависимые члены, в компонентах предложений, претендующих на роль акцентоносителя в соответствии с первой Иерархией – актантах, сирконстантах, предикатах – действуют внутренние локальные иерархии, производящие выбор словоформы *Ванечка* в именной группе *Танечка* и **Ванечка**, словоформы *Иванов* в именной группе *Вася Иванов*, *гостей* в именной группе **гостей дорогих** и словоформы *белье* в глагольной группе *грязное белье стирать*. О локальных правилах выбора акцентоносителя в именных и глагольных группах см. [Ковтунова 1976: 146; Русская грамматика 1982: 203–206; Светозарова 1993; Кодзасов 1996: 202]. Ср. также [Zwicky 1986] о выборе акцентоносителей в атрибутивных группах английского языка. О выборе акцентоносителей в ремах, представляющих собой комплексы, состоящие из двух и более групп, не сводимых к одной, см. [Янко 2008: 50]. Это явление иллюстрирует пример (22), в котором рема *Хартман в 1882 году* состоит из двух именных групп *Хартман* и *в 1882 году*.

(22) *Этой проблемой занимался Хартман в 1882 году.*

Особый выбор акцентоносителя в предложениях с контрастом и эмфазой, ср.:

(23) *Это **Вася** Иванов, а не Ваня Иванов.*

(24) *Ну не **хотелось** мне переходить на другой берег (ср. Мне не хотелось переходить на другой **берег**).*

В предложении (23) акцентоноситель ремы (контрастной) – словоформа *Вася*, между тем в отсутствие контраста в такой структуре ак-

центноноситель – словоформа *Иванов* (ср. *Это Вася Иванов*). В предложении (24) с эмфазой акцентоноситель – фонетическое слово *не хотелось*, а в предложении без эмфазы акцентоноситель – словоформа *берег*. Выбор акцентоносителя в контрастных и эмфатических темах и ремах мы рассматриваем как не выходящий за рамки базового принципа, потому что такие смыслы, как контраст и эмфаза, меняют не синтаксическую основу выбора акцентоносителя, а только границы тем и рем. Так, в предложении (23) словоформа *Иванов* в словосочетании *Вася Иванов* не служит акцентоносителем ремы, потому что обозначает известную информацию: рема здесь – словоформа *Вася*, и поэтому она «ударна» (несет на себе акцент ремы). О выборе акцентоносителя в контрастных коммуникативных компонентах см. [Янко 2008: 58]. Периферийные же способы выбора акцентоносителя – при наложении дополнительных прагматических смыслов – меняют сам принцип выбора акцентоносителя: так, выше было показано, что в особых контекстах синтаксический (базовый) принцип может меняться на линейный или на принцип выбора иллокутивного показателя.

Кроме активации и синтаксической структуры, выделяются и другие факторы, влияющие на выбор акцентоносителя. Так, фактор идиоматичности заполнения валентностей предиката действует таким образом, что идентичные с формальной точки зрения синтаксические структуры могут проявлять себя по-разному при выборе акцентоносителей. Например, устойчивое выражение *входить в силу* имеет иные свойства, чем свободное сочетание *входить в комнату*, ср. пример (25) с акцентоносителем первым актантом *закон* и пример (26) с акцентоносителем вторым актантом *комнату*:

(25) – В чем дело? – Новый **закон** в силу вошел.

(26) – В чем дело? – Вася в **комнату** вошел.

Фактор активности актантов, или иерархия одушевленности, тоже может «сдвигать» приоритеты при выборе акцентоносителей, потому что актанты с непрототипическим выражением валентностей, например пара «неактивный субъект» и «активный объект», нарушающая прототипическое распределение меры активности двух основных семантических актантов предиката, в процессе выбора акцентоносителей «меняются местами», предусмотренными для первого и второго актанта в синтаксической иерархии, ср. пример (27) с акцентоносителем вторым актантом *мышку* и пример (28) с акцентоносителем первым актантом словоформой *совесть* при одном и том же глаголе *мучить*. Релевантное различие между (27) и (28) состоит в том, что в (27) первый и второй актант имеют один ранг в иерархии одушевленности,

а в (28) – различные. И при этом в (28) первый актант имеет более низкий – не-прототипический – уровень одушевленности, чем второй актант: в (28) это меняет базовые синтаксические приоритеты:

(27) – *В чем дело?* – Кошка (A1) **мышку** (A2) мучает.

(28) – *В чем дело?* – Кошку (A2) **совесть** (A1) мучает.

Действие факторов, влияющих на установление приоритетов при выборе акцентоносителя, упорядочено. Так, например, фактор активации при выборе акцентоносителя ремы действует на первом этапе выбора: сегменты предложения, имеющие референт, известный адресату, исключаются из множества выбора, предусмотренного синтаксической Иерархией.

Таким образом, здесь схематично рассмотрены принципы выбора акцентоносителя в ремах, имеющих синтаксическую структуру предложения (S). Принципы выбора акцентоносителя в коммуникативных компонентах, имеющих синтаксическую структуру, «меньшую», чем предложение в целом, основаны на той же Иерархии с учетом отсутствия некоторых элементов. Так, выбор акцентоносителя глагольной группы в условиях отсутствия подлежащего использует ту же Иерархию, в которой опущен первый актант A1. О принципах выбора акцентоносителя тем см. [Янко 2008: 50–60]. Принципы выбора акцентоносителя тем имеют свою специфику, которая связана с фактором известности, но в целом основаны на той же Иерархии.

В результате можно заключить, что основным фактором выбора слова-носителя релевантного тонального пика в предложении служит синтаксическая структура в терминах базовой Иерархии актантов и локальных иерархий синтаксических зависимых внутри актантных и других групп, которые выбраны в соответствии с базовой Иерархией. На выбор акцентоносителя влияют также такие факторы, как активация (известность/неизвестность референта именной или другой группы адресату), идиоматичность заполнения валентностей предиката и иерархия одушевленности, которая способна менять приоритеты, установленные базовой Иерархией.

### *1.5. Корпуса звучащей речи как эмпирическая база для анализа коммуникативных структур и интонации*

Большие корпуса звучащих текстов существенно расширили эмпирическую базу лингвистики, а современные компьютерные системы анализа интонации сделали возможной инструментальную верификацию перцептивных гипотез исследователя. Один из методов исследования коммуникативной и интонационной структуры предложения и

текста, применение которого становится возможным на современном этапе развития научных технологий, состоит в следующем. На первом этапе анализа по интонационной структуре, которая восстанавливается с помощью современных программ, реконструируется коммуникативная структура предложения. А это уже дает возможность верифицировать теоретические гипотезы исследователя относительно коммуникативной структуры: результаты использования метода интроспекции сопоставляются с результатами машинного и последующего практического анализа интонационных структур на предмет выражения интонационной структурой коммуникативных смыслов. Пример, который рассматривается ниже, иллюстрирует конкретные уточнения, которые позволил внести инструментальный анализ звучащего текста в трактовку коммуникативных структур, высказанную на более ранних этапах развития теории коммуникативной структуры без использования современных технологий.

Обратимся к проблеме верификации и уточнения гипотез с помощью современных инструментальных и корпусных методов.

Во второй половине прошлого века авторы, разрабатывавшие идеи коммуникативной структуры, активно использовали материал русской художественной литературы для иллюстрации связи между порядком слов, лексической структурой именных групп, информационной структурой текста в терминах «данное vs. новое», с одной стороны, и коммуникативной структурой предложения – с другой. На материале текстов ставилась задача определения того, как порядок слов и другие параметры влияют на коммуникативную структуру предложения [Адамец 1966: 73; Firbas 1975; Ковтунова, 1979; Арутюнова 1983: 53–55]. Основным методом анализа коммуникативной структуры в то время была интроспекция. В настоящее же время возникли новые источники для верификации гипотез и фактов, полученных во второй половине XX века: удобные машинные системы анализа интонации Praat и Speech Analyzer и записи текстов русской классической литературы, озвученной лучшими носителями русской речи. По анализу интонационной структуры реально озвученных текстов становится возможной реконструкция коммуникативного членения предложений, входящих в текст, так как в звучащей речи интонация служит основным средством оформления темы и ремы. Ниже анализируется коммуникативная структура предложений из текстов А. Пушкина и Л. Толстого, которые были озвучены И. Смоктуновским, О. Табаковым, Н. Мартоном и другими актерами, не знакомыми, как мы предполагаем, с исследованиями И.И. Ковтуновой, Е.В. Падучевой, Н.Д. Арутюновой, Я. Фирбаса.

Рассмотрим особый тип предложений с начальной именной группой-новым. (Именная группа, обозначающая новое, выделена разрядкой).

(29) *Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции* (Л. Толстой).

(30) *Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу* (А. Пушкин).

Предложения с препозицией нового дают интересный материал для анализа, т. к. заключают в себе отличную от исходной схему линейного расположения информационных компонентов русского предложения: в русском языке исходные предложения строятся по принципу «новое в конце». Ср.: *Между колесами вагонов рвалась и свистела страшная буря; Ей навстречу побежала маленькая собачка*. Препозиция нового ставит перед исполнителем известный выбор интерпретаций. В частности, решается вопрос о том, темой будет препозитивная именная группа или компонентом ремы. Этот вопрос возникает потому, что в соответствии с исходным порядком слов в русском языке новое должно воплотиться в рему, получить соответствующий «рематический» интонационный показатель и занять место ремы в исходе предложения. Между тем в анализируемом типе предложений с порядком слов, возникшим под пером А. Пушкина и Л. Толстого, новое занимает линейное место не ремы, а темы. В результате возникает вопрос: в тему воплотится начальная группа-новое при чтении соответствующего фрагмента или в рему? Если возобладает фактор исходного развертывания известного и нового, то начальный фрагмент воплотится в рему и займет нехарактерную для ремы начальную позицию, если возобладает фактор исходного развертывания темы и ремы, новое воплотится в тему, а известное – в рему, что нарушит соответствие квантов известной и новой информации коммуникативным ролям темы и ремы. В любом случае исходное соответствие «тема-известное-начало – рема-новое-конец» нарушается и интрига остается: какую стратегию изберет исполнитель? Заранее очевидно, что единодушия в членении предложения на тему и рему у исполнителей не будет. Таким образом, этот тип предложений дает интересный материал для анализа, потому что ставит перед чтецом выбор при интерпретации. Кроме того, конкретные примеры (29) и (30) из Л. Толстого и А. Пушкина были выбраны нами для анализа потому, что они послужили в свое время предметом анализа в статье [Ковтунова 1979], специально посвященной коммуникативному членению предложений с препозицией нового. Ниже мы надеемся сравнить анализ, данный И.И. Ковтуновой, и анализ, который стал возможным сегодня. Будет показано,

что результаты И.И. Ковтуновой подтверждаются, но что в настоящее время в эти результаты удается внести известные уточнения.

И.И. Ковтунова пишет: «... в художественной прозе возможны <...> принципы построения текста, связанные с нестандартными способами введения новой информации. В частности, одним из таких принципов является включение новой информации сразу, непосредственно в тему высказывания, минуя те ступени, которые диктуются строгой логической последовательностью изложения, учитывающей меру осведомленности и неосведомленности читателя. Наиболее наглядно этот принцип обнаруживает себя в предложениях, в которых темой служит состав подлежащего, а ремой – состав сказуемого. Например: *Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции* (Л. Толстой). Приведенное предложение является началом главы и заключает в себе по существу два сообщения: 1) Была страшная буря; 2) Эта буря рвалась и свистела... В логически развернутом изложении новый предмет или явление, выраженное субстантивной группой, обычно вводится в контекст нерасчлененным высказыванием с экзистенциальным глаголом: *Была страшная буря ...* В последующих высказываниях даются характеристики этого явления. Но в художественном повествовании часто происходит сжатие двух сообщений в одно. Возникают высказывания, подобные приведенному выше примеру из Л. Толстого... Развернутая характеристика явления, заключенная в сказуемом, превращает сказуемое в ремю, препятствуя осмыслению подобных высказываний как нерасчлененных экспрессивных. Ср. другие примеры: *...Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу* (А. Пушкин)» [Ковтунова 1979: 263].

Таким образом, итог трактовки И.И. Ковтуновой такой. 1) Предложения с начальным подлежащим-новым имеют коммуникативную структуру Тема-Рема. 2) С семантико-прагматической точки зрения в этих предложениях заключено два сообщения: сообщение, вводящее в рассмотрение новый бытующий предмет ('Была буря'), и сообщение, характеризующее этот объект с той или иной точки зрения ('Эта буря рвалась и свистела').

Анализ примеров (29) и (30) в актерском исполнении, а также других из А. Пушкина и Л. Толстого показывает, что структура Тема-Рема – это не единственная трактовка предложений с информационной структурой Новое-Данное. Таким образом, первая гипотеза И.И. Ковтуновой подтверждается, но диапазон коммуникативных возможностей при

анализе расширяется. Полный набор коммуникативных интерпретаций см. в [Янко 2013]. В частности, выясняется, что в чтении текстов А. Пушкина и Л. Толстого наиболее частой и эффективной трактовкой распространенных предложений с начальным новым служит коммуникативная структура не с одной ремой, а с двумя: начальной, несущей первый нисходящий акцент ремы, и конечной, несущей второй «ре-матический» акцент. И именно такая коммуникативная интерпретация наилучшим образом соответствует второй идее И.И. Ковтуновой о совмещении в одном предложении двух сообщений: бытийного и характеризующего. Таким образом, эта гипотеза И.И. Ковтуновой получает при новом анализе основательное подтверждение. Перейдем к конкретному исполнению чтецами примеров (29) и (30).

Предложение (29) из «Анны Карениной» актеры О. Табаков и В. Герасимов единодушно интерпретируют как тему, дополнительно осложненную значением эмфазы. Так, в чтении примера (29) О. Табаковым начальная именная группа *страшная буря* интерпретируется как эмфатическая тема. Основное движение тона здесь восходящее. Кроме того, наблюдается свидетельствующее об эмфатическом выделении предшествующее основному движению тона в противоположную сторону на ударном слоге акцентоносителя *буря*, которое «искривляет» подъем темы.

То, что тема реализуется в эмфатической модификации, объясняется прямым указанием в тексте на то, что буря была страшная. На акцентоносителе конечной глагольной группы словоформе *свистела* наблюдается нисходящий акцент ремы. Перед нами структура эмфатическая Тема–Рема.

В интерпретации чтеца В. Герасимова этот пример реализуется фактически так же, как и у О. Табакова. Словоформа *буря* демонстрирует подъем темы, опять же сопровождающийся эмфатическим «искривлением», и сглаженное конечное рематическое падение на акцентоносителе ремы – словоформе *станции*. Напомним, что И.И. Ковтунова предполагала в данном предложении как вариант для реализации именной группы *страшная буря* тему. Исполнение В. Герасимова и О. Табакова не отменяют трактовку И.И. Ковтуновой, а только говорят о том, что, кроме трактовки И.И. Ковтуновой, имеются и другие возможности. Описание коммуникативной структуры предложений определенного типа становится более полным.

Обратимся к чтению примера (30) из «Капитанской дочки» Н. Мартоном и И. Смоктуновским.

Оба актера дают практически единодушную тема-рематическую трактовку этого примера. Начальное падение – более рельефное у Н. Мар-

тона и почти ровный тон (отличный, впрочем, от восходящего акцента темы, который тоже можно было бы здесь ожидать) у И. Смоктуновского – на словоформе *собачка* и второе падение на акцентоносителя второй ремы *навстречу*, опять же – более крутое у Н. Мартона и более пологое у И. Смоктуновского. Оба исполнителя трактуют этот пример как структуру с двумя ремами. Первая рема соответствует компоненту появления на сцене ‘Выбежала белая собачка’, вторая – характеризующему ‘Собачка залаяла и побежала навстречу Марье Ивановне’. Наиболее существенно здесь то, что препозитивная именная группа *белая собачка английской породы* получает в обоих чтениях акцент ремы, акцентоносителем которой служит словоформа *собачка*. Акцентоносителем второй ремы служит словоформа *навстречу*. В принципе, трактовка этого предложения могла быть и иной, например, интерпретацией с начальной темой. Между тем в анализируемых чтениях интерпретации практически совпали.

Рассмотрим чтение еще одного предложения с начальным новым из «Одесских рассказов» И. Бабеля. Рассказ «Король» привлек большое число исполнителей, что дает материал для сравнения. У предложения (31) семь исполнителей. Это М. Козаков, В. Самойлов, В. Смахов, А. Равикович, С. Ярмолинец, К. Пирогов и неизвестный исполнитель.

(31) *Три тени загромождают пути моего воображения.*

В предложении (31) так же, как и в предложениях (29) и (30) из Л. Толстого и А. Пушкина, отражается весьма характерная для раннего Бабеля линейная структура развертывания информации от нового к известному. Обратимся к контексту анализируемого предложения: – *Реб Арье-Лейб, – сказал я старику, – поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков – разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать... Но почему же один Бенья Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?*

Пример (31) – это предложение введения в рассмотрение: далее рассказчик говорит о том, кого он имеет в виду под тремя тенями – это Фроим Грач, Колька Паковский и Бенья Крик. Исходная структура для структуры (31) такова:

(31.1) *Мое воображение загромождают три тени.*

Здесь тема – *мое воображение* и рема – *загромождают три тени*. Акцентоноситель темы – словоформа *воображение*, ремы – словоформа *тени*.

Рассмотрим результаты анализа чтения. М. Козаков, А. Равикович и С. Ярмолинец идут по стандартному пути: начальная именная группа в предложении (31) *три тени* в исполнении этих актеров – это тема с подъемом на *тени*, глагольная группа *загромождают пути моего воображения* – рема с акцентоносителем ремы словоформой *воображения*, несущая низкий тон ремы.

В. Смехов также использует структуру Тема–Рема с теми же акцентоносителями, но добавляя в реализацию тем и рем эмфатические модуляции т.н. одесского акцента. Подъем реализуется в расширенных диапазонах частот, имеет растяжку и особое искривление тона, о котором уже говорилось при обсуждении примера (29): к подъему добавляется предшествующее ему падение тона. Падению на *воображения* предшествует, наоборот, подъем тона, от чего падение совершается в большом диапазоне частот и также имеет характерное «искривление». Одесский акцент в прямой речи персонажа изображается В. Смеховым очень искусно.

Актер В. Самойлов трактует начальную именную группу как рему: акцентоноситель ремы – словоформа *тени* несет рельефное падение, характерное для начальной ремы. Такая трактовка актуализирует компонент введения в рассмотрение нового объекта: это три тени, о которых пойдет речь в дальнейшем. Такая интерпретация дальше отстоит от исходной структуры, но она более содержательная, чем предыдущие, авторы которых идут по формальному пути, воплощая начало в тему. У В. Самойлова за ремой следует фрагмент *загромождают пути моего воображения* в аллегривом произнесении с атонической темой *пути моего воображения*.

Наиболее же эффектную линейно-акцентную и, соответственно, коммуникативную структуру использует исполнитель, имя которого осталось нам неизвестным. Он реализует структуру с двумя ремами. Акцентоноситель начальной ремы *три тени* – словоформа *тени* несет рельефное падение тона. Эта рема вводит в рассмотрение новый объект. Затем исполнитель делает небольшую паузу и завершает предложение второй – конечной – ремой *загромождают пути моего воображения* с акцентоносителем ремы словоформой *воображения*, которая несет второе в этом предложении значимое падение тона. Вторая рема дает характеристику объекту, введенному в рассмотрение первой ремой. После второй ремы исполнитель опять же делает паузу: в контекст дискурса введена новая смысловая тема. Весь дальнейший текст служит раскрытию этой темы.

Анализ примеров говорит о том, что доступность больших массивов звучащей речи и использование современных компьютерных тех-

нологий анализа интонации делает возможным уточнение гипотез, порожденных методом интроспекции, а также позволяет достичь полноты описания коммуникативных структур, реализующихся в звучащих текстах.

### 1.6. Современные национальные корпуса звучащей речи

Как было показано в предыдущем разделе, массивы звучащих текстов позволяют вывести исследование коммуникативных структур на новый уровень. Образцы речи, рассмотренные в предыдущем разделе, принадлежали малому исследовательскому массиву звучащей речи, разработанному автором данной статьи специально для решения определенных задач. Ниже мы предлагаем читателю краткий обзор крупных современных корпусов звучащей речи. Корпуса звучащей речи разрабатываются не только для исследовательских, но и для прикладных целей.

Подкорпус звучащей английской разговорной речи разработан как компонент Британского национального корпуса английского языка (BNC). Подкорпус доступен по ссылке <http://www.natcorp.ox.ac.uk/news.xml?ID=spoken>. При составлении BNC был применен научный подход, который нацелен на максимально полную и всеохватную выборку жанров речи и социальную стратификацию носителей английского языка. В настоящее время в BNC имеется подкорпус американского варианта английского языка, который называется корпус Brown, т.к. он создается в университете Brown (город Провиденс, штат Род-Айленд, США). Подкорпус устной речи разрабатывался по методу тотальной записи разговоров каждого из участвующих в работе добровольцев, включая речь их собеседников. По образцу Британского национального корпуса создаются многие национальные корпуса, например, русский корпус «Один речевой день», разработанный в Санкт-Петербургском университете.

Устный корпус современного разговорного итальянского языка LABLITA отражает устную неподготовленную итальянскую речь. Корпус включает в себя два подкорпуса: речь взрослых носителей современного разговорного итальянского (The LABLITA Corpus of Adult Spontaneous Spoken Italian) и корпус лонгитюдных исследований, отражающий усвоение речи детьми в развитии (LABLITA Collection of Longitudinal Corpora of Early Acquisition of Italian). Корпус начал создаваться в 1965 году. Устные записи сопровождаются орфографической транскрипцией и орфографической записью, синхронизированной со звуковой записью и интонационной транскрипцией. Корпус создается на

базе Лаборатории итальянского языка университета Флоренции. Корпус используется в работе над разнообразными научными проектами. Корпус доступен по ссылке <http://lablita.dit.unifi.it/corpora/descriptions/lablita/>, см. также [Cresti, Moneglia 2012].

Устный корпус современного разговорного иврита (Университет Тель-Авива, Corpus of Spoken Israeli Hebrew, CoSIH) нацелен на всестороннее отражение разнообразных демографических и контекстных условий общения. Корпус был призван отразить бесконечное разнообразие вариантов израильского иврита. Полнота отображения вариантов израильской речи достигается путем применения статистических и аналитических методов отбора данных в корпус. Отбор информантов, чья речь отражается в корпусе, ведется методом случайной выборки из населения Израиля. Параметры отбора информантов таковы: место рождения, происхождение (из какой страны приехал информант или его предки), этническая группа, религия, возраст, образование и пол. При классификации жанров общения в корпусе используются следующие критерии: отношения между коммуникантами, дискурсивная структура фрагмента общения, тема общения, количество участников, среда (общение лицом к лицу или по телефону). В корпусе широко представлены диалоги и полилоги. В настоящее время корпус находится в стадии пилотного проектирования, произведено от 6 до 18 часов непрерывных записей от каждого из 53 волонтеров, участвующих в работе. В основном это речь информантов и их собеседников в течение речевого дня. Информация о корпусе доступна на сайте <http://www.tau.ac.il/humanities/semitic/cosih.html>. О моделях представления данных в корпусе см. [Izre'el, Hary, Rahav 2001]. В настоящее время создатели продолжают работу, но сетуют на недостаточное финансирование. Особую научную ценность представляет структура корпуса, рассчитанная на социолингвистический и диалектный анализ языка.

Устный корпус языков магрибского ареала CORPAFROAS создается в сотрудничестве с израильскими учеными, разрабатывающими корпус COSIH. CORPAFROAS, включает данные по арабским диалектам (арабскому в Ливии, Марокко, мальтийскому арабскому), кушитским (хамитская ветвь) языкам Африки, берберским, чадским языкам и ивриту. Создание корпуса в существенной степени нацелено на анализ интонации. Корпус находится в стадии разработки, в настоящее время разработчики имеют для каждого языка по часу размеченной (фонетически и интонационно затранскрибированной, глоссированной и переведенной на английский язык) речи, см. сайты <http://corpafroas.tge-adonis.fr>, [http://www.inalco.fr/ina\\_gabarit\\_rubrique.php3?id\\_rubrique=2908](http://www.inalco.fr/ina_gabarit_rubrique.php3?id_rubrique=2908).

Корпус японского разговорного языка CSJ – один из самых мощных корпусов звучащей речи в мире. Японцы раньше других народов применили метод записи речевого дня носителей языка, добровольцев, которые согласились носить микрофон для записи их собственной речи в течение дня и записи речи их собеседников. Кроме того, в корпус включены спонтанные рассказы людей о жизни, записи лекций и докладов и записи чтения письменных текстов. 95% корпуса составляют спонтанные монологи. Корпус разговорной речи служит для анализа изменений языковой нормы с целью постоянной корректировки кодифицирующих документов. Японская языковая норма меняется совершенно официально достаточно часто. Корпус звучащей японской речи представляет собой базу данных, которая хранится на 18 DVD-дисках. Корпус содержит около 660 часов записей, включающих около 7,5 миллионов словоупотреблений. Корпус отражает речь 1400 японцев в возрасте от 20 до 80 лет. Доступ к текстам открыт с 2004 года. Тексты сопровождаются орфографической записью на японском языке, фонематической транскрипцией, синтаксическим описанием, интонационной транскрипцией, разбиением на единицы, имеющие общее словесное ударение (полноударное слово плюс клитики), и разбиением текста на слова. Все единицы текста, включая паузы, имеют временные характеристики (т. е. для каждой единицы указано время, прошедшее с начала конкретного отрезка речи). Информация о корпусе доступна на сайте [http://www.ninjal.ac.jp/corpus\\_center/csj/misc/preliminary/index\\_e.html](http://www.ninjal.ac.jp/corpus_center/csj/misc/preliminary/index_e.html); см. о корпусе также [Костыркин 2008].

Мультимедийный подкорпус Национального корпуса русского языка МУРКО. <http://ruscorpora.ru/search-murco.html> изначально включал в себя фильмы советского и российского производства и телепередачи в полном сопровождении соответствующих транскриптов. Таким образом, исследователю становится доступной не только орфографическая запись русских текстов, но также звучащий материал и видеосопровождение, которое позволило ввести в исследование анализ мимики и жестов, сопровождающих речь [Гришина 2013; Гришина в печати]. Транскрипты синхронизированы с аудио- и видеорядом, большинство транскриптов представляют собой тексты со снятой омонимией, что позволяет вести поиск по ключевым словам, лингвистическим пометам и их логическим комбинациям с немедленной выдачей не только найденных орфографических записей, но и звучанием в виде файла MP3 и видеофрагментом из фильма. Мультимедийный подкорпус Национального корпуса русского языка – это уникальный продукт, дающий средство для решения научных задач широкого диапазона, в

частности, таких, которые еще только будут поставлены учеными. В качестве серии исследований, сделанных на основе мультимедийного корпуса русского языка, можно привести работы одного из создателей русского подкорпуса Е.А. Гришиной, см., например, [Гришина 2005, 2009, 2013; Гришина, Савчук 2009; Гришина в печати].

С 2015 года в мультимедийный подкорпус Национального корпуса русского языка входит Мультимедийный параллельный корпус Мультипарк (русский) (<http://ruscorpora.ru/search-multiparc.html>), который включает в себя различные постановки, инсценировки и экранизации одной и той же пьесы. Работа начата с пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор». Различные режиссерские и актерские интерпретации одного и того же письменного текста представляют прекрасный материал для анализа плана выражения звучащих и жестовых языков, в частности, в их взаимодействии. Это уникальный проект, задуманный и начатый Е.А. Гришиной, к несчастью, ныне уже покойной.

В мультимедийный подкорпус Национального корпуса русского языка составной частью вошел результат многолетней работы сотрудников Санкт-Петербургского университета звуковой корпус русского языка «Один речевой день» (сбалансированная аннотированная текстовая и блок «Один речевой день»). В проекте исследовалась устная речь русскоязычных говорящих (выборка – 40 добровольцев, проводивших целые сутки с включенным диктофоном, который записывал разговоры информанта и его собеседников). На основе работы по созданию блока «Один речевой день» и Сбалансированной Аннотированной текстовой возникло большое количество научных работ, открывающих новую страницу в описании русского языка и посвященную анализу неподготовленной русской устной речи, см., например, [Богданова 2012].

Корпус «Рассказы о сновидениях» и другие корпуса звучащей речи *Spokencorpora.ru* содержит несколько аннотированных массивов устной русской монологической речи: «Рассказы о сновидениях», «Рассказы сибиряков о жизни», «Весёлые истории из жизни», «Истории о подарках и катании на лыжах». Все звучащие тексты снабжены транскриптами и размечены при помощи специально разработанной для данного корпуса системы интонационной транскрипции, включающей тонально-темпоральные показатели речи, пометы для пауз, самоперебивов, хезитаций и ошибок. Затранскрибированные тексты позволяют вести поиск по орфографической записи и прослушивать ограниченные результатами поиска фрагменты записи. Для синхронизации устного текста и транскрипта используется программная среда ELAN, см. [Рассказы о сновидениях 2009].

\*\*\*

Цель данного раздела главы состояла в том, чтобы дать анализ современных тенденций, сложившихся в теории коммуникативной структуры предложения: переход от исследования кодифицированной письменной речи к анализу звучащего текста, использование современных компьютерных систем анализа звучащей речи, верификация гипотез в процессе создания систем интонационного синтеза и машинных корпусов звучащей речи, разработка понятийного аппарата и метаязыка описания коммуникативных структур и интонационных средств их выражения, а также способов наложения интонационного контура на сегментный материал. В связи с этими проблемами были предложены следующие решения.

Определение ключевых понятий теории коммуникативной структуры – темы и ремы – предлагается давать с точки зрения теории речевых актов: рема в таком случае понимается как носитель значения иллюкутивной силы сообщения, а тема – как исходная точка для совершения речевого акта.

Среди подходов к анализу коммуникативной структуры и интонации как средства выражения коммуникативных значений предлагается выделять два различных подхода: композиционный и трансформационный, которые взаимно дополняют друг друга. Композиционный подход предполагает выделение ряда значений, которые образуют регулярные композиции значений с предсказуемым – не-идиоматичным – результирующим значением (так, значения ‘рема’ плюс ‘контраст’ дают значение ‘контрастная рема’) и соответствующими композиционными интонационными средствами выражения. Трансформационный подход основан на выделении базовых коммуникативных структур и соответствующих им базовых линейно-интонационных средств выражения, трансформации которых приводят к образованию новых, как правило, сугубо идиоматичных смыслов.

Анализ наложения коммуникативно релевантных изменений частоты основного тона на сегментный материал говорит о том, что словоформа-носитель интонационного пика в коммуникативной составляющей выбирается на основании фактора активации информации в сознании коммуникантов и ряда синтаксических иерархий, которые определяют приоритеты типов синтаксических структур как претендентов на роль акцентоносителя, а также таких факторов, как иерархия одушевленности, идиоматичность заполнения валентностей предиката предложения, синтаксическая сложность коммуникативной составляющей. Эти факторы определяют базовые языковые приоритеты, действующие при выборе акцентоносителя. Кроме базового принци-

па, в определенных прагматических условиях базовый выбор может уступать место другим принципам выбора: линейному принципу, принципу выбора иллокутивного показателя, а также выбору акцентонотителя, формирующего ритмическую структуру текста.

Современные методы, основанные на использовании компьютерных систем анализа интонации и корпусов звучащей речи, способны повысить полноту и точность описания коммуникативных структур и интонационных средств их выражения.

На примере анализа коммуникативных и интонационных структур языка здесь были представлены способы передачи знаний от одного поколения лингвистов последующим и типы соответствия звучащей речи и письменной.

## 2. Живые и спящие языки: дискурс и прагматика<sup>1</sup>

Проблематика взаимодействия устного и письменного дискурсов хорошо изучена на материале языков, которые используются для повседневной коммуникации. Исследуются спонтанная устная речь, ее отличие от письменного дискурса и их взаимовлияние, влияние написания на произношение, особенности озвучивания письменных текстов (декламации поэзии и других художественных текстов, рецитации научных текстов – скажем, докладов на конференциях и т. д.).

Менее исследованным остается взаимодействие письменного и устного дискурсов на материале языков, которые вышли из разговорного употребления. Однако исключать их из рассмотрения в этом аспекте нельзя, и причин тому несколько.

Во-первых, исторически распределение между письменным и устным дискурсами нередко коррелировало с распределением между языками: порождение устного дискурса происходило на живом языке, письменного – на языке, который перестал употребляться в спонтанной устной коммуникации.

Во-вторых, существуют ситуации, когда определенные устные дискурсивные практики закреплены именно за языками, на которых не говорят. Это может быть рецитация сакральных текстов: скажем, в русскоязычном обществе языком православной литургии остается церковнославянский, во многих мусульманских обществах – кораниче-

<sup>1</sup> Автор благодарит д.ф.н. Н.М. Азарову и к.ф.н. С.Ю. Бочавер за обсуждение работы с автором и их ценные замечания – А.П.

ский арабский (хотя говорят в этих обществах на других языках) – или поэзия: в средневековой Европе нередко даже простонародная поэзия (стихи министрелей) сочинялась на латыни, устная поэзия в современной западной Африке – на мандинка (хотя исполнители и слушатели могут быть носителями других языков) [Finnegan 1977: 109], в еврейской культуре на протяжении веков языком поэзии был прежде всего иврит (хотя в быту говорили на идише, ладино и других языках).

В-третьих, в ситуации, когда в обществе тем или иным набором функций обладает язык, вышедший из разговорного употребления, существует определенное взаимовлияние между этим языком и разговорным языком.

Почему и для чего в обществе может существовать такой язык? И как стоит его называть? Ответы на эти вопросы связаны с явлением *языковой смерти*, которому посвящено немало работ [Dressler 1972; Hill 1978; Dorian 1981; Rabin 1986; Вахтин 1998; Вахтин 2001; Tsunoda 2006; Засе 2012 и др.].

#### *Явление языковой смерти, мертвые и живые языки*

Как отмечает Н.Б. Вахтин, сам термин «языковая смерть» впервые, по-видимому, был предложен в 1948 году одним из крупнейших ученых-компаративистов М. Свадешем [Вахтин 2001, прим. 1] в работе [Swadesh 1948]. Речь шла о выходе языков из употребления в результате физической смерти их носителей или перехода носителей на другие языки. Для второй ситуации в дальнейшем был предложен, по-видимому, более удачный термин «языковой сдвиг» (см., например, [Gal 1979]).

Вслед за метафорой «языковая смерть» стали появляться и другие схожие метафоры: языки делились на живые и мертвые, отдельно говорят об угрожаемых языках, вышел сборник «Красная книга языков народов России» (М., 1994); существуют термины «распад языка» (language decay; см. [Засе 2012]), «клиническая смерть языка», «жизнеспособность языка», предлагалась метафора «язык-зомби».

В какой ситуации язык называют мертвым? Иными словами, каковы функциональные характеристики языковой смерти?

Границу между живыми и мертвыми языками разные исследователи проводят по-разному. Обзор точек зрения по этому вопросу приводится в работе японского лингвиста Тасаку Цунода «Угрожаемые языки и языковое возрождение»:

1) прекращение изменений, происходящих в языке (сам автор не считает этот критерий релевантным, утверждая, что даже язык, который принято считать мертвым, продолжает изменяться);

2) прекращение передачи языка следующим поколениям в обществе в целом (при этом могут оставаться отдельные семьи, в которых эта передача по-прежнему происходит);

3) прекращение устной коммуникации на языке в обществе в целом;

4) прекращение передачи языка следующим поколениям во всех семьях без исключения;

5) прекращение устной коммуникации на языке во всех семьях общества;

6) смерть последних носителей.

Точка зрения самого Цунода такова: он предлагает считать язык «мертвым» со смертью последнего частичного носителя [Tsunoda 2006: 36–39].

Этот список представляет собой, по сути, перечисление стадий одного процесса – выхода языка из употребления. Таким образом, логично представить языковую смерть как континуум ситуаций, связанных с утратой языком того или иного функционального признака. Такое представление предложено в работе Х.-Ю. Зассе «Теория языковой смерти» [Зассе 2012]: описан континуум от решения общества прекратить передавать язык детям (разрыва в передаче языка) [Зассе 2012: 441] до полной замены одного языка другим [Зассе 2012: 448]. Как и Цунода, Зассе выбирает определенную точку отсчета в этом континууме: он предлагает констатировать смерть в тот момент, когда на языке прекращается регулярная коммуникация, что понимается как прекращение производства устной речи на нем [Зассе 2012: 450].

Кроме того, Зассе вычленяет еще один важный фактор, который влияет на языковую смерть и определяет ее тип, – социолингвистический статус языка. Различаются «постепенная смерть», когда «язык теряется в результате постепенного сдвига в сторону доминирующего языка в ситуации языкового контакта», и «смерть *снизу вверх*» – так называемая «латинская модель», в которой «язык утрачивается сначала в контексте семейного общения и остается только в высоких ритуальных сферах» [Зассе 2012: 452]. В первом случае из употребления выходит вернакуляр: его вытесняет более престижный язык, на который носители по тем или иным соображениям считают нужным перейти. Во втором, наоборот, из употребления выходит престижный язык, т. е. языковой сдвиг происходит в пользу вернакуляра.

В этом отношении Зассе следует за другим лингвистом, который, по-видимому, впервые связал проблему языковой смерти с диглоссией и статусом языка, – Хаимом Рабиным. В работе «Языковое возрождение и языковая смерть» показано, что процессы возрождения и, соот-

ветственно, смерти высокого языка и вернакуляра происходят принципиально по-разному [Rabin 1986: 550, 552].

Эти процессы происходят постепенно:

Язык не выходит из употребления в одночасье, он теряет отдельные сферы использования: он может перестать быть разговорным языком, но оставаться языком письменным, или наоборот; он может уйти из публичного общения и хозяйственной деятельности, но продолжать использоваться в качестве домашнего языка и т. д. От него могут отказаться носители, принадлежащие к определенному социальному классу, – при том, что он будет продолжать использоваться в других классах... [Rabin 1986: 551].

Таким образом, акцент делается на утрате / возвращении тех или иных сфер употребления языка. Возрождение Рабин предлагает понимать как «увеличение социальной территории языка, в пределах той географической территории и той этнической группы, где он использовался и раньше» [Rabin 1986: 546], т. е. как расширение сфер употребления языка, языковую смерть – как их сужение. И то и другое является преодолением ситуации диглоссии.

Ранее было принято предполагать, что язык может быть либо живым, либо мертвым. В работе Рабина рассматриваются «пограничные» случаи, их анализ показывает, что между «смертью» и «жизнью» существует довольно большое количество промежуточных стадий. Более того, процессы, которые лежат в основе языковой смерти или языкового возрождения, происходят и тогда, когда явления смерти или возрождения для нас незаметны: скажем, едва ли мы сочтем умирающим язык, на котором перестали писать научные тексты, потому что все ученые – носители этого языка – решили публиковаться только по-английски.

Вслед за Рабиным процесс языковой смерти начал рассматриваться как континуум ситуаций. При этом исследователи выбирали одну из них и назначали ее пороговой: если язык имеет определенный набор сфер употребления, то его можно считать живым, а если нет, то невозможно. Выбор такого параметра (скажем, наличие спонтанной речи на этом языке) – т. е. выбор точки отсчета – может быть удобен для установления определенных рамок исследования. Особенно продуктивным он может быть при использовании в риторических целях (особенно для риторики языкового возрождения).

Однако более продуктивным, на наш взгляд, является подход, предложенный Т. Цунода: «Сохранность и, напротив, угрожаемое состояние языков составляют континуум, и тот или иной язык может быть сочтен мертвым в любой точке этого континуума» [Tsunoda 2006: 48]. По сути,

Цунода предлагает воспринимать оппозицию живых и мертвых языков не как эквиполентную, а как градуальную.

Мы согласны с подходом Т. Цунода и предлагаем сделать последний шаг: не только отказаться от бинарной оппозиции живых и мертвых языков, но и от практики выбора «точки отсчета» в описываемом континууме ситуаций.

Перечислим ситуации, входящие в этот континуум. Мы зададим их функционально, т. е. укажем на сферы употребления, которые утрачиваются языком:

1. Прекращение передачи языка от родителей к детям, т. е. отсутствие в молодом поколении людей, для которых он был бы родным (при этом язык продолжает использоваться в письменной и даже устной коммуникации), – так обычно происходит, когда один разговорный язык утрачивается в пользу другого, более престижного (например, некоторые языки малых народов России, некоторые языки индейцев США и аборигенов Австралии, языки «старой родины» в эмигрантских общинах).

2. Отсутствие порождения спонтанной устной речи на языке (при этом тексты на нем рецитируются, создается письменная продукция) – классический арабский, санскрит и латынь в средневековье.

3. Отсутствие какой бы то ни было устной речи на языке, в том числе рецитации древних текстов (при наличии письменного функционирования языка) – латынь в странах, где церковь перешла на местные языки, взънянь.

4. Отсутствие порождения письменной продукции на языке (старые тексты могут транслироваться, в том числе путем рецитации) – геэз в современной Эфиопии.

5. Отсутствие и порождения, и чтения письменных текстов на языке – шумерский, аккадский, древнеегипетский, древнегреческий языки.

Проявления этих признаков зависят от статуса языка в диглоссии. Если утрачивается вернакуляр, то обычно имеют место все пять признаков. Если же умирает высокий язык, то третье, четвертое и пятое условия не выполняются. Что же остается?

#### *Спящий язык*

Х.-Ю. Зассе (который, напомним, предлагает диагностировать смерть языка в тот момент, когда на языке прекращается спонтанная устная коммуникация) отмечает, что возможна «жизнь после смерти»:

У мертвого языка возможны разные виды «останков». Он может продолжать существовать как язык обрядов, как тайный язык, как про-

фессиональный жаргон и т. д. От него иногда остается кодифицированный вариант, который может использоваться в ритуальных и иных целях [Зассе 2012: 447].

Нередко неиспользование языка влечет за собой интересное последствие: чем меньше используется язык, тем выше его статус. Крайний случай этого явления – сакрализация языка – возможен только тогда, когда язык из устной коммуникации вышел практически полностью: разговорный язык не может считаться носителями святым.

Мы бы хотели остановиться именно на таких языках, которые не используются в разговорной коммуникации, но продолжают использоваться как-то иначе и нередко сакрализуются. Для обозначения таких языков мы предлагаем термин «спящий язык» [Полян 2014].

В англоязычной литературе существуют несколько терминов, в основе которых лежит похожая метафора. Х. Рабин говорит о “language hibernation” для обозначения состояния языка перед возрождением [Rabin 1986: 553], Л. Хинтон предлагает использовать термин “sleeping languages” [Hinton 2001], К. Лобо, Н. Варнер, К. Луна и Л. Батлер – “dormant languages” [Lobo 2001; Warner et al. 2007]. Мы предлагаем использовать термин «спящий язык» в русскоязычных работах, определив этот язык следующим образом:

1. он не передается от родителей к детям, т. е. не является родным ни для кого;
2. устная коммуникация на нем маргинальна или отсутствует вовсе;
3. он участвует в ситуации диглоссии и выполняет роль высокого (письменного и престижного) языка, нередко сакрализуется, и именно это обстоятельство препятствует его использованию в повседневной устной коммуникации;
4. продолжается трансляция и рецитация древних текстов на нем;
5. на нем создается новая письменная продукция.

К спящим языкам можно отнести средневековую латынь, классический арабский, иврит (после выхода из разговорного употребления и до возрождения), церковнославянский, взънянь, с некоторой оговоркой – санскрит вплоть до конца XIX в.

Спящие языки всегда участвуют в ситуации диглоссии и сосуществуют с живыми языками. Живой язык, образующий пару со спящим, всегда оказывается вернакуляром. Между этими двумя языками существует определенное взаимовлияние.

В остальном распределение функций между языками, как было отмечено в начале данного раздела главы, может быть различным, и нередко оно коррелирует с оппозицией устного и письменного.

*Оппозиция устное – письменное*

В сущности, оппозиций *устное – письменное* более одной: это противопоставление проводится в антропологии (противопоставляются «письменное» и «устное общество», для последнего характерен особый менталитет, особое устное мышление, связанное с верой в магическую силу слова, и особое устройство устного нарратива, его связь с мифом и ритуалом [Ong 1982; Goody 1987, 2010]), в литературе (устная и письменная литература функционируют по-разному) и т. д. Мы сосредоточимся на лингвистическом понимании этой оппозиции.

Прежде всего, оппозиция устного и письменного – это противопоставление по параметрам «звучащее – не звучащее» и «зафиксированное на письме – не зафиксированное на письме». Однако в русскоязычной лингвистической литературе традиционно в эту оппозицию включается еще и стилистический критерий. Так, в «Словаре-справочнике лингвистических терминов» под ред. Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой приводится следующее определение понятий «устная и письменная речь»:

1. Разновидности речи, различающиеся внешними средствами выражения высказывания. Письменная форма речи (речь, зафиксированная на письме). Устная форма речи (речь звучащая).

2. Стилистические разновидности речи, различающиеся степенью соблюдения норм литературного языка. Письменная речь (речь, характеризующаяся более строгим соблюдением литературной нормы). Устная речь (речь, характеризующаяся более свободным отношением к литературной норме) [Розенталь, Теленкова 1976].

Аналогичную конвергенцию понятий отмечают авторы энциклопедии «Русский язык»:

Книжная речь – сфера литературной речи (гл[авным] обр[азом] письменной), концентрирующая книжно-письменные языковые средства. В совр[еменном] рус[ском] лит[ературном] языке К. р. входит в оппозицию с разговорной речью <...> Эта оппозиция существует наряду с оппозицией по другому признаку: письменная речь – устная речь. К[нижная] р[ечь] существует в основном в письменной форме, разговорная – в устной (и в синхронном, и в диахроническом плане это первичные формы их существования) [Русский язык 2008: 189–190].

Похожее определение, сочетающее противопоставление звучащего и не звучащего и противопоставление стилей, приводится в Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка [Стилистический словарь русского языка 2003] и в ряде других работ.

Авторы энциклопедии «Русский язык» описывают стилистический континуум, в котором одним из параметров установления границ между регистрами является устное / письменное бытование языка:

## I. Книжно-письменный тип

## 1. Специальная речь:

- 1.1. письменная научная
- 1.2. письменная официально-деловая
2. Художественно-изобразительная речь:
  - 2.1. Письменная публицистическая
  - 2.2. Письменная художественная

## II. Устно-разговорный тип

## 1. Публичная речь:

- 1.1. устная научная
- 1.2. устная радио- и телевизионная речь
2. Разговорная речь (устная разговорная) [Русский язык 2008: 225].

Проблему для подобных классификаций представляют ситуации озвучивания письменных текстов. В энциклопедии «Русский язык» отмечается, что «нельзя считать разновидностью у[стной] р[ечи] чтение вслух написанного текста, например: чтение худож[ественных] произведений актерами, театральные спектакли (в эстетической сфере у[стная] р[ечь] представлена фольклором), чтение готового текста науч[ного] доклада и т. п.» [Русский язык 2008: 190]. Декламацию произведений, в т.ч. фольклорных, автор статьи не относит к устной речи. Очевидно, критерием в данном случае выступает спонтанность коммуникации: устная речь, даже если она частично подготовлена заранее, должна быть в определенной степени спонтанна.

Автор статьи «Устная речь» Е.А. Земская отмечает, что устная речь является единственной формой существования некоторых языков и территориальных диалектов. Для разграничения письменного и устного она вводит функциональный критерий:

– для разг[оворного] лит[ературного] языка устная форма является основной, тогда как книжный язык <...> функционирует и в письменной, и в устной форме (доклад, лекция, выступление на собрании, по радио, телевидению и другие виды массовой коммуникации) [Земская 2008: 582];

– для неспонтанной коммуникации («речь читаемая или выученная наизусть») предлагается термин «звучащая речь».

Таким образом, для русского языка в отечественной лингвистике принято выделять четыре признака категории устного: звучащее, не записанное, спонтанное и стилистически разговорное. Оппозиция устного и письменного имеет следующий вид: «устное – звучащее – не записанное – спонтанное – речь» vs. «письменное – не звучащее – записанное – не спонтанное – текст».

Обращение к новому эмпирическому материалу, в частности к материалу языков Азии и Африки, а также учет межъязыкового и междискурсивного взаимодействия заставляют пересмотреть эту оппозицию. В русскоязычной лингвистике эта оппозиция была оспорена с опорой на материал японского языка: в работах В.М. Алпатова [Алпатов 2003 и др.] и Е.В. Маевского [Маевский 2000] продемонстрирована не тождественность устного и разговорного, письменного и книжного. Показано, что написанный текст в письменной форме информативно не тождествен озвученной версии того же текста.

#### *Оппозиция устное–письменное для спящего языка*

Рассмотрим эту оппозицию на материале языка, который не используется в устной коммуникации: «спонтанной», «не записанной», «звучащей» речь на таком языке бывает крайне редко. Соответственно, значение параметра «устное–письменное» для живого и «спящего» языка различно.

Оппозицию «устного» и «письменного» мы предлагаем трактовать как тернарную: «устное» – «озвучиваемое» – «письменное». Устное – спонтанно, озвучиваемое и письменное – нет. Устное и озвучиваемое имеют акустическую реализацию, письменное – нет. Озвучиваемое предполагает реализацию уже созданного, готового текста, устное и письменное – нет.

Для бытования живого языка характерны все три компонента этой оппозиции: первый – это спонтанная речь, звучащая и не записанная; второй – устное воспроизведение (озвучивание) записанного текста; третий – письменная речь. Для спящего языка практически не характерен первый член оппозиции – «устное». Этого компонента практически нет в бытовании спящего языка, однако это не значит, что его нет в конкретной исторической языковой ситуации. Спящий язык не существует отдельно от живых языков, на которых и происходит устная коммуникация, и потому в описываемой языковой ситуации компоненты оппозиции распределены между разными языками: «устное» закреплено за живым языком, а «письменное» и «озвучиваемое» – за спящим, для спонтанной коммуникации использовался не другой регистр языка (на котором формируется «устная речь»), а другой язык.

В большинстве случаев для спонтанной *устной* коммуникации используется живой язык, однако бывают исключения. Спящие языки могут использоваться при обучении и в риторических целях [Ong 1982: 109–113]. Так, в средневековье в определенных кругах латынь использовалась не только для письменной коммуникации и трансляции ста-

рых текстов, но для спонтанной устной коммуникации (скажем, все общение в средневековом европейском университете происходило на латыни). Нередко спящие языки используются в качестве криптоязыков: на них устно и спонтанно порождаются фразы, которые должны быть понятны лишь части слушателей. В некоторых еврейских общинах средневековья и нового времени иврит использовался в ряде коммуникативных практик: в среде палестинских мистиков на нем могли говорить по субботам (сакральный язык воспринимался как единственно возможное средство общения в святой день) [Elior 2013: 61; Rabin 1971: 32], в иешивах (семинариях) Марокко и Йемена на иврите было принято вести ученые диспуты [Moag 2004: 6]. Наконец, спящие языки могут использоваться как языки-посредники, когда других общих языков у коммуникантов нет.

Со спящим языком обычно связан член оппозиции «озвучиваемое». Спящий язык старше, чем живой, – и существует некоторый корпус древних текстов, которые изучаются, нередко заучиваются и передаются из поколения в поколение. Прежде всего, это сакральные тексты – священные писания и молитвы, которые регулярно озвучиваются (рецитируются) в ходе богослужения или индивидуальной молитвы. Кроме того, это художественные тексты, которые могут рецитироваться или декламироваться. На живом языке, который сосуществует со спящим, таких текстов существенно меньше.

Мы различаем декламацию – интерпретирующее чтение, направленное на то, чтобы произвести определенное воздействие на слушателей, и рецитацию – «чистое» чтение, которое не интерпретирует читаемый текст, которое обращено обычно к идеальному адресату (например, божеству – при рецитации сакральных текстов). Итак, для живого языка возможна декламация, для спящего – и декламация, и рецитация.

Даже если письменный текст на спящем языке читается про себя, он нередко озвучивается – проговаривается. В средневековой Европе чтение на спящей латыни было более «устным», чем чтение на живых языках: латынь не была ни для кого родным языком, понимание текста на ней было более трудным и требовало дополнительного проговаривания прочитанного – шепотом или вслух [Mostert 2012: 25–26]. Более того, озвучивание имело место и при создании письменных текстов. Так, анализируя ошибки, допущенные хеттскими писцами при переписывании аккадских табличек, немецкий исследователь Т. Шойхер вычленяет устные аспекты бытования текстов даже в работе писцов: ошибки, связанные с неправильным фонетическим воспроизведени-

ем оригинала, возникают в результате диктовки текстов. Письменный текст прочитывается, проговаривается – и только потом записывается снова. В свою очередь, записанный текст может послужить началом новому циклу устного воспроизведения [Scheucher 2012: 137–146].

Обычно озвучивание текстов на спящем языке предполагает наличие записанного текста. Так, сакральные тексты читаются во время богослужения по книге или свитку, проговаривание текста при диктовке писцам предполагает наличие перед глазами у проговаривающего рукописи или, скажем, глиняной таблички.

Однако не всегда это так. Озвучиваться может и текст, письменной репрезентации которого озвучивающий никогда не видел. Например, в Индии древние тексты – и сакральные, и научные, и художественные – передавались изустно, а письменность использовалась практически исключительно в прикладных целях – для записей при сборе налогов и т. п.<sup>1</sup>, так что древние тексты просто не записывались и, соответственно, не читались с листа.

Однако в целом озвучиваемый текст на спящем языке мыслится как *письменный*, поскольку как язык письменный мыслится сам спящий язык. Иврит и арабский в средневековье – это языки, на которых созданы сакральные тексты, которые были записаны (и тем противопоставлены последующим текстам – толкованиям и комментариям – которые традиционно передавались изустно). В средневековой европейской культуре древнегреческий и латынь – это также языки письменной культуры, обладающие мощной письменной традицией.

Вернакуляр мыслится как устный язык и нередко не обладает письменностью вовсе. Однако в том случае, если на нем создаются тексты, они отличаются от текстов на спящем языке по своим жанровым и структурным особенностям.

И на живом, и на спящем языках может существовать устная поэзия, однако характер текстов и их бытования будут для живых и спящих языков различными. Устная поэзия, порождаемая на живом языке, – это прежде всего фольклор, доступный неграмотным слушателям и чаще порождаемый (или изменяемый) неграмотными сказителями текст [Scholz 1980: 35–37]. Устная поэзия на спящем языке так или иначе связана с письменностью. И автор, и его слушатели были грамотными и могли читать. Нередко успешное восприятие устной литургической поэзии на спящем языке (грекоязычной византийской, иврито-

<sup>1</sup> Автор благодарит чл.-корр. РАН д.ф.н. В.М. Алпатова, который поделился примером при обсуждении темы исследования с автором.

язычной, латиноязычной) требовало совершения определенной мыслительной операции во время слушания – перекодирования поэтического текста из устной в письменную форму – и обратно (для восприятия акростиha или правильного членения текста на строки и строфы). На живом языке возможна наивная поэзия – на спящем языке ее крайне мало. Устная поэзия на живом языке весьма вариативна, поскольку ее трансляция предполагает и поощряет не только заучивание и устную передачу, но и сотворчество, дополнение [Finnegan 1977: 139–153]. Устная поэзия на спящем языке также подвержена изменениям при трансляции, но стремление сохранить текст гораздо заметнее, и вариативность устной поэзии на спящем языке значительно ниже.

#### *Взаимовлияние спящего и живого языков*

Влияние спящего языка на живой проявляется в нескольких мало связанных между собой аспектах. Во-первых, тексты на спящем языке являются своего рода примером для подражания и прецедентными текстами для создания текстов на живом языке. На живом языке пишут или создают устные тексты с оглядкой на то, что написано на спящем языке. Тексты на живом языке могут быть переложениями текстов на спящем, могут быть заимствованы сюжеты и мотивы. Во-вторых, спящий язык служит для пополнения лексикона живого языка: из спящего языка заимствуются отдельные слова или морфемы для создания новых слов живого языка; заимствуются выражения, которые функционируют в живом языке в качестве всеми узнаваемых цитат. В-третьих (это соображение не относится собственно к языку, но имеет огромную важность для письменного дискурса), спящий язык становится источником письменности для живого языка.

Влияние живого языка на спящий осуществляется прежде всего на уровне фонологии. Фонологическое существование спящего языка практически всегда претерпевает сильное влияние живого языка – родного языка говорящего, поэтому существуют различные региональные произносительные традиции спящих языков. Так, в различных регионах Европы развились местные (итальянский, французский, испанский и т. д.) варианты чтения текстов на латыни; устная рецитация текстов на вэньяне происходила в рамках фонологии китайских диалектов; под влиянием местных еврейских языков происходило формирование региональных произносительных традиций иврита (ашкеназской, сефардской и др.) и т. д.

Под влиянием фонетики и фонологии живого языка изменяется фонетическая реализация фонем спящего языка, нередко может ме-

няться и его фонологическая структура (скажем, в восточноевропейском иврите исчезло противопоставление фонем  $\eta$  и  $\zeta$ , которые произносились как глухая гортанная смычка и звонкий фарингал соответственно, поскольку в фонетическом инвентаре местного живого языка, идиша, оба эти звука отсутствовали; в ситуациях, когда латынь сосуществовала с языком, где нет противопоставления гласных по долготе и краткости, соответственно изменялся вокализм местного варианта латыни). Это влияние особенно сильно в области просодии, поскольку, как правило, просодия иностранного языка рефлектируется слабее, чем другие его фонетические черты – как, например, наличие экзотических для родного языка звуков и система аллофонии [Янко 2008: 8; Вайнрайх 1973: 7–28]. Тем более проблематична рефлексия о просодии языка, который манифестируется прежде всего в письменных текстах, – и просодия спящего языка просто замещается просодией живого языка.

Кроме того, может проявляться определенное синтаксическое и семантическое влияние: под влиянием живого языка может изменяться порядок слов в текстах на спящем языке, может копироваться структура тех или иных синтаксических конструкций; слова могут приобретать новые значения или вовсе менять значение под влиянием созвучных или родственных слов в живых языках.

Вопрос о бытовании спящих языков и взаимовлиянии дискурсов на спящих и живых языках представляется малоисследованной проблемой. Думается, что дальнейшее ее рассмотрение может обогатить наши представления о межъязыковом и междискурсивном взаимодействии.

## Литература

- Адамец П. Образование предложений из пропозиций в русском языке. Acta Universitatis Carolinae Philologica. Monographia LXIX. Praha. 1978.
- Алпатов В.М. Япония: язык и общество. М., 2003.
- Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.
- Богданова Н.В. О проекте словаря дискурсивных единиц русской речи (на корпусном материале) // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Международной конференции Диалог. М., 2012.
- Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. 6. М., 1973.

- Вахтин Н.Б.* Исчезновение языка и языковая трансформация: заметки о метафоре «языковой смерти» // Типология. Грамматика. Семантика: К 65-летию Виктора Самуиловича Храковского. СПб., 1998.
- Вахтин Н.Б.* Условия языкового сдвига (К описанию современной языковой ситуации на Крайнем Севере) // Вестник молодых ученых. Серия: Филологические науки. № 1. СПб., 2001.
- Гришина Е.А.* Устная речь в Национальном корпусе русского языка // Национальный корпус русского языка: 2003–2005. М., 2005.
- Гришина Е.А., Савчук С.О.* Корпус устных текстов в НКРЯ: состав и структура // Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы. СПб., 2009.
- Гришина Е.А.* Мультимедийный русский корпус (МУРКО): проблемы аннотации // Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы. СПб., 2009б.
- Гришина Е.А.* Русская темпоральная жестикуляция // Известия РАН. ОЛЯ. № 1, 2013.
- Гришина Е.А.* Русская жестикуляция с лингвистической точки зрения (корпусные исследования), в печати.
- Зализняк А.А.* Древнерусские энклитики. М., 2008.
- Зассе Х.-Ю.* Теория языковой смерти // Вахтин Н.Б. (ред.). Социолингвистика и социология языка. СПб, 2012.
- Земская Е.А.* Устная речь // Русский язык. Энциклопедия / Ред. Ю.Н. Караулов. М., 2008.
- Кодзасов С.В.* Законы фразовой акцентуации // Просодический строй русской речи. М., 1996.
- Ковтунова И.И.* Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., 1976.
- Ковтунова И.И.* Структура художественного текста и новая информация // Синтаксис текста. М., 1979.
- Костыркин А.В.* Корпус японской разговорной речи // Национальный корпус русского языка: 2006–2008. Новые результаты и перспективы. СПб., 2009.
- Лобанов Б.М.* Опыт создания мелодических портретов сложных повествовательных предложений русской речи // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международной конференции Диалог'2015 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. М., 2015.
- Лобанов Б.М., Цирульник Л.И.* Компьютерный синтез и клонирование речи. Минск, 2008.
- Маевский Е.В.* Графическая стилистика японского языка. М., 2000.

- Мартемьянов Ю.С. Заметки о строении ситуации и форме её описания // Машинный перевод и прикладная лингвистика. Вып. 8, М., 1964.
- Мартемьянов Ю.С. Логика ситуаций. Строение текста. Терминологичность слов. М., 2004.
- Падучева Е.В. Коммуникативная структура предложения и понятие коммуникативной парадигмы // НТИ, Сер. 2. N 10. 1984.
- Падучева Е.В. Высказывание и его соотносённость с действительностью. 6-е изд. М., 2010.
- Падучева Е.В. Коммуникативная структура предложения. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики (<http://rusgram.ru>). На правах рукописи. М. 2015.
- Подлеская В.И. «То есть, не убили, а зарезали саблей»: самоисправление говорящего в устных рассказах // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международной конференции Диалог'2014 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. М., 2014.
- Полян А.Л. Иврит III–XIX вв. н.э. как «спящий язык» // Вопросы языкознания. 2014. № 5.
- Рассказы о сновидениях: корпусное исследование устного русского дискурса: монография / А.А. Кибрик, В.И. Подлеская (ред.). М., 2009.
- Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М., 1976.
- Русская грамматика, Т. 1, М., 1982.
- Русский язык. Энциклопедия / Ред. Ю.Н. Караулов. М., 2008.
- Светозарова Н.Д. Акцентно-ритмические инновации в русской спонтанной речи // Проблемы фонетики. Вып. I. М. 1993.
- Севбо И.П. Структура связного текста и автоматизация реферирования. М., 1969.
- Стилистический энциклопедический словарь русского языка 2003 / Гл. ред. М.Н. Кожина. М., 2003.
- Циммерлинг А.В. Локальные и глобальные правила в синтаксисе // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Труды Международной конференции по компьютерной лингвистике и ее приложениям Диалог. М., 2008.
- Янко Т.Е. Коммуникативные стратегии русской речи. М., 2001.
- Янко Т.Е. Интонационные стратегии русской речи в сопоставительном аспекте. М., 2008.
- Янко Т.Е. Просодические средства эмпазы // Фонетика и нефонетика. К 70-летию Сандро В. Кодзасова. М., 20086.
- Янко Т.Е. Просодия предложений со «снятой» иллокутивной силой // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. Тру-

ды Международной конференции Диалог'2010 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. М., 2010.

- Янко Т.Е. Чтение как результат интерпретации // Когнитивные исследования языка. Механизмы языковой когниции. Выпуск X. Тамбов, 2013.
- Bolinger D.* A Theory of Pitch Accent in English // *Word*, 14, 1958.
- Bolinger D.* Contrastive Accent and Contrastive Stress // *Language*, 37, 1961.
- Bonnot Ch., Fougeron I.* L'accent de phrase non-final en russe. Est-il toujours un signe d'expressivité ou de familiarité? // *Bulletin de la Société de Linguistique de Paris*. Tome LXXVII. 1982. Paris.
- Bonnot Ch., Fougeron I.* Accent de phrase non-final et relations interénonciatives en russe moderne // *Revue des études slaves*. Tome 55. 1983. Paris.
- Chafe W.* Givenness, Contrastiveness, Definiteness, Subjects, Topics, and Point of View // *Subject and Topic*. New York, 1976.
- Cresti E., Moneglia M.* The relationship between information patterning and syntax in the frame of the Language into Act Theory // Пятая международная конференция по когнитивной науке. Тезисы докладов. Т. II. Калининград, 2012.
- Daneš F.* Functional sentence perspective and the organization of the text // *Papers on Functional Sentence Perspective*. The Hague, 1974.
- Dorian N.* Language death: The life cycle of a Scottish Gaelic dialect. Philadelphia, 1981.
- Dressler W.* On the phonology of language death // *Papers from the eighth regional meetings of Chicago linguistic society* / Ed. by Paul M. Peranteau et al. Chicago, 1972.
- Dryer M.S.* Focus, pragmatic presupposition, and activated propositions // *Journal of pragmatics*. 26, 1996.
- Elior R.* 'ivrit mi-kol ha-'avarim // Y. Benziman (ed.). *Leshon rabim: ha-'ivrit ki-sefat tarbut*. Jerusalem, 2013.
- Enkvist N.E.* Marked focus: functions and constraints // *Studies in English Linguistics for Randolph Quirk*. London, 1979.
- Finnegan R.* Oral poetry: its nature, significance, and social context. Bloomington, 1977.
- Firbas Ja.* Some aspects of the Czechoslovak approach to problems of the functional sentence perspective // *Papers on Functional Sentence Perspective*. The Hague, 1974.
- Firbas Ja.* On «Existence/appearance on the scene» in functional sentence perspective // *Prague Studies in English*. Praha.V. XVI. 1975.

- Firbas Ja.* Communicative dynamism // Handbook of Pragmatics. Amsterdam, 2001.
- Gal S.* Language shift: Social determinants of linguistic change in bilingual Austria. New York, 1979.
- Givón T.* Topic Continuity in Discourse: A Quantitative Cross Language Study. Typological Studies in Language 3. Amsterdam, 1983.
- Goody J.* The Interface Between the Written and the Oral. Cambridge, 1987.
- Goody J.* Myth, Ritual and the Oral. Cambridge, 2010.
- Haiman J.* Conditionals Are Topics // Language. Vol. 54. No. 3. 1978.
- Halliday M.* Notes on transitivity and theme in English. Part 2 // Journal of Linguistics, 3, 1967.
- Hill J.* Language death, language contact and language evolution // Approaches to language: Anthropological issues / Ed. by William McCormack and Stephen Wurm. The Hague; Paris, 1978.
- Hinton L.* Sleeping languages: Can they be awakened? // L. Hinton, K. Hale (eds). The green book of language revitalization in practice. San Diego, 2001.
- Isachenko A.V.* Frazovoe uderenie i poriadok slov // To Honor Roman Jacobson: Essays on the Occasion of His Seventieth Birthday, 11 October 1966, The Hague/Paris, 1967.
- Izre'el Sh., Hary B., Rahav G.* Designing CoSIH: The Corpus of Spoken Israeli Hebrew // International Journal of Corpus Linguistics. 2001. N6.
- Kuno S., Kaburaki E.* Empathy and Syntax // Linguistic Inquiry. Vol. 8, No. 4, 1977.
- Liberman A.* The Interplay of Sentence and Word Stress in Germanic, Synchronic and Diachronic // Phonetik und Nordistik. Festschrift für Mag-nús Pétursson zum 65. Geburtstag. Forum Phonetikum 73. Frankfurt am Main, 2006.
- Lobo K.* Bringing a «dead» language back to life: Beginning language instruction for dormant languages. MA Thesis. Berkeley, 2001.
- Mathesius V.* A Functional Analysis of Present Day English on a General Linguistic Basis. The Hague – Paris, 1975.
- Morag Sh.* 'Iyunim ba-'ivrit, ba-aramit u-vi-leshonot ha-yehudim. Jerusalem, 2004.
- Mostert M.* Latin Learning and Learning Latin: Knowledge Transfer and Literacy in the European Middle Ages // Theory and Practice of Knowledge Transfer. Studies in School Education and the Ancient Near East and Beyond. Papers Read at a Symposium in Leiden, 17–19 December 2008. Ed. by W.S. van Egmond and W.H. van Soldt. Leiden, 2012.
- Ong W.* Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London; New York, 1982.

- Rabin Ch.* 'Iqare toldot ha-safa ha-'ivrit. Jerusalem, 1971.
- Rabin Ch.* Language Revival and Language Death // The Fergusonian Impact. In Honor of Charles A. Ferguson on the Occasion of His 65-th Birthday / Ed. by J. Fishman, A. Tabouret-Keller, M. Clyne, Bh. Krishnamurti, M. Abdulaziz. Berlin-New York-Amsterdam, 1986. Vol. 2.
- Scheucher T.* Errors and mistakes: The Narrow Limits of Orality-Literacy Research in the Study of Ancient Cultures – The Case of Lexical Lists from Ancient Hattusha // Theory and Practice of Knowledge Transfer. Studies in School Education and the Ancient Near East and Beyond. Papers Read at a Symposium in Leiden, 17–19 December 2008. Ed. by W.S. van Egmond and W.H. van Soldt. Leiden, 2012.
- Scholz M.G.* Hören und Lesen. Studien zur primären Rezeption der Literatur im 12. und 13. Jahrhundert. Wiesbaden, 1980.
- Schwarzschild R.* Givenness, AvoidF and other constraints on the placement of accent // Natural Language Semantics. 7. 1999.
- Steedman M.* Information Structural Semantics for English Intonation // Topic and Focus: Cross-Linguistic Perspectives on Meaning and Intonation. Dordrecht, 2007.
- Swadesh M.* Sociologic notes on obsolescent languages // IJAL. 1948. Vol. 14.
- Tsunoda T.* Language endangerment and language revitalization: An introduction. Berlin, 2006.
- Wagner M.* Prosody and Recursion. PhD thesis. MIT. 2004.
- Warner N., Luna Q., Butler L.* Ethics and revitalization of dormant languages: The Mutsun language // Language documentation and conservation. 2007. No. 1.
- Yanko T.* Sentence incompleteness vs. Discourse incompleteness: pitch accents and accent placement // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной Международной конференции Диалог. М., 2013.
- Zwicky A.M.* Forestress and afterstress // OSU WPL 32. 1986.

раздел 4. Взаимодействие кодов  
в культурных практиках

## глава 4.1. Формы изменчивости в языке и культуре: типы адаптаций

С.Г. Проскурин, А.В. Проскурина

Под влиянием работ Ф. де Соссюра у лингвистов сложился стереотип противопоставления системно-структурного анализа как анализа, принципиально связанного с синхронией, анализу асистемному как исследованию разновременных (а поэтому не входящих в единую систему) фактов. В отношении истории языка как лингвистической дисциплины давно известно, что она может строиться как атомистически диахронно (как история отдельных языковых элементов и форм), так и системно-синхронно (как изучение истории языка по периодам, по синхронным срезам, в течение которых язык принято рассматривать «тождественным самому себе»). Данное терминологическое противопоставление обычно заимствуется для описания содержательных аспектов языка. По укоренившейся традиции исследования, рассматривающие группу лексем на материале нескольких периодов, принято называть «диахроническими» (см. в англистике: [Аксенова-Пашковская 1954; Уфимцева 1957]) в противоположность «синхроническим», ограничивающим материал рамками отдельного периода (см: [Добрунова 1972; Бондаренко 1981; Бочкарева 1984; Зорина 1985; Козлова 1989]). Принцип синхронического описания предполагает, «что исторические соображения не существенны для исследования определенного состояния языка» (ср. «синхронность» как идея никогда не достижимой одномоментности [Трубачев 1976: 149]), когда диахроническое исследование стремится к описанию его исторического развития «во времени» [Лайонз 1978: 62–63].

Как известно, жизнь основана на размножении репликаторов определенного типа – полинуклеотидов РНК и ДНК. Но это далеко не единственный тип репликаторов, существующий в природе. В культурной эволюции важную роль играют мемы – единицы культурной информации, которые используют наш разум для собственного выживания и размножения как гены используют клетку [Марков, Наймарк 2014: 28]. Мемом называется такая цепочка языковых единиц, которая обретает способность к репликации, то есть к передаче. Такая способ-

ность получилась благодаря представившейся возможности распознаться в качестве некоторого целого, которое обладает важным свойством восстанавливаться вслед за господствующим компонентом. Этим целям служит коммуникативное расширение формул. Учитывая предполагаемый изоморфизм генетического и семиотического кодов (см.: [Гамкрелидзе 1988]), мы определяем ключевое условие коммуникативного расширения формул – это четыре типовые мутации культурной информации. В свое время мы определили (см.: [Проскурин 1990]) три типовые конструкции, объясняющие содержательные трансформации:

А) переосмысление конвенциональных формул, то есть тип «одна формула: два смысла» ср. *ne...middangeardes men mundgripe maran* (В., 751–753) – «Нет в среднем мире...людей с хваткой руки сильней» (о культурном герое англосаксов Беовульфе); *ne maerra man geond middangeard* (Men., 161) – «Нет славней человека в среднем мире» (об Иисусе Христе) (микромотив «человек в среднем мире»);

Б) лексические замены ключевого термина с сохранением первоначальной семантической структуры, т. е. сохранение означаемого (и связанного с ним культурного нексуса) при обновлении означающего, ср. *middangeard beofað* – «средний мир дрожит», *beofað ealle beorhte gesceaft* – «дрожит все яркое творение» (микромотив «конец мира»);

В) порождение новых сочетаний и оборотов с иной семантической структурой по отношению к установленным архаическим формулам, ср. *weorold wendeð* – «мир вращается (по кругу)»; *weorold gewiteð* – «мир уходит» (микромотив «движущийся мир»).

Далее, в проведенном Проскуриной А.В. исследовании «Англосаксонских Хроник» (см.: [Проскурина 2015]) определен также и четвертый тип трансформации формул и клише – «тип Г», который представляет собой описание с заменой лексемы в контексте формулы с одним и тем же предикатом. В чем-то он напоминает «тип Б», но нексус (то есть закрепленный культурный смысл) не сохраняется, а сама формула обозначает разные явления в рамках одной темы.

Г) “*Her sunne aþiastrode*” «Здесь солнце померкло»; “*Her se mona aðistrode*” «Здесь луна померкла».

Данная типология речевых преобразований в рамках контекстуального микромотива основывается на двух фундаментальных механизмах языка – консервативном и инновационном.

Консервативный механизм воплощается, в частности, в двух разновидностях фрагментов текста: поэтических формулах и клишированных выражениях прозы. Инновационная модель всегда относительна, и ее выделение становится возможным только на фоне архаических

структур. Таким образом, в рамках отдельных микромотивов могут устанавливаться отношения по шкале «консервативный – инновационный». Сказанное позволяет характеризовать приводимые типы речевых преобразований по степени инновационности.

В данном исследовании лексика в употреблении рассматривается в контекстуальных микромотивах, под которыми понимается множество высказываний, построенных по общим правилам и объединяемых на основании единой культурной темы. Такое множество высказываний не составляет какого-либо отдельного текста, а является репрезентативной выборкой разных текстов, расположенных в хронологической перспективе. Однако сам микромотив в рамках данной культурной темы рассматривается тождественным самому себе при постоянной перестройке, эволюции его составляющих, т. е. является некоторой константой. Сама базовая семантика по отношению к микромотивам является организующим принципом, поскольку предстает эквивалентной понятию «тема». Как известно, возможность сохранения тождества в процессе функционирования и эволюции языковой системы обеспечивается свойственными этой системе механизмами конвенциональности и регулярности употребления языковых единиц. Таким образом, культурная тема в рамках контекстуального микромотива получает выражение в опорных конструкциях. Такие опорные конструкции включают синтаксическую компоненту, определяемую как «стандартная» структура, а также семантическую компоненту, которую допустимо назвать тематической основой.

Как показал анализ, «тип А» в древнеанглийской традиции, а именно в «Англосаксонских Хрониках» не представлен, вероятно, он редко встречается в рамках одного жанра. Несомненно, что «тип А» присутствует в самой традиции (см. ниже), но для этого нужно тестировать формулы «Англосаксонских хроник» на базе других жанров, и тогда, возможно, формулы, присутствующие в «Англосаксонских хрониках», могут реадаптироваться.

Выражения из Библии, употребляемые носителями английского языка, оформляются двояко: во-первых, как прямые цитирования из Библии; во-вторых, как адаптированные формульные единства. Разница между ними заключается в том, что при прямом цитировании референционный план остается неизменным, тогда как при адаптации происходят различные изменения, классифицированные нами на четыре типа мутаций («А», «Б», «В», «Г»).

В Оксфордском словаре имеется большое количество примеров цитат, взятых из Библии. Например, референционный план текста из Кни-

ги пророка Исаии Isaiah ch. 29, v. 9 “They are drunken, but not with wine” («Они пьяны, но не от вина») при употреблении не изменяется. Наблюдается также сохранность и неизменность референционного плана текстов молитв, например, “Pater noster”, которая передается из поколения в поколение и является старейшей из ныне известных: St Matthew ch. 6, v. 9. См. также в St Luke ch. 11, v. 2: “After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen”.

Отличие адаптации библейской формулы от цитирования заключается в смене референционного плана высказывания. Например, изначально цитата Matthew 5:14 “Ye are the light of the world” («Вы – свет мира») является, по определению Дэвида Кристала, заученной цитатой – “a learned quotation” [Crystal 2010: 79]. При адаптации этого высказывания происходит изменение в его референции. Так, например, известна картина Париса Бордона “Christ as the Light of the world” («Христос – Свет мира») (ок. 1550). На базе этого выражения создается формула, в которой Христос предстает как референт. Возникшая формула функционирует уже отдельно от цитаты в качестве адаптации. В дальнейшем, в употреблении формулы, под «Светом мира» понимается не только Христос, но также христианские мученики, святые и т. д. Формы изменчивости адаптированных единиц связаны с четырьмя типами, описанными нами ранее (типы «А», «Б», «В», «Г»).

Д. Кристал в работе “Bogat: The King James Bible and the English language” [Crystal 2010] проанализировал адаптацию библейских выражений в современном английском языке и культуре. Автор приводит 257 формул. Мы же предприняли попытку классификации адаптированных формул с учетом четырех возможных типов трансформаций. Кроме того, для анализа нами также использовались Британский национальный корпус (British National Corpus, BNC) и Корпус современного американского английского языка (Corpus of Contemporary American English, COCA).

«Тип А» представляет собой адаптацию, при которой выражение сохраняет свои формальные признаки, но меняется содержательно. Так произошло с библейским выражением “Land of Nod” («Земля Нод»): “And Cain went out from the presence of the LORD, and dwelt in the land of Nod, on the east of Eden” (Gen. 4:16) («И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема»). В рамках этого типа

референционный план изменяется и наступает идиоматизация. Однако появлению идиомы “the land of Nod” («страна сна») способствовало формальное сходство лексем “Nod” («Нод») и “nod” («кивок»). Шаг от библейской формулы «страна Нод» к идиоматическому обороту «страна сна» проходит благодаря семантическому сдвигу в значении “nod” – «кивок головы» > «сон». Этому могло способствовать ассоциативное ощущение – передача усталости или дремоты с помощью кивка головы. Первое употребление этой формулы в таком значении, как отмечено в Oxford English Dictionary, восходит к 1738 г. Именно тогда был создан диалог Джонатана Свифта, известный под именем «Вежливый разговор Свифта» (“Swift’s Polite Conversation”) (см.: [Crystal 2010: 32]). На самой последней странице, на которой описывается, что вечеринка подходит к концу, героиня леди Ансвералл говорит: «Время для честного народа идти спать» и полковник Атвит отвечает: “I’am going to the Land of Nod” («Я собираюсь в страну сна»).

Рассматриваемое выражение также является сленговым и обозначает состояние опьянения, в том числе и наркотическое: “Not surprisingly, the less time Tristin spends in the land of nod, the crankier and more irritable he is” [Corpus of Contemporary American English (COCA), URL] («Неудивительно, что чем меньше времени Тристин проводит в состоянии опьянения, тем сильнее он раздражен и невыносим»); “Drinking is a time-honored method for scudding off into the Land of Nod, and one that I have found eminently successful” («Пьянки – это проверенный временем способ захмелеть и тот, который я нахожу чрезмерно эффективным»).

Итак, библейское выражение меняет свою коммуникативную задачу: оно больше не служит цели передачи содержания выражения Ветхого Завета, а адаптируется для других коммуникативных целей, по типу «одна формула – два и более смыслов».

Во всех переводах Библии XVI–XVII вв. на английский язык, включая Библию короля Якова, а также в религиозной литературе той эпохи присутствует выражение “Flesh and blood” («Плоть и кровь»): “And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven” (Matthew 16:17) («Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах»). Далее значение библейского выражения «плоть и кровь» видоизменяется, оно приобретает метафорический смысл «человеческие слабости». Так, в произведении «Юлий Цезарь» У. Шекспира это выражение используется именно в данном контекстном значении:

“So in the world, –’tis furnish well with men,  
And men are flesh and blood, and apprehensive” [Shakespeare 2007: 66–67].

«И то же – в мире: он кишит людьми,  
А люди – это плоть, и кровь, и разум» (пер. И.Б. Мандельштама).

Однако идиоматика данного выражения формируется вокруг значения «близкие родственники» (“they’re my own flesh and blood”) [Crystal 2010: 146]. “2011 SPOK CNN\_Velez my husband? How can my daughter do this to the man who is her flesh and blood? Her papa? ASHTON: There was no outrage from Cindy” [Corpus of Contemporary American English (COCA), URL] («Мой муж Велез? Как моя дочь может делать это по отношению к этому мужчине, кто является ее плотью и кровью? Ее папочка? Эштон: не было никакого акта насилия со стороны Синди»).

Итак, рассматриваемое библейское выражение отходит от своего первоначального смысла и становится формулой, изменяющейся по «типу А»: «одна формула – два и более смыслов».

Изначальное значение выражение “flesh pots” – «котлы для варки мяса»: “And the children of Israel said unto them, Would to God we had died by the hand of the LORD in the land of Egypt, when we sat by the flesh pots, and when we did eat bread to the full; for ye have brought us forth into this wilderness, to kill this whole assembly with hunger” (Exodus 16:3) («И сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! Ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом»). Затем, с XVI в. идиоматика выражения “flesh pots” формируется вокруг значения «какие-либо дорогостоящие вещи, вызывающие зависть, особенно те, которые удовлетворяют плотские грехи». В настоящее время это выражение используется также в значении «злачные места каких-либо городов или улиц» [Crystal 2010: 56]: “See what the low taverns and fleshpots of the town have wrought upon a young lad too simple to withstand” [Corpus of Contemporary American English (COCA), URL] («Посмотри, что сделали дешевые кабаки и злачные места города с юнцом, который слишком прост, чтобы сопротивляться»).

Таким образом, в библейском выражении “flesh pots” меняется коммуникативная задача, а само выражение адаптируется по типу «одна формула – два и более смыслов».

Другое библейское выражение, адаптированное по «типу А» – “first-fruits”. В Библии короля Якова оно употребляется свыше тридцати раз. Его первоначальным значением было описание плодов, произраста-

ющих из почвы: “And the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou hast sown in the field: and the feast of ingathering, which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labours out of the field” (Exodus 23:16) («Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою»). Но к началу XVII в. произошла метафоризация этого выражения, тем самым добавилось переносное значение, не имеющее отношение к еде – «первые плоды (успехи) какой-либо деятельности» [Crystal 2010: 58]. Например, “IBM also announced first fruits of other Hollywood alliance, adding integrated digital video and audio input-output and factor Moving Pictures Experts Group digital video and audio compression to the Power Visualisation System” [[bnc] British National Corpus, URL]. («IBM также объявила о первых успехах другого голливудского альянса, которой добавил интегрированные цифровые видео- и аудиовход и выход, а также фактор цифрового видео экспертной группы кино- и аудиокомпрессию к системе визуализации (PVS)»).

В трех выше представленных примерах (“Flesh and blood”; “flesh pots”; “firstfruits”) присутствуют две линии развития выражений по «типу А»: идиоматизация и метафоризация. В библеизме “flesh and blood” отмечается и метафоризация, когда выражение передает значение «человеческие слабости», и идиоматизация, когда выражение передает значение «близкие родственники», тогда как в выражении “flesh pots” («котлы для варки мяса») отмечается лишь идиоматизация («какие-либо дорогостоящие вещи, вызывающие зависть (особенно те, которые удовлетворяют плотские грехи)», «злачные места каких-либо городов или улиц»). В библеизме “firstfruits” происходит также изменение референционного плана значения, приводящее к метафоризации, т. е. добавляется переносное значение, не имеющее отношение к еде – «первые плоды (успехи) какой-либо деятельности».

Вообще, «типу А» свойственно наличие повторов текста. Текст повторяется формально, и формула является остатком того самого первого слова, которое подвергается трансформации. В результате «тип А» имеет две формы: архаическую, в старом значении, и инновационную, в новом. Однако инновационность никак не подкрепляется формально. Иными словами, «тип А» представляет собой сообщение, которое утрачивает цитируемость, или неизменный референционный план. Так, формула “Land of Nod” («Земля Нод») меняется на «страну сна». Таким образом, «тип А» предвосхищает «тип В» с архаическими и инновационными слоями, но в «типе В» принципиальное отличие заключается в том, что инновационный слой обособлен от архаиче-

ского формально. Итак, «тип А» включает в себя «тип В» концептуально. Можно перефразировать знаменитое определение А. Гаррода (см.: [Ридли 2015]) о том, что «ген – это пропись приготовления одного химического соединения». Текстовый аналог гена – «тип А» – это тоже пропись приготовления адаптированного выражения. В Библии короля Якова имеется еще одно выражение, которое претерпевает адаптацию, – это выражение “bear cross” («нести крест»).

С течением времени значение библеизма “bear cross” модифицировалось за счет изменения референционного плана, т. е. оно стало пониматься не только в прямом значении для верующих как «испытания, посланные Богом», но и в переносном смысле – «обычные испытания, необязательно посланные Богом». Библейское значение связано с кем-то, кто несет свой крест во имя Господа: “And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name: him they compelled to bear his cross” (Matthew 27:32) («Выходя, они встретили одного киринаянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его»). Это выражение даже сейчас не утрачивает своего изначального значения. Например, жизненные трудности (инвалидность, потеря близких и т. п.) рассматриваются как испытания, которые человек должен преодолеть со смирением, очищая при этом свою душу и готовя себя к встрече с Богом.

Идиоматика выражения ‘bear cross’, как отмечалось ранее, формируется вокруг значения, не имеющего ничего общего с Библией. Так, Д. Кристал приводит пример: “Air-conditioning: our cross to bear” [Crystal 2010: 227] («Кондиционирование – наш крест») – заголовок новостного репортажа о влиянии кондиционеров на окружающую среду.

Отметим, что далее происходит развитие идиомы по линии порождения новых сочетаний и оборотов с иной семантической структурой («тип В»). Так, отмечается морфологическая модификация: именной компонент (“cross”) употребляется во множественном числе: “Ah, well, we all have our crosses to bear – Mrs Livesey more than most, I expect” («Ну, у всех нас есть наши кресты, которые надо нести, – и, надо полагать, у миссис Лайвси их больше, чем у остальных») [ANL; Fict\_prose; BNC], а также наблюдается топиализация: “«Poor Dicky», she sighed. “What a cross he has to bear”. “Some people like being burdened”, said Stella. “It gives them an interest»” («Бедный Дикки, – вздохнула она, – Какой же крест ему приходится нести. – Некоторые любят, когда их нагружают, – ответила Стелла, – Это дает им интерес»). [FNU; W\_fict\_prose; BNC] (см.: [Дронов 2015]).

Поскольку инновационный слой формулы “to bear cross” содержит окончание s, то идиома приобретает инновационное значение по «типу В».

Иногда мутации протекают по фиксируемым алгоритмам с различными осложнениями. Так «тип А» мутаций взаимодействует в развитии формулы с «типами Б и В». Так, известна библейская ветхозаветная формула “be fruitful and multiply” (Gen 1:22) «плодитесь и размножайтесь». Д. Кристал описывает трансформацию по «типу А» (одна формула – два смысла), когда эта формула используется по отношению увеличения поддержки новой поп-группы со стороны поклонников: “be fruitful and multiply (your fanbase)” [Crystal 2010: 22]. Далее, адаптация формулы протекает по линии синонимизации концептов по «типу Б»: “be fruitful and replenish the earth” «плодитесь и вновь наполняйтесь» (по линии увеличения биоразнообразия), а также “be fruitful and replicate” «плодитесь и реплицируйтесь» (о развитии физиологии растений). Сами адаптированные формы служат фоном для появления инновационных выражений, возникающих по «типу В». Так, Д. Кристал описывает мутацию в предложении о пасторе, который скрывает глубокий и скрытый секрет: “be fruitful and multi-lie”. Безусловно, новая сентенция опирается на базовую формулу и при этом рождает инновационный смысл с игрой слов «плодитесь и много лгите».

Ю.С. Степанов в предисловии к книге Эмиля Бенвениста «Словарь индоевропейских социальных терминов» отметил одно явление, значение которого важно для определения «типа Б» в нашем исследовании. Сущность его заключается в следующем: слова, образованные от разных корней, приходят к выражению одного и того же смысла. Например, в германской культуре серединой мира предстает мировое дерево. Следовательно, понятия «дерево» и «середина» ассоциированы, и слова, обозначающие эти понятия, будут соотноситься друг с другом. Это и есть явление синонимизации. Данный удачный термин, как далее отмечает Ю.С. Степанов, был предложен С.Г. Проскуриным в его диссертации (см.: [Проскурин 1990: 36–41]) [Степанов 1995: 17].

«Тип Б» представляет собой лексические замены ключевого термина с сохранением первоначальной семантической структуры. Этот вариант адаптации библейских формул встречается в многовариантных переводах библейского текста на английский язык. Известно, что Библия считается самой читаемой книгой в мире. Переводу Библии на тысячи языков способствовала активная деятельность национальных библейских сообществ. Именно английским переводам отводится ведущая роль в переводе Библии на современные языки, поскольку английский язык является международным языком. Это связано еще и с тем, что на острове Британия появились первые библейские переводческие традиции. Английские переводы систематизированы и опи-

саны лучше других. За всю библейскую переводческую традицию насчитываются более двадцати переводов: начиная с Библии Джона Уиклиффа (Wycliffe) (1320–1384) и заканчивая The Holman Christian Standard Bible (HCSB) (2003). Однако именно Библия короля Якова (King James Version, KJV) (1611) – эталон Библии на английском языке за счет качества и красоты перевода. Отмечается, что данный перевод повлиял на становление английского языка как такового и на традицию религии в целом [Яковенко 2005: 11–16].

«Тип Б» встречается в разных версиях перевода. Так, библейское выражение “And God said, Let there be light: and there was light” (Genesis 1:3) («И сказал Бог: да будет свет. И стал свет») в версии перевода Библии Дуэ-Реймс (1582–1610) (Douay–Rheims Bible) звучит как “And God said: Be light made. And light was made”; а в «Буквальном переводе Янга» (Young’s Literal Translation) (1863) как “and God saith, 'Let light be;' and light is”. Итак, лексическая замена представляет собой замещение одного предиката другим при сохранении нексуса. В данном случае происходит лексическая замена предиката “let there be” на “was made; let be”.

Интересна синонимизация библейского выражения “bread alone” («хлебом одним»): “But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God” (Matthew 4:4) («Он же сказал ему в ответ: написано: "не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих"»). В переводах Библии на английский язык это выражение передано как “bread alone”, однако в Библии Уильяма Тиндейла (Tyndale) (1494?–1536), в «Библии Епископов» (The Bishop’s Bible) (1568) и в «Женевской Библии» (The Geneva Version) (1560) оно переводится как “bread only” [Crystal 2010: 72]. Слова “alone” и “only” образованы от разных корней, однако приходят к выражению одного и того же смысла.

Ветхозаветное выражение “be fruitful and multiply” («плодитесь и размножайтесь») также адаптировалось в английском языке по второму типу. “And you, be ye fruitful, and multiply; bring forth abundantly in the earth, and multiply therein” (Genesis 9:7) («Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней»). Адаптация этого выражения протекает по линии синонимизации. Так, допускается лексическая замена предиката “multiply” на “add”, “subtract”, “divide”, “replenish”, “replicate” и т. д. Например, “be fruitful and replenish the earth” («плодитесь и вновь наполняйтесь») (об увеличении биоразнообразия); “be fruitful and replicate” («плодитесь и реплицируйтесь») (о развитии физиологии растений) (см.: [Crystal 2010: 21]).

Примечательно, что выражение “*manna from heaven*” («манна небесная») как таковое не встречается в Библии. Оно представляет собой синонимизацию библеизма “*bread from heaven*” («хлеб с неба»). “Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven” (John 6:32) («Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес»). «Манной» в Ветхом завете называется пища, посланная с небес Моисею и его соплеменникам: “And the manna was as coriander seed, and the colour thereof as the colour of bdellium” (Numbers 11:7) («Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах»). Следовательно, понятия «хлеб с неба» и «манна» ассоциированы и выражают один и тот же смысл. В современном английском языке чаще употребительна небиблейская формула “*manna from heaven*” («манна небесная») вместо библейской “*bread from heaven*” («хлеб с неба»).

Таким образом, второй вариант адаптирования библейских выражений связан с лексической заменой ключевого термина с сохранением первоначальной семантической структуры – синонимизацией. «Тип Б» используется в многовариантных переводах Библии на английский язык, а также в развитии адаптации выражений в современном языке. Примером второго явления служит адаптация выражения “*be fruitful and multiply*” («плодитесь и размножайтесь»), описанная нами ранее. По сравнению с выражениями «Англосаксонских хроник», адаптированных по «типу Б», библеизмы не базируются на эвфемизации, приводящей к лексическим заменам ключевого слова.

В репликации информации мы видим, что второй тип репликации и адаптирования формул присутствует в различных версиях Библии. Под вторым типом понимаются лексические замены ключевого термина с сохранением первоначальной семантической структуры. Этот тип широко используется в многовариантных переводах библейского текста на английский язык. Так, библейская формула в Библии Короля Якова *Let there be light* в версии перевода Раймс–Дуэй звучит как синонимичная мутация: *be light made*. Обычно «тип Б» легко устанавливается в разных библейских переводах, когда формула переосмысливается в синонимичной фразе.

Третий тип адаптации библейских формул – «тип В» – связан с рождением новых сочетаний и оборотов с иной семантической структурой по отношению к установленным архетипическим формулам. Как показал наш анализ Библии и «Англосаксонских хроник» (см. [Проскурина 2015]), выражения чаще адаптируются по третьему типу – по

«типу В». Это связано с тем, что адаптированные выражения служат фоном для появления инновационных оборотов.

Таковыми адаптациями изобилуют производные тексты, созданные на базе библейских формул. Например, выражения-переосмысления *let there be flight* связаны с описаниями задержки рейсов гражданской авиации и устанавливаются как инновации на фоне библейской формулы *Let there be light* «Да будет свет».

Так, в Библии насчитывается свыше двухсот примеров использования слова “*begat*” («(по)родил»): “*And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ*” (Matthew 1:16) («Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, называемый Христос»). В современном английском языке данное слово часто используется в первоначальном варианте, даже минуя правила грамматики. “*Nathan Zuckerman is a persona's persona: Roth begat Peter Tarnopol – who begat Nathan Zuckerman – in the novel of 1974, My Life as a Man*” [<http://www.natcorp.ox.ac.uk/>] («Натан Цукерман является персоной персон: Рот породил Питера Тарнополя, того, кто породил Натана Цукермана в романе “Моя мужская правда” 1974 г.»). Вдобавок формула “*begat*” («(по)родил») начала применяться по отношению не только к людям, но и неодушевленным предметам. Например, в значении выпуска новых марок автомобилей: “*Mini begat Mini, begat new Mini; Will the wave begat the tsunami?*” («*Mini* породило *Mini*, породило новое *Mini*; Породит ли волна цунами?») [Crystal 2010: 43–44].

Библеизм “*behold the man*” («се, Человек») является архаической формулой, по отношению к которой образуются инновационные модели. “*Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man!*” (John 19:5) («Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянце. И сказал им Пилат: се, Человек!»). В настоящее время данная формула употребляется в контексте указания на что-то особенное, например, “*Behold the power of Twitter; Behold the iPhone*” [Crystal 2010: 178] («Се, мощь Твиттера; се, Айфон»).

Библейское выражение “*two are better than one*” («двоим лучше, нежели одному») также подверглось адаптации по третьему типу. “*Two are better than one; because they have a good reward for their labour*” (Ecclesiastes 4:9) («Двоим лучше, нежели одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их»). Современный наиболее употребляемый «вариант» данной формулы: “*two heads are better than one*» («две головы лучше, чем одна»). “*This dual approach often works, proving that two heads are better than one*” [[bnc] British National Corpus, URL]

(«Этот двойственный подход часто работает, доказывая, что две головы лучше, нежели одна»).

Д. Кристал приводит следующие вариации этой формулы в современном английском языке: “Two heads are better than none; several thousand heads are better than one” [Crystal 2010: 106–107] «Две головы лучше, чем ничего»; «несколько тысяч голов лучше, чем одна». Инновационные варианты этой формулы допускают лексические замены с изменением первоначальной семантической структуры. Так, “better” может заменяться на “cuter”, “cooler”; “better than one” – на “kittens”, “browsers”, “parents”, “credit cards” etc. Однако существует перевертыш исходной формулы, «формула наоборот» – “two heads are worse than one” («две головы хуже, чем одна»).

Библеизм “it is more blessed to give than to receive” («блаженнее давать, нежели принимать») также адаптировался в современном английском языке по третьему типу. “I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive” (Acts 20:35) («Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: “Блаженнее давать, нежели принимать”»). Отмечаются следующие инновационные модели исходного выражения: “to give, rather than to receive” («давать лучше, чем получать»); “better to give than to receive” («лучше давать, чем получать»); “better to block than to receive” («лучше заморозить (заблокировать), чем получать»); “better to give than pay estate taxes” («лучше дать, чем платить налоги на наследство») (см.: [Crystal 2010: 192]).

Адаптированная форма библеизма “can the blind lead the blind?” («может ли слепой водить слепого?») также служит фоном для появления инновационных выражений, возникающих по «типу В». “And he spake a parable unto them, Can the blind lead the blind? Shall they not both fall into the ditch?” (Luke 6:39) («Сказал также им притчу: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?»). Значение данной библейской формулы не изменилось с течением времени: “2000 FIC Atlantic Lenehan is saying parents should tell their children to be responsible. Talk about the blind leading the blind. Besides, only the gay boys and drug pushers get AIDS” [[bnc] British National Corpus, URL] («2000 FIC Atlantic Lenehan сообщает: родителям следует говорить своим детям о том, что они должны быть ответственны. Вот пример того, как слепой ведет слепого. Кроме того, только геи и торговцы наркотиками заболевают СПИДом»). Однако мы можем заметить создание новых сочетаний и оборотов с

иной семантической структурой: “if a blind man lead a blind man” («если слепой поведет слепого»); “the blind leading the clueless” («слепые ведут несведущих»); “the blind leading the banned” («слепые ведут недозволенных»); “the blind leading the blond” («слепые ведут блондинов»); “the blond leading the blind” («блондины ведут слепых») (см.: [Crystal 2010: 136–137]).

На базе исходного выражения “from the womb to the grave” («из чрева во гроб») также возникли инновационные модели. “I should have been as though I had not been; I should have been carried from the womb to the grave” (Job 10:19) («Пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во гроб!»). Так, коммуникативным расширением этой формулы является замена ключевого слова “womb” («чрево») на “cradle” («колыбель») с изменением первоначальной семантической структуры. “2010 NEWS AssocPress his 3-year-old daughter, killed in a hit-and-run incident hours earlier. “From the cradle to the grave”” [Corpus of Contemporary American English (COCA), URL] («2010 NEWS AssocPress: его трехлетняя дочь час назад была сбита насмерть скрывшимся с места происшествия водителем. “Из колыбели в гроб”»); “Whenever a Christian community becomes a cocoon or Christian education becomes a well-insulated pipeline from the cradle to the grave, a special danger arises” [<http://www.natcorp.ox.ac.uk/>] («Всякий раз, когда христианская община превращается в кокон или когда христианское учение становится обособленным каналом информации, вот тогда возникает сверхопасность»).

По отношению к формуле “from the womb to the grave” («из чрева во гроб») устанавливаются следующие инновационные выражения (см.: [Crystal 2010: 146]): “from the womb to the tomb” («из чрева в могилу»); “from the cradle to the rave” («из колыбели в рейв»); “from the cradle to the cave” («из колыбели в подземелье») etc.

Итак, третий тип адаптации библейских выражений предполагает порождение инновационных моделей по отношению к архаической формуле, например, “behold the man” («се, Человек»); “from the womb to the grave” («из чрева во гроб»).

От адаптированных формул, связанных с мутациями информации, необходимо отличать цитирование библейского источника. «Вот, например, цитирование библейского источника: Matthew 5:14 Ye are the light of the world. «Вы – свет мира». В библейской традиции Англии такое употребление называется «заученной цитатой» (a learned quotation) [Crystal 2010: 79], поскольку цитирование не изменяет референционный план высказывания. Адаптация отличается от цитирования наличием мутации. Так, отмеченный сегмент текста выступает уже как

формула (по «типу В») в названии одного из полотен, изображающих Христа. Речь идет о картине Париса Бордона “Christ as the Light of the World”. В сегменте меняется референционная программа по сравнению с цитированием первоисточника и появляется формульность.

Четвертый, замыкающий тип адаптаций, представляет собой описание разных феноменов в рамках одной темы. Примечательно, что в записях «Англосаксонских хроник», описывающих погодные условия, встречаются формульные / клишированные единства, адаптированные по «типу Г», тогда как в Библии этот тип почти не встречается. Однако в рамках инновационных моделей формулы “begat” («(по)родил») («тип В») мы отмечаем пример замены явлений («тип Г»). Интересен контекст “Will the wave begat the tsunami?” («Породит ли волна цунами?»), поскольку представляет собой описание при помощи замены лексемы разных предметов / явлений. Следовательно, в данном случае на базе третьего типа адаптаций развивается четвертый тип.

Почему же устанавливается ограничительное (по числу) количество возможных типов репликации формул? Не связано ли адаптирование формул с изоморфизмом генетического и лингвистического кода? Не копирует ли лингвистический код, используемый при адаптации формул, структурные принципы генетического кода?

Поскольку генетический код восходит к четырем исходным элементам по три триплеты, которые и создают генетический словарь, состоящий из 64 слов, то мы в какой-то степени воспроизводим в репликации информации эти показатели. Принципиальным для нас является открытие четырех типов адаптации, представляющих собой как бы четыре исходных химических радикала. Постулируется ли таким образом копирование молекулярных типов и их воспроизведение культурами?

В свое время Т.В. Гамкрелидзе обратил внимание на явление изоморфизма лингвистического и генетического кодов, опираясь на концепцию Н.Я. Марра. Он писал: «Так, например, Н.Я. Марр сводит исторически возникшее многообразие языков к четырем (sic!) исходным элементам, состоящим, как это ни странно, из своеобразных “троек” – бессмысленных последовательностей – сал, бер, ион, рош. Любой текст произвольной длины на любом языке мира есть, в конечном счете, результат фонетического преобразования этих исходных четырех, самих по себе не значащих элементов, скомбинированных в определенной последовательности. Этим, по мнению Н.Я. Марра, и определяется единство глоттогонического процесса» [Гамкрелидзе 1988: 7]. Любопытно, что к подобным четырем триплетам в своих рассуждениях, касающихся

ся еврейской тетраграммы Бога, приходит Р. Генон: «мы желаем этим сказать, что для того, чтобы символическое соответствие было точным, произношение тетраграммы должно быть трехсловным; поскольку, с другой стороны, это слово записывается в четырех буквах, то можно сказать, что согласно числовому 4 соотносится здесь с “субстанциональным” аспектом слова (в той мере, в какой оно пишется или читается в соответствии с записью, играющей роль телесной “опоры”), а 3 с его “сущностным” аспектом (поскольку оно в целом произносится голосом, который один только и придает ему “дух” и “жизнь”). Отсюда следует, что, хотя ее ни в коей мере нельзя рассматривать как истинное произнесение Имени, которое никому неизвестно, форма Jehovah в силу того, что она состоит из трех слогов, по меньшей мере, представляет это Имя гораздо лучше (и полагать это могла бы заставить уже сама его древность в виде приблизительной транскрипции в западных языках), чем чисто произвольная форма Yahveh, изобретения экзегетиками и современными критиками, которая, имея лишь два слога, очевидно непригодна для такой ритуальной передачи, о которой идет речь» [Генон 2013: 44–45].

Подобные аналитические заключения о четырех триплетах предшествовали исторически открытию генетического «словаря», поскольку работы и Марра, и Генона писались в тридцатые годы. Механизм наследственности, открытый в пятидесятые годы, придает определенный вес более ранним догадкам об устройстве текстового символа. В открытии механизма мутации информационных мемов на материале исторических текстов, проведенных нами, значима также связь с более ранними представлениями. Так, имеет значение система с четырьмя элементами мира в космогонии ионийцев, с четырьмя жидкостями человеческого тела у Гиппократов, четырьмя Евангелиями Библии и т. д.

Нам необходимо принять к сведению заключение о наличии некоторой общности или аналогичной структурированности различных информационных систем при аналогичных функциях.

Согласно нашей гипотезе, формулы (употребляемые многократно лексические единицы) в поэтике индоевропейской культуры обладают двумя ключевыми чертами в синтагматике и парадигматике. В синтагматике формулы предстают как освоенные культурой способы коммуникации, опирающиеся на кажущуюся избыточность информации и поддерживающие ее контекст. Согласно Дж.Ф. Карингтону, исследовавшему трансформацию устной речи в языке африканских барабанов, «барабанщик всегда добавляет “небольшое выражение” к каждому короткому слову. *Songe*, “луна”, передается как *songe li tange la manga* –

“луна, смотрящая вниз на землю”. Коко, “курица”, как koko longa la bakiokio “курица, которая говорит “ко-ко””. Оказалось, что дополнительные удары барабана – это не избыточная информация, они обеспечивают контекст. Каждое выстукиваемое слово неоднозначно, оно обладает множеством смысловых вариантов, но с появлением контекста неуместные интерпретации исчезают» [Глик 2013: 34]. Далее отмечается, что выражения в языке африканских барабанов напоминают формулы Гомера: «не просто Зевс, но Зевс-громовержец, не просто море, но винноцветное море» [Глик 2013: 34]. И, добавим мы, формулы обретают способность распознаваться и служить «опорой» для передачи. Иными словами, лексические единицы не способны восстанавливаться в речевой диахронии без контекста определенной длины.

Коммуникативное расширение формулы за счет избыточной информации обеспечивает распознавание формулы в диахронии и ее передачу в текстах. Иными словами, кажущаяся избыточность поэтической формулы является закономерным следствием ее возможной устной природы, поскольку последняя часто опирается на речевой контекст, который и обеспечивает передачу.

В теории информации идут поиски определения, что такое мем и каково его значение в качестве параллели гена в природе. Нам представляется, что формульная теория может дать материал для определения мема.

Мемом называется такая цепочка языковых единиц, которая обретает способность к репликации, то есть к передаче. Такая способность получилась благодаря представившейся возможности распознаваться в качестве некоторого целого, которое обладает важным свойством восстанавливаться вслед за господствующим компонентом. В развитие теории формулы Пэрри и Лорда мы приведем одно важное положение о воспроизведении текста в устном исполнении. Говоря о коммуникативном расширении формулы, процитируем описание развертывания речевой цепи, сделанное в свое время А.А. Потемной. Он проводил «аналогию между организацией алфавитного ряда, речевой цепью молитвы и образом предмета. Если несколько раз дан был ряд признаков одного образа в порядке a,b,c,d,e и вслед за тем еще раз получится признак a, то он легко вызовет в сознании все следующие за ним; но если упомянутый ряд начнется с конца, то признак e сам по себе или вовсе не произведет признаков d, c и проч., или гораздо медленнее. Слова «Отче наш» напомнят нам всю молитву, но слово «лукавого» не заставит нас воспроизвести ее навыворот («от нас», «избави» и проч.) точно так, как признак e не даст нам целого образа a,b,c,d,e. Хотя e могло повторяться

столько же раз, сколько и а, но это последнее, по своему влиянию на все остальное, будто господствует над всем образом» [Потебня 1989: 130]. Устные по своему происхождению формулы имеют господствующие знаки, которые способствуют их коммуникативному расширению, протекающему относительно базового или господствующего слова.

Иногда коммуникативное расширение порождает способность формулы распознаваться как целое и передаваться во времени как мем. Приведем интересный пример. В древнеримской традиции палиндром “Sator ...” был известен задолго до того, как появилось христианство:

SATOR  
AREPO  
TENET  
OPERA  
ROTAS

С обретением молитвы Pater Noster палиндром начинает реинтерпретироваться в качестве анаграммы начальных слов молитвы. Эту способность к передаче информации обеспечивает мем, который обретает способность распознаваться в наборе букв палиндрома как некоторая последовательность. Слова молитвы Pater Noster распознаются как текст. В современной английской традиции это буквосочетание мутирует в форму сакрального высказывания со срединным компонентом в форме креста, имеющего значение «догмат» (англ. tenet).

Обратимся теперь к коммуникативному расширению самой первой из открытых индоевропейских поэтических формул «слава нетленная (непогибающая)». Согласно нашему сценарию, развитие формулы в индоевропейской поэтике проходит три стадии. На первой стадии происходит коммуникативное расширение формулы, благодаря чему она получает «господствующие образы» др.-греч. κλέος и др.-инд. śrāvaḥ – «слава», к которым подставляются эпитеты «нетленный», «непогибающий» – ἄφθιτον, ākṣitam. На второй стадии происходит устойчивое распознавание данной формулы в качестве «опоры» в устном повествовании или записи. Как мы уже подчеркивали, чтобы распознаваться в качестве опоры, нужен расширенный контекст. На третьей стадии формула передается в текстах, транслируемых в поколениях.

Таким образом, коммуникативные сообщения связаны с развертыванием контекста в синтагматике. Однако передача информации во времени опирается на парадигматику, характерную для традиционных культур. М. Элиаде демонстрирует это на египетском материа-

ле: «В самом деле, космогония повторяется каждое утро, когда солярный бог “отвращает” змея Апопа, не имея, однако, возможности уничтожить его <...>. Политическая деятельность фараона воспроизводит подвиг Ра: он (фараон) также “отвращает” Апопа, иными словами, следит за тем, чтобы мир не был ввергнут снова в состояние хаоса. Когда на границах появляются враги, они уподобляются Апопу, и победа фараона воспроизводит триумф Ра». М. Элиаде подчеркивает, что эта тенденция переводить жизнь и историю в термины категорий и парадигматических образов характерна для традиционных культур [Элиаде 2008: 118]. Сюжетная линия Ра – змей Апоп трансформируется в отношении фараон – враги. Передача информации в диахронии опирается также на парадигматику элементов. О значении парадигматики в передаче информации в свое время писал М. Мюллер: «Например, Аполлон влюбился в Дафну, Дафна убежала от Аполлона и превратилась в лавровое дерево. Эта легенда бессмысленна, если не знать, что Аполлон был первоначально солярным божеством, а слово “Дафна” (греческое название лавра, или, точнее, соответствующего дерева) было первоначально обозначением зари. Это дает нам первоначальный смысл мифа: солнце преследует убегающую зарю» (цит. по: [Эванс-Притчард 2004: 28]).

Итак, формы репликации информации в языке, с одной стороны, связаны с типами мутации адаптированных формул, а с другой стороны, с коммуникативным расширением формул в синтагматике и передаче информации в парадигматике.

Библейские выражения передаются в традиции двояко: в качестве прямого цитирования и как адаптированные формульные единства. В рамках прямого цитирования референционный план библейского выражения не меняется, тогда как при адаптации библеизм подвергается различным типам изменений: «тип А» – одна формула, два и более смыслов; «тип Б» – лексические замены ключевого термина с сохранением первоначальной семантической структуры; «тип В» – порождение новых сочетаний и оборотов с иной семантической структурой по отношению к установленным архаическим формулам; «тип Г» – описание с заменой лексемы в контексте формулы с одним и тем же предикатом.

Цитируемость библейских выражений (например, молитва «Отче наш») и их передача во времени и пространстве связана с религиозной ценностью текста Библии, поскольку передача религиозного текста в диахроническом аспекте позволяет сохранять культурную и религиозную ценность.

Рассуждая о лингвокультурном трансфере Священного Писания, следует отметить, что библейские выражения, адаптированные по четырем типам и распространенные благодаря коммуникативному расширению, направлены на актуальность использования библейской формулы в конкретный момент времени. Таким образом, передача библейских выражений представляет собой отношение к динамике коллективной памяти, особенно, если речь идет о прямом цитировании. Что касается адаптированных формул, то они в большей степени обращены на некий заданный момент времени, на актуальность послания, их использование варьируется в зависимости от конкретной ситуации.

Выделенные нами четыре типа мутаций коррелируют с типом изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами. В рамках формульного / клишированного анализа удалось установить, что такими типами являются «типы А, Б, В» и «тип Г». Четыре типа мутации соответствуют особым комбинациям четырех нуклеотидов, создающих так называемые триплеты. Триплеты из четырех исходных элементов – мутаций формируют аналоговую азбуку.

## Литература

- Аксенова-Пашковская А.А. Развитие некоторых английских прилагательных, обозначающих понятие размера: автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1954.
- Бондаренко С.В. Семантический анализ существительных со значением «путь», «дорога» в древнеанглийском языке: автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1980.
- Бочкарева Л.Ф. Лексико-семантическая группа слов, обозначающих умственную деятельность в древнеанглийском языке: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Л., 1984.
- Гамкрелидзе Т.В. Р.О. Якобсон и проблема изоморфизма между генетическим кодом и семиотическими системами // Вопросы языкознания, № 3, 1988.
- Генон Р. Наука букв. СПб., 2013.
- Глик Дж. Информация. История. Теория. Поток [пер. с англ. М. Кононенко]. М., 2013.
- Добрунова Т.В. Историческая динамика лексико-семантической группы и системность лексики: автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1980.

- Дронов П.С.* Как несут крест русские, англичане или немцы: модификации фразеологического интернационализма в трех языках // Критика и семиотика, № 2, 2015.
- Зорина Г.Н.* Гидрографические наименования древнеанглийского языка: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Л., 1985.
- Козлова Г.Б.* Семасиологический и ономазиологический анализ слов-измерителей древнеанглийского языка: автореф. дис. ...канд. филол. наук. Л., 1989.
- Лайонз Дж.* Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
- Марков А., Наймарк Е.* Классические идеи в свете новых открытий. М., 2014.
- Потебня А.А.* Мысль и язык // Слово и миф. М., 1989.
- Проскурин С.Г.* Древнеанглийская пространственная лексика концептуализированных областей: дис. ... канд. филол. наук. М., 1990.
- Проскурина А.В.* Коммуникация и передача как формы лингвокультурного трансфера (на материале древнеанглийских памятников VII-XI вв. и текстов Библии): дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск, 2015.
- Ридли М.* Геном: автобиография вида в 23 главах. М., 2015.
- Степанов Ю.С.* «Слова», «Понятия», «Вещи»: К новому синтезу в науке о культуре // Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: Хозяйство, семья, общество. Власть, право, религия. М., 1995.
- Трубачев О.Н.* Славистический комментарий к реконструкции индоевропейской языковой и культурной древности // Материалы Всесоюзной конференции «Теория лингвистической реконструкции». АН СССР. М., 1987.
- Уфимцева А.А.* Историко-семасиологическое исследование слов со значением «земля»: автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1957.
- Эванс-Притчард Э.* Теории примитивной религии [пер. с англ. А.А. Казанкова, А.А. Белика; коммент. и послесл. А.А. Казанкова]. М., 2004.
- Элиаде М.* История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий [пер. с фр. Н.Н. Кулаковой, В.Р. Рокитянского, Ю.Н. Стефанова]. М., 2008.
- Яковенко Е.Б.* История и типология переводов Библии на германские языки // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: Лингвистика и межкультурная коммуникация. Новосибирск, 2005. Т. 2. Вып. 1.

*Corpus of Contemporary American English (COCA)*. – Режим доступа : <http://corpus.byu.edu/coca/>

*Crystal D. Begat: the King James Bible and the English language*. Oxford, 2010.

*Shakespeare W. Julius Caesar* // *The complete works of William Shakespeare*. Ware, 2007.

## глава 4.2. Коммуникация и передача как формы лингвокультурного трансфера

С.Г. Проскурин, А.В. Проскурина

В современной лингвистике актуальна постановка вопроса о наличии культурно-исторической дихотомии «коммуникация–передача» в дополнение к уже ранее открытой, такой как «синхрония–диахрония», предложенной в лекциях Фердинанда де Соссюра в Женевском университете в 1907–1911 гг.

Синхроническое явление (от греч. *sýnchronos*) представляет собой отношение между одновременно существующими элементами, диахроническое явление (от греч. *diá* – «через, сквозь» и *chrónos* – «время») – замену во времени одного элемента другим в процессе языкового развития [Соссюр 1977: 116].

Для представления новой дихотомии «коммуникация–передача» – а с такой постановкой вопроса выступил Р. Дебре (см.: [Дебре 2010]) – оказывается существенным рассмотрение и принятие во внимание двойственности в строении языка, отмеченной Ф. де Соссюром.

Синхроническая лингвистика должна заниматься психологически и логическими отношениями, которые связывают элементы и образуют систему; она должна изучать эти отношения так, как они воспринимаются одним и тем же коллективным сознанием. Диахроническая лингвистика должна заниматься отношениями, связывающими элементы, которые последовательно сменяют друг друга и не образуют в своей совокупности системы. Ф. де Соссюр иллюстрирует дихотомию «изменчивость–неизменчивость языка» [Соссюр 1977: 107, 114, 116, 118, 123, 125, 132] также посредством дихотомии «синхрония–диахрония». Синхронично все то, что относится к статическому аспекту, и диахронично все то, что касается эволюции. Любой язык характеризуется как средство коммуникации, помогающее общающимся придти к взаимопониманию. Языки также имеют функцию передачи информации в поколениях. Передача информации в поколениях воплощает какую-либо базовую идентичность, свойственную всем людям, которые пользуются языком. При этом их потомки получают не-

обходимые знания, консолидирующие коллективную память. Наличие дихотомии коммуникация–передача связано с передачей информации в пределах одного пространственно-временного континуума или нескольких, связанных с динамикой коллективной памяти. Таким образом, наряду с дихотомией «синхрония–диахрония» обнаруживается культурно-историческая дихотомия «коммуникация–передача» как форма лингвокультурного трансфера. Лингвокультурный трансфер представляется нами как перенос информации во времени, который рассматривается двояко: сиюминутный перенос информации является коммуникацией, тогда как перенос информации в условиях разных поколений представляет собой передачу. Любой язык – средство коммуникации, позволяющее собеседникам прийти к взаимопониманию, вдобавок он наделен функцией передачи информации в поколениях. Функция передачи, будучи функцией языка и когнитивной системы, увековечивает «некую базовую идентичность», общую для всех тех людей, кто использует родной язык, и позволяющую потомкам почувствовать принадлежность к предкам, накапливая при этом коллективную память той или иной исторической группы. К понятию «коммуникация» относится перенос информации в пространстве в пределах одной и той же пространственно-временной сферы, а к термину «передача» – все, что имеет отношение к динамике коллективной памяти (перенос информации в пространстве и времени).

Коммуникация обладает определенной социально-культурной базой, в ее основе лежит межличностная психология. Передаче же свойственна историческая база, в основе которой некое техническое оснащение (материальный носитель). Коммуникация является предшественницей передачи, поскольку, для того чтобы осуществить передачу информации во времени и пространстве, необходимо сначала осуществить коммуникацию. Так, христианская церковь никогда бы не смогла обеспечить передачу (из поколения в поколение) евангельской вести, если бы Христос не осуществлял коммуникацию со своим окружением. Стоит заметить, что переход от коммуникации к передаче означает смену хронологической шкалы, ведь перенос сообщения, взятый в большой длительности, приводит к преобразованиям. Средство переноса информации может быть само трансформировано тем, что оно переносит, поскольку язык является таким средством, которое служит, как отмечает Р. Дебре [Дебре 2010: 14–18, 30, 161–162], внутренним вектором доктрины. Христианское сообщение было четко разработано и структурировано культурными средами, сквозь которые и прошло данное сообщение и которые прошли сквозь него.

Таким образом, коммуникация, по Р. Дебре, представляет собой перенос информации в пространстве в пределах одной и той же пространственно-временной сферы, т. е. трансляция сообщений в некий заданный момент настоящего времени. Если описывать коммуникацию с точки зрения масштаба времени, то она представляет собой синхрония (одновременность «вопроса» и «ответа»), актуальность (адресант, обращающийся к адресату, строит свое сообщение на основе актуальных событий) и скорость (определяемая тем, что адресант и адресат находятся в одной и той же пространственно-временной сфере, в современной эпохе). Например, сообщение, адресованное депутату, опубликовано в некой информационной сети. Это способствует немедленному ответному действию и депутата, и его подчиненных.

Культура невозможна без коммуникации: через сложную взаимосвязь культурных событий осуществляется перенос информации теми, кто в этих событиях участвует (см.: [Лич 2001: 8]).

Передача же является переносом информации между различными пространственно-временными сферами. Иными словами, передачей является сообщение, имеющее отношение к динамике коллективной памяти. Передача представляет собой диахрония, отпечаток (с помощью материального носителя осуществляется связь между адресантом и адресатом) и вечность (благодаря связям через поколение возможен исторический горизонт передачи, направленный на инвариант накопления, на все эпохи). Поскольку без материализации нет увековечивания, то для целей передачи лучше всего подходит не языковое сопровождение, а когнитивный сценарий, опирающийся на кумулятивную функцию.

Под понятием «передача» подразумевается перенос информации из поколения в поколение, и, пока реализуется цикличность передачи, живут наши ценности и наша культура. Люди, как отмечает Р. Дебре, намеренно передают и увековечивают как раз «наиболее ценное для них», при этом проецируя себя в общее будущее (см.: [Дебре 2010: 15, 29, 50]).

Обратим внимание на совместимость понятий «коммуникация» и «передача». Ю.С. Степанов отмечает, что «ось одновременности (синхрония) не противопоставлена оси времени (диахронии). Описание глубинной структуры отношений между наличными элементами системы языка является одновременно первым этапом реконструкции ее прошлого состояния. В теоретическом рассмотрении переносить предмет в прошлое равносильно тому, чтобы сводить его к наиболее простым элементам» [Степанов 2003(а): 303]. Р. Дебре, как и Ю.С. Степанов, пишет, что понятие «коммуникация» («синхрония») неразрывно связано с понятием «передача» («диахрония»). Так, первому масштабу,

т. е. коммуникации, свойственна актуальность, тогда как второму масштабу, передаче, свойственен отпечаток (вечность) (см.: [Дебре 2010]).

Коммуникация и передача представляют собой некие регистры, которые нужно не сопоставлять, а координировать. Коммуникация и передача зависят друг от друга. Коммуникация служит необходимым условием для передачи информации [Дебре 2010: 32]. Дихотомии «синхрония–диахрония» и «передача–коммуникация» неразрывно связаны между собой, поскольку только на основе связи «синхрония–коммуникация» возможно осуществление связи «диахронии–передачи». Иными словами, «диахрония–передача» зиждется на основе «синхронии–коммуникации». Однако выявление четких границ между переходом от «синхронии–коммуникации» к «диахронии–передаче» может оказаться невозможным. Так, Ф. де Соссюр указывает, что «синхроническая истина до такой степени согласуется с истиной диахронической, что их смешивают или считают излишним их различать» [Соссюр 1977: 129]. Иными словами, неразличимость синхронии и диахронии связана с определением момента (речевого) сообщения. По отношению к этому моменту определяются синхронные или диахронные планы высказывания.

Идея передачи информации находит свое отражение в древнейшей германской поэтической традиции, в жанре тулы (аллитерационное перечисление имен). Структура тулы создается на идее цикличности, определяемой длительностью человеческой жизни. Цикличность же равна эпохе, или др.-исл. “verold” / др. англ. “weorold” («мир»). «Verold / weorold» («человек + время») заключает в себе два взаимосвязанных плана: поколение (возраст) и большой космический цикл (эпоха). Содержание тулы заключалось в генеалогическом перечислении имен. Такая хронологическая последовательность создавалась по нарастающей (А+Б+В+...). Повествование начиналось со времени создания тулы и возводилось к древнегерманскому божеству Одину (Woden):

Cynric Cerdecing, Cerdic Elesing,  
 Elesa Esling, Elsa Gewising,  
 Gewis Wiging, Wig Freawing,  
 Freawine Fridugaring, Fridugar Bronding,  
 Brond Baeldaeging, Baeldaeg Wodening.

Информация о жизни общества хранилась в подобных списках и передавалась из поколения в поколение. Как будет показано ниже, подобные тулы коррелировали не только с именем древнегерманского верховного божества, но и соотносились по линии «тотем-этноним».

Существовали определенные законы передачи информации в синтагматике и парадигматике тулы.

«Имена – а они внушают людям идею чего-то, чему не суждено погибнуть – весьма подходят для того, чтобы возбудить в каждом роде или семье желание продлить свое существование; есть народы, у которых имена определяют роды или семьи; есть также народы, у которых имена различают лишь отдельных лиц...» [Монтескье «О духе законов», URL]. Расслоение в именовании сущностей на имена нарицательные и имена собственные иногда иллюстрируется следующим образом. Так, если поименованный тигр ничем не отличается от другого животного, то последнего можно назвать тигром. Однако, если известно, что имя одного из тигров Witchgren, то из этого не следует, что имя второго также Witchgren. Принятие такого способа именованья, или кода имени нарицательного, для именованья второго индивида ложно, поскольку противоречит правилу индивидуности имени собственного, характеризующегося избирательной точечностью. Другими словами, имена собственные наглядно демонстрируют ситуацию, при которой код направлен сам на себя (code referring to code) [Якобсон 1972: 96], но в пределах замкнутых коллективов.

Имя – «жесткий десигнатор – термин, обозначающий одного и того же индивидуума в любом из возможных миров. Иными словами, имя относится к некоему человеку в любом из возможных случаев, в которых мы вообще можем говорить об этом индивидууме, и факты биографии тут ни при чем. Референция имени фиксируется на самом деле в тот момент, когда родители указывают пальцем на своего малыша, который, согласно их пожеланиям, будет носить это имя, или в любой другой момент, когда какое-то имя закрепляется за человеком. Оно продолжает указывать на человека в течение всей его жизни и после нее, благодаря цепи передач, в которой лицо, знающее это имя, использует в присутствии другого лица, которое собирается употреблять его таким же образом» [Пинкер 2013: 345–346]. Таким образом, имя в какой-то степени является представителем человека в этносе. Иногда эта репрезентация имени сопровождалась определенными правилами обращения с именем.

Существуют как бы первичные и вторичные имена. Первые – это божественные деяния, а вторые – результат наречения людьми. В индоевропеистике существовало представление о языке людей и богов. И это признавалось античной традицией на очень глубоком теоретическом уровне. Впоследствии функции творца и нарекающего переосмысливаются и со временем рассматриваются независимо.

В ряде древнейших индоевропейских традиций (древнеиндийской, древнегреческой, древнеиранской и т. д.) возникает особый институт установителей имен, в обязанность которых входит функция ответа за правильность именованя неких истинных причин вещей – сущностей.

Подобный институт ономастов (др.-греч. *ὀνοματοθέτης*) был относительно независим в своей деятельности от создателей вещей и ориентировался исключительно на поиск сущности имени и определения соответствия имени и вещи, т. е. на их называние, номинацию. Профессионализация деятельности ономастов подтверждалась ранними сведениями, относящимися к древнегреческой школе пифагорейцев. Подобные институты зафиксированы в ряде других традиций индоевропейского ареала: древнеиранской, древнеиндийской, древнегерманской и др. Ономастический акт, равноценный процессу созидания, был первым осмыслением сложного единства имени и объекта.

Имя понималось не как условное название предмета, но как то, что уже содержит в себе правила обращения с именуемой вещью или объяснение поведения именуемого объекта. Если, к примеру, именовался человек, то он, как ожидалось, должен был вести себя в соответствии со своим именем. Имя отображало какие-то свойства его внешности, характера, деятельности или профессии. То же справедливо и в отношении вещей, имя которых выражает их существенные свойства, напоминает о правилах обращения с ними. Соответственно, первичное восприятие сущности имени было пронизано условной этимологической природой. Этимологизация имени в первых исследованиях по истории слов Древней Греции и Рима была по существу продолжением древнейшей традиции поиска сущности имени.

В мифопоэтической традиции мы встречаемся с контрастной ситуацией по отношению к той, которую описал К. Маркс в контексте своего политэкономического учения: «Название какой-либо вещи не имеет ничего общего с ее природой. Я решительно ничего не знаю о данном человеке, если знаю только, что его зовут Якобом» [Маркс, Энгельс 1960: 110]. Тем не менее вне науки люди во все времена рассуждали как раз противоположным образом, полагая, что знание имени открывает путь к сущности (см.: [Степанов 1985: 13]). Так, А.Я. Гуревич на примере скандинавских саг показал, что датирование обозначенных и описываемых событий (несмотря на большое количество указаний на время) практически невозможно по причине отсутствия связи с христианским или другим летоисчислением. Временными ориентирами служили имена собственные. Иными словами, время соотносится и организуется в рамках жизни и правления верховного правителя; а

временными ориентирами в данном случае выступают его деяния [Гуревич 1990: 76, 78]. «Для скандинавов той эпохи более существенно было знать родословную человека, чем его координаты на хронологической шкале. Если известны происхождение и место жительства человека, указаны его сородичи, брачные союзы с другими семьями, дружеские связи, то о нем сказано достаточно для того, чтобы средневековой человек с должной отчетливостью локализовал его в своем сознании и мог следить за событиями его жизни, не задаваясь излишними для него вопросом, в каком году от рождества Христова эти события имели место» [Гуревич 1990: 76–77].

Идея прямого соответствия имени и денотата, трактовка имени собственного как *alter ego* индивида является традиционной исторической концепцией *nāmagura* «имя и форма», опирающейся в названии на реальные связи. В этом случае представляется удачным сравнение Дж. Гонды: «отношения между именем и его носителем можно сопоставить с тенью и человеком, ее отбрасывающим» [Gonda 1970: 8] (см.: [Топорова 1996: 7]).

До появления алфавитов действовали формы культурной памяти – идентичность индивидуума была тождественна идентичности этноса. Не исключено, что потребность в кодификации через звукопись являлась предшественницей появления алфавитов, поскольку семиотика звукописи – предварительный этап поиска экономии речи. «Так, у англосаксонского нобилитета, носившего кельтские имена, имена собственные были созвучны с этнонимом *Cymro* “валиец”. *Caedwalla, Caedda, Cedd, Ceawlin, Cerdic, Cumbra*» [Crystal 2004: 32].

Например, ономастикон англосаксонского нобилитета аллитерирует с этнонимом «валиец», выбор которого оказывался неслучайным (Здесь и далее контексты приводятся по: *The Anglo-Saxon Chronicle: An Electronic Edition (Vol 5) literary edition* [URL]: 519 “*Her Cerdic 7 Cynric: Westsexena rice onfengun on þu ilcan gearе hie fuhton wiþ Brettas þær mon nu nemneþ Cerdicesford: 7 sibban ricsadan Westsexana cynebearn of þan dæge*” («Здесь Кердик и Кюрик наследовали королевство западных саксов; и в этом же году они сражались против бриттов там, где сейчас это место именуется Кердиксфорд. И с этого времени королевский отпрыск западных Саксов правил»). Вероятно, как это можно заключить из контекста, речь шла об этническом смешении германцев и кельтов. 560 “*Her Ceawlin feng to rice on Wesseaxum <...>*” («Здесь Кевлин наследовал Уэссекс <...>»); 643 “*Her Cenwalh feng to Wesseaxna rice 7 heold . xxxi. wintra <...>*” («Здесь Кенвальх наследовал королевство Уэссекс и правил 31 год <...>»); 709 “*<...> 7 Ceolred feng to Myrcna rice <...>*” («<...> и король Кеолред наследовал королевство Мерсия <...>»).

В науке давно ощущается связь имен собственных и эпонимов. К. Леви-Стросс в свое время отмечал: «индивидуальные названия зависят от той же системы, что и коллективные названия, прежде нами изученные, и что посредством них можно перейти с помощью преобразований от горизонта индивидуации к горизонту наиболее общих категорий. Действительно, каждый клан или субклан обладает определенным количеством имен, носить которые предоставлено его членам, и раз индивид – часть группы, то индивидуальное имя – это часть коллективного названия» [Леви-Стросс 2008: 361].

Согласно спискам тул (аллитерационный перечень имен) англосаксонских королей, в трех королевствах (*Ēast Engla Rīce*, *Ēast Seaxna Rīce*, *Westseaxna Rīce*) поддерживается аллитерация между именем короля и названием королевства: Anna, Aethelhere, Aldulf <...> – *Ēast Engla Rīce*; Seaxnete, Swaepa, Sigefugel <...> – *Ēast Seaxna Rīce*; Aedmund, Aelfred, Aelfgiva <...> – *Westseaxna Rīce*. В других списках обнаруживается однородность именина, являющаяся коррелятом названия королевства по типу. Именина выполнял функцию смысловоразличения, по нему можно было определить, какое это королевство. Например, если E, то Cent (Emme, Eormenred, Ermenburga <...>), если C, то Mierce (Cnebbra, Cynewald, Creoda), если A, то *Norþanhymbra* (Alhfrith, Aedryht, Aethelwold <...>).

*Генеалогия королей Восточной Англии*

Anna	}	<i>Ēast Engla Rīce</i> (The Kingdom of East Anglia)
Aethelhere		
Aldulf		
Aelfwold		
Aethelbert		
Aethelburn		
Aetheldryth		

*Генеалогия королей Нортумбрии*

Alhfrith	}	<i>Norþanhymbra/ Norþhymbre</i> (Northumbria)
Aedryht		
Aethelwold		
Alhred		
Aethelred/Aethelrht		
Aelfwold		
Aethelberht		
Aeile		
Aetheldrythe		

*Генеалогия королей Уэссекса*

Cerdic	Coentwine	Aescwine	Aegelward
Cynric	Ceadwalla	Aethelhard	Aethelstan
Cuthwulf	Cuthred	Aedburh	Aedburn
Cutha	Cynewulf	Aethelbald	Aedmund
Ceaulin	Cutha	Alhmund	Aelfgiva
Ceol	Cuthwine	Athulf	Aedgar
Ceolwulf	Cutha	Aldgith	Aelfthryth
Cynegils	Cynebald	Atheleidis	Aedward
Cuthgils	Ceolwold	Alienora	Aelfgitha
Cenferth	Cenred	Aethelbald	Aegelred
Cenfus	Cuthburh	Aethelbryht	Aelfgiva
Cynegils	Cuenburh	Aethered	Aedwius
	Canut	Aealswith	Aedmund
		Aedward	Aelfred
		Aegelfled	Aelfgiva
		Aelfthryth	Aedward
			Aethelstan
			Aedward

*Westseaxna Rīce (The Kingdom of Wessex)**Генеалогия королей Восточного Саксонского Королевства*

Seaxnete	}	Ēast Seaxna Rīce (The Kingdom of Essex or Kingdom of the East Saxons)
Swaepa		
Sigefugel		
Sledda		
Saeberht		
Saexraed		
Saexn		
Sigeferth		
Seleferth		
Sigebald		
Swithelm		
Saebbi		
Sighere		
Sigheard		
Saelread		
Swithhaed		
Sigeric		
Sigeraed		

Возможность связывания генеалогии в последовательности с аллитерацией представляется важной с позиции структуры текста: синтагматики и парадигматики. Последовательность имен в традиции образующая синтагмы, которые взаимодействовали с этнонимами в парадигматике, с помощью аллитерации на ту же букву.

Так, в Нортумбрии проживали англы. Возможно, этот факт повлиял на имена королей, начинающиеся там на А, которые связываются в парадигматике с названием этноса *Angle*. Однако это остается исторической гипотезой. Сами списки выполняли историческую роль, т. е. являлись живой историей англосаксонских королевств, их функция обеспечивалась за счет передачи информации из поколения в поколение. В этом смысл англосаксонской традиции.

В любом случае, парадигматический перенос фонетических маркеров в именах англосаксонского нобилитета в диахронии коррелирует с названиями коллективов. Такой вид взаимодействия примыкает к традиционному виду связи имя собственное – тотем. Вероятно также, что скандинавские корни корреляции имен *Rhos* – Рюрик могли послужить тем фактором, который повлиял на выбор этнонима Русь. С современной точки зрения, как пишет академик Ю.С. Степанов, нет, однако, никакой необходимости рассматривать это имя восточных славян как данное им германцами. Скорее всего, семиотическая параллель германского имени Рюрик и этнонима *Rhos*, то есть племени из числа шведов, послужила в качестве фактора, повлиявшего на выбор термина Русь, который изначально связывался с Северным новгородским центром: «постепенно он продвигался на Юг и закрепился в южном Киевском центре, постепенно превращаясь в этнический термин для обозначения всего населения этой земли и государственный термин» [Степанов 2004: 152]. В качестве реликта германского семиотического правила имя собственное и название племени на Руси сохраняется корреляция названия династии Рюриковичей с названием самого государства.

Именник «Англосаксонских хроник» связан с выбором синтаксических конструкций при переводах архаических текстов. Обратимся к записям «Англосаксонских хроник» (здесь и далее оригинал кратких надписей приводится по: [The Anglo-Saxon Chronicle, URL]). Именник, используемый в рамках формулы “*Her sum. (on) feng to rice*” («Здесь кто-то наследовал трон (королевство, государство, империю)»), римского происхождения, в нем имена римских императоров: 70 “*Her Uespassianus onfeng rice*” («Здесь Веспасиан наследовал трон»). В примере за 81 г. формула “*Her sum. (on) feng to rice*” («Здесь кто-то наследовал

трон (королевство, государство, империю)») начинает снова обрастать новыми фактами, а именно, указывается имя наследника и дается краткая информация о нем, поэтому здесь мы регистрируем ряды с нарастающей детализацией по отношению к более ранним записям: 81 “Her feng Titus to rice, se þe sæde þæt he þone dæg forlure þe he naht to gode on ne dyde” («Здесь Титус наследовал трон; он, кто сказал, что потерял день, если не сделал ничего хорошего»). В записях от 84 и 155 гг. фиксируются снова только имена наследников, информация идет на спад (ряды с нисходящей детализацией по отношению к ранним записям): 84 “Her Domitianus Tites broþor feng to rice” («Здесь Домициан, брат Тита, наследовал трон»); 155 “Her Marcus Antonius 7 Aurelius his broðer fengon to rice” («Здесь Марк Антоний и Аврелий, его брат, наследовали трон»); 423 “Her Deodosius se gingra feng to rice” («Здесь Феодосий II наследовал трон»); 449 “Her Mauricius 7 Ualentes onfengon rice 7 ricsodon .vii. winter <...>” («Здесь Марциан и Валентин наследовали трон и правили 7 лет»); 583 “Her Mauricius feng to Romana rice” («Здесь Марциан наследовал правление Римской империей»). Для современников этих записей латинский онамастикон не имел прозрачной внутренней формы. Такие записи образуют серьезный ранний слой хроник. Коммуникативная стратегия перевода отмеченных предложений римского периода опирается на фактор передачи информации. Роль имен собственных латинского происхождения заключается в том, что они влияют на выбор термина перевода существительного “rice”. Если в формуле “Her sum. (on) feng to rice” («Здесь кто-то наследовал трон (королевство, государство, империю)») употреблено римское имя, то “rice” переводится как «трон (империя)». Коммуникативная цель высказывания влияет на фактор передачи информации из поколения в поколение. Коммуникативные стратегии существенно изменяются, когда анализируемая формула начинает использоваться по отношению к германскому периоду правления на острове Британия: 674 “Her feng Æscwine to rice on Westseaxum, se wes Cenfusing, Cenfus Cenferþing, Cenferþ Cupgilsing, Cupgils Ceolwulfing, Ceolwulf Cynricing, Cynric Cerdicing” («Здесь Эсквин наследовал королевство Западных Саксов; он был сыном Кенфуса, Кенфус – Кенферта, Кенферт – Кутгилса, Кутгилс – Кеолвульфа, Кеолвульф – Кюнрика, Кюнрик – Кердика»). Здесь rice начинает употребляться в значении «королевство», а сам именованник представлен именами с прозрачной внутренней формой, понятной англосаксам.

Как мы видим, однородность именования королей связывается с правилом тулы. Аллитерируемые имена правителей определяются устным этапом существования культуры, когда генеалогические после-

довательности именовались однотипно, чтобы сохранить в исторической памяти англосаксонских племен сведения о минувшем. «С помощью фонетического и частотного анализа антропонимов удалось выявить и описать новый принцип именования – фоностетический. Этот принцип именования выделяет аллитерацию в качестве древнегерманской идентифицирующей черты. Она сохранилась в коллективной памяти благодаря подсознательному выбору имен собственных по их звуковому оформлению. На материале города Винчестер были выделены начальные и конечные звуки/буквы, которые среди мужских и женских имен собственных получили максимальное распространение. А именно, конечный звук а среди женских имен обладал видимым преимуществом, так как присутствовал более чем в 40 именах собственных из общего количества 74» [Хоцкина 2014: 18].

Коммуникативная задача, реализуемая в туле в форме песнопения, создает опору для передачи информации. Ассонанс (аллитерация) в следующей туле, примыкающей к анализируемой формуле, свидетельствует о династических циклах англосаксонских королей: 738 “Her Ead-bryht Eating, Eata Leodwaling, feng to Norþanhymbra rice 7 heold .xxi. wintra <...>” («Здесь Эадбрюхт, сын Эата, сына Леодвалда, наследовал королевство Нортумбрия и правил 21 год <...>»); 836 (actually 839) “Her <...> 7 feng Eþelwulf Ecgbrehting to Wesseaxna rice, 7 he salde his suna Eþelstane Cantwara rice 7 Eastseaxna 7 Suþrigea 7 Suþseaxna” («Здесь <...> и Этелвульф, сын Эгбрюхта, наследовал королевство Уэссекс; и он дал своему сыну, Этельстану, королевства Кент и Суссекс и Сурет»); 866 “Her feng Eþered Eþelbryhtes broþur to Wesseaxna rice <...>” («Здесь Этеред, Этелбрюхта брат, наследовал королевство Уэссекс <...>»).

Л.Г. Викулова и Е.Г. Васильева отмечают, что ономастическому аспекту в ранней средневековой картине мира было отведено особое место, поскольку существовала связь между именем правителя и дифференциацией среди родственников. На примере выбора имен династий Меровингов был показан принцип вариации элементов с принципом наследственной передачи на основе аллитерации. Так, «корни chold, mer mech, составляющие имена Хлодиона (Chlodio) и Меровея (Mérovée), реальных или предполагаемых предков Хлодвига (Clovis), мы находим в именах Ingomer, Clodimir, Clothaire, в то время как child от Childéric входит в состав имен Lantechild и Childebert» [Викулова, Васильева 2015: 61].

Отмеченная формула “Her Sum. (on) feng to rice” образует кластер с другой формулой “Sum. Forþferde” («Кто-то умер») за счет коммуникативного расширения, способствующего передаче как целого: “Her

sum. forþferde, 7 sum. (on) feng to rice” («Здесь кто-то умер, и кто-то наследовал королевство»). Германский именник формулы подчиняется на протяжении значительного периода средневековья идее цикла, образующего династический период тулы: 819 (actually 821) “Her Cenwulf Miercna cyning forþferde, 7 Ceolwulf feng to rice <...>” («Здесь король Мерсии Кенвульф умер, и Кеолвульф наследовал королевство <...>»); 940 “Her Æþelstan cyning forðferde on Gleaweceastre on .vi. Kalendas Nouembris, ymb .xl. wintra butan anre nihte þæs þe Ælfred cyning forðferde, 7 Eadmund æþeling feng to rice, 7 he wæs þa .xviii. wintre <...>” («Здесь король Этельстан умер в Глостере на шестые календы ноября в возрасте 41 года, через день (после) король Альфред умер. И Эадмунд Этелинг, его брат, наследовал королевство, ему было тогда 18 лет <...>»); 958 “Her forðferde Eadwig cyng on kalendas Octobris, 7 Eadgar his broðor feng to rice” («Здесь король Эдвай умер на календы октября, и Эдгар, его брат, наследовал королевство»).

Как отмечает О.В. Хоцкина, в древнегерманской традиции существуют циклы именованья. Так, цикл с затемненной внутренней формой – цикл наречения, например, латинский именник, сменяется циклом именованья с прозрачной внутренней формой – древнегерманский именник (см.: [Хоцкина 2014]).

Далее, даже неразвернутые циклы в древнегерманском именнике, состоящие из двух правителей: умершего и наследующего престол, подчиняются отмеченному правилу тулы и аллитерируют в прозаическом тексте: 924 “Her Ædward cyning forðferde, 7 Æþelstan his sunu feng to rice” («Здесь король Эдвард умер и Этельстан, его сын, наследовал королевство»); 946 “Her Eadmund cyning forðferde on Sancte Agustinus mæssedæge <...> 7 þa æfter him feng Eadred æþeling his broþor to rice, 7 gerad þa eall Norðhymbra land him to gewælde. 7 þa Scottas him sealdon aþas þæt hi eall woldon þæt he wolde” («Здесь король Эадмунд умер на день литургии святого Августина <...> и затем после него его брат Эадред Этелинг наследовал королевство. Он подчинил всю Нортумбрию своей власти. И шотландцы дали ему присягу, что они будут делать то, что он захочет <...>»).

Однако иногда эти правила тулы не соблюдаются, что также заслуживает внимания. Возможно, это связано с нарушением династического цикла: 675 “Her <...> 7 þu ylcan gearе Wulfhere forþferde, 7 Eþelrēd feng to rice” («Здесь <...> и в этом же году Вулфхере умер, и Этелред наследовал королевство»).

Смена династического цикла часто связана с правилом смены аллитерации имени собственного: 634 “Her feng to Dearne rice Osric þone

Paulinus ær gefullode, se wæs Ælfrices sunu Ædwines federan, 7 to Værnicum feng Æðelfriðes sunu Eanfrið <...>” («Здесь Осрик, кого Паулин прежде крестил, наследовал королевство Дейра; он был сыном Элфрика, дяди Эдвина, и Эанфрит, сын Этелфрихта, наследовал Берницу <...>»); 694 “Her <...> 7 Wihtred feng to Cantwara rice, 7 heold .xxxiii. wintra; Se Wihtred was Ecgbryhting, Ecgbryht Arcenbryhting, Erconbryht Eadbalding, Eadbald Eþelbryhting” («Здесь <...> и Вихтрэд наследовал королевство Кент и правил 33 года. Вихтрэд был сыном Эгбрюхта, Эгбрюхт – Эрконбрюхта, Эрконбрюхт – Эдбалда, Эдбалд – Этелбрюхта»).

Таким образом, существует корреляция между именами и именником, а также жанровым своеобразием переводов средневековых текстов. Выбор латинского имени для императоров отличается особым вхождением в тексты по сравнению с именами германских правителей. Имена просто образуют сетки значений в переводах. Следовательно, можно сделать вывод о том, что именник и синтаксис тесно связаны между собой.

Индоевропейская традиция именованья богов с переходом к монотеизму сохраняет актуальность, и ее принципы влияют на выбор имени христианского бога. Христианское имя допускает как анаграмму, так и символическое прочтение, что само по себе уже было заложено в исконных представлениях индоевропейских народов. Анаграмма – форма передачи информации, о чем в свое время писал Ф. де Соссюр (см.: [Соссюр 1977: 116]). Неслучайно дихотомия «коммуникация-передача» оказывается сопряженной с учением об анаграммах.

Имя бога – анаграмма. У индоевропейцев имена богов часто восстанавливаются по созвучию, то есть повторению в каком-либо тексте слогов, принадлежащих тому священному имени, которому посвящается текст. Наиболее ранним из доступных текстов индоевропейской традиции, в котором встречается этот прием, является древнехеттский стихотворный гимн, обращенный богу Pirwa (\*Perwa), хеттскому соответствию славянского Перуна. В строках гимна, посвященного Пирве, имя бога анаграммируется и предстает как созвучие, извлекаемое из текста:

[P]da-a-ir-wa tu-li-ya-an a-az-za  
wa-lu-uš-ki-u-wa-an ti-i-e-er  
(Во. 6483, 12–13)

И они собрание взяли,  
Славить начали его.

При прочтении текста актуализируется строчной смысл («собрание») и надстрочное созвучие имени индоевропейского бога. Из приводимого двустишия уже ясно, что слава возносилась не только собранию воинов, но также богу Пирве, лицу, которому и посвящен гимн. Анаграмма принадлежала к такому элементу языка индоевропейской поэтики, который отвечает за сакрализацию имени, то есть имя бога прямо не называется, но подразумевается, не произносится отдельно, но восстанавливается при чтении, слушании.

Как в свое время показал Ф. де Соссюр, этому приему имеется много примеров в древнеиндийской традиции. «Можно взять почти любой гимн наудачу и убедиться в том, что, например, гимны, посвященные Agni Aṅgiras (бог огня, имя которого родственно рус. «огонь», лат. ignis. – С.Л.), представляют собой как бы целый ряд каламбурных созвучий, например, таких, как girah (песни), aṅga (соединение) и т. п., что свидетельствует о главной заботе автора – подражать слогам священного имени» [Соссюр 1977: 640].

Анаграмма – это интенция автора высказывания, однако она всегда предстает в интерпретации адресата. Анаграммы индоевропейцев создавали контекст сообщения, а сама поэзия была звукописующей (phonique), в ней время от времени должны повторяться слоги определенного имени. По мысли Ф. де Соссюра, основанием для появления анаграмм могло бы быть религиозное представление, согласно которому обращение к богу, молитва, гимн не достигают своей цели, если в их текст не включены слоги имени бога.

В иудео-христианской традиции раскрытие имени бога традиционно восходит к речению «и открылся Аврааму, Исааку и Иакову богом Шадай, но под именем моим, Иегова, я не был известен им» (Исх. 6, 2). Индоевропейские тексты также воспроизводят семитское имя бога Иегова, Яхве (Yehowah), но представляют его не в записи согласными YHWH как в древнееврейском, а как анаграмму, случайный подбор слогов. Согласно одной из версий, древнеанглийский «Гимн Кэдмона», выдающееся произведение англосаксонской традиции, имеет звуковой сегмент, который передается англосаксонским местоимением gihuaes с семантикой «каждый» и созвучен имени Яхве. По-видимому, в самом стихотворении реализуется индоевропейский принцип анаграммы: имя бога воспроизводится как аллюзия.

Nu sculon herigean heofonrices weard,  
Meotodes meahthe and his modgeþanc  
Weorc wuldorfaeder,

swa he wundra ge-hwaes,  
Ece drihten, ord onstealde...

Теперь восславим защитника небес,  
силу господу и его ум,  
создание блестящего отца, так как он  
каждого удивляет,  
вечный господь, начало установивший...

В описании истории создания «Гимна...» Беда Достопочтенный пишет, что во сне неграмотному крестьянину явился Господь и попросил его сочинить стихотворение, посвященное творению мира. После пробуждения Кэдмон вспоминает слова, вложенные в его уста Господом, и приводит их для записи ученым мужам.

Индоевропейское начало превалирует в одном из первых англосаксонских христианских стихотворных памятников, а сам характер иносказания, то есть создания контекста высказывания о боге, созвучен, например, древнейшей хеттской традиции, древнеиндийским гимнам и т. д.

Имя бога как будто изъясняет абсолютную сущность, оно может быть доступно только как анаграмма. Имя бога ожидается в тексте, и его наличие предполагается самим контекстом повествования, оно изначально задано как эпитафия в тексте литературного произведения.

Иногда анаграммы определяются на большей длине текста, чем отдельный контекст, и совсем не обозначены контекстом повествования. Так, в знаменитой строке 400 из 11-й главы «Одиссеи» «Бурные волны воздвигшим на бездне морской» (пер. В.А. Жуковского) восстанавливается имя *Ἀγαμέμνων*: *ἄρσας ἀργαλέων ἀνέμων ἀμέγαπτον ἀυτμήν* [Соссю 1977: 645]. Разумеется, анаграмма Агамемнона в «Одиссее» – это своего рода напоминание о герое. Напротив, в тексте англосаксонского памятника «Гимн Кэдмона» анаграмма предстает чем-то вроде дополнительного смысла, раскрывающего таинство, открытое только посвященному.

Копирование ранней христианской поэзией индоевропейских приемов именования божеств является классическим примером рецепции в традиции, когда фундаментальное представление заимствуется из другой культуры, иногда не родственной и т. д., но также перерабатывается в сути и предстает как индоевропейский феномен.

Для передачи новых идей индоевропейские культуры в период христианизации пользовались плодами всего накопленного потенциала

словесности. Филиация мотивов из традиции в традицию предопределила открытие индоевропейских приемов именованья бога, которые и формировали фундамент христианского мировоззрения.

Анаграмма не являлась исключением из этого списка. Однако первые христиане прибегали к анаграммам по принуждению, «наипаче тогда, когда надлежало им скрывать свое вероучение от язычников» [Епископ Порфирий (Успенский) 1996: 160]. Преследование христиан в Римской империи хорошо засвидетельствовано в документах того времени. Так, в эдикте императора Валериана говорится о наказании, которому должны подвергнуться сословия за приверженность христианству. Светоний пишет, что император Клавдий издал распоряжение об изгнании из Рима иудеев, «постоянно волнуемых Хрестом» [Свенцицкая 1987: 161–175]. В таких условиях возникает необходимость в кодировании воззрений, в иносказаниях и т. п.

Нам интересны христианские образы бога, появившиеся сразу после принятия христианства, до икон, до какого-либо его художественного осмысления. Так, ранние христиане изображали христианского бога в виде рыбы. Такие изображения рисовались на стенах, гробницах, вырезались на перстнях, печатях, медальонах. По-видимому, это один из первых христианских образов бога, в основе которого лежит представление о Слове. Подчеркнем семиотический аспект интерпретации анаграмм – их иконичность. Смысл знаков-икон заключается в реставрации принципов означаемого на основе означающего. Речь идет об особом виде иконичности: анаграммируемые имена – это всегда потребность в воссоздании основных черт означаемого, в данном случае – именованья бога.

Произнесение имени божества – это всегда «эвфемизация действительности» [Степанов 2003(б)]. Во-первых, при таком именовании используются слова, связанные с хорошим предзнаменованием. Во-вторых, люди стремятся также умолчать что-либо, а именно не навести беды сказанным. Здесь нет противоречия. Так, эти два момента – произнести и умолчать – реализованы в семантике др.-греч. *Εύφημέω, εὐφμία*. Первое из этих слов – глагол, который, согласно словарю Лиделла-Скотта-Джонза, означает «использовать слова, связанные с хорошим предзнаменованием» (use words of good omen), букв. «говорить хорошо, благоговорить». Второе слово – имя существительное, означающее соответствующее действие. Дальше упомянутый словарь раскрывает это общее значение как: 1) избегать всяких несчастливых слов во время священных ритуалов, откуда, как самый надежный способ достичь этого, – хранить религиозное молчание (avoid all unlucky words, during sacred

rites: hence, as the surest mode of avoiding them, keep a religious silence); 2) торжественно восклицать, (букв. «кричать с триумфом» (shout in triumph) [Степанов, Проскурин 1993: 8].

Такое определение эвфемизации прекрасно иллюстрировано вышеприведенными гимнами, где имя бога произносится, но не называется (!). Тем самым исключается негативная практика – не накликать беды, упомянув имя бога, – и поддерживается связь с сакральным именем. Таким образом, перед нами абсолютно уникальный случай иконичности – иконичность, проливающая свет на религиозное таинство имени бога как варианта его произнесения.

С самого начала поиска ответа на вопрос: почему первые христиане призывали своих современников к изображению символической рыбы, необходимо обратиться к контексту христианизации – потребности в древнегреческом материале. Дело в том, что образ рыбы как иконы был ближе всего создателям новозаветных евангелий на древнегреческом языке, а также более раннему переводу «семидесяти толковников» (Септуагинте), то есть древнегреческому дискурсу, поскольку соотносился как анаграмма или как сокращенная запись, акростих об Иисусе Христе на древнегреческом со словом  $\text{ΙΧΘΥΣ}$  – «рыба». Запишем анаграммируемые имена в столбик, означив анаграмму  $\text{ΙΧΘΥΣ}$  как максимальную сумму возможностей использования греческих фонетиков имени бога в одном коротком слове.

$\text{ΙΧΘΥΣ}$

$\text{Ἰησους}$

$\text{Χριστός}$

Очень рано слово начинает толковаться как акроним, как некая алфавитная типология (см. подробнее в: [Степанов, Проскурин 1993]) в традиции Сивиллиных книг:  $\text{ΙΧΘΥΝ}$ , latine piscem, sacris litteris majores nostri interpretati sunt, hoc ex Sibillynis versibus colligentes. – «Слово  $\text{ΙΧΘΥΣ}$ , по латыни piscis, наши предки истолковали священными буквами, заимствуя это из Сивиллиных стихов». Анаграмма бога получила интерпретацию как акроним. Блаженный Августин в своей книге «О граде Божием» ясно истолковывал значение акростиха, о котором идет речь: «Если вы от пяти греческих слов:  $\text{Ἰησους Χριστός Θεου Υἱος Σωτήρ}$  отделите первые заглавные буквы и соедините их вместе, то получите одно слово  $\text{ΙΧΘΥΣ}$ , которым обозначается Христос» [Епископ Порфирий (Успенский) 1996: 157]. Греческий текст прочитывается как «Иисус Христос, Божий Сын, Спаситель». Епископ Порфирий (Успен-

ский) считает, что место происхождения акростиха – г. Александрия; где-то в среде александрийских иудеев-терапевтов и первых христиан была развита традиция писания Сивиллиных прорицаний. Автор гипотезы полагает, что акронимическая природа имени как обозначения христианского бога является первичной.

Однако более достоверным является, с нашей точки зрения, иной взгляд на историю образа. Возникнув как напоминание об имени бога, слово затем реинтерпретируется как акроним. Образ рыбы доминирует в графическом изображении Богочеловека в течение значительного периода времени (до появления портретных изображений и обретения плащаницы). Тому имеется ряд серьезных предпосылок в индоевропейской традиции. Любопытно обратиться к материалу кельтской традиции, о которой писал В.П. Калыгин: «Насколько можно судить по имеющимся материалам, персонификацией мудрости служил Find File, своего рода первопоэт... Финд. Поэт представляет собой одно из воплощений архаического божества Find (ср. галл. Vindonnos, вал. Gwyn)... Одноглазый лосось Fintan (uindo-seno, то есть «старый Финд») приплывает к источнику, чтобы проглотить падающие в него орехи, дающие знание» [Калыгин 1997: 68]. Таким образом, связь божества и рыбы была понятна индоевропейцам.

Обратимся к описаниям предметов, содержащих рисунок рыбы, сделанный Епископом Порфирием (Успенским) во время его путешествия в Италию в XIX в. Автор книги «Святыни Земли Италийской» пишет: «Выше срисован мной *ΙΧΘΥΣ* (запись литерой *С* можно объяснить влиянием латыни. – *С. П.*) с камня опала, хранящегося в музее Виттори». На лицевой стороне очень хорошо вырезано это греческое слово, а на задней – якорь как эмблема надежды на Христа Бога (рис. 1, взят из [Епископ Порфирий (Успенский) 1996]).

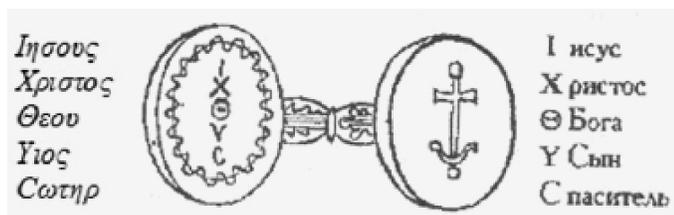


Рис. 1

Текст на опале, а также рисунчатые знаки представляют собой уникальное сочетание анаграммы Христа с монограммой бога в виде якоря.

Формализованная на латинский лад древнегреческая буква  $\Sigma$  в тексте анаграммы соседствует с идеограммой бога, что, на наш взгляд, свидетельствует о сдвиге в традиции – переходе от устной традиции изложения к письменной записи. И снова перед нами сильный древнегреческий подтекст. Якорь предстает как рисунчатый образ древнегреческого алфавита с перекрестием, символизовавшим букву  $A$ , и основанием в виде буквы  $\omega$ . Новозаветная формула бога ( $A \omega$ ) предстает как имя мира, в котором имя бога начинает, безусловно, выступать как акроним, то есть свернутый текст о Христе (ср. азбучные молитвы о боге древнерусской традиции) [Степанов, Проскурин 1993]. Однако такие интерпретации, скорее, принадлежат к развитой традиции интерпретации.

Монограмм Христа, составленных из двух первых греческих букв его имени, было много, включая изображения на священном знамени *labarum* императора Константина. Однако это плод уже утвердившейся письменной традиции: *littera P in medio sui decussata*, то есть буква  $P$  в середине разделенная буквой  $X$ .

Епископ Порфирий (Успенский) приводит целый ряд монограмм, стилизованных под алфавитный ряд (правда, из текста непонятно, кем – им самим или же все-таки кем-то еще) (рис. 2, взят там же).



Рис. 2

Даже если рассматривать ряд монограмм как составленный Епископом Порфирием, обращает на себя внимание принцип их стилизации, обнаруживаемый при сравнении. Собранные все вместе, они имитируют алфавитный ряд, остается только задать последовательность, и перед нами готовый алфавит. Об этом свидетельствуют развороты в изображении монограмм, их различные формы. Формы знаков этого христианского письма, действительно, напоминают некоторые элементы христианских письменностей, возникших гораздо позднее (к примеру, буквы Азь, Иже, Слово славянской глаголицы) (рис. 3).



Рис. 3

Как мы видим, сами монограммы знаменуют новый этап имени бога – письменный. Имя бога – идеограмма имени.

Любопытно, что сама Библия и ее переводы иллюстрируют этапы в становлении христианской культуры, то есть наличие переломов от традиции устной к традиции письменной. Устные формулы – речения, восходящие к гипотетическому источнику Q, формализуются, в частности, через начало фраз с союза «и» (*καί*) и употребление частицы «же» (*δέ*) в Евангелиях Нового завета. Изначально это характерно для декламирования, говорения вслух. Но однажды записанное речение оказывается формульным и последовательно воспроизводится в классическом синтаксисе Библии в письменных переводах.

Итак, имя бога, как и текст о боге, претерпевает семиотическую трансформацию – меняется форма памяти, или форма наследования информации: от устного воспроизведения к записи. Семиотический пункт этого процесса, то есть смена форм хранения информации, наблюдается в замене анаграммирования акронимированием при реконструкции имени христианского бога.

Любопытно, что в традиции перевода также господствуют аналогичные тенденции (преобладание транслитерации в XIX в. при замещении ее транскрипцией в XX в., в частности при переводе с английского на русский). Возможно, формы хранения негенетической информации могут меняться с разными векторами, то есть от записи к устной форме и, наоборот, от устной формы к записи.

Имя бога может быть также показано символом. Интересно, что разные традиции по-разному изображают божеств. Индоевропейская культура, представлявшая образы богов только антропоморфно, допускает символическое толкование божеств в виде зооморфных образов лишь отчасти. Так, образ Христа часто передается агнцем. В погребальном скрове Домициллы, в скрове святого Петра и Маркеллина прорисован агнец, в последнем случае окруженный нимбом в знак святости таинства (рис. 4, взят там же).



Рис. 4

В истории индоевропейских представлений приемы именованя бога становятся ресурсом новых христианских номинаций, но с опорой на известные традиции приемы. И это не всегда перевод. Индоевропейская составляющая христианской традиции – это новый современный разворот проблемы обретения христианского мировоззрения с акцентом на исконные источники христианских образов.

Постановка настоящего научного исследования связана с дихотомиями, которые впервые были, конечно, раскрыты Вильгельмом фон Гумбольдтом, а по своей специфике описаны как научная проблема Ф. де Соссюром. Соссюр обнаружил, что дихотомии связаны с маленькими причинностями: аллитерацией, анаграммой, рифмой, структурой. Эти маленькие причинности сохраняются в веках и в поколениях как передающиеся сигналы.

## Литература

- Викулова Л.Г., Васильева Е.Г. Выбор имени как инструмент укрепления династической власти в раннем Средневековье (Франция, V–X вв.) // Верхневолж. филол. вестн., 2015, № 2.
- Гуревич А.Я. Средневековой мир: культура безмолвствующего большинства. М., 1990.
- Дебре Р. Введение в медиологию [пер. с фр. Б.М. Скуратова]. М., 2010.
- Епископ Порфирий (Успенский). Святыни Земли Итальянской. Из путевых заметок 1854 года. М., 1996.
- Калыгин В.П. Истоки древнеирландской мифопоэтической традиции: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 1997.
- Лич Э. Культура и коммуникация: логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии. М., 2001.
- Маркс К. Капитал, т.1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т.23. М., 1960.
- Монтескье Ш.Л. «О духе законов» XXIII, IV [URL]. – Режим доступа: <http://worldconstitutions.ru/?p=1166&page=5> (дата обращения: 10.01.2016 г.).
- Пинкер С. Субстанция мышления: Язык как окно в человеческую природу. Пер. с англ. М., 2013.
- Свенцицкая И.С. Христианство: страницы истории. М., 1987.
- Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию [пер. с фр. А.А. Холодовича]. М., 1977.
- Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.

- Степанов Ю.С.* Методы и принципы современной лингвистики. 4-е изд., стереотип. М., 2003 (а).
- Степанов Ю.С.* Смысл, абсурд и эвфемизмы // Вестник НГУ. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». Новосибирск, 2003 (б). Т. 1. Вып. 1.
- Степанов Ю.С.* Константы: Словарь русской культуры. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004.
- Степанов Ю.С., Проскурин С.Г.* Константы мировой культуры. Алфавиты и алфавитные тексты в период двоеверия. М., 1993.
- Топорова Т.В.* Культура в зеркале языка: древнегерманские двуличные имена собственные. М., 1996.
- Хоцкина О.В.* Семиологическое описание средневекового антропонимикона (на материале данных архива города Винчестер в период X–XIV веков) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 2014.
- Якобсон Р.О.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
- Crystal D.* The Stories of English. London, 2004.
- Gonda J.* Notes on names and the name of God in ancient India. Amsterdam; London, 1970.
- The Anglo-Saxon Chronicle: An Electronic Edition (Vol 5) literary edition [URL]. – Режим доступа: <http://pasc.jebbo.co.uk/bb-L.html> (дата обращения: 10.01.2016 г.).

### глава 4.3. От знаков культуры к знакам языка: теоретические аспекты культурного трансфера в процессе формирования фразеологии

**И.В. Зыкова**

#### **1. Вводные замечания**

Фразеология представляет собой сегодня одну из ключевых сфер интереса многих современных междисциплинарных направлений (или междисциплин), занимающихся изучением взаимодействия культуры, сознания (или личности) и языка (напр., психолингвистика, этнолингвистика, когнитивная лингвистика и проч.). Особое предпочтение фразеологическому материалу оказывается и такой междисциплиной, как лингвокультурология. Это обусловлено вполне понятными причинами. Фразеологию можно, пожалуй, считать исключительно благодатной почвой для исследования целого ряда центральных проблем лингвокультурологической науки, к которым, в частности, относятся проблемы, связанные с изучением того, как культура влияет на создание и функционирование языковых знаков, каковы глубинные механизмы интеракции культуры (или концептосферы культуры) и языка, каким образом информация о культуре сохраняется, накапливается и передается в значении языковых средств и как культурный опыт познания тем или иным национальным сообществом мира отражается в различных слоях (или компонентах) содержания единиц естественного языка и какой (какого рода) это культурный опыт.

Следует признать, что, несмотря на уже накопленный опыт исследования и созданный на его основе целый арсенал разных теорий и методов, сам масштаб и очевидная сложность указанных проблем делают все еще несколько отдаленной перспективу достижения их полной или исчерпывающей изученности. А потому крайне актуальным продолжает оставаться поиск новых путей их теоретического осмысления и новых (в частности, лингвокультурологических) методов их анализа на базе различных видов и форм речевой деятельности и главным образом на базе разного рода языковых средств, особое положение среди которых занимают фразеологические знаки.

Принимая во внимание современный контекст развития лингвокультурологии и ее текущие потребности, в нашем исследовании мы изучаем то, как содержание культуры (культурная информация) «трансферируется» (или транспонируется, переводится) в язык, в результате чего возникают фразеологизмы как знаки особой – культурно-языковой – природы. Настоящая глава содержит изложение ряда основных аспектов развиваемой в нашей работе лингвокультурологической теории построения значения фразеологических знаков, а также описание результатов апробации этой теории на материале английских и русских фразеологизмов предметной области вербальной коммуникации. Особое внимание уделяется рассмотрению специфики формирования тех фразеологизмов, источником значений которых послужила одна из семиотической областей культуры – семиотическая область пространства.

## **2. Культура vs. язык: роль межсемиотической транспозиции в формировании фразеологического значения (теоретический аспект)**

В нашем исследовании разработка теории формирования фразеологического значения осуществлялась на базе главным образом ключевых положений лингвокультурологии и лингвокультурологического направления во фразеологии [Телия 1999, 2006], а также ряда положений из области семиотики, когнитивной лингвистики и разработанной в нашей работе теории культуры как информационной системы (см. подробнее в [Зыкова 2011, 2014]).

Исходя из основополагающего постулата лингвокультурологии о том, что культура и язык – это две разные семиотические системы, между которыми существуют отношения интеракции, процесс формирования фразеологического значения мы понимаем как результат **межсемиотической транспозиции**. Понятие «межсемиотическая транспозиция» было введено в научный обиход Р. Якобсоном для описания процесса перевода (концептуального) содержания вербальных знаков в невербальные знаковые системы, например *слова угрозы* > *жесты угрозы* [Якобсон 1978]. В отличие от Р. Якобсона, в нашем исследовании межсемиотическая транспозиция определяется как процесс так называемого обратного «перевода», т. е. как «перевод» концептуального содержания из знаков разных семиотических областей культуры (например, искусства, спорта, повседневной деятельности, медицины и др.) в знаковое пространство естественного языка, в результате которого происходит создание значе-

ния фразеологизмов. Специфика данного процесса, его особый механизм является предметом обсуждения данного параграфа главы, проводимого в формате изложения ключевых результатов, полученных в ходе его (т. е. этого процесса) изучения (см. подробнее в [Зыкова 2014]).

Предпринятое исследование в первую очередь убеждает нас в сложности и многомерности межсемиотической транспозиции как процесса особого культурно-языкового взаимодействия. Изучение данного процесса позволяет гипотетически представить его в виде ряда когнитивных операций, последовательно осуществляемых личностным сознанием *homo loquens* с опорой на чувственную сферу. В самых общих чертах данные операции можно описать следующим образом:

1. Отбор (концептуального) содержания из определенных семиотических областей культуры. В качестве примера можно рассмотреть английскую идиому *a knock-down argument* (букв. *аргумент, сбивающий с ног; приводящий к нокдауну*). Анализ данной идиомы показывает, что образование ее значения осуществляется при участии концептуального содержания двух семиотических областей культуры англоязычного социума – спорта (о чем свидетельствует компонент *knock-down*) и вербальной коммуникации (о чем свидетельствует компонент *argument*).

2. Синтезирование отобранного концептуального содержания. Так, дальнейшее изучение идиомы *a knock-down argument* позволяет утверждать, что построение ее значения происходит за счет объединения некоего множества идей, отражающих, в частности, восприятие:

- коммуникации как спортивной игры – бокса (т. е. кулачного боя по определенным правилам),
- коммуникантов как спортсменов-боксеров,
- высказывания как процесса нанесения удара,
- высказывания как процесса получения удара,
- слов и их содержания как (спортивных) орудий особой ударной силы, которая способна вывести соперника из боя (игры).

Особого внимания заслуживает тот факт, что данные составляющие представляют собой, по сути, набор определенных метафорических концептов (или метафорических проекций).

3. Структурирование синтезированного (или объединенного) концептуального содержания. Например, при рассмотрении указанных выше составляющих, из которых создается значение идиомы *a knock-down argument*, становится очевидным, что все они находятся в отношениях определённой взаимосвязи и взаимообусловленности.

4. Формирование концептуального основания значения фразеологизма. Согласно полученным данным, все взаимосвязанные метафо-

рические концептуальные составляющие, которые, попутно заметим, состоят в свою очередь из ряда неметафорических элементов, представляют собой совокупно сложно организованную концептуальную структуру. Изучение данной структуры показало, что с учетом ее природы и специфики организации она может быть определена как **макрометафорическая концептуальная модель**<sup>1</sup>. В случае с английским фразеологизмом *a knock-down argument* целостной концептуальной структурой, лежащей в основе его значения, является макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS PLAY.

Таким образом, в ходе межсемиотической транспозиции, которая предполагает, судя по всему, такой набор основных когнитивных операций, образуется макрометафорическая концептуальная модель. Будучи, в сущности, «местом сращения» культуры и языка, «местом перехода и преобразования культуры в язык», эта модель представляет собой глубинное культурообусловленное основание содержания фразеологизма. На ее базе создается индивидуальный образ идиомы *a knock-down argument*, в котором отдельный аспект вербальной коммуникации – спор (дебаты) предстает как определенный вид единоборства – кулачный бой (или бокс). Этот фразеологический образ становится, в свою очередь, источником определенной фразеологической семантики '(крайне/очень) убедительное высказывание (суждение), которое невозможно оспорить'. В итоге образуется фразеологизм как культурно-языковой знак, способный функционировать в разных типах дискурса и актуализировать в них разнообразные аспекты своего богатого, унаследованного от культуры содержания. В подтверждение сказанного приведем несколько разных контекстов употребления фразеологизма *a knock-down argument*:

(1) *People much smarter than I, with larger audiences, have not been able to make a knock-down argument for this proposition.* (WC-BBC)

(2) *The knock-down argument against humanitarian invasion is that it won't work.* (The Guardian, 26 September 2006)

(3) *I have tried to write in line with this familiar pattern of practical deliberation and not to appeal to any knock-down argument for or against animal rights.* (GB)

<sup>1</sup> Подробная информация о внутреннем устройстве макрометафорической концептуальной модели, составляющих ее элементах разной степени сложности и разного характера, принципах ее построения и методе реконструкции дается в работе [Зыкова 2014].

Следовательно, представляется возможным в целом говорить о том, что процесс межсемиотической транспозиции приводит к последовательному образованию двух взаимообусловленных уровней фразеологического значения. Прежде всего происходит формирование **глубинного (концептуального) уровня значения фразеологического знака**, представляющего собой макрометафорическую концептуальную модель. Особого внимания при этом заслуживает тот факт, что одна и та же модель может быть общей для целого ряда фразеологизмов. Иначе говоря, в силу содержащихся в ней различных иерархически связанных метафорических проекций любая макрометафорическая концептуальная модель обладает определенным креативным потенциалом, позволяющим ей порождать некоторое множество «родственных» (в определенном смысле), но в то же время гетерогенных фразеологических образов. К примеру, упомянутая выше макрометафорическая концептуальная модель *VERBAL COMMUNICATION IS PLAY* действительно продуцирует в английской языковой системе не только образ идиомы *a knock-down argument*, но и образы целого ряда других фразеологизмов, например: *to play to the gallery, to keep the ball rolling, piggy in the middle, to blow one's own trumpet, to play cards close to one's chest* и проч. Соответственно, помимо самой модели глубинный уровень фразеологического значения составляет и порождаемый этой моделью индивидуальный фразеологический образ. Далее на базе того или иного фразеологического образа создается фразеологическая семантика или, другими словами, **поверхностный (семантический) уровень фразеологического значения**. В итоге в языковой системе англоговорящего социума возникает в определенный исторический период новый фразеологический знак, целостное значение которого имеет двухуровневую организацию.

Знаки культуры, концептуальное содержание которых подвергается межсемиотической транспозиции и участвует в построении значений фразеологизмов, чрезвычайно разнообразны и образуют различные семиотические области. К примеру, это такие семиотические области, как музыка, театр, архитектура, спорт, профессиональная и повседневная деятельность, религия и др. Разные семиотические области культуры вносят свой особый вклад в создание и развитие фразеологического фонда языка. Особый интерес для нашего исследования представляет вопрос о роли **знаковых средств пространства** в процессе формирования значений фразеологических знаков. Перейдем к его рассмотрению.

### 3. Семиотика пространства как источник фразеологизации

Изучению семиотики пространства (semiotics of space) с разных научных позиций посвящено значительное количество работ (напр., [Иванов, Топоров 1965], [Pereira 1968], [СППС 1986], [Cassirer 1992], [Pelleggrino 1994], [Успенский 1996], [Хайдеггер 2000], [ЛАЯ-ЯП 2000], [Домников 2002] и др.). Многими исследователями отмечается, что представления о пространстве относятся к числу древнейших, восходящих к архаическим формам осознания мира и его устройства; они играют особую роль в генезисе культуры. Как указывает А.И. Пигалев, «формирование первых представлений о пространстве начинается уже в палеолите на основе попыток осмысления различных силовых воздействий, процессов движения и изменения. Но эти попытки были обусловлены жесткой необходимостью антропогенеза, поскольку определенное осмысление пространства выступает как условие существования человека» [Пигалев 1998]. Ю.А. Асоян в своей работе отмечает, что «пространственная семантика – одна из первичных форм означивания человеком мира; пространственные категории представляют способ понимания предметов в их взаимной соотнесенности и отнесенности к человеку (далеко-близко, высоко-низко), фиксируют меру духовно-практического овладения действительностью (пространство сакральное и профанное, место свое и чужое; территория)» [Асоян 2007: 304]. В архаичной культуре, согласно Б.А. Успенскому, пространство оценивается в нравственных категориях; география выступает как разновидность этических знаний [Успенский 1996].

Как представляется, в становлении пространственной семиотики культуры (или культур) существенной значимостью обладают, по всей вероятности, следующие процессы:

– процесс, связанный с восприятием человеком себя как объекта в пространстве, с которого начинается и посредством которого осуществляется пространственное измерение, с постижением границ/пределов своего собственного тела, приводящим к пониманию внешнего и внутреннего пространства, своего (личного) и не-своего (природного, чужого) пространства; с осмыслением функциональной специфики частей своего тела в пространственно-ориентационной деятельности;

– процесс, связанный с освоением природной среды, в пределах которой проживает тот или иной народ и которая может включать определенные участки территории, акватории и аэротории со свойственными им объектами, которые наделяются в ходе их познания определенными символическими (или сакрально-символическими) смыслами;

– процесс, связанный с преобразованием природной среды и созданием искусственных пространственных статичных и динамичных объектов, к которым относятся, к примеру, созданные ландшафтные и архитектурные объекты, разного рода транспортные средства, и сопряженное с этим процессом осознание их особой значимости в жизнедеятельности общества.

– Принимая во внимание данные процессы, можно выделить, судя по всему, разнообразные и разнородные знаковые средства, которые несут указание на разные геометрические параметры пространства (размер, форму, протяженность и др.), на пространственные (взаимо)отношения объектов, а также на объекты, которые являются некими пространственными ориентирами или организуют (определенное) пространство, выступают в качестве инструментов пространственного или ориентационного измерения, предназначены для преодоления, изменения и проч. пространства. В соответствии с этим знаковые средства, относящиеся к семиотической области пространства, могут быть объединены, на наш взгляд, в следующие основные и наиболее общие группы: 1) параметрические и локусные знаки, а также знаки-фигуры, например: *правый, далекий, крайний, широкий, внешний, верх, справа, к, под, граница, круг* и т. д.; 2) антропо-соматические знаки, например: *рука, нога, пята, шаг* и т. д., а также знаки-действия *ходить, плыть, бежать* и др.; 3) природно-ландшафтные (географические) знаки, например: *поле, гора, лес, река, дерево, камень, небо, холм* и др.; 4) социально-технические знаки, например: *город, мост, дорога/путь, собор/храм, дом, порог, лодка (корабль), самолет* и др.

Важным представляется тот факт, что знаки, входящие в семиотическую область пространства, отличаются как по степени своей знаковости [Зыкова 2011], так и по объему своей культурной семантики. Особый интерес для лингвокультурологического исследования представляют в первую очередь знаки с достаточно высокой степенью семиотичности и значительным объемом культурного содержания. Рассмотрим вкратце несколько примеров.

Согласно [Иванов, Топоров 1965: 98–100], пространственная вертикаль, представленная оппозицией *верх – низ*, является чрезвычайно существенной «для древнейших космогонических представлений, относящихся как к сотворению мира, так и к описанию структуры вселенной». Как отмечают авторы, «обычно <...> первый член рассматриваемого противопоставления *верх* связывался с положительным началом, тогда как второй член *низ* – с отрицательным». Богатым культурным содержанием обладают такие пространственные знаки, как *путь*

(дорога) и мост. Путь (дорога) выступает, в частности, символом образа жизни и судьбы человека, символизирует линию его поведения (см. [МНМ]); мост символически осмысливается как объединение (соединение) разрозненного, разведенного, а также как преодоление [ЭСЗЭ, 2002: 333–334]. Как отмечается в [ETS 2009], ноги (нога) наделены следующими культурными смыслами: ‘свобода перемещения’, ‘смирение’, ‘приземленность’, ‘добровольное служение’; отпечатки ног (следы) символически осмысливаются как путь, который преодолел человек.

Отличаясь большим знаковым разнообразием и значительным объемом передаваемых культурных смыслов (в том числе (сакрально-) символических смыслов) [Лотман 1965], семиотическая область пространства представляет собой один из весьма продуктивных источников процесса фразеологизации. Подтверждением этому служит не только довольно значительное количество образуемых на ее базе фразеологизмов, но и факт их принадлежности к самым разным номинативным областям. В качестве примера можно сравнить следующие фразеологизмы русского языка:

- *вдоль и поперек* – ‘повсюду, в разных направлениях’;
- *заколдованный круг* – ‘безвыходное положение, нерешаемая проблема’;
- *под [самым] носом* – ‘в непосредственной близости, рядом с кем-либо’;
- *на шаг от чего-либо* – ‘в непосредственной временной близости’;
- *не за горами* – ‘1) недалеко, рядом; 2) в ближайшем будущем’;
- *между небом и землей* – ‘в неопределенном, неясном положении’;
- *заказывать/заказать путь (дорогу)* – ‘лишать кого-либо возможности делать что-либо; закрывать доступ куда-либо’;
- *перебрасывать (перекидывать) мост* – ‘связывать, соединять кого-либо’;
- *кричать на всех перекрестках* – ‘повсюду и всем говорить о чем-либо, ничего не скрывая’.

Обращает на себя внимание тот факт, что сформированные при участии знаковых средств пространства фразеологизмы обозначают разного рода явления, среди которых расстояние/дистанция (степень удаленности объектов), время, причинно-следственные связи действий/событий, препятствия и проблемы, межличностные или социальные отношения, вербальная коммуникация, успех и проч.

Объектом изучения в нашей работе стали фразеологические знаки английского и русского языков, в семантике которых описываются раз-

личные аспекты вербальной коммуникации, например: *flattery will get you nowhere* – ‘похвала не убедит кого-либо сделать то, что не хочется делать’, *нести/понести вздор* – ‘(разг. пренебр.) говорить что-нибудь необдуманное, несерьёзное’.

Как показало исследование, проведенное в рамках разработанной нами лингвокультурологической теории фразеологического значения, концептуальное содержание знаков семиотической области пространства, подвергаясь процессу межсемиотической транспозиции, участвует в формировании значений целой отдельной группы, изучаемых английских и русских фразеологизмов. Согласно полученным данным, посредством определенных знаковых средств пространства в английском и русском языках формируются аналогичные концептуальные основания значений рассматриваемых фразеологизмов, представляющие собой макрометафорические концептуальные модели **VERBAL COMMUNICATION IS TRAVEL** и **ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ**, соответственно, ср.: *to argue round and round* (букв. *спорить по кругу*) – ‘говорить не по существу’; *ходить вокруг да около* – ‘говорить не прямо, не говорить о сути дела’.

Как было установлено, данные макрометафорические концептуальные модели обладают **определённым креативным потенциалом** в двух рассматриваемых языках. Под креативным потенциалом имеется в виду в первую очередь то, что исследуемые макрометафорические концептуальные модели **способны порождать некое множество фразеологизмов**, обозначающих процесс вербального общения в английской и русской языковых системах. Так, модель **VERBAL COMMUNICATION IS TRAVEL** порождает в английском языке более 280 фразеологизмов рассматриваемой группы. В русском языке на базе модели **ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ** формируется около 140 фразеологических знаков, описывающих разные аспекты вербальной деятельности.

Кроме того, креативный потенциал исследуемых макрометафорических концептуальных моделей проявляется и в том, что они **являются источниками весьма гетерогенных образов вербальной коммуникации как путешествия** (его отдельных аспектов). При этом особо значимым представляется тот факт, что данные образы являются культурно специфическими, т. е. характерными именно для английской или русской языковой системы. Остановимся подробнее на том, какого рода фразеологические образы порождают рассматриваемые макрометафорические концептуальные модели.

#### 4. Фразеологические образы вербальной коммуникации как путешествия в английском и русском языках: результаты процесса межсемиотической транспозиции

Подчеркнем, что макрометафорические концептуальные модели VERBAL COMMUNICATION IS TRAVEL и ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ образуются посредством синтеза и структурирования концептуального содержания, «транспонируемого» из определенных знаковых средств семиотики пространства, а именно из тех, которые представляются англоязычному и русскоязычному социумам наиболее релевантными в процессе познания сущностных особенностей вербальной деятельности. В связи с этим образы английских и русских фразеологизмов, порождаемые данными моделями, можно дифференцировать по целому ряду оснований. Рассмотрим подробнее наиболее важные аспекты дифференциации фразеологических образов в английской и русской языковых системах.

В английском языке макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS TRAVEL продуцирует фразеологические образы, в которых вербальная коммуникация (разные ее аспекты) репрезентируется как сухопутное, водное и воздушное путешествие или, иначе говоря, как (целенаправленное) движение/перемещение в трех разновидностях пространства – земном, водном и воздушном, например:

– *gossiping and lying go hand in hand* – ‘сплетни и ложь идут рука об руку’;

– *to dip into a book* (букв. *окунуться/нырять в книгу*) – ‘читать книгу не полностью, только отдельные ее части’;

– *ill news flies fast* (букв. *плохие новости летят быстро*) – ‘негативная информация распространяется стремительно’.

Следует отметить, что наибольшей в количественном отношении является группа английских фразеологизмов, образы которых передают представление о вербальной деятельности как о перемещении по суше (или по земле) пешком или на каком-либо транспорте (на машине, телеге и проч.), например:

– *the story goes that* (букв. *рассказ идет так/идет таким образом*) – ‘говорят’;

– *to drive home* (букв. *доставить до дома*) – ‘говорить так, чтобы сказанное было понято и усвоено’.

Второй по количеству составляющих ее единиц является группа английских фразеологизмов, в образах которых вербальная коммуникация уподобляется водному путешествию, т. е. перемещению в водном

пространстве или по поверхности водного пространства вплавь или с использованием специальных средств и, возможно, при определенных погодных условиях, например:

– *to get/catch someone's drift* (букв. *попадать в чье-либо течение*) – ‘понимать то, о чем говорится’;

– *be in the eye of the storm* (букв. *быть в эпицентре (в самом центре) бури или морского шторма*) – ‘оказаться участником спора’;

– *to take the wind out of someone's sails* (букв. *забрать ветер из парусов, замедлив ход судна*) – ‘сказав что-либо неожиданное, заставить чувствовать кого-либо неуверенно (или менее уверенно)’.

Самой малочисленной является группа английских фразеологизмов, в образах которых отражаются представления о вербальной коммуникации как о (целенаправленном) перемещении по аэротории, т. е. в воздушном пространстве, например:

– *(words) take air* (букв. ~ *(слова) полетели*) – ‘получить огласку, стать общеизвестным’;

– *winged words* – ‘крылатые слова’;

– *rumours are in the air* (букв. *слухи витают, летают, парят*) в *воздухе*) – ‘слухи распространяются’;

– *bad news has wings* (букв. *плохие новости/известия имеют крылья*) – ‘негативная информация распространяется стремительно’.

Анализ английских фразеологизмов также показал, что при осмыслении вербального процесса представителями англоязычной культуры весьма релевантной оказывается идея о траектории движения. Макрометафорическая концептуальная модель VERBAL COMMUNICATION IS TRAVEL продуцирует фразеологизмы, образы которых отличаются друг от друга по передаче в них определенного направления движения в (земном, водном или воздушном) пространстве, например:

– движение по кругу: *talk around something* (букв. *говорить вокруг чего-либо*) – ‘не говорить прямо, открыто о чем-либо’;

– движение по горизонтали (которое может быть, напр., сквозным): *go in one ear and out the other* (букв. *входит в одно ухо и выходит из другого*) – ‘не помнить сказанного’;

– движение по вертикали: *extol someone/something to the skies* (букв. *возносить кого/что-либо до небес*) – ‘нахвалять кого-либо’;

– движение или перемещение по обширной территории: *spread the word* (букв. *распространять повсюду/повсеместно слово*) – ‘рассказывать о чем-либо большому количеству людей’;

– центробежное движение: *joking apart* (букв. *подшучивание прочь* (т. е. *отдалить на расстояние от*)) – ‘выражать намерение говорить серьезно’;

– движение в одном или одновременно в нескольких направлениях: *be talking out of both sides of one's mouth* (букв. *произносить слова одновременно с двух сторон своего рта*) – ‘говорить разные вещи разным людям об одном и том же предмете’.

Помимо этого порождаемые макрометафорической концептуальной моделью VERBAL COMMUNICATION IS TRAVEL образы английских фразеологизмов, описывающих разные аспекты вербальной деятельности, могут дифференцироваться на основании отражения в них определенного маршрута и скорости передвижения, трудностей, испытываемых при движении в той или иной разновидности пространства, определенного местоположения и расстояния в пространстве, например: *a fast talker* (букв. *быстрый оратор*) – ‘человек, способный уговорить кого-либо сделать что-либо’; *be on dangerous ground* (букв. *находиться на опасной территории*) – ‘говорить на неприятную тему’; *on the tongues of men* (букв. *на языках людей*) – ‘все говорят об этом’; *to go beyond a joke* (букв. *идти за пределы шутки, т. е. идти (слишком) далеко*) – ‘начинать сильно беспокоить, тревожить кого-либо (например, своими разговорами)’ [Зыкова 2015].

В русском языке макрометафорическая концептуальная модель ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ также продуцирует фразеологические образы вербальной коммуникации как передвижения по суше (или как сухопутного путешествия), отражая в них при этом особенности восприятия вербального общения, свойственные носителям русского языка и релевантные в русской культуре, например:

– *язык до Киева доведет* – ‘расспрашивая, можно все найти и узнать’;  
– *уходить в сторону* – ‘делать отступление от главного, уклоняться от сути’;

– *обойти словом* – ‘обмануть; ввести в заблуждение’.

В количественном отношении данная группа русских фразеологизмов существенно преобладает над другими группами. Кроме того, фразеологические образы вербальной коммуникации как сухопутного путешествия дифференцируются в русском языке с учетом того, является ли оно (т. е. путешествие) пешим или перемещение по суше (земле) осуществляется на каком-либо транспортном средстве (на машине и проч.), например:

– *идти по языкам* – ‘получать широкую огласку, стать предметом сплетен’;

– *легче (полегче) на поворотах* – ‘будь(те) осторожнее, сдержаннее в выражениях’.

Второй по количеству составляющих ее единиц является группа русских фразеологизмов, в образах которых передаются представления

о вербальной коммуникации как о разного рода передвижении по воздуху (или в воздушном пространстве), например:

– *крылатые слова* – ‘образные, меткие выражения, изречения, афоризмы, общеизвестные, широко распространенные в употреблении’;

– *в одно ухо влетает, в другое вылетает* – ‘по легкомыслию, непониманию кто-либо быстро забывает услышанное, воспринятое или не придаёт ему должного значения’;

– *слово не воробей, вылетит – не поймашь* – ‘что сказано, того не веротишь’.

Примечательно, что в русском языке макрометафорическая концептуальная модель ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ не порождает, согласно нашему материалу, фразеологизмов, в образах которых вербальная коммуникация предстает как передвижение в водном пространстве, иначе говоря, как путешествие по воде.

Следует также отметить, что наряду с представлениями о вербальном общении как о (целенаправленном) движении в пространстве особо релевантной для русскоговорящего сообщества оказывается идея о коммуникации как о нахождении или локализации некоего объекта или действия в определенном (земном, воздушном) пространстве, которая получает множественное воплощение в разного рода фразеологических образах, например:

– *кричать на всех перекрестках* – ‘повсюду и всем говорить о чем-либо, ничего не скрывая’;

– *по углам* – ‘тайком, скрытно, так, чтобы никто не слышал, не знал (говорить, шептаться, сплетничать и т. п.)’;

– *на языке* – ‘1 в речи, в разговоре; 2 (у кого) кто-либо сразу же готов сказать, высказать что-либо; 3 что-либо, кто-либо постоянно повторяется, обсуждается и т. п. кем-либо’.

Согласно анализу русских фразеологизмов, одной из значимых в русской культуре при осмыслении особенностей вербального общения оказывается идея отправки коммуниканта (как «путешественника») на дальнейшее расстояние. На базе макрометафорической концептуальной модели ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ создаются образы таких русских фразеологизмов, как например:

– *послать подальше* – ‘грубо обругать кого-либо’;

– *послать к дьяволу* – ‘отругать, чтобы не приставал, отвязался’;

– *послать ко всем чертям* – ‘ругать кого-либо, выражая негодование, возмущение и т. п.’;

– *послать к чертовой бабушке* – ‘выругать кого-либо, выражая негодование, возмущение и т. п.’.

В образах данных русских фразеологизмов передается представление об отправлении одного из коммуникантов другим коммуникантом на большое расстояние (от себя, от других), туда, откуда не вернуться или очень трудно вернуться, в несуществующее (недоступное / труднодоступное / мистическое / нереальное) место, в другой мир (мир, населенный особыми существами).

Вдобавок макрометафорическая концептуальная модель ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ продуцирует фразеологические образы, в которых определенные аспекты вербальной деятельности предстают в таких значимых аспектах путешествия, которые связаны с опасностью перемещения в определенное место или попадания в него (а также пребывания в нем); с движением на какое-либо (близкое, далекое) расстояние, с перемещением, осуществляемым в определенных пространственных пределах, преодолением пространственных пределов, например: *выходить на свет* – ‘быть обнаруженным, изданным’, *без дальних разговоров* – ‘не рассуждая много и не теряя времени’, *переступить границы* – ‘нарушать сложившиеся или установленные нормы общения’ и др.

Подытоживая результаты проведенного анализа, следует отметить, что к числу так называемых особых случаев представляется необходимым отнести заимствования, которые были обнаружены нами в ходе анализа как английских, так и русских фразеологизмов, основанных на макрометафорических концептуальных моделях VERBAL COMMUNICATION IS TRAVEL и ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ, соответственно (напр., (греч.) *winged words* и *крылатые слова*). Данные случаи заслуживают отдельного внимательного рассмотрения, которое не предусматривается в настоящей главе.

Таким образом, изучение особенностей дифференциации фразеологических образов, порождаемых в английской и русской языковых системах аналогичными макрометафорическими концептуальными моделями, позволяет судить не только о том, насколько сходно (универсально), но главным образом насколько отлично и своеобразно восприятие в двух культурах процесса вербального общения, передаваемое в них (т. е. в этих образах).

## 5. Выводы

Разработка **теории лингвокультурологического моделирования фразеологического значения** и исследование английских и русских фразеологизмов предметной области вербальной коммуникации, про-

веденное в рамках этой теории, позволяет сделать следующие выводы как общетеоретического, так и частнотеоретического плана:

Межсемиотическая транспозиция представляет собой процесс, который лежит в основе взаимодействия культуры и языка, а потому играет, как показывает исследование, ведущую (или ключевую) роль в формировании фразеологического значения. Посредством межсемиотической транспозиции из разных семиотических областей культуры происходит перевод определенного концептуального содержания в формы языковых (фразеологических) знаков. В результате этого перевода «поочередно» образуются два уровня целостного фразеологического значения: концептуальный (глубинный) > семантический (поверхностный). Концептуальный уровень содержит макрометафорическую концептуальную модель и продуцируемый этой моделью индивидуальный фразеологический образ.

Семиотика пространства – одна из тех семиотических областей культуры, которая обладает особой (исключительной) значимостью в формировании фразеологизмов английского и русского языков. Ее знаковые средства выступают источником создания фразеологизмов, обозначающих самые различные явления действительности, в том числе вербальную коммуникацию, представляющую предмет нашего изучения.

Концептуальное содержание определенных знаковых средств семиотической области пространства двух культур, подвергаясь процессу межсемиотической транспозиции, участвует в формировании в русском и английском языках аналогичных макрометафорических концептуальных моделей – *VERBAL COMMUNICATION IS TRAVEL* и *ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ – ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ*. Данные модели являются культурно обусловленными, глубинными основаниями значений фразеологизмов, описывающих разные аспекты вербального общения в двух соответствующих языковых системах.

Несмотря на, казалось бы, универсальный характер исследуемых макрометафорических концептуальных моделей, они обладают разным креативным потенциалом. Данные модели продуцируют как разное количество фразеологизмов в двух языках, так и культурно специфичные образы и семантику русских и английских фразеологизмов.

Проведенный анализ специфики дифференциации образов изучаемых английских и русских фразеологизмов и выявленные в результате

факты позволяют раскрыть культурно-национальные особенности восприятия двумя разными лингвокультурными сообществами процесса вербального общения, нашедшего воплощение во фразеологических знаках английского и русского языков, а также прояснить вопрос о том, как культура «проникает» в язык, или скорее, «укореняется» в нем в виде концептуальных структур, выступающих глубинными основаниями формирования значений языковых (фразеологических) знаков.

## Литература

- Асоян Ю. Пространство // Культурология. Энциклопедия. Т. 2. М., 2007.
- Домников С.Д. Мать-земля и Царь-город. Россия как традиционное общество. М., 2002.
- Иванов Вяч.В., Топоров В.Н. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.
- Зыкова И.В. Культура как информационная система: Духовное, ментальное, материально-знаковое. М., 2011.
- Зыкова И.В. Роль концептосферы культуры в формировании фразеологизмов как культурно-языковых знаков: Автореф. дисс. ... д-ра филол. наук. М., 2014.
- Зыкова И.В. Концептосфера культуры и фразеология: Теория и методы лингвокультурологического изучения. М., 2015.
- Логический анализ языка. Языки пространств. М., 2000. (ЛАЯ-ЯП)
- Лотман Ю.М. О понятии географического пространства в русских средневековых текстах // Труды по знаковым системам. Вып. II. Тарту, 1965.
- Мифы народов мира. М., 2009. (МНМ)
- Пигалев А. Пространство культуры // Культурология. XX век. СПб., 1998. URL: <http://psylib.org.ua/books/levit01/index.htm>
- Семиотика пространства и пространство семиотики. Труды по знаковым системам. Вып. 19. Тарту, 1986. (СППС)
- Телия В.Н. Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
- Телия В.Н. Предисловие // Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий. М., 2006.
- Успенский Б. Избранные труды. Том I. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996.

*Хайдеггер М.* Искусство и пространство // Самосознание культуры и искусства XX века: Западная Европа и США. М., СПб, 2000.

Энциклопедия символов, знаков, эмблем. М., 2002. (ЭСЗЭ)

*Якобсон Р.* О лингвистических аспектах перевода // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. М., 1978.

*Cassirer E.* An Essay on Man: an Introduction to a Philosophy of Human Culture. New Haven; London, 1992.

Google Books (search). URL: <http://books.google.com/> (GB)

The Guardian, 26 September 2006. URL: <http://www.theguardian.com/>

The Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols / J.C. Cooper. London, 2009. (IETS)

*Pellegrino P.* Space, Form, and Substance // Advances in Visual Semiotics. Berlin; New York, 1994.

*Pereira I.* The Nature of Space: A Metaphysical and Aesthetic Inquiry. Wash., 1968.

WebCorp, Birmingham Blog Corpus. URL: <http://wse1.webcorp.org.uk/> (WC-BBC)

## глава 4.4. Фразеологические коды и их роль в семиозисе культуры

М.Л. Ковшова

### § 1. Семиотизация и коды культуры

На протяжении всего культурно-исторического развития человечества различные реалии: природа, животный и растительный мир, артефакты, созданные человеком, сам человек, его внешние качества и внутренние свойства, внешнее и внутреннее пространство, время, космос – осваивались, осмысливались и приобретали в сознании человека вторичный, культурный, смысл, который закреплялся за данными реалиями. В этом движении реалий от буквальных смыслов к смыслам небуквальным осуществляется культурная семиотизация: мир становится вторичным и освобождается от своей физической, материальной природы, чтобы обрести в представлении человека социально-моральную и духовно-нравственную мотивацию, важнейшую в его жизнедеятельности. Переосмысление реалий происходит в ходе познания мира. Постоянное движение к символизму, характерное для древнейшего сознания, имеет желание объяснить мир, сам смысл существования мира и условий его существования, истолковывая все – за недостатком реалистических объяснений – в качестве символов и потому не творя символы, а находя их готовыми. Способность человеческого мышления видеть в реалиях мира не только их материальную сущность, но и сущность символическую позволяет пойти дальше их внешней поверхности, сделать их сопричастными внутренней, духовной, жизни человека, создает возможность «более полного, глубокого обладания объектом» [Леви-Брюль 1994: 370].

Реалии воспринимаются и познаются человеком в своих онтологических свойствах; познание закрепляется в повседневных практиках человека; познание отражено в языке и образах искусства, называющих, описывающих и характеризующих эти предметы. «Человек погружен в реальное, данное ему природой пространство. Константы вращения земли (движения солнца по небосклону), движения небесных светил, временных природных циклов оказывают непосредственное

влияние на то, как человек моделирует мир в своем сознании» [Лотман 1999: 176]. Однако «любая вещь была бы бессмыслицей, если бы значение ее исчерпывалось непосредственно функцией и внешней формой; с другой стороны, при этом все вещи пребывали целиком в действительном мире» [Хёйзинга 1995: 203].

Познанные и освоенные в деятельности онтологические свойства предметов мира переосмысливаются в процессе дальнейшего познания мира; такое движение мышления позволяет соединить с теми или иными реалиями различные смыслы, идеи, ценности.

Человечество в духовном стремлении понять мироустройство и свое предназначение в этом мире ищет знаки для закрепления важнейших для миропонимания идей и находит – «в языке, математике, художественной литературе, в отдельном произведении литературы, в архитектуре, планировке квартиры, в организации семьи, в процессах подсознательного, в общении животных, в жизни растений» [Степанов 2001: 5].

«Прежде всего, что может быть проще стола, комнаты или одежды? <...> Что может быть естественнее и жизненнее, чем потребность в одежде или в жилище? А между тем потребность эта осмыслялась представлением о космичности покрыва и сопоставлением палатки с небом, комнаты с преисподней» [Фрейденберг 1997: 55]. Так реалии самой разной субстанции преодолевают свое конкретное назначение и становятся знаками, культурными символами разной степени значимости в ту или иную эпоху у того или иного народа. «Вещи в мире, оставаясь такими же, приобретают совершенно особый смысл, подчиняются совершенно особой идее, которая делает их отрешенными. Ковер – обыкновенная вещь в повседневной жизни. Ковер-самолет – мифический образ. Какая разница между ними? Вовсе не в факте, ибо по факту своему ковер как был ковром, так им и остался. Разница в том, что он получил совершенно другое значение, другую идею; на него стали смотреть совершенно иными глазами. Волосы, когда их выметают вместе с прочным сором в парикмахерской, и волосы как амулет – ровно ничем не отличаются в своей фактической реальности. И в том и в другом случае это самая обыкновенная и простая вещь. Но волосы как амулет, как носители души или душевных сил или как знаки иных реальностей получают иной смысл, и с ними поэтому иначе и обращаются» [Лосев 1982: 78]. И этот смысл связан с главным в познании человеком мира – с выделением из всего существующего ценностей и созданием системы ценностей как основы содержания культуры, ее семантики.

Итак, «внешний мир, в который погружен человек, чтобы стать фактором культуры, подвергается семиотизации – разделяется на область

объектов, нечто означающих, символизирующих, указывающих, т. е. имеющих смысл, и объектов, представляющих лишь самих себя» [Лотман 1999: 178]. Иными словами, реалии мира подразделяются на те, что представляют лишь самих себя, и те, что перерастают свое назначение и становятся символами культуры. Однако что значит – представлять лишь самих себя? Ю.М. Лотман пишет о том, что предметы в первичном своем смысле не обладают культурной семантикой, они имеют употребление, а не значение. «Подумаем о таком простом и привычном, как хлеб. Хлеб веществен и зрим. Он имеет вес, форму, его можно разрезать, съесть. Съеденный хлеб вступает в физиологический контакт с человеком. В этой его функции про него нельзя спросить: что он означает? Он имеет употребление, а не значение. Но когда мы произносим: “Хлеб наш насущный даждь нам днесь”, – слово “хлеб” означает не просто хлеб как вещь, а имеет более широкое значение: “пища, потребная для жизни”. А когда в Евангелии от Иоанна читаем слова Христа: “Я есмь хлеб жизни; приходящий ко мне не будет алкать” (Иоанн, 6:35), то перед нами – сложное символическое значение и самого предмета, и обозначающего его слова» [Лотман 1994: 6]. Думается, однако, что как в первичном, так и во вторичном своем смысле слово *хлеб* передает культурно значимую информацию. Даже в самой простой бытовой ситуации хлеб является не только *экземпляром*, но и предметом гастрономической культуры. Хлеб – важнейшее условие сытости человека, обеспечение его жизнеспособности, витальности; хлеб насыщает человека, является целью его деятельности, организует жизнедеятельность в той или иной культуре. Хлеб составляет основу пищи, например, в русской культуре, и на шкале оценок выбран в качестве приоритетного гастрономического предмета, выделившегося в ценность. Хлеб как гастрономический предмет культуры всегда имеет утилитарное и функциональное назначение, не менее ценное в культуре, чем назначение хлеба в ритуале или его символизированный образ в религиозной притче.

Реалии, или сущности реального мира, в онтологически присущих им свойствах и первичном назначении принадлежат культуре постольку, поскольку в соединении с этими реалиями существует, действует и развивается человек, в деятельности познавая и преобразуя мир. Реалии мира являются фактами культуры, как все, что связано с историей и развитием человечества. Реалии мира не представляют лишь самих себя, а приобретают вторичность в обобщенности представлений о них, отрываются от своих *экземпляров*. Экземпляры могут прекращать свое существование или вообще исчезать, уходить в историю, а реалии мира

как предметы культуры не исчезают. Информация о реалиях мира как предметах культуры все более накапливается и увеличивается благодаря изысканиям археологов и описанию историков, искусствоведов, культурологов, лингвистов. Реалия мира как предмет культуры значимее своих экземпляров, поскольку хранит в себе все «слои» прочтений, обрастая огромным количеством представлений и комментариев, проходя сквозь эпохи и увеличивая свою культурную семантику.

Реалии мира вовлекаются в процесс символизации мира, становятся знаками культуры, ее символами потому, что не отражают, как в зеркале, мир, – они являют собой итог осмысления, оценивания происходящего, выводят его главное, ценностно значимое, антропонимическое по своему характеру содержание, являются «могущественными конденсаторами» социальных оценок и формой для их выражения, могут фиксировать семантический сдвиг или перегруппировку ценностей у разных народов в разные эпохи. «В тот момент, когда возникает общественное сознание, как бы бедно оно ни было, сразу же возникает интерпретация действительности, которая дает большой резонанс во всей последующей истории идеологий» [Фрейденберг 1997: 107]. Знаки различной материальной природы отбираются, по М.М. Бахтину, для выражения «социальных оценок» и становятся носителями важнейших для человека смыслов, идей, концептов и т. п. «Ценностный ранг» знака определяется теми социальными, по М.М. Бахтину, оценками, которые отстоялись и которыми знак пропитался в жизненном контексте; социальные оценки и организуют форму «как свое непосредственное выражение; “социальная душа” знака делает его знаком культуры» [Волошинов 1996: 76, 74].

Исследование процессов семиозиса культуры опирается на понятия «идея», «картина мира», «модель мира», «концептосфера» и др. «Идеи <...> существуют в нас, образуя полную систему, подобную системе царств природы, нечто вроде цветения <...> разум идет от эмпирического разнообразия к концептуальной простоте, а затем от концептуальной простоты к значащему синтезу» [Леви-Строс 1994: 215–216]. Идея модели мира как способа познания и исследования культуры обращена ко времени зарождения человечества, к архаической культуре. Архетипическая модель мира, представляемая в виде системы бинарных оппозиций, в сокращенном и упрощенном виде дает универсальное представление о мифологической картине мира [Топоров 1982: 163]. Идея модели мира как способ представления о мире – пространстве и времени, причинно-следственных связях, количественных характеристиках всего существующего и т. д. – так или иначе связана с оценкой и

теми культурными ориентирами, которые «выстраивают ценностную иерархию внутри перечисленных выше сфер (например, ценностную неоднородность пространства и времени, сакральный приоритет некоторых чисел и, разумеется, приоритеты в сфере нравственности)» [Никитина 2013: 31]. Культурная модель мира «может представлять собой совмещение нескольких моделей, например, христианской и мифопоэтической (архаической) <...> В модель мира входит также набор кодов, которые используются для выражения смыслов каждой конкретной культуры» [Там же]. Неполнота описания культуры компенсируется «стереоскопичностью» ее описания, поиском универсальных характеристик, формализацией «языка» культуры. Ученые разных областей знания – культурологи, философы, психологи, лингвисты – пытаются выявить в «языке» культуры его глубинный уровень, определить функционально-символические инварианты, которые объединяют те или иные знаки; изучить, как одинаковые с точки зрения повседневной, бытовой практики реалии внешнего мира получают в языке культуры разную символическую значимость. Так, в семиотических исследованиях по лингвистике исследуется универсальная значимость парных символов (бинарных оппозиций, двоичных противопоставлений) [Иванов, Топоров 1965; Топоров 1995]. В этнолингвистике сложный, включающий в себя знаки различной субстанции обрядово-ритуальный код рассматривается «как семантическое целое, как поле смыслового напряжения, в котором актуализируются значения, заложенные в каждом отдельном компоненте текста, а разные по своей природе знаки “поддерживают” друг друга и взаимно усиливают свой семантический потенциал» [Толстая 2006: 7]. По наблюдению Н.И. Толстого, «семиотика (семиология) при всей ее популярности и развитости все еще мало и редко выходит за пределы широкого и в то же время довольно замкнутого круга общих проблем и слабо проникает в отдельные и конкретные дисциплины, вычлняющиеся по этническому и языковому признаку. Семиотика, говоря образно, должна развиваться не только “сверху”, но и “снизу”» [Толстой 1995: 39]. Поэтому в обряде план содержания культуры исследуется этнолингвистами во всех способах своего воплощения: в слове, предмете, действии [Толстой 1995; Толстая 2011], и совокупность знаков понимается как код культуры, как «орудие для выражения смыслов, имеющих разные формальные “обличья”» [Березович 2007: 341].

Коды культуры делятся на субстанциональные и концептуальные. «Первые определяются на основании общности плана выражения – материальной, субстанциональной природы знаков, составляющих код (цветовая уличная сигнализация, предметный код обряда и др.); вто-

рые – на основании смысловой общности элементов (концептов, идей, мотивов), которые могут соотноситься с разными материальными воплощениями смысла (растительный код, зоологический, кулинарный и т. п.) [Там же: 340]. Субстанциональное описание кодов культуры изучает, с помощью каких кодов «выражаются те или иные идеи, в каких областях действительности отыскиваются мотивационные источники или наследники данных смыслов» [Там же: 33]. Концептуальная классификация позволяет описать области универсальных и наиболее значимых, судя по широте их знаковой презентации, культурных смыслов. Согласно концептуальной классификации, в разных по субстанции знаках овнешняются окультуренные представления о «природных объектах, артефактах, явлениях, выделяемых в ней действиях и событиях, ментофактах и присущих этим сущностям их пространственно-временных или качественно-количественных измерений» [Телия 1999: 20–21]. Описание природного, растительного, игрового, телесного, пищевого, костюмного кодов культуры ширятся в разных подходах, сочетающих этнолингвистические и лингвокультурологические методы исследования; см., например: [Гаврилова 2007; Гудков, Ковшова 2007; Байбурин 1992; Ковшова 2015] и др.

Знаки кодов культуры являются основным принципом ее сохранения и функционирования, они структурируют смысловую непрерывность культуры как текста, в лотмановском смысле. Универсальным для моделирования семиосферы культуры считается языковой код. В этом ракурсе язык исследуется в концепциях семиосферы, т. е. семиотического универсума, того пространства, в котором реализуются коммуникативные процессы и вырабатывается новая информация [Лотман 1999; Успенский 1995]. В отечественной филологии получила широкое распространение и развитие идея о концептуализированной области смысла, лежащей между языком и культурой [Степанов 1997].

Итак, в культуре как многомерном семиотическом пространстве постоянно синтезируются знаки и смыслы, и знаки самой разной субстанции становятся носителями культурной значимости, или ценностного содержания, выявленного в ходе освоения и осознания человеком мира. Культура есть пространство **смыслов**, имеющих ценностное содержание, вырабатываемое человеком в процессе миропонимания, и **кодов** – знаковых систем, в которых используются разные материальные и формальные средства для означивания этих смыслов. Разными способами кодируемое ценностное содержание образует систему кодов культуры и составляет в целом картину мира, которая раскрывает мировоззрение того или иного социума. **Код культуры** понимается как со-

вокупность знаков – предметов культуры и символизированных сущностей, составляющих план выражения для культурно значимого содержания, или для культурной информации.

## § 2. Культурная информация в семантике языковых знаков

Культура транслирует свою информацию в том числе и прежде всего с помощью естественного языка. Согласно Леви-Стросу, язык является фактом культуры «потому, что язык – составная часть культуры, одна из тех способностей или привычек, которые мы получаем от внешней традиции; затем потому, что язык – основной инструмент, самый эффективный способ, посредством которого мы усваиваем культуру нашей группы» [цит. по: Цивьян 1990: 24]. В языке фиксируется в виде ментальных моделей наивная, или обыденная, картина мира; факты культуры внедряются в языковое сознание в процессах номинации; в символической форме языковых знаков сохраняется и достигает вершины своей семиотизации культурная информация. «Язык становится все более ценным ориентиром при научном исследовании той или иной культуры. В известном смысле сеть культурных моделей цивилизации индексируется в языке, выражающем эту цивилизацию. Наивно думать, что можно понять существенные концепты культуры одним только наблюдением без опоры на языковой символизм, который делает эти контуры значимыми и ясными для общества» [Sapir 1949: 161].

В самом общем смысле культурная информация представляет собой сведения о процессах и продуктах самопознания человечества на всех этапах его развития. Понятие культурно значимой информации связано с главным в самопознании – с выделением из всего существующего общечеловеческих ценностей и тех ориентиров, которые выстраивают иерархию ценностей в конкретной культуре на том или ином этапе ее развития у того или иного народа в ту или иную эпоху. Человек, владеющий культурно значимой информацией, владеет ценностным кодом, ориентирующим его в эмпирической, социальной, интеллектуальной и духовной сферах.

Язык и культура есть «интерактивно взаимопроникающие друг в друга семиотические системы <...> культура – один из внеязыковых миров, концептуализируемых языком и обретающих в его формах свое знаковое бытие» [Телия 2004: 21]. Действительно, мир на естественном языке изначально описывается не «как он есть», а сквозь призму интерпретации, имеющей культуроцентрический характер. Описывая

мир, естественный язык, будучи неотъемлемой и важнейшей частью национальной культуры, отображает его в присущей этой культуре формах, создает культурно маркированную картину мира и тем самым онтологизирует мысли о мире, возникшие в ходе его познания, осуществляет движение от мировидения к миропониманию и мировоззрению. В языке происходит культурное «присвоение» мира уже на этапе номинации: языковой знак содержит культурно значимую информацию, поскольку его внутренняя форма фиксирует способ отражения мира, или путь моделирования мира как способ его познания. При этом в языке есть особые знаки, которые становятся избранными культурой носителями ценностных смыслов, в них кодируется выделение предметов или явлений из контекста действительности и выдвигание их на первый, мировоззренческий, план. Закрепляя желание человека осмыслить не бытовое, а бытийное значение всего того, что происходит в мире, эти знаки языка обретают статус символов, эталонов, стереотипов и т. п. Для исследования способов воплощения в языковых знаках культурной информации того или иного плана обратимся к анализу единиц русского языка, связанных с темой головных уборов.

#### *Названия головных уборов*

Лексические единицы, именующие головные уборы, содержат культурную информацию уже потому, что представляют собой результат языковой категоризации действительности, а именно костюмного фрагмента конкретной культуры. Эта, назовем ее условно, **наивно-языковая** информация заключена в денотативном компоненте значения, который передает обобщенное типовое представление о головных уборах как части материальной культуры. Также наивно-языковая информация содержится в мотивационном компоненте значения каждого из наименований головных уборов, поскольку в их внутренней форме имплицитно присутствует указание на способ означивания, стратегии номинации, базовые метафоры, легшие в основу именования, концептуальные схемы. Тем самым из самих номинаций головных уборов извлекается наивно-языковая и притом культурная информация – сведения о путях категоризации костюмного фрагмента мира в русском языке и о базовых метафорах для осуществления данной категоризации.

Так, в русском языке понятия *шапка*, *колпак*, *шляпа*, *платок* имеют глубокие словесные корни, уходящие в начало истории; например, основной термин *шапка* ведет свое происхождение от лат. *cap* – ‘крышка’; в самом пути номинации головного убора содержится важнейшее указание как на основную функцию головного убора – покрывать голову, так

и на первейший культурный смысл, утилитарный смысл защиты головы человека от воздействия внешней среды, т. е. на исходную ценность. В основе названий головных уборов в русской лексике находятся указание на материал, цвет (*бархатка, грешневик, поярковая шапка* и др.); место происхождения (*панамы, феска, кубанка, ленинградская шапка* и др.); способ изготовления (*валёнка, катанушка* и др.); на функцию, принадлежность (*поварской колпак, шлем мотоциклиста, шапка Мономаха, чепчик новорожденного* и др.); на форму, образ (*треуголка, косынка, бескозырка; котелок, «пирожок», «колокол», «труба»; буденовка* и др.). Сопоставление в дальнейшем «шляпного» фрагмента русской наивной картины мира с данными других языков позволит выявить общее и различное в стратегиях означивания, а значит, по В. Гумбольдту, в видении мира.

Лексический «инвентарь» содержит в себе и другого плана информацию, которую можно назвать **культурно-исторической**. Само появление в разные периоды в лексической системе русского языка любых «шляпных» номинаций культурно маркировано; ср.: *горлатная шапка, валёнка, грешневик, шляпа, головодец, кичка (кика), сорока, шапка Мономаха, митра, цилиндр, кепи, берет, капор, картуз, шапокляк, сомбреро, тубетейка, слауч, акубра, клош, колчаковка, трилби* и др. «Лексика – очень чувствительный показатель культуры народа, и изменение значений, утеря старых слов, создание или заимствование новых, – все это зависит от истории самой культуры» [Сепир 1993: 242–243]. В данных наименованиях, помимо описания самого предмета, имплицитно содержится отсылка к контексту истории и культуры; в словарях эта отсылка зачастую эксплицирована в толкованиях. Ср., например: «Кичка (обл.) – Праздничный головной убор замужней женщины, старинный или местный (преимущ. севернорусский)» [Ушаков 1935, I: 1362]. См. также: «*Капор* (из голл. *kapen* – ‘шапка’) – с плоским верхом конусообразный женский головной убор со сборками, лентами или тесемками, завязываемыми под подбородком; носили дамы и барышни; в городской моде просуществовал до 20-х гг. XX вв.» [Ковшова 2015: 329]. В дискурсе номинации головных уборов вызывают существующие в памяти носителя языка представления, образы, ассоциации, припоминания (в смысле: [Брагина 2007]), которые как бы «присоединяются» к семантике номинаций, служат фоном восприятия. Ср.: «...культурный фон – не входящие в собственно значение культурно маркированные ассоциации, проявляющиеся в дискурсе» [Телия 1994: 14]. Так, слово *капор* соотносится с представлением о том, что это женский головной убор, который носили в далеком прошлом. Возникающая культурным фоном информация позволяет полнее воспринять смысл; ср.: «Всё тот

же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из-под собольего *капора* сидел там, и этот черкес был Соня <...>» [Толстой 1980: 299]<sup>1</sup>.

Представления о капоре как принадлежности прошлого могут составить основу культурной коннотации, усложняющей значение костюмного термина символическими смыслами; ср.: «Когда-то в этом *капоре* Елена ездила в театр вечером, когда от рук, и меха, и губ пахло духами, а лицо было тонко и нежно напудрено и из коробки *капора* глядела Елена, как Лиза глядит из “Пиковой дамы”. Но *капор* обветшал, быстро и странно, в один последний год, и сборки секлись и потускнели, и потерялись ленты» [Булгаков 1989: 215]. «Обращаясь к истории быта, мы легко различаем в ней глубинные формы, связь которых с идеями, с интеллектуальным, нравственным, духовным развитием эпохи самоочевидна <...> все окружающие нас вещи включены не только в практику вообще, но и в общественную практику, становятся как бы сгустками отношений между людьми и в этой своей функции способны приобретать символический характер» [Лотман 1994: 10–11].

Особую информацию, назовем ее условно – **ценностно-прескриптивная**, могут возбуждать в виде культурных коннотаций названия таких головных уборов, которые стали «костюмными» стереотипами, символами, эталонами каких-либо настроений в обществе, знаками ценностей и приоритетов в ту или иную эпоху. Таковым, насыщенным дополнительными ценностными смыслами, словом в русской культуре является *шляпа* [Ковшова 2015]. Ценностно-прескриптивная информация извлекается из коннотаций, устойчиво соединяющихся с образом мужского головного убора, ставшего стереотипом интеллигента и символом претензии на стиль и интеллект. Ср., напр.: «Признаками принадлежности к презираемой касте интеллигентов для шпаны 30–50-х годов были очки или *шляпа*» [Игорь Зайчиков. Хулиганское нападение. // Боевое искусство планеты, 2004.06.10]. Культурные коннотации при употреблении слова *шляпа* могут игнорироваться, но могут выходить на первый план, например в рассказе В. Шукшина «Дебил», где герой решает купить себе шляпу, как у городских; ср.: «<...> он жизнь видел; знал, что *шляпа* украшает умного человека <...> *шляпа* – это продолжение человека» [Шукшин 1975: 156].

Культурно-языковая компетенция – важнейшее условие для прочтения **ценностно-прескриптивной** информации, воплощенной в языковом знаке. Так, строки «Надев широкий *боливар*, Онегин едет на

<sup>1</sup> Здесь и далее в примерах курсив мой – М.К.

бульвар» [Пушкин 1975: 13] полны культурно значимого смысла, если читатель знает, что выбор шляпы с широкими полями (боливар) демонстрирует сочувствие героя политическим взглядам Симона Боливара (противник которого, Мурильо, как известно, носил шляпу с узкими полями). Итак, слово *боливар* в пушкинском тексте оказывается насыщено культурной информацией разного плана: наивно-языковой, культурно-исторической и ценностно-прескриптивной.

#### *Лексические «шляпные» метафоры*

Лексические метафоры передают в своих образах **наивно-языковую** информацию о путях концептуализации тех или иных понятий, об антропоморфном принципе их описания; ср.: *шапка снега, шляпка гриба, пена шапкой, шапка кудрей, статьи под шапкой, колпачок ручки, броневой колпак, венчик цветка, крона деревьев, коронный номер* и т. д. «Шляпные» образы используются также в номинациях, созданных путем метонимии и синекдохи; напр. *сражаться за корону; Красная Шапочка; красная шапка* – ‘1. рекрут; 2. посыльный’; *красные береты* – ‘военнослужащий войск спецназа’ и т. п. Эти единицы маркированы временем, культурой, историей, их семантика дополняется **культурно-исторической** информацией, которая возникает фоном у носителя языка при восприятии этих единиц.

Особое место среди лексических метафор занимают художественные «шляпные» метафоры, которые создают антропоморфную, в одеждах человека, картину окружающего мира, полную символики. Ср.: «*Чалмою белою от века / Твой лоб наморщенный увит*» (М.Ю. Лермонтов «Спеша на север...»); «*И, зёрнами дыша рассыпанного мака, / На голову мою надену митру мрака*» (О.Э. Мандельштам «Кто знает, может быть...»); «*И ночь – Ночь Белая – неслышной / К нам приближается стопой / В сиреневой накидке пышной / И в шляпе бледно-голубой*» (И. Северянин «Март») [Словарь языка поэзии 2004: 347, 523, 585]. В художественном дискурсе образы головных уборов всегда «склонны» к выражению дополнительных, превышающих их костюмное назначение смыслов, и эти смыслы создаются в культуре. С самого начала, в силу объективных свойств головного убора – покрывать голову, создавать защитный слой, зримо увеличивать рост человека, частично скрывать лицо, видоизменять внешний облик, наконец, соприкоснуться с самой показательной частью человека, лицом, – культура навсегда «выбрала» головной убор своим означающим для важнейших категорий. От первых, утилитарных, смыслов отталкивались последующие, всё более сложные, символизированные. «Символы культуры редко возникают в их

синхронном срезе. Как правило, они приходят из глубины веков и, видоизменяя свое значение (но не теряя при этом памяти и о своих предшественных смыслах), передаются будущим состояниям культуры» [Лотман 1994: 8]. Само появление головного убора связано с утилитарной идеей покрытия, что получает образное воплощение в сюжетах литературы и фольклора о шапке-невидимке; всегда актуальна древнейшая идея переодевания как превращения, трансформации, а колпак или шляпа являются зачастую самостоятельно действующими волшебными персонажами. Ср.: «– Рыцарь, – отвечал *ночной колпак*, с горделивым видом сидевший на голове Швериндоха – опустите забрало и крепче сожмите губы» [В.А. Каверин. Пятый странник (1921)].

Культурно значимая **ценностно-прескриптивная** информация содержится в лексических «шляпных» метафорах, которые описывают человека, его способности, свойства, поведение и имеют ярко выраженный оценочный характер. Так, оценочная лексическая метафора *колпак* означает – ‘глупец, растяпа’; ср.: «Ныне у нас решения просты: если люди воруют – значит полиция плохо делает свое дело; если взятки берутся – значит начальник *колпак*» [Н.А. Добролюбов. Забытые люди (1861)]. Ср. также *околпачить* кого-л. – ‘обмануть; одурачить’. Образ колпака используется для описания глупости и обмана неслучайно: он соотносится с распространенным во многих культурах образом шутовского колпака, надевая который на празднествах, человек мог вести себя неразумно, говорить и делать глупости. Однако в истории человечества натянутый на голову колпак издавна выражал насмешку или наказание за глупость, и в данной лексической метафоре явлен именно этот усиленный своей многовековой историей в культуре образ глупца. Насмешливое отношение добавляет вкрапленная в образ синекдоха: уподобление человека – головному убору, не заменяющему голову, ум и сообразительность; ср. *шляпа, прошляпить*.

#### *«Шляпные» образы в идиомах и поговорах*

В русской идиоматике и паремиологии единицы со «шляпными» образами отличаются большим разнообразием формы и содержания; ср. *шапками закидать, снимать шляпу, пойти под венец, дать по шапке, метр с кепкой, уйти в картуз* и др. *Без штанов, а в шляпе. Не по Сеньке шапка, не по Ерёме колпак. Тяжела ты, шапка Мономаха! Шляпу выбирают две недели, а мужа – две минуты. На воре шапка горит. А ещё корону надел!* и др.

Идиома является знаком, насыщенным **наивно-языковой** культурной информацией, поскольку в глубине своей внутренней формы

содержит исходные модели восприятия человеком мира, архетипические оппозиции. Идиомы со «шляпными» компонентами ярко и зримо изображают происходящее, меряя его по «костюмной мерке»; денотативный и мотивационный компоненты значения идиомы и ее важнейший оценочный компонент транслируют накопленное в народе видение происходящего, передают к нему отношение, выстраивают приоритеты на шкале ценностей. Во всех идиомах содержится и всегда живо интересует носителя языка **культурно-историческая**, или «дофразеологическая» (по образному выражению В.М. Мокиенко), информация. Действительно, идиомы «выросли» из ритуалов, обрядов, обычаев; история идиомы отсылает к широкому пласту культурно-исторических знаний; на данном фоне и воспринимается полнее и глубже значение идиомы. В идиомах ярче, чем в других знаках языка, проявляется **ценностно-прескриптивная** информация, она извлекается из культурной коннотации, «подрабатывает» актуальное значение идиом, формирует их оценочность. Как понять в полной мере значение идиомы без обращения к ее культурным корням, к архетипам, к символике, лежащей в основе ее внутренней формы? Например, образ шутовского колпака в составе идиомы *надеть / напялить шутовской колпак на кого-л.* восходит к народной смеховой культуре, к карнавальности, когда насильное обряжение в «неправильные одежды» переосмысливалось в категориях ума и глупости, насмешки и оскорбления. По сравнению с оценочной лексической метафорой *колпак*, в идиоме образ напяливания на кого-то шутовского колпака «забирает» культурные смыслы масштабнее, он транслирует не только семантику высмеивания, но также семантику обличения; тем самым расширяются прагматические возможности идиомы, ее оценочный диапазон. Ср.: «... они бестрепетною рукой *надевали* на нас *дурацкий колпак!*» [М.Е. Салтыков-Щедрин. *Наша общественная жизнь (1863–1864)*]; «Так и я: в ответ на все ваши статьи я вывел вас целиком в одной только книге; *надел* на вашу разумную голову *шутвской колпак*, – и будете вы в нем щеголять перед потомством» [И.С. Тургенев. *Стихотворения в прозе II. Новые стихотворения в прозе (1878–1882)*].

В паремиях, в схемах, описывающих стереотипные ситуации, содержится **наивно-языковая** информация; фоном восприятия паремий служит **культурно-историческая** информация, но главное – паремии всегда полны **ценностно-прескриптивной** информации, которая не располагается на периферии, а составляет основу семантики паремий, соединяется с образом и смыслом. Так, в поговорке: *Шапка волосяная, рукавицы своекожаные* (т. е. нет ничего) [Даль 1957: 90] в иро-

нической форме описывается абсолютная нищета человека, у которого есть только собственное тело и нет необходимых для защиты этого тела от холода вещей. В образе паремии *шапка* и *рукавицы* соотносятся с костюмным кодом культуры (предписывающим иметь одежду), а *волосяные* и *свокожанные* – с телесным кодом. В паремии семиотизируется идея абсолютной незащищенности человека, его «голового» состояния. Образ паремии переосмысливается в ходе культурной интерпретации в ценностных категориях: отсутствие «правильной» шапки и рукавиц означает нарушение «костюмной нормы»; в образе гиперболизируется смысл отсутствия всякой одежды; голое тело символизирует крайнюю степень нищеты; нищенское состояние унижает человеческое достоинство. Смысл паремии ясен: 'о голом, нищем', но именно содержание культурной коннотации определяет ценностно-прескриптивную суть этой и веселой, и грустной поговорки: 'человек не должен доходить до такой степени нищеты, чтобы не иметь необходимой для жизни одежды'.

Итак, культурная информация в разных ее планах или включена в семантику языковых единиц как первооснова их возникновения, или составляет фон знаний для восприятия семантики, или «достраивается» к языковому значению в виде культурной коннотации. В денотативном и мотивационном компонентах значения всех без исключения рассмотренных единиц содержится **наивно-языковая** информация о типичных путях видения мира и их конкретизации во внутренней форме языковых знаков. Восприятие и употребление лексических номинаций головных уборов и отдельных метафор может сопровождаться актуализацией **культурно-исторической** информации, вызываемой из памяти и создающей фон, на котором воспринимается языковой знак. Отдельные лексические номинации головных уборов и отдельные лексические «шляпные» метафоры обладают **ценностно-прескриптивной** информацией, которая активно «достраивает» языковое значение на правах культурной коннотации. Но есть и особо насыщенные знаки – фразеологизмы и паремии, которые словно и существуют для передачи всех планов культурной информации, для трансляции культурно значимого ценностного ее содержания.

### § 3. Фразеологический код культуры

Фразеологизмы – особые знаки языка, которые зарождаются на пересечении языка и культуры, поскольку формируются на основе древ-

нейших мифов, ритуалов, обрядов, обычаев; даже типичные жизненные ситуации в образах фразеологизмов переосмысливаются в ценностных категориях; тем самым фразеологические знаки языка используются для кодирования норм, правил, установок культуры. Знания, установки, идеи культуры транслируются в речи в виде культурных коннотаций – особого категориального компонента значения фразеологизмов [Телия 2005: 27]. Так, русская идиома *ломать шапку перед кем-л.* со значением – ‘унижаться, заискивать’ восходит к кинеме «снимать головной убор», распространенной во многих культурах со значением ‘приветствие между мужчинами при встрече’. Ритуал приветствия, обнажение головы, зримое умаление себя в глазах другого уходит корнями в глубь культуры; в русской единице базовая схема умаления в жесте приветствия прочитывается в определенном историческом контексте, соотносится с прототипом: «мужик кланяется барину»; «народ приветствует царя». В образе идиомы компонент *ломать* интенсифицирует идею поспешного выражения подчинения, признания чьей-то власти над собой с помощью изображения деструктивного действия, которое приводит к деформации, порче головного убора. Ограничение на вариативность компонентов во фразеологизме объясняется в костюмном коде культуры: компонент *шапка* не может быть заменен на компонент *шляпа*, поскольку шляпа, по сложившемуся в России стереотипу, означает высокий социальный статус человека, его принадлежность к интеллигенции, к творческой среде, к политической элите [Ковшова 2015]. Устойчивое представление о шляпе противоречит образу униженного подчинения и препятствует образованию варианта \**ломать шляпу*. Если мужчина надел шляпу, он (или она) может ее с достоинством снять перед кем-то в знак приветствия или для выражения восхищения (ср. *снимать шляпу перед кем-л.*), но не будет ее ломать в знак своего униженного положения. При этом во фразеологии высмеивается необоснованность претензий того, кто лишь внешне отвечает стереотипу умного человека; ср.: *шляпа; прошьляпить; а еще шляпу надел!* Тем самым идиома кодирует смысл, знание которого дает объяснение установкам, свойственным русской ментальности. В идиоме *ломать шапку* семиотизируется идея самоуничижения, которая вступает в противоречие с предписанием культуры уважать себя, утверждать достоинство своей личности. Языковое значение идиомы интерпретируется в пространстве культурного знания; именно культурная интерпретация фразеологизма предопределяет его устойчиво негативную оценочность и употребление преимущественно в отрицательном контексте. Ср., например: «Не такой ты чин, чтоб пред тобой *шапку*

*ломать!*» [В. Шишков. Емельян Пугачев. Книга первая. Ч. 1–2 (1934–1939)]; «... всё у тебя будет, всё получится, ни перед кем не придется *ломать шапку...*» [С. Есин. Имитатор (1985)]. Развившееся за последнее время у фразеологизма *ломать шапку* значение – ‘очень сильно просить кого-л. о чем-л.’ [Баранов, Добровольский 2015: 977] не теряет связи с культурными смыслами зависимого положения, униженного состояния перед теми, кто имеет власть, – эти смыслы продолжают транслироваться при употреблении идиомы в данном значении. Ср.: «Дикость какая-то: за каждый миллиард кредитов правительство *ломает шапку* перед Международным валютным фондом, приспособливая под него всю экономическую политику...» [Баранов, Добровольский 2015: 977]. Оценочная семантика диалектных фразеологизмов подтверждает сформированный в культуре приоритет независимого поведения и его символический отрицательный жест – отказ от поспешного снятия головного убора при виде «начальства». Ср.: *и шапки не ломает <с головы не снимает>* ‘о гордом, независимом человеке’; *не ломать шапки ‘то же’*; *никому в шапку [не козырять]* ‘не просить, не унижаться перед кем-л.’ [Ковшова 2015: 297 – 298]. Ср. также шапколомание – ‘самоуничтожение, заискивание’ [Алексеев, Белоусова, Литвинникова 2004: 368]. То, что прототип «мужик–барин» жив в современном русском сознании, подтверждают факты рефлексии. Так, журналист Александр Минкин в своем блоге от 2016.04.14 «Замкнутая линия» рассуждает о том, как во время пресс-конференции В.В. Путина телеоператоры в российских регионах собирают большие группы людей, которые стоят на открытом воздухе и ждут возможности задать свой вопрос: «Да без шапок на морозе – чтобы в подсознании сформировалось: царь и верноподданные...» [Минкин 2016].

Возьмем в качестве примера другой фразеологизм: *белый свет <мир> клином сошелся* – ‘установился окончательный, предельно узкий выбор чего-л.’. Кроме языкового значения, данный фразеологизм кодирует в своем образе смысл ‘самое желаемое, единственное, незаменимое’, т. е. участвует в выстраивании ценностной иерархии в той или иной сфере деятельности. В основе создания фразеологизма лежит метафорическое уподобление *клина* и выбранного из многих единственного объекта повышенного внимания, сильного чувства. Клином образуется при схождении двух линий в одной точке; компонент *клин* интерпретируется в пространственном коде культуры, его конфигурация пересмыслена в оценочных категориях: параметры ‘узкий’; ‘сведенный к одной точке’ понимаются как ограничение человека в его возможностях, желаниях. Клином – это знак не только пространственного, но и ак-

ционального кода: клин – участок на поле, выделенный человеку для работы. Реалии мира переосмысливаются в образе фразеологизма, который воспринимается во взаимосвязи с установками культуры, предписывающими не сводить всё окружающее человека до выделенного ему участка – клена; расширять, а не сужать границы своего пространства, говорящими о том, что главное для человека в проявлении себя как личности – возможность выбора. Ср.: *Свет-то не углом (клином) сошелся, найдешь себе место; На свету не на клену – места для всех будет.* Тем самым в образе фразеологизма культура закрепляет значимые смыслы, которые воспроизводятся в речи при употреблении фразеологизма. В образно мотивированной семантике фразеологизма кодируется несоизмеримость клена и широкого пространства всего окружающего мира; эта несоизмеримость уподобляется несоизмеримости какого-л. одного важного объекта и других многочисленных объектов, не менее достойных сильного чувства и высокой оценки. Лингвокультурологическое описание каждого из компонентов фразеологического образа, на первый взгляд, входит в противоречие с постулатом о семантической целостности идиомы; однако анализ идиомы как знака культуры выходит на уровень семиотического исследования и потому отвечает постулату семиотики о целостном и анализируемом (расчлененном); см. о содержательной расчлененности, объективируемой в образе ментальной (концептуальной) структуры в искусстве [Фещенко, Коваль 2014: 384].

Итак, во фразеологизмах хранится и передается культурно значимая информация, прежде всего ценностно-прескриптивного плана; во фразеологических образах кодируются ценностные ориентиры в различных сферах жизнедеятельности; во фразеологизмах как знаках особого кода получает свое выражение и развивается система эталонов, стереотипов, мифологем, символов, обычаев, ритуалов и т. п.

Рефлексы культурно значимых представлений, установок или ценностей, которые лежат в основе фразеологизмов, оказываются тем смысловым стержнем, на котором основывается языковое значение, тем «проводником» смысла, на который опирается носитель языка при употреблении и понимании фразеологизма в речи. Так, фразеологизм с «угасшей» внутренней формой *собаку съест* – ‘об опытном человеке’ кодирует в своей «пищевой» метафоре древнейшую связь еды и усвоения знаний, а в зооморфном образе собаки – представление об опытности, освоенности чего-л. В работах лингвистов излагаются различные историко-этимологические версии данной идиомы, которые не дают однозначных объяснений, откуда возник оборот и почему для

того, чтобы считаться опытным, нужно съесть собаку. Так, по утверждению ряда исследователей, фразеологизм возник на основе иронической поговорки: *Собаку съел, а хвостом подавился*, в которой выражено недоверие по отношению к какому-л. событию: «съесть целую собаку если не невозможно, то очень трудно» [Шанский, Зимин, Филиппов 1987: 224]. «Эта поговорка употребляется по отношению к человеку, который сделал что-то очень трудное и споткнулся на пустяке» [Мокиенко 2001: 538]. Лингвокультурологический взгляд на проблему предлагает иное решение.

Составляющие фразеологизм слова-компоненты *съесть* и *собаку* являются «проводниками» смыслов знания и опытности не случайно. Знание и опытность, согласно мифам, фольклору, религиозным текстам как в русской, так и в мировой культуре, довольно прочно связаны с пищей, едой; ср. «пищевые» образы знания, опытности в лексике и фразеологии: *воспитывать; глотать книги; впитывать информацию; съесть зубы на чем-л.* и др.; ср., например, паремии: *Мы на этом зубы свели; Из семи печей хлеба едал* (т. е. опытен); *Поживешь с мое, да пожухешь с мое, узнаешь* и др. Недаром в качестве ассоциативно возникающих знаний на образ фразеологизма *собаку съесть* М.И. Михельсон помещает сведения о том, кто что ест: боги едят амброзию, т. е. бессмертную пищу; люди питаются хлебом, плодами земными, и потому они смертны; ср. также размещенные в словарной статье афоризмы: «Скажи мне, что ты ешь, я тебе скажу, кто ты», *съесть собачий язык* – ‘Разглагольствовать сверх меры’, *съесть скорпиона* – ‘Быть яростным, ядовитым, как скорпион’ и т. п., свидетельствующие об уподоблении в каких-л. признаках едока – его пище [Михельсон 1994, 2: 287]. Тем самым связь пищевых образов с характеристикой качеств человека в его знаниях, осведомленности обосновывается в культуре и семиотизируется в языке, и потому компонент *съесть* естественным образом прочитывается в связи со смыслом знания. Сочетание компонентов *съесть* и *собаку* приобретает во фразеологизме смысл чего-л. прочно усвоенного, привычного, известного потому, что в русском сознании с образом собаки связано количественное представление, которое можно свести к значению – ‘много’. Такая связь подтверждена и в других единицах языка; ср.: *как собак нерезаных; как собак небитых; как собак недобитых; как собак невешаных* и др.; ср. в других славянских языках – чешском, словацком, польском: *je koho jako psi; ako psov; jak psów*. См. также речевые обороты: *Людей меньше, чем собак; Собак развелось!* См. поговорки: *Его все знают, как меченый грош (как щербатую денгу, как рябую собаку, как попову собаку)*. См. также фразеологизм: *знать как пеструку*

*собаку* – ‘о ком-л. широко известном, всем знакомом’, который является, по мнению исследователей, калькой с немецкого: *j-d ist bekannt wie ein bunter Hund* [Мокиенко 2001: 538]. Собак много, собаки повсеместно вовлечены в бытовую и производственную деятельность человека, собака является частью повседневной жизни человека, т. е. хорошо известной, познанной, закрепленной в опыте «частью». Ср. просторечный глагол *насобачиться* со значением – ‘приобрести навык, опытность’: постоянная практика общения с собакой переосмысливается как опытность в каком-л. виде деятельности, ловкость в поведении. См. пословицы и поговорки на эту тему: *Он уж всеми псами травлен; От семи собак на распутье отгрызется; Битый пес догадлив стал* и др. Эти и другие ассоциации, которые вызывает в сознании образ *собаки*, причудливо соединяются в культурной коннотации фразеологизма. Пытаясь передать их многообразие и сплетение, М.И. Михельсон объединил в словарной статье *собаку съест* различные выражения о ловкости собаки, ее догадливости, изворотливости, смекалке и др. Ср.: «Эко чутье: этот нос собакой натерт! <...> = дока, изучил дело, насобачился = руку набил (сделался смелым, ловким, как собака)» [Михельсон 1994, 2: 287]. Тем самым образ фразеологизма *собаку съест* является культурно мотивированным и «расшифровывается» в пищевом и акциональном (описывающем деятельность человека) кодах культуры, опираясь на смыслы, получившие широкое оснащение в знаках этого кода.

Более того, фразеологизм *собаку съест* и другие фразеологизмы, основанные на «пищевой» метафоре, добавляются в пищевой код культуры, т. е. расширяют систему знаков, которые образовались на основе связанных с едой сущностей, процессов, действий и получили переосмысление в культуре, стали выразителями тех или иных ценностно значимых смыслов. Такое «внимание» в языке к пищевому коду культуры неслучайно: пищевой код культуры играет ключевую роль в семиотизации мира. Еда – центральный акт в жизни общества, и потому «осмысливается космогонически; в акте еды космос (=тотем, общество) исчезает и появляется» [Фрейденберг 1997: 64]. Представляется, что *пищевой, или гастрономический*, код – один из базовых кодов культуры, потому уже, что голод – один из базовых инстинктов человека; издревле за различными пищевыми запретами вырисовывается фундаментальная схема тотемизма [Леви-Строс 1994: 54–56]. В.Н. Топоров отмечает, что еда, принадлежащая первоначально природе, используется как продукт культуры; что «противопоставления, относящиеся собственно к культуре [чужой (коллектив) – свой, женский – мужской, здешний (земной) – нездешний (небесный или подземный), вода – огонь,

профанический – сакральный и др.], имеют свое выражение и в кулинарно-пищевом коде» [Топоров 1980: 427]. И далее: «С помощью пищевого кода в мифах передаются основные смыслы, актуальные для человеческих коллективов архаичного типа, элементы этого кода входят в состав всех основных семантических противопоставлений – в элементной (стихии), растительной, животной, минеральной, пространственной, временной и т. п. сферах. Такое объединение разных сфер в единой семантической системе объясняет некоторые мифологические или ритуальные мотивы, например, пища богов или небесная пища (Е. и пространство), пища обяденная и пища, ритуально отмеченная, праздничная (Е. и время)» [Там же]. В библейских притчах, построенных на иносказании, или в народных изречениях пищевые образы кодируют все самое важное для человека. Ср., например: *Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все* (Мф. 5, 15); *А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой* (Лк. 8, 15); *Не хлебом единым жив человек* (Втор. 8, 3); *Душа не больше ли пищи, и тело – одежды?* (Мф. 6, 25); *Человек из еды живет; Каков ни есть, а хочет есть; Каков у хлеба, таков и у дела; Сытый голодного не поймет; Ешь, пока рот свеж, а завянет – никто в него не заглянет; Все полезно, что в рот полезло; Ужин не нужен, был бы обед; Хлеб всему голова; Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами; Хлеб-соль ешь, а правду режь; Не житье, а масленица; Голодному Федоту и щи в охоту; Один с сошкой, а семеро с ложкой; Ешь и пироги, да хлеб вперед береги* и др. [Даль 1957: 802–820].

Метафора еды, пищи широко используется в русском языке; ср. о человеке: *конфетка; квашня; размазня; сухарь; с перцем; с изюминкой; отсеять факты; проглотить обиду; переварить информацию; облизываться ‘очень желать’* и т. д. Глагол *воспитать* до конца XVII – начала XVIII в. выражал значение ‘вскормить, взрастить’, которое в дальнейшем было утрачено, а глагол получил переносное, ставшее впоследствии основным, значение: ‘стараться об образовании, об умственном и нравственном развитии кого-нибудь’. Слово *вкус* и выражение *обладать хорошим вкусом* первоначально передавали ощущение от вкушаемой, принимаемой пищи. Затем, под влиянием франц. *goût*, нем. *Geschmack*, у слова *вкус* в русском языке развивается значение художественного чутья. Слово *насолить*, кроме прямого конкретного значения ‘заготовить солением, положить много соли во что-нибудь’, еще имеет переносное значение ‘повредить, причинить неприятность’, которое возникло на основе представлений о колдовстве, о «наговорной» соли [Виноградов 1999].

Свою весомую лепту в развитие пищевого кода культуры вносит и фразеология. Метафора пищи лежит в основе внутренней формы большого числа фразеологизмов в русском языке; ср.: *вариться в собственном соку*; *вновь испеченный*; *вот такие пироги [с котятами; с начинкой]*; *выеденного яйца не стоит*; *ерунда <чепуха> на постном масле*; *ешь – не хочу*; *за семь верст киселя хлебать*; *как сыр в масле кататься*; *калачом не заманишь <не выманишь>*; *лакомый кусочек*; *мало каши ел*; *пальчики оближешь*; *под соусом*; *сбоку припека*; *сыт по горло*; *щелкать как орехи* и др. Ср. фразеологические образы в других языках: фр. *il a du lait plein les trous de nez* ‘У него молоко на губах не обсохло’; *servir la soupe* – букв. «подавать суп» ‘Играть маленькую роль’ (ср. рус. «*кушать подано*»); *allonger la sauce* – букв. «разбавлять соус» ‘Вести беспредметный разговор’; *être trempé comme une soupe* – букв. «промокнуть как суп» ‘Полностью промокнуть’: образ связан с происхождением слова суп – от лат. *suppus* ‘лежащий; опрокинутый’ и указывает на ломтик хлеба в бульоне (ср. рус. *промокнуть до нитки*); исп. *estar como una sopa* – то же; ит. *mangiare pane e coltello* – букв. «есть хлеб и нож» ‘Быть очень бедным’; англ. *salt of the earth* букв. «соль земли» ‘Достойнейшие люди’; *not worth one’s salt* букв. «не достоин соли» ‘Никчемный, не стоящий того, чтобы ему платили’; *not smb.’s cup of tea* – букв. «не чья-л. чашка чаю» ‘Не по вкусу кому-л.’ и мн. др. [Ковшова 2012].

Описание любого из этих фразеологизмов способно поднять древнейшие пласты культурной информации, показать, как прочно в сознании человека связана пища и все происходящее с человеком; как выделенная человеком в ряду различных сущностей несомненная ценность – пища – стала мерилом в определении места и значимости других сущностей, явлений, процессов в разных сферах жизнедеятельности. Так, фразеологизм *впитывать / всасывать с молоком матери* – ‘усвоить с самых ранних лет’ связан по происхождению с древними оборотами; ср.: *Ut roene cum lacta nutricis errorem suxisse videamur* ‘Так что мы, кажется, почти с молоком кормилицы впитываем заблуждение’ (Цицерон, «Тускуланские беседы») [БФСРЯ 2006: 135]. Образ фразеологизма сообщает, что происходящее в мире увидено через процесс усвоения пищи. «Не потому, конечно, что биологическая, реальная еда дает к этому какой-либо повод; но потому, что она связана с производством и трудовыми актами в большей степени, чем что-нибудь другое; сознание не остается к этому безучастным, но работает вокруг такого важного явления – выделяет его из контекста действительности, акцентирует, выдвигает на первый мировоззренческий план <...> И акт еды, житейски-реальный и вполне физиологичный, не перестает таковым же оставать-

ся, хотя и связывается с кругом определенных образов» [Фрейденберг 1997: 55–64]. В основании фразеологизма лежит метафорическое уподобление духовного воспитания – питанию младенцев грудным молоком. В образе фразеологизма *молоко матери* имеет дополнительную символику времени, так как пища младенцев ассоциируется с началом восприятия жизни. Также сочетание компонентов *молоко матери* кодирует смысл телесной, физической связи между людьми как продолжателями и преемниками рода; ср. *молочные братья и сестры* – ‘вскормленные одним материнским молоком дети от разных матерей’; ср. аналогичные наименования в др. яз.: *Milchbrüder; foster-brother; frère de lait*. Молоко для младенцев ассоциируется с детской невинностью, служит залогом духовной крепости на весь срок жизни. См. в Библии: «*Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение*» (Первое соборное послание св. ап. Петра 2: 2). Фразеологизм *впитать с молоком матери* выполняет функцию знака культуры, являясь вербальным эталоном, мерой усвоения кем-л. морально-нравственных принципов, взглядов, а также мерой естественности, органичности какого-л. действия, уподобленного вскармливанию ребенка в младенчестве. Так фразеологизмы участвуют в кодировании значимых смыслов культуры.

Зачастую опорой в понимании фразеологизмов служат не метафоры, не модели, а кодируемые в этих моделях или в компонентах фразеологического образа культурно значимые смыслы, которые и становятся «стержневыми» для его глубинного восприятия. Поясним сказанное на примере фразеологизма *не в своей тарелке быть, чувствовать себя*. Его значение – ‘не в обычном, присущем кому-л. состоянии’. Вариант этого фразеологизма (первоначально основная форма употребления) – *в своей тарелке быть, чувствовать себя* имеет противоположное значение с усилением утвердительных смыслов – ‘абсолютно уверенно’. Фразеологизм *не в своей тарелке* – неточная калька с французского выражения *n'être pas dans son assiette* – ‘не в своем (обычном) положении’. Согласно этимологическим изысканиям, калька представляется ошибочной (такой ее считал еще А.С. Пушкин), так как *assiette* означает: а) ‘посадка, положение тела при верховой езде’; б) ‘тарелка’. Первоначальное значение оборота, следовательно, – ‘Потерять равновесие, устойчивость». Известно также, что данное выражение употреблялось и в связи с осадкой корабля, не имеющего достаточно воды для своего хода. Ср. *assiette du vaisseau* ‘Различное, несоответствующее положению кия’. См., например, об этом в: [Мокиенко 2001: 564–565]. Исследуя историю фразеологизма, В.В. Виноградов писал: «Это выра-

жение проникло в русский литературный язык из жаргона европеизирующихся “щеголей” и “щеголих” второй половины XVIII в. <...> Синтаксическая структура этого фразеологизма в языке русской литературы второй половины XVIII в. и первой половины XIX в. была свободнее и подвижнее. Так, у Долгорукого в “Капище моего сердца” читаем: “... бедная Нелюбова попала в самую несчастную тарелку, из которой и я уже вытащить ее не могу” <...> В статье А.А. Фукс (“Казанские губернские ведомости”, 1844, № 2) – о встрече с Пушкиным: “Мы все сели в гостиной. Ты знаешь, что я не могу похвалиться ни ловкостью, ни любезностью, особенно при первом знакомстве, и потому долго не могла *придти в свою тарелку* [курсив автора письма]” [Виноградов 1999: 368–369]. В культурологическом плане важной представляется знаковая функция реалии *тарелка*, в дальнейшем утраченная: «*assiette* – место, где сидят; место за столом обозначалось прежде круглым куском хлеба (на котором клалось съедобное), а потом – тарелкою (*s’asseoir* – садиться)» [Михельсон 1994, 1: 643]. Связь тарелки и определенного положения, места за столом в этом объяснении очевидна; положение за столом было в дальнейшем переосмыслено как привычное положение; в образ фразеологизма легло переосмысление привычного положения за столом как привычного расположения духа, состояния человека, и внутреннее состояние покоя, уверенности было уподоблено внешнему привычному положению. Однако мотивированность образа малоизвестна неспециалисту и когнитивно не релевантна сознанию носителя языка. Тем не менее фразеологизм имеет широкое употребление. При восприятии фразеологизма весь упор делается на культурном смысле компонента *своя (тарелка)*, «отсылающем» к архетипической, исходной культурной оппозиции *свой/чужой*. Всё принадлежащее человеку является частью его самости и потому осознается как ценность. Утрата *своего* места в пространстве, увиденного, благодаря необычному, странному образу фразеологизма, как положение *в тарелке*, для современного носителя языка символизирует прежде всего утрату *своего пространства*, соединяющегося в сознании с внутренним душевным равновесием, уверенностью в себе. Образ подрабатывается сходными по схеме выражениями: *быть в себе, не в себе, в своем уме, в своем доме* и др., – разные по значению, данные выражения объединяет культурная ценность всего «своего», приоритет этой ценности в иерархии других ценностей, выделенных в культуре.

Тем самым странный образ во фразеологизме *собаку съест* или чужеродный образ во фразеологизме *быть в своей тарелке* не мешают пониманию, поскольку они поступают в сознание носителя языка по

другому каналу – культурной информации, путем интерпретации забытого или чужеродного и потому непонятого образа в понятных, хорошо знакомых ценностных «координатах» культуры, образующих систему норм, обычаев, правил, установок и приоритетов. В отношении фразеологизма *собаку съест* опорой для понимания служат древнейшая связь еды и познания, усвоения знаний, а также закрепленный за образом собаки смысл освоенности, опытности в обращении. В отношении фразеологизма *в своей / не в своей тарелке быть* опорой для понимания служит культурный архетипический смысл компонента *своей* и сформированные в культуре установки относительно приоритета «своего», закрепленные и в других фразеологических образах, а также в фольклоре, литературе и т. п.

Анализ фразеологизмов показывает, что фразеологизмы по присущей им функции, по самим культурным корням образования вовлечены в процесс культурной семиотизации мира, в кодирование ценностного содержания культуры. В своей семантике они хранят культурно значимую информацию, которая транслируется в речи, способствуя тем самым закреплению в сознании тех или иных культурных установок, ценностей, приоритетов. Так, фразеологизм *без царя в голове*, связанный с архетипическим представлением о «верхе», создаётся антропной метафорой, уподобляющей ум как интеллектуальный «верх» царю, верховному правителю; выступает в роли эталона, кодирует меру глупости, неспособности человека отвечать за свои действия. Фразеологизм *без задней мысли* кодирует запрет на скрываемые намерения, предписывает открытость, противопоставленную хитрости, лукавству. Фразеологизм *бред сивой кобылы в лунную ночь* кодирует установку на осмысленность и связность речи человека, выполняет роль эталона, т. е. меры, глупости и несуразности высказанных мыслей.

При переводе фразеологизмов с языка на язык важно осуществлять перевод с культуры на культуру, с ментальности – на ментальность. При сопоставительном анализе фразеологизмов разных языков выявляется, что, будучи различными или сходными по своим значениям, моделям, образам [Šermák 1995; Piirainen 2012], они могут быть различными или сходными по культурным смыслам, по той ценностно-прескриптивной информации, которая является определяющей при сопоставлении национальных картин мира, особенностей мировоззрения разных народов.

Так, при подборе подходящего эквивалента из русских фразеологизмов: *гнуть спину, тянуть жилы, надрывать живот, не покладая рук, до седьмого пота, в поте лица своего, от зари до зари, без устали для*

вьетнамской идиомы *ván mặt cho dât bán lưng cho trời* (букв. продавать лицо земле, продавать спину небу) – было необходимо учитывать не только соответствие фразеологизмов как знаков языка, но также глубинное соответствие фразеологизмов как знаков двух культур. Как знак языка фразеологизм сообщает о происходящем, образно описывает действительность, передает оценку, выражает эмоцию. Плану содержания фразеологизма соответствует план системно-языкового выражения. Последовательное сопоставление фразеологизмов как языковых знаков – вьетнамского *ván mặt cho dât bán lưng cho trời* (букв. продавать лицо земле, продавать спину небу) ‘усердно трудиться, работать с большим напряжением’ и русских *гнуть <ломать> спину <спины, хребет, горб, горбы>* ‘изнурять себя тяжелым непосильным трудом, работая на кого-л.», *не разгибать спины <не разгибая спины>* ‘не отрываясь от работы в течение длительного времени, с большим напряжением делать что-л.’, *в поте лица [своего] трудиться* ‘напряженно, с полной отдачей, с большим усердием’ – показало, что в денотативном компоненте они совпадают: вьетнамский и все русские фразеологизмы описывают тяжелый труд человека, дают характеристику отдельных ситуаций или образа жизни в целом. По сигнификативному компоненту вьетнамской единице ближе та конфигурация типового представления, которая в виде набора сем («усердно, т. е. полностью отдавая себя работе», «максимально», «напряженно», «предельно старательно») представлена у русского фразеологизма *в поте лица [своего] трудиться*. Мотивационный компонент в образах приведенных выше фразеологизмов обнаруживает особенности мировидения у вьетнамцев и русских. С вьетнамской идиомой русские единицы совпадают в образе лишь частично, а именно по использованию соматических компонентов в изображении тела, фигуры человека, согнувшегося над объектом своей деятельности. В русском фразеологизме *гнуть <ломать> спину <спины, хребет, горб, горбы>* образы деформации тела, переосмысленные как подчинение, на первый взгляд, близки образу продажи себя высшим силам (*небо, земля*) во вьетнамской единице. Однако для русского фразеологизма доминирующей является сема ‘разрушительные последствия подневольного или вынужденного труда для здоровья человека’, которая отсутствует у вьетнамского фразеологизма. Отличается от вьетнамской единицы и фразеологизм *не разгибать спины <не разгибая спины>*: он образно описывает отказ остановиться, передохнуть; деятель не щадит себя. Эмотивно-оценочный компонент сопоставляемых фразеологизмов также не во всем и не у всех совпадает. Только у вьетнамско-

го фразеологизма и русской единицы *в поте лица [своего]* этот компонент совпадает полностью: его составляет положительное эмоциональное отношение к данному образу жизни, одобрение.

Как знак культуры фразеологизм хранит традиции народа, передает из поколения в поколение культурные знания относительно реалий, положенных в основу фразеологического образа: обиходно-бытовые, обрядово-ритуальные, религиозные, исторические, литературные, мифологические, научные и т. п. Фразеологизм закрепляет в образе устойчивые окультуренные представления и превращается в символ происходящего, становится стереотипом ситуаций, является эталоном тех или иных качеств реалий. Фразеологизм хранит в глубине своей внутренней формы исходные модели восприятия человеком мира, или архетипы, которые и «держат» фразеологический образ, не дают ему «распасться» и буквально сквозят за семантикой фразеологизмов. При сопоставлении фразеологизмов как знаков культуры описывается этимологическая информация, проясняющая исходные значения слов-компонентов и историю создания того или иного фразеологизма, страноведческая информация, проясняющая смысл безэквивалентной лексики, культурологическая информация, выводимая из соотнесения фразеологизма с архетипами, кодами культуры, символами, эталонами и т. п. В центре внимания находятся исходные оппозиции; концептуальные «схемы», лежащие в основе внутренней формы фразеологизмов; «следы» древнейших представлений о мире, явленные в образе. Создание сопоставляемых здесь вьетнамского и русских фразеологизмов имеет общие, на первый взгляд, обыденно-бытовые истоки, а именно привычный вид склонившейся к земле фигуры деревенского жителя, пахаря. Однако образы земли и неба в образе вьетнамской единицы *vấn mặt cho đất bán lưng cho trời* (букв. продавать лицо земле, продавать спину небу) и библейское происхождение русской единицы *в поте лица [своего]* говорят о более сложном их возникновении, движении от обыденных «картинок» к символизации смысла жизни в постоянном труде. При соотнесении образов вьетнамского и русских фразеологизмов с архетипами обнаруживаются универсальные оппозиции «прямой/кривой (гнутой)», «целый/нарушенный (ломаный)», «небо/земля» и т. д., переосмысленные в оценочных категориях, сформированных в трудовых практиках. Компоненты в образах и вьетнамского, и русских фразеологизмов интерпретируются в соматическом коде культуры, при этом соматизмы и телесные кинемы (*лицо, пот, согнутая спина, горб, хребет*) имеют символизированное значение тяжелого труда. Ком-

поненты сопоставляемых фразеологизмов, и вьетнамского, и русских, соотносятся с антропным кодом, а именно с внешним видом физически напряжённо трудящегося человека. Этот код визуального поведения и лежит в основе телесной и антропной метафор, мотивирующих внутреннюю форму всех сопоставляемых единиц. Однако вьетнамской *ván mât cho dât bản lưng cho trời* (букв. продавать лицо земле, продавать спину небу) в большей мере отвечает русская единица *в поте лица [своего]*, поскольку компоненты только этих двух фразеологизмов интерпретируются в религиозном коде культуры. Небо и Земля обозначают в образе вьетнамской единицы не природные, а сакральные сущности. Вьетнамскому мировоззрению присуще поклонение Земле как материнскому лону, возвращающему человека и питающему его, и Небу как отеческому началу, которое помогает человеку и властвует над ним. Религиозный по сути образ русского фразеологизма возник из библейского текста – Ветхого Завета: когда был сотворен человек, Господь поместил Адама в саду Эдемском; Ева и Адам совершили «первородный грех», и были изгнаны из рая. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят...», – напутствовал Господь Адама (Быт. 3: 19). Вьетнамская и русская единицы передают сходные культурные прескрипции: человек должен добросовестно, до полной самоотдачи трудиться, поскольку это предопределено ему свыше, – важным является именно то, что данный культурный смысл маркирован религиозными воззрениями. Нарушение установки воспринимается в обеих культурах с неодобрением, осуждением; и русский, и вьетнамский фразеологизмы служат эталонами, т. е. мерой интенсивности труда, напряженной, усердной работы как нормы жизни человека. Прочтение образов в религиозном коде культуры обуславливает неизменно положительную оценочность данных фразеологизмов в речи. Таким образом, лингвокультурологическое сопоставление вьетнамской и русских единиц как знаков языка и культуры позволило глубже выявить их сходство и различие; определить, что вьетнамской единице *ván mât cho dât bản lưng cho trời* в большей мере отвечает русский фразеологизм *в поте лица [своего]*. Обращение к фразеологии русского и вьетнамского языков обнаруживает больше сходного, чем различного, как в плане образов, так и в плане их интерпретации; сходство приоритетов на шкале ценностей у вьетнамцев и русских кодируется во фразеологии; успешность культурной переводимости фразеологизмов при сопоставлении этих или других языков может расцениваться как серьезный аргумент в отношении успешности построения диалога между разными культурами и народами.

## **Заключение**

Образ мира, его видение в категориях культуры обретает семиотическое бытие в различных знаках, в том числе и во фразеологии; фразеологию, и особенно ее ядерную часть – идиоматику, можно рассматривать как совокупность знаков, в семиотической форме которых находит свое яркое воплощение ценностное содержание культуры; фразеологический код является ключом к познанию ментальности народа, поскольку хранит и транслирует в речи культурную информацию; фразеологизмы являются носителями важнейших для данной культуры смыслов, идей, концептов и т. п. Фразеологический код культуры участвует в процессах семиозиса культуры как «самопознания, нацеленного на установление факта идентичности субъекта культуры с тем, что выделено в этих процессах и продуктах как мерило собственно человеческого в деятельности, т. е. как ценности её ценности» [Телия 1995: 102–103]. Проведенный лингвокультурологический анализ фразеологизмов позволяет утверждать: за языковыми привычками коллектива говорящих на языке обнаруживается не автоматизм употребления всем привычного фразеологизма, а культурно обусловленный его выбор; в образах фразеологизмов отображен культурно маркированный взгляд на мир, который порой «зашифрован» для самого носителя языка и реконструируется только методом глубокой интроспекции, тренированной рефлексии или по косвенным признакам, выявляется при сопоставлении с материалом других языков. Описание фразеологизмов как знаков фразеологического кода культуры отвечает одной из важных задач теории языка – «вжиться» в процесс референции языкового знака к предметной области культуры и попытаться эксплицировать этот процесс.

## **Литература**

- Алексеевко М.А., Белоусова Т.П., Литвинникова О.И.* Словарь отфразеологической лексики современного русского языка. М., 2004.
- Байбурин А.К.* О кулинарном коде ритуала // Симпозиум по структуре текста. Балканские чтения-2. М., 1992.
- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. (ред.)*. Академический словарь русской фразеологии. М., 2015.
- Березович Е.Л.* Язык и традиционная культура: Этнолингвистические исследования. М., 2007.

*Брагина Н.Г.* Память в языке и культуре. М., 2007.

*БФСРЯ* – Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / Авторы-сост. Брилева И.С., Гудков Д.Б., Захаренко И.В., Зыкова И.В., Кабакова С.В., Ковшова М.Л., Красных В.В., Телия В.Н. / Телия В.Н. (отв. ред.). М., 2006.

*Булгаков М.А.* Белая гвардия. Собр. соч. в пяти томах. Том первый. М., 1989.

*Виноградов В.В.* История слов. М., 1999.

*Волошинов В.Н.* Слово в жизни и слово в поэзии. К вопросам социологической поэтики // Бахтин под маской. Вып. 5 (1). Статьи Круга Бахтина. М., 1996.

*Гаврилова М.В.* Еда в традиционных играх // Традиционная культура. № 4. 2007.

*Гудков Д., Ковшова М.* Телесный код русской культуры: материалы к словарю. М., 2007.

*Даль Вл.* Пословицы русского народа. М., 1957.

*Зыкова И.В.* Культура как информационная система: Духовное, ментальное, материально-знаковое. М., 2011.

*Иванов Вяч.В., Топоров В.Н.* Славянские языковые моделирующие семиотические системы: древний период. М., 1965.

*Ковшова М.Л.* Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. М., 2012.

*Ковшова М.Л.* Семантика головного убора в культуре и языке. Костюмный код культуры. М., 2015.

*Леви-Брюль Л.* Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1994.

*Леви-Строс К.* Первобытное мышление / Пер. А.Б. Островского. М., 1994.

*Лосев А.Ф.* Знак. Символ. Миф. М., 1982.

*Лотман Ю.М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб., 1994.

*Лотман Ю.М.* Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1999.

*Минкин А.* Замкнутая линия // «Московский комсомолец» № 27081 [URL]. [цит. 2016-04-14]. <<http://www.mk.ru/politics/2016/04/14/zamknutaya-liniya.html>>

*Михельсон М.И.* Русская мысль и речь: Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. В 2 т. М., 1994.

*Мокиенко В.М.* (ред.). Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова. СПб., 2001.

- Нгуен Лан.* Словарь вьетнамских фразеологизмов и пословиц. Ханой, 2010.
- Никитина С.Е.* Конфессиональные культуры в их территориальных вариантах (проблемы синхронного описания). М., 2013.
- Пушкин А.С.* Евгений Онегин. Собр. соч. в десяти томах, том четвертый. М., 1975.
- Сепир Э.* Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- Словарь языка поэзии. Образный арсенал русской лирики конца XVIII – начала XX века // Сост. Н.Н. Иванова, О.Е. Иванова. М., 2004.
- Степанов Ю.С.* Константы: Словарь русской культуры. М., 1997.
- Степанов Ю.С.* Константы: Словарь русской культуры. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 2001.
- Телия В.Н.* Номинативный состав языка как объект лингвокультурологии // Национально-культурный компонент в тексте и в языке: Тезисы докладов. В 2-х ч. Минск, 1994. Ч. I.
- Телия В.Н.* О методологических основаниях лингвокультурологии // Логика, методология, философия науки. Тезисы докладов. М.–Обнинск, 1995.
- Телия В.Н.* Первоочередные задачи и методологические проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М., 1999.
- Телия В.Н.* Культурно-языковая компетенция: ее высокая вероятность и глубокая сокровенность в единицах фразеологического состава языка // Культурные слои во фразеологизмах и в дискурсивных практиках. М., 2004.
- Телия В.Н.* О феномене воспроизводимости языковых выражений // Язык. Сознание. Коммуникация: Сб. статей. Вып. 30. М., 2005.
- Толстая С.М.* Предисловие // Славянский и балканский фольклор. Вып. 10. Семантика и прагматика текста. М., 2006.
- Толстая С.М.* Семантические категории языка культуры. Очерки по славянской этнолингвистике. М., 2011.
- Толстой Л.Н.* Война и мир. Собр. соч. в двадцати двух томах. Том пятый. М., 1980.
- Толстой Н.И.* Язык и народная культура. Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995.
- Топоров В.Н.* Модель мира // Мифы народов мира. М., 1982. Т. II.
- Топоров В.Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. М., 1995.
- Успенский Б.А.* Семиотика искусства. М., 1995.
- Ушаков Д.Н.* (отв. ред.). Толковый словарь русского языка. В IV тт. М., 1935. Т. I.

*Фещенко В.В., Коваль О.В.* Сотворение знака. Очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства. М., 2014.

*Фрейденберг О.М.* Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.

*Хёйзинга Й.* Осень Средневековья: Соч. в 3-х тт. Т. 1. М., 1995.

*Цивьян Т.В.* Лингвистические основы Балканской модели мира. М., 1990.

*Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В.* Опыт этимологического словаря русской фразеологии. М., 1987.

*Шукшин В.* Дебил // Шукшин В. Брат мой. Рассказы. Повести. М., 1975.

*Čermák F.* Somatic idioms revisited // EUROPHRAS 95 Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, Hrsg. W. Eismann. Bochum, 1995.

*Piirainen E.* Widespread Idioms in Europe and Beyond: Toward a Lexicon of Common Figurative Units. New York, 2012.

*Sapir E.* Selected writings in language, culture and personality. Berkeley, 1949.



**Лингвистика и семиотика культурных трансферов:  
методы, принципы, технологии**  
коллективная монография

*научное издание*

*ответственный редактор* В.В. Фещенко  
*оформление* Илья Бернштейн

Подписано в печать 10.09.2016. Формат 60×90/16.  
Гарнитура PTSerif, PTSans.  
Печ. л. 31,25. Тираж 500 экз. Заказ №

Издательство «Культурная Революция»  
*адрес* Москва, ул. Новосущёвская, д. 19б  
*тел.* (499) 973 1662  
*e-mail* editor@kultrev.ru